



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Slav 4120.425

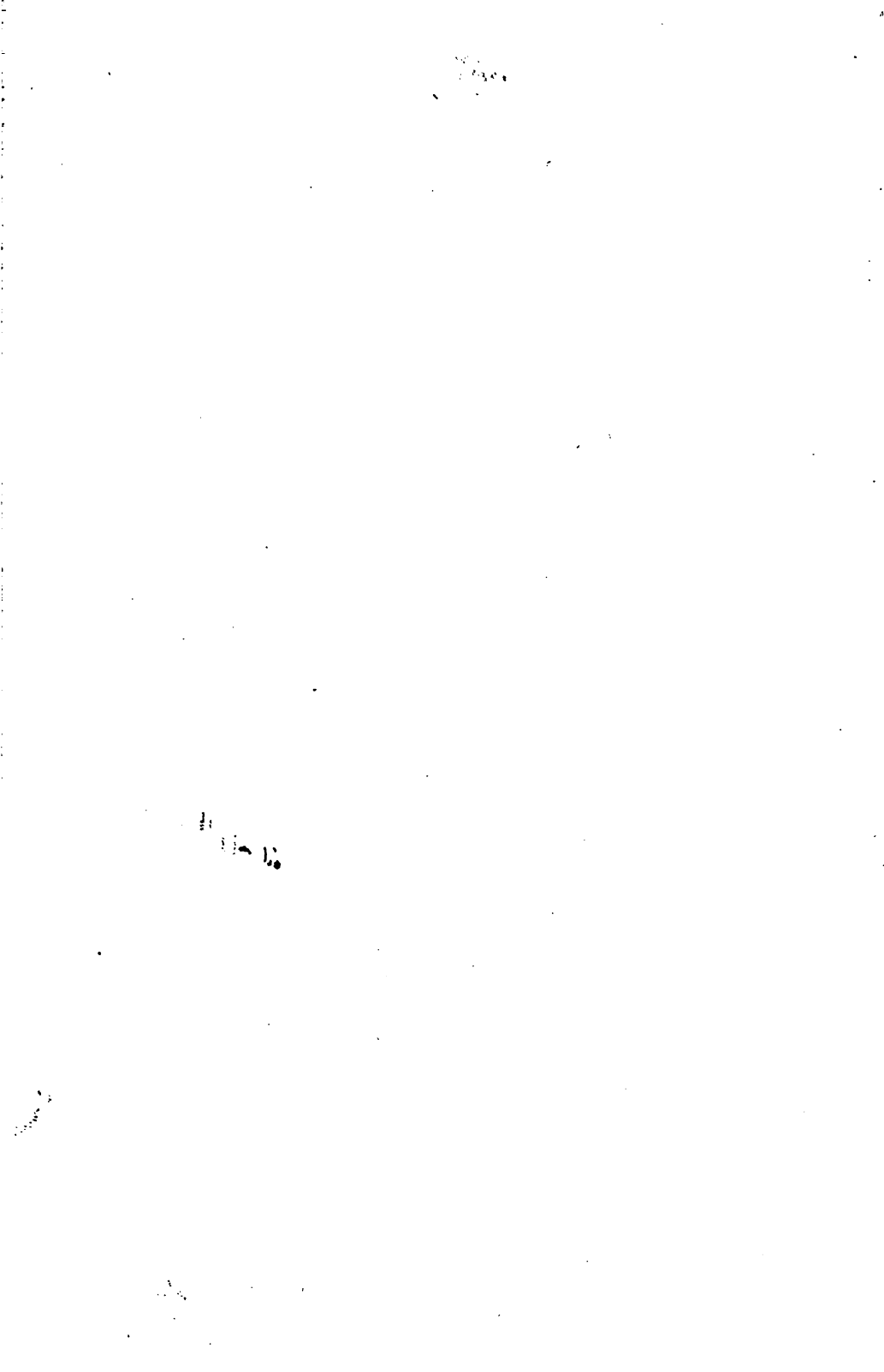
**HARVARD COLLEGE  
LIBRARY**



**PURCHASED FROM THE  
SUSAN A. E. MORSE FUND**





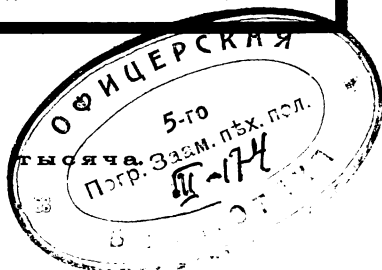


М. Протопоповъ.

# Критическія статьи.

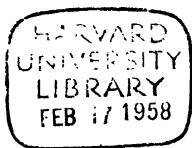
Поэтъ „забытыхъ словъ“ (А. М. Жемчужниковъ).—Прекрасный закатъ („Пѣсни старости“ А. М. Жемчужникова).—Поэты переходнаго времени (С. Я. Надсонъ и П. Я.).—Послѣдовательный народникъ. (Н. Златовратскій). — Народникъ-идеалистъ. (Каролинъ). — Сатирикъ-анекдотистъ (С. Н. Терпигоревъ). — Большой талантъ (Н. С. Лѣсковъ). — Беллетристъ-публицистъ (П. Воборыкинъ). — Бодрый талантъ (И. Н. Потапенко). — Пропадающія силы (М. Горькій). — Беллетристы новѣйшей формаціи (М. Горькій, Танъ и В. Вересаевъ). — Публицистъ-идилликъ (М. О. Меньшиковъ).—Критикъ-декадентъ (А. Л. Волынский).

Третья тысяча.



Издахъ  
С. Скурмукта.  
Москва, 1902 г.

Slav 4120. 425  
✓



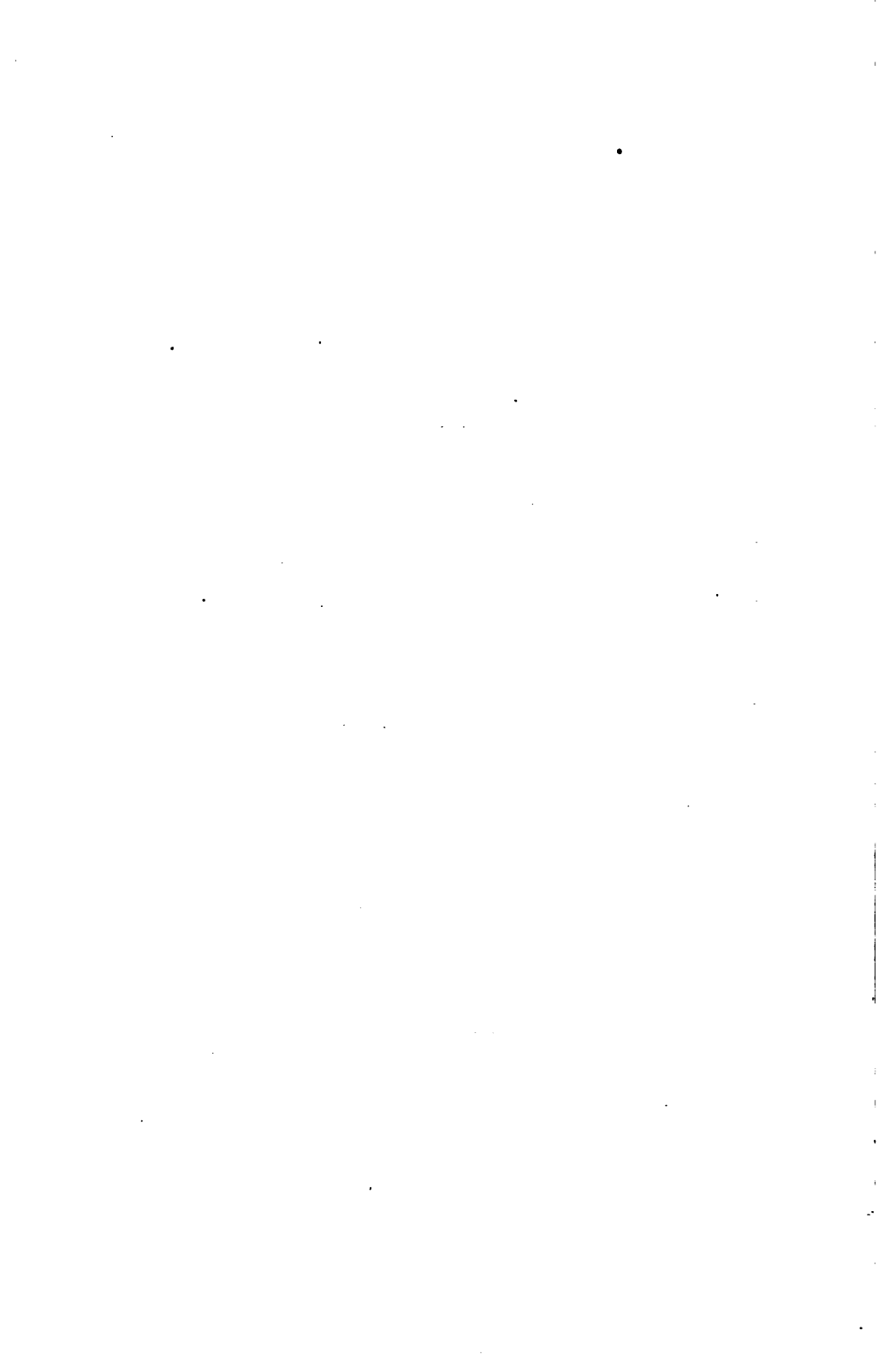
УНИВЕРСИТЕТ И. М. СЕМИНОВСКОГО И. М. СЕМИНОВСКОГО

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

---

	<i>Стр.</i>
Поэтъ „забытыхъ словъ“. (Стихотв. А. М. Жемчужникова) . . .	1
Прекрасный закатъ. („Пѣсни старости“ А. М. Жемчужникова) . .	21
Поэты переходнаго времени. (Стихотвор. С. Я. Надсона и стихотвор. П. Я.) . . . . .	28
Послѣдовательный народникъ. (Собр. соч. Н. Златовратскаго) . .	60
Народникъ-идеалистъ. (Повѣсти и разск. Каронина) . . . . .	119
Сатирикъ-анекдотистъ. (Собр. соч. С. Н. Терпигорева) . . . . .	134
Большой талантъ. (Собр. соч. Н. С. Лѣскова) . . . . .	180
Беллетристъ-публицистъ. (Романы и повѣсти П. Боборыкина) . .	213
Бодрый талантъ. (Повѣсти и разск. И. Н. Потапенка) . . . . .	281
Пропадающія силы. (М. Горькій, повѣсти и рассказы) . . . . .	320
Беллетристы новѣйшей формаціи. (М. Горькій, Тянь и В. Вересаевъ). .	378
Публицистъ-идилликъ. (М. О. Меньшиковъ) . . . . .	420
Критикъ-декадентъ. (А. Л. Волинскій) . . . . .	464

---



1892 г.

## Поэтъ „забытыхъ словъ“.

(Стихотворенія А. М. Жемчужникова. Два тома. Спб., 1892 г.).

.....  
И въ отвѣтъ природѣ  
Улыбнись, отъ вѣка  
Обреченный скорби  
Геній чловѣка.  
Улыбнись природѣ,  
Вѣрь знаменованью:  
Нѣтъ конца стремленью,  
Есть конецъ страданью!

Я. Полонскій.

Стихомъ участвую моимъ  
Я въ хоръ жизненнаго гимна.

А. Жемчужниковъ.

### I.

«О чемъ писать? Востокъ и югъ давно описаны, воспѣты». Такъ говоритъ лермонтовскій «писатель» (*Журналистъ, читатель и писатель*) и, какъ выраженіе временнаго настроенія, эти слова не могутъ, разумѣется, вызвать никакого противорѣчія. Вѣдь нельзя, *физически* нельзя постоянно находиться въ томъ страстно-напряженномъ состояніи духа, которое сопровождаетъ и отъ котораго даже зависитъ творчество, если только оно настоящее творчество. Всякимъ ремесломъ, а въ томъ числѣ и писательскимъ, можно заниматься по расписанію, аккуратно, въ положенные часы и производить работу въ заранѣе определенномъ размѣрѣ. Но творчество требуетъ того, что на

метафорическомъ языкѣ поэтовъ называлось прежде призывомъ Аполлона къ священной жертвѣ, на языкѣ эстетиковъ—вдохновеніемъ и что мы назовемъ просто душевнымъ подъемомъ, нервнымъ усиленіемъ, специфическимъ расположеніемъ духа. Что говорить объ этомъ лермонтовскій «писатель»? Онъ говоритъ:

Бываютъ тягостныя ночи:  
Безъ сна, горять и плачуть очи,  
На сердцѣ—жадная тоска;  
Дрожа, холодная рука  
Подушку жаркую объемлетъ;  
Невольный страхъ власы подьметъ;  
Болѣзненный, безумный крикъ  
Изъ груди рвется—и языкъ  
Лепечетъ громко, безъ сознанья,  
Давно забытыя названья;  
Давно забытыя черты  
Въ сіяньи прежней красоты  
Рисуетъ память своевольно:  
Въ очахъ любовь, въ устахъ обманъ—  
И вѣришь снова имъ невольно,  
И какъ-то весело и больно  
Тревожить язвы старыхъ ранъ...

*Тогда пишу*,—прибавляетъ «писатель». Слишкомъ ясно, что такое состояніе духа не можетъ быть не только постояннымъ, но и продолжительнымъ. «Тягостныя ночи» неизбежно будутъ перемежаться съ періодами апатіи, когда даже гениальному поэту можетъ казаться, что писать уже и не о чемъ, и не стоить, и не для кого.

Въ этомъ, но только въ одномъ этомъ, смыслѣ скептическій лермонтовскій вопросъ «о чемъ писать?» и приобретаетъ извѣстное значеніе. «Не о чемъ писать» въ устахъ Лермонтовыхъ значитъ просто «не хочется писать», то есть не хочется *пока*:

Но лишь божественный глаголь  
До слуха чуткаго коснется,—  
Душа поэта встрепенется,  
Какъ пробудившійся орелъ.

Не нужно только прятаться отъ жизни, ограждать себя отъ ея впечатлѣній, хотя бы то и тяжелыхъ,—разнообразие и богатство жизни неисчерпаемо, и сколько бы еще ни прожило человѣчество, ни Востокъ, ни Югъ не будутъ описаны такъ, чтобы о нихъ нечего было сказать новаго, потому что и Востокъ, и Югъ, и всѣ страны свѣта, и самъ человѣкъ, какъ нравственное и какъ общественное существо, подлежатъ непрерывнымъ измѣненіямъ:

Нѣтъ конца стремленію!

Неизмѣннымъ и непреложнымъ остается только основной импульсъ поэтической или вообще писательской или даже *всякой* разумной человѣческой дѣятельности. Какъ бы ни варіировались *божественные глаголы* жизни, въ зависимости отъ времени и мѣста, они пріобрѣтаютъ обязательное значеніе лишь при наличности сознанія или вѣры, что

Есть конецъ страданью!

Если это сознаніе прочно, то успѣхъ дѣла болѣе чѣмъ наполовину обезпеченъ и приступить къ этому дѣлу можно, не дожидаясь спеціальнаго призыва Аполлона. Если гора не идетъ къ Магомету, Магометъ идетъ къ горѣ—и очень хорошо дѣлается, конечно. Вдохновеніе, поднимающее во мракѣ тягостныхъ ночей волосы на головѣ человѣка, когда-то еще придетъ, да и сомнительно, что оно когда-нибудь придетъ къ намъ, людямъ не избраннымъ, не отмѣченнымъ, обыкновеннымъ, а жизнь вѣдь не ждетъ и дѣло не терпитъ. Какъ же быть? Да очень просто: можно не безъ пользы писать и вообще не безъ плода работать помимо сотрудничества Аполлона, довѣряясь только руководству своего ума и главнымъ образомъ внушеніямъ своей совѣсти.

Эта задача не такъ легка, какъ кажется, и заслуга человѣка, разрѣшившаго ее, можетъ быть очень серьезна. Еще Паскаль говорилъ, что люди для того играютъ въ карты, чтобы не оставаться никогда долго наединѣ съ



собою, чтобы не дать развиваться угрызениямъ совѣсти. То же самое говоритъ теперь и нашъ Толстой относительно пьянства и куренія. То же самое можно сказать, конечно, и относительно многихъ другихъ способовъ разсѣянія и самозабвенія. Это понятно. Не любить человѣкъ оставаться самимъ собой и съ самимъ собой, потому что не любить давать просторъ своему внутреннему самопознанію, котораго онъ боится, потому что рискуетъ скоро попасть въ положеніе не только подсудимаго, но и осужденнаго. Раскаяніе — чувство тягостное, это такая нравственная кара, передъ силой которой блѣднѣютъ очень многія виѣшнія, придуманныя людьми, наказанія. Раскаиваться — это значить именно осуждать себя, это значить «попасть въ руки Бога живаго», какъ говоритъ Писаніе, почувствовать всю эфемерность своего искусственнаго «достоинства». Съ наивною, но горькою и мѣткою ироніей говоритъ наша народная пѣсня, что «хорошо тому на свѣтѣ жить, у кого нѣту стыда въ глазахъ». Хорошо или худо, но во всякомъ случаѣ покойно, гораздо покойнѣе, нежели человѣку съ чуткою совѣстью и съ большими нравственными запросами. Что Аполлонъ?—далеко Аполлонъ!—скажемъ мы на манеръ гоголевскаго почтмейстера. Лишь бы была въ нашей жизни правда, лишь бы не пришлось намъ краснѣть за сущность, за нравственное содержаніе нашей дѣятельности, а о формѣ этой дѣятельности пусть судятъ, какъ кому угодно. Подъ сѣнію Христа можно не слишкомъ заботиться объ Аполлонѣ и позволительно даже и вовсе забыть о его существованіи...

Г. Жемчужниковъ «стихомъ участвуетъ своимъ въ хорѣ жизненнаго гимна», при чемъ о покровительствѣ Аполлона не слишкомъ заботится. Правда, въ теоріи онъ находитъ, что «такъ называемая *чистая* поэзія, отрѣшенная отъ злобы дня, возвышенна и прекрасна всегда. Такого времени, когда она могла бы оказаться ненужной, не бываетъ». Такъ это или не совсѣмъ такъ, объ этомъ мы раз-

суждать не будемъ. Для насъ важно то, что *практика* г. Жемчужникова совсѣмъ не отвѣчаетъ его теоріи. Не въ томъ только дѣло, что, выразивши на словахъ глубокое уваженіе къ «чистой» поэзіи, г. Жемчужниковъ тѣмъ не менѣе чуждается ея и воспѣваетъ почти всегда именно злобу дня. Дѣло въ томъ, что *какъ поэтъ* (а не какъ теоретикъ искусства) онъ прямо вооружается противъ только что восхваленной имъ «чистой поэзіи» и мотивируетъ свое отрицаніе чрезвычайно энергически. Вотъ, наприм., отрывокъ изъ стихотворенія *Памятникъ Пушкину*:

Мнѣ дѣло не до нихъ, дѣтей суровыхъ міра,  
Сказавшихъ напрямикъ, что имъ не до стиховъ,  
Пока есть на землѣ бѣднякъ, просящій хлѣба.  
Такъ пахарь-труженикъ, желающій дождя,  
Не станетъ пѣть, въ пыли за плугомъ вслѣдъ идя,  
Красу безоблачнаго неба.  
Я спрашиваю васъ, цѣнители искусствъ:  
Откройтесь же и вы, какъ тѣ, безъ отговорокъ,  
Вотъ ты хоть, напримѣръ, отборныхъ полный чувствъ,  
Въ комъ тонкій вкусъ развитъ, кому такъ Пушкинъ дорогъ;  
Ты, въ комъ рождаются пылъ возвышенной мечты  
Стихи и музыка, статуя и картина,—  
Но до сѣдыхъ волосъ лишь въ чести гражданина  
Не усмотрѣвшій красоты.  
Или вотъ ты еще... Но васъ теперь такъ много,  
Насъ поучающихъ прекрасному писаекъ!  
Вы совѣсть, родину, науку, власть и Бога  
Кладете подъ перо и пишете вы такъ,  
Какъ удержалъ бы стыдъ писать порою прошлой...  
Но нашъ читатель добръ; онъ ужъ давно привыкъ,  
Чтобы языкъ родной, чтобы Пушкина языкъ  
Звучалъ такъ подло и такъ пошло.  
Вы всѣ, въ комъ такъ любовь къ отечеству сильна,—  
Любовь, которая все лучшее въ немъ губитъ,—  
И хочется сказать, что въ наши времена  
Тотъ—честный человекъ, кто родину не любитъ.

Отрицатели чистой поэзіи, конечно, не найдутъ ничего для себя обиднаго въ сравненіи ихъ съ озабоченнымъ па-

харемъ, но каково почувствуютъ себя послѣ такого ре-  
приманда «цѣнители искусствъ»?

Г. Жемчужниковъ не столько поэтъ, сколько гражда-  
нинъ, въ настоящемъ значеніи этого слова. По собствен-  
ному справедливому сознанію г. Жемчужникова, его «муза»  
не обладаетъ ни лиризмомъ ни красотой, но—скажемъ мы  
за него—она обладаетъ жизненностью, мужественною энер-  
гіей и проникнута негодованіемъ. Въ точномъ смыслѣ,  
г. Жемчужниковъ не принадлежитъ ни къ одной изъ на-  
шихъ литературныхъ фракцій; онъ не преслѣдуетъ ника-  
кихъ сословныхъ или партійныхъ или вообще политиче-  
скихъ цѣлей. Идеаль г. Жемчужникова—чисто-нравствен-  
ный, но покоится онъ не на почвѣ личной морали, а на  
почвѣ общественности. Г. Жемчужниковъ не аристократъ  
и не демократъ, не либераль и не консерваторъ, онъ—че-  
ловѣкъ и писатель, проникнутый сознаніемъ своего граж-  
данскаго долга, и такой же ясности и высоты сознанія онъ  
требуетъ и отъ всѣхъ насъ, безъ различія сторонъ и цвѣ-  
товъ. Говорите что угодно, но говорите по искреннему  
убѣжденію; идите куда хотите, но идите, постоянно памя-  
туя о лежащей на васъ отвѣтственности; вѣрьте, любите,  
стремитесь сообразно съ своими наклонностями и способ-  
ностями, но вѣрьте же дѣйствительно, любите на самомъ  
дѣлѣ, стремитесь безкорыстно. Вотъ общій характеръ тре-  
бованій г. Жемчужникова, поскольку они выразились въ  
его поэзіи. Онъ именно только безъ-устали напоминаетъ  
всѣмъ намъ «забытыя слова» —

Тѣ лучшія слова, такъ людямъ дорогія,  
Въ комъ сердце чувствуетъ, чья мыслить голова:  
Отчизна, совѣсть, честь и многія другія  
Забытыя слова.

Ему противны не тѣ или другія доктрины, по ихъ  
внутреннему содержанію, а противно лишь легкомыслен-  
ное и въ особенности лицемерное отношеніе къ нимъ.  
Если вы думаете объ *отчизнѣ*, если руководитесь со-

вѣстью, если въ васъ живо чувство *чести*, если вообще «забытыя слова» не забыты вами,—г. Жемчужниковъ вашъ и вамъ нечего опасаться его изобличенія, каковы бы ни были ваши убѣжденія. Правда, свои удары и свое негодование г. Жемчужниковъ почти исключительно направляетъ въ *одну* сторону, противъ людей *одной* партіи, но это понятно: ученія, въ основѣ основъ которыхъ лежатъ только два принципа—кнутъ и редереръ (см. *Новъ Тургенева*), не могутъ, конечно, похвалиться нравственною безупречностью.

Таковы общіе контуры литературной фізіономіи г. Жемчужникова. Перейдемъ къ деталямъ.

## II.

Стихотвореніямъ г. Жемчужникова предшествуетъ небольшая автобіографія, представляющая собою настолько характерный документъ, что обойти ее никакъ нельзя. Большинство автобіографій всегда имѣютъ только косвенное, посредствующее значеніе для характеристики ихъ авторовъ: любопытно и нужно знать, какъ человѣкъ смотритъ на себя и на свою дѣятельность, но самый этотъ взглядъ въ огромномъ большинствѣ случаевъ приходится отвергать какъ совершенно ошибочный. Автобіографія г. Жемчужникова принадлежитъ къ числу тѣхъ немногихъ произведеній этого рода, правдивость и объективность которыхъ не возбуждаютъ сомнѣній. Г. Жемчужниковъ не хлопочетъ о пьедестальчикѣ для себя, но и не скромничаетъ по фарисейски, не напрашивается на похвалу, но и не рисуетъ чрезмерною строгостью самоосужденія. Онъ не интересничаетъ, хотя его автобіографическія сообщенія иногда очень интересны—не въ личномъ только, но и въ общественномъ смыслѣ.

Г. Жемчужниковъ принадлежитъ къ поколѣнію сороковыхъ или, точнѣе, пятидесятихъ годовъ (родился въ 1821 г.). Ровно годъ тому назадъ я писалъ въ *Русской*

*Мысли* о другомъ литературномъ дѣятелѣ того же самаго поколѣнія—покойномъ Н. В. Шелгуновѣ, еще болѣе и ярче г. Жемчужникова доказавшемъ свою непоколебимую преданность свѣтлымъ идеаламъ передовой части нашего общества и нашей литературы. Къ тому же поколѣнію принадлежитъ Левъ Толстой и принадлежали Салтыковъ и Хвощинская-Заіончковская. Вотъ замѣчательные старики, которыхъ судьба сберегла до нашихъ дней точно ради злой ироніи надъ нами, точно въ укоръ современнымъ Молчалинымъ нашимъ! Откуда въ нихъ эта удивительная жизнеспособность, это *стремленіе безъ конца* («нѣтъ конца стремленію, есть конецъ страданью!»), эта вѣчная юность души? По отношенію собственно къ себѣ г. Жемчужниковъ объясняетъ дѣло просто и правдоподобно: «Врожденная отзывчивость не дала душѣ моей заглухнуть. Я былъ всегда чуждъ равнодушію, и это было большое для меня счастье. На своемъ вѣку я подмѣчалъ не разъ, какъ индифферентность вкрадывается въ человѣка большею частью подъ личиною *благоразумія и практичности въ воззрѣніяхъ на жизнь*, а потомъ мало-по-малу превращается въ нравственную гангрену, разрушающую одно за другимъ всѣ лучшія свойства не только сердца, но и ума. Послѣ моей отставки я, на полной свободѣ частной жизни, облизился съ обществомъ писателей и со многими лучшими представителями направленія сороковыхъ годовъ, къ которымъ питаю до сихъ поръ особую симпатію и глубокое уваженіе. Они всегда были лучшими моими друзьями и наставниками». Здѣсь можетъ быть сдѣлано только то замѣчаніе, что *неравнодушіе* г. Жемчужникова болѣе, чѣмъ счастье: это *заслуга*, которую всякій общественный дѣятель съ полнымъ правомъ можетъ поставить въ свой активъ. Логическимъ послѣдствіемъ эпохи сороковыхъ годовъ (занимавшей въ свою очередь многое изъ эпохи двадцатыхъ годовъ) явились такъ называемые шестидесятые годы, отношеніе къ которымъ современности достаточно

извѣстно, но о которыхъ г. Жемчужниковъ вспоминаетъ съ благодарнымъ и почтительнымъ чувствомъ, дѣлающимъ ему большую честь: «Я почитаю себя счастливымъ (опять *счастье!*), что былъ свидѣтелемъ освобожденія крестьянъ. Великое дѣло имѣло огромное вліяніе на русское общество. Оно вызвало и привлекло къ себѣ большое количество друзей и тружениковъ. Новые люди являлись повсюду и общество росло умственно и нравственно, безъ преувеличенія, по днямъ и по часамъ. Недавніе чиновники и владѣтели душъ преобразались въ доблестныхъ гражданъ своей земли... Хорошее было время!» Не побоявшись такимъ образомъ выразить симпатію къ нашей реформаторской эпохѣ, г. Жемчужниковъ не боится отрекомендовать себя, кромѣ того, и западникомъ: «Я убѣдился на опытъ въ разумности и въ высокомъ нравственномъ значеніи многихъ сторонъ западно-европейскаго быта и проникся глубокимъ къ нимъ уваженіемъ и сознательнымъ сочувствіемъ». Какъ не похожи всѣ эти разумныя и серьезные сужденія на бессмысленныя инкриминаціи и ухарскія «патріотическія» фразы, столько уже лѣтъ раздающіяся въ нашей литературѣ!

Въ эпоху реформъ г. Жемчужниковъ писалъ мало: «Мнѣ казалось, что мои стихи никому не нужны въ такое серьезное время». Немного дальше г. Жемчужниковъ говоритъ: «Съ 1883 г. я началъ писать сравнительно много. Въ 1884 г. я вернулся въ Россію (изъ-за границы), и всѣ послѣдніе годы мнѣ писалось болѣе, чѣмъ когда-нибудь въ моей жизни. Мнѣ казалось,—и продолжаетъ казаться до сихъ поръ,—что у меня есть что сказать, и мнѣ хочется высказываться». Изъ сопоставленія этихъ двухъ показаній вытекаютъ очень любопытныя, по нашему мнѣнію, заключенія, характеризующія и писательскія свойства г. Жемчужникова, и свойства переживаемаго нами историческаго момента. Г. Жемчужниковъ именно «поэтъ забытыхъ словъ», и въ этомъ причина, почему ему нечего было дѣ-

латъ тридцать лѣтъ тому назадъ и такъ много работы въ наше время. Странно было бы напоминать объ отчизнѣ и о совѣсти тѣмъ «чиновникамъ и владѣтелямъ душъ», которые «преображались въ доблестныхъ гражданъ своей земли». Странно было бы напоминать людямъ слова, которыя не только не исчезли изъ ихъ памяти, но претворялись ими въ живое *дѣло*. Между тѣмъ въ распоряженіи г. Жемчужникова не было другихъ темъ, кромѣ нравственно-общественныхъ идеаловъ или, вѣрнѣе, нормъ. Но вотъ прошло это время и наступило другое, когда метаморфозы людей стали происходить въ обратномъ смыслѣ, когда «доблестные граждане» стали преобразаться въ «чиновниковъ и владѣтелей душъ». Г. Жемчужниковъ почувствовалъ, что ему «есть что сказать», и отсюда—его поздняя плодовитость. Онъ увидалъ себя въ передовыхъ рядахъ не потому, что шелъ впередъ быстрѣе другихъ, а потому, что жизнь пошла на убыль, назадъ, въ то время, какъ онъ сохранилъ свою прежнюю позицію. Заслуга г. Жемчужникова состоитъ прежде всего въ томъ, что онъ *устоялъ*, что онъ ничего не забылъ изъ уроковъ своихъ прежнихъ учителей. Для человѣка, для личности этого довольно, но для общественного дѣятеля этого было бы недостаточно: мало предохранить себя отъ нравственного разложенія, нужно предохранить другихъ, и насколько такая задача вообще въ средствахъ поэзіи, г. Жемчужниковъ разрѣшилъ ее, соответственно, конечно, размѣрамъ своего таланта. Веселый, но часто довольно безцѣльный смѣхъ Козьмы Пруtkова \*) превратился у г. Жемчужникова въ настоящую сатиру, горькую, вдумчивую, негодующую. Развѣ это не сатира:

Подумать—страхъ беретъ, что нынѣ меньшинство,  
Покуда вѣрное гражданственнымъ началамъ,

---

\*) Читатель долженъ знать, что знаменитая въ свое время литературная фирма *Козьма Пруtkовъ* состояла изъ трехъ лицъ, въ числѣ которыхъ находился и нашъ авторъ.

Ужъ представляется явленіемъ запоздалымъ.  
Таковъ переворотъ. Чѣмъ объяснимъ его?  
Что возбуждаетъ въ насъ враждебность и сомнѣнья?  
Иль барщина честнѣй свободнаго труда?  
Иль мракъ невѣжества полезнѣй просвѣщенья?  
Бессудье-ль правильнѣй суда?

Но смѣлость доблести въ насъ никнетъ; духъ нашъ спитъ;  
Звучать еще слова, но мысли—ни единой;  
Но искры Божьей нѣтъ. Затянутаго тиной  
Болотнаго пруда таковъ сонливый видъ.  
Грѣшны и жалки мы, безъ пользы жизнь кончая  
И безъ луча надеждъ! Что съешь, то пожнешь.  
И сердце черствое, и голова пустая—  
Такъ въ жизнь вступаетъ молодежь.

Это отрывокъ изъ стихотворенія *Духа не угашайте*.  
Какъ видите, тенденціи сатиры г. Жемчужникова не новы но, во-первыхъ, назначеніе сатиры состоитъ не въ пропагандѣ новыхъ идей, а въ борьбѣ съ застарѣлыми предрасудками и заблужденіями; во-вторыхъ, въ иные моменты даже простое отрицаніе можетъ явиться положительнымъ откровеніемъ. Свободный трудъ честнѣе барщины, просвѣщеніе лучше невѣжества, судъ лучше безсудья—это трюизмы. Но если практика жизни оказывается ниже этихъ трюизмовъ? Но если тысячи и тысячи людей склонны думать, что это не трюизмы, а парадоксы и софизмы? Не жизнь для литературы, а литература для жизни. Если передъ нашими глазами «болотный прудъ затянутый тиной», нелѣпо рассказывать или мечтать о красотѣ Адриатическаго моря. Спросите англичанина, что лучше: судъ или бессудье? невѣжество или просвѣщеніе?—и онъ засмѣется вамъ въ лицо, если только не сочтетъ васъ за сумасшедшаго. Спросите о томъ же любого Кить-Китыча, и онъ скажетъ, что судиться «по душѣ» много превосходнѣе, чѣмъ судиться «по закону», а грамотность производитъ только кляузничество и «непокорство». Пусть онъ не членъ интеллигенціи, но развѣ онъ не членъ, и даже очень вліятельный, нашего общества?



Г. Жемчужниковъ является въ нашей литературѣ защитникомъ тѣхъ аксіомъ общественности, которыя были усвоены, по крайней мѣрѣ, приняты нами тридцать лѣтъ назадъ и которыя теперь опять превратились въ теоремы. Въ этомъ состоитъ его литературная роль,—роль трудная, потому что обязываетъ къ борьбѣ, и роль неблагодарная, потому что обусловлена слишкомъ эфемерными и преходящими явленіями, но необходимая и плодотворная въ данную минуту.

### III.

Литературный талантъ г. Жемчужникова по своимъ размѣрамъ принадлежитъ къ разряду среднихъ. Г. Жемчужниковъ самъ очень хорошо сознаетъ и даже прямо высказываетъ это (въ автобіографіи). Дѣйствительно, говоря некрасовскими выраженіями, его «сатиры чужды красоты», его «стихъ тягучъ», и онъ замѣтенъ какъ «безъ солнца звѣзды видны въ ночи, которую теперь мы доживаемъ боязливо». Молодые поэты наши владѣютъ формою лучше г. Жемчужникова, но ихъ поэзія не имѣетъ однако же и половины значенія сатиръ г. Жемчужникова. Г. Жемчужниковъ понимаетъ, что

... покуда,

Не видно солнца ниоткуда,

Съ его талантомъ стыдно спать.

Еще стыднѣй въ годину горя

Красу долинъ, небесъ и моря

И ласку милой воспѣвать.

Недостатокъ лиризма однако постоянно даетъ себя знать. Если, по мнѣнію г. Жемчужникова, лиризмъ необходимъ для «чистой поэзіи», то вѣдь онъ не менѣе нуженъ и для идейной, тенденціозной поэзіи. Лирическое воодушевленіе согрѣваетъ поэтическое произведеніе и придаетъ ему силу или хотя подобіе силы даже тогда, когда внутреннее содержаніе его вполне ничтожно. На нѣтъ и суда нѣтъ, конечно, и мы не стали бы много распростра-

няться объ этомъ отсутствіи у г. Жемчужникова лиризма, если бы самъ поэтъ не пытался довольно часто прибѣгать къ его помощи, несмотря на свою сознанную слабость въ этомъ отношеніи. Настоящая стихія г. Жемчужникова — негодованіе и *гражданская скорбь*, не лирически-жалобная, а гнѣвная и протестующая. Вообще говоря, лиризмъ, конечно, вполне совмѣстимъ съ сатирой: вспомнимъ, напри., *Размышленія у параднаго подъязда* Некрасова, и я хочу сказать лишь то, что эти роды поэзіи не совмѣщаются у г. Жемчужникова. Хотя, обращаясь къ своей «музѣ», г. Жемчужниковъ однажды прямо сказалъ, что «слезъ рюмкованныхъ не надо», тѣмъ не менѣе онъ нерѣдко отступаетъ отъ этого правила и всегда ко вреду цѣльности и стройности своихъ произведеній.

Возьмемъ, напри., стихотвореніе *На родинѣ*. Вотъ отрывокъ изъ *первой половины* его:

О, этотъ видъ! О, эти звуки!  
О, край родной, какъ ты мнѣ милъ!  
Отъ долговременной разлуки,  
Какія радости и муки  
Въ моей душѣ ты пробудилъ!..  
Твоя природа такъ прелестна;  
Она такъ скромно-хороша!  
Но намъ, сынамъ твоимъ, извѣстно,  
Какъ на твоємъ просторѣ тѣсно  
И въ узахъ мучится душа...  
О, край ты мой! Что жъ это значить,  
Что никакой другой народъ  
Такъ не тоскуетъ и не плачетъ,  
Такъ дара жизни не кланетъ?  
Шумятъ лѣса свободнымъ шумомъ,  
Играютъ птицы... О, зачѣмъ  
Лишь воли нѣтъ народнымъ думамъ  
И человѣкъ угрюмъ и нѣмъ?  
Понятны мнѣ его недуги  
И страсть—всѣ радости свои,  
На утомительномъ досугѣ,  
Искать въ бреду и въ забыты,

Онъ дорожить своей находкой,  
И лишь начать сосать тоска—  
Ужъ потянулась къ штофу съ водкой  
Его дрожащая рука.

Мы не обинуясь назовемъ это именно «приемованными слезами». Искренности поэта мы не заподозрѣваемъ, но онъ не передаетъ своего чувства намъ и мы остаемся холодны, несмотря на многочисленныя «о!». Мы хладнокровно замѣчаемъ во время чтенія, что стихъ «природа такъ прелестна»—прозаиченъ, что образъ «въ узахъ мучится душа»—неудаченъ, что эпитетъ «*утомительный* досугъ»—неумѣстенъ, что выраженіе «понятны недуги и страсть народа искать свои радости въ бреду и въ забытьи»—совершенно непонятно, что заключительныя строчки насчетъ штофа съ водкой отдають поэзіей *Стрекозы* и *Будильника*. Нѣтъ, не дается нашему поэту лиризмъ, это очевидно. Но вотъ г. Жемчужниковъ, сказавши, что «за преступленья и пороки народъ винить я не хочу», обращается съ негодующею рѣчью въ другую сторону къ дѣйствительнымъ виновникамъ, и его стихъ сразу приобретаетъ крѣпость, силу и выразительность:

Но тѣ мнѣ, Русь, противны люди,  
Тѣ изъ твоихъ отборныхъ чадъ,  
Что, колотя въ пустыя груди,  
Все о любви къ тебѣ кричатъ.  
Противно въ нихъ соединенье  
Гордыни съ низостью въ борьбѣ,  
И къ русскимъ гражданамъ презрѣнье  
Съ подобострастіемъ къ тебѣ.  
Противны затхлость ихъ понятій,  
Шумиха фразы на лету,  
И видъ ихъ пламенныхъ объятій,  
Всегда простертыхъ въ пустоту.  
И отвращенія и злобы  
Исполненъ къ нимъ я съ давнихъ лѣтъ,  
Они—„поваленные“ гробы...  
Лишь настоящее прошло бы  
А тамъ—нимъ будущаго нѣтъ...

Конечно, и здѣсь есть формальные недочеты (наприм., что значить *шумиха фразы на лету?*), но все-таки большая разница между первой и второй частями стихотворенія: тамъ жалостное причитанье, здѣсь энергическій укоръ.

Г. Жемчужниковъ вообще поэтъ интеллигенціи. О народѣ онъ говоритъ относительно рѣдко и должно сказать, что его понятія на этотъ счетъ далеко не отличаются опредѣленностью. По крайней мѣрѣ, одна «замѣтка» его способна возбудить серьезные недоумѣнія въ однихъ и злорадство въ другихъ. Вотъ эта «замѣтка»:

Въ насмѣшку и въ позоръ моей родной земли  
Такъ нѣкогда сказалъ нашъ врагъ иноплеменный:  
„Лишь внѣшность русскаго немножко поскобли,  
Подъ ней—татаринъ непремѣнно“.  
Теперь проявимся мы въ образѣ иномъ.  
Такъ отатарить насъ „народниковъ“ дружина,  
Что сколько ни скреби татарина потомъ,—  
Не доскребешь до славянина.

«Замѣтка» помѣчена 1883 годомъ. Къ этому времени литературное теченіе наше, извѣстное подъ именемъ народничества, успѣло выразиться настолько, что не могло возбуждать сомнѣній относительно своихъ идеаловъ. Можно было принимать или отвергать эти идеалы, но приписывать нашимъ народникамъ желаніе «отатарить» народъ не было никакихъ основаній. Этихъ ли народниковъ имѣлъ въ виду г. Жемчужниковъ? Можно пожалѣть въ такомъ случаѣ о его недостаточномъ знакомствѣ съ однимъ изъ любопытнѣйшихъ и характернѣйшихъ выраженій нашей мысли. Или г. Жемчужниковъ разумѣлъ подъ именемъ народниковъ тѣхъ «отборныхъ чадъ», которыя, «колотя въ пустыя груди», только *кричали* о своей любви къ народу? Тогда нужно пожалѣть о слишкомъ произвольной терминологіи поэта: между «народниками» и такъ называемыми «патріотами» разница гораздо болѣе, нежели, наприм., между г. Жемчужниковымъ и г. Фетомъ.

Г. Жемчужниковъ любить жизнь, любить людей, горячо

отстаиваетъ ихъ лучшіе идеалы, но это вовсе не жизне-  
радостный поэтъ. Жизнь онъ любитъ какъ будто въ от-  
влеченіи, а людей какъ будто въ воспоминаніи, въ настоя-  
щемъ же онъ чувствуетъ себя одиноко и холодно. Отчасти,  
конечно, здѣсь выражается тотъ самый нравственный мо-  
тивъ, который подмѣченъ Пушкинымъ въ знаменитой пьесѣ  
19 октября 1825 г.

Несчастный другъ! средь новыхъ поколѣній  
Доучный гость, и лишній и чужой,  
Онъ вспомнить насъ и дни соединеній,  
Закрывъ глаза дрожащую рукой...

Безъ сомнѣнія, г. Жемчужниковъ не можетъ считать  
себя лишнимъ и доучнымъ гостемъ средь новыхъ поко-  
лѣній, но извѣстное отчужденіе онъ, если не ошибаемся,  
испытываетъ въ глубинѣ сердца. Съ полною и горячею  
готовностью мы присоединяемся къ тому, что онъ сказалъ  
въ одномъ стихотвореніи о старинѣ:

О, если жить охота есть,  
О, если миль ему міръ Божій,—  
Пускай живетъ! Еще принесть  
Онъ можетъ пользу молодежи.

Мы обѣими руками подписываемся подъ этимъ. Но наше  
замѣчаніе объ *отчужденіи* все-таки сохраняетъ свою силу.  
Видите ли, негодованіе, исходящее не изъ теоретическаго,  
а изъ практическаго источника, не изъ головы, а изъ серд-  
ца, не отъ духа противорѣчія только, но и отъ оскорблен-  
наго чувства любви, непременно будетъ смягчаться грустью  
и отбѣняться горечью. Кому и знать объ этомъ, какъ не  
г. Жемчужникову, автору превосходнаго стихотворенія  
*Сняла съ меня судьба въ жестокой этотъ вѣкъ?..* Прочтя  
это стихотвореніе, вы поймете, что значить чувствовать  
не вчужѣ, глядѣть не со стороны, страдать, а не состра-  
дать только. Но зато вѣдь это стихотвореніе—единствен-  
ное въ этомъ родѣ у г. Жемчужникова. Во всѣхъ осталь-  
ныхъ случаяхъ нашъ поэтъ или только негодуетъ, или

только иронизируетъ, только порицаетъ. Его сатиры — за указаннымъ единственнымъ исключеніемъ — гораздо болѣе плоды «ума холодныхъ наблюденій», нежели «сердца горестныхъ замѣтъ». Приходитъ, наприм., къ г. Жемчужникову одинъ изъ мудрецовъ новѣйшей формаціи и начинаетъ ему проповѣдывать свою, хорошо теперь всѣмъ извѣстную несложную мудрость:

Впадать въ унынье — не умно;  
Смотрѣть на жизнь должны мы бодро.  
Вѣдь послѣ дня — всегда темно,  
И дождь всегда смѣняетъ ведро.  
Противъ рожна не претъ философъ,  
Не признаю я вашихъ всѣхъ  
Такъ называемыхъ вопросовъ.  
Плачь не спасетъ отъ бѣды и золь и пр.

Когда такіа разсужденія мы читаемъ въ прозаическомъ изложеніи въ какомъ-нибудь изъ «трезвенныхъ» нашихъ органовъ, мы, конечно, много не беспокоимся и хладнокровно замѣчаемъ: мели, Емеля, твоя недѣля! Но вѣдь г. Жемчужниковъ имѣетъ дѣло не съ явленіями литературы, а съ явленіями жизни, обличаетъ не литературствующую молодежь, а современную молодежь вообще. Это несравненно серьезнѣе, одной голой ироніи тутъ слишкомъ мало, но г. Жемчужниковъ именно только ироніей и ограничивается. Онъ замѣчаетъ вслѣдъ «философу»:

Что жъ! Вѣдь его сужденія — здравы.  
Онъ самъ и молодъ и здоровъ...  
Какія жъ могутъ быть причины,  
Что отъ здоровья этихъ словъ  
Такъ вѣетъ запахъ мертвечины?

Это остроумно, конечно. Для полемической журнальной статьи такое заключеніе было бы и удовлетворительно и эффектно, но для поэзіи одной ироніи такъ же недостаточно, какъ, напримѣръ, для науки недостаточно одного здравого смысла.

Мы очень опасаемся, что *любовь къ жизни* превращается

у г. Жемчужникова просто-напросто въ *любовь къ природѣ*.  
Напримѣръ, что это такое:

Свободы, тишины, безмолвія хочу я.  
Съ природой бы родной прожить остатокъ дней  
Въ уединеніи! Потомъ, конецъ почувя,  
Хотѣлъ бы хотъ въ окно успѣть проститься съ ней.  
А ты, природа-мать, и свѣтлыхъ дней лучами,  
И тьмой, и звѣздами, и красками зари,  
И всѣми чудными твоими голосами  
Со мной, пока живу, немолчно говори!

Желаніе уйти отъ жизни «подъ сѣнь струй», какъ выражался Хлестаковъ, въ видѣ мимолетнаго настроенія духа, какъ выраженіе простого утомленія, знакомо, вѣроятно, многимъ. Но бѣда, если это чувство укоренится въ человѣкѣ; нехорошо и тогда, если оно будетъ слишкомъ часто приходить къ нему. Г. Жемчужникова оно посѣщаетъ частенько, и если г. Жемчужниковъ безъ труда найдетъ резоны въ свою защиту, — семидесятилѣтнему старику позволительно подумать объ отдыхѣ, — мы все-таки отъ своего замѣчанія или упрека не откажемся. Слишкомъ ужъ любить г. Жемчужниковъ природу, слишкомъ ужъ онъ превозносить ее надъ нами, людьми, такъ что доходитъ до очевидной несправедливости. Въ то время, какъ у насъ, по его мнѣнію, все дурно въ природѣ будто бы все хорошо:

Пока есть слухъ, пока есть зрѣнье  
И впечатлѣніе свѣжо,  
Любя въ природѣ всѣ явленья,  
Твержу я, полнъ благоговѣнья:  
„Все хорошо, все хорошо!“

Конечно, природа никогда не можетъ возмутить нашего нравственнаго чувства, но зато никогда не можетъ и дать ему удовлетворенія. Это удовлетвореніе можетъ явиться только какъ результатъ *побѣды надъ ней*, а побѣда предполагаетъ борьбу, а борьба свидѣтельствуетъ о нашемъ сознаніи, что въ природѣ *не все хорошо*, что она неразумна и, слѣдовательно, несовершенна. Какъ ни плоха

наша жизнь и какъ ни справедливы укоры, расточаемые ей г. Жемчужниковымъ, она все-таки прогрессируетъ въ силу собственной самостоятельности, тогда какъ природа видоизмѣняется, эволюціонируетъ, но прогрессируетъ она лишь уступая нашей волѣ и нашему разуму. Г. Жемчужниковъ восклицаетъ въ пантеистическомъ восторгѣ:

За цвѣтъ черемухи и вишни,  
За эти пѣсни соловья,  
За все, чѣмъ вновь люблюсь я,  
Благодарю Тебя, Всевышній!

Г. Жемчужниковъ могъ бы, кромѣ того, поблагодарить и людей, потому что онъ восклицаетъ это, сидя, во-первыхъ, въ *собственномъ* саду и, во-вторыхъ, въ собственномъ *саду*. Человѣческая культура тоже вѣдь кое-что значить и кое-чего стоитъ, и всякій человѣкъ слишкомъ многимъ обязанъ людямъ, чтобы не чувствовать къ нимъ благодарности. Всѣмъ этимъ мы хотимъ сказать только то, что г. Жемчужниковъ не совсѣмъ выполнилъ ту программу, которую поставилъ себѣ:

Добромъ помяну все, что было хорошаго въ жизни,  
Что умъ мой будило, что сердце плѣняло мое;  
Въ послѣднемъ признаніи выскажу бѣдной отчизнѣ,  
Какъ больно люблю я ее.

За всѣмъ тѣмъ, несмотря на всѣ эти недочеты, поэзія г. Жемчужникова въ общемъ представляетъ собою на мрачномъ фонѣ текущей литературы рѣшительно свѣтлое явленіе. Все приходитъ во время для того, кто умѣетъ ждать, говорить французская пословица. Г. Жемчужниковъ долго ждалъ своей очереди и, наконецъ, дождался ея, и книга его стихотвореній останется прекраснымъ памятникомъ не только въ исторіи нашей литературы, но и въ исторіи нашей общественности. Поучительное и трогательное зрѣлище представляетъ собою этотъ старикъ, точно пришедшій къ намъ изъ другого, лучшаго міра и заставшій насъ въ бѣшеной пляскѣ вокругъ золотого тельца. Но



онъ не разбилъ о камень своихъ скрижалей. Отчаяніе не овладѣло имъ. Съ непоколебимою вѣрой человѣка, лице-зрѣвшаго истиннаго Бога, онъ громить наше идолопоклонство, напоминаетъ намъ и о нашемъ плѣнѣ египетскомъ, и о трудномъ переходѣ нашемъ черезъ пустыню. Изъ имѣющихъ уши кто-нибудь услышитъ, изъ услышавшихъ кто-нибудь увѣруетъ—и этимъ онъ будетъ обязанъ г. Жемчужникову.

1900 г.

## Прекрасный закатъ.

„Пѣсни старости“. Стихотворенія А. М. Жемчужникова. 1892—  
1898 гг. Спб., 1900 г.

Слава тебѣ, возвѣститель утра!  
Сонный покой мнѣ ужъ больше не жутокъ.  
Свѣта и жизни настанетъ пора!  
Темный подходитъ къ концу промежутокъ!

А. М. Жемчужникова.

### I.

Не слишкомъ ли широковъщателенъ нашъ эпиграфъ? Г. Жемчужниковъ обращаетъ свое восклицаніе къ «благговѣсту въ колоколъ церкви сосѣдней», раздавшемуся среди ночной тишины и разогнавшему «сумрачныя думы» поэта, при чемъ не подразумеваетъ никакихъ аллегорій и менѣе всего склоненъ считать себя «возвѣстителемъ утра». На своемъ пятидесятилѣтнемъ юбилеѣ, недавно отпразднованномъ довольно единодушно почти всею нашею журналистикой, г. Жемчужниковъ, разумѣется, наслушался всякихъ варіацій на тему «слава тебѣ!»—но, сколько намъ извѣстно, возвѣстителемъ утра и тамъ его никто не называть. Да оно и понятно: восьмидесятилѣтній старецъ въ роли *возвѣстителя утра* — это въ самомъ дѣлѣ звучитъ какъ-то странно, неловко и даже какъ бы смѣшно.

На юбилейномъ торжествѣ, передъ живою личностью престарѣлаго юбиляра, вѣроятно, и мы не рискнули бы употребить выраженіе *возвѣститель утра*, но вѣдь теперь

передъ нами не человѣкъ, а поэтъ, не юбиляръ, а юбилейная книга, не конкретная, а литературная личность. Мы развертываемъ эти «Пѣсни старости», вникаемъ, вдумываемся въ нихъ, но признаковъ, характеризующихъ подлинную старость, мы въ нихъ не находимъ. Это — звучныя пѣсни, пропѣтыя мощнымъ и полнымъ голосомъ, — пѣсни, правда, навѣвающие на васъ иногда грусть, но лишь ту сладкую и задумчивую грусть, которая вообще такъ свойственна настоящей русской пѣснѣ и которая не имѣетъ ничего общаго съ похоронною тоскою, съ надгробнымъ рыданіемъ. Ничто не вѣчно, и рано или поздно «мы все сойдемъ подъ эти своды и чей-нибудь ужъ близокъ часъ», — такъ что же? Лишь бы умереть въ мирѣ съ самимъ собою, съ людьми, съ жизнью, съ землею. Сверстникъ г. Жемчужникова и поэтъ равный ему по размѣрамъ (не по свойствамъ) таланта, очень хорошо сказалъ на этотъ счетъ:

Хоть и жаль, можетъ быть, разставаться съ землею,  
Когда все вокругъ тебя расцвѣтаетъ,  
Но блаженъ, кто, пройдя путь нерадостный свой,  
Съ примиреньемъ въ груди умираетъ.

Этимъ блаженствомъ, о которомъ Плещеевъ только мечталъ и вздыхалъ, г. Жемчужниковъ обладаетъ въ полной мѣрѣ. Это тѣмъ болѣе замѣчательно, что Плещеевъ былъ натура созерцательная, а г. Жемчужниковъ — натура боевая, не чуждая ни гнѣву, ни негодаванію. И за всемъ тѣмъ, прочтите послѣднюю «пѣсню» г. Жемчужникова, вслушайтесь въ этотъ торжественно-печальный аккордъ его книги:

О, когда бъ мнѣ было можно  
Упредить мой день послѣдній!  
Чтобъ, еще владѣя духомъ,  
Не больнымъ, не помраченнымъ,  
Я успѣлъ пойти проститься  
Съ милой матерью-землею.  
Въ благодатную погоду

Выйду я на воздухъ сельскій,  
И, укрытый темнымъ лѣсомъ  
Иль среди полей пустынныхъ,  
Такъ я съ ней прощаться стану:  
Съ непокрытой головою  
На востокъ, на югъ, на западъ  
И на сѣверъ поклонюся,  
И скажу: прости, міръ Божій!  
Преклоню потомъ колѣни  
И земли коснусь поклономъ  
И задумаюсь надъ нею;  
И, быть можетъ, затоскуя,  
Орошу ее слезами;  
И скажу: прими отъ сына  
Благодарность за хлѣбъ, за соль.  
Долго ты его, родная,  
Ублажала и кормила:  
Жить онъ долѣе не въ силахъ;  
Онъ теперь покоя просить:  
Упокой его навѣки.

Можно ли найти болѣе печальную тему для размышлений? И можно ли отнести къ этой темѣ болѣе правдиво, достойно и мужественно, нежели это сдѣлалъ старецъ-поэтъ? Много грусти, но ни тѣни унынія; есть печаль, но нѣтъ отчаянія. Какъ прекрасна эта благодарность землѣ-матери за хлѣбъ, за соль и сколько въ ней глубоко-человѣческаго смысла по сравненію съ тѣми мнимо-глубокими, а въ сущности—злобно-безсильными проклятіями, которыя мы не разъ слышали отъ другихъ поэтовъ въ тождественныхъ положеніяхъ: достаточно вспомнить, наприм., Апухтина... И замѣтите еще эту черту въ г. Жемчужниковѣ: онъ любовно прощается съ землею-матерью, но о людяхъ-братьяхъ умалчиваетъ. Почему? Отвѣтъ одинъ: потому что въ поэтѣ еще не умеръ боецъ, не погасъ тотъ огонь, который внушалъ ему такъ часто негодующіе сарказмы. «Жить онъ долѣе не въ силахъ», но онъ еще болѣе не въ силахъ любовно обняться съ тѣми, кто оскорблялъ и возмущалъ его нравственное чувство. Духовное братство

для него выше и понятнѣе антропологическаго или зоологическаго родства, и онъ, очевидно, даже у преддверія гробницы не хочетъ забыть, что между братьями-людьми есть Авели, да не мало и Каиновъ. Тѣмъ чище и непосредственнѣе его пантеистическая любовь къ природѣ, къ землѣ-кормилицѣ, къ которой онъ и зоветъ людей, но, оставаясь вѣрнымъ себѣ, опять-таки не всѣхъ безъ разбора зоветъ, а лишь тѣхъ, кто, по его разумнѣю, достоинъ того:

Въ этотъ храмъ природный, храмъ нерукотворный  
Приходите, люди, бросивъ города!  
Въ немъ—пріютъ свободный мысли непокорной,  
Утѣшеніе въ горѣ, отдыхъ отъ труда.  
Въ этотъ храмъ любовно распахнуты двери  
Всѣмъ умамъ широкимъ, всѣмъ благимъ сердцамъ,  
Всѣмъ людскимъ ученьямъ, и мечтамъ, и вѣрѣ—  
Входъ свободенъ въ храмъ.

Постоянное любовное общеніе съ природой, предрасполагающее къ тихому и мирному созерцанію, конечно, много способствовало сохраненію въ душѣ поэта всѣхъ ея живыхъ силъ. Періодическое посѣщеніе поэтомъ *нерукотворнаго храма* обновляло его силы, давало ему, по его собственному признанію, *отдыхъ отъ труда*. Возможность такого отдыха—это, конечно, только счастливая для поэта случайность, но важно для насъ и характерно для поэта то обстоятельство, что отнюдь не въ созерцаніи онъ видѣлъ свою обязанность, свое призваніе, свой *трудъ*. Созерцаніе для созерцанія—совсѣмъ не въ духѣ Жемчужникова. Свою литературную, нравственную и общественную роль онъ самъ опредѣлилъ съ полною ясностью и точностью въ стихотвореніи «Завѣщаніе»:

Межъ тѣмъ какъ мы вразбродъ стезею жизни шли,  
На знамя, средь толпы, наткнулся я ногою.  
Я подобралъ его, лежавшее въ пыли,  
И съ той поры несу, возвысивъ надъ толпою.  
Девизъ на знамени: „Духъ доблести храни“.

Такъ воинъ рядовой за честь на бранномъ полѣ,  
Я, счастливъ и смущенъ, явился въ наши дни  
Знаменоносцемъ поневолѣ.  
Названье мнѣ дано поэта-гражданина  
За то, что я одинъ про доблесть пѣсни пѣлъ;  
Что былъ глашатаемъ забытыхъ, старыхъ истинъ,  
И силенъ былъ лишь тѣмъ, хотя и старъ и слабъ,  
Что въ людяхъ рабскій духъ мнѣ сильно ненавистенъ,  
И самъ я съ юности не рабъ.

*Глашатай забытыхъ старыхъ истинъ...* Какихъ именно истинъ? Около восьми лѣтъ назадъ на страницахъ *Русской Мысли* вотъ что говорилъ я на этотъ счетъ: «Жемчужниковъ безъ устали напоминаетъ намъ всѣмъ «забытыя слова» —

Тѣ лучшія слова, такъ людямъ дорогія,  
Въ комъ сердце чувствуетъ, чья мыслить голова:  
Отчизна, совѣсть, честь и многія другія  
Забытыя слова.

Ему противны не тѣ или другія доктрины, по ихъ внутреннему содержанію, а противно лишь легкомысленное и въ особенности лицемѣрное отношеніе къ нимъ. Если вы думаете объ *отчизнѣ*, если руководитесь *совѣстью*, если въ васъ живо чувство *чести*, если вообще «забытыя слова» не забыты вами, — г. Жемчужниковъ вашъ, и вамъ нечего опасаться его изобличенія, каковы бы ни были ваши убѣжденія».

Но въ этомъ именно и состоитъ то основаніе, по которому мы называемъ г. Жемчужникова *возвѣстителемъ утра*. Посмотрите на него, взгляните въ этотъ *прекрасный закатъ*, не омрачаемый никакими тучами: не общеніе съ природой только сохранило въ поэтѣ весь запасъ его душевныхъ силъ, а больше всего его общеніе съ идеаломъ, разнообразныя формы котораго характеризуются всякаго рода «забытыми словами». Новое, какъ сказалъ кто-то, есть хорошо забытое старое, и съ этой точки зрѣнія г. Жемчужниковъ является воистину *возвѣстителемъ утра*. Какъ

въ наши бѣлыя петербургскія ночи, его *закатъ*, его вечерняя заря встрѣчается съ зарею утренней,—«едва давъ ночи полчаса»,—и этой нашей утренней зарей будетъ новое, но уже болѣе сознательное, очищенное критикой разума, возвращеніе наше къ «забытымъ словамъ», къ нравственнымъ идеаламъ, къ альтруизму и любви. И насъ въ этомъ случаѣ не смущаетъ даже то сомнѣніе, которое тяготитъ поэта, какъ онъ это выразилъ въ томъ же своемъ «завѣщаніи»:

Но подвигъ не свершонъ, мнѣ выпавшій въ удѣлъ,  
Разбредшуюся рать сплотить бы воедино...

Зачѣмъ это? Всѣ дороги въ Римъ ведутъ, *если* только человѣкъ въ самомъ дѣлѣ рѣшился добратся до Рима. *Разбредшаяся рать* разбрелась не случайно и сплотить ее воедино можетъ отнюдь не чья-нибудь личная воля и личное вліяніе, а свободное убѣжденіе каждаго отдѣльнаго ратника. Лишь бы поменьше было дезертировъ и предателей среди рати, лишь бы разбредшіеся ратники не забывали о своемъ назначеніи, а все прочее приложится. Ни наука, ни опытъ не отвергають цѣлесообразности партизанской тактики.

Не въ пыли нашелъ г. Жемчужниковъ свое знамя,—онъ принялъ его изъ охладѣвавшихъ рукъ Салтыкова, который хотѣлъ, но не успѣлъ напомнить намъ о «забытыхъ словахъ». Сатирикъ-поэтъ явился прямымъ наслѣдникомъ по духу сатирика-прозаика и, конечно, это обстоятельство очень характерно для нашей дѣйствительности. А все-таки намъ хотѣлось бы, чтобы поэтъ-сатирикъ, уходя изъ этой дѣйствительности, взглянулъ на нее не враждебнымъ, а примиреннымъ взоромъ, простился съ ней такъ, какъ онъ собирается проститься съ землей. Намъ хотѣлось бы этого въ интересахъ самого поэта, который въ одномъ изъ позднѣйшихъ своихъ стихотвореній (помѣчено 98 г.) выражается такъ:

Такъ проченъ въ сердцѣ и въ мозгу  
Высокій строй эпохи прошлой,  
Что съ современностію пошлой  
Я примириться не могу.  
Но я, безсильный, ужъ не спору,  
И, вспоминая старину,  
Не столь волнуюсь и кляню,  
Какъ предаюсь тоскѣ и горю.

Этой тоски и этого горя не было бы, если бы поэтъ вспомнилъ ту вѣковѣчную истину, что не нами міръ начался, не нами міръ и кончится. Много еще всего впереди будетъ—и дурного и хорошаго, и мы, остающіеся, съ полнымъ убѣжденіемъ можемъ сказать уходящему: до радостнаго утра! Кто, по выраженію другого поэта, сѣялъ разумное, доброе, вѣчное, тотъ можетъ быть увѣренъ не только въ томъ, что ему скажутъ спасибо сердечное, но и въ томъ, что посѣянные зерна не будутъ преданы птицамъ на расхищеніе. Всего четыре года назадъ г. Жемчужниковъ не только съ поэтическимъ одушевленіемъ, но и съ пророческимъ пафосомъ говорилъ какъ разъ объ этихъ «благородныхъ зернахъ» и о «сильно растущихъ плевелахъ». Онъ училъ насъ тогда молиться — «просите Его и Онъ дастъ» и самъ закончилъ страстнымъ молитвеннымъ воззваніемъ:

Ты дышишь, гдѣ хочешь, о, Духъ, призывающій къ жизни!  
Дай жизни познать намъ пути:  
Любови, правосудья и свѣта дай нашей отчизнѣ!  
Дохнуть на нее захоти!

Это только выраженіе надежды. Мы кончимъ пожеланіемъ, чтобъ эта надежда превратилась у нашего поэта въ спокойную увѣренность. Горе и тоска тогда покинутъ его.



1899 г.

## Поэты переходнаго времени.

Стихотворенія С. Я. Надсона. Изданіе шестнадцатое. Спб., 1898 г.  
П. Я. Стихотворенія. Спб., 1898 г.

---

И призраки ушли, но вѣра неизмѣнна...  
А вотъ и солнце вдругъ взглянуло изъ-за тучъ...  
Владычица земли! Твоя краса нетлѣнна,  
И свѣтлый богатырь безсмертенъ и могучъ.

Владиміръ Соловьёвъ.

### I.

Черезъ два года кончается девятнадцатое столѣтіе, и это обстоятельство невольнымъ образомъ располагаетъ къ нѣкоторымъ ретроспективнымъ взглядамъ, если къ этому представляется хоть малѣйшій внѣшній поводъ: Въ данномъ случаѣ такой поводъ очевидно имѣется. *Поэты переходнаго времени*... Какого такого переходнаго времени? Что такое переходное время? И развѣ вообще время, не оставляющее ни на одно мгновеніе, не есть, по самому существу своему, время *переходное*? Последнее соображеніе, должно быть, остроумно, потому что нерѣдко встрѣчается даже въ печати. Не подлежитъ однако сомнѣнію, что «время на время не приходится», какъ попросту говорится, что въ жизни личностей, какъ и въ жизни обществъ, бываютъ такіе мертвые періоды, когда цѣль движенія и даже самаго существованія закрывается какимъ-то туманомъ, въ волнахъ котораго ничего не видно. Оглянемся назадъ, попробуемъ припомнить, въ самыхъ, разу-

мѣется, общихъ чертахъ, вторую половину текущаго и уже истекающаго столѣтія: удивительно правильная періодичность подъема и упадка нашего общественнаго духа сама собой бросается въ глаза.

Итакъ, мы въ сорокъ восьмомъ году. Говорить много объ этомъ времени нечего. «Благо Бѣлинскому, умершему во время!» восклицалъ запоздавшій Грановскій, и этотъ стонъ души одного изъ чистѣйшихъ и умнѣйшихъ русскихъ людей является наилучшею характеристикой того времени. Всеобщая паника въ виду западныхъ событій, венгерская кампанія, драма петрошевцевъ, осмѣлившихся сообща «читать книжки», Бутурлинскій комитетъ, Тургеневъ, сидящій на сѣзжей за печатное выраженіе своего уваженія къ только что умершему Гоголю, и т. д.,—все въ томъ же убійственно-однообразномъ родѣ. Было душно, какъ всегда передъ грозою, которая и не замедлила разразиться—совсѣмъ не съ той стороны, съ которой ее опасались. Говорятъ, глупо и бесполезно строить предположенія о томъ, что было бы, если бы и кабы и т. д. Можетъ быть, онѣ и неумно, но естественно, да ужъ и не такъ бесполезно, какъ кажется: такія предположенія, какъ въ математикѣ доказательства «отъ противнаго», помогаютъ выясненію смысла историческихъ событій, и вотъ, спросимъ себя: что было бы у насъ, если бы Наполеонъ III замедлил образованіемъ коалиціи противъ насъ? Или, еще того проще, что было бы, если бы въ Севастополѣ мы восторжествовали надъ союзниками? Былъ бы историческій абсурдъ, создалось бы положеніе прямо невозможное: начало *личности*, все болѣе и болѣе, съ неуклонною послѣдовательностью, эмансипировавшейся на Западѣ, было бы подавлено началомъ всепоглощающей государственности, представителемъ котораго являлась тогдашняя Россія. Развитие Европы было бы столкнуто съ его историческаго русла, какъ это было съ нами за шестьсотъ лѣтъ передъ тѣмъ. Судьба рѣшила иначе—и да здравствуетъ ея мудрость! Не

Европа на нашъ ладъ, а мы на европейскій ладъ принуждены были реформироваться, и съ 1856 года начинается новый, ровно десять лѣтъ продолжавшійся созидательный періодъ нашей исторіи.

Значеніе такъ называемыхъ шестидесятихъ годовъ опредѣляется, по нашему мнѣнію, прежде всего именно освобожденіемъ личности, пробужденіемъ въ ней сознанія *своею собственною* (а не отраженнаго) достоинства, своихъ естественныхъ правъ. Не человѣкъ для субботы, а суббота для человѣка; не личность для государства, а государство для личности—вотъ откровеніе, которое принесла намъ крымская кампанія. Право инициативы, право свободной критики, право—скажемъ—общее, *дѣлать исторію* было у насъ чѣмъ-то въ родѣ государственной регалии, и опыты воочию показали, что такой порядокъ вещей ведетъ не къ усиленію, а къ ослабленію самого монополиста. Этотъ опытъ разрѣшилъ умы и развязалъ перья и языки. Молчалинское «не должно смѣть свое сужденіе имѣть», еще недавно казавшееся если не мудростью, то благоразуміемъ, потеряло всякій кредитъ и стало смѣшнымъ. Это было истинное *торжество духа*, столь долго, вопреки велѣнію апостола, угашаемаго и вспыхнувшего, наконецъ, яркимъ пламенемъ. Русская кровь, пролитая въ Севастополѣ, послужила масломъ для этого пламени. Всѣ, наперекоръ прошлому, захотѣли именно *свое* сужденіе имѣть, и въ литературѣ это стремленіе отразилось въ приснопамятномъ „отрицаніи авторитетовъ“, а въ государственномъ строѣ оно выразилось въ трехъ извѣстныхъ фундаментальныхъ реформахъ (крестьянской, судебной и земской), построенныхъ на одномъ и томъ же принципѣ,—на принципѣ освобожденія личности, предоставленія ей необходимыхъ для человѣческаго существованія правъ и гарантій. Во второй половинѣ шестидесятихъ годовъ государственное творчество пошло на убыль, а идейное теченіе, проходившее до тѣхъ поръ въ одномъ общемъ широкомъ руслѣ, разбилось на отдѣльные рукава

и потоки, которые хотя всё впадали въ одно и то же море—въ море народной жизни, — но протекали въ разныхъ направлѣніяхъ и впадали въ различныхъ, иногда очень другъ отъ друга отдаленныхъ, пунктахъ. „Наше время— не время широкихъ задачъ“, „должно признаться, но нельзя не сознаться“—эти и подобныя имъ формулы высказывались въ то время не врагами, а искренними доброжелателями народа, не хотѣвшими или не умѣвшими понять только того, что „широкая задача“ исторической минуты состояла именно въ томъ, чтобы побудить освобожденный народъ выразить, наконецъ, свою точную волю, высказать, наконецъ, свою задушевную мысль. Нашлись однако люди болѣе послѣдовательные и мужественные, всё усилія которыхъ были направлены именно къ тому, чтобы выяснитъ намъ духовный обликъ народа, его желанія и его идеалы (народники-художники), или къ тому, чтобы вызвать его къ дѣйствіямъ, въ которыхъ мысль и воля народа могли бы выразиться съ непререкаемою ясностью.

Содержаніе такъ называемыхъ семидесятыхъ годовъ исполнѣ исчерпывается этимъ народническимъ движеніемъ, т.-е. не движеніемъ народа, а движеніемъ значительной части русской интеллигенціи во имя народа, во имя его права на самоопредѣленіе, на самостоятельность. Съ исторической точки зрѣнія ничего не могло быть логичнѣ этого движенія. Судьба Россіи опредѣляется судьбою нашего крестьянства—вотъ исходное, основное положеніе, возражать противъ котораго было бы мудрено. Умники сороковыхъ годовъ (а также и двадцатыхъ), западники и славянофилы, теоретизировали прѣвосходно, но они, какъ говорится, судили *безъ хозяина*, не зная народа и не будучи въ состояніи его узнать, потому что крѣпостной человѣкъ—не гражданинъ, а безгласный рабъ, которому, въ интересахъ собственнаго самосохраненія, полезно какъ можно меньше мыслить и чувствовать. Истлѣвшія историческія данныя да кое-какія болѣе или менѣе остроумныя апріорныя сообра-

женія—вотъ все, чѣмъ могли располагать и западники и славянофилы въ своихъ заключеніяхъ о будущности Россіи. На этой почвѣ и крайній пессимистъ Чаадаевъ и крайній оптимистъ Константинъ Аксаковъ съ одинаковымъ удобствомъ могли отстаивать свои позиціи, какъ это и было въ дѣйствительности. Но вотъ—народъ освобожденъ, „порвалась цѣпь великая“. Принимая въ свои руки это драгоцѣннѣйшее наслѣдіе шестидесятихъ годовъ, люди послѣдующаго поколѣнія могли съ облегченіемъ воскликнуть: нынѣ отпускаеши! Скоро, скоро наступитъ конецъ всякимъ нашимъ сомнѣніямъ, всякимъ кривотолкамъ и діалектическимъ упражненіямъ: свободный народъ, народъ-гражданинъ, *самъ*, наконецъ, выразить свои желанія, и эти желанія будутъ для насъ закономъ, тою аріадниною нитью, которая выведетъ насъ изъ лабиринта нашихъ произвольныхъ умствованій и гаданій. Грѣха таить нечего, и былъ молодцу не укоръ: подразумѣвалось въ глубинѣ души, что народъ выскажется въ желательномъ для насъ смыслѣ, въ духѣ *нашихъ* идеаловъ, истинность которыхъ для насъ не подлежала сомнѣнію въ теоретическомъ смыслѣ, но которымъ недоставало лишь всенародной санкціи. Вотъ объ этой-то санкціи и начались въ семидесятихъ годахъ великія заботы и хлопоты. Ну... Говорить ли дальше? Для освѣженія воспоминаній перечитайте тургеневскую *Новь*: это не первокласснаго достоинства романъ, но многое, непосредственно относящееся къ занимающему насъ предмету, подмѣчено въ немъ вѣрно и изображено правильно, безъ карикатуры и безъ злобы, а этого достаточно для историческаго документа. Мнѣ, какъ не историку, а литературному критику, надлежитъ говорить лишь о чистолитературныхъ явленіяхъ, въ которыхъ выразилось народническое движеніе, и я вотъ что скажу по ихъ поводу:

Смерть велитъ умолкнуть злобѣ  
(Диомедъ провозгласилъ):  
Слава Гектору во гробѣ—  
Онъ краса Пергама былъ!

Пусть я не Диомедъ въ литературѣ, но никто, кажется, не обнаружилъ столько усердія въ борьбѣ съ нашимъ народничествомъ \*), сколько я, а потому именно мнѣ и приличествуетъ поставить эту точку надъ і. Да, широкая народническая струя въ нашей литературѣ дѣлаетъ честь не только литературѣ, но и всему русскому обществу, потому что свое начало эта струя беретъ въ чувствѣ чистѣйшаго альтруизма. Народничество, какъ первая и высшая *забота о народѣ*, почти безсмертно, и не его я хороню, не ему провозглашаю „славу во гробѣ“: этому народничеству конецъ наступитъ тогда:

Когда мужикъ не Блюхера  
И не Милорда глупаго—  
Бѣлинскаго и Гоголя  
Съ базара понесетъ.

*Этотъ* мужикъ не будетъ нуждаться ни въ чьихъ заботахъ, ни въ чьихъ урокахъ, но этого мужика не увидитъ и двадцатый вѣкъ, т.-е. какъ типъ, какъ правило, а не какъ исключеніе. Но идеалистическое народничество семидесятыхъ годовъ, поставлявшее безграмотнаго мужика въ передній уголъ въ роли вершителя нашихъ судебъ или оракула, съ устъ котораго вотъ-вотъ сейчасъ слетитъ вѣщее слово, которое всѣхъ вразумитъ и примиритъ,—это народничество дѣйствительно свой вѣкъ отжило. Это не я говорю,—это сказала жизнь, исторія. Глѣбъ Успенскій, съ проникательностью первокласснаго таланта, еще въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ предугадалъ тотъ отливъ общественныхъ симпатій къ мужику, который и не замедлил совершиться въ дѣйствительности. Чѣмъ выше былъ приливъ, тѣмъ стре-

---

\*) Назову свои статьи противъ народниковъ: „Хозяйственная дѣловитость“ (противъ Энгельгарта), „Глѣбъ Успенскій“ (противъ Успенскаго), „Послѣдовательный народникъ“ (противъ г. Златовратскаго), „Воинствующее народничество“ (противъ Каблицы и г. В. В.), „Писатель-оптимистъ“ (противъ г. Засодимскаго) и, наконецъ, какъ фактъ вчерашняго дня, „Публицистъ-идилликъ“ (противъ г. Меньшикова).

нительнѣе произошелъ отливъ; чѣмъ шире были надежды, возлагаемыя на мужика, тѣмъ глубже было разочарованіе, когда ни одна, но буквально *ни одна* изъ этихъ надеждъ не осуществилась. Какъ при Годуновѣ у Пушкина „народъ безмолвствуетъ“—вотъ что сказала жизнь въ отвѣтъ на благородныя, но въ такой же мѣрѣ и наивныя упованія народниковъ-идеалистовъ. Десять-пятнадцать лѣтъ относительной свободы не могли пересоздать недавняго раба въ сознательнаго гражданина, и слова, сказанныя Бѣлинскимъ среди пышнаго расцвѣта крѣпостного права, сохранили всю свою силу въ семидесятихъ годахъ относительно освобожденнаго народа: „все субстанціальное въ нашемъ народѣ велико, необъятно, но опредѣленіе гнусно, грязно, подло“.

Восьмидесятые годы были временемъ все болѣе и болѣе усиливавшагося разочарованія интеллигенціи, ея почти полной и почти повальной растерянности. Что дѣлать и куда итти? Безъ народа нельзя, но и съ народомъ нельзя, какъ это только что обнаружилось, и что же дальше? Здѣсь, подходя къ психологической основѣ нашего недавняго разочарованія, мнѣ приходится повторяться: болѣе восьми лѣтъ назадъ на страницахъ этого же самаго журнала я говорилъ объ этомъ предметѣ и теперь, вмѣсто того, чтобы перефразировать самого себя, гораздо проще повторить (по ходу изложенія это нужно) свои тогдашнія слова. Вотъ что я говорилъ: «если народъ питаетъ къ намъ глубочайшее, почти органическое недоувѣріе; если въ самыхъ доброжелательныхъ и искреннихъ чувствахъ нашихъ онъ подозреваетъ лицемеріе, въ самыхъ безкорыстныхъ, а иногда и самоотверженныхъ поступкахъ нашихъ усматриваетъ только подвохъ и обманъ; если, несмотря ни на что, онъ не хочетъ признать въ насъ людей и видитъ въ насъ только «господъ», т.-е., по его понятію, такихъ существъ, которыя неизвѣстно зачѣмъ прозябаютъ на бѣломъ свѣтѣ; если, наконецъ, вслѣдствіе такого взгляда, онъ ежеминутно готовъ утопить въ ложкѣ воды самаго пламеннаго народо-

любца и считаетъ это не только нравственнымъ, но чуть ли и не богоугоднымъ дѣломъ,—если все это факты, если все это правда, то, скажите, неужели не естественно, что въ нашей душѣ поднимается, наконецъ, нѣкоторая горечь, что мы начинаемъ чувствовать себя оскорбленными и оскорбленными неправо, что въ насъ возмущается, наконецъ, чувство личнаго достоинства, та законная гордость, которая запрещаетъ человѣку *навязывать* свою любовь; свои услуги, свое участіе? Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь что жъ? Насильно миль не будешь и—ты самъ того хотѣлъ, Жоржъ Данденъ! Не хочешь читать Толстого, —продолжай читать Бову; не хочешь учиться и знать, —продолжай вѣрить въ чорта, въ бѣлую Арапію и въ людей съ песьими головами; не вѣришь мнѣ и отталкиваешь меня,—наслаждайся жизнью въ удавыхъ кольцахъ Колупаева и услаждайся краснорѣчіемъ Сладкопѣвцева. Чѣмъ хуже, тѣмъ лучше. Я не говорю, чтобы такое отношеніе къ дѣлу было разумно и справедливо, но я говорю, что такое отношеніе психологически-естественно, извинительно, не безнравственно» (изъ статьи *Глѣбъ Успенскій*).

Психологическая основа разочарованія, постигшаго насъ въ восьмидесятыхъ годахъ, очерчена въ этихъ строкахъ довольно вѣрно, но теперь я измѣню заключеніе: разочарованіе наше было не извинительно и не нравственно. Собственную свою *ошибку*,—ошибку семидесятыхъ годовъ,—мы вмѣнили въ *вину* народу и раскапризничались на него. Мы, по удачному выраженію г. Боборыкина, *обсахарили* народъ и чрезвычайно разбидѣлись, убѣдившись, что сахаръ нашъ къ народу не присталъ и совсѣмъ ему не нуженъ. Мы великодушно хотѣли «слиться» съ народомъ и кончили тѣмъ, что объявили: «съ вами не сольетесь, а только сопьетесь» (Успенскій). Мы видѣли въ народѣ хранителя высокихъ идеаловъ человѣческаго братства и кончили отчаяннымъ крикомъ: «нѣтъ эгоиста безсердечнѣе мужика!» (г. Эртель). Мы ждали отъ него откровеній и



единственное слово, вполне внятно произнесенное имъ, было таково: «землицы бы...» Какая проза и какая скука! Начался разбродъ: пессимизмъ, декадентство, символизмъ, ницшеанство, воскрешеніе метафизики—все эти маленькія отдѣльныя теченія вышли изъ общаго бассейна, объясняются почти общимъ упадкомъ духа послѣ фіаско семидесятихъ годовъ. «Вѣдь надобно же, —какъ говорилъ Мармеладовъ въ романѣ *Преступленіе и наказаніе*, —надобно же, чтобы всякому человѣку куда-нибудь можно было пойти. Ибо бываетъ такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти!» Именно такимъ временемъ и были восьмидесятые годы: люди шли буквально *куда-нибудь*, безъ убѣжденія, безъ вѣры, съ одною лишь смутной надеждой, что подъ эгидой какого-нибудь иноземнаго новатора имъ удастся какъ-нибудь заполнить свой опустошенный внутренній, идеальный міръ. Къ этому переходному времени относится дѣятельность обоихъ нашихъ поэтовъ, — Надсона и г. П. Я., такъ что можно было бы непосредственно перейти къ оцѣнкѣ ихъ поэзіи, но надо досказать нашу присказку до конца.

Читатель, безъ сомнѣнія, заранѣе догадывается, въ чемъ дѣло. Девяностые годы принесли намъ «новое слово», въ лицѣ такъ называемаго *марксизма*, и нѣтъ сомнѣнія, что съ этою драгоценностью въ рукахъ мы перешагнемъ и за рубежъ новаго вѣка. Отъ народничества черезъ ницшеанство и декадентство къ марксизму — таковъ ходъ нашего развитія за послѣднія тридцать лѣтъ. Это можно выразить другими словами: отъ страстной любви къ народу и горячей вѣры въ него, черезъ равнодушіе къ тому же народу, къ полному отрицанію его исторической личности, къ полному презрѣнію его психи и его исконныхъ идеаловъ. Какое дѣло ницшеанцу или декаденту до народа? Онъ культивируетъ въ себѣ «сверхчеловѣка» или занятъ изысканіями новой красоты, новыхъ формъ искусства. И пусть его, разумѣется: онъ смѣшонъ, но относительно безвреденъ,

потому что ломаетъ только себя, свою личность, свою жизнь. Позиція марксиста совершенно иная,—не нейтральная по отношенію къ народу, а рѣшительно враждебная и презрительно-высокомѣрная. Не такъ живи, какъ хочется, а такъ живи, какъ Марксъ велитъ,—говоритъ онъ русскому народу, перефразируя его старую пословицу. «Землицы бы...»—никакой земли тебѣ не нужно, а нуженъ тебѣ фабричный котелъ, въ которомъ ты долженъ «вывариться», и нужны тебѣ ежовыя рукавицы капиталиста, который будетъ бить тебя не дубьемъ, какъ старозавѣтный помѣщикъ, а рублемъ, по западно-европейскому примѣру. Чѣмъ скорѣе ты развяжешься со своимъ жалкимъ хозяйствомъ и превратишься въ батрака, тѣмъ успѣшнѣе пойдетъ твое умственное развитіе, потому что нужда—лучшій учитель, неувѣренность въ завтрашнемъ днѣ—самый могучій двигатель мысли. Нужно, чтобы ты сдѣлался бездомовникомъ; нужно, чтобы растаяла твоя дикая, архаическая община; нужно, затѣмъ, чтобы тебѣ не было на кого надѣяться, кромѣ своей собственной пары рукъ. Ты достигнешь самостоятельности не прежде, чѣмъ почувствуешь себя въ полномъ одиночествѣ. Твой безличный и обезличивающій «міръ» долженъ распасться, чтобы выдѣлить изъ себя индивидуальности, которыя и явятся истинными героями труда—сначала, и героями исторіи—впослѣдствіи.

Надѣюсь, это краткое резюме психологическихъ мотивовъ нашего марксизма не заключаетъ въ себѣ ничего преувеличеннаго. Это, очевидно, та же теорія—«чѣмъ хуже, тѣмъ лучше», поставленная на почву экономики и старательно обоснованная разнаго рода аргументаціей, привозной и доморощенной. Съ народничествомъ она имѣетъ много общаго, а именно—самый объектъ своихъ изслѣдованій, своихъ заботъ: этотъ объектъ—все тотъ же народъ, около котораго вращались и всѣ помыслы семидесятниковъ. Осуществленіе идеаловъ народниковъ, такъ же какъ и идеаловъ марксистовъ, возможно лишь черезъ посредство народа. Бо-

лѣе того: въ *последнемъ своемъ выраженіи* эти идеалы сливаются, совпадаютъ между собою—это не подлежитъ сомнѣнію. Но марксисты, какъ доктринеры и книжники по преимуществу, жестоки даже до безчеловѣчія: они готовы, во имя своей теоріи, пожертвовать не только всѣми историческими «устоями» народной жизни, но и нѣсколькими многомилліонными поколѣніями живыхъ людей, лишь бы все совершилось по слову ихъ пророка. Чтобы попасть въ рай свободной и благоденственной жизни, надо пройти черезъ чистилище, и такимъ чистилищемъ должна явиться не школа, какъ это мы по простотѣ своей думаемъ, а фабрика, какъ школа жизни,—вотъ сущность марксизма, вотъ канва, по которой марксисты вышиваютъ свои «объективные» узоры. Разумѣется, по-своему они желаютъ добра народу, но не конкретному, а какому-то отвлеченному народу, народу будущаго. «Хоть щей горшокъ, да самъ большой», искони твердитъ русскій мужикъ, восхищая этимъ народниковъ, но марксистамъ претитъ этотъ горшокъ, потому что, что же это за кушанье—пустыя щи? Выварись, мужикъ, въ фабричномъ котлѣ и ты—лѣтъ этакъ черезъ триста—будешь имѣть обѣдъ, достойный порядочнаго челоуѣка. Понятно, это такой же идеализмъ, какъ и идеализмъ народниковъ, но идеализмъ, такъ сказать, съ другого конца: народники *воображали*, что въ народѣ и въ формахъ его жизни осуществлена высшая вѣковѣчная правда; марксисты не менѣе пылко *воображаютъ*, что народъ не болѣе, какъ мясо для ученыхъ вивисекцій, а формы его жизни—мягкое тѣсто, изъ котораго можно вылѣпить и выпечь что угодно, лишь бы достаточная власть была. Ошибетесь, господа, ошибетесь хуже, чѣмъ ошиблись семидесятники:

Владычица <sup>звѣзда</sup>земля! Твоя краса нетлѣнна,  
И свѣтлый богатырь безсмертенъ и могучъ.

«Русскій мальчикъ,—замѣтилъ однажды Достоевскій,—кажется, такъ и родится съ лошадкой», т.-е. съ прирощ-

денною любовью къ лошади. Во сколько разъ сильнѣе его любовь къ «матери сырой землѣ», любовь тоже прирожденная и сверхъ того укрѣпленная и воспитанная всей нашей исторіей?

Тема эта широка и соблазнительна, но пора кончать съ прелиминаріями. Употребляя терминологию Бѣлинскаго, мы скажемъ, что найти для великолѣпной *субстанции* нашего народа соотвѣтственное *опредѣленіе*—вотъ основная задача наступающаго столѣтія. Искать этого опредѣленія на днѣ фабричнаго котла—неразумно; не менѣе неразумно полагать, что надлежащее *опредѣленіе*, т.-е. формы жизни и условія быта уже давно найдены и осуществлены мужикомъ. По недавнему отличному выраженію г. Потапенка, «мужикъ—это просто запущенный человекъ». Вотъ именно. Онъ *запущенный*, а не идеально-прекрасный человекъ—вотъ огромная поправка къ ученію нашихъ народниковъ. Онъ запущенный *человекъ*, т.-е. существо съ собственнымъ разумомъ, съ своей волей, съ своими привычками, вѣрованіями, предразсудками—вотъ огромная поправка къ ученію нашихъ марксистовъ.

Оба наши поэта, стоя на рубежѣ, отдѣляющемъ народниковъ отъ марксистовъ, т.-е. въ полостѣ восьмидесятихъ годовъ, представляютъ хотя не особенно богатый, но любопытный матеріалъ для характеристики не одного только своего *переходнаго времени*.

## II.

Развертывая и пробѣгая книжку стихотвореній Надсона, читатель съ первыхъ же страницъ поражается безпрестаннымъ появленіемъ слова «сомнѣнья». Въ первомъ же стихотвореніи «На зарѣ» вы натываетесь на «злбныя сомнѣнья»; въ слѣдующемъ («Кругомъ легли ночныя тѣни») вы обрѣтаете «ядъ безжалостныхъ сомнѣній»; въ слѣдующемъ—«Во мглѣ»—вы находите «сомнѣнья злыя» и еще «сомнѣній

адъ»; въ слѣдующемъ—«Идеаль»—опять «ядъ сомнѣній»; далѣе слѣдуютъ «тревожное сомнѣнье», «жгучія сомнѣнья» и пр. На *восьми* страницахъ *семь* штукъ разнаго фасона *сомнѣній*,—согласитесь, что это довольно таки характерно!

У г. П. Я.—другой припѣвъ, другое сакраментальное словечко, а именно—восклицаніе «О!», которое, по моему приблизительному подсчету, употреблено имъ около *девятности* разъ въ книжкѣ, заключающей въ себѣ *девятносто* два стихотворенія. Вотъ, наприм., заключительный куплетъ изъ книжки г. П. Я.:

О, ужась! о, горе! Погибнетъ ли трудъ?  
Ужель этимъ зернамъ безъ счета и мѣры  
Плода не имѣть? О, ужель не взойдутъ  
Желанные всходы надежды и вѣры,  
Что братскую пищу народамъ дадутъ?  
Спѣши, о спѣши, золотое Свѣтило!

На шести строчкахъ четыре „о!“,—горячо пишетъ г. П. Я.! Не для дешеваго зубоскальства указываю я на это обстоятельство, а для характеристики прежде всего писательскихъ темпераментовъ обоихъ поэтовъ. „Сомнѣнья“ всякаго рода, начиная съ религіозныхъ и кончая сомнѣніемъ въ своихъ личныхъ силахъ, обуревали Надсона всю его недолгую жизнь, и онъ безпрестанно говоритъ и, какъ лирикъ, не могъ не говорить объ этомъ. Г. П. Я. волнуютъ другія чувства: вѣра его въ идеаль крѣпка, личной роли своей въ литературѣ онъ, повидимому, не придаетъ такого значенія, какъ Надсонъ, но онъ нетерпѣливъ и слишкомъ стремителенъ, чтобы не возмущаться медленностью нашего прогресса. Онъ негодуетъ,—больше всего негодуетъ,—гнѣвается, упрекаетъ—и отсюда, за немногочисленностью его поэтическихъ ресурсовъ (въ этомъ должно сознаться), его безпрестанныя патетическія „о!“.

О, сколько благородныхъ,  
Красивыхъ словъ, но... лишь безплодныхъ словъ:  
Въ ненастный день не больше волнъ холодныхъ  
Рокочетъ у скалистыхъ береговъ.

Это г. П. Я. объявляетъ съ перваго же шага, на первой страницѣ своей книжки. Это, какъ видите, упрекъ прежде всего литературѣ, у которой единственное оружіе—слово,—литературѣ не только поэтической, но и прозаической. Очень ужъ вы пылки, г. П. Я.,—отвѣчу я за себя и за собратьевъ по перу,—пылки, пожалуй, даже до безразсудности. „Писатель пописываетъ, читатель почитываетъ“, какъ сказалъ Салтыковъ, но, не обольщая себя никакими иллюзіями, мы все-таки увѣрены, что это пописыванье и почитыванье не только не бесплодно, а совершенно необходимо. „О, какое самодовольное филистерство, о, какая мѣщанская ограниченность, о, какое самоослѣпленіе!“—восклицаетъ неукротимый г. П. Я. Хорошо. Въ слѣдующей главѣ мы побесѣдуемъ съ вами объ этомъ и о многомъ другомъ подробно, а теперь мы должны обратиться специально къ Надсону.

Покойный Новодворскій-Осиповичъ, принадлежавшій къ тому же поколѣнію, къ которому принадлежать и наши оба поэта, создалъ типъ „ни павы, ни вороны“, какъ онъ его назвалъ, т.-е. типъ человѣка, отъ своихъ отставшаго, къ чужимъ не пристававшего,—человѣка, стремящагося имѣть *убѣжденія*, но въ дѣйствительности имѣющаго только *сомнѣнія*. Типъ былъ подмѣченъ правильно и тонко, но не свидѣтельствовалъ о большой глубинѣ самосознанія автора: неудачнѣйшимъ образомъ Новодворскій причислилъ къ этому типу Бѣлинскаго, для котораго *сомнѣнія* всегда были только коротенькимъ мостикомъ отъ одного фанатическаго убѣжденія къ другому, столь же фанатическому. Не въ сороковыхъ годахъ, а въ себѣ и кругомъ себя слѣдовало бы искать Новодворскому черты, характеризующія ни павъ, ни воронъ. Невольнымъ образомъ, силою историческаго хода вещей, все русское образованное общество восьмидесятыхъ годовъ почувствовало себя въ положеніи вороны, отъ Азіи отставшей, но къ европейскимъ павамъ не пристававшей. Салтыковъ иронизировалъ насчетъ „соле-

ной севрюжины“ и возразить ему было нечего, да и не хотѣлось бесѣдовать съ этимъ обидчикомъ, съ этимъ ядовитымъ насмѣшникомъ: хотѣлось поплакать вмѣстѣ съ какимъ-нибудь чувствительнымъ человѣкомъ, хотѣлось услышать чье-нибудь сочувственное слово, хотѣлось утѣшенія. А кто же можетъ лучше утѣшить, нежели тотъ, кто самъ страдаетъ нашимъ недугомъ? Еще Некрасовъ сказалъ: „кто боленъ самъ, тотъ радостно и жадно внимаетъ вѣсти о больномъ“. Радостно и жадно встрѣтило общество восьмидесятыхъ годовъ Надсона, потому что обрѣло въ немъ какъ разъ такого конфидента, какой ему былъ нуженъ,—унылаго, но ласковаго, не строгаго, не карающаго, не осмѣивающаго,—какъ разъ по плечу себѣ. „Соленая севрюжина“—этакое вѣдь словцо придумалъ злобный старикъ! Что ужъ бить насъ, лежащихъ? А вотъ это хорошо, вотъ это мы понимаемъ и съ благодарностью воспринимаемъ:

Я не щадилъ себя: мучительнымъ сомнѣньямъ  
Я самъ навстрѣчу шелъ, самъ въ душу ихъ призывалъ...  
Я говорилъ „прости“ всѣмъ свѣтлымъ убѣжденьямъ,  
Всѣ лучшія мечты съ проклятьемъ погребалъ.  
Жить въ мірѣ призраковъ, жить грѣзами и снами,  
Безъ думы плыть туда, куда несетъ приливъ,  
Безпечно ликовать съ рабами и глупцами—  
Нѣтъ, я былъ слишкомъ гордъ, и честенъ, и правдивъ.  
И боги падали, и прежнія свѣтила  
Теряли навсегда сіянье и тепло,  
И ночь вокругъ меня сдвигалась, какъ могила,  
Отравой жгучихъ думъ обвѣявъ мнѣ чело,—  
И скорбно я глядѣлъ потухшими очами,  
Какъ жизнь, еще вчера сіявшая красой,  
Жизнь—этотъ пышный садъ, пестрѣющій цвѣтами—  
Нагой пустынею лежала предо мной.

Это стихотвореніе относится къ 1883 году. Какъ разъ это самое и нужно было для средняго читателя, для большой публики въ это время. „Милая тетенька“ была огорчена, испугана, растеряна, а ея племянникъ, „непочтительный Коронатъ“, извѣстный въ литературѣ подъ именемъ

Щедрина, только растрavлялъ ея раны своими колкостями. И вдругъ этакій бальзамъ утѣшенія! Да вѣдь это я, сама я,—вѣроятно воскликнула тетенька, прочитавъ стихотвореніе Надсона,—это мои чувства, мои мысли, мое горе! Ну, да, я сама призвала въ свою душу мучительныя сомнѣнія, я сказала „прости“ своимъ убѣжденіямъ, я погребла свои лучшія мечты, и я скорбно гляжу на жизнь потухшими очами. Все это правда, но все-таки я слишкомъ горда, слишкомъ честна и слишкомъ правдива, чтобы безъ думы плыть по теченію. Плыть я, положимъ, плыву, но съ сжатымъ сердцемъ, въ ликованіи рабовъ и глупцовъ я участія не принимаю—и надо же цѣнить это! О, милый поэтъ, о, дорогое дитя моего сердца,—онъ понялъ меня и отблагодарю же я его за то: я расхватаю, раскуплю всѣ изданія его произведеній, сколько бы ихъ ни было, а непочтительный Коронатъ, обзывавшій меня—*imaginez vous!*—*трусихой*,—пусть остается въ обществѣ такихъ же грубіановъ, какъ онъ самъ.

Это не пародія, читатель; я претендую на то, что это точное изображеніе и точное объясненіе причинъ изумительнаго успѣха у насъ поэзіи Надсона. Безъ сомнѣнія, нуженъ былъ талантъ, и не дюжинный талантъ, чтобы выразить господствовавшее настроеніе, но талантъ особаго рода, талантъ въ мѣру нашего роста, не слишкомъ крупный, но и не такъ чтобы очень мелкій, талантъ, такъ сказать, чичиковской наружности (см. у Гоголя). Я очень радъ, что мнѣ подвернулось подъ перо это сравненіе: именно *чичиковской наружности*,—вы сейчасъ увидите, что ничего обиднаго для памяти Надсона въ моемъ сравненіи нѣтъ. Помните ли вы, какъ Герценъ, въ романѣ *Кто виноватъ?* объяснялъ разладицу между обществомъ губернскаго города NN и своимъ героемъ Бельтовымъ? „Пріѣзжай въ NN совѣтникъ изъ RR,—говоритъ Герценъ,—онъ въ недѣлю былъ бы дѣйствительный и уважаемый членъ и собрать; пріѣзжай уважаемый другъ нашъ, Павелъ Ива-



новичъ Чичиковъ, и полицеймейстеръ сдѣлать бы для него попойку и другіе пошли бы плясать около него и стали бы его называть мамочкой, такъ, очевидно, поняли бы они родство свое съ Павломъ Ивановичемъ. Но Бельтовъ, Бельтовъ—человѣкъ, вышедшій въ отставку, не дослуживши четырнадцати лѣтъ и шести мѣсяцевъ до знака, любившій все то, чего эти господа терпѣть не могутъ, читавшій вредныя книжонки все то время, когда они занимались полезными картами, скиталецъ по Европѣ, чужой дома, чужой и на чужбинѣ, аристократическій по изяществу манеръ и человѣкъ XIX вѣка по убѣжденіямъ, какъ его могло принять провинціальное общество? Онъ не могъ войти въ ихъ интересы, ни они въ его, и они его ненавидѣли, понявъ чувствомъ, что Бельтовъ—протестъ, какое-то обличеніе ихъ жизни, какое-то возраженіе на весь порядокъ ея“. Вотъ именно такимъ протестомъ и обличеніемъ нашей жизни былъ Салтыковъ и, къ своему и нашему счастью, такимъ протестомъ *не былъ* Надсонъ. Представьте, что въ восьмидесятихъ годахъ русское общество имѣло бы передъ собою не Надсона, а, наприм., Лермонтова. Что было бы? Было бы то, что поэтъ бросилъ бы намъ въ глаза желѣзный стихъ, облитый горечью и злостью, и намъ стало бы только вдвое тяжелѣе и мы отплатили бы поэту притворнымъ равнодушіемъ. Что же, вѣдь не можемъ же мы прыгнуть выше собственной головы! А Надсонъ сразу сталъ для насъ „мамочкой“, потому что онъ былъ *равенъ* намъ, наши грѣхи и слабости были и его грѣхами и слабостями, его интересы—нашими интересами. Его литературный талантъ послужилъ для „тетеньки“ какъ бы музыкальнымъ инструментомъ, на которомъ она выражала *свои собственные* чувства. Чествуя своего поэта при жизни и по смерти, тетенька себя утѣшала и чествовала: значить, не такъ же ужъ она плоха и виновна, какъ утверждали тѣ, другіе, непочтительные. Это отрадно.

Отрадно и—говорю это безъ всякой ироніи—полезно, по-

тому что своевременно и умѣстно. Чужое нравственное превосходство далеко не всегда возвышаетъ, а нерѣдко подавляетъ людей, худшихъ же между ними прямо оскорбляетъ и озлобляетъ.

Давай намъ смѣлые уроки,  
А мы послушаемъ тебя.

Такія приглашенія отъ лица толпы къ „небесъ избранныкамъ“ могутъ воспослѣдовать лишь въ спокойное время, когда не чувствуется потребности излиться, а чувствуется охота научиться. Эпоха Надсона не была такимъ временемъ. Какихъ еще смѣлыхъ уроковъ просить послѣ того страшнаго урока, не на словахъ, а на дѣлѣ, который только что преподавала сама жизнь? Отдохнуть бы душою только, успокоиться бы, *пожалиться* бы, какъ говорить наше простонародье... И все содержаніе поэзіи Надсона заключается въ томъ, что поэтъ неустанно *жалится*, и чѣмъ горче и искреннѣе его жалобы, тѣмъ легче читателю: раздѣленное горе—полугоре и выплакаться (а потомъ хорошенько высморкаться) очень даже приятно и облегчительно. Къ тому же послѣ слезъ обыкновенно и спится очень сладко. Правда, встрѣчаются у Надсона покушенія на преподачу „смѣлыхъ уроковъ“, но эти покушенія оказываются тѣмъ, что на языкѣ юристовъ называется „покушеніемъ съ негодными средствами“. Одно изъ такихъ покушеній я приведу цѣликомъ, потому что стихотвореніе это понадобится намъ еще и въ другихъ отношеніяхъ—для общихъ заключеній о размѣрѣ и свойствахъ дарованія Надсона. Вниманіе, читатель!

Наше поколѣнне юности не знаетъ,  
Юность стала сказкой миновавшихъ лѣтъ;  
Рано въ наши годы дума отравляетъ  
Первыхъ силъ размахъ и первыхъ чувствъ расцвѣтъ.  
Кто изъ насъ любилъ, весь міръ позабывая?  
Кто не отрекался отъ своихъ боговъ?  
Кто не падалъ духомъ, рабски унывая,

Не бросаешь счита передъ лицомъ враговъ?  
Чуть не съ колыбели сердцемъ мы дряхлѣемъ,  
Насъ томить безвѣрье, насъ грызетъ тоска...  
Даже пожелать мы страстно не умѣемъ,  
Даже ненавидимъ мы исподтишка!  
О, проклятые сну, убившему въ насъ силы!  
Воздуха, простора, пламенныхъ рѣчей,—  
Чтобы жить для жизни, а не для могилы,  
Всѣмъ бичемъ нервовъ, всѣмъ огнемъ страстей!  
О, проклятые стонамъ рабскаго безсилья!  
Мертвыхъ дней унынья послѣ не вернуть!  
Загоритесь взоры, развернитесь крылья,  
Закипи порывомъ трепетная грудь!  
Дружно за работу, на борьбу съ порокомъ,  
Сердце съ братскимъ сердцемъ и съ рукой рука,—  
Пусть никто не можетъ вымолвить съ упрекомъ:  
„Для чего я не жилъ въ прошлые вѣка!“

Милый мой мальчикъ, да что жъ это такое?!—могла бы воскликнуть тутъ растревоженная тетенька. И ты съ Коронатами въ унисонъ запѣлъ? И ты меня зовешь на работу, на борьбу съ порокомъ? Но вѣдь... нагни голову, я тебѣ на ушко шепну... вѣдь—«le порокъ—с'est moi», могу я сказать на манеръ Людовика XIV. Развѣ ты не зналъ этого? Но вѣдь я тебя за то и полюбила, что ты не бранилъ меня какъ другіе, а жалѣлъ и утѣшалъ; ты говорилъ, что я горда (вмѣстѣ съ тобой) горда, честна, правдива. О, милый, какъ я была тогда тебѣ благодарна! А теперь что же? «Ненавидимъ мы исподтишка»,—ты ли говоришь мнѣ это? Вѣдь и Коронать покоя мнѣ не давалъ и не даетъ съ своими дерзкими аллегоріями о кукишѣ въ карманѣ, о ку-ки-шѣ,—каково это перенести! «Воздуха, простора, пламенныхъ рѣчей»,—ну, можно ли, можно ли такъ? Не тебѣ это говорить и не мнѣ это слушать. Останемся тѣмъ, чѣмъ намъ съ тобой суждено быть, «ни павами, ни воронами», какъ справедливо выразился твой товарищъ. Тотъ же Коронать съ ядовитой насмѣшкой говорилъ мнѣ, приравнивая меня къ Молчалину: «нужно, голубчикъ, погодить!»—

но то же самое я скажу тебѣ совершенно серьезно: да, нужно поглотить. Пожалѣй себя и меня,—какіе ужъ мы съ тобой борцы!

Тревога тетеньки была бы напрасной. Рядомъ съ пламеннымъ стихотвореніемъ, призывавшимъ «на борьбу съ порокомъ», на той же страницѣ (97) напечатано другое стихотвореніе, начинающееся такимъ жалобнымъ восклицаніемъ:

Нѣтъ, муза, не зови! Не увлекай мечтами,  
Не общай вѣнка въ дали грядущихъ дней!

Вотъ такъ, конечно, лучше — проще и правдоподобнѣе. Я,—говорить поэтъ дальше,—очень боленъ, «пораженъ недугомъ роковымъ», но и не въ этомъ дѣло, а въ томъ, что

Путь слишкомъ былъ тяжелъ... Сомнѣнья и тревоги  
На части рвали грудь...

Я бы,—говорить поэтъ дальше,—сдѣлалъ то, сдѣлалъ это («страна моя родная, я бѣ любилъ тебя, пѣлъ бы я тебя, я бѣ жилъ одной тобой»), поѣхалъ бы туда и сюда, и т. д., все въ томъ же сослагательномъ наклоненіи. Но, очевидно, буквально то же самое могла сказать о себѣ и тетенька: если бы не *сомнѣнья* да не *тревоги*, то вѣдь, чего добраго, и она попала бы въ исторію. Такъ какъ я пишу не біографію Надсона, а дѣлаю оцѣнку его поэзіи, то имѣю полное право не брать въ расчетъ состояніе его физическаго здоровья. Чахоточный характеръ его поэзіи не отъ чахотки его легкихъ происходилъ. Покушеній на «смѣлые уроки», въ родѣ вышеприведеннаго, у Надсона очень немного, и не въ нихъ, не въ этихъ, прямо говоря, *обмолвкахъ* поэта, заключается значеніе его поэзіи, такъ же какъ не въ нихъ и причина ея огромнаго успѣха. Миссія Надсона, явившагося, какъ говорится, къ шапочному разбору, состояла не въ призывахъ къ борьбѣ, а въ томъ, чтобы оплакивать побѣжденныхъ и грустить—томно и задумчиво

грустить—по поводу своей и тетенькиной неспособности къ борьбѣ. Его рѣдкія (по пальцамъ пересчитать можно) «покушенія» были только минутными вспышками энергіи, за которыми слѣдовали тѣмъ болѣе продолжительные періоды обычной тоски. Какъ разъ въ это же время и совершенно въ томъ же духѣ писалъ и другой любимецъ публики—прозаикъ Гаршинъ. Значить, такова ужъ была (была ли только,—вотъ вопросъ!) общественная атмосфера, таковъ ужъ былъ (былъ?), аллегорически говоря, чахоточный духъ времени. Давно сказано, что въ нужную минуту всегда является «мужъ потребенъ», и такими нужными, желанными, *потребными мужами* явились для восьмидесятыхъ годовъ Надсонъ, Гаршинъ, отчасти Новодворскій и еще кое-кто.

Если вы хотите узнать *подлиннаго* Надсона, его подлинныя отношенія къ обществу, такъ же какъ и его общественно-литературную роль, то прочтите повнимательнѣе слѣдующее его стихотвореніе:

Оба бездомные, оба несчастные,  
Встрѣтятся случайно, мы скоро сошлись.  
Слезы, упреки и жалобы страстныя  
Жгучей волной изъ души полились.  
Сладко казалось намъ скорбь накопившую  
Другу и брату любя рассказать;  
Ново казалось намъ грудь наболѣвшую  
Чуткою лаской его врачевать.  
Но мы недолго, какъ дѣти счастливыя,  
Тѣшились хрупкою дружбой своей:  
Скоро какіе-то звуки фальшивые  
Вкрались въ аккордъ нашихъ стройныхъ рѣчей.  
Брату усталого брата страданія  
Тягостнымъ камнемъ на сердце легли,—  
Грудь намъ обоимъ душили рыданія,  
Слушать же оба мы ихъ не могли.  
И разошлись мы со злобой мучительной...  
Полно, къ чему намъ другъ друга винить:  
Нищій у нищаго лепты спасительной  
Вздумалъ, безумный отъ горя, молить!

Мертвый отъ мертваго просить лобзанія!  
Гдѣ же намъ чуждую ношу поднять,  
Если и личныя наши страданія  
Намъ не дають ни итти, ни дышать!

Стихотвореніе имѣетъ личный характеръ, но попробуйте придать ему характеръ общій—и вы будете имѣть въ рукахъ сжатое резюме всего того, что мы говорили выше о поэзіи Надсона. «Оба несчастные, мы скоро сошлись» — правда; «слезы и жалобы страстные полились» — именно такъ; «сладко казалось рассказать накипѣвшую скорбь *любя* и ново казалось врачевать грудь *лаской*» — сто разъ вѣрно, и выше я объ этомъ уже подробно говорилъ. Далѣе—«вкрались звуки фальшивые въ аккордъ стройныхъ рѣчей»: эти *звуки фальшивые*—тѣ стихотворенія Надсона, которыя я называю *покушеніями* на смѣлые уроки и которыхъ у Надсона и полнаго десятка не наберется. Фальшивые, разумѣется, они не сами по себѣ, не какъ звуки чуждые и несвойственные «чистому» искусству, они фальшивы по отношенію къ положенію и къ эпохѣ Надсона. «О, поле, поле, кто тебя усѣялъ мертвыми костями», въ минорномъ тонѣ поетъ Русланъ, и мы слушаемъ его съ наслажденіемъ. Но если бъ онъ, на томъ же полѣ, грянулъ въ мажорномъ тонѣ: «Страха не страшусь, смерти не боюсь», мы невольно улыбнулись бы, какъ бы хорошо и музыкально ни пѣлъ онъ. Лирическій тенорокъ Надсона совсѣмъ не годился для басовыхъ драматическихъ партій. Далѣе—грубая ошибка въ стихотвореніи «Разошлись мы со злобой мучительной». Ничуть не разошлись и не разойдетесь еще долго, до тѣхъ поръ, пока не явятся новые Надсоны, которые заслонятъ собою стараго нашего Надсона. Всегда были и всегда будутъ люди, о которыхъ еще Іоаннъ Богословъ говорилъ въ своемъ «Откровеніи» (глава 2). Это люди хорошіе, но съ однимъ существеннымъ недостаткомъ: «Ты много переносилъ и имѣешь терпѣніе и для имени Моего трудился и не изнемогалъ. Но имѣю

противъ тебя то, что ты оставилъ первую любовь твою» (гл. 3—4). Какъ не плакать о своей первой чистой любви? И съ кѣмъ же лучше всего поплакать, какъ не съ по-этомъ, который рѣкой разливается о точно такомъ же собственномъ своемъ горѣ? Надсоны были и всегда будутъ нужны, но на первомъ планѣ они появляются лишь въ сумеркахъ того или другого *переходнаго времени*.

### III.

Съ позволенія читателя, я начну эту главу разсказомъ объ одномъ небольшомъ эпизодѣ изъ своихъ литературныхъ воспоминаній. Ровно пятнадцать лѣтъ назадъ (зимой 1883—84 г.) сидѣлъ у меня молодой поэтъ и читалъ мнѣ только что написанное имъ стихотвореніе. Это былъ уже далеко не начинающій поэтъ, стихотворенія его уже не разъ печатались въ лучшихъ журналахъ того времени, и я зналъ, но не любилъ ихъ,—въ такой же мѣрѣ, въ какой любилъ самого поэта, котораго зналъ тоже довольно давно. Это было въ первый разъ, что онъ самъ декламировалъ мнѣ свое стихотвореніе, и я былъ болѣе чѣмъ удивленъ,—пораженъ. Не стихотвореніе поразило меня: это была туманная аллегорія о какой-то дѣвѣ, которая «въ бѣломъ вся» (въ кисейномъ платьѣ, что ли?) вышла изъ моря и предводительствуетъ волнами, идущими на приступъ ка-кого-то «утеса», и т. д., и т. д. Десятки разъ я читалъ такія аллегоріи, раздирая свой ротъ зѣвотою, и всегда только утверждался въ своемъ мнѣніи: кто понимаетъ эти аллегоріи, тому онѣ не нужны, а кому онѣ нужны, тотъ ихъ не пойметъ. Но меня поразили самъ декламировавшій поэтъ: это чуть не до синевы поблѣднѣвшее лицо, это кипѣніе и дрожаніе слезъ въ голосѣ, это глубокое, страстное волненіе... Боже мой! Да не только эти плохіе, но и какіе угодно, хоть распушкинскіе стихи стѣять ли такой страшной траты нервной силы? Поэту я этого не сказалъ, но

впечатлѣніе отъ его чтенія могло быть резюмировано именно въ этой формѣ.

Этотъ поэтъ былъ г. П. Я. \*), а стихотвореніе en question читатель найдетъ на 141 стр. его книжки, подъ заглавіемъ *Фантазія*.

Не для анекдотическаго интереса рассказалъ я этотъ эпизодъ, а съ серьезною цѣлью, имѣющею непосредственное отношеніе къ нашей темѣ. Спрашивается: что же это за удивительная штука такая — литературный талантъ? Штука, какъ пораздумаешься, просто опасная: она помогаетъ людямъ красиво, правдоподобно и увлекательно лгать. Вотъ г. П. Я. Сказать о немъ, по поводу его стихотворенія, что онъ искрененъ, — мало: понятіе, выражаемое словомъ *искренность*, усильте въ нѣсколько разъ, и только тогда вы получите настоящую мѣрку для его чувства. А между тѣмъ его стихотвореніе («Фантазія») безжизненно и вяло. Наоборотъ, возьмемъ какое-нибудь яркое произведеніе какого-нибудь первокласснаго таланта. Вотъ, наприм., Лермонтова съ его знаменитой элегіей «И скучно, и грустно». Экая силища, экая красота! Но вчитайтесь и вдумайтесь въ эту элегію: не замѣчаете ли вы въ ней несомнѣнной фальши, позы, рисовки, неискренности? Есть тотъ грѣхъ, только не сразу замѣтишь его подъ щитомъ огромнаго таланта.

Любить... но кого же?... на время не стоитъ труда,  
А вѣчно любить невозможно.

. . . . .

И жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ,—  
Такая пустая и глупая шутка.

Лермонтову было двадцать пять лѣтъ отъ роду, когда онъ написалъ это стихотвореніе. Нужно ли доказывать, что, поэтъ вовсе не прочь былъ любить и никакого «труда» въ

---

\*) По старому пріятельству нашему онъ, я увѣренъ, проститъ мнѣ мою нескромность.



этомъ для себя, какъ и слѣдовало, не видѣлъ, что жизнь совсѣмъ не представлялась ему «шуткой», да еще глухой и пустой? Заимствованная у Байрона поза, изученная гримаса эффектной разочарованности — вотъ что такое эти стихи, которые тѣмъ не менѣе вся грамотная Россія знаетъ. Или возьмемъ другой примѣръ — Некрасова. Кто не плакать надъ его знаменитой поэмой-аллегоріей «Рыцарь на часъ»? Ужъ, кажется, искреннѣе быть нельзя: я гибну, я пою пѣснь покаянія, я ношу въ сердцѣ мучительную казнь, я погрузился въ тину нечистую мелкихъ страстей, я живу среди ликующихъ, правдо болтающихъ, обаяющихъ руки въ крови и пр., и пр. Дальше ужъ некуда итти: всю свою душу раскрылъ человѣкъ. Но что вы скажете объ этихъ стихахъ, которые преспокойно стоятъ въ самой срединѣ отчаянныхъ самоубицествъ и лживости, которыхъ вы не замѣчали:

Что друзья! Наши силы не равны,—  
Я ни въ чемъ середины не зналъ,  
Что обходятъ они, хладнокровные,  
Я на все безразсудно дерзалъ.

Каковъ же герой, этотъ господинъ Некрасовъ! Какое безстрашіе, какая прямолинейность! Его друзья (наприм., Бѣлинскій, Чернышевскій, Добролюбовъ) все въ обходъ да въ обходъ, стороночкой да стороночкой, а онъ такъ напрямикъ и идетъ, сокрушая всѣ препятствія! Такова ужъ у него сила богатырская, не равная силѣ какого-нибудь тамъ Бѣлинскаго или Чернышевскаго, и таково ужъ его *безразсудное дерзновение*. Почему же онъ рыцарь *на часъ*? Онъ всю жизнь, по его словамъ, былъ рыцаремъ безъ страха и упрека. Противорѣчіе очевидно; противоестественное соединеніе покаянія съ похвалой не подлежитъ сомнѣнію. И однако талантъ выручаетъ: нужно не критическое только, но скептическое отношеніе къ поэзіи Некрасова, чтобы подмѣтить ея диссонансы.

У г. П. Я. дѣло происходитъ какъ разъ наоборотъ: при-

полнѣйшей, кристальной искренности самого поэта поэзія его никого увлечь не можетъ. Въ «Посвященіи» своей книжки г. П. Я. говорить:

Эти пѣсни гиляндою розъ  
Мнѣ чела не украсить, конечно,  
Но онѣ создавались изъ слезъ  
И изъ крови сердечной...  
Добрый другъ! если хочешь, возьми  
Эту кровь, эти слезы мои.

Добрые друзья г. П. Я., конечно, возьмутъ эту кровь, эти слезы поэта и сохраняютъ ихъ какъ драгоценность. Они *знаютъ*, что это настоящая кровь, настоящія слезы, но вѣдь не въ друзьяхъ дѣло: нужно, чтобы читатель почувствовалъ кровь и слезы въ его стихахъ, чтобы его поэзія сама за себя говорила, безъ всякаго отношенія къ человеческой личности поэта, глубоко интересной и симпатичной для друзей, но для читателя безразличной. Некрасовъ, сидя по горло «въ тинѣ нечистой», умѣлъ потрясать сердца, а г. П. Я. съ горной высоты не въ силахъ сдѣлать этого. Увы, не въ силахъ! Его поэзія... какъ бы мнѣ выразиться? Базаровъ сказалъ, что Пушкинъ, должно быть, въ военной службѣ служилъ.—Никогда Пушкинъ въ военной службѣ не служилъ, отвѣтилъ Аркадій Кирсановъ.—Какъ же, помилуй, продолжалъ Базаровъ, у него на каждой страницѣ: «на бой, на бой! За честь Россіи!» Кирсановъ возмущился и назвалъ слова своего друга клеветой. Такъ вотъ любопытно, что сказалъ бы Базаровъ, если бы прочиталъ книжку стихотвореній г. П. Я. Пожалуй, то же самое: дескать, должно быть г. П. Я. въ военной службѣ служить. Въ самомъ дѣлѣ, г. П. Я. пишетъ большею частью въ бравурно-приподнятомъ тонѣ и слишкомъ злоупотребляетъ словами «борьба», «битва», «знамя», «впередъ» и т. п. Вотъ, наприм., онъ обращается къ юношѣ (стихотвореніе «Юношѣ») и преподаетъ ему рядъ совѣтовъ совершенно военнаго свойства:

Если чувствуя вѣры священное пламя,  
Знаешь ты, что не въ силахъ его погасить  
Ни друзья, ни враги, что великое знамя  
Въ битвѣ правой нести для тебя значить—жить,  
Что любить, не страдая душой, невозможно  
Для того, кому чуткое сердце дано,  
А спокойное счастье преступно и ложно,  
Когда всюду кругомъ безотрадно-темно;  
Если такъ,—о, мой братъ!—не сдавайся трусливо:  
Жизнь—борьба, а не рабство... Коль есть  
Капля силы—борись! Сбереги горделиво  
До конца свою вѣрность святынь и чести!

Это стихотвореніе не изъ самыхъ лучшихъ и не изъ самыхъ слабыхъ стихотвореній г. П. Я., и потому оно особенно удобно какъ образчикъ. Ну, что скажете? Базаровъ нашель бы тутъ обильныя доказательства для своего мнѣнія о г. П. Я. какъ о военномъ человѣкѣ («знамя», «битва», «не сдавайся», «борьба», «вѣрность», «честь»); но что скажетъ юноша, которому адресовано стихотвореніе, и что долженъ сказать я, критикъ, не смѣющій быть пристрастнымъ даже во имя наилучшихъ побужденій? Юноша, я боюсь, скажетъ: если вапа борьба такъ же монотонна и шаблонна, какъ ваши призывы къ ней, такъ ужъ я лучше домой пойду. Мнѣ высказаться труднѣе: мнѣ все еще мерещится блѣдное лицо, которое я видѣлъ 15 лѣтъ назадъ, я знаю, какъ писались эти стихотворенія... Вотъ что мы сдѣлаемъ, читатель, спустимся съ горы къ болоту съ «тиной нечистой» и прислушаемся къ рѣчамъ, оттуда идущимъ. Слушайте же:

Пожелаемъ тому доброй ночи,  
Кто все терпитъ во имя Христа,  
Чьи не плачутъ суровыя очи,  
Чьи не ропщутъ нѣмыя уста,  
Чьи работаютъ грубыя руки,  
Предоставивъ почтительно намъ  
Погружаться въ искусства, въ науки,  
Предаваться мечтамъ и страстямъ;

Кто бредеть по житейской дорогѣ  
Въ безразсвѣтной, глубокой ночи,  
Безъ понятія о правѣ, о Богѣ,  
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи.

Ни одинаго восклицанія, ни одинаго бравурнаго словца, а между тѣмъ юноша, если онъ не принадлежитъ къ современнымъ объективистамъ или велосипедистамъ, услышавъ *этотъ* призывъ, домой не поидетъ, а зажжетъ свѣчу и спустится въ подземную тюрьму на помощь тому, чьи не ропщутъ нѣмыя уста. Вотъ и судите, какъ дѣла дѣлаются и что такое литературный (да и всякій) талантъ: человекъ, не имѣющій на то никакого нравственнаго права, говоритъ какъ *власть имѣющій* и «волнуетъ мягкія сердца»; другой человекъ, право это завоевавшій, не можетъ говорить за отсутствіемъ голоса.

Совсѣмъ я не хочу сказать, что г. П. Я. лишенъ всякаго поэтическаго таланта: дарованіе у него несомнѣнно имѣется, но дарованіе слишкомъ непропорціональное его энтузіазму. Этотъ энтузіазмъ громаденъ, вѣра въ идеальную сторону жизни и въ конечную побѣду добра несокрушима у г. П. Я. Только въ одномъ, уже цитированномъ мною выше стихотвореніи звучитъ какъ будто пессимистическая нотка, которую, впрочемъ, нетрудно устранить... съ помощью самого автора. Еще разъ напомнимъ эти строки:

Гражданъ нѣтъ! О, сколько благородныхъ,  
Красивыхъ словъ, но... лишь безплодныхъ словъ:  
Въ ненастный день не больше волнъ холодныхъ  
Рокочетъ у скалистыхъ береговъ.

Позвольте, однако: вспомните свою собственную «Фантазію». Волны—въ нашемъ же изображеніи—рокочутъ у скалистыхъ береговъ, да что-нибудь и вырочутъ себѣ отъ утеса? Какъ такъ гражданъ нѣтъ? Какъ такъ слова безплодны? Чтобы недалеко ходить за примѣромъ, я укажу г. П. Я. на превосходную и еще далеко недостаточно у

насъ опѣненную книгу г. Мельшина *Въ міръ отвержен-ныхъ* \*). Эта книга не «безплодные слова», и г. П. Я. можетъ убѣдиться изъ этой книги, что Россія гражданами не оскудѣла, да никогда и не оскудѣетъ, — вѣдь въ это вѣрить и самъ г. П. Я., столь горячо убѣжденный и насъ горячо убѣждающій въ конечномъ торжествѣ добра:

Падеть, падеть вѣнецъ съ святыни беззаконной,  
Предъ свѣточемъ ума померкнуть ложь и зло,  
И изъ развалинъ ты, какъ фениксъ возрожденный,  
Поднимешь свѣтлое чело.

Это г. П. Я. говорить, обращаясь къ «идеалу» (стихотвореніе такъ и озаглавлено—«Идеаль»). Надо думать, что фениксъ подниметъ свѣтлое чело не безъ участія «гражданъ», которыхъ будто бы уже нѣтъ, и не безъ помощи «словъ», которыя будто бы безплодны. Очевидно, неожиданная пессимистическая нотка г. П. Я.—явленіе случайное, наносное, а не органическое. Кстати, по поводу этого стихотворенія—«Идеаль». У Надсона тоже есть стихотвореніе «Идеаль», и любопытно сопоставить идеалы обоихъ поэтовъ. Скажемъ рѣшительно: насколько г. П. Я. уступаетъ Надсону въ чисто-поэтическомъ дарованіи, въ музыкѣ стиха, въ силѣ и красотѣ образовъ, настолько же превосходитъ его ясностью и широтою разумѣнія. Въ представленіи г. П. Я. вотъ каковъ «идеаль»:

Свобода, разумъ, честь, любовь, отчизна, вѣра...  
Нѣтъ образамъ твоимъ и именамъ числа.  
Ты зажигаешь костры, ты двигаешь изувѣра,  
Ты вдохновляешь бойца на славныя дѣла.

Въ представленіи Надсона «идеаль» нѣчто совсѣмъ иное:

... тотъ, кто мыслею летучей  
Сумѣлъ подняться надъ толпой,

---

\*) Читателю слѣдовало бы знать, почему поэту П. Я. я противопоставлю прованка Мельшина: не потому только, что первый мало, а второй сильно талантливъ, но и по другой, болѣе вѣской причинѣ.

Люби оцѣнить свѣтъ могучій  
И сердца идеалъ святой:  
Онъ бросить всѣ кумиры вѣка  
Съ ихъ мимолетной мишурой  
И къ идеалу человѣка  
Пойдетъ увѣренной стопой.

Разница бросается въ глаза: идеалъ г. П. Я.—общественный, идеалъ Надсона—чисто-индивидуальный. Во имя идеала, какъ его понимаетъ г. П. Я., могутъ дѣйствовать всѣ, вплоть до изувѣра; во имя идеала, какъ его понимаетъ Надсонъ, могутъ дѣйствовать только люди, возвышающіеся надъ толпой. Нѣтъ надобности доказывать, что и психологическая, и логическая, и историческая правда находится въ данномъ случаѣ всецѣло на сторонѣ г. П. Я.

Г. П. Я.—не поэтъ, умѣющій затрогивать наши душевные струны, а публицистъ, который почему-то находитъ нужнымъ стѣснять себя стихотворной формой, очень мало ему послушной. Разумѣется, я не то хочу сказать, что у него хромають размѣры или приема: теперь даже объявленія о дешевыхъ распродажахъ составляются въ правильныхъ и звучныхъ стихахъ, такъ что объ этой сторонѣ дѣла и говорить не стоитъ. Но г. П. Я. не умѣетъ сообщить намъ огонь сжигающаго его энтузіазма. Онъ обладаетъ необыкновенно чуткимъ инстинктомъ, но не поэтическимъ, а нравственнымъ, что, къ несчастью, далеко не одно и то же. Есть у г. П. Я. между прочимъ одно стихотвореніе, въ которомъ только что указанная черта выразилась съ особенною рельефностью. Мысль стихотворенія свѣжа и вѣрна, нравственное чувство, насквозь проникающее его, свѣтло и возвышенно, но, читая это стихотвореніе, невольно думаешь: какъ жаль, что такая тема попала въ руки публицисту, а не поэту! И какъ жаль, что Некрасовъ не имѣлъ *нравственного права* касаться такихъ темъ! Стихотвореніе довольно длинно, и я приведу его съ большими сокращеніями, которыя, впрочемъ, ясности дѣла не повредятъ. Поэтъ-публицистъ обращается «къ родинѣ»:

За что любить тебя? Какая ты намъ мать,  
Когда и мачеха безчеловѣчно-злая  
Не станетъ пасынка такъ безпоощадно гнать,  
Какъ ты дѣтей своихъ казнишь, не уставая?

.....  
Ты сожигала насъ томительной отравой,  
Порывы славныхъ дѣлъ въ зародышѣ губя,  
Изъ лучшихъ жизни дней создавъ кошмаръ кровавый..  
Какая жъ мать ты намъ? За что любить тебя?

Развивайте послѣдовательно эту тему, и вы логически  
дойдете до «фабричнаго котла», въ который и постараетесь  
усадить для надлежащей «выварки» свою родину. За те-  
оретическими аргументами дѣло не станетъ, доказывать  
можно все что угодно, разъ омрачено нравственное чув-  
ство. Но у г. П. Я. это чувство живо и дѣятельно и на  
вопросъ: «за что любить тебя?» онъ отвѣчаетъ:

За что, не знаю я; но каждое дыханье,  
Но каждый помыслъ мой, всѣ силы бытія  
Тебѣ посвящены, тебѣ до издыханья!  
Любовь моя и жизнь—твоя, о, мать моя!

.....  
Я бъ умереть готовъ безъ тайныхъ сожалѣній,  
Въ лохмотьяхъ нищеты, въ недугѣ роковомъ,  
На кучѣ мусора подъ чуждымъ мнѣ окномъ,  
Въ жалчайшемъ изъ твоихъ заброшенныхъ селеній!

Левъ Толстой пришелъ однажды въ восхищеніе отъ чье-  
го-то выраженія—«умъ сердца». Выраженіе дѣйствительно  
удачно и наилучшей иллюстраціей къ нему служить от-  
вѣтъ г. П. Я. на вопросъ: «за что любить тебя?» Не знаю,  
но люблю до издыханія,—не по-хорошему миль, а по-милу  
хорошъ, какъ говорить нашъ народъ. Въ этомъ отвѣтѣ  
нѣтъ разсудочной логики, но есть высшая разумность, ни-  
когда не расходящаяся съ нравственнымъ чувствомъ. Хро-  
нологически г. П. Я. принадлежитъ къ восьмидесятымъ  
годамъ, но онъ проникнутъ духомъ предшествовавшей эпохи.  
Если бы слово «патріотъ» не было такъ захватано грязными  
руками, мы не нашли бы для г. П. Я. лучшаго эпитета.

А ваше общее заключеніе? спросить читатель. Обратитесь къ эпиграфу статьи, отвѣчу я. Этотъ эпиграфъ взять мною изъ стихотворенія, озаглавленнаго «На томъ же мѣстѣ», и это для насъ очень кстати. Да, на томъ же мѣстѣ, но съ другой стороны, другими средствами—мы ничего не забыли, но кое-чему выучились. И ужъ во всякомъ случаѣ не дымъ фабричныхъ трубъ, не свистъ и шипѣніе парового котла мерещатся намъ въ нашихъ грезахъ о родинѣ, а мирный свѣтъ школьной лампы и ряды русскихъ и бѣлыхъ головокъ, склонившихся надъ книгою.

---



1891 г.

## Послѣдовательный народникъ.

(„Собрание сочиненій“ Н. Златовратскаго. Два тома. Москва, 1891 г.).

„Любовь, какъ пѣсня рая,  
Звучить въ сердцахъ, но смыслъ ея пропасть,  
Нѣтъ божества, — стоитъ лишь пьедесталъ,  
И грязь на немъ налипла вѣковая“.

*Беранже.*

„Все субстанціальное въ нашемъ народѣ  
велико, необъятно, но опредѣленіе гнусно,  
грязно, подло“.

*Бюлинскій.*

### I.

Лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ въ нашей литературѣ много и горячо разсуждали о *народности* вообще и, въ частности, о народности въ искусствѣ. Лѣтъ пятнадцать, двадцать назадъ въ нашей литературѣ возникли разговоры о *народничествѣ*, какъ объ извѣстномъ умственномъ теченіи, имѣющемъ очень серьезное значеніе. Между этими двумя фактами есть ли какая-нибудь генетическая связь и между понятіями „народность“ и „народничество“ есть ли какое-нибудь логическое соотношеніе.

При извѣстномъ остроуміи и діалектической ловкости можно устанавливать самыя неожиданныя связи между самыми разнородными и отдаленными предметами. Разумихинъ Достоевскаго (*Преступленіе и наказаніе*) брался „вывести“, что у его пріятеля бѣлыя рѣсницы единственно

оттого, что въ колокольнѣ Ивана Великаго тридцать девять сажень высоты, и „вывести“ даже не просто, а съ либеральнымъ и прогрессивнымъ оттѣнкомъ. Если такъ, то и я съ своей стороны не затруднился бы „вывести“, что метафизическія умствованія Бѣлинскаго и его друзей о „народности“ были совершенно необходимы для возникновенія у насъ „народничества“, въ смыслѣ литературно-общественнаго направленія. Нѣтъ дѣйствій безъ причинъ, точно такъ же, какъ нѣтъ дѣйствій безъ послѣдствій, и въ литературно-историческомъ отношеніи между ученіемъ о „народности“ и системою „народничества“ существуетъ извѣстная связь, видна преемственность, разъяснить которую можно было бы документально. Такъ, напримѣръ, Бѣлинскій, разсуждая о народности, какъ о формѣ общечеловѣческой идеи, какъ объ „односторонности“, которая, по Гегелю, „является истинною только въ примиреніи съ противоположною ей стороною“ и т. п. (*Сочиненія Бѣлинскаго*, т. V), проговаривается замѣчаніемъ, въ которомъ уже нѣтъ ровно ничего метафизическаго и которое по своему смыслу какъ будто прямо адресовано къ одной фракціи нашихъ народниковъ, считающей, — чтобы ужъ сказать все съ перваго же шага, — своимъ литературнымъ представителемъ не другого кого-нибудь, какъ именно г-на Златовратскаго. Замѣчаніе Бѣлинскаго вотъ какое: „есть люди, которые приглашаютъ васъ учиться у черни не только литературѣ, но и нравамъ, и обычаямъ, и даже тому, что составляетъ внутреннюю жизнь и свободное убѣжденіе cadaго порядочнаго челоѣка. Деревенскіе старосты и богомольныя старухи представляются у нихъ образцами нравственности, созерцательныхъ откровеній и даже образованности и просвѣщенія“. Когда Бѣлинскій писалъ эти слова, г. Златовратскаго и на свѣтѣ еще не было, но ни къ кому, во всей нашей литературѣ, они не имѣютъ такого прямого отношенія, какъ именно къ г. Златовратскому.

Читатель, надѣмся, не ждетъ отъ насъ разсужденій на тему о „народности“. Въ эпоху Бѣлинскаго такія разсужденія могли имѣть глубокій смыслъ, какъ выраженіе въ литературѣ національнаго самосознанія, какъ теоретическое обоснованіе и систематизированіе тѣхъ началъ, на которыхъ могла бы установиться *философія патріотизма*, давно и всѣмъ знакомаго въ видѣ безсознательнаго, слѣпотаго инстинкта. Народъ, сознавшій себя историческою націей, съ спеціальною историческою ролью и съ спеціальными историческими задачами,—это все равно, что человекъ, сознавшій себя личностью съ опредѣленнымъ общественнымъ призваніемъ. Такое самосознаніе — простой, естественный атрибутъ извѣстной ступени развитія. „Я мыслю, слѣдовательно, существую“,—это декартовское изреченіе резюмируетъ собою содержаніе цѣлаго фазиса развитія, чрезъ который обязательно долженъ пройти и каждый народъ, имѣющій историческое будущее, и каждая личность, предназначенная къ общественной роли. „Націонализмъ“ и „индивидуализмъ“—это понятія, по существу между собою одинаковыя, и если между ними есть различіе, то только количественное, а не качественное. Ребенокъ есть личность съ первой минуты своего появленія на свѣтъ, и народъ есть нація съ первыхъ безсознательныхъ шаговъ по широкому пути всемірной исторіи, но перейти отъ непосредственнаго пользованія этимъ фактомъ къ анализу этого факта, къ его сознанію и пониманію—значить заявить о своей наступающей или наступившей возмужалости.

Безъ самосознанія нѣтъ дѣятельности; но работа самосознанія не можетъ быть содержаніемъ дѣятельности. Самосознаніе есть только необходимое *условіе*, а не сущность дѣятельности, предметъ которой долженъ лежать внѣ личности, собирательной ли, какъ народъ, или единичной, какъ индивидъ. Если сознавшій себя человекъ употребитъ свои силы исключительно на дальнѣйшее расширеніе и укрѣпленіе своего самосознанія и самопознанія, онъ сы-

граетъ въ нравственномъ мірѣ роль безплодной смоковницы, заслуживающей проклятiя, какъ возмездiя, онъ явитъ собою образецъ чистѣйшаго эгоизма, который интересуется только собою и заботится только о себѣ. Равнымъ образомъ, если народъ, развивши до послѣднихъ предѣловъ свое національное самосознаніе, доведетъ его до національнаго самомнѣнія и, наконецъ, до національной исключительности, онъ тѣмъ самымъ отрѣжетъ себѣ всѣ возможности и пути къ прогрессу, который немислимъ безъ общенiя, безъ соревнованiя, безъ заимствованiй, безъ борьбы. Въ первомъ случаѣ передъ нами „толстовецъ“, прислушивающійся, какъ къ голосу жизни, къ шуму въ собственныхъ ушахъ; во второмъ случаѣ передъ нами Китай, богатая страна и многочисленный народъ, не имѣющій ни голоса, ни роли въ общечеловѣческой семьѣ племенъ, національностей и государствъ. Крайности индивидуализма столь же пагубны, какъ и крайности націонализма. Почувствовать свое достоинство, сознать свое „я“, опредѣлить свое мѣсто и назначеніе,—все это законно и прекрасно; но сотворить изъ своего „я“ кумиръ себѣ, основывать свое достоинство на преувеличеніи своего значенiя, поставлять себя въ центрѣ, около котораго должно совершаться круговращеніе жизни, — все это нисколько не прекрасно и не законно ни для народа, ни для отдѣльной личности. „Только тотъ народъ и великъ, — замѣтилъ однажды Достоевскій, — который считаетъ себя первымъ, богоизбраннымъ народомъ“, и это одна изъ многочисленныхъ формулъ крайняго націонализма, самодовольнаго, узкаго, ограниченнаго и хвастливаго. Истинное достоинство всегда скромно, точно такъ же какъ истинное самосознаніе можетъ вести къ самоуваженію, но не можетъ вести къ самообожанію,—не можетъ потому, что богоизбранныхъ народовъ нѣтъ, а Богочеловѣкъ былъ только одинъ, и именно Тотъ, Кто былъ „кротокъ и смиренъ сердцемъ“ и чье иго было *благо* и чье бремя было *легко*.

Народность въ смыслѣ націонализма представляетъ собою ступень, уже пройденную передовыми рядами нашего общества. Да, Россія — не географическій терминъ; да, русскій народъ, какъ историческая нація, имѣетъ свои собственныя задачи огромной, общечеловѣческой важности и свою оригинальную фязіономію, не вполне, но уже достаточно ясно опредѣлившуюся. Но слишкомъ настаивать на этомъ фактѣ, видѣть въ этомъ естественномъ результатѣ стихійнаго историческаго процесса какую-то свою заслугу, какое-то драгоценное національное достояніе — значитъ свидѣтельствовать о своемъ несовершеннѣйшѣмъ, точѣ въ точѣ какъ тѣ юноши, которые, страстно желая казаться вполне возмужавшими людьми, безпрестанно крутятъ свои „усы“, т.-е. легонькій пушокъ, темнѣющій на ихъ верхней губѣ, и говорятъ басомъ, при малѣйшемъ волненіи переходящемъ въ дискантъ. Наивные люди не желаютъ довольствоваться сознаніемъ историческаго значенія своей національности и хотятъ націонализировать даже такія вещи, которыя космополитичны по самой своей сущности, какъ наука, какъ истина, какъ личное и общественное благо и тѣ формы жизни, которыя лучше другихъ благоприятствуютъ развитію и процвѣтанію этихъ началъ. „У насъ дважды два тоже четыре, какъ и на Западѣ, да выходитъ оно какъ-то бойчѣе“, — остроумно иронизировалъ Тургеневъ надъ самобытниками этого рода слишкомъ двадцать лѣтъ тому назадъ, но, какъ видно, никого эта иронія не убѣдила и проповѣдь самобытной русской, „истинно-русской“ таблицы умноженія раздается еще громче прежняго.

„Народность“ въ смыслѣ *народничества* имѣетъ совсѣмъ другую исторію и совсѣмъ иное значеніе. Начало его возникновенія въ нашей литературѣ, въ видѣ созидательнаго направленія, должно быть отнесено къ тому времени, когда вопросъ объ „улучшеніи“ положенія народа пересталъ быть вопросомъ благодушествующей филантро-

пи и сдѣлался вопросомъ государственной необходимости. Это время — вторая половина пятидесятихъ и первая половина шестидесятихъ годовъ — поставило передъ обществомъ цѣлый рядъ „вопросовъ“, въ числѣ которыхъ вопросъ о народѣ, какъ экономической и политической силѣ, занималъ первое мѣсто. Сущность возникавшаго напавленія опредѣлялась совсѣмъ не такими „народниками“, какими явились въ то время Николай Успенскій, Стѣпцовъ и т. п. Безыдейныя фотографическія картинки этихъ писателей могли дать читателю кое-какія свѣдѣнія о народѣ частью психологическаго, частью этнографическаго свойства, могли сообщить нѣкоторыя новыя бытовые данныя, не подмѣченные раньше второстепенные и третьестепенные факты и т. д. Но задача заключалась не въ этомъ, а въ томъ, чтобы найти общій руководящій принципъ, съ высоты котораго было бы нетрудно судить о явленіяхъ народной жизни, группировать и оцѣнять ихъ. Мы напрасно стали бы искать такого принципа у тогдашнихъ народниковъ-бытописателей, начиная съ Рѣшетникова и кончая Левитовымъ, но въ теоретическихъ литературныхъ разсужденіяхъ того времени, въ родѣ, напримѣръ, извѣстныхъ статей *Современника* объ общинѣ, — разсужденіяхъ, исходившихъ изъ анализа экономическихъ и юридическихъ основъ народной жизни, можно было отыскать нѣкоторыя общія руководящія начала, которыя и были подлинными формулами «народничества».

Чтобы не топтаться дольше чѣмъ нужно на одномъ мѣстѣ, скажемъ безъ предисловія, что такихъ основныхъ формулъ наши теоретики народничества выработали сче-томъ *дѣть*, нисколько не новыхъ, давно извѣстныхъ въ политическихъ ученіяхъ Запада, но у насъ получившихъ особый и значительный смыслъ. *Все для народа* — вотъ первая изъ этихъ формулъ; *все чрезъ народъ* — вотъ вторая формула. Несмотря на свою лаконичность, эти формулы властно предписываютъ извѣстную систему дѣйствій, ре-

зюмируютъ собою цѣлую категорію идей и воззрѣній, оставаясь въ то же время между собою въ отношеніяхъ не только не дружественныхъ, а даже во многихъ случаяхъ прямо враждебныхъ.

Формула «все для народа» была, прежде всего, выраженіемъ естественной реакціи той формулѣ «ничего для народа», которая хотя никогда не выговаривалась громко, но лежала въ основѣ практической государственной дѣятельности въ теченіе очень долгаго періода. Происходило это не отъ жестокости, — *такая* жестокость была бы невѣроятна, — и не отъ близорукости, — во всѣ періоды нашей исторіи у насъ не было недостатка въ людяхъ съ широкимъ взглядомъ и съ государственнымъ смысломъ, — а отъ простой невозможности: закрѣпощенному народу *ничего* дать, для него *ничего* нельзя сдѣлать, прежде чѣмъ падутъ связывающія его путы. Но тысячи причинъ, начиная съ простыхъ предразсудковъ о какой-нибудь бѣдой кости и кончая серьезнѣйшими экономическими интересами, мѣшали людямъ разсмотрѣть крѣпостное состояніе въ его истинномъ свѣтѣ, и въ результатъ получалась именно такая программа жизни, которая сводилась къ формулѣ «ничего для народа».

Какъ бы то ни было, сила вещей взяла свое, теченіе прогрессирующей жизни прорвало плотину крѣпостничества, и освобожденный народъ занялъ то центральное положеніе, которое принадлежало ему по свойству его исторической роли. Вынося на своихъ плечахъ всю тяжесть исторіи своей земли, нашъ народъ до послѣднихъ дней оставался въ глазахъ многихъ «хамомъ», «быдломъ», «подлою чернью» и т. д. Вообразите передъ лицомъ этого несомнѣннаго и вопіющаго факта русскаго интеллигентнаго человѣка съ его совѣстливостью, съ его стремленіемъ къ справедливости, съ его альтруистическими инстинктами: ясно, что если этотъ человѣкъ еще не народникъ, то не замедлитъ сдѣлаться народникомъ, т.-е. такимъ дѣятелемъ, для котораго защита

народныхъ интересовъ есть дѣло не столько политическаго расчета, сколько личнаго нравственнаго удовлетворенія.

Родная земля!

Назови мнѣ такую обитель,  
Я такого угла не видалъ,  
Гдѣ бы сѣятель твой и хранитель,  
Гдѣ бы русскій мужикъ не стоналъ!

Вотъ психологическая основа нашего народничества или, по крайней мѣрѣ, одной изъ популярнѣйшихъ его фракцій. Если *сѣятель* и *хранитель* родной земли не находятъ на ней спокойнаго уголка для себя, то это является такимъ поправленіемъ элементарнѣйшей справедливости, которое не можетъ не возбуждать упрековъ совѣсти. Отвѣтомъ на эти упреки явилось народничество въ формѣ *народолюбія*, не славянофильскаго народолюбія, въ сущности, преисполненнаго жестокости, которое *восхищалось* фактомъ безпріютности и безпомощности мужика въ родной странѣ, а народолюбія на нравственно-гуманной почвѣ, въ глазахъ котораго мужикъ былъ не «младшій» только, но и неправобоженный, несправедливо обдѣленный братъ.

Ко всѣмъ этимъ чисто моральнымъ мотивамъ и побужденіямъ присоединились à la longue соображенія теоретическаго свойства. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, наша страна—страна мужицкая; вѣдь, тотъ классъ населенія, который слыветъ подъ именемъ «народа», есть, въ сущности, само населеніе; вѣдь, это не красное словцо, не поэтическая гипербола, а истинная правда, что мужикъ—«сѣятель» и «хранитель» родной земли. Спросите исторію, справьтесь со статистикой, наконецъ, просто взгляните на карту нашего отечества: разные наши «бурги», «славы» и «дары» топчутъ въ массѣ сѣрыхъ Ивановокъ и Незвановокъ, и вся страна представляется въ видѣ огромнаго мужицкаго поля, богатаго всякими угодами, но очень плохо обработаннаго. Сѣрая страна, мужицкое царство, деревенское государство! А если такъ, то формула «все для народа», очевидно, превращается въ фор-



мулу «все для отечества», и *народолюбіе* возвышается на степень разумнаго, сознательнаго, просвѣщеннаго *патріотизма*. Благосостояніе всякой страны есть, конечно, благосостояніе большинства, интересы страны есть интересы этого большинства, а такъ какъ нигдѣ, ни въ одной странѣ большинство такъ не однородно, какъ именно въ Россіи, и нигдѣ оно такъ ясно не выражено, какъ у насъ, то всѣ наши общественно-государственные задачи чрезвычайно упрощаются. Гдѣ у насъ феодализмъ, гдѣ буржуазія, гдѣ капитализмъ? И если можно указать нѣкоторое подобіе у насъ того, другого и третьяго, то роль этихъ факторовъ похожа ли хоть отдаленно на роль соотвѣтственныхъ силъ въ западной жизни? Феодализмъ, аристократизмъ! Но уже шестьдесятъ лѣтъ назадъ нашъ поэтъ-аристократъ писалъ:

Понятна мнѣ временъ превратность,  
Не прекословлю, право, ей.  
*У насъ нова рожденьемъ знатность,*  
*И чѣмъ новѣе, тѣмъ знатнѣй.*

Съ тѣхъ поръ «временъ превратность» могла, конечно, только увеличиться. Далѣе — буржуазія. Тотъ же поэтъ говорилъ о себѣ:

Родовъ униженныхъ обломокъ  
И, слава Богу, не одинъ,  
Бояръ старинныхъ я потомокъ:  
*Я—мѣщанинъ, я—мѣщанинъ.*

Если Пушкинъ — мѣщанинъ, что и вѣрно совершенно, было вѣрно тогда и вдвое вѣрнѣе теперь, не въ ироническомъ, а въ положительномъ смыслѣ, то, съ другой стороны, и Кить Китьчъ не кто иной, какъ мѣщанинъ: спрашивается, есть ли что-нибудь цѣльное въ такомъ общественномъ слоѣ, въ которомъ равноправными элементами являются Пушкинъ, воздвигнувшій себѣ «памятникъ нерукотворный», и Кить Китьчъ, вопрошающій: «чего моя нога хочетъ?» Понятіе буржуазіи логично и стройно, какъ само явленіе, представляемое имъ; понятіе нашего «мѣ-

щанства» неопредѣленно, растяжимо и смутно опять-таки какъ самый фактъ, его породившій. Наконецъ, третій факторъ — капитализмъ. Идейное значеніе и историческій смыслъ западнаго капитализма состоитъ въ порабощеніи труда. Въ силу извѣстной организаціи производства добровольный трудъ юридически свободнаго человѣка превращается въ трудъ кабальный, крѣпостной, въ результатѣ чего всѣ права гражданина-рабочаго, добытыя длиннымъ историческимъ рядомъ всяческихъ жертвъ и усилій и торжественно засвидѣтельствованныя и многократно подтвержденные въ разнаго рода актахъ и хартіяхъ,—всѣ эти права исчезаютъ яко дымъ, текутъ, такъ сказать, по усамъ, а въ ротъ рабочаго почти не попадаютъ. Явленіе чисто экономическое, западный капитализмъ ведетъ, однако же, къ безчисленнымъ результатамъ политическаго, юридическаго и даже этическаго свойства. То ли мы видимъ у насъ? Лѣтъ пятьдесятъ назадъ россійскій «аршинникъ, самоварникъ, надувало морской», расторговавшись соленымъ судакомъ или березовыми дровами, запыралъ свой «копиталь» въ сундукъ, ложился на сундукъ внизъ брюхомъ и околѣвалъ медленною голодною смертію. Такова была его «капиталистическая система». Современный нашъ капиталистъ поступаетъ не столь странно, но, въ сущности, не болѣе производительно: онъ покупаетъ горы процентныхъ бумагъ, наживаетъ себѣ мозоли, обстригая купоны, на которые приобрѣтаетъ еще и еще бумагъ, отъ которыхъ нарѣзываетъ еще и еще купоновъ и т. д., и т. д. Если же онъ вложилъ свой капиталъ въ какое-нибудь «промышленное предпріятіе», то результатъ получается, пожалуй, еще хуже: западный капиталистъ проситъ и требуетъ только того, чтобы ему не мѣшали, чтобы ему предоставили *faite* и *aller* какъ заблагоразсудится, тогда какъ нашъ капиталистъ преискренно убѣжденъ, что не только таможни, но и небо, и земля, и всѣ государственныя учрежденія, и судъ, и администрація, и печать—всѣ и все обя-

заны помогать ему. Все это до такой степени дико, неотесано, примитивно, и просто-напросто глупо, что, конечно, не может быть рассматриваемо как серьезный факторъ общественной или національной жизни. Такимъ образомъ и отрицательные результаты нашего анализа ведутъ къ прежнему положительному заключенію,—именно къ тому, что центръ тяжести всей нашей жизни лежитъ въ жизни и судьбѣ народныхъ массъ. На этой почвѣ идея народничества перестаетъ быть моральною заповѣдью, отвлеченнымъ долгомъ и становится широкимъ общественнымъ принципомъ, а девизъ «все для народа» является уже не въ видѣ благодушнаго пожеланія, а въ видѣ совершенно отчетливой практической программы.

Все для народа... Однако, въ чемъ же именно заключается это *все*? Въ чемъ состоятъ интересы народа? Кому надлежитъ рѣшать, что полезно и что вредно для народа, и гдѣ критерій для заключеній этого рода? Рѣзкое различіе въ отвѣтахъ именно на *эти* вопросы болѣе всего разъединяетъ нашихъ народниковъ. Сущность этихъ различныхъ отвѣтовъ заключается въ слѣдующемъ. Внутреннее сознаніе человѣка есть лучшее свидѣтельство и лучшее доказательство вреда или пользы, зла или добра, счастья или несчастія. Все это — чисто субъективныя понятія, о которыхъ, какъ о вкусахъ, не можетъ быть спора. Если вы хотите послужить человѣку или классу, или народу, вы можете сдѣлать это, лишь стремясь къ осуществленію тѣхъ идеаловъ, которые уже выработаны въ сознаніи этого человѣка, или этого класса, или этого народа. Это въ особенности вѣрно по отношенію къ цѣлому народу, идеалы котораго покоятся на традиціяхъ, вырабатываются путемъ медленнаго историческаго процесса. Вы можете не сочувствовать идеаламъ народа, можете не раздѣлять его вѣрованій, можете даже не уважать ихъ, но вы не имѣете права посягать на нихъ, не должны забывать, что они составляютъ для тысячъ и миллионовъ умовъ и сердецъ

такую же завѣтную святыню, какою въ вашихъ глазахъ являются ваши идеалы и убѣжденія. Надо быть очень легкомысленнымъ и самоувѣреннымъ человѣкомъ, чтобы свой личный воззрѣнiя, настроенiя своего бѣднаго, ограниченного, единичнаго ума осмѣлиться противопоставить результатамъ вѣковой коллективной умственной работы народа. Вотъ почему формула «все для народа» неопредѣленна и неполна, вотъ почему афоризмъ «все чрезъ народъ» является логически и практически необходимымъ ея звеномъ. Да, не только все для народа, но и все чрезъ народъ, потому что только народъ знаетъ, что нужно народу, только народу рѣшать, куда, съ кѣмъ и съ чѣмъ идти ему.

Это одинъ отвѣтъ на поставленные выше вопросы. Другой, совершенно противоположнаго свойства отвѣтъ можетъ быть изложенъ тоже не безъ убѣдительности. Развѣ значенiе идеи, достоинство того или другого идеала должно быть измѣряемо количественнымъ, а не качественнымъ масштабомъ? Тысяча пудовъ ровно въ тысячу разъ тяжелѣе одного пуда, тысяча сажень всегда и вездѣ въ тысячу разъ длиннѣе одной сажени, но тысяча человѣкъ сплошь да рядомъ бываютъ глупѣе, невѣжественнѣе, беспомощнѣе одного человѣка. Совершенная неправда, что истина имѣетъ только субъективные критерiи: истина — едина, субъектовъ — бесконечное множество. Только въ низшихъ областяхъ духовной дѣятельности, въ сферѣ ощущенiй, вкусовъ, безсознательныхъ пристрастiй и антипатiй каждый молодецъ, по пословицѣ, можетъ быть на свой образецъ. Законы логики, такъ же какъ законы морали, для всѣхъ одинаково обязательны, потому именно, что они — выраженiе объективной (если не абсолютной) истины, которая одна только и въ правѣ требовать къ себѣ уваженiя. Чепуха, белиберда и ерунда останутся чепухой, белибердой и ерундой, хотя бы считали вѣками свое существованiе, а своихъ адептовъ и послѣдователей миллиардами. Съ другой стороны, идея

всемірнаго тяготѣнія была уже истиной въ то время, когда ее сознавалъ только *одинъ* человѣкъ на всемъ земномъ шарѣ.

Никогда и нигдѣ толпа, масса, «народъ» не являлись самостоятельными дѣятелями, всегда и вездѣ они были только исполнителями плановъ и повелѣній своихъ вождей. «Все для народа» — это выраженіе понятно, какъ и выраженіе «все для стада». Но какой же разсудительный пастьухъ скажетъ: «все посредствомъ стада»? Человѣческое стадо, какъ и всякое другое, способно топтать собственными ногами свой кормъ сегодня, чтобы пропасть съ голода завтра; человѣческое стадо, какъ и другое, не идетъ на призывъ человѣческаго голоса, но хорошо понимаетъ свистъ и хлопанье бича; человѣческое стадо не имѣетъ ни своего разума, ни своей воли, а имѣетъ лишь стадные инстинкты да зоологическія побужденія. Эти-то инстинкты вы рекомендуете намъ уважать? Вы требуете почтительнаго отношенія къ возрѣніямъ, вышедшимъ изъ мрака этихъ инстинктовъ? Пусть на сторонѣ этихъ возрѣній авторитетъ давности, пусть они освящены преданіемъ; но развѣ наука, во имя которой мы вооружаемся противъ этихъ возрѣній, — дѣло вчерашняго дня? Развѣ ея давность не превосходитъ историческій возрастъ любого изъ существующихъ народовъ? И развѣ идеи цивилизаціи и просвѣщенія, которыя мы несемъ съ собою, — продукты единичной, а не коллективной умственной работы? Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ! Будемъ служить народу, но не будемъ служить народнымъ предрассудкамъ; будемъ прислушиваться къ голосу народа, но не дадимъ ему заглушить голосъ разума. «Все для народа», потому что онъ несчастенъ; ничего посредствомъ народа, ничего «чрезъ народъ», потому что онъ неразуменъ и невѣжественъ.

Читатель понимаетъ, что я до сихъ не свои мнѣнія развивалъ, а чужія возрѣнія излагалъ. Все это и еще многое другое я вычиталъ въ произведеніяхъ нашихъ народни-

ковъ-беллетристовъ, къ ихъ, быть можетъ, искреннему удивленію, такъ какъ они только въ рѣдкихъ случаяхъ рѣшались теоретизировать. Собственно же у г. Златовратскаго я прочелъ въ двухъ увѣсистыхъ томахъ его очень талантливыхъ произведеній вотъ что: «все для народа, все чрезъ народъ, все у народа, все къ народу, все изъ народа, нѣтъ ничего, кромѣ народа». Да, г. Златовратскій дѣйствительно *последовательный народникъ*!

## II.

Г. Златовратскій, на ряду съ Рѣшетниковымъ и Глѣбомъ Успенскимъ, можетъ считаться представителемъ и главою извѣстной фракціи народничества. Рѣшетниковъ съ Николаемъ Успенскимъ, Слѣпцовымъ и Якушкинымъ — вотъ первая (хронологически) изъ народническихъ фракцій, специальность которой состояла въ фотографически-точномъ воспроизведеніи народного быта. Глѣбъ Успенскій и, если не ошибаюсь, г. Эртель представляютъ собою вторую фракцію, которая не довольствуется знаніемъ быта народа, внѣшнихъ формъ его жизни, а стремится постичь его душу, понять его внутренній міръ, его психологію. Третья фракція—гг. Наумовъ, Засодимскій, Каронинъ съ г. Златовратскимъ во главѣ — какъ будто задалась цѣлью не столько изучить, сколько всякими цвѣтами расцвѣтить и всякими похвалами расхвалить народъ.

Рѣшетниковъ явился Колумбомъ нашего народа, реальнаго, живого мужика, а не того конфеточнаго страдальца, какимъ изображался мужикъ у Григоровича, а частью и у самого Тургенева. Глѣбъ Успенскій явился печальникомъ о народѣ, съ проповѣдью къ нему той любви, которая характеризуется поговоркой: «кто крѣпко любитъ, тотъ больно бьетъ». Г. Златовратскій является даже не адвокатомъ народа, глубоко убѣжденнымъ въ его «невиновности» и страстно защищающимъ его интересы, а колѣнопрекло-

неннымъ жрецомъ, который съ экстазомъ поетъ хвалебныя гимны своему божеству, не допуская ни тѣни скептицизма не только въ себѣ, но и въ другихъ.

Любопытно рѣшить (потому любопытно, что г. Златовратскій—крупная литературная величина), откуда нашъ «послѣдовательный народникъ» почерпнулъ эту несокрушимую вѣру въ народъ и эту ничѣмъ не смущающуюся любовь къ нему? Въ предисловіи къ своимъ сочиненіямъ г. Златовратскій предлагаетъ отъ себя такое объясненіе: «Склонность мою къ этому роду писательства поддерживали во мнѣ, вѣроятно, тѣ особыя обстоятельства, среди которыхъ прошло мое дѣтство и отрочество. То было время подготовленія реформы 19 февраля, вызвавшее, какъ извѣстно, большое оживленіе въ провинціи. Мой отецъ, хотя и былъ простымъ чиновникомъ при дворянскомъ собраніи, усиленно работалъ въ то время, если не ошибаюсь, въ губернскомъ комитетѣ по разработкѣ вопросовъ, касавшихся экономическаго положенія народа, а затѣмъ, несмотря на очень скудныя средства, при содѣйствіи наиболѣе развитыхъ дворянъ, открылъ публичную библіотеку, гдѣ мнѣ приходилось часто помогать ему. Въ то же время, благодаря близкому родству съ бѣднымъ сельскимъ духовенствомъ, въ нашей семьѣ не прекращалась и непосредственная связь съ деревней. Среди этихъ условій зарождались мои первыя сознательныя впечатлѣнія, которыми я, подъ вліяніемъ общей горячности и торопливости того времени, спѣшилъ, часто въ очень неудачной, ребяческой формѣ, подѣлиться съ своими ближними. Оглядываясь теперь назадъ, на эти пропедшіе годы моего писательства, я не могу не высказать благодарности судьбѣ за все то, что создало для меня возможность пережить, можетъ быть, и очень немногія минуты свѣтлаго возвышеннаго настроенія. Эти минуты особенно для меня дороги. Если условія моей жизни, въ главномъ, общи у меня со многими изъ моихъ сверстниковъ, то эти минуты опредѣляютъ другую

сторону моей жизни—интимную, сердечную, сказавшуюся и въ смутныхъ впечатлѣніяхъ дѣтства «въ старомъ домѣ», отъ грубой ласки няни Кузминишны и «незамужницъ» до любвеобильныхъ порывовъ «золотыхъ сердецъ», и тамъ, гдѣ я мысленно сопутствую по длинной «снѣговой пути-нѣ» простому человѣку, призванному къ общему служенію дѣлу любви и справедливости, или переживаю минуты сердечнаго общенія съ бѣдною чернорабочею артелью и глухою деревенскою общиной. Среди этихъ образовъ крѣпла моя вѣра въ будущее, и лучшія мечты юности находили живу ю почву».

Мы не можемъ принять этого объясненія. Всѣ такія ссылки на условія воспитанія, на обстоятельства личной жизни, на случайныя встрѣчи и связи не убѣдительны потому, что ничего въ этихъ условіяхъ и обстоятельствахъ нѣтъ исключительнаго, въ то время какъ результатъ, который приписывается ихъ вліянію и воздѣйствію, бываетъ иногда совершенно необыкновеннымъ. Ясно, что дѣло заключается не въ объективныхъ условіяхъ, а въ субъективныхъ данныхъ, не въ средѣ, окружающей или когда-то окружавшей писателя, а въ стихійныхъ особенностяхъ его духовной организаціи. Не потому человѣкъ сдѣлался ловцомъ, что на него звѣрь набѣжалъ, а потому на него звѣрь набѣжалъ, что онъ ловецъ по натурѣ своей, по непреодолимому призванію. Не потому г. Златовратскій сдѣлался народникомъ-оптимистомъ, народникомъ-энтузіастомъ, что на него подѣйствовала «грубая ласка» няни Кузминишны, а, наоборотъ, потому только ему и памятна эта ласка, что она свидѣтельствуетъ о нѣкоторыхъ добрыхъ свойствахъ нашего народа. Настоящее объясненіе заключается въ томъ, что г. Златовратскій по складу своего ума, по всему своему духовному типу является не русскимъ только человѣкомъ, а чистокровнымъ велико-русскимъ мужикомъ, со всѣми его общеизвѣстными достоинствами и недостатками. Это умный и проницательный писатель-мужикъ съ



вѣчнымъ «себѣ на умѣ», оптимистъ какъ будто по расчету, энтузіастъ какъ бы изъ политики, не увлекающій и не убѣждающій своего собесѣдника-читателя, но, если такъ позволено будетъ выразиться, опутывающій и даже оплетающій его. Если цѣль хороша, то что за дѣло до средствъ! Это немножко по-іезуитски, но въ то же время и по-мужицки, по-великороссійско-мужицки, совершенно въ духѣ нашихъ безчисленныхъ деревенскихъ Бисмарковъ, Меттерниховъ и Талейрановъ. Въ любви своей къ народу, къ «своимъ», г. Златовратскій болѣе чѣмъ искрененъ, — онъ фанатиченъ. Но читатель для него вовсе не «свой» и онъ съ нимъ не панибратствуетъ, какъ Глѣбъ Успенскій, не изливается передъ нимъ, не откровенничаетъ, не смѣется, не плачетъ, — все это «одно малодушество», — онъ медленно, незамѣтно, но вѣрно, шагъ за шагомъ, страница за страницей, приводитъ его въ свою вѣру. Какое-то эпическое спокойствіе разлито по его рассказамъ, какою-то неторопливою, самоувѣренною силой вѣсть отъ его рѣчей, тайная или явная цѣль которыхъ всегда одна и та же, независимо отъ ихъ формальнаго предмета \*). Въ рассказѣ *Деревенскій король Лиръ* одинъ «дѣдъ» рассказываетъ о себѣ и своихъ сверстникахъ: «Не аблакатствомъ, милячокъ, брали, а брали вѣрой! Встанемъ у суда и сто-

---

\*) Отмѣтимъ еще одно обстоятельство. По недавно установившемуся въ нашей литературѣ обычаю, ужъ не знаю — дурному или хорошему, къ «сочиненіямъ» г. Златовратскаго приложенъ его портретъ. Рекомендую читателю обратить вниманіе на наружность нашего народника (портретъ, замѣчу, отличается изумительнымъ сходствомъ). Это наружность совсѣмъ не «интеллигентнаго» челоѣка, не челоѣка нашего круга, нашего общества, это фізіономія «благомысленнаго» мужика, умнѣйшей деревенской головы, воротили всѣхъ сходокъ, вершителя всѣхъ приговоровъ. Какъ онъ скажетъ, такъ тому и быть, не вслѣдствіе принужденія, а вслѣдствіе добровольнаго подчиненія его авторитету. Еще менѣе «культурною» и еще болѣе мужиковатою наружностью отличается изъ всѣхъ нашихъ писателей только одинъ Левъ Толстой, насколько можно судить по портретамъ.

имъ: и день стоимъ, и ночь стоимъ, и въ жару стоимъ, и во вьюгу, и подъ дождемъ стоимъ, и въ сухмень стоимъ... Насъ гонять, а мы стоимъ... Угонять, а мы опять придемъ—опять стоимъ... Мѣсяцами стаивали... А все, милячокъ, вѣра!.. Ну, выстояли...» Приблизительно такимъ же способомъ и г. Златовратскій ходатайствуетъ за народъ передъ читателемъ: онъ очень рѣдко «аблакатствуетъ», т.-е. непосредственно защищаетъ народъ, онъ именно «беретъ вѣрой», настойчивостью и упорствомъ: какая бы погода ни стояла на дворѣ, тяготѣетъ ли общество въ народу или отвертывается отъ него, г. Златовратскій, не волнуясь, не спѣша, не унывая, продолжаетъ свое «стояніе» за народъ, выражающееся въ неуклонно-последовательномъ изображеніи народа, какъ великаго «святителя» и «хранителя» родной страны.

По своимъ художественнымъ средствамъ г. Златовратскій занимаетъ середину между двумя другими главными представителями народничества въ нашей беллетристикѣ: онъ настолько же въ этомъ отношеніи превосходитъ Рѣшетникова, насколько уступаетъ Глѣбу Успенскому. Онъ далеко не такъ монотоненъ, какъ Рѣшетниковъ, онъ не заваливаетъ насъ, читателей, сырьемъ, а даетъ намъ его въ обработанномъ видѣ, онъ живописуетъ, а не фотографируетъ, онъ не объективенъ, не равнодушенъ, какъ какой-нибудь референтъ-этнографъ, а нервнъ и впечатлительнъ, какъ истинный художникъ, хотя и чрезвычайно сдержанъ. Съ другой стороны, у г. Златовратскаго нѣтъ ни того изобилія, ни того разнообразія художественныхъ ресурсовъ, которые поражаютъ насъ въ Успенскомъ. Онъ умѣетъ постоянно держать ваше вниманіе на извѣстной степени напряженія, вы не соскучитесь съ нимъ, какъ непременно и неоднократно соскучитесь съ Рѣшетниковымъ, но онъ не можетъ заставить васъ ни расхохотаться до слезъ, ни опечалиться до слезъ же, ни загорѣться негодованіемъ, ни омрачиться тяжелымъ сомнѣніемъ, какъ

это все можетъ и безпрестанно дѣлаетъ Успенскій. И однако, *какъ народникъ*, г. Златовратскій стоитъ Успенскаго.

Дѣло въ томъ, что Успенскій, какъ бы онъ ни бранилъ насъ, интеллигенцію, все-таки нашего поля ягода, тогда какъ г. Златовратскій между нами все равно, что данаецъ между троянцами. Такъ, Успенскому не чужды и даже близки задачи и вопросы политики, тогда какъ г. Златовратскій о нихъ и знать не хочетъ. Успенскій страстно любить и жалѣть народъ, наблюдаетъ и изучаетъ его, съ волненіемъ рассказываетъ намъ о немъ, но все это онъ дѣлаетъ какъ человѣкъ, все-таки посторонній народу, какъ человѣкъ окултуренный. А г. Златовратскій—чистокровный русскій мужикъ, интеллигентный тургеневскій Хоръ, который «произошелъ» всю нашу науку, перечиталъ всѣ наши книжки, но остался вѣренъ своей природѣ и во всякое время готовъ промѣнять общество какого-нибудь Дарвина или Спенсера на общество дяди Митяя или дяди Миняя. Въ то время, какъ Успенскій изнываетъ отъ тоски, глядя на деревенскую неурядицу, на развращеніе деревни городомъ и т. д., г. Златовратскій сохраняетъ передъ лицомъ этихъ фактовъ свое обычное эпическое спокойствіе, и это не спокойствіе равнодушія, а именно тотъ «полный гордаго довѣрія покой», о которомъ говорилъ Лермонтовъ. Причина понятна. «Что такое народъ?» Я самъ народъ, говорилъ толстовскій Левинъ, и говорилъ напрасно, потому что онъ совсѣмъ не народъ. Но г. Златовратскій это можетъ сказать о себѣ, и потому, что онъ можетъ сказать это о себѣ, онъ вправѣ оставаться спокойнымъ даже въ крайнихъ случаяхъ, когда намъ нельзя не скорбѣть и не волноваться. Душа г. Златовратскаго — частица великой народной души, а народъ нашъ, какъ коллективное цѣлое, не только спокоенъ, но и флегматиченъ. Происходитъ эта флегматичность отъ разныхъ причинъ, но между прочимъ и отъ сознанія или отъ инстинкта, что перемелется—мука будетъ, что гибнуть отдѣльныя лично-

сти, но народъ живетъ и будетъ жить, и «выстоятъ», и все вынесетъ:

Вынесетъ все—и широкую, ясную  
Грудью дорогу проложить себѣ.

Для всѣхъ насъ—это только вѣра, которую надо поддерживать; для г. Златовратскаго—это воздухъ, которымъ онъ дышитъ, даже не помышляя о немъ и не замѣчая его.

### III.

На основаніи только что сдѣланной мною общей характеристики г. Златовратскаго, читатель, пожалуй, поспѣшитъ заключить, что «послѣдовательный народникъ», уже въ силу одной послѣдовательности, долженъ относиться къ интеллигенціи недоувѣрчиво и враждебно. Мы такъ привыкли противопоставлять интеллигенцію народу, что такое заключеніе должно казаться совершенно логичнымъ. Ничего подобнаго, однако, на дѣлѣ нѣтъ. Г. Златовратскій, не говоря уже ни о чемъ другомъ, писатель слишкомъ осторожный и политичный, чтобы рѣшиться на огульные отрицанія, на рискованныя обвиненія, на рѣзкіе упреки. У него далеко не все то на языкѣ, что онъ держитъ на умѣ, и окольные пути онъ сплошь да рядомъ предпочитаетъ прямымъ. Онъ не только не казнитъ нашу интеллигенцію, какъ казнятъ ее Левъ Толстой и Успенскій, онъ восхваляетъ ее, но такъ восхваляетъ, что отъ его похвалъ не поздоровится. Пріемъ, употребляемый имъ, въ сущности, очень простъ. Г. Златовратскій беретъ нѣсколько экземпляровъ интеллигентныхъ людей, снабжаетъ ихъ такими свойствами и атрибутами, которые ни въ какомъ случаѣ не могутъ считаться достояніемъ средняго интеллигентнаго человѣка, и ставитъ затѣмъ этихъ людей на пьедесталъ. Оно и пусть бы себѣ: художникъ-народникъ апотезируетъ своихъ героев-народниковъ—это такъ понятно и естественно. Но, вѣдь, это только одна сторона

дѣла, другая же состоитъ въ томъ, чтобы, возвышая интеллигентныхъ людей, нисколько не похожихъ на насъ, живую, реальную интеллигенцію, тѣмъ самымъ принизить и устыдить насъ. Вотъ истинныя «золотыя сердца», говоритъ г. Златовратскій, и дать подъ этимъ заглавіемъ повѣсть, въ которой тянется цѣлый рядъ героевъ, не имѣющихъ съ нами ничего почти общаго. Выводъ обязательнъ: если эти герои—превосходные люди, то мы, ихъ антиподы, люди дрянные; если у нихъ сердца золотыя, то наши сердца—свинцовыя; если они заслуживаютъ пьедестала, то мы должны считать себя счастливыми, если избѣжимъ позорнаго столба. Это не фраза, это—логика, и пусть читатель разсудитъ дѣло самъ по слѣдующимъ фактамъ.

Вотъ нѣкто Морозовъ, «золотое сердце» № 1. Онъ былъ, дѣйствительно, прекрасной души человекъ и оригиналь. Ему лѣтъ подъ тридцать пять. Въ его боковомъ карманѣ лежало пять дипломовъ, выданныхъ на разные ученые степени изъ разныхъ высшихъ учебныхъ заведеній. Онъ перекочевывалъ изъ одного въ другое десять лѣтъ: кончивъ курсъ въ московскомъ университетѣ по юридическому факультету, перешелъ на второй курсъ математическаго факультета Петербургскаго университета; кончивъ здѣсь, перебрался на третій курсъ земледѣльческаго института, отсюда на третій курсъ технологическаго института, и уже здѣсь закончилъ свою студенческую карьеру, набивъ карманъ разными дипломами, какъ паспортами на свободный проѣздъ по всевозможнымъ карьерамъ. Этому помогли, конечно, его замѣчательный умъ, неподобная память и неимоверная энергія, съ которой онъ переносилъ всѣ невзгоды необезпеченной жизни.

*Пять дипломовъ высшихъ учебныхъ заведеній... Гмъ!* Не черезчуръ ли это? Слишкомъ много цвѣтовъ, слишкомъ много дипломовъ! А понадобилось г. Златовратскому надѣлать своего героя такою бездною учености исключи-

тельно затѣмъ, чтобы ярче отѣннить «золотое» народничество Морозова, который, какъ Фаустъ, искусился во всѣхъ наукахъ, испробовалъ всѣхъ знаній и, тѣмъ не менѣе, питаетъ чисто-мужицкіе вкусы и пристрастія. «Удивительное дѣло,—говоритъ Морозовъ,—не могу равнодушно смотрѣть ни на лѣсъ, ни на рѣку, въ особенности на большую... Такъ и потянетъ руку къ топору, къ веслу. Тѣло у меня зудитъ. Кажется, съ тѣми дипломами, какіе у меня имѣются, какимъ бы ученымъ можно быть, примѣрно, хоть нѣмцу! А у меня перо валится изъ руки, потому что ей способнѣе и любезнѣе сжаться въ кулакъ. И, вѣдь, не диллетантъ я, а вотъ, подите жъ, больше дня въ кабинетъ ни въ жизнь не просидѣть!

«— Да и не затѣмъ совсѣмъ закупориваться.

«— А что же дѣлать? Науку я могъ бы считать единственнымъ дѣломъ, которое не напоминаетъ романтизмъ. Да что жъ вы сдѣлаете, ежели тянетъ? Мой дѣдъ былъ бурлакъ,—понимаете?—настоящій бурлакъ, рабочая сила, лошадь, запряженная въ лямку,—и, какъ русскій мужикъ, романтикъ по преимуществу... Вѣроятно, вслѣдствіе этого во мнѣ такъ сильна «колонизаторская», «піонерская» жилка. Вотъ почему я и бросаюсь на такія предпріятія, которыя носятъ приблизительно этотъ колонизаторскій характеръ, какъ, наприм., мое сельско-хозяйственное заведеніе или артель, значенію которыхъ я, впрочемъ, не вѣрю ни на грошъ. Дальше итти нельзя, ибо наткнешься на «законныя основанія», а удовлетвориться этимъ не въ силахъ! Туда бы вотъ, въ глубь доисторическихъ временъ, гдѣ еще *законныхъ основаній* не было!»

Опять таки нельзя не подивиться осторожности и тактичности г. Златовратскаго. Онъ совсѣмъ не рекомендуетъ подражать своему Морозову. Его героя «тянетъ» въ лѣсъ, въ поле, на рѣку—не вслѣдствіе какихъ-нибудь ультра-народническихъ принциповъ, а въ силу натуры, противъ которой «что жъ вы сдѣлаете», въ силу наслѣдственности

вкусовъ, воспитанныхъ пѣлымъ рядомъ предковъ-мужиковъ. Позиція, занятая г. Златовратскимъ, была бы совершенно неприступна, если бы онъ, не разукрашивая своего фаворита, представилъ его намъ не въ качествѣ оригинальнаго чудака, каковъ онъ и есть на самомъ дѣлѣ. Но на всякаго мудреца довольно простоты и, выдавая свою затаенную мысль, г. Златовратскій, во-первыхъ, относитъ своего героя къ разряду «золотыхъ сердецъ», а, во-вторыхъ,—и это главное—самую науку повергаетъ въ прахъ передъ фетишемъ народничества: у человѣка пять дипломовъ въ карманѣ, свидѣтельствующихъ объ основательномъ, изученіи имъ, по крайней мѣрѣ, двадцати различныхъ наукъ, а у него «перо валится изъ рукъ» и онъ не можетъ «ни въ жизнь больше дня въ кабинетѣ просидѣть». Но этого мало: самая первобытная дичь и глушь природы и людей не могутъ удовлетворить нашего героя потому, что эта дичь, какъ бы то ни было, дичь *современная* и въ ней рискуешь наткнуться на «законныя основанія», т.-е. на нѣкоторыя культурныя формы и нормы. Такая возможность ужасаетъ счастливаго обладателя пяти дипломовъ, и онъ сладостно мечтаетъ: «туда бы, въ глубь до историческихъ временъ, гдѣ еще *законныхъ основаній* не было!».

Далѣе, «золотое сердце» № 2. Это нѣкто Башкировъ, человѣкъ въ интеллигентномъ отношеніи не менѣе замѣчательный, нежели Морозовъ. «Слишкомъ ужъ легко все ему давалось. Каждая книга, которую онъ прочитывалъ, пѣликомъ укладывалась въ его головѣ. Читалъ онъ не мало, и такъ какъ прочитанное не улетучивалось у него, то двухъэтажная башка его представляла собою какой-то чудовищный архивъ». Съ такими чрезвычайными способностями Башкировъ могъ бы набить себѣ карманъ дипломами не хуже Морозова, но онъ поступилъ лучше: «въ то время, какъ ему нужно было защищать диссертацию, когда ему предложили остаться при клиникахъ, онъ вдругъ все

бросилъ и ушелъ въ подвалы, въ которыхъ въ то время свирѣпствовалъ тифъ». Наконецъ, Башкировъ «мало-по-малу потерялъ всякую нравственную связь съ образованнымъ обществомъ», но за то тѣмъ ближе сошелся съ народомъ, относительно котораго онъ даже открылъ нѣкоторый секретъ, чрезвычайно облегчающій изученіе «таинственнаго незнакомца» какъ называлъ народъ тургеневскій Базаровъ. Сцена, въ которой Ванюшка (такъ нѣжно-ласкательно называетъ авторъ своего героя) излагаетъ свой секретъ, до того характерна и для Башкирова и для самого г. Златовратскаго, что ее необходимо привести.

— Скажи, Башкировъ,—заговорилъ пріятель, — ты хорошо, вѣдь, знаешь простой народъ?

— Чего я знаю? Знаю я Петра да Сидора. Вотъ чаво я знаю (нужно замѣтить, что Ванюшка говорилъ почти невозможнымъ для порядочнаго общества языкомъ: это была смѣсь семинарскаго жаргона съ мужицкимъ; да, кромѣ того, онъ говорилъ протяжно, лѣниво ворочая языкомъ).

— Ну, да хотя этого Петра да Сидора изучилъ же ты. Вотъ они съ тобой сходятся, тебѣ довѣряютъ. Ты, значить, знаешь, чѣмъ можно добиться ихъ довѣренности, чѣмъ разрушить ту стѣну недовѣрія, которая существуетъ между нами и ими.

— Знаю,—протянулъ Ванюшка, хитро улыбнувшись.

— Въ чемъ же, въ чемъ штука-то?—вскрикнулъ обрадовавшійся юноша,—трудно?

— Нѣтъ, ничего... легко!

— Легко?

— Не сумлѣвайся... легко...

— Ну, такъ въ чемъ же штука-то?

— Штука-то?.. Быть нещастнымъ!

«Пріятель отчего-то переконфузился, а Ванюшка сталъ хладнокровно переобувать сапоги и молчалъ».

*Пріятель переконфузился* и, знаете ли, неловко, совѣстно, конфузно и намъ. Совѣстно намъ не за кого дру-



гого, какъ за Башкирова, и неловко за самого уважаемаго автора. Вѣдь, это изумительное «быть нещастнымъ» не болѣе, какъ позерство и фразерство, только на особый манеръ. Прежде всего, позвольте сдѣлать маленькое замѣчаніе съ формальной стороны: этотъ Башкировъ, этотъ докторантъ, образованный человѣкъ, неужели не умѣетъ сказать «чего», вмѣсто «чаво», «сомнѣваться», вмѣсто «сумлѣваться», и «несчастнѣйшій», вмѣсто «нещастнѣйшій»? Неужели это «смѣсь семинарскаго жаргона съ мужицкимъ», какъ называетъ авторъ языкъ своего героя, составляетъ непремѣнное свойство истиннаго народника? Смѣемъ думать, что въ этомъ жаргонѣ такая же фальшь, дѣланность и ломанье, какъ и въ тѣхъ зипунахъ, въ которые нѣкогда наряжали себя *господа* Хомяковы, Кирѣевскіе и Аксаковы. Подобная «ветопь маскарада» очень мало говоритъ въ пользу искренности тѣхъ, кто ею пользуется, а безъ искренности какое же „золотое сердце“! А затѣмъ, переходя къ существу дѣла, мы спросимъ: точно ли непремѣнно надо и, въ то же время, достаточно „быть нещастнымъ“, чтобы удостоиться довѣрія со стороны народа? Нѣтъ въ мірѣ интеллигенціи болѣе несчастной, нежели русская интеллигенція, и нѣтъ, въ то же время, интеллигенціи, которая бы въ меньшей степени пользовалась довѣріемъ своего народа, какъ опять таки русская интеллигенція. Простое сопоставленіе этихъ двухъ несомнѣнныхъ фактовъ уничтожаетъ все значеніе открытаго Башкировымъ „секрета“. Или Башкировъ говоритъ не о томъ видѣ несчастія, который подразумеваю я,—не о несчастіи человѣка, достоинство котораго систематически попирается жизнью,—а о несчастіи голоднаго брюха? Но, во-первыхъ, стыдно развитому человѣку, какъ Башкировъ, не понимать, что нравственныя страданія и умственный голодъ являются несчастіемъ не меньшимъ, нежели какія бы то ни было матеріальныя лишенія; во-вторыхъ, бѣдняку ли Башкирову не знать, что ни одинъ мужикъ такъ не голодалъ и не холо-

дасть, какъ сплошь да рядомъ голодаютъ и холодаютъ представители нашей теперешней безсловной, разночиннической интеллигенціи! И за всѣмъ тѣмъ, „мы въ странѣ своей благословенной—паріи, не знаетъ насъ народъ“, по справедливому выраженію Некрасова. Ясно, что „быть нещастнымъ“ Башкирова отнюдь не выраженіе подлиннаго, самаго, такъ сказать, высокопробнаго народничества, а просто фраза, безграмотно, для пущаго эффекта, выраженная.

„Золотое сердце“ № 3. Это „барская дочь“ Нина Петровна, которая вышла замужъ за крестьянина, потому что „это, все-таки, настоящая жизнь“. Трудно сказать, съ тенденціознымъ ли умысломъ или просто повинувась своему таланту, г. Златовратскій въ лицѣ этой героини совершенно развѣнчиваетъ тѣ самыя ультра-народническія воззрѣнія, которыя онъ возвеличивалъ въ лицѣ Морозова, Башкирова и т. п. Вотъ отрывки изъ письма Нины Петровны о ея „настоящей жизни“ съ мужемъ-крестьяниномъ:

„Андрей (имя мужа) сталъ пропадать дня на два, на три. Я его не смѣла спрашивать, не имѣла права. Только однажды я замѣтила (впрочемъ, это я и раньше замѣчала, вскорѣ послѣ моего возвращенія), что онъ прячетъ какія-то книжки, какіе-то списки. Одинъ разъ я застала его съ такимъ спискомъ. Онъ смутился, покраснѣлъ, тотчасъ же спряталъ и собрался уходить. Я просила его показать мнѣ. Онъ сказалъ, что „не стоитъ... такъ... мужицкое“. Я не настаивала, но мнѣ стало обидно, горько... Я его выучила грамотѣ, я передала ему много изъ того, что знала и было ему доступно, и вдругъ, на какомъ-то пунктѣ, все оборвалось: онъ не понималъ меня, я перестала думать заодно съ нимъ. Вскорѣ я услышала въ деревнѣ, какъ мужъ мой „сбился“, что въ сосѣдную деревню вернулся какой-то „бѣглый ямщикъ“, Иннокентій, съ тремя „дѣвушками-духовницами“, что у нихъ по ночамъ въ избахъ идутъ бесѣды и моленья; что они уже многихъ изъ окрестныхъ деревень „совратили въ хорошую жизнь“; указывали на многихъ мужиковъ, которые, приставъ къ нимъ, перестали пить, буянить и сдѣлались трудолюбивы, воздержны, честны. Одна изъ моихъ хорошихъ деревенскихъ подругъ однажды пригласила меня „смотреть на духовниковъ“; она имѣла возможность устроить это такъ, что насъ не замѣтятъ. Я согласилась. Мы увидели слабо освѣщенную избу, наполненную молодыми мужиками и

дѣвками; всѣ были здоровые, румяные, бодрые, крѣпкіе, съ энергичными, веселыми лицами. Они сидѣли по лавкамъ. Въ переднемъ углу высокая, среднихъ лѣтъ женщина читала нараспѣвъ псалмы. Послѣ каждаго двухъ стиховъ всѣ вставали и хоромъ повторяли послѣдній. Тутъ былъ и мой Андрей, сидѣвшій рядомъ съ своею „духовною“, молодою, высокою, полногрудую и здоровою дѣвушкой. За разъ, какъ по приказу, вскакивали и они и громко пѣли, иногда взглядывая и чуть улыбаясь другъ на друга... И какъ было въ нихъ много жизни, счастья, вѣры, здоровья, энергіи!.. И тѣни сомнѣнія не лежало на ихъ лицахъ...

„Я не могла больше смотрѣть. Да и что же смотрѣть?... Все было такъ просто, понятно, ясно... Черезъ недѣлю я, наединѣ, сказала Андрею, что думаю уйти въ городъ навсегда, что я просила бы его отдать мнѣ сына, что я постараюсь сдѣлать его счастливымъ. Андрей, по обыкновенію, смутился и молчалъ, вертя въ рукахъ подолъ рубахи.

„— Что жъ?—сказалъ онъ.—Надо всякому жить, какъ ему по душѣ, по своей правдѣ... У всякаго своя правда,—прибавилъ онъ“.

Да, эту многозначительную, блестящую страницу мы нашли у г. Златовратскаго! Что сказали бы о ней, о тѣхъ мысляхъ и образахъ, которые она заключаетъ въ себѣ, Морозовъ, Башкировъ и прочія „золотыя сердца“? Разладъ между народницей-Ниной и ея мужемъ-крестьяниномъ до того глубокъ и серьезенъ, что ничѣмъ его скрасить нельзя. Рознь въ понятіяхъ—едва ли не самая тяжелая рознь. Что дѣлать съ этою рознью? Какъ быть съ этимъ разладомъ? Г. Златовратскій, какъ „последовательный народникъ“, даетъ на эти вопросы нѣсколько успокоительныхъ отвѣтовъ, которые мы и рассмотримъ теперь.

#### IV.

Самымъ значительнымъ произведеніемъ г. Златовратскаго долженъ быть признанъ «бытовой очеркъ», озаглавленный *Деревенскіе будни*. Слишкомъ скромное названіе „очерка“, приданное авторомъ этому замѣчательному произведенію, далеко не отвѣчаетъ его, правда, однообразному, но глубокому содержанію. Этотъ „очеркъ“ можетъ быть

поставленъ на ряду съ лучшимъ произведеніемъ Глѣба Успенскаго *Власть земли*. Конечно, *Деревенскіе будни* не такъ колоритны и не такъ разносторонни, какъ *Власть земли*, но за то и не такъ парадоксальны, лучше обдуманы, стройнѣе скомпанованы. Талантъ г. Златовратскаго поднялся въ этомъ замѣчательномъ произведеніи на наибольшую, доступную для него высоту, и мы, руководствуясь своимъ постояннымъ правиломъ брать быка прямо за рога, съ этого именно произведенія и начнемъ анализъ народническихъ тенденцій г. Златовратскаго.

„*Неисправимый поклонникъ народныхъ идеаловъ...*“. Такъ называетъ себя въ *Деревенскихъ будняхъ* самъ г. Златовратскій (стр. 419), и это первый пунктъ, который прежде всего требуетъ нѣкоторыхъ ограничительныхъ замѣчаній, очень существеннаго свойства. Въ общемъ и отвлеченномъ смыслѣ „народные идеалы“ есть наши, непременно наши идеалы, идеалы интеллигенціи, и ничѣмъ инымъ они быть не могутъ. Спросимъ г. Златовратскаго, въ чемъ состоятъ народные идеалы. Онъ отвѣчаетъ: въ широкомъ развитіи общиннаго духа и общинныхъ формъ жизни, какъ результатъ сознанія солидарности между всѣми членами общества, какъ гарантія справедливости, какъ единственный путь къ политическому, юридическому и экономическому „равненію“ между общинниками. Во избѣжаніе недоразумѣній, предоставимъ г. Златовратскому выразить его форму собственными словами. Вотъ какъ и вотъ что говорить онъ по этому пункту:

«Въ набросанной нами схемѣ народно-бытовыхъ основъ существенную роль играютъ четыре элемента: 1) гарантіи нравственной индивидуальной свободы; 2) гарантіи равноправнаго участія личности въ общинныхъ сходахъ и судахъ; 3) гарантіи равнаго экономическаго благосостоянія членовъ общины, достигаемаго правомъ общаго труда и общаго пользованія результатами его, и 4) общинная помощь во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда первыя три гарантіи

окажутся недостаточными для охраненія правъ личности. Только полное и равномѣрное взаимодействіе 'этихъ элементовъ' можетъ представить гармоническую организацію. Въ настоящее время мы еще не можемъ сказать съ полнѣйшею достовѣрностью, воплощалъ ли народъ въ какой-либо моментъ своей жизни во всемъ объемѣ свои общинные идеалы, но несомнѣнно для насъ теперь уже одно, что въ историческій періодъ онъ постоянно ратовалъ за эти идеалы, въ теченіе тысячелѣтія неустанно отстаивалъ то тѣ, то другіе элементы его отъ внѣшнихъ воздѣйствій, что въ современной общинѣ мы несомнѣнно находимъ зачатки и проявленія всѣхъ четырехъ элементовъ схемы, и притомъ такъ, что тамъ, гдѣ внѣшнія воздѣйствія и условія были наименѣе сильны, тамъ зачатки эти почти достигали полной гармонической организаціи, и наоборотъ, гдѣ эти воздѣйствія наложили тяжелую печать и извратили исконныя традиціи и міровоззрѣніе народа, тамъ община является уродливою, однобокою организаціей, быстро идущею къ разрушенію...» (стр. 437).

Попробуемъ разобрать элементы „схемы“ г. Златовратскаго въ той послѣдовательности, въ какой представляетъ ихъ авторъ. „Гарантія нравственной индивидуальной свободы“. Единственное недоразумѣніе, которое возбуждаетъ эта формула, заключается въ словѣ *нравственная*, зачѣмъ-то поставленномъ г. Златовратскимъ: умственная свобода, возможность мыслить, подчиняясь не какому-нибудь внѣшнему авторитету, а исключительно своему разуму, своей логикѣ, своему разумѣнію,—развѣ этого рода свобода не входитъ въ составъ „народнаго идеала“? Надѣюсь, г. Златовратскій не станетъ возражать противъ этой нашей поправки, и тогда формула перваго элемента его „схемы“ выразится просто: „гарантія индивидуальной свободы“. Формула чудесная—нечего и говорить. Однако, неужели она составляетъ исключительное достояніе и самостоятельное приобрѣтеніе дяди Митяя и дяди Миняя? Не-

ужели мужики Жакъ, Джонъ, Фрицъ не доросли до уразумѣнія этого идеала? И неужели интеллигенція какой бы то ни было страны имѣть передъ собою другую какую-нибудь историческую задачу, нежели возможное осуществленіе этого идеала? Не во гнѣвъ будь сказано г. Златовратскому, дядя Митяй, со всѣми своими препрославленными общинными порядками и добродѣтелями, стоитъ не въ переднихъ, а въ самыхъ заднихъ рядахъ тѣхъ, кто способенъ думать о „гарантіяхъ“. Понятіе „свободы“, а въ особенности гарантированной, не есть понятіе интуитивное, естественное, даровое. До него нужно возвыситься—путемъ ли личнаго развитія или посредствомъ воспитывающаго вліянія соотвѣтственныхъ историческихъ условій, порядковъ, учрежденій. Ничего подобнаго у нашего дяди Митяя давно не бывало и оттого-то ему близко и родственно понятіе „воли“ и чуждо понятіе „свободы“. „Воля“—это менѣе чѣмъ понятіе, это—стихійный инстинктъ, свойственный всякому не прирученному животному; „свобода“—это болѣе чѣмъ понятіе, это идея, которую нужно понять, чтобы усвоить. Достаточно быть только личностью, зоологическимъ индивидомъ, чтобы стремиться къ „волѣ“, и надо быть *гражданиномъ*, чтобы цѣнить блага „свободы“. „Воля“—это возможность жить, „ничѣмъ не стѣсняясь“; „свобода“—это жизнь и дѣятельность въ предѣлахъ закона, на почвѣ уваженія къ интересамъ другихъ, это порядокъ въ союзѣ съ просвѣщеніемъ. Дядя Митяй бушевалъ въ булавинщинѣ, некрасовщинѣ, разинщинѣ, пугачевщинѣ и его боевымъ кличемъ и призывомъ всегда было магическое слово „воля“—въ смыслѣ отрѣшенія и отреченія отъ всякихъ обязанностей передъ обществомъ,—та воля, которою наслаждается каждый волкъ въ архангельскихъ или вологодскихъ лѣсахъ. „Не по чину берешь“,—говорилъ голевскій городничій. Совѣмъ *не по чину* и г. Златовратскій дѣлаетъ своего героя носителемъ и выразителемъ такого идеала, до котораго ему нужно еще дорости.

Далѣе: „*гарантіи равноправнаго участія личности въ общинныхъ сходахъ и судахъ*“. Таковъ второй элементъ схемы г. Златовратскаго. Допустимъ, для упрощенія дѣла, что все это такъ и есть на самомъ дѣлѣ, забудемъ этихъ „судей“, опивающихъ и истца и отвѣтчика, этихъ Соломоновъ, мудрость которыхъ большею частью не идетъ дальше заповѣдныхъ „двадцати ударовъ“, этихъ „Аароновъ, Авраамовъ и...“ Хамовъ, между прочимъ, какъ выразился однажды Глѣбъ Успенскій. Допустимъ, что дядя Митяй спитъ и видитъ, какъ бы упрочить гарантіи „равноправнаго участія личности въ сходахъ и судахъ“, — дальше что? Почему этотъ идеаль или это стремленіе отводится г. Златовратскимъ въ исключительное пользованіе народа? Какъ въ прежнемъ, такъ и въ этомъ случаѣ разница между идеаломъ народа и идеаломъ интеллигенціи чисто количественная, а не качественная. Дядя Митяй имѣетъ въ виду только такую крошечную социальную ячейку, какъ сельская община, интеллигентный человѣкъ, съ тѣмъ же самымъ идеаломъ передъ собою и съ такимъ же критеріемъ въ рукахъ, какъ и самый лучший „общинникъ“, относится къ государству, т.-е. къ организму или механизму, охватывающему всю совокупность „общинъ“. На чьей же сторонѣ преимущество? Представители нашей интеллигенціи, составлявшіе „Судебные уставы“ и вводившіе у насъ судъ присяжныхъ, руководились ничѣмъ другимъ, какъ именно желаніемъ дать личности гарантіи равноправнаго участія въ судѣ.

Далѣе, третій элементъ схемы; „*гарантіи равнаго экономическаго благосостоянія членовъ общины*“. Гм!.. даже гарантіи... Великъ Богъ земли Русской! Первѣйшіе умы западной Европы, разные Прудоны, Бланы, Марксы, Лас-сали, искали и такъ-таки и не нашли этихъ гарантій, а вотъ дядя Митяй съ дядей Миняемъ все это развязали и устроили чудеснѣйшимъ образомъ... Я прилежно искалъ у художника Златовратскаго хоть какой-нибудь картины,

намекающей на сущность этихъ гарантій, и нашелъ, что онѣ главнѣйшимъ образомъ олицетворяются... въ лаптѣ. Да, въ обыкновенномъ липовомъ лаптѣ, которымъ, по свидѣтельству г. Златовратскаго, мужики измѣряютъ для большей точности свою землю при общинныхъ передѣлахъ. Это и есть главнѣйшая „гарантія“. Г. Златовратскій съ замѣтнымъ раздраженіемъ говоритъ по этому поводу: „На эту скрупулезность общинной справедливости указывали очень многіе, но указывали, къ сожалѣнію, всегда въ *смѣшливомъ* тонѣ. Мнѣ кажется, что этотъ важный вопросъ заслуживаетъ не столько юмористическаго отношенія къ нему, сколько внимательнаго изученія“. Однако, послѣ этого реприманда по адресу „смѣшливыхъ“ народниковъ, г. Златовратскій излагаетъ дѣло въ такомъ тонѣ: „Я окончательно потерялъ всякую возможность услѣдить за измѣреніемъ. Я только видѣлъ, какъ мужики становились одинъ противъ другого и, считая вслухъ, начали выдѣлывать па, приставляя одинъ лапоть ноги непосредственно къ другому, такъ, чтобы носокъ одного приходился къ задку другого. Слышалось: „На меня шесть лаптей да поллаптя!—Гдѣ они, поллаптя-то? Откуда взять?—Гдѣ? Чать, у меня полдуши есть?—Да гдѣ ты его возьмешь, поллаптя-то? Мы съ Корягой въ одинъ лапоть войдемъ“ и пр. и пр. Въ какомъ тонѣ—въ серьезномъ или въ „смѣшливомъ“ излагаетъ здѣсь г. Златовратскій? И мы отнюдь не упрекнемъ его въ легкомысліи, какъ онъ упрекаетъ другихъ, потому что въ самомъ дѣлѣ нѣтъ возможности не улыбнуться, хотя и вовсе не веселою улыбкой, глядя на этихъ почтенныхъ общинниковъ, выдѣлывающихъ *па*, и слушая ихъ возгласы: „откуда взять поллаптя? Чать, у меня полдуши есть?“ Это называется „равненіемъ“ экономическаго благосостоянія членовъ общины“. Въ точности измѣренія надѣловъ до „поллаптя“ заключается „гарантія“ общинной справедливости. Когда подумаешь о томъ, что происходитъ въ дѣйствительности, въ конкретной, а не въ отвлеченной деревнѣ,



когда вызовешь въ памяти образы Колупаевыхъ, Разуваевыхъ, всякаго рода міроѣдовъ, коштановъ и т. д., когда помотришь на эти толпы переселенцевъ, безъ оглядки бѣгущихъ въ пустыню отъ доморощенной „справедливости“ и отъ лапотныхъ „гарантій“, когда, однимъ словомъ, сопоставишь красивую фразу г. Златовратскаго съ нашею некрасивою жизнью, тяжело становится на душѣ и только съ трудомъ воздерживаешься отъ горькаго слова по адресу господъ идеализаторовъ народа и его быта.

Наконецъ, четвертый и послѣдній элементъ: *„общинная помощь во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда первыя три гарантіи окажутся недостаточными для охраненія правъ личности“*. По этому пункту я ничего отъ себя не буду говорить, потому что рѣчь идетъ *только о фактѣ*. Предоставляю слово своему недавнему противнику, а теперь союзнику Глѣбу Ивановичу Успенскому, отъ котораго мы услышимъ вотъ что:

„Года полтора тому назадъ съ необычайнымъ торжествомъ былъ „пронесенъ“ по всѣмъ журналамъ, и толстымъ и тонкимъ, какъ доказательство, что въ „общественскихъ дѣлахъ“ значительную роль играетъ и состраданіе и забота о безпомощномъ, тотъ фактъ, что въ какой-то губерніи общество прокормило старуху-бабу. Едва этотъ фактъ былъ обнародованъ, какъ тотчасъ же его подхватили, и онъ обошелъ рѣшительно всѣ журналы и всѣ статьи, посвященныя общественнымъ порядкамъ. Вышеупомянутая бабу непременно присутствовала въ каждой изъ статей, всегда выдвигаясь, какъ укоръ сомнѣвающимся... „Вотъ,—писалось въ одной,—вопреки увѣреніямъ, что наша община и т. д., мы можемъ сообщить слѣдующее: въ одной деревнѣ“ и т. д. Слѣдовало повѣствованіе о прокормленіи бабы. Въ другой писалось: „Между прочимъ, мы не можемъ не отмѣтить слѣдующаго замѣчательнаго факта: въ одной деревнѣ, какъ намъ извѣстно изъ вполне достовѣрнаго источника, безъ всякаго посторонняго вліянія, крестьяне прокормили“ и т. д. И опять баба... „А чтобы доказать,—писалось въ третьей,—что упреки, расточаемые разными „свѣжими“ наблюдателями, якобы въ равнодушіи... то вотъ фактъ, который говоритъ самъ за себя: крестьяне деревни“ и т. д. Словомъ, по всѣмъ журналамъ и газетамъ моментально пронеслась вѣсть: бабу, бабу прокормили, бабу! бабу! бабу! И вездѣ фактъ, въ доказатель-

ство его достовѣрности, подтверждали цитатами: *Отечественныя Записки* сослались на *Русскую Мысль*, *Русская Мысль* на *Русское Богатство*, потомъ всѣ вмѣстѣ—на всѣхъ вмѣстѣ... А вотъ, когда въ недалекомъ отъ Петербурга разстояніи, также „вопреки увѣреніямъ“, въ нѣкоторой деревнѣ была сожжена живьемъ нѣкоторая больная старушка, такъ этотъ „прискорбный“ случай прослѣдовалъ въ печати почти безъ шума,—знаемъ мы о чемъ надо молчать“.

Мнѣ нечего прибавлять къ этому, да и надобности въ томъ не вижу. Радость интеллигентовъ-народниковъ по поводу общиннаго великодушія относительно „бабы“ дѣлаетъ честь ихъ сердцу, но она же и доказываетъ, до какой степени рѣдки и даже исключительны факты этого рода.

Все дѣло въ томъ, что „схема“ г. Златовратскаго есть схема не фактовъ, а принциповъ. Община, какъ идеаль, какъ *мыслимая форма жизни*, совершенно подходитъ подъ опредѣленія г. Златовратскаго, и мы готовы отдать всю справедливость стройности логическихъ построеній автора, но живой русской общинѣ, съ ея неурядицей, съ ея двусмысленною „справедливостью“, съ ея *беззащитною безсознательностью*, не будетъ отъ того легче. „Мы не можемъ сказать съ полнѣйшею достовѣрностью, — говорить г. Златовратскій,—воплощалъ ли народъ въ какой-либо моментъ своей жизни во всемъ объемѣ свои общинные идеалы“. Неужели въ самомъ дѣлѣ такъ-таки и не можемъ? Былъ или не былъ въ нашей исторіи золотой вѣкъ братства, равенства и свободы — на *такой* вопросъ мы «не можемъ» отвѣтить «съ полнѣйшею достовѣрностью»?! Это уже геркулесовы столбы идеализаціи. Смѣемъ увѣрить г. Златовратскаго, что со временъ Гостомысла и до нашихъ дней не только не было въ нашей исторіи, но и не могло быть такого «момента», когда бы идеалы, такъ отчетливо формулированные авторомъ, нашли себѣ практическое осуществленіе. *Не было*, потому что сама исторія наша началась съ торжественнаго общенароднаго заявленія: земля наша велика и обильна, а *порядка въ ней нѣтъ*.

О послѣдующихъ «моментахъ» нашей исторіи нечего и говорить, конечно. Не при баскакахъ ли процвѣтали на Руси общинные идеалы справедливости? Не при московскихъ ли князьяхъ-собирателяхъ, всѣмъ жертвовавшихъ ради идеи централизаціи, обрѣтены были «гарантіи индивидуальной свободы»? Не въ «моментъ» ли закрѣпощенія русскаго народа онъ исполнялъ ту высокую свою миссію, которую ему приписываетъ нашъ идеалистъ-народникъ? Или, быть можетъ, созидаая имперію и прорубая окно въ Европу, русскій народъ «во всемъ объемѣ» выразилъ свои исконные, старорусскіе, святоотеческіе идеалы? Пусть г. Златовратскій укажетъ мнѣ хоть одно столѣтіе изъ прожитаго нами тысячелѣтія, когда бы не только съ «полнѣйшею достовѣрностію», а съ самоматѣйшею вѣроятностію можно было допустить не прозябаніе, а процвѣтаніе общинныхъ идеаловъ, хотя бы уже и не «во всемъ объемѣ».

Такого вѣка, такого «момента» не было и, утверждаю я, *не могло быть*. Г. Златовратскій повторяетъ ту же ошибку, которую сдѣлалъ и горячій защитникъ общины, покойный Н. Г. Чернышевскій: свое личное развитое сознаніе, свое просвѣтленное разумѣніе онъ вкладываетъ въ примитивныя формы народной жизни, объективнымъ явленіямъ приписываетъ субъективный смыслъ и въ результатѣ, вмѣсто очень обыкновеннаго и прозаическаго факта, получаетъ поэтическую иллюзію, красивую фикцію, неимѣющую почти ничего общаго съ реальною дѣйствительностію. Чернышевскій очень остроумно и убѣдительно доказывалъ (въ статьѣ *Критика философскихъ предубѣжденій противъ общины*), что первобытныя формы жизни есть тѣ самыя формы, къ которымъ ведетъ насъ прогрессъ исторіи и что «именно, именно, именно потому» форма общиннаго землевладѣнія должна быть признана не низшею, а самою вышею и лучшею формой. Прекрасно; но вѣдь форма животворится духомъ, значеніе ея обуславливается тѣмъ содержаніемъ, которое въ нее вкладывается, а это содер-

жаніе находится въ полнѣйшей зависимости отъ степени *сознанія* людей, практикующихъ эту форму. Какъ высока степень сознанія дяди Митяя? Желаніе жить «по-божески», «по душѣ», «по сущей справедливости» можетъ ли быть названа *идеаломъ*, въ смыслѣ разумно выработанной и сознательно предуставленной цѣли? И есть ли возможность поставить дядю Митяя, не затрогивая его психику, не разрушая его альтруистическаго, благожелательнаго душевнаго строя, хотя бы на ту высоту разумѣнія, какой достигъ современный средній интеллигентный человѣкъ? Чернышевскій отвѣчаетъ на это многочисленными примѣрами, цѣль которыхъ — доказать, что если гдѣ-нибудь и кѣмъ-нибудь совершенно какое-либо культурное завоеваніе, намъ нѣтъ надобности продѣлывать весь тотъ утомительный путь, которымъ шелъ тотъ человѣкъ или тотъ народъ къ своему открытію. Этапы этого пути будутъ для насъ не болѣе, какъ *логическими моментами*, говоря языкомъ метафизики. Вотъ дикарь, который стрѣляетъ изъ лука: неужели для того, чтобы научить его употребленію магазиннаго ружья, необходимо предварительно познакомить его со старинною пищалью, затѣмъ съ кремневымъ ружьемъ потомъ съ пистоннымъ и, наконецъ, со штуцеромъ? Вотъ другой дикарь, который добываетъ себѣ огонь посредствомъ тренія двухъ кусковъ дерева; неужели нельзя показать этому дикарю сразу употребленіе фосфорныхъ спичекъ, а нужно въ строгой постепенности пройти съ нимъ всѣ ступени, по которымъ люди докарабкались, наконецъ, до удобнаго способа добывать огонь \*)? Убѣдительно и какъ нельзя болѣе остроумно! А къ дѣлу все-таки не идетъ, *нашею* вопроса все-таки не разрѣшаетъ. Выучить дикаря употребленію спичекъ не трудно, но выучить его

---

\*) Не имѣя подъ рукой статьи Чернышевскаго, я цитирую на память, ругаясь лишь за вѣрность внутренняго, а не буквальнаго смысла читать.

*вообще*, просвѣтить его умъ, пробудить самостоятельность его мысли, вывести его изъ состоянія младенческой или животной непосредственности,—все это не легко и сразу дано быть не можетъ. Здѣсь нельзя миновать предшествовавшихъ ступеней, здѣсь «логическіе моменты» становятся неизбежными практическими фазисами развитія, здѣсь можно начинать только съ самаго начала. Это вѣрно по отношенію къ личности и въ миллионъ разъ вѣрнѣе по отношенію къ миллиону личностей, къ народу, исторія котораго есть всегда и непремѣнно исторія постепеннаго его ученія и развитія, ученія всѣмъ: и войнами, и внутреннею неурядицей, и голодовками, и крѣпостною зависимостью, и повальными болѣзнями, и, наконецъ, непосредственно наукой, школьною «учебой». Нѣтъ, всемірная исторія не изъ прыжковъ, не изъ «логическихъ моментовъ» слагается, нѣтъ, вершины умственнаго развитія не фосфорныя спички и воспитать привычки критической мысли не то же, что выучить спускать ружейный курокъ.

Превратите дядю Митяя изъ «общественника» въ общинника и тогда говорите о народныхъ *идеалахъ*. Общинная форма такъ проста, естественна и цѣлесообразна, что мы находимъ ее на зарѣ исторіи чуть ли не всякаго народа. Вся бѣда такой первобытной общины состоитъ именно въ отсутствіи гарантій, которыя бы обеспечивали за ней и прочность существованія и правильность функционированія. Гарантіи эти заключаются въ способности приспособленія къ измѣняющимся и усложняющимся условіямъ жизни, и эта способность находится въ прямой и исключительной зависимости отъ степени сознательности и развитости членовъ общины. Можно ли приспособляться къ жизни, которой не понимаешь? Можно ли оградить себя отъ опасностей, свою жизнь отъ порчи, если не умѣешь различать друзей отъ враговъ, истину отъ лжи? Г. Златовратскій думаетъ иначе. Онъ думаетъ, именно, что не народъ насъ и нашу жизнь, а мы народъ и народную жизнь не въ со-

стояніи понятъ. Поэтъ съ грустнымъ и тяжелымъ чувствомъ дѣлалъ это противопоставленіе:

Въ столицѣ шумъ, гремѣть витіи,  
Кипитъ словесная война,  
А тамъ, во глубинѣ Россіи,  
Тамъ вѣковая тишина.

Оказывается, что грустить тутъ было не о чемъ. Дядя Митѣй молчить, но онъ все знаетъ, все понимаетъ, все умѣетъ, и столичнымъ витіямъ никогда не измѣрить всей глубины его премудрости. Это г. Златовратскій прямо говоритъ и вотъ его подлинныя слова: «мнѣ думается, что «новое слово» (о народной жизни) выскажутъ вполнѣ только истинныя «дѣти народа»; только они, родившіяся и выросшія въ атмосферѣ общинной жизни, могутъ вызвать непосредственно изъ своей души образы этой жизни; только имъ возможно будетъ въ полномъ объемѣ осуществить идеалъ того *искусства на социологической подкладкѣ*, если можно такъ выразиться, о которомъ мечтаютъ современные философы. Народная жизнь и въ характерныхъ, величавыхъ картинахъ исторической борьбы, и въ своихъ современныхъ будняхъ представляетъ неисчерпаемое богатство для вдохновеній истинно-народнаго «соціального» художника. А нашъ культурный художникъ изъ этого матеріала сумѣлъ сочинить только quasi-патріотическія пантомимы, батальныя представленія съ турецкимъ барабаномъ и невыразимо пошлыя юмористическія кривлянья надъ мужицкимъ *рукосуѣствомъ*. Этотъ отрывокъ не допускаетъ двухъ толкованій. Ясно, что мы, культурные люди, еще не выросли, да, по нашей истасканности и истрепанности, никогда и не дорастемъ до уразумѣнія дивныхъ совершенствъ народной жизни. Однако, не культурный ли художникъ Левъ Толстой далъ намъ «характерныя, величавыя картины исторической борьбы»? Не культурный ли художникъ Златовратскій представилъ обстоятельное повѣствованіе именно о современныхъ «деревенскихъ будняхъ»? И. точно

ли другіе наши народники-художники дали «только» невыразимо пошлым юмористическія кривлянья? Мы посовѣтовали бы г. Златовратскому относиться къ своимъ коллегамъ не только посправедливѣе, но и поуважительнѣе. Въ число «юмористическихъ кривлякъ» безъ труда можно причислить Глѣба Успенскаго, на котораго, однако, никто во всей русской литературѣ не имѣетъ права смотрѣть сверху внизъ. Великъ дядя Митяй, прекрасенъ дядя Миняй, но не намъ у нихъ, а имъ у насъ учиться. Что дальше будетъ—это какъ Богъ дастъ, а пока не эти «дяди», а мы поддерживаемъ слабое пламя умственной жизни въ нашемъ отечествѣ; не они за насъ, а мы за нихъ и болѣемъ душой, и жертвуемъ своими привязанностями и интересами, и истощаемъ свои силы въ попыткахъ такъ или иначе помочь имъ. Казалось бы, зачѣмъ эти счеты и переборы? Всѣ мы дѣлаемъ свое дѣло, не дѣлать которое не можемъ, не переставши духовно существовать. Такъ, конечно. Однако, если дѣлая это свое дѣло, мы, именемъ народа и какъ бы даже по его уполномочію, получаемъ, вмѣсто спасибо, плевки въ лицо, если наши добросовѣстные усилія обываются «невыразимо пошлымъ кривляньемъ», то позвольте же намъ сказать хоть единое слово pro domo sua. Пусть дядя Митяй переживетъ тѣ муки сомнѣнія, которыя знакомы намъ, пусть испытаетъ тѣ пароксизмы безнадежнаго отчаянія не за себя, не за свое благополучіе, не за свою карьеру, а все за него же и за его будущее, которые надѣляютъ насъ преждевременными морщинами и сѣдинами, и тогда мы поговоримъ съ нимъ какъ равный съ равнымъ.

Г. Златовратскій болѣе роялистъ, чѣмъ самъ король,—болѣе народникъ, чѣмъ самъ народъ. Въ этомъ—источникъ и его несправедливости по отношенію къ намъ и къ нашей культурѣ, и его оптимистическихъ воззрѣній на народную жизнь. Повторяемъ: идеалы, выработанные въ нашей средѣ, вычитанные изъ нашихъ книжекъ, заимствованные отъ нашихъ общихъ учителей, г. Златовратскій съ спокойнымъ

духомъ и съ свѣтлымъ лицомъ вмѣняетъ въ заслугу народу и дѣлаетъ ихъ содержаніемъ пустопорожнихъ и наивныхъ формъ патріархальной жизни. Онъ усматриваетъ разумность и сознательность тамъ, гдѣ на самомъ дѣлѣ дѣйствуетъ только инстинктъ; онъ находитъ «гарантіи» тамъ, гдѣ, въ сущности, имѣется только пассивное сопротивление; онъ говоритъ объ «идеалахъ», имѣя настоящее право говорить только о платоническихъ благопожеланіяхъ. Исторія вчерашняго, можно сказать, дня свидѣтельствуешь, что нація, опередившія насъ, по крайней мѣрѣ, на три столѣтія, не въ силахъ пока переварить общинныхъ идеаловъ, а г. Златовратскій передаетъ ихъ «въ полномъ объемѣ» въ распоряженіе дяди Митяя, вторую уже тысячу лѣтъ восклицающаго: «гдѣ мои поллаптя? Чать, у меня полдуши есть?»

V.

Мы еще не кончили съ *Деревенскими буднями*. Мы разсмотрѣли основную идею этого произведенія, *повидимому*, состоящую въ прославленіи *общинныхъ идеаловъ*, выработанныхъ (будто бы) народнымъ сознаніемъ, *на томъ же* заключающуюся въ защитѣ *идеальной общины*, нигдѣ, никѣмъ и никогда практически не осуществившейся. Любопытно и поучительно взглянуть поближе на тѣ частныя явленія будничной деревенской жизни, которыя наблюдалъ и изобразилъ г. Златовратскій и анализъ которыхъ привелъ его къ столь розовымъ заключеніямъ относительно общиннаго строя и общиннаго духа нашей деревни. Предупреждаемъ читателя, что для того, чтобы вѣрно оцѣнить показанія г. Златовратскаго, необходимо запастись хорошо долей скептицизма, и мы настоятельно приглашаемъ къ этому читателя. Съ нашимъ «последовательнымъ народникомъ» нельзя иначе: онъ во всякомъ деревенскомъ явленіи усматриваетъ какую-то особенную красоту и какой-то скрытый, но глубокий смыслъ. Описываетъ, наприм.,



г. Златовратскій избы той деревни, въ которой онъ поселился для своихъ наблюденій надъ «деревенскими буднями»: «Третья изба... Но это не изба, это нѣчто неопредѣлимое и совершенно оригинальное. Представьте себѣ, что кто-либо задумалъ вывести каменные хоромы, выложилъ уже часть фундамента, и вдругъ, словно чего испугавшись, прекратить дальнѣйшее осуществленіе своего грандіознаго проекта и поспѣшили укрыться въ этой недостроенной части фундамента: настлалъ потолокъ, вывелъ надъ нимъ высокую деревянную крышу; въ маленькія окошки вставилъ на скорую руку старыя рамы съ осколочками, вмѣсто стеколъ, пристроилъ маленькія ворота и дворъ, и все это окуталъ обильно соломой. Въ этомъ странномъ каменномъ шалашѣ живетъ старшина нашей волости, нашъ деревенскій землепашецъ Максимъ Максимычъ». Казалось бы, что тутъ особеннаго? Мало ли какія избы есть въ нашихъ деревняхъ! Такъ разсуждаемъ мы, профаны, но не такъ разсуждаютъ посвященные: «это очень странно, но это такъ, — продолжаетъ г. Златовратскій. — *Въ жизни народа не мало явленій глубокаго смысла, неожиданныхъ и поучительныхъ*. О нихъ нельзя говорить бѣглою замѣткой» (т. II, стр. 356). И все это по поводу недостроенной избы! Со стороны г. Златовратскаго это понятно: деревня — это его храмъ, а самъ онъ — жрецъ этого храма, въ которомъ всякая мелочь является въ его глазахъ чуть не реликвіей, но намъ - то, нисколько не раздѣляющимъ молитвенно-благоговѣйнаго настроенія автора-фанатика, намъ только страненъ его энтузіазмъ. Другой примѣръ. Разговариваетъ г. Златовратскій съ крестьянскими ребятишками: «Я бесѣдовалъ съ ними съ большимъ удовольствіемъ. Столько было въ ихъ разговорахъ простоты и естественности, что какъ-то само собой приходило въ голову сравненіе съ дѣтьми нашей интеллигенціи не въ пользу послѣднихъ. Прежде всего бросается въ глаза та разница, что съ нашими дѣтьми приходится говорить непременно «по-дѣтски», поддѣ-

лываясь подь складъ ихъ понятій и развитія, что не легко, конечно; если же ребенокъ говорить съ вами тономъ выше своего разумѣнія, вы видите, что онъ обезьянничаетъ, что онъ ломается, рисуется. Совсѣмъ другое дѣло здѣсь. Вы можете говорить съ крестьянскимъ мальчикомъ, какъ съ мужикомъ, обо всемъ, не выходя, конечно, изъ круга деревни“. Ну, конечно, далеко напимъ дѣтямъ до крестьянскихъ дѣтей!

Однако... однако, вотъ что:

Однакоже зависть въ дворянскомъ дитяти

Посѣять намъ было бы жаль.

Итакъ, обернуть мы обязаны кстати

*Другой стороною медаль.*

Положимъ, крестьянскій ребенокъ свободно

Растетъ, не учась ничему,

Но вырастетъ онъ, *если Богу угодно,*

*А слѣдуетъ ничто не мешаетъ ему.*

Объ этой *другой сторонѣ медали* г. Златовратскій, конечно, и не заикается. По нашему культурному разумѣнью, уже въ одномъ томъ заключается «погибель» крестьянскаго ребенка, что онъ растетъ «не учась ничему»,--ничему, кромѣ той деревенской науки, которую зналъ и его дѣдъ, и прадѣдъ, и прапрадѣдъ, и которая цѣлые вѣка остается все въ одномъ и томъ же положеніи, не подвигаясь ни впередъ, ни назадъ. Прекрасный и безграничный міръ общечеловѣческой мысли закрытъ для него, но что за дѣло до этого г. Златовратскому? За то этотъ ребенокъ вырастетъ «общинникомъ», то-есть такимъ челоѣкомъ, который безъ ума уменъ, безъ науки ученъ и, не умѣя отличать А отъ Б, тѣмъ не менѣе питаетъ «идеалы», превышающіе пониманіе огромнаго большинства культурныхъ обществъ...

Но довольно объ этомъ. Итакъ, пойте, читатель, за г. Златовратскимъ, но пойте держа камень за пазухой, памятуя, что у нашего путевода нѣтъ къ намъ ни

уваженія, ни пріязни, ни довѣрія, а есть только желаніе заставить насъ плясать подъ народническую дудку. Удастся ли это г. Златовратскому, это мы сейчасъ «будемъ посмотрѣть», какъ выражаются петербургскіе булочники. Отмѣтимъ, прежде всего, что у г. Златовратскаго, какъ и слѣдовало ожидать, двѣ мѣрки и двое вѣсовъ: одни — для интеллигенціи, другіе — для народа. Если интеллигенція предъявляетъ какое-нибудь требованіе къ мужику, г. Златовратскій теряетъ свое обычное хладнокровіе и запальчиво доказываетъ неразумность этого требованія. Если же *точь въ точь такое же*, по своему внутреннему смыслу, требованіе поставляется общиной, — г. Златовратскій съ такою же запальчивостью начинаетъ защищать его. Для логика это было бы непростительно, но для народника-фанатика это совершенно послѣдовательно. Интеллигенція говорила, наприм., что слишкомъ частые и легкіе семейные раздѣлы ведутъ къ упадку земледѣльческаго хозяйства, и что эту сторону деревенской жизни надо было бы какъ-нибудь урегулировать. Г. Златовратскій, во имя *нравственной свободы личности*, возражаетъ противъ этого такимъ образомъ: «Слишкомъ тѣсный союзъ лицъ, въ особенности при отсутствіи достатка, неизбѣжно вызываетъ рядъ самыхъ мелочныхъ столкновеній, повидимому, ничтожныхъ въ общемъ смыслѣ, но очень чувствительныхъ для каждой отдѣльной личности, и въ особенности для «бабъ», какъ наиболѣе опутанныхъ мелочами семейной будничной жизни. Интеллигенція очень хорошо это знаетъ по себѣ, а между тѣмъ ставить невозможныя требованія для мужика. Она не хочетъ признать, что мужикъ также имѣетъ право на нравственную свободу личности, что бабѣ также не чужды и чувство ревности къ своимъ дѣтямъ, къ мужу, и чуткость къ самымъ тонкимъ оскорбленіямъ, какъ и любой дамѣ общества, что у мужика можетъ быть свой сердечный уголокъ, въ который онъ не желаетъ впустить распоряжаться cadaго, что на этотъ

извѣстный уголокъ онъ имѣть такое же неотъемлемое право, какъ и всякій человѣкъ. А между тѣмъ отъ него требуютъ, чтобы этотъ завѣтный уголокъ онъ принесъ въ жертву матеріальныхъ выгодъ большой семьи. Понятно, что большая семья неизбежно должна распасться на естественныя меньшія группы».

Вотъ что называется отдѣлать на обѣ корки! Очень хорошо. Но вотъ другое явленіе деревенской жизни — такъ-называемые «заказные дни», т.-е. такіе дни, въ которые никто изъ членовъ общины не имѣть права производить полевыхъ работъ, хотя бы имѣлъ на это и охоту и надобность. Казалась бы, *нравственная свобода личности*, только что великолѣпно и благородно защищенная г. Златовратскимъ отъ посягательствъ на нее интеллигенціи, страдаетъ отъ этихъ «заказныхъ дней» ничуть не меньше, нежели отъ ограниченія свободы семейныхъ раздѣловъ. Тѣмъ не менѣе, о заказныхъ дняхъ г. Златовратскій говорить вотъ что: «разные интеллигентные опекуны и либералы и обскуранты съ завиднымъ единодушіемъ посвящали этому явленію свое просвѣщенное вниманіе. Благородное негодованіе, которое изливали они по поводу этого «своевольнаго обычая», было, поистинѣ, изумительно и... совершенно нелѣпо. Въ самомъ дѣлѣ, что такое хотя бы мірской заказъ въ извѣстный день не выходить въ поле? — право мужицкой общины самостоятельно и независимо распоряжаться своимъ трудомъ. Что можетъ возбудить въ этомъ правѣ (этомъ, поистинѣ, самомъ примитивномъ и естественномъ правѣ каждой общины) благородное негодованіе благородныхъ опекуновъ? — стѣсняется индивидуальная свобода членовъ, желающихъ посвятить этотъ день «святому труду». Очевидно, заказъ приучаетъ къ лѣни и приводитъ къ упадку сельское хозяйство, — говорятъ обскуранты. Заказные праздники — результатъ суевѣрій и невѣжества, которыя заставляютъ проводить въ безпечности и лѣни дорогіе часы, долженствующіе быть посвященными

святому труду, — говорят либералы. Какъ то, такъ и другое возраженія отличаются одинаково своеобразною послѣдовательностью, всегда отличавшею нашу интеллигенцію, когда она принималась опекать «младшихъ братьевъ», — тою послѣдовательностью и проницательностью, результатомъ которой являлось всегда стрѣлянье изъ пушки по воробьямъ... Стоить ли опровергать эти возраженія, въ которыхъ сквозить одно невѣжество свѣжаго наблюдателя да крѣпостническіе позывы?.. «Заказъ» — логическое слѣдствіе общинной системы; безъ «заказовъ» она немыслима, какъ и всякая гармоническая и цѣльная система. Что-нибудь одно: или безпардонное *laissez faire, laissez passer* или община». Вотъ и извольте угодить г. Златовратскому! Если бы община, во имя своихъ экономическихъ интересовъ, ограничила свободу раздѣловъ, это было бы прекрасно, потому что «что-нибудь одно: или безпардонное *laissez faire, laissez passer* или община». Если же это самое сдѣлаетъ или подумаетъ сдѣлать интеллигенція, она является врагомъ «нравственной свободы личности». Мужикъ выше интеллигента, община выше мужика, слѣдовательно, все исходящее отъ общины — благо для мужика, хотя бы и было ему не по сердцу, все исходящее отъ интеллигенціи — зло для мужика, хотя бы и соответствовало его желаніямъ, — вотъ своеобразная логика г. Златовратскаго.

Оптимизмъ г. Златовратскаго трудно чѣмъ-нибудь смутить, потому что онъ вытекаетъ изъ оптимизма самого народа. Благодаря этому оптимизму, самые жгучіе и болѣзненные деревенскіе вопросы, какъ вопросъ, наприм., о малоземельи, разрѣшаются очень просто и ко всеобщему удовольствію. Вотъ разговоръ на эту тему мужиковъ, который г. Златовратскій записалъ «почти дословно» и съ моралью котораго онъ, очевидно, вполне согласенъ:

„— Не однимъ намъ на свѣтѣ жить. Что хорошаго — послѣ насъ, стариковъ, клясть будутъ!

„— И будутъ, — замѣтилъ Иванъ Тарасычъ, — хорошо вотъ ты

выкупилъ теперь, примѣрно, на двѣ души, а у тебя черезъ двадцать лѣтъ семью-то Господь приумножилъ, стало у тебя пять сыновей, да самъ соловей, да внучата пойдутъ... Что ты съ ними на двухдушномъ-то надѣлѣ станешь дѣлать? Ступай, значитъ, вонъ половина, живи на сторонѣ!.. А теперь міръ все же на всѣхъ надѣлить.

„— Ну, да, — сказалъ старикъ Евтропъ Шманинъ, — держи карманъ! Все одно, братъ. Вотъ намъ надѣлили на 53 души, а теперь передѣлъ будемъ дѣлать на 64, а потомъ на 80... Вѣдь міръ-то тоже растеть... вотъ что! А земли-то все столько же... Все одно — куда пойдешь?

„Замѣчаніе Евтропа заставило мужиковъ смутиться.

„— А вотъ куда пойдешь, — поднялся и сверкнулъ своими цыганскими глазками Иванъ Тарасычъ. — Ты вотъ ежели одинъ, такъ поди сунься за землей-то. Дастъ тебѣ кто? А ежели у деревни земли не станетъ, такъ деревнѣ безъ земли быть нельзя! Такихъ деревень на свѣтѣ нѣту! У деревни земля какъ-никакъ будетъ.

„И Иванъ Тарасычъ сталъ молиться на образъ.

„— Вотъ, братъ, что вѣрно сказалъ, то вѣрно... Иванъ Тарасычъ слова съ вѣтру не скажетъ, — подтвердили опять мужики и, поднявшись изъ-за стола, вслѣдъ за нимъ стали креститься“ (т. II, стр. 396).

«У деревни земля какъ-никакъ будетъ» — въ высшей степени убѣдительный доводъ, что и говорить! Есть и другія основанія для мужицкаго оптимизма, въ такой же степени резонныя, хотя бы тѣ, наприм., на которыя указываетъ Глѣбъ Успенскій во *Власти земли*: «Непонятный, запутанный текстъ *Апокалипсиса*, который съ такою охотой читаютъ деревенскіе грамотные люди, въ толкованіяхъ этихъ послѣднихъ получаетъ совершенно неожиданно самый ясный смыслъ, потому что все оказывается написаннымъ насчетъ того, что земли будетъ вволю... Вездѣ, гдѣ попадаютъ слова: «и соединиша», «и соединихомъ», «и соединихъ» — ужъ непремѣнно дѣло идетъ насчетъ земли. «И соединихъ...» — вотъ это и есть это самое, — толкуетъ толкователь. — Какъ у насъ теперь наша земля отошла и буеракъ съ прутнякомъ отошелъ, то вотъ и пишется, что «приидеть» и присоединить все опять же къ намъ...».

Успенскій рассказываетъ объ этихъ шальныхъ надеждахъ, какъ о любопытномъ психологическомъ явленіи, не

лишенномъ, конечно, и общественнаго значенія, вслѣдствіе своей распространенности, тогда какъ г. Златовратскій относится къ своему Ивану Тарасычу пресерьезно и готовъ повторить вмѣстѣ съ мужикомъ: «вотъ, братъ, что вѣрно сказалъ, то вѣрно». По крайней мѣрѣ онъ ни единымъ словомъ не разочаровываетъ мужиковъ, хотя они обращались къ нему съ прямымъ вопросомъ: «Какъ ты намъ скажешь?»—«Будетъ земля! Нѣтъ деревень безъ земли!»—«Откуда будетъ, какъ будетъ». «Какъ-никакъ». Мужикамъ, не имѣющимъ понятія ни о чемъ, что совершается за предѣлами ихъ общины, простительно давать такіе отвѣты и успокаивать себя такими надеждами. Но просвѣщенному народнику такой *апокалипсическій* оптимизмъ непростителенъ.

Дальше въ лѣсъ, больше дровъ. Чѣмъ дальше углубляется г. Златовратскій въ монотонно-унылую жизнь «деревенскихъ будней», тѣмъ шире и шире развертывается его ничѣмъ не смущающійся оптимизмъ. Говорятъ, «что мужицкая сходка исключительно управляется одними стихійными, бессознательными, инстинктивными стимулами, что вслѣдствіе этого часто рѣшенія сходокъ поражаютъ своею дикостью, очевидною нелогичностью... Я рѣшительно не могу съ этимъ согласиться. Хотя я далеко отъ мысли видѣть въ мужицкомъ сходѣ идеалъ Россійскаго парламента, хотя я не могу передъ нимъ приходить въ восторгъ и даже сравнивать его съ митингомъ западно-европейскихъ рабочихъ, но, съ другой стороны, я имѣю массу вѣскихъ данныхъ за то, что мужикъ живетъ менѣе стихійно, инстинктивно и бессознательно по извѣстнымъ традиціямъ, чѣмъ, напримѣръ, полуобразованныя городскія сословія. На сходахъ очень нерѣдко поднимаются такіе вопросы, въ которыхъ нельзя никакъ отрицать сознательной и пытливой мысли. Другое дѣло, конечно, насколько широка сфера этой мысли; но въ той области, которая захватываетъ крестьянскій обиходъ, а иногда дальше, мысль

крестьянина работаетъ. Въ слѣдующихъ главахъ я буду еще имѣть случай привести не мало фактовъ, подтверждающихъ мою мысль». Скептически настроенный читатель, даже еще не ознакомившись съ «слѣдующими главами», могъ бы сказать г. Златовратскому: можете не трудиться разъяснять дѣло, уже достаточно вами разъясненное. Во-первыхъ, въ *предыдущей* главѣ вы дали прекрасный образчикъ тѣхъ, дѣйствительно не парламентскихъ дебатовъ, которые ведутся на деревенскихъ сходахъ. Вотъ этотъ образчикъ: «Мѣшки... Тридцать четвертей... зерно... всыпали... Да когда кто изъ васъ считалъ? Считали вы галокъ на застрѣхѣ! Поди спроси Ивана Терентыча объ этомъ! Сунься къ Ивану Терентычу, что къ кобылѣ подѣ хвостъ! Онъ тебѣ надушить въ носъ-то! Считали! Я всыпалъ. Мы съ братомъ. Да когда? Когда еще не въ раздѣлѣ были! Были вы! Да ты, лѣшій, спроси мужиковъ! Ты чего лаешься? Лѣшій и есть! Чего ты лаешься, идолъ? Вотъ они, старики-то! Зерно всыпали... Двадцать мѣшковъ... Лови ихъ, двадцать-то мѣшковъ! Просору больше! Просорилось зернышко-то наше, это вѣрно! Дураки, такъ дураки мужики и есть!—заканчивалъ кто-нибудь эту невообразимую смѣсь восклицаній». Да, дѣйствительно, это не похоже не только на парламентъ, но и на рабочій митингъ, и не въ отношеніи только некультурности, грубости выраженій, но и въ смыслѣ очевидной ненужности, бессмысленности всѣхъ этихъ перекоровъ, изъ которыхъ только послѣднее заключеніе имѣетъ значеніе, свидѣтельствуя о нѣкоторомъ самосознаніи... Во-вторыхъ, и это гораздо важнѣе, всѣ факты, которые обѣщаетъ показать г. Златовратскій «въ слѣдующихъ главахъ», не устраняютъ и не ослабляютъ того факта, который только что установленъ самимъ г. Златовратскимъ и состоитъ въ томъ, что «сознательная и пытливая мысль» крестьянина не идетъ дальше «крестьянскаго обихода». Вотъ въ этомъ-то все и дѣло, вотъ тутъ-то и заключается главная причина нашего скептицизма. Крестьянинъ «пыт-



ливо» обсудить достоинства и недостатки сосѣдской телушки, «сознательно» разбереть выгоды и невыгоды своего надѣла, но за предѣлами этихъ и подобныхъ имъ вопросовъ начинаются для него невѣрные салтаны Махмуды, антихристы, люди съ песьими головами, три знаменитыхъ кита и прочія прелести того же рода. По пословицѣ, *уши вянутъ*, слушая разсужденія этихъ почтенныхъ, борода-тыхъ людей, легковѣрныхъ какъ дѣти, невѣжественныхъ какъ готтентоты, а г. Златовратскій съ умиленіемъ и почтеніемъ говорить о «пытливой, сознательной мысли», точно рѣчь идетъ о какихъ-нибудь философахъ! Когда слышишь такіе хвалебные гимны народу, когда видишь такіа разукрашиванія его жизни, невольно спрашиваешь себя: неужели все это дѣлаютъ его искренніе друзья, люди, горячо желающіе ему добра? Вѣдь, если народъ такъ уменъ, то чему же и зачѣмъ намъ учить его? Если его жизнь основана на началахъ чистѣйшаго альтруизма и чистѣйшей справедливости, то намъ ли исправлять эту жизнь, намъ ли, руководствующимся въ своей культурной жизни принципомъ *chacun chez soi, chacun pour soi*? А въ такомъ случаѣ какою презрѣнною и лицемерною декламаціей должны бы представляться намъ хотя бы, наприм., эти стихи, трогавшіе и—не во гнѣвъ будь сказано г. Златовратскому — до сихъ поръ трогающіе насъ до глубины души:

Пожелаемъ тому доброй ночи,  
Кто все терпитъ во имя Христа,  
Чьи не плачутъ суровыя очи,  
Чьи не ропщутъ нѣмыя уста,  
Чьи работаютъ грубыя руки,  
Предоставивъ почтительно намъ  
Погружаться въ искусства, въ науки,  
Предаваться мечтамъ и страстямъ;  
*Кто бредетъ по житейской дорогѣ*  
*Въ безразсѣтной, глубокой ночи,*  
*Безъ понятія о правѣ, о Боѣ,*  
*Какъ въ подземной торѣмъ безъ свѣчи...*

Или какой смысл может имѣть хотя бы этотъ завѣтъ другого поэта, говорившаго о другомъ народѣ, но совершенно въ унисонъ съ нашимъ поэтомъ:

Ne sers que lui...

Sa cause est sainte. *Il souffre*; et tout grand homme

Auprès du peuple est l'envoyé de Dieu.

Нѣтъ, не заразимся мы оптимизмомъ г. Златовратскаго, не повѣримъ автору и не пойдемъ за нимъ, а будемъ говорить и безъ устали повторять, что великій народъ нашъ невѣжественъ и несчастенъ, что «безразсвѣтная, глубокая ночь», окутавшая своимъ мракомъ его жизнь, можетъ быть побѣждена только солнцемъ науки, что «все субстанціальное въ нашемъ народѣ велико, необъятно, но опредѣленіе гнусно, грязно, подло», по энергическому выраженію Бѣлинскаго, взятому нами эпиграфомъ. Реформировать это «опредѣленіе», т.-е. практическія формы народной жизни, въ духѣ прогресса и просвѣщенія не значить «опекать» народъ, какъ иронически выражается г. Златовратскій, а значить служить ему, исполнять, въ предѣлахъ своихъ силъ и своего разумнія, ту самую задачу, которую Беранже вмѣняетъ въ первую обязанность всякаго «великаго человѣка, божьяго посланника». Расточать приторные комплименты, конечно, гораздо легче...

Здѣсь кстати будетъ сказать, что о народныхъ школахъ г. Златовратскій самаго высокаго мнѣнія, но не о тѣхъ школахъ, которыя созданы и создаются земцами-опекателями, а о тѣхъ, которыя «собственными средствами» создаетъ самъ народъ. Достаточно извѣстенъ типъ «перехожаго» учителя изъ отставныхъ солдатъ или выгнанныхъ дьячковъ, путешествующаго изъ села въ село, изъ деревни въ деревню и надѣляющаго всѣхъ желающихъ изъ обширной сокровищницы своихъ познаній. Въ *Деревенскихъ будняхъ* фигурируетъ такой учитель, нѣкто Лазарь Лазаревичъ, или Ерусланъ Лазаревичъ, какъ его называютъ ученики, и г. Златовратскій самымъ серьезнымъ

образомъ не только беретъ его подъ свою защиту, но и выражаетъ ему свое уваженіе. Онъ говоритъ: «Можетъ быть, этотъ Ерусланъ только и знаетъ варварскій методъ обученія «по складамъ». Можетъ быть, этотъ самый Ерусланъ съ воодушевленіемъ самъ рассказываетъ ребятишкамъ о «килѣ» и «порчѣ». Очень вѣроятно. Но одно несомнѣнно, что то, что передаетъ онъ дѣтямъ, — прочно и крѣпко перейдетъ въ ихъ плоть и кровь, сольется органически съ ними... И несомнѣнно, что вмѣстѣ съ «килой» онъ также искренно и чистосердечно передаетъ и кое-что многое другое, болѣе высокое, важное и существенное... Онъ это умѣетъ. А въ этомъ вся *суть* школы... Не потому ли онъ *сподручнѣе* для крестьянъ?»

Въ высшей степени было бы любопытно познакомиться поближе съ тѣмъ «высокимъ, важнымъ и существеннымъ», что имѣетъ передать своимъ ученикамъ солдатъ или дьячокъ Ерусланъ. Къ сожалѣнію, въ этомъ, какъ и во многихъ другихъ подобныхъ случаяхъ, г. Златовратскій бережетъ свое открытіе про себя, такъ что мы имѣемъ все право сохранить прежнее свое убѣжденіе, что никакой особенной мудрости Ерусланъ своимъ слушателямъ не сообщить, кромѣ давно извѣстной *буки-арцы-азъ-бра*, да вотъ развѣ еще рассказовъ о «килѣ», «порчѣ», «лѣшемъ», «домовомъ» и пр. Не споримъ, что все это «прочно и крѣпко перейдетъ въ плоть и кровь» учениковъ, «сольется органически съ ними», кромѣ, впрочемъ, азбуки, которая къ семнадцати-восемнадцати годамъ забудется самымъ основательнымъ образомъ. Лекціи о «килѣ», конечно, не забудутся до гробовой доски, но мы ужъ предоставимъ г. Златовратскому восхищаться такою гармоніей между школой и жизнью.

Остановимся, наконецъ, еще на одной послѣдней чертѣ *Деревенскихъ будней*, въ такой же степени восхищающей автора, какъ и сходы, передѣлы, школы и пр., и пр. Эта черта — стремленіе мужика къ просвѣщенію, опять-таки не

къ нашему «опекунскому», «безпочвенному», «легкомысленному» просвѣщенію, а совершенно къ особенному, *сподручному*, какъ и летучія школы. Вотъ фактъ: у каждаго «умственного и хозяйственного мужика» есть въ городѣ свой «совѣтникъ», свой «благопріятель», «адвокатъ». Этотъ благопріятель нерѣдко «дѣлаетъ честь» своему кліенту, пріѣзжая къ нему въ гости въ деревню... И, Господи, какъ радъ, какъ доволенъ «хозяйственный» мужичокъ этимъ посѣщеніемъ! Онъ не знаетъ, гдѣ посадить гостя, чѣмъ его угостить... Онъ водить его по своей усадьбѣ, онъ рассказываетъ ему про успѣхи своего «хозяйствованія», онъ ведетъ его къ лошадямъ и коровамъ, на поле, на новую стройку... Онъ ведетъ съ нимъ длинныя бесѣды о деревенскихъ порядкахъ и поучается инымъ порядкамъ... Онъ жалуется на своихъ враговъ и вмѣстѣ обсуждаютъ проекты тяжбебъ... «Вотъ они, наши-то глупые деревенскіе распорядки!.. А ты скажи, какъ въ законѣ, какъ въ правилахъ... такъ ли?

— Такъ, такъ,—говоритъ употчеванный гость, икая на всю комнату и позѣвывая.

— Законъ-то, вѣдь, онъ для всѣхъ одинъ!.. Такъ ли я говорю?

— Конечно, одинъ... Развѣ два закона быть можетъ?.. Чудаки!.. Ха-ха-ха!—веселится гость.

— Да, вѣдь, я о томъ же...

Въ такомъ родѣ заканчиваетъ свои бесѣды съ «благопріятелемъ» хозяйственный мужичокъ.

Хозяйственный мужичокъ жаждетъ «ума», онъ льнетъ къ интеллигентному человѣку—это неоспоримо. И льнетъ вовсе не тогда только, когда онъ нуженъ ему какъ адвокатъ,—нѣтъ, онъ ищетъ въ немъ себѣ собесѣдника, умственной пищи. Это явленіе высокой важности. Оно заслуживаетъ глубокаго вниманія, если несетъ съ собою благо, а еще болѣе, если за нимъ идетъ на деревню великое зло.

И опять-таки г. Златовратскій хранить свое открытіе про себя, предоставляя намъ доволствоваться голословнымъ увѣреніемъ. Онъ нарисовалъ живую картину пріательства мужика именно съ адвокатомъ, «брехунцомъ», нужнымъ человѣкомъ, а увѣряетъ насъ, что «мужикъ лжнетъ вовсе не тогда только, когда интеллигентъ нуженъ ему какъ адвокатъ,—нѣтъ, онъ ищетъ въ немъ себѣ собесѣдника, умственной пищи». Мы вѣримъ авторской картинѣ и не вѣримъ авторской божбѣ. Вѣримъ первой потому, что ея внутренній смыслъ совершенно совпадаетъ съ общимъ направленіемъ нашей жизни: повсемѣстное торжество у насъ всякаго рода дѣльцовъ и нужныхъ людей не могло, разумѣется, не отразиться и на деревнѣ. Одинъ изъ деревенскихъ героевъ Успенскаго очень хорошо характеризовалъ эту новую черту нашей эпохи: «Время, время учить нашего брата! Я вонъ лавчонку имѣю, съ городомъ дѣлишки дѣлаю, а въ городѣ-то все вексельки берутъ... Знаешь? вексельки? Все одно бумажка махонькая, а шея трещить отъ нея, трещить! А здѣсь-то все на совѣсть было прежде, все на совѣсть,—ну, это вышло будто и не подъ кадрили одно-то къ другому: тамъ векселекъ, а тутъ совѣсть, анъ оно и тово... не вполне спокойно... И тутъ, стало быть, надо расписочки, бумажки, и бумажки ффо-оор-менныя, охъ, форменныя!» Такому «благomyсленному» мужичку, конечно, необходимъ городской «благопріятель», у котораго онъ могъ бы во всякое время справиться: «какъ въ законѣ, какъ въ правилахъ—такъ ли?» Да, «это явленіе высокой важности», въ этомъ мы г. Златовратскаго не оспариваемъ. Но чѣмъ тутъ восхищаться? Вмѣсто «адвоката», дѣльца, г. Златовратскій подставляетъ «интеллигентнаго челоуѣка» вообще и подставляетъ совершенно произвольно, потому что будь у него подъ рукою реальныя факты, онъ, конечно, не преминулъ бы изобразить ихъ намъ, какъ изобразилъ картину благопріательства мужика съ адвокатомъ. Между тѣмъ, только благодаря этой под-

становкѣ, г. Златовратскій и приобрѣлъ нѣкоторую внѣшнюю возможность умиленно говорить о мужицкой жадѣ «ума», просвѣщенія, интеллигентныхъ знакомствъ и т. д. Напрасное умиленіе, ненужный оптимизмъ! Бывали факты, при воспоминаніи о которыхъ благодушное «льнетъ» г. Златовратскаго начинаетъ звучать самою горькою и, смѣю сказать, кощунственною ироніей...

Мы терпѣливо слѣдовали за г. Златовратскимъ въ его поискахъ за свѣтлыми явленіями въ будничной жизни нашей деревни и, какъ видѣлъ читатель, не оставили ни одного восторженнаго указанія автора безъ охлаждающихъ комментаріевъ. Читателю судить, кто болѣе правъ изъ насъ—авторъ ли съ своимъ оптимизмомъ, или я съ своимъ скептицизмомъ. Въ симпатіи къ народу я не хочу уступать г. Златовратскому, но идолопоклонствовать передъ народомъ не станеть ни одинъ человѣкъ, умѣющій цѣнить и уважать великія блага просвѣщенія.

## VI.

Намъ слѣдовало бы остановиться теперь еще на двухъ большихъ и замѣчательныхъ произведеніяхъ г. Златовратскаго: *Устои* и *Крестьяне-присяжные*, составляющихъ содержаніе почти всего перваго тома его *Собранія сочиненій*. Мы можемъ, однако, ограничиться указаніемъ на идею и характеръ этихъ произведеній, не вдаваясь въ ихъ подробный разборъ, поэтому скажемъ, что нашъ «послѣдовательный народникъ» сохраняетъ свою послѣдовательность до конца и стоитъ въ этихъ произведеніяхъ на той самой точкѣ зрѣнія, которую мы видѣли и разсматривали въ *Деревенскихъ будняхъ*. *Устои*—это подробное и обстоятельное описаніе того кризиса, не только экономическаго, но и нравственнаго, который переживается теперь русскою деревней, того тягостно-неопредѣленнаго положенія «между старою и новою правдой», въ которомъ находится теперь

русскій крестьянинъ. Читатель, знакомый съ литературною фizioноміей г. Златовратскаго хотя бы только по нашей характеристикѣ, безъ труда догадается, какую позицію занимаетъ авторъ въ дѣлѣ этой драматической коллизіи стараго съ новымъ. Всѣ его симпатіи на сторонѣ представителей старо-русскихъ, древле-отеческихъ, патріархальныхъ общинныхъ «устоевъ», а къ представителямъ новѣйшаго деревенскаго индивидуализма, къ этимъ такъ называемымъ «умственнымъ» мужикамъ, онъ относится съ раздраженіемъ, съ ироніей, въ которой—увы!—далеко нѣтъ прежней увѣренности и слышится какая-то болѣзненная, почти отчаянная нота. Вотъ какъ, наприм., говоритъ г. Златовратскій о самой вѣрной хранительницѣ деревенскихъ «устоевъ» и традицій, «благomyсленной» крестьянкѣ Ульянѣ Мосевнѣ: «Не мало передумала своимъ непосредственнымъ умомъ Ульяна Мосевна за то время, когда надъ Волчьимъ поселкомъ пронеслась гроза и съ корнемъ сорвала столѣтній дубъ съ его вѣковыхъ устоевъ; но сколько она ни думала, она ничего не поняла въ Петрѣ, и рѣшила, что все это послано въ наказаніе за какіе-нибудь ихъ личные грѣхи. Но когда, возвратившись въ старый знакомый дергачевскій міръ, она увидѣла, что и тамъ вездѣ бушуетъ та же непонятная буря и также рушить старые «устои», видимымъ образомъ разрушая прежнюю гармонию и не созидая, вмѣсто нея, никакой новой, она рѣшила робко и скромно, съ болью въ сердцѣ: «нѣтъ больше въ мірѣ правды!»... Но развѣ прежде, при крѣпостномъ правѣ, была правда для нея? Была: кромѣ общей, неуывдаемой правды труждающихся и обремененныхъ, для нея существовалъ тотъ нравственный устой, который давалъ возможность ясно различать добро, ясно осязать страданія и итти на помощь; была возможность подвига, былъ смыслъ въ самоотреченіи, были смыслъ и возможность «идейной» жизни для народнаго романтика. Этою возможностью, этимъ смысломъ жили миллионы «человѣческаго жизнью», полною значенія, и умирали въ созна-

ни этого «значенія» какъ люди, а не какъ подъяремные скоты, и вдругъ эта правда исчезла, стала непригодной, ненужной и—почемъ знать?—можетъ быть, она приноситъ зло, вмѣсто добра, вызываетъ страданія, вмѣсто исцѣленія» (т. I, стр. 359). Конечно, это не столько размышленія Ульяны Мосевны, сколько самого автора, и этотъ вопросъ «почемъ знать?»—характеризуетъ тонъ и строй всего произведенія. Да, жизнь поколебала, кажется, даже фанатическую вѣру г. Златовратскаго, и, оплакивая быстро приближающееся разрушеніе «устоевъ», онъ какъ будто готовъ согласиться, что, въ самомъ дѣлѣ, не два же вѣка и жить имъ, что ихъ историческая роль кончена и у «гробового входа» уже играетъ «младая жизнь». Однако, г. Златовратскій слишкомъ далеко ушелъ по пути своего «послѣдовательнаго народничества», чтобы для него быть возможнымъ не только возвратъ, но и сколько-нибудь крутой поворотъ съ пробитой имъ колени, и уже черезъ одну страничку послѣ своего скептическаго «почемъ знать?»—онъ является прежнимъ вѣрующимъ и исповѣдующимъ старозавѣтнымъ народникомъ. Говоря о другомъ представителѣ «устоевъ», мужикѣ Хипѣ, представитель-протестантъ, г. Златовратскій сравниваетъ его съ медвѣдемъ, выгнаннымъ изъ берлоги: «Хипа былъ дѣйствительно очень похожъ на медвѣдя, у котораго разорили зачѣмъ-то берлогу, въ которой цѣлыми столѣтіями и цѣлыми поколѣніями его прапрадѣдовъ все было такъ плотно уложено, укладено и облежано, такъ мягко и тепло лежало. И вотъ теперь, зачѣмъ-то побезпокоенный, смирный и неповоротливый Михаилъ Ивановичъ, выпуча глаза, ничего не понимая, носился по лѣсу, безъ пути ломать сосны, безъ пути бросался на проходящихъ, такъ какъ всѣ ему казались виноватыми въ непонятной и непостижимой ему невзгодѣ. И будетъ онъ носиться до тѣхъ поръ, пока вновь не попадетъ на глубокую, всю усыпанную на днѣ, какъ пухомъ, сухими листьями яму и, свалившись въ нее, почувствуетъ, что стало опять тепло, уютно, улеж-



но и, главное, никто опять долго не увидитъ его и не побеспокоитъ». Прежде всего, о какомъ-то *разореньи* берлоги говорить г. Златовратскій? Это «разоренье» имѣеть только одно и, притомъ, совершенно опредѣленное наименованіе: реформа 19 февраля 1861 г. *Мяко* ли и *тепло* ли было нашимъ Хипамъ до этой реформы, это, разумѣется, подлежить сомнѣнію, но что до нея «все было плотно уложено и укладено» — это безспорно. *Ну, такъ что же, г. Златовратскій?* Вопросъ этотъ слишкомъ серьезенъ и даже, можно сказать, торжественъ, чтобы я могъ позволить себѣ какія-нибудь догадки на этотъ счетъ. Да повиснетъ этотъ вопросъ Дамокловымъ мечомъ надъ головой г. Златовратскаго! Далѣе, въ подчеркнутыхъ мною словахъ цитаты, исходящихъ прямо отъ авторскаго лица, опять и опять подставляется все тотъ же пресловутый «идеаль» *улежной* жизни, въ которой — какое счастье! — «никто не увидитъ и не побеспокоитъ» нашего героя! Фантазіи эти пора бы оставить дажѣ Хипѣ, которому тоже не безызвѣстно, что мертвыхъ съ погоста не носятъ... Весь смыслъ — великій и глубокій смыслъ — переживаемой нами эпохи именно въ томъ и состоитъ, что народъ, историческою силою вещей, приобщается къ нашей культурной жизни, что онъ «побеспокоенъ» въ своемъ тысячелѣтнемъ снѣ. И сколько благъ рисуются намъ въ туманѣ будущаго отъ этого факта, какіе горизонты и перспективы раскрываются, сколько счастья — не медвѣжьяго, не берложьяго, а разумаго, человѣческаго — принесетъ этотъ прихлынувшій могучій потокъ свѣжихъ силъ, дѣвственныхъ характеровъ и умовъ! Напрасенъ, напрасенъ плачъ на рѣкахъ вавилонскихъ г. Златовратскаго!

Другое произведеніе г. Златовратскаго, которое мы должны отмѣтить, *Крестьяне-присяжные*, преслѣдуетъ не общественныя, а психологическія цѣли. Съ горячею любовью и съ большимъ знаніемъ дѣла г. Златовратскій рисуетъ намъ симпатичныя черты народнаго характера, его

благодушіе, совѣстливость, мягкосердечіе и т. д. На этомъ благородномъ пути мы желаемъ г. Златовратскому всякихъ успѣховъ и никто горячѣ насъ не будетъ имъ радоваться. Тѣмъ не менѣе, и здѣсь я долженъ подчеркнуть рѣзкое различіе между нашими основными точками зрѣнія. Профессоръ Менделѣевъ, въ рассказѣ о своемъ воздушномъ полетѣ, мимоходомъ сообщаетъ такой эпизодъ, не придавая ему, очевидно, никакого значенія: «Въ одной деревнѣ, съ жителями которой я также разговаривалъ (на полетѣ), меня позвали ѣсть свѣжую рыбу. Кричали: спускайся! свѣжая рыба есть!» Вотъ фактъ. Что сказалъ бы по поводу его г. Златовратскій? Онъ сказалъ бы: «посмотрите, сколько добродушія, хлѣбосолюства, гостепріимства въ этомъ миломъ, чудномъ, великомъ русскомъ народѣ!» Прекрасно и вѣрно, но, вѣдь, это одна сторона медали, а другая, на которую у г. Златовратскаго рѣшительно глазъ нѣтъ, состоитъ вотъ въ чемъ: какія чудеса, спрашиваю я себя, могутъ расшевелить смыслъ этого добродушнаго дикаря? Онъ, конечно, въ первый (да если бы и не въ первый?) разъ въ жизни видитъ воздухоплователя и точно обыкновенному проѣзжему или прохожему кричитъ ему: «спускайся! свѣжая рыба есть!» Ничему не удивляться — это признакъ или чрезвычайной развитости и *бывалости* или, наоборотъ, непроходимаго невѣжества и поразительной пассивности мысли. Эта иллюстрація, надѣюсь, окончательно пояснить читателю, почему моя критика *Собранія сочиненій Н. Златовратскаго* превратилась въ ожесточенный споръ съ г. Златовратскимъ.

Было бы несправедливо на этомъ и закончить статью. Я убѣжденъ, что время оптимистической идеализаціи народа и порядковъ его жизни прошло или проходитъ, но это совсѣмъ не значитъ, что прошло и время г. Златовратскаго, что его сочиненія подлежатъ сдать въ литературный архивъ, на добычу мышей и библіографовъ. Нѣтъ, дѣятельность г. Златовратскаго, какъ бытописателя народа,

на ряду съ дѣятельностью Рѣшетникова и Глѣба Успенскаго, является не фактомъ прошлаго, а фактомъ самаго животрепещущаго настоящаго. Нельзя плодотворно работать, не зная своей страны, а у насъ, какъ я доказывалъ выше, внѣ народа и внѣ духовной связи съ нимъ все не болѣе, какъ «миражъ на болотѣ», говоря выраженіемъ Каткова. Я высоко ставлю дѣятельность нашей интеллигенціи вообще и литературы въ частности именно потому, что она, при всѣхъ своихъ ошибкахъ и неизбѣжныхъ уклоненіяхъ, всегда имѣла въ виду народное благо, такъ или иначе понимаемое. Но гдѣ же и какъ искать этого правильного пониманія? Прежде всего, конечно, въ силахъ собственнаго разума и въ глубинѣ собственной совѣсти, а затѣмъ въ тѣхъ источникахъ, въ которыхъ болѣе или менѣе отразилась духовная личность народа. Вотъ наша тысячелѣтняя исторія въ ея довольно монотонномъ, но оригинальномъ теченіи; вотъ памятники народнаго творчества, наши былины, пѣсни, сказки; вотъ законодательные акты, касающіеся экономической стороны жизни народа; вотъ любопытнѣйшій сводъ разнообразныхъ вѣроученій, возникавшихъ и возникающихъ среди народа, и вотъ, наконецъ, длинный рядъ живыхъ и тщательныхъ наблюденій, сдѣланныхъ надъ деревней, въ ея праздники и въ ея будни, людьми, сумѣвшими непосредственно сблизиться съ народомъ! Въ нашемъ перечнѣ документовъ и источниковъ народовѣдѣнія едва ли не самыми важными являются именно литературные документы, между которыми произведенія Рѣшетникова, Глѣба Успенскаго и Златовратскаго занимаютъ центральное мѣсто.

---

1892 г.

## Народникъ-идеалистъ.

(Повѣсти и рассказы Каронина (Н. Е. Петропавловскаго).)

Съйте разумное, доброе, вѣчное,  
Съйте! Спасибо вамъ скажетъ сердечное  
Русскій народъ!

*Некрасовъ.*

### I.

«Toutes les verités ne sont pas bonnes à dire», говоритъ французская пословица. «Кстати сказанное слово—серебряное, кстати умолчанное — золотое», говоритъ русская поговорка. Народная мудрость востока и запада сходятся такимъ образомъ на этомъ пунктѣ и намъ, повидимому, ничего ни остается, какъ преклониться передъ нею. Какъ выраженіе практической, *житейской* мудрости, эти пословицы-правила дѣйствительно неуязвимы. Если, встрѣтившись съ кривобокимъ человѣкомъ, вы скажете ему, что его станъ не отличается стройностью и красотою, вы, конечно, скажете чистую правду, но эта ваша *vérité* будетъ въ то же время и грубостью, и жестокостью, и пошлостью. Почему? Потому что отъ такой правды кривобокій не выпрямится, а только лишній разъ огорчится; другимъ же ваша правда бесполезна потому, что у нихъ есть собственные глаза и всякій понимаетъ, что кривобокость — безобразіе и уродство. Но если кривобокій гордится своею кривобокостью, если онъ преискусно убѣжденъ самъ и старается убѣдить другихъ, что въ кривобокости-то и заклю-

чается настоящая красота, что Аполлонъ Бельведерскій тѣмъ и непріятенъ глазу, что слишкомъ ужъ пропорціонально и симметрично сложенъ? Вѣдь это бываетъ, а въ сферѣ психическихъ явленій даже зачастую. Сколько глупцовъ считаютъ себя умниками, сколько бездарностей воображаютъ себя талантами! Но этого мало. Въ силу того, что *chaque sot trouve toujours un plus sot qui l'admire*, глупцы и бездарности успѣваютъ иногда передать другимъ свое высокое мнѣніе о себѣ, и сколько такихъ *кривобокыхъ* авторитетовъ и въ жизни, и въ наукѣ, и въ литературѣ, и въ искусствѣ,—авторитетовъ, мишурное величіе которыхъ зависитъ или отъ нѣкоторой нашей иллюзіи, или отъ преданія, отъ привычки, или, наконецъ, просто отъ импонирующаго апломба! Житейская мудрость, конечно, порекомендуетъ сугубую осторожность по отношенію къ нимъ, но тутъ какъ разъ кончается ея компетентность, потому что начинается роль другой, настоящей, болѣе дальновидной мудрости, какая учить не спокойствію, не процвѣтанію въ хатѣ съ краю, а исполненію долга.

Перенесите вопросъ съ почвы личныхъ отношеній на почву общественныхъ интересовъ и тотчасъ же—

Какъ эта лампада блѣднѣетъ  
Предъ яснымъ восходомъ зари,  
Такъ ложная мудрость мерцаетъ и тлѣетъ  
Предъ солнцемъ безсмертнымъ ума.  
Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!

*Ложная мудрость* — это та самая мудрость, которая учить, что молчаніе—золото. Въ мірѣ общихъ явленій нѣтъ мѣста для личныхъ мотивовъ, и *всякая* правда, если она только правда, должна быть здѣсь договорена до конца, исчерпана до дна. По чувству сострадательной деликатности, мы не скажемъ молодящемуся старику, что у него ноги заплетаются и что поэтому напрасно пускается онъ въ танцы, но состарѣвшемуся писателю, не замѣчающему своей отсталости, литературная критика обязана сказать

безъ экивоковъ горькую правду. Неблаговоспитанному гостю, заплывавшему полъ вашего кабинета и засыпавшему сигарнымъ пепломъ вашъ письменный столъ, вы вольны простить его неблаговоспитанность, но городскому управленію, превратившему улицы своего города въ заразные клоаки, медицинская и общая публицистика обязаны дать хорошій урокъ и тѣмъ рѣзче, тѣмъ лучше. Мужику, убѣждающему насъ въ скоромъ пришествіи антихриста или увѣряющему, что онъ «собственными глазами» видѣлъ коровью смерть, мы не сдѣлаемъ никакого упрека и, конечно, не станемъ смѣяться надъ нимъ, но тѣмъ сильнѣе будемъ говорить объ умственной темнотѣ народа, о его вредныяхъ предразсудкахъ и суевѣріяхъ.

Соображенія эти можно было бы гораздо подробнѣе развить и укрѣпить, но для насъ пока достаточно сказать, что едва ли не во всѣхъ литературныхъ произведеніяхъ нашихъ, трактовавшихъ о народѣ, всегда сказывается какая-нибудь задняя мысль и чувствуется вліяніе именно того предразсудка, что не всякую правду можно и должно говорить о народѣ, будетъ ли эта правда къ его чести или къ его безславію. Вотъ произведенія Николая Успенскаго или Стѣпцова, читая которыхъ и повѣривши которымъ, вы только съ трудомъ согласитесь, что мужикъ все-таки ближе къ человѣку, нежели къ обезьянѣ. Неужели однако эти бесспорно талантливые писатели такъ-таки и не усмотрѣли ничего хорошаго въ народномъ бытѣ и въ народной психиі? Нѣтъ, но, по соображеніямъ минуты, эпохи, они считали *безтактнымъ*, неумѣстнымъ и несвоевременнымъ говорить о свѣтлыхъ сторонахъ народной жизни. Съ другой стороны, вотъ, наприм., Достоевскій, утверждавшій, что народъ нашъ все знаетъ, все умѣетъ, все понимаетъ. Опять-таки, неужели Достоевскій говорилъ это съ полнымъ убѣжденіемъ, неужели такой проникательный наблюдатель могъ не замѣчать обратной стороны медали? Нѣтъ, разумѣется, но такъ, во-первыхъ, требовалось по славянофиль-

скимъ традиціямъ; во-вторыхъ, такъ было нужно для пу-щаго посрамленія нашей интеллигенціи, которая «оторва-лась отъ почвы» и которой противопоставлялся голодный, но вседозволенный, безграмотный, но всезнающій народъ. Такъ и шло дѣло: *народомъ полемизировали*, если такъ можно выразиться, имъ пользовались то какъ щитомъ, то какъ мечомъ, безъ всякаго, конечно, полномочія и даже безъ всякаго вѣдома съ его стороны, но изученіе его по-двигалось впередъ медленно.

Самую удобную позицію заняли въ этомъ вопросѣ тѣ, кто, встѣдъ за тургеневскимъ Базаровымъ, рѣшилъ, что нашъ народъ—тотъ самый «тайнственный незнакомецъ», который фигурируетъ въ романахъ Ратклифъ. *Тайнственный незнакомецъ*—что можетъ быть лучше, и проще этого? Быть можетъ, это «злодѣй», а быть можетъ, тайный другъ и покровитель; быть можетъ, это пушечное мясо и рабо-чая сила только, а быть можетъ, кладезъ мудрости и со-судъ спасенія.

Съ отвлеченно-нравственной точки зрѣнія ничего не мо-жетъ быть великодушнѣе свойства, наблюдаемаго преимущ-ественно въ нашей интеллигенціи: благородной и несо-крушимой вѣры въ человѣческое достоинство народныхъ массъ. Въ жертву этой вѣрѣ приносится все—и личные интересы, и собственный горькій опытъ, и элементарныя требованія логики, и историческія данныя, и общіе факты живой дѣйствительности. Чтобы спасти эту вѣру, народ-нику-идеалисту приходится строить цѣлую замысловатую теорію, по которой выходитъ, что наше нравственное со-знаніе, или попросту совѣсть, совѣсьмъ не то же, что со-вѣсть народа, что бѣлое въ глазахъ интеллигенціи есть зачастую черное въ глазахъ народа и наоборотъ. Будучи, быть можетъ, неправъ въ нашихъ глазахъ, въ глазахъ лю-дей, «испорченныхъ цивилизаціей», мужикъ, быть можетъ, совершенно правъ въ собственныхъ глазахъ, такъ что въ состояніи съ открытымъ и ласковымъ лицомъ встрѣчать

человѣка, котораго онъ дважды обокралъ, трижды поджегъ и у котораго четырежды занималъ денегъ безъ отдачи. Это, видите ли, не лицемеріе и не неблагодарность,—это особая нравственность, заповѣди которой не согласуются съ нашими заповѣдями. Такова, въ краткомъ резюме, эта теорія, дѣлающая высокую честь любвеобильному сердцу своихъ творцовъ, но несостоятельная передъ судомъ разума. Нѣтъ, нравственность не можетъ двоиться и не можетъ противорѣчить самой себѣ. Люди могутъ извращать нравственный законъ, христіане могутъ различно истолковывать данный имъ кодексъ нравственнаго ученія, но какъ безчисленныя человѣческія заблужденія не отрицаютъ существованія истины, которая можетъ быть только одна, такъ и уклоненія наши отъ нравственнаго идеала не уменьшаютъ его обязательности для насъ. Можно не признавать даже всеобщность закона тяготѣнія, противопоставляя ему теорію трехъ китовъ, но нельзя говорить, что и Ньютонъ правъ по-своему, и защитникъ китовъ правъ по-своему. Не объ юридической винѣ, а объ умственной и нравственной отвѣтственности говоримъ мы: у кого же достанетъ рѣшимости вмѣнять очевидно невмѣняемому? Если мужикъ не различаетъ своихъ отъ чужихъ, враговъ отъ друзей, то это результатъ не безнравственности его и тѣмъ болѣе не какой-то особенной специально-мужицкой нравственности, а результатъ его незнанія, непониманія, умственной темноты. Негодовать тутъ не на кого, но и умиляться и восхищаться, право, нѣтъ причинъ.

Что говоритъ объ этомъ *нашъ* идеалистъ-народникъ, тотъ, чье имя стоитъ въ заголовкѣ статьи? А вотъ что: «Значетъ, какая разница между нами и ими? Это то, что мы живемъ чувствомъ пріятнаго и прекраснаго, мужики же чувствомъ должнаго и неизбѣжнаго. Мы дѣлаемъ то, что намъ нравится, мужики—то, что должно дѣлать. Не думаю, чтобы эта разница была къ нашей выгодѣ... Когда жизнь намъ не даетъ того, чего мы желаемъ, что кажется намъ



пріятнымъ, мы считаемъ ее неудавшеюся; мужики же считаютъ скверною ту жизнь, которая дала имъ одни только грѣхи. Мы страдаемъ отъ того, что не удовлетворяемъ своихъ желаній, мужикъ же отъ того, что не исполнилъ какой-то высшей воли, нагрѣшилъ...» Такова основная точка зрѣнія Каронина. Дальше мы обсудимъ ее, но предварительно скажемъ нѣсколько словъ о литературной личности рано и не во-время умершаго писателя.

## II.

Есть писатели, которыхъ любятъ, но не уважаютъ, и есть писатели, которыхъ уважаютъ, но не любятъ (о прочихъ категоріяхъ—«любятъ и уважаютъ» и «не любятъ и не уважаютъ» намъ нѣтъ надобности говорить здѣсь). Каронинъ принадлежалъ ко второй категоріи, и это обуславливалось свойствами его таланта и всей вообще его духовной личности, насколько она выражалась въ его литературной дѣятельности. Это былъ писатель-аскетъ, писатель-ригористъ, относившійся къ своему дѣлу какъ къ служенію, безъ малѣйшей тѣни ремесленничества. Его талантъ былъ далеко не изъ перворазрядныхъ и оттого его образы были не ярки и не выпуклы, но за ними всегда чувствовалась тревожная и серьезная мысль. Онъ не тѣшил-ся, но и не мучился этими образами, а съ сосредоточеннымъ вниманіемъ вдумывался въ ихъ внутренній смыслъ, точнѣе—привлекалъ къ этому своего читателя. Онъ былъ слишкомъ серьезенъ, можно сказать—слишкомъ *хмуръ*, чтобы тѣшить себя и читателя чѣмъ бы то ни было, и слишкомъ убѣжденъ, чтобы мучиться надъ разрѣшеніемъ какихъ-нибудь «проклятыхъ вопросовъ». Оттого именно читатель и не слишкомъ искалъ собесѣдованія съ нимъ, но, разъ рѣшившись на это, выносилъ цѣльное и здоровое впечатлѣніе чего-то твердаго, устойчиваго и прямодушнаго. Въ немъ не было узкости и исключительности, всегда по-

чти сопровождающих фанатизмъ, но была убѣжденность, презиращая компромиссы. Едва ли въ немъ была терпимость въ той степени, чтобы дружелюбно или только мягко вести бесѣду съ человѣкомъ другихъ воззрѣній, и хотя онъ никогда не пускался ни въ полемику \*), ни въ сатиру, не позволялъ себѣ даже простой усмѣшки, тѣмъ не менѣе глубокая и недобродушная иронія слышалась въ его рѣчахъ каждый разъ, какъ дѣло касалось несимпатичныхъ ему идей и явленій. Образчикомъ такой манеры можетъ служить хотя бы только что цитированный нами отрывокъ: противопоставленіе между *ними* и *нами* производится въ спокойномъ и даже суховатомъ тонѣ, но смыслъ его для насъ отъ того не менѣе убійственъ.

Мы упомянули сейчасъ о *суховатомъ* тонѣ Каронина. Это былъ обычный тонъ его повѣствованія, — и это тоже одна изъ причинъ относительнаго равнодушія къ нему читателя. Всѣ знаютъ, что не все то золото, что блеститъ, но не всѣ умѣютъ пользоваться этимъ знаніемъ. Въ жизни встрѣчаются люди, которые терпѣть не могутъ никакихъ изліяній, умѣютъ чувствовать, но не умѣютъ и не хотятъ говорить о своихъ чувствахъ и отъ того зачастую кажутся холодными, близорукими наблюдателями. Въ литературѣ равнымъ образомъ встрѣчаются писатели, питающіе какъ бы органическое отвращеніе не только ко всякой декламаци, но и ко всякому лиризму. Постоянно держась на одномъ уровнѣ, они какъ будто не испытывали того непроизвольнаго подъема чувства, когда оно бьетъ черезъ край и выливается въ страстныхъ тирадахъ. Каронинъ всегда разсудителенъ, обстоятеленъ, хладнокровенъ и только привычный и внимательный наблюдатель пойметъ, что перedy нимъ не равнодушный резонеръ, а непоколебимо-убѣ-

---

\*) Я имѣю въ виду только журнальную дѣятельность Каронина. Съ его дѣятельностью въ провинціальныхъ газетахъ я совершенно не знакомъ и вообще не имѣю понятія о немъ, какъ о публицистѣ.

жденный человекъ, который только «думаетъ свою крѣпкую думу безъ шума».

«Я зналъ одной лишь думы власть,—одну, но пламенную страсть». Каронинъ въ очень значительной степени имѣлъ право сказать это о себѣ. *Дума*, постоянно занимавшая его, была дума о народѣ, а страсть, волновавшая его, была любовь къ этому народу. Каронинъ любилъ народъ не по чувству состраданія только и не въ силу требованія справедливости, а въ силу коренныхъ психическихъ мотивовъ. Вотъ какъ объ этомъ говоритъ самъ Каронинъ, въ примѣненіи къ одному изъ своихъ героев: «Нельзя сказать, чтобы онъ любилъ мужиковъ; онъ по чистой совѣсти говорилъ: нѣтъ, не любилъ. Но мужики—единственная среда, гдѣ онъ чувствовалъ себя покойно, почти радостно. Радость эта происходила отъ того, что они были прямою противоположностью ему: онъ любилъ ихъ за то, чего въ немъ самомъ не было. Ихъ жизнь нѣчто совсѣмъ отличное отъ его жизни, ихъ мысли—совсѣмъ другія. Они были для него всегда чѣмъ-то неизвѣстнымъ, новымъ, великимъ. Онъ не могъ жить ихъ жизнью, не думалъ ихъ мыслями, не вѣрилъ ихъ вѣрой, но допускалъ, что въ ихъ жизни есть много справедливаго, въ ихъ мысли—истиннаго, въ ихъ вѣрѣ—чудеснаго и святаго. Среди нихъ онъ забывалъ свою жизнь,—а она ему опостылѣла,—забывалъ свои мысли, которыя его только мучили, забывалъ свое невѣріе. Даже внѣшняя мужичья обстановка правилась ему, потому что она не напоминала ему собственной его жизненной обстановки. Мужики всегда были его спасеніемъ». Онъ любилъ ихъ за то, чего въ немъ самомъ не было, и онъ нельзя сказать, чтобы любилъ ихъ,—это не болѣе какъ противорѣчіе словъ, это выраженіе именно той *стыдливости чувства*, о которой мы говорили выше. Чувствовать себя съ человекомъ *покойно и радостно*, находить въ немъ всегда нѣчто новое и великое, забывать въ его обществѣ свои *мученія* и свое *невѣріе*,

видѣть, наконецъ, въ немъ свое спасеніе — какой еще любви нужно? Это болѣе чѣмъ любовь, это благоговѣйное почитаніе, т.-е. глубочайшая любовь въ соединеніи съ глубочайшимъ уваженіемъ.

Къ сожалѣнію, излишество любви вредитъ свободѣ критики и ведетъ къ идеализаціи любимаго предмета. Когда Каронинъ говоритъ о насъ, объ интеллигенціи, о нашихъ путяхъ и стремленіяхъ, его замѣчанія блестятъ тонкою ироніей и проникнуты трезвою правдой, исключаящую всякую идеализацію. Вотъ, наприм., превосходная страница, характеризующая Каронина не только въ этомъ смыслѣ, но и въ другихъ отношеніяхъ:

„Разумѣется, очень хорошо жить трудами рукъ своихъ, благородно добывать хлѣбъ прямо изъ земли. Притомъ это очень здорово и не лишено поэзіи. Только на первыхъ порахъ немного скучно. Отчего бы это? Можетъ быть, оттого, что въ въ этомъ раю всѣ мысли сосредоточены на себѣ, на своемъ тѣлѣ, на своей душѣ, на своемъ благородствѣ, на своемъ спасеніи, — все только на своемъ вертится мысль? Это естественно. Отчего же не думать и не заботиться о себѣ, когда это неизбежно? Но въ такомъ случаѣ это уже не мечта, не идеаль, не стремленіе къ великому. Идеаль вѣдь—это нѣчто огромное и свѣтлое, какъ солнце, нѣчто такое, чего въ мелкой обыденной жизни нѣтъ, но къ чему человѣкъ стремится всѣми лучшими своими помыслами. Что можетъ быть идеальнаго въ томъ, что человѣкъ, вмѣсто сапогъ, надѣнетъ коты, вмѣсто городской квартиры, будетъ жить въ избѣ и вмѣсто добыванія хлѣба косвеннымъ путемъ, прямо будетъ парать его изъ земли? Что идеальнаго въ томъ, что человѣкъ головою своей будетъ подпираетъ возъ съ соломой, а душу свою закопаетъ въ землю, окруживъ себя миллионами пустяковъ? И что идеальнаго будетъ въ жизни человѣка, который забудетъ другихъ и займется только своимъ совершенствомъ? Человѣкъ борется противъ жизненныхъ пустяковъ и стремится раздѣлаться съ ними, а тутъ ему пустяки возводятъ въ подвигъ и въ заслугу. Въ лучшія свои минуты ему хочется думать не о себѣ, а о томъ, что внѣ его, что велико, безкорыстно, а здѣсь его заставляютъ усиленно думать о себѣ, о своемъ здоровьи, о своемъ благородствѣ. Въ порывѣ героизма (а такіе минуты бываютъ у многихъ) онъ съ восторгомъ сбрасываетъ съ себя всю низкую, себялюбивую жизненную мелочь, а здѣсь его садятъ на мѣсто и говорятъ: сиди тутъ и копайся въ сору, береги свое тѣло,

дыши свѣжимъ воздухомъ, работай здоровую работу—и ты будешь спасенъ и благороденъ. Увлечь человѣка можно всѣмъ, даже безумною мечтой, лишь бы въ ней заключались величіе, самопожертвованіе, новизна, подвигъ ради людей, но увлечь его обыденнымъ соромъ—никогда! И поднять также нельзя. Можно идеализировать соръ, можно сдѣлать его самодовольнымъ, но сдѣлать его выше и чище—нѣтъ, никогда! Личную свою жизнь можно возвести въ идеаль только подъ однимъ условіемъ: совсѣмъ отречься отъ жизни, уйти въ пустыню или залѣзть на столбъ и сидѣть на немъ до смерти. Но если и возможно устроить интеллигентный монастырь, то только для тѣхъ, у которыхъ жизнь поистинѣ сошла съ клиномъ“...

Все это и очень тонко, и очень остроумно, и очень справедливо. Но примѣните эти справедливыя соображенія къ народной жизни, и тогда въ какомъ свѣтѣ она намъ представится? Въ свѣтѣ нисколько не идеальномъ, совсѣмъ не въ томъ, въ какомъ ее видѣлъ Каронинъ. Не о хлѣбѣ единомъ живетъ человѣкъ,—это давно сказано, это же самое говоритъ Каронинъ, но развѣ *хлѣбъ* не альфа и омега того существованія, которое ведетъ нашъ мужикъ? Итакъ, что же?..

### III.

Толстовскій Левинъ, въ спорѣ съ своими пріятелями о славянскихъ симпатіяхъ нашего общества, сказалъ: «Я самъ народъ и я не чувствую этого». *Этому*, т.-е. любви къ какимъ бы то ни было «братушкамъ». Понятіе «народъ»—понятіе сложное, и вотъ почему Левинъ, говоря «я самъ народъ», былъ отчасти правъ и отчасти неправъ. Разсуждая вообще, т.-е. имѣя въ виду не Левина, а всю нашу интеллигенцію, можно сказать, что въ экономическомъ, политическомъ, социальномъ отношеніи интересы интеллигенціи не всегда и не во всемъ совпадаютъ съ интересами народа, но отдѣлять интеллигенцію отъ народа и тѣмъ болѣе противопоставлять ихъ другъ другу все-таки нѣтъ никакого резона. Развѣ мы не русскіе люди? Правда, современные «патріоты своего отечества» сочинили какихъ-

то «истинно-русскихъ» людей, въ отличіе отъ насъ, не истинно-русскихъ, т. - е. несогласно мыслящихъ съ нами, но вѣдь это такой вздоръ, о которомъ нельзя серьезно говорить. Въ самомъ дѣлѣ, что такое? Каковы бы ни были мои мнѣнія, все-таки я—уроженецъ города Костромы и воспитанникъ города Москвы—побольше русскій и побольше патріотъ, нежели разные *овичи, евичи, итейны* и *оны*, какихъ не мало насчитывается въ рядахъ современныхъ «истинно-русскихъ людей». Такъ можетъ разсудить каждый чистокровно-русскій интеллигентъ и будетъ совершенно правъ, потому что понятіе народа есть прежде всего понятіе антропологическое, расовое, этнографическое. Мой костромской землякъ крестьянинъ Иванъ Петровъ ни на волосъ не болѣе и не менѣе русскій, нежели я, дворянинъ и кандидатъ университета Сидоръ Макаровъ. Мы смотримъ на міръ различно и видимъ неодинаково, потому что онъ глядитъ невооруженными, а я вооруженными глазами, наши частные интересы могутъ находиться въ противорѣчій, наши личные характеры могутъ не подходить другъ къ другу, но коренная психическая основа наша совершенно одинакова, потому что источникъ ея лежитъ именно въ расѣ, въ породѣ, въ національности. Различіе между мужикомъ и интеллигентомъ—различіе культурное, а не психическое. Нашъ Сидоръ Макаровъ есть не кто иной, какъ образованный Иванъ Петровъ. Они вѣрятъ не въ одно и то же, но ихъ вѣра, какъ нравственное свойство, одинакова, ихъ главнѣйшіе душевные процессы совершаются тождественно. Кающійся дворянинъ и кающійся мужикъ каются не въ одномъ и томъ же, но потребность къ покаянію, къ очищенію своей совѣсти, и способности къ нему у нихъ однѣ и тѣ же. Кающійся дворянинъ *Борской колоніи* Каронина бѣжить изъ города въ деревню, чтобы «опроститься», «уплатить народу долгъ» и проч. и проч. Кающійся мужикъ, какъ некрасовскій Власть, *точно такъ же* отказывается отъ всякихъ стяжаній и мірскихъ благъ и посвящаетъ себя

«дѣлу Божьему». Не тѣ результаты и не тѣ формы, но самое содержаніе процесса одно и то же. Способность къ энтузіазму, доходящему до полного самоотверженія, потребность въ какомъ-нибудь авторитетѣ, общительность, добродушіе, отсутствіе предусмотрительности, совѣстливость и проч. и проч.,—всѣ эти положительныя и отрицательныя нравственныя свойства съ одинаковымъ удобствомъ можно наблюдать и въ русскомъ народѣ и въ русской интеллигенціи. Насъ разъединяють съ народомъ не чувства, не симпатіи, а воззрѣнія. Въ торжественныя историческія минуты, когда общая цѣль до того ясна, что для теоретическихъ разногласій не остается мѣста, всѣ мы сливаемся въ одномъ чувствѣ, безъ различія степени развитія и образованія, въ чувствѣ любви къ своему отечеству.

Русь не шелохнется,  
Русь—какъ убитая!  
А загорѣлась въ ней  
Искра сокрытая—  
Встали—не бужены,  
Вышли—не прошены,  
Жита по зернышку  
Горы накошены!  
Рать поднимается  
Неисчислимая,  
Сила въ ней скажется  
Несокрушимая!

Нашъ ярославецъ это очень недурно сказалъ...

Тема, затронутая нами, обширна и требуетъ обстоятельнаго развитія, но для нашей ближайшей цѣли сдѣланныхъ замѣчаній достаточно. Противопоставленіе народа и интеллигенціи, невѣрное въ большинствѣ случаевъ, производилось Каронинымъ именно на психологической почвѣ, т.-е. какъ разъ на той, гдѣ оно является въ особенности невѣрнымъ. «Мы живемъ чувствомъ пріятнаго и прекраснаго, мужикъ же чувствомъ должнаго и неизбежнаго». Изъ чего это видно? Конечно, наше понятіе о *неизбѣжномъ* совсѣмъ

не такъ широко, какъ у нашего мужика-фаталиста, но это дѣло умственного развитія и вся правда въ этомъ случаѣ на нашей сторонѣ. *Мы живемъ чувствуемъ пріятнаго и прекраснаго*—неужели? Какая счастливица русская интеллигенція! Намъ припоминается здѣсь простодушно-лукавый вопросъ Санчо-Пансы: «на какія деньги благородные рыцари путешествовать изволятъ?» При крѣпостномъ правѣ, питавшемъ помѣщичью интеллигенцію, утверждение Каронина имѣло бы свой смыслъ, хотя все-таки относительный, но говорить о теперешней разночинной и трудовой интеллигенціи нашей, что она живетъ чувствомъ пріятнаго, значитъ впадать въ анахронизмъ. Далѣе, «мы дѣлаемъ то, что намъ нравится, мужики—то, что должно дѣлать». Относительно интеллигенціи можно сказать: «устами бы Каронина да медъ пить». Но такъ какъ не подлежитъ сомнѣнію, что огромное большинство нашихъ интеллигентовъ работаетъ не для удовольствія, а въ силу необходимости, и такъ какъ, съ другой стороны, мужикъ пахнетъ землею отнюдь не вслѣдствіе велѣній долга, а вслѣдствіе такой же необходимости, то, значитъ, и по этому пункту противопоставленіе Каронина лишено всякаго значенія. «Когда жизнь намъ не даетъ того, чего мы желаемъ, что кажется намъ пріятнымъ, мы считаемъ ее неудавшеюся; мужики же считаютъ скверною ту жизнь, которая дала ему одни только грѣхи». Въ семьѣ не безъ уroda, и, конечно, между нами есть такіе, которые хотѣли бы всю жизнь срывать цвѣты удовольствія, но все-таки, о семьѣ судятъ не по уродамъ, а по ея здоровымъ членамъ. *Неудавшаяся* жизнь есть *безполезная* жизнь—вотъ какъ мы давно привыкли думать, до того долго, что еще Онѣгинъ и Печоринъ выражали свое недовольство жизнью именно въ этомъ смыслѣ. А развѣ боязнъ прожить безполезно не есть боязнъ грѣха? Вѣдь паразитство—смертный грѣхъ. Съ другой стороны, не такъ ужъ святы и мужики. Во-первыхъ, и между ними не мало «уродовъ», въ видѣ разныхъ кабатчиковъ, кула-



ковъ и ростовщиковъ, которые считаютъ свою скверную жизнь не только правильной, но даже образцовой и требуютъ къ себѣ уваженія; во-вторыхъ, и въ жизни настоящего мужика-земледѣльца не мало грѣховъ, которые—это особенно важно—онъ даже не считаетъ грѣхами. «Учить» жену вожжамн, проучивать «барина» поджогами и т. п., и за всѣмъ тѣмъ ходить съ открытымъ лицомъ и съ яснымъ взглядомъ—это не святость, а бессознательность. Наконецъ, «мы страдаемъ отъ того, что не удовлетворяемъ своихъ желаній, мужикъ же отъ того, что не исполнилъ какой-то высшей воли». На это мы замѣтимъ, что есть желанія и желанія. Если желаніе хорошо, то исполнѣ почтенно и страданіе отъ невозможности исполнить это желаніе. Каронину слѣдовало бы остановиться на этомъ пунктѣ. Что же касается страданій мужика отъ неисполненія имъ высшей воли, то, признаемся, о такихъ превысшенностяхъ мы до сихъ поръ не слыхивали.

Послѣ сказаннаго, заключеніе Каронина: «не думаю, чтобы эта разница была къ нашей выгодѣ», отпадаетъ само собою. Никакой существенной разницы нѣтъ. Наша совѣсть ничѣмъ не хуже совѣсти мужика и жизнь наша нисколько не грѣшнѣе его жизни. Между тѣмъ эта мнимая «разница», это восторженное превознесеніе мужика надъ нами лежало въ основѣ міросозерцанія Каронина. Именно это убѣжденіе или эта вѣра и наложили печать идеализма на всю его литературную дѣятельность. Было время, когда такая идеализація народа имѣла свои оправданія, но время это прошло, и слава Богу, что прошло. Мы радуемся этому не только потому, что мы такимъ образомъ стали ближе къ правдѣ, но и потому, что это свидѣтельствуетъ о ростѣ самого мужика: дѣйствительную силу нѣтъ надобности идеализировать, прихорашивать, и теперь ужъ никто не сомнѣвается въ томъ, что «мужикъ сѣрь, да умъ-то у него не чортъ съѣлъ». Не только «порвалась цѣпь великая», но уже выросло и возмужало поколѣніе людей, не испытыв-

шихъ тяжести крѣпостного состоянія, и къ этимъ людямъ пора и можно относиться не какъ къ малолѣтнимъ, а какъ къ равнымъ, безъ причмокиваній и присюсюкиваній, съ трезвою критикой, нисколько не исключаящею самой горячей благожелательности.

Какъ бы то ни было, Каронинъ дѣлалъ хорошее дѣло и дѣлалъ его хорошо. Имѣть талантъ—не заслуга, а счастье; заслуга состоятъ въ томъ, чтобы честно воспользоваться своимъ преимуществомъ, чтобы послужить имъ «разумному, доброму, вѣчному»; Каронинъ былъ одинъ изъ добросовѣстнѣйшихъ нашихъ писателей, и это—его заслуга. Онъ идеализировалъ, но не фальсифицировалъ народную жизнь, изображалъ ее всегда вѣрно и только, по нашему крайнему разумѣнію, судилъ о ней неправильно. Неправильныя сужденія устранить легко, если налицо факты, послужившіе основаніемъ для этихъ сужденій. Это дѣло критики; но цѣпныя наблюденія, которыя сдѣланы писателемъ, правдивыя картины, оставленныя имъ, долго не потеряютъ своего значенія и доживутъ, быть можетъ, до того страстно желаннаго времени, когда русскій народъ будетъ въ состояніи сознательно сказать «сердечное спасибо» всѣмъ своимъ радѣтелямъ и печальникамъ. Въ списокъ ихъ именъ не будетъ пропущено и имя Николая Елпидифоровича Петропавловскаго.

---

1899 г.

## Сатирикъ-анекдотистъ.

(Собраніе сочиненій С. Н. Терпигорева (С. Атавы). Шесть томовъ. Спб.).

---

Дурно направленная сила души дурно и дѣйствуетъ, а хорошо направленная и дѣйствуетъ хорошо; но срамъ и горе народу, у котораго нѣтъ того, что бы могло быть дурно или хорошо направляемо!

*Бѣлинскій.*

Для краснаго слова не пощадить ни матери, ни отца.

*Пословица.*

### I.

Въ шестидесятихъ годахъ, послѣ извѣстнаго диспута Костомарова съ Погодинымъ о происхожденіи Руси, кто-то остроумно замѣтилъ: до сихъ поръ мы не знали, куда идемъ, а теперь не знаемъ и откуда. Это было сказано сорокъ лѣтъ назадъ, а много ли съ тѣхъ поръ уяснились наши понятія на этотъ счетъ? Относительно происхожденія Рюрика и К<sup>о</sup> можно и не беспокоиться особенно, но вопросъ: куда идемъ?—не можетъ не интересоваться насъ живѣйшимъ образомъ. Конечно, на все воля Божія и, какъ говорится, пути Провидѣнія неисповѣдимы, а все-таки... Все-таки хочется заглянуть въ будущее, и если нѣтъ твердыхъ основъ для мысли, для убѣжденія, то хоть погадать,

пофантазировать хочется. Право же, это естественно. Какъ бы то ни было, вѣдь Россія намъ немножко своя, не чужая, вѣдь мы въ минуты патріотическаго экстаза называемъ ее *матерью* своею и не напрасно: голосъ непосредственнаго чувства громко говоритъ намъ, что мы любимъ ее именно сыновнею любовью, ея стыдъ—нашъ стыдъ, ея слава—наша слава, ея горести и радости — наши, наши, да еще въ такой мѣрѣ, въ какой мы далеко не ощущаемъ личныхъ своихъ удачъ и неудачъ. Что тамъ личная, чья бы то ни было судьба!

Лишь Господь помогъ бы дереву ожить,  
О погибшихъ листьяхъ нечего тужить!

Этотъ мотивъ очень ярко выражается въ нашей литературѣ, въ особенности художественной. Давно уже замѣчено, что мы, русскіе, плохіе индивидуалисты и хорошіе общинники, плохо устраиваемъ свою личную судьбу и всегда готовы на жертвы ради общеземскаго, государственнаго, „мірскаго“ дѣла. Эта черта, повторяю, ярко выразилась въ нашемъ литературномъ творествѣ. Изображаетъ художникъ какія-нибудь частныя явленія, но мысль его постоянно готова обратиться къ общему, ко всей своей странѣ, въ ея настоящихъ и будущихъ судьбахъ. Вотъ наши Чичиковы, Собакевичи, Маниловы, Ноздревы, Плюшкины,—длинная-длинная вереница чисто-русскихъ характеровъ и типовъ... Но не въ нихъ дѣло, не о томъ забота писателя, а вотъ о чемъ: «Русь! Куда же несешься ты? Дай отвѣтъ! Не даетъ отвѣта». Вотъ мужики, которыхъ у петербургскаго параднаго подѣзда постигла горькая бѣда-неудача, но, замолвивъ за нихъ энергичное слово, поэтъ съ тревогой обращается мыслью къ общему, къ цѣлому, ко всему русскому народу:

Ты проснешься ль, исполненный силъ,  
Иль, судьбѣ повинувъся закону,  
Все, что могъ, ты уже совершилъ,  
И духовно на вѣки почилъ?

Трудно найти писателя болѣе уравновѣшеннаго и даже апатичнаго, нежели Гончаровъ, но и онъ однажды не держалъ и съ неподдѣльнымъ лиризмомъ заговорилъ о великой бабушкѣ-Россіи. На вершинахъ русской литературы я знаю только *двухъ* писателей, которые не тревожились за Россію, никогда не задавались вопросомъ, куда она идетъ,—и это какъ разъ тѣ писатели, которые дали намъ наиболѣе яркія и *общія* изображенія русской жизни. Эти писатели—Пушкинъ и Левъ Толстой. Перечитайте *Евгенія Онегина* и *Войну и миръ*: какое спокойствіе, какая увѣренность, какая *прочность и удовлетворенность чувства!* Другіе наши писатели тревожатся (Салтыковъ, Вѣлинскій), сомнѣваются (Глѣбъ Успенскій, Герценъ), негодуютъ (Грибоѣдовъ, Некрасовъ), отчаиваются (Тургеневъ, Чаадаевъ), даже ревнуютъ (Достоевскій, Иванъ Аксаковъ), а эти двое просто и спокойно любятъ, безъ рефлексій и подозрѣній. Сомнѣваться въ Россіи или тревожиться за ея будущее имъ, очевидно, и въ голову не приходитъ („увиджу ли, друзья“, и пр.—выраженіе отнюдь не сомнѣнія, а радостной надежды). Не въ русскомъ крестьянствѣ они не сомнѣваются (это есть и у Энгельгардта, и у г. Златовратскаго), а именно въ Россіи, во всей совокупности русскихъ людей, безъ различія сословій и состояній. Въ этомъ смыслѣ Толстой былъ правъ, говоря устами Левина: „я самъ народъ“. Это значитъ—«я самъ Россія», т.-е. ничему русскому себя не противопоставляю, ни отъ чего русскаго себя не отдѣляю, все русское понимаю и въ себѣ самомъ совмѣщаю, отъ высокаго до низкаго, отъ доблестей до пороковъ. Смѣло, очень смѣло! Но такова привилегія исключительно даровитыхъ людей: они не умнѣе и не образованнѣе, а какъ-то шире другихъ замѣчательныхъ людей и благодаря этой своей духовной широкости вмѣщаютъ въ себѣ больше тѣхъ стихій и элементовъ, изъ которыхъ складывается національная психія. Имъ сомнѣваться въ Россіи и тревожиться за нее?! Но вѣдь не сомнѣваются

же они въ себѣ, чувствуютъ свои силы, видятъ ихъ проявленіе и знаютъ, что онѣ и впредь дремать не станутъ, а вѣдь они съ Россіей—одно, они, во-истину, „сами—Россія“. Что жъ имъ вопрошать: куда ты несешься, Русь? Они идутъ вмѣстѣ съ нею и, нисколько не боясь за себя, нисколько не опасаются и за нее. Въ объективномъ смыслѣ достовѣрно одно: путь не близокъ; въ субъективномъ смыслѣ достовѣрно тоже одно: что бы ни случилось, что бы на пути ни встрѣтилось, — въ грязь лицомъ не ударимъ. „Ты, хлопецъ, можетъ быть, не трусь, да глупъ, а мы видали виды“.

Такой патріотизмъ есть просто самочувствіе духовно-здороваго человѣка и по виду онъ такъ простъ, что, кажется, и анализировать тутъ нечего, не о чемъ даже говорить, на дѣлѣ же изъ новѣйшей нашей литературы (я имѣю и буду дальше имѣть въ виду только писателей) только Пушкинъ и Толстой оказываются на высотѣ этого чувства, а изъ старыхъ стариковъ къ нимъ можно присоединить Ломоносова. Полюбуемся на счастье этихъ избранныхъ, полюбуемся ихъ спокойствіемъ, происходящимъ не отъ равнодушія, а отъ полноты вѣры въ себя и въ свою родину, но учиться намъ тутъ, собственно говоря, нечему: выше головы не прыгнешь. Мы не можемъ сказать о себѣ: „мы сами Россія“, потому что Россія велика и разнообразна, а мы малы, односторонни, узки. По своей душѣ заключать о великой національной душѣ — мы не имѣемъ права. Вы и я, положимъ, реалисты и по натурѣ, и по убѣжденіямъ, и для насъ, въ силу этого, всякаго рода мистицизмъ представляется слабостью или даже просто болѣзнью человѣческаго духа. Но вотъ Толстой, на первыхъ же порахъ своей дѣятельности провозгласившій, что единственнымъ любимымъ героемъ его всегда будетъ только одна *правда*. Онъ реалистъ побольше насъ съ вами, но въ то же время онъ и необузданный мистикъ, не отступающій даже передъ такими логическими трущобами, въ которыхъ напрасно было искать *правды*, нашей реали-

стической правды. Что жъ это значить и какъ это объяснить? Значить только то, что Толстой ближе къ Россіи, болѣе похожъ на Россію, на собирательнаго русскаго человѣка, нежели мы съ вами, хотя мы и чистокровные русскіе люди. Логическая правда, сама себѣ никогда не противорѣчащая, на нашей сторонѣ, но психологическая правда, сама себѣ безпрестанно противорѣчащая, всецѣло на сторонѣ Толстого. Развѣ нашъ народъ не таковъ въ самомъ дѣлѣ? И въ крестьянствѣ, и въ дворянствѣ, и въ духовенствѣ, и въ купечествѣ, и въ мѣщанствѣ, въ деревнѣ такъ же какъ и въ городѣ (и даже на фабрикѣ)—мы безъ труда найдемъ людей, которые не удовлетворяются матеріальнымъ благополучіемъ и практическимъ дѣломъ, а стремятся къ чему-то идеальному, высшему, успокаивая это стремленіе самыми разнообразными способами — отъ аскетизма и мистицизма до умышленнаго самоотупленія. Это не протонародная, а общенародная, національная наша черта, и я прошу читателя запомнить это замѣчаніе, такъ какъ въ немъ—основная идея предлагаемой статьи. Терпигоревъ былъ сатирикомъ нашего дворянства, и такъ какъ онъ стоялъ главнымъ образомъ на психологической почвѣ, то его сатира очень легко можетъ быть распространена на всѣ другія наши сословія. Объ этомъ, впрочемъ, дальше.

Одинъ изъ нашихъ поэтовъ сказалъ:

Умомъ Россіи не понять,  
Аршиномъ общимъ не измѣрить,—  
У ней особенная стать:  
Въ Россію можно только вѣрить.

Да, это хорошо для тѣхъ, кто, какъ Пушкинъ и Толстой, всѣми фибрами своего существа ощущаетъ свое единство съ громаднымъ организмомъ націи, но мы можемъ повѣрить не раньше, нежели поймемъ умомъ. Вотъ откуда наша тревога, наши безпокойные вопросы, наши сомнѣнія и иногда даже (какъ у Чаадаева) наше отчаяніе. Можно

любить инстинктивною любовью того, кого не понимаешь, но какъ служить тому, кого не понимаешь, о комъ не можешь сказать съ увѣренностью, въ чемъ онъ нуждается и чего хочетъ? Что, наприм., вотъ это за чудеса такія:

Русь не шелохнется,  
Русь—какъ убитая!  
А загорѣлась въ ней  
Искра сокрытая,—  
Встали—не бужены,  
Вышли—не прошены, и пр.

Мы хотѣли бы доискаться, что это за чудодѣйственная *искра сокрытая*, которая въ нужную минуту разгорается въ душѣ русскаго народа? Какъ называется эта искра? Обрѣтали ли мы ее когда-нибудь въ собственной душѣ? А дальше характеристика становится еще непонятнѣе:

Ты и убогая,  
Ты и обильная,  
Ты и забитая,  
Ты и всесильная,  
Матушка-Русь!

Вотъ не угодно ли это *понять умомъ*: убогая — обильная, забитая—всесильная (вариантъ: могучая—безсильная), возможно ли такое странное сочетаніе противоположныхъ, взаимно другъ друга исключаютѣхъ свойствъ? Въ области индивидуальной психи возможно,—мы имѣемъ на этотъ счетъ въ высшей степени авторитетное свидѣтельство вотъ какого рода:

Пока не требуетъ поэта  
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,  
Въ заботахъ суетнаго свѣта  
Онъ малодушно погруженъ;  
Молчить его святая лира,  
Душа вкушаетъ хладный сонъ,  
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра  
Быть можетъ всѣхъ ничтожнѣй онъ.  
Но лишь божественный глаголь  
До слуха чуткаго коснется—



Душа поэта вострепнется,  
Какъ пробудившійся орелъ.

Что такое поэтъ сказалъ о себѣ? Онъ буквально сказать: я бываю убогъ, я бываю обиленъ, я бываю могучъ, я бываю безсиленъ. Слава Богу, мы какъ будто начинаемъ понимать. Если соединеніе силы со слабостью и величія съ малостью возможно въ душѣ поэта-сына, то оно возможно и въ душѣ родины-матери. Пушкинъ не просто русскій человѣкъ, онъ русскій человѣкъ *по преимуществу*, онъ удачнѣйшій (именно удачнѣйшій, а не любимѣйшій) сынъ своей родины-матери, онъ „весь въ мать“, въ могучую-безсильную матушку-Русь, и вотъ почему, говоря о себѣ, онъ о ней говорить, рисуя свой портретъ, онъ даетъ вѣрный абрисъ ея колоссальнаго образа. Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, какое удивительное сходство! *Молчитъ его святая мѣра*,—Русь не шелохнется; *душа вкушаетъ хладный сонъ*,—Русь какъ убитая; *но лишь божественный глаголь до слуха чуткаго коснется*,—а загорѣлась въ ней искра сокрытая; *душа поэта вострепнется, какъ пробудившійся орелъ*,—встали не бужены, вышли не прошены, жита по зернышку горы накошены... „Ну, вылитая, вылитая мать!“—какъ говорятъ нянюшки.

Вѣрна, значить, была характеристика Некрасова, и подлинную, значить, правду сказалъ о себѣ Пушкинъ: ихъ свидѣтельства взаимно провѣряютъ и дополняютъ другъ друга. Все-жъ-таки мы съ точностью хотимъ знать, какъ называется «искра сокрытая», въ чемъ состоитъ «божественный глаголь», заставившій вострепнуться душу русскаго человѣка? Тютчевъ—третій поэтъ, иллюстраціями котораго я пользуюсь,—тотъ самый Тютчевъ, который сказалъ, что Россію *аршиномъ общимъ не измѣрить*, высказался на этотъ счетъ весьма неопредѣленно, но не незначительно:

Не поймешь и не оцѣнить  
Гордый взоръ иноплемennyй,

Что сквозить и тайно свѣтить  
Въ наготѣ твоей смиренной.  
Удрученный ношей крестной,  
Всю тебя, земля родная,  
Въ рабскомъ видѣ Царь небесный  
Исходилъ, благословляя.

Въ этихъ восьми стихахъ заключаются двѣ мысли, изъ которыхъ одна вызываетъ возраженія, а другая требуетъ поясненій. Чего собственно не пойметъ у насъ гордый взоръ иноплеменный? Мнѣ припоминается здѣсь одинъ эпизодъ, рассказанный покойнымъ Энгельгардтомъ въ его „Письмахъ“. Энгельгардтъ ѣхалъ въ Смоленской губерніи въ одномъ вагонѣ съ какой-то французенкой, которая, глядя въ окно, восклицала: *ah, quelle pays! pas de culture!* Энгельгардтъ (одинъ изъ типичнѣйшихъ русскихъ людей, несмотря на свою нѣмецкую фамилію) пришелъ въ раздраженіе: „ну да (я цитирую на память) я и самъ вижу, что *pas de culture!* А вотъ по этимъ самымъ мѣстамъ твой Наполеонъ—да еще какой: настоящій!—безъ оглядки бѣжалъ во-свояси. У васъ цѣлые города сдавались четыремъ прусскимъ уланамъ, а пусть-ка эти уланы попробовали бы взять хоть бы наше Батищево,—пишъ бы взяли!“ Прекрасно, но все-таки французенка была въ значительной мѣрѣ права; глядя на эти бѣдныя селенія, эту скудную природу, ея иноплеменный взоръ довольно вѣрно проникъ въ дѣло: мало культуры, образованія, науки. А факты, которые припомнилъ и которыми утѣшился нашъ патріотъ, она легко могла бы обратить въ свою пользу: потому, молъ, вы, господа русскіе, и храбры и самоотвержены, что вамъ нечего терять и нечего жалѣть. Любой изъ нашихъ городовъ представляетъ культурную сокровищницу, созданную усилиями длиннаго ряда поколѣній культурныхъ людей, тогда какъ всякіе ваши Батищевы, большія и малыя, сегодня сгорятъ, а завтра вновь выстроятся,—лѣсу и соломы вамъ не занимать стать. По словамъ вашего писателя, самой Москвѣ вашей пожаръ много способствовалъ къ украше-

нію,—такъ что ужъ тутъ говорить! Кто голъ какъ соколъ, тому сполагоря геройствовать, а намъ есть что побережь. Ничего другого въ вашей „наготѣ смиренной“ нельзя усмотрѣть.

Таковы возраженія. А поясненій требуетъ красивая аллегорія Тютчева о томъ, что Христосъ благословилъ нашу землю на страданья. Какая на первый взглядъ безотрадная мысль! Правда, русскій простой человѣкъ любитъ утѣшать себя примѣромъ Христа: *Христосъ терпѣлъ и намъ повелѣлъ*, говоритъ онъ; но вѣдь мы-то знаемъ, что ничего подобнаго Христосъ не повелѣвалъ. Не для усугубленія и не для увѣковѣченія человѣческихъ страданій, а для ихъ искупленія приходилъ Христосъ. Если правильно раскрывать аллегорію Тютчева, то ея смыслъ обнаружится въ томъ, что ученіе Христа нигдѣ не нашло для себя столь благородной почвы, какъ именно въ душѣ русскаго народа, нигдѣ не сохранилось въ такой чистотѣ, какъ въ православіи. Вспомните нашихъ славянофиловъ (къ которымъ принадлежалъ Тютчевъ) и въ особенности вспомните Достоевскаго, который нѣсколько разъ, и съ величайшимъ увлеченіемъ, доказывалъ, что католичество—религія не христіанская. Славянофилы наши были отлично умные люди, авторитетъ Достоевскаго не подлежитъ сомнѣнію и до сихъ поръ продолжаетъ расти, полнѣйшая искренность этихъ лучшихъ русскихъ людей никѣмъ никогда не заподозрѣвалась,—должна же быть въ ихъ утвержденіяхъ хоть какая-нибудь частица истины! Не можетъ того быть, чтобы ими руководило только чувство наивнаго національнаго бахвальства! Пусть такое утвержденіе, что католичество—религія не христіанская, представляетъ собою чудовищную неправду, пусть вообще многія положенія славянофиловъ являются прямо абсурдами, все-таки не можетъ того быть, чтобы на ихъ сторонѣ была только ложь, а на сторонѣ ихъ противниковъ—вся истина. Позвольте-ка, что вотъ это такое:

Въ рабствѣ спасенное,  
Сердце свободное—  
Золото, золото  
Сердце народное!  
Сила народная,  
Сила могучая:  
Совѣсть спокойная  
Правда живучая!  
Сила съ неправдою  
Не уживается,  
Жертва неправдою  
Не вызывается.

Это сказалъ поэтъ, котораго противники славянофиловъ, западники, всегда и справедливо считали *своимъ*. Некрасовъ и Тютчевъ, обоймите другъ друга: вы единомышленники по важнѣйшему изъ вопросовъ—по вопросу о сущности и свойствахъ русскаго національнаго духа! Я это утверждаю рѣшительно. Ученіе Христа есть ученіе о любви къ ближнему, какъ къ самому себѣ; проповѣдь евангелія есть проповѣдь альтруизма. Эта проповѣдь обошла изъ конца въ конецъ „всю тебя, земля родная“ и повсюду встрѣтила страстный созвучный отголосокъ. Вотъ мысль Тютчева, освобожденная отъ всякихъ лирическихъ, мистическихъ и другихъ покрововъ. Что же это значить? Намъ сказано: „блаженны чистые сердцемъ, ибо они Бога узрятъ“. Мы съ особою, по утвержденію Тютчева, любовью, съ особою готовностью встрѣтили Христа и приняли его благословеніе, и это значить... очевидно, вотъ что значить:

Въ рабствѣ спасенное,  
Сердце свободное—  
Золото, золото  
Сердце народное!

Спрашивается теперь, противорѣчатъ другъ другу наши два поэта, теоретически стоящіе во враждебныхъ лагеряхъ, или говорятъ разными словами совершенно одно и то же?

Все ближе и ближе подходимъ мы къ опредѣленію „искры сокрытой“ или „божественнаго глагола“. Посовѣтуемся еще

съ Толстымъ. Конечно, вы помните Каратаева, это „лицетвореніе всего русскаго“, по опредѣленію самого Толстого. „Жизнь Каратаева, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла, какъ отдѣльная жизнь. Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ“. Это такая черта, которая одна опредѣляетъ собою весь психическій міръ человѣка или народа. *Карьеристомъ*, искателемъ *только* личнаго благополучія, такой человѣкъ и такой народъ органически быть не можетъ. Вопросы личнаго благосостоянія для него хороши и важны — „пока что, пока жизнь протекаетъ по-будничному, пока не зоветъ къ себѣ ничто высшее и общее, пока“... зачѣмъ искать выраженія, когда есть гениальное готовое? — пока *не требуетъ поэта къ священной жертвѣ Аполлонъ*. Өерапонтычъ того же Толстого еще лучше уяснить намъ дѣло. Өерапонтычъ — кулакъ, зажиточный лавочникъ, выжига, который какъ кощей торгуется съ подводчиками, желающими получить съ него семь р. за подводу до Дорогобужа отъ Смоленска, къ которому уже подходятъ войска Наполеона. Онъ ровно ничего не понимаетъ въ томъ, что происходитъ въ Россіи, убѣжденъ, что французъ въ Смоленскѣ начальство не пуститъ, „потому — сила“, и только граната, разорвавшаяся около его дома и ранившая кухарку, заставила его воскликнуть: „Злодѣй! Что жъ ты это дѣлаешь?“ Недоумѣніе его великолѣпно выразилось въ этомъ наивномъ восклицаніи. Но событія скоро разсѣяли это недоумѣніе, и Өерапонтычъ кричитъ нашимъ солдатамъ: „Тащи, ребята, все изъ лавки! Не доставайся дьяволамъ! Алпатычъ! Рѣшилась! Расея! Рѣшилась! Самъ подпалю!“ Последнее восклицаніе относилось къ собственному постоялому двору, составляющему основу матеріальнаго благополучія Өерапонтыча.

Это не патріотизмъ только, свойственный въ равной съ нами мѣрѣ и англичанину, и французу, и нѣмцу. Больше это или меньше, но во всякомъ случаѣ это не то чувство

привязанности къ своему *мѣсту* и симпатіи къ своимъ соплеменникамъ, которое мы называемъ патріотизмомъ. У евреевъ нѣтъ территоріальнаго отечества и нѣтъ, стало-быть, патріотизма въ обыкновенномъ смыслѣ, но та психическая черта, которую я выясняю, развита у нихъ въ высокой степени. Это—черта, которая довольно хорошо характеризуется народнымъ выраженіемъ: нашихъ не тронь. Англійскій еврей, французскій еврей, русскій, нѣмецкій еврей живутъ въ разныхъ условіяхъ и на различной почвѣ, но они другъ другу *свои*. Они связаны общностью историческихъ традицій (въ число которыхъ я включаю и религію) и главное—психологическою близостью, родственностью духа. Не во гнѣвъ будь сказано нашимъ ультра-націоналистамъ, я не вижу различія между идеей еврейскаго „кагала“ и идеей нашего „міра“. И тамъ и здѣсь одно общее властное требованіе: подчиненіе всякой личной воли и личнаго интереса общей волѣ и общему интересу. Наши націоналисты какъ-то ухитряются въ одно время и восторгаться русскимъ „міромъ“ и всячески шпынять „кагалъ“. Будьте же логичны, господа, вѣдь это явленія одного и того же порядка! „Кагалъ“ есть еврейскій міръ, „міръ“ есть русскій кагалъ. Историческое и психологическое происхожденіе ихъ точно такъ же одно и то же. Разсѣянными по лицу земли евреямъ, окруженнымъ со всѣхъ сторонъ врагами, для того, чтобы не пропасть, нужно было цѣпко держаться другъ за друга. А развѣ наше положеніе приблизительно было не такое же? Поселенные на какомъ-то колоссальномъ гладкомъ подносі или блюдѣ, мы были открыты со всѣхъ сторонъ для всевозможныхъ хищническихъ поползновеній со стороны нашихъ сосѣдей, которые всѣ сплошь были нашими врагами. Хорошо и господамъ англичанамъ съ гордостью говорить теперь: *my House is my castle* (мой домъ—мой замокъ), когда они на своемъ, океаномъ защищенномъ, островкѣ устроились такъ, что уже получили гражданскія гарантіи на девять лѣтъ (въ 1215 г.)

раньше противъ того, какъ мы получили первый подзатыльникъ отъ татаръ (въ 1224 г.),—подзатыльникъ, бывший только предвѣстникомъ двухсотлѣтняго иноземнаго, ино-вѣрнаго и варварскаго ига! Да, это была хорошая школа, не хуже, пожалуй, еврейской, для выработки въ себѣ мірскаго, общиннаго духа! Гордому индивидуализму развиваться тутъ было трудненько: надо было жаться другъ къ другу, искать плечомъ плеча и локтемъ локтя, надо было... какъ, бишь, сказалъ Толстой о Каратаевѣ? „Жизнь Каратаева не имѣла смысла для него, какъ отдѣльная жизнь. Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ“. Да, вотъ это самое и надо было. Отдѣльная жизнь не имѣла смысла, потому что не имѣла обезпеченія, ставилась ни во что, какъ жизнь дерева въ лѣсу. Такъ было у насъ и при татарахъ, и до татаръ, и послѣ татаръ, въ Кіевскій, Московскій и Петербургскій періоды нашей исторіи,—вплоть до 19 февраля 1861 года, когда явилась нѣкоторая возможность для русскаго человѣка жить не только для государства, или для начальства, или для барина, или для общины, но и для самого себя. Процессъ этотъ, т.-е процессъ развитія личнаго начала, возникъ только вчера (38 лѣтъ назадъ!), и какими путями онъ дальше пойдетъ—это знаютъ твердо только гг. Струве и Тутанъ-Барановскій, а я не знаю. Но въ чемъ состояла и до сихъ поръ состоитъ „искра сокрытая“, освѣтившая и согрѣвшая нашу тяжкій историческій путь—это я знаю, инстинктивно чувствую и сознательно понимаю. Въ чемъ же? А вотъ въ этомъ самомъ: Эй, ребята, плохо дѣло—наша барка на мель сѣла! Эй, ухнемъ! Эй, зеленая сама пойдеть!.. Алпатычъ! Самъ подпалю! Не доставайся дьяволамъ!

«Я вижу,—иронически скажетъ мнѣ читатель,—что вы горячій патріотъ, но все-таки что же именно вы хотите сказать? Пушкинъ, Ломоносовъ, Толстой, Некрасовъ, Достоевскій, Тютчевъ, западники, славянофилы... При чемъ

собственно вы-то тутъ, г. Протопоповъ?» Вопросъ этотъ неудобенъ для меня лишь въ томъ смыслѣ, что заставляетъ меня возвращаться на свои собственные слѣды, какъ это въ послѣднее время со мной случается—и право же не по моей винѣ, а по свойству самыхъ темъ. Повторяться неприятно, цитировать самого себя просто даже какъ-то неловко, конфузно; но пусть же разсудитъ самъ мой насмѣшливый читатель—кстати или не кстати присоединить къ предыдущему изложенію вотъ эти слова: «Понятіе народа есть прежде всего понятіе антропологическое, расовое, этнографическое. Мой костромской землякъ крестьянинъ Иванъ Петровъ ни на волосъ не болѣе и не менѣе русскій нежели я, дворянинъ и кандидатъ университета Сидоръ Макаровъ. Мы смотримъ на міръ различно и видимъ неодинаково, потому что онъ глядитъ невооруженными, а я вооруженными глазами, наши частные интересы могутъ находиться въ противорѣчій, наши личные характеры могутъ не подходить другъ къ другу, но коренная психическая основа наша совершенно одинакова, потому что источникъ ея лежитъ именно въ расѣ, въ породѣ, въ національности. Различіе между мужикомъ и интеллигентомъ—различіе культурное, а не психическое. Нашъ Сидоръ Макаровъ есть не кто иной, какъ образованный Иванъ Петровъ. Они вѣрятъ не въ одно и то же, но ихъ вѣра, какъ нравственное свойство, одинакова, ихъ главнѣйшіе духовные процессы совершаются тождественно. Кающійся дворянинъ и кающійся мужикъ каются не въ одномъ и томъ же, но потребность къ покаянію, къ очищенію своей совѣсти, и способности къ нему у нихъ однѣ и тѣ же. Не тѣ результаты и не тѣ формы, но самое содержаніе процесса одно и то же. Способность къ энтузіазму, доходящему до полного самоотверженія, потребность въ какомъ-нибудь авторитетѣ, общительность, добродушіе, отсутствіе предусмотрительности, совѣстливость и проч.,—всѣ эти положительные и отрицательныя нравственныя свойства съ



одинаковымъ удобствомъ можно наблюдать и въ русскомъ народѣ и въ русской интеллигенціи. Насъ разъединяють съ народомъ не чувства, не симпатіи, а воззрѣнія. Въ торжественныя историческія минуты, когда общая цѣль до того ясна, что для теоретическихъ разногласій не остается мѣста, всѣ мы сливаемся въ одномъ чувствѣ, безъ различія степени образованія и развитія,—въ чувствѣ любви къ своему отечеству». Это я писалъ 7—8 лѣтъ назадъ на страницахъ этого же журнала (статья *Н. Е. Петропавловскій*). Такъ въ нашемъ вопросѣ—вотъ я при чемъ. Моя усиленная поправка состоитъ въ томъ, что, говоря о русскомъ народѣ, нѣтъ никакой надобности и нѣтъ логической возможности отдѣлять русскую интеллигенцію отъ русскаго народа. «Золото, золото сердце народное»—это не чье-то чужое, а наше собственное сердце. «Не пойметъ и не оцѣнитъ гордый взоръ иноплеменный»,—почему же? Это наше дѣло заставить его понять. Отъ имени русскаго народа мы можемъ говорить съ какимъ угодно *гордымъ иноплеменникомъ* и беремся объяснить ему не поэтическими метафорами, а отъ разума—что именно сквозить и тайно свѣтитъ въ нашей смиренной наготѣ. Мы не смѣемъ сказать, какъ Толстой, «мы сами—народъ», потому что мы только часть его; но не будучи его олицетвореніемъ, мы являемся его выраженіемъ и потому смѣемъ и должны говорить отъ имени народа. Мы духовно настроены съ народомъ въ унисонъ, по крайней мѣрѣ, въ самомъ основномъ тонѣ и потому не боимся сфальшивить. Каратаевъ и Пьеръ Безухій—развѣ не духовные близнецы? Пьеръ провѣрялъ свои намѣренія и дѣйствія мнѣніемъ Каратаева («что сказалъ бы онъ?»), но въ этомъ не было непремѣнной необходимости: Каратаевъ былъ тотъ же Безухій, но не вооруженный образованіемъ. Что говорить долго? Русская литература есть прекраснѣйшее выраженіе національнаго, *общенароднаго* духа, но она создана безъ участія и даже безъ вѣдома народа, создана интеллигенціей, да еще, глав-

нымъ образомъ, дворянской, т.-е. такой, которая по экономическимъ и политическимъ условіямъ своего существованія стояла во враждебныхъ отношеніяхъ къ крѣпостному народу. Если, такимъ образомъ, противорѣчіе между столь серьезными интересами, какъ интересы экономическіе и политическіе, не уничтожило крѣпкаго духовнаго единства между народомъ и интеллигенціей, то теперь-то ужъ намъ нечего бояться «сфальшивить»: останемся только самими собою, тѣми Пьерами Безухими, которые, совершенно какъ всѣ Каратаевы, не видятъ смысла въ жизни эгоистической, въ существованіи только для себя и про себя. «Эй, ухнемъ!» Эта пѣсня всегда поется хоромъ, но непремѣнно съ запѣвалой, а такимъ историческимъ запѣвалой всегда была и есть наша интеллигенція. Кто освободилъ народъ? Закрѣпостила народъ невѣжественная, да еще чуждая, припшая сила, а раскрѣпостила чистокровная *русская* и дѣйствительно образованная интеллигенція.

Увы! Всѣ эти соображенія были совершенно чужды Терпигореву, и именно оттого его сатира—не сатира, а только фельетонъ, занятный анекдотъ...

## II.

Если вы хотите составить правильное понятіе о какомъ-нибудь человѣкѣ—постарайтесь узнать его *искреннее* мнѣніе о самомъ себѣ. Древняя мудрость гласила, что всего труднѣе *познать самого себя*, но я не то имѣю здѣсь въ виду: не *истиннаго*, а только *искренняго* мнѣнія о самомъ себѣ добейтесь отъ человѣка, и какъ бы ни далеко это мнѣніе отстояло отъ подлинной правды—въ вашихъ рукахъ все-таки будетъ превосходный матеріалъ для сужденія о личности этого человѣка. То же самое и въ литературѣ: самооцѣнка, сдѣланная какимъ-нибудь писателемъ, настоящій кладъ для критики. Въ настоящемъ случаѣ мы этимъ кладомъ обладаемъ: Терпигоревъ далъ себѣ неболь-

шую, но содержательную характеристику, съ обсужденія которой мы и начнемъ *свою* характеристику этого талантливаго писателя. Вотъ что сказалъ Терпигоревъ о себѣ:

«Отъ характера это, отъ склада ума, отъ развитія, или я не знаю отъ чего это еще происходитъ, но только я органически не могу ни въ комъ переносить аффектаціи, ходульности, треска фразъ и т. д. Не лежитъ у меня сердце, не выношу я этого. Мнѣ сейчасъ станетъ или смѣшно это, или мною овладѣетъ вдругъ такая скука, почти безотчетная тоска, и я при первой же возможности уйду. Точно такъ же я не могу читать ни одной повѣсти, разсказа, романа, гдѣ не только все основано на кричащихъ эффектахъ, но гдѣ есть хотя малѣйшая ходульность въ отношеніяхъ авторовъ къ выводимымъ имъ героямъ. Я не переношу и сейчасъ бросаю книгу, и ужъ никакой силой я не могу заставить себя вновь приняться за нее. То же самое и со всякимъ дѣломъ, которое основано не по мнѣ и весь успѣхъ котораго разсчитанъ на одни эффекты, а не на скромную суть дѣла. Я могу сказать это о себѣ, потому что изъ всѣхъ моихъ написанныхъ разсказовъ, очерковъ и повѣстей нѣтъ ни одного, который былъ бы хотя немного разсчитанъ на эффектные мѣста въ немъ, на громкія фразы. Я написалъ много слабыхъ, чрезвычайно слабыхъ, не отдѣланныхъ и даже не додѣланныхъ вещей, но въ нихъ нѣтъ ни одной даже попытки на ходульность, на битые фразами, ихъ трескомъ и блескомъ. Въ этомъ, впрочемъ, мнѣ не отказывали и, надѣюсь, и дальше не будутъ отказывать и мои критики. Говори какъ знаешь, какъ умѣешь, какъ было или должно быть дѣло на самомъ дѣлѣ—и это въ миллионы разъ любезнѣе. Что можетъ быть выше простоты? Что можетъ быть благороднѣе ея?» (т. VI, стр. 522).

Такъ говорить Терпигоревъ о себѣ и, при всей кажущейся безпритязательности его самооцѣнки («много слабыхъ, чрезвычайно слабыхъ вещей»), въ умѣ читателя

самъ собою складывается такой силлогизмъ: если нѣтъ ничего выше и благороднѣ простоты и если этимъ свойствомъ, т.-е. простотою, Терпигоревъ, по его словамъ, обладалъ въ высокой степени, то... то что намъ дѣлать съ заключеніемъ, неотразимо - логически слѣдующимъ изъ этихъ двухъ посылокъ? Принять его мы не можемъ во имя здраваго смысла, а не принять не можемъ во имя логики. Ясно, что есть нѣчто неладное въ посылкахъ Терпигорева и изъ нихъ двухъ въ которой же именно? Первая посылка безусловно вѣрна: простота—великое достоинство, великая красота и великое благородство. Что можетъ быть проще хотя бы вотъ этой картины:

Въ тотъ годъ осенняя погода .  
Стояла долго на дворѣ;  
Зимы ждала-ждала природа —  
Снѣгъ выпалъ только въ январѣ,  
На третье въ ночь. Проснувшись рано,  
Въ окно увидѣла Татьяна  
Поутру побѣлѣвшій дворъ,  
Куртины, кровли и заборъ,  
На стеклахъ легкіе узоры,  
Деревья въ зимнемъ серебрѣ,  
Сорокъ веселыхъ на дворѣ  
И мягко устланныя горы  
Зимы блистательнымъ ковромъ,—  
Все ярко, все бѣло кругомъ.

Это не стихи, не какіе-то тамъ четырехстопные ямбы, это—живая разговорная рѣчь, это—сама безыскусственность. Но въ этой простотѣ и безыскусственности—высшее торжество искусства. Неужели *этого* рода и этого полета простотой обладалъ Терпигоревъ? А вотъ слушаемъ его до конца,—выше я привелъ только первую половину его самооцѣнки:

«Изъ моей долголѣтней практики или жизни,—какъ называть,—я вынесъ то убѣжденіе, что чѣмъ выше дѣло, тѣмъ оно проще идетъ, естественнѣе и не нуждается ни

въ какихъ эффектахъ. Эффектъ только портитъ его, лишая правды и благородства. То же самое и о людяхъ. Чѣмъ выше, развитѣе, толковѣе, ученѣе человѣкъ, тѣмъ онъ тише, скромнѣе, доступнѣе. Только однимъ выскочкамъ, бездарностямъ и посредственностямъ нужны и эффекты, и трескъ, и шумъ, и звонъ, и блески. Ничего этого не нужно истинному достоинству. Это одинъ изъ самыхъ характерныхъ, самыхъ существенныхъ его признаковъ. Я говорю это и всѣми силами стараюсь подражать этому, удерживая себя если иной разъ, къ удивленію своему, вдругъ замѣчаю въ себѣ какой-то позывъ къ эффекту, къ громкой или хлесткой (всегда бездушной) фразѣ. Повторяю, меня всегда тянуло и тянетъ къ простотѣ и къ простому, тихому, скромному человѣку».

Это настоящій панегирикъ простотѣ, понимаемой какъ разъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ превознесъ ее въ романѣ *Война и миръ* и самъ Толстой. Въ «простотѣ» Толстой усмотрѣлъ даже, какъ вѣроятно помнить читатель, основную стихію нашего національнаго духа. Каратаевъ—«олицетвореніе всего *русскаго*, добраго, круглаго, вѣчное олицетвореніе духа *простоты* и правды»: это—подлинныя слова Толстого. Толстой превознесъ Кутузова предъ Наполеономъ за то, что «Кутузовъ никогда не говорилъ о 40 вѣкахъ, которые смотрять съ пирамидъ, о жертвахъ, которыя онъ приносить отечеству, о томъ, что онъ намѣренъ совершить или совершилъ; онъ вообще ничего не говорилъ о себѣ, не игралъ никакой роли, казался всегда самымъ простымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ и говорилъ самыя простыя и обыкновенныя вещи». Какъ видите, Толстой характеризуетъ Кутузова совершенно тѣми же чертами, какими Терпигоревъ характеризовалъ самого себя. «Простая, скромная и *потому* истинно величественная фигура», такъ говоритъ Толстой о Кутузовѣ въ другомъ мѣстѣ. Послѣ этого что жъ намъ критиковать Терпигорева? Онъ былъ простъ, скромнъ, говорилъ самыя простыя

и обыкновенныя вещи и *потому* является истинно величественной. фигурой въ нашей литературѣ.

До русскихъ полководцевъ намъ здѣсь не можетъ быть дѣла (хотя, въ скобкахъ, мы и напомнили бы Толстому объ учителѣ Кутузова—Суворовѣ, который ужъ какъ былъ ни простъ и ни скромнъ, но являетъ собою въ исторіи фигуру покрупнѣе, нежели любимый герой Толстого); но какъ намъ быть съ писателями? *Простыхъ* писателей у насъ множество, но великихъ писателей очень мало. Об-разчикъ литературной простоты, одинаково удовлетворяющей и насъ и Толстого съ Терпигоревымъ, приведенъ выше, а что сказать вотъ объ этихъ стихахъ того же поэта:

Я памятникъ себѣ воздвигъ. нерукотворный,  
Къ нему не зарастетъ народная тропа:  
Вознесся выше онъ главою непокорной  
Александрійскаго столпа.  
Нѣтъ, весь я не умру! Душа въ завѣтной лирѣ  
Мой прахъ переживетъ и тлѣнья убѣжитъ...  
Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой,  
И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ...  
И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,  
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,  
Что въ мой жестокий вѣкъ возславилъ я свободу  
И милость къ падшимъ призывалъ.

*Простоты*, въ смыслѣ Толстого, Каратаева и Терпигорева, нѣтъ и тѣни въ этихъ страстно-энергическихъ словахъ. Поэтъ, во-первыхъ, говоритъ здѣсь о самомъ себѣ, говоритъ, во-вторыхъ, въ хвалебномъ тонѣ, говоритъ, въ-третьихъ, не обыкновеннымъ разговорнымъ, а *высокимъ* языкомъ («всякъ сущій языкъ», «лира» и пр.). Все это, съ точки зрѣнія каратаевской простоты, грѣхи великіе. Но если въ этихъ стихахъ нѣтъ простоты, то развѣ нѣтъ въ нихъ величія? «Нѣтъ величія тамъ, гдѣ нѣтъ простоты, добра и правды», говоритъ Толстой и вторитъ ему Терпигоревъ; но развѣ простота и правда одно и то же? Можно быть простымъ, не будучи правдивымъ, и можно быть

правдивымъ, не будучи простымъ. Не о словахъ я спорю, а о понятіяхъ. Всякій подъемъ чувства, всякій порывъ страсти выводятъ человѣка изъ его обычнаго равновѣсія, лишаютъ его привычной простоты, но развѣ зло и неправда—это душевныя бури?

Простота простотѣ рознь, и бываетъ между прочимъ такая простота, о которой нашъ народъ говоритъ, что она хуже воровства. Терпигоревъ не употреблялъ «хлесткихъ словъ», въ немъ не замѣтно «ходульности», онъ не искалъ «кричащихъ эффектовъ»—все это онъ сказалъ о себѣ совершенно справедливо. Но *аффектацію простоты* подмѣтитъ у него очень нетрудно—вотъ въ чемъ дѣло. Онъ пишетъ свои повѣсти *ультра*-разговорнымъ языкомъ, такимъ, какимъ мы всѣ дѣйствительно ведемъ между собою устные разговоры, но какимъ никто изъ насъ не пишетъ. «Вообразите, иду я сейчасъ по Невскому проспекту и только что сталъ подходить къ думѣ, — а я шелъ не по тротуару, а знаете, около самыхъ магазиновъ Гостиного двора, подъ крышей, — да, такъ вотъ, говорю, иду это я, какъ вдругъ...» и пр. Не буквально такъ, но въ родѣ того *разсказывалъ* читателю Терпигоревъ свои повѣсти. Очевидно, для сообщенія своимъ рассказамъ еще большей правдоподобности онъ всегда съ точностью указываетъ и время, и мѣсто дѣйствія, и такая обстоятельность подкупаетъ читателя. «Три года назадъ, глубокою осенью, эдакъ въ половинѣ или концѣ октября, шелъ я по Кадетской линіи Васильевского острова на Петербургскую сторону. Только что я прошелъ церковь Екатерины Великомученицы и сталъ подходить къ Тучкову мосту, какъ вдругъ...» и пр. Какъ вѣрно, ахъ, какъ все вѣрно! — воскликнетъ читатель-петербуржецъ. — Какъ же, конечно, ближайшій путь съ острова на Петербургскую сторону черезъ Тучковъ мостъ, тутъ еще конка ходитъ до Каменноостровскаго проспекта, — ну, какъ же, знаю, знаю! Все вѣрно! И церковь Екатерины знаю! Рядомъ съ ней трактиръ «Лондонъ»,

такъ я, бывало, частенько тамъ чай и пиво пилъ. Ахъ, какой простой и правдивый писатель этотъ г. Терпигоревъ!

«Вы сочиняете пародіи,— строго замѣтитъ мнѣ читатель,— а я жду отъ васъ серьезной критики. Развѣ Терпигоревъ ея не заслуживаетъ?» Смѣю увѣрить читателя въ полнѣйшей серьезности моихъ намѣреній. Дѣло въ томъ, что, благодаря этой своей хронологической и топографической обстоятельности описаній, Терпигоревъ умышленно или неумышленно скрывалъ отъ читателя весьма слабую правдоподобность своихъ встрѣчъ и приключеній. Конечно, на ловца и звѣрь бѣжитъ, но Терпигоревъ былъ что-то ужъ слишкомъ счастливымъ ловцомъ: какъ только онъ облюбовалъ какого-нибудь героя, такъ ужъ заранѣе знайте, что онъ «совершенно случайно» разъ пятнадцать встрѣтитъ его то на Морской, то въ Коломнѣ, то на углу Греческаго проспекта и Шестой Рождественской, «возлѣ будки гдѣ продаются пироги». Вы говорите: я пародирую? Такъ я вамъ представлю документальныя доказательства. Вотъ, наприм., повѣсть Терпигорева *Неутолимая* (т. II) — не худшая и не лучшая въ ряду прочихъ его произведеній. Обстоятельность описаній поразительная: и гдѣ, и какъ, и что, и когда—все помнить авторъ до подробностей. «Это было въ шестьдесятъ второмъ или въ шестьдесятъ третьемъ году». Такъ начинается повѣсть. Въ этомъ году авторъ случайно познакомился съ дочерью своихъ деревенскихъ сосѣдей Варенькой,—она же «неутолимая». «Помню, я ужасно сконфузился, когда меня представляли ей» (стр. 267). Въ тотъ же вечеръ въ домѣ родителей Вареньки авторъ видѣлъ (самъ видѣлъ!), какъ одинъ гость-офицеръ «нагнулся къ ней и, какъ бы разсматривая ноты, вскользь поцѣловалъ ее въ щеку. Она нѣсколько отшатнулась, что-то сказала и громко разсмѣялась» (стр. 268). Поцѣловалъ *вскользь*, отшатнулась *нѣсколько*, разсмѣялась *громко*, — экая память богатая у человѣка! Прошло нѣсколько мѣ-



сяцевъ, подошла зима и по первому снѣгу авторъ со своимъ человѣкомъ пошли на охоту за зайцами. На обратномъ пути—«прошли этакъ съ версту—назади колокольчики... ближе, ближе... видимъ, четыре экипажа другъ за другомъ. Что за поѣздъ?» (стр. 275). Оказалось, съ родителями ѣдетъ въ Петербургъ Варенька... Ну, поговорили, то да се, авторъ Варенькѣ убитого зайца подарилъ. Прощайте, до свиданія въ Петербургѣ! «Изъ дому отъ отца я получалъ сто рублей въ мѣсяцъ. Я жилъ тогда на Васильевскомъ Острову и нанималъ за двадцать пять рублей двѣ большихъ, очень недурно меблированныхъ комнаты» (стр. 278). Авторъ и думать забылъ о Варенькѣ, но однажды, «какъ-то въ одну изъ субботъ, возвращаясь изъ университета домой обѣдать», онъ зашелъ въ лавку и купилъ свѣчей. «Я несъ ихъ подъ мышкой. Я шелъ, о чемъ-то задумавшись. «Сергѣй Николаевичъ, куда это вы?» окликнулъ меня очень знакомый женскій голосъ» (стр. 279). Разумѣется, это оказалась Варенька... На масленицѣ, въ тотъ же годъ, авторъ поѣхалъ съ товарищами-студентами прокатиться. «На Каменноостровскомъ насъ то и дѣло обгоняли тройки. Изъ одной, обгонявшей насъ, кто-то громко крикнулъ мое имя. Я, разумѣется, оглянулся» (стр. 286). Надо ли говорить, кто окликнулъ автора. «Это была Варенька». Но вотъ Варенька вышла замужъ за одного офицера, авторъ уѣхалъ въ деревню и «прошло два года». «Ни тамъ, въ Тамбовѣ, ни здѣсь, въ Петербургѣ, я не встрѣчался съ Варенькой и ея мужемъ». Вы думаете и конецъ повѣсти? Какъ бы не такъ! «Однажды я шелъ по той сторонѣ Гостинаго двора, которая къ думѣ, и изъ какого-то магазина, какъ разъ въ то время, когда я проходилъ мимо него, дверь отворилась и вышла...» Отгадайте, кто? Неужто Варенька? Она самая, читатель, смотрите стр. 294. Ну, поговорили, старое вспомнили, три-четыре страницы и прибавилось къ повѣсти. «Прошло еще три или четыре года». Поѣхалъ авторъ въ художественный

клубъ на костюмированный вечеръ, смотрѣть какихъ-то «бухарцевъ, хивинцевъ, ташкентцевъ,— не помню ужъ». Нельзя же все помнить! Только идутъ эти бухарцы по заламъ клуба и «возлѣ каждого шла маска» (стр. 298). Дальше и говорить не стоитъ: одна изъ масокъ оказалась Варенька... Прошло еще сколько-то времени. «Я ужъ позабылъ теперь, по какому именно случаю у Дорота былъ ужинъ. Часа въ два или три я ѣхалъ куда-то по Невскому. На Полицейскомъ мосту мнѣ попался навстрѣчу землякъ-директоръ» (стр. 306). Землякъ завалъ автора къ Дороту на ужинъ и на ужинѣ, въ числѣ «этихъ дамъ», оказалась, разумеется, Варенька... «Въ эту же зиму, такъ, должно быть, въ февралѣ» авторъ заѣхалъ на студенческій балъ, заглянулъ въ извѣстную «мертвецкую» и увидѣлъ тамъ даму, которая декламировала стихи передъ толпою студентовъ. Дама эта... ну, мимо! «Дня черезъ два я столкнулся съ ней на Невскомъ» (стр. 313)—и въ результатѣ еще нѣсколько страницъ. Авторъ уѣхалъ въ деревню и заѣхалъ въ гости къ своему «дяденькѣ» — Варенька въ любовницахъ у дяденьки. «Прошло два года. По обыкновенію, лѣто я жилъ въ деревнѣ, зиму—въ Петербургѣ» и узналъ, что «неутолимая» «удрала въ Сибирь съ какимъ-то золотопромышленникомъ». Все? Какъ же: «одинъ мой знакомый инженеръ, ѣздившій въ Сибирь дѣлать какія-то изысканія, рассказывалъ» и т. д. (стр. 323). Изъ Сибири бывшая Варенька уѣхала въ Парижъ, гдѣ «полюбила всѣмъ сердцемъ одного молодого кафра и на-дняхъ ѣдетъ съ нимъ на мысъ Доброй Надежды, гдѣ у него брилліантовые россыпи»... Неужели даже теперь не конецъ? Неужели Варенька будетъ преслѣдовать насъ даже изъ южной Африки, неужели она найдетъ возможнымъ повѣстить о себѣ даже изъ тѣхъ безвѣстныхъ краевъ, откуда теперь весь цивилизованный міръ никакъ не можетъ добиться страстно ожидаемой правды? Очень просто. «Года три или четыре тому назадъ изъ кругосвѣтнаго плаванія вернулась въ

Кронштадтъ наша эскадра. У меня очень много знакомых моряковъ» (стр. 327) и т. д.,—дальше не стоитъ продолжать, авторскій шаблонъ читателю извѣстный: пили чай съ знакомымъ морякомъ, который и разсказалъ и пр., и пр. Ну, все? А вотъ слушайте: «я не знаю, прошелъ ли мѣсяцъ послѣ этого разговора, какъ я опять сидѣлъ въ Лѣтнемъ саду за тѣмъ же столикомъ и пилъ чай. Я замѣтилъ, что какая-то довольно прилично одѣтая, высокая, худая женщина очень часто проходитъ мимо насъ и всматривается въ меня» (стр. 328). Довольно! кричить обозленный и возмущенный читатель. А, довольно! Такъ ужъ не досказывать, кто была эта дама? Нѣтъ, доскажу—и пусть это будетъ моею местию за то, что вы упрекнули меня въ пародированьи нашего автора: это была... это была... это была неизбѣжная, неустрашимая, *неутомимая* Варенька! Ни деревня, ни Петербургъ, ни Сибирь, ни Парижъ, ни даже южная Африка не могли насъ спасти отъ безчисленныхъ «случайныхъ» встрѣчъ съ нею.

Такова была обычная манера Терпигорева. Это была не «простая», а, такъ сказать, упрощенная манера, совсѣмъ однако же не чуждая претензій на эффектъ. «Звонкихъ фразъ» Терпигоревъ дѣйствительно не употреблялъ, но неужели нѣтъ «ходульности», т.-е. искусственности, придуманности въ его картинахъ и положеніяхъ? А что касается до пристрастія къ эффектамъ, то достаточно обратить вниманіе хоть на то, съ какимъ непостижимымъ постоянствомъ Терпигоревъ упоминаетъ о своей «нервности» и «впечатлительности», въ особенности въ дѣтскомъ возрастѣ. Отъ сценъ крѣпостной жизни ужъ чего только съ нимъ не было: и обмороки, и слезы, и припадки иступленія и пр. Вотъ изъ шести лежащихъ передо мною томовъ его произведеній я беру наудачу третій и разыскиваю свои отмѣтки. На стр. 296 читаемъ: «Я помню, меня при этомъ какъ-то словно надавило чѣмъ-то въ темя и потомъ застучало въ вискахъ». На стр. 330: «У меня

задрожала нижняя губа и слезы такъ и брызнули изъ глазъ, радостныя, восторженныя слезы, легкія, благодатныя». На стр. 339: «У меня вдругъ хлынули слезы, не удержимыя, горячія». Не хочу умножать примѣровъ, но завѣряю читателя, что вмѣсто трехъ приведенныхъ могъ бы привести еще хоть сотню. Такая назойливость автора очень скоро утомляетъ читателя. Вообще трудно указать писателя, который бы повторялся такъ часто и такъ «просто», какъ Терпигоревъ. Въ журнальномъ и газетномъ теченіи дѣятельности Терпигорева эти его повторенія оставались незамѣтными для читателя (сегодня прочелъ, а завтра забылъ), но въ отдѣльномъ изданіи, да еще при чтеніи сплошь, залпомъ, съ Терпигоровымъ становится почти невыносимо бесѣдовать... «Да ужъ слышалъ я это отъ васъ, сто тысячъ миллионовъ разъ слышалъ я это отъ васъ,—будетъ, довольно!» хочется вамъ крикнуть автору, но бесполезно, Терпигоревъ неумолимъ: его безчисленные «дяденьки», «тетеньки», «племянники», «земляки» и пр. продолжаютъ свое шествіе передъ вами какъ «войска» на сценѣ, т.-е. въ одну дверь солдаты выйдутъ, а въ другую тѣ же самые солдаты войдутъ, опять выйдутъ, опять войдутъ. Подумаешь, ихъ тысячи, а ихъ всего-то десять человѣкъ! Точь въ точь такъ и у Терпигорева: у него есть десятокъ хорошо изученныхъ типовъ, но персонажей у него сотни, если не тысячи, и всѣ они представляютъ собою только слабыя видоизмѣненія основныхъ типовъ. Конечно, это общая бѣда всѣхъ талантовъ средней руки, къ которымъ принадлежитъ и Терпигоревъ, но, должно быть, вслѣдствіе скорописанія и многописанія Терпигорева этотъ недостатокъ обнаруживается у него съ особою яркостью.

«Сатирикъ-анекдотистъ» — этими двумя словами довольно точно обрисовывается литературная личность и литературное значеніе Терпигорева: онъ много поменьше, нежели истинный сатирикъ, какимъ былъ у насъ Салтыковъ, и мно-

го побольше, нежели веселый анекдотистъ, въ родѣ, наприм., г. Лейкина. Ни опредѣленнаго міросозерцанія, ни широкаго общественнаго идеала, необходимыхъ для истиннаго сатирика, у Терпигорева не было. Съ другой стороны, онъ не могъ относиться къ жизни съ тою птичьею беззаботностью, которая отличаетъ настоящаго неунывающего анекдотиста. Эта двойственность поддерживалась въ немъ и условіями его личной жизни. Условія эти съ одной стороны поставили его лицомъ къ лицу съ такой общественно-психологической темой (дворянское «оскудѣніе»), относиться къ которой *вполнѣ* легкомысленно было невозможно, невозможно по самой сущности сюжета: «оскудѣніе» переплеталось съ такими картинами крѣпостной жизни, изъ которыхъ веселенькаго анекдота не выкроишь. Отойти, отказаться отъ этого сюжета Терпигоревъ не могъ, потому что около этого именно сюжета группировались всѣ его наиболѣе живыя наблюденія. Но не могъ онъ и овладѣть этимъ сюжетомъ, овладѣть какъ хозяинъ, какъ мастеръ, не могъ подняться на ту высоту обобщенія, которая одна только и даетъ истинное разумѣніе предмета. Терпигоревъ поэтому какъ-то—если такъ позволено будетъ выразиться—терся о свою излюбленную тему, не скользилъ только по ней, а кое-что и отколупывалъ отъ нея. Это «кое-что» въ общемъ является даже чѣмъ-то значительнымъ, но въ пропорціи, далеко не соответствующей значенію предмета. Сказать ли откровенно? Если бы не высоко-интересная тема главнаго произведенія Терпигорева («Оскудѣніе») о немъ, какъ о повѣствователѣ, врядъ ли бы и говорить стоило, какъ не стоитъ говорить о произведеніяхъ Горбунова и г. Лейкина. Но въ томъ-то и дѣло, что наблюденія Терпигорева относились (по волѣ судьбы) къ самымъ нѣдрамъ или основамъ русской жизни, его полуанекдотические рассказы даютъ не только поводъ, но и матеріалъ для анализа вопросовъ нашей національной психологіи, а это не бездѣлица.

Обратимся теперь спеціально къ «Оскудѣнію», т.-е. главнымъ образомъ къ самому предмету этого произведенія.

### III.

«Срамъ и горе народу, у котораго нѣтъ того, что могло бы быть дурно или хорошо направляемо!» (см. эпиграфъ). Русскій человѣкъ, къ какому бы классу или сословію онъ ни принадлежалъ, можетъ прочесть эти слова Бѣлинскаго съ полнѣйшимъ спокойствіемъ. Много горя и не мало срама въ нашей исторіи и въ нашей дѣйствительности, но *этого* горя и *этого* срама мы не знаемъ. Одинъ нерусскій писатель говоритъ: деньги потерять—ничего не потерять, время потерять—много потерять, бодрость духа потерять—все потерять. Денегъ (въ буквальномъ и въ переносномъ смыслѣ) мы истратили непроизводительно видимо-невидимо, времени упустили тоже не мало, но падать духомъ намъ не отъ чего: деньги наживутся, время наверстается. Вопросъ нашего національнаго бытія состоитъ только въ томъ, чтобы *хорошо направить* наши силы, найти наиболѣе широкіе и удобные пути для выраженія національнаго самосознанія.

Лишь Богъ помогъ бы русской груди  
Вздохнуть пошире, повольнѣй,—  
Докажетъ Русь, что есть въ ней люди,  
Что есть грядущее у ней.

Послѣднія двѣ строчки понадобились поэту только для округленія періода и для риемы: доказанное не зачѣмъ доказывать и относительно нашего грядущаго не можетъ быть сомнѣній. Я позволю себѣ иллюстрировать эту мысль нѣкоторыми фактами изъ своего личнаго писательскаго опыта. Когда ко мнѣ, какъ къ «опытному критику», обращается начинающій писатель съ просьбой рѣшить по его «при семъ препровождаемой» работѣ, есть у него литературный талантъ или нѣтъ, я заранѣе почти увѣренъ, что таланта у него нѣтъ. Настоящій талантъ долженъ знать,

и дѣйствительно всегда знаетъ, правду о самомъ себѣ. Какимъ образомъ? Путемъ внутренняго самосознанія, въ тревогѣ безсонныхъ ночей, когда голова пылаетъ отъ осаждающихъ ее мыслей или образовъ, когда переполненное сердце болитъ и учащенно бьется отъ страстнаго желанія высказаться. Помогите мнѣ вы, опытный журналистъ, пробиться въ литературу, откройте мнѣ двери въ редакціи, — это начинающій талантъ сказать можетъ, но ни къ кому не пойдетъ онъ спрашивать: есть ли у меня талантъ или нѣтъ? Сила есть сила, есть непреложный фактъ, который свое оправданіе находитъ въ самомъ своемъ существованіи и не нуждается ни въ чьей посторонней санкціи. Удалите, если умѣете, ненужныя препятствія, на борьбу съ которыми придется иначе затратить много свѣжихъ силъ, дайте «груди вздохнуть пошире, повольнѣй», и не тревожьтесь затѣмъ ни за талантливую личность, ни за талантливый народъ: свою роль въ жизни и свою миссію въ исторіи они выполнятъ, какъ надобно. Если вы дѣйствительно доброжелательны — устраняйте помѣхи и препятствія, лежащія на пути таланта (личнаго или собирательнаго), но поостерегитесь, чтобы самому не стать помѣхой своимъ чрезмѣрнымъ участіемъ и заботливостью. Пусть талантъ самъ идетъ, — самодѣятельность для него нужна, какъ воздухъ и солнце, и не задерживайте его развитія своею мнительною опекою. Чѣмъ сильнѣе талантъ, тѣмъ больше его жизнеспособность и тѣмъ полнѣе должно быть наше довѣріе къ его внутреннимъ силамъ.

Еще нѣтъ сорока лѣтъ, какъ съ историческаго пути русскаго народа сдвинуто тяжелое бревно, называвшееся крѣпостнымъ правомъ. Въ чемъ смыслъ реформы 19 февраля 1861 года? Отнюдь не въ освобожденіи крестьянъ *отъ* помѣщиковъ, а въ освобожденіи крестьянъ *и* помѣщиковъ отъ невозможныхъ античеловѣческихъ условій существованія. Восемьдесятъ лѣтъ назадъ вотъ какъ изображались эти условія:

Среди цвѣтущихъ нивъ и горъ  
Другъ человѣчества печально замѣчаетъ  
Вездѣ невѣжества губительный позоръ.  
Не видя слезъ, не внемля стона,  
На пагубу людей избранное судьбой,  
Здѣсь барство дикое, безъ чувства, безъ закона,  
Присвоило себѣ насильственной лозой  
И трудъ, и собственность, и время земледѣльца.  
Склоняся на чуждый плугъ, покорствуя бичамъ,  
Здѣсь рабство тощее влачится по браздамъ  
Неумолимаго владѣльца.  
Здѣсь тягостный яремъ до гроба всѣ влекутъ;  
Надеждъ и склонностей въ душѣ питать не смѣя,  
Здѣсь дѣвы юныя цвѣтутъ  
Для прихоти развратнаго злодѣя.

Какія энергическія слова, какая ужасная картина! Однако во всей полнотѣ здѣсь справедливъ только одинъ стихъ, именно тотъ, который гласитъ: *Здѣсь тягостный яремъ до гроба всѣ влекутъ*. Да, *всѣ*. Я приглашаю читателя пожалѣть вмѣстѣ со мною «неумолимаго владѣльца и развратнаго злодѣя» и чѣмъ онъ былъ неумолимѣе и развратнѣе, тѣмъ горячѣе и глубже пусть будетъ наше состраданіе. Не торопитесь меня посылать ни къ чорту на кулижки, ни къ князю Мещерскому въ *Гражданинъ*, а разсудите вотъ о чемъ: если бы «неумолимаго владѣльца» Степана Михайловича Багрова («Семейная хроника» С. Аксакова) или «развратнаго злодѣя» Михаила Максимовича Куролесова (тамъ же) подмѣнили въ колыбели крестьянскими младенцами Михайломъ Степановымъ и Максимомъ Михайловымъ, то что было бы? Твердо убѣжденъ, что «другу человѣчества» не пришлось бы радоваться отъ такой замѣны Степана Михайломъ и Михаила Максимомъ. Все осталось бы попрежнему и для «земледѣльца» и для «юныхъ дѣвъ», и весь результатъ подмѣны состоялъ бы въ томъ, что Багровъ и Куролесовъ страдали бы не по-дворянски, а по-крестьянски, были бы не невольными мучителями, а невольными мучениками. Сову ли о пень, пень



ли о сову, все совѣ больно, какъ говоритъ наша пословица. Въ крѣпостной зависимости Иванъ ли отъ Петра или Петръ отъ Ивана—все человѣческой душѣ больно, все такъ же страдаетъ человѣческое достоинство, и божеская правда, и самая элементарная справедливость. Я знаю, откуда слышу горячія, протестующія возраженія читателя: «отойдите вы отъ меня съ вашею осиновою объективностью, не могу я одинаково жалѣть палача и жертву, не могу и не хочу я судить отвлеченныя общія *условія*, отказываясь отъ суда надъ живыми личностями. Палачъ тоже жертва, говорите вы? Да вы только взгляните на его довольное, лоснящееся лицо, на его чужимъ трудомъ откормленное брюхо, на его бѣлоснѣжныя руки—такіе ли мученики бываютъ! Вотъ передъ нимъ стоитъ на колѣняхъ обтрепанная, изможденная человѣческая фигура, о чемъ-то со слезами его умоляющая,—вотъ это точно мученикъ, вотъ *этому* страданію я готовъ, какъ Раскольниковъ Достоевскаго, поклониться земно. Страстное, благородное негодованіе Пушкина понятіе мнѣ во сто разъ, нежели ваши хладнокровныя умствованія!» Очень пріятно было бы выслушать такое возраженіе, да рѣдко на него теперь кто рѣшится: оно переноситъ насъ въ тѣ наивныя времена, когда Бѣлинскій грозно требовалъ отъ разума отчета во всѣхъ жертвахъ... испанской инквизиціи! Иначе «я не хочу счастья и даромъ» заявлялъ онъ и «бросаюсь съ лѣстницы внизъ головой» (Письма). Мы старше Бѣлинскаго и его времени на цѣлыхъ полвѣка, и такая пылкость чувствъ намъ въ самомъ дѣлѣ не къ лицу. Конечно, Пушкинъ не исполнилъ бы своего поэтическаго долга, если бы хотъ на полтона понизилъ діапазонъ своей негодующей рѣчи, но вѣдь передъ нимъ стоялъ могучій врагъ, а передъ нами лежитъ покойникъ... «Увижу ли, друзья, народъ освобожденный»—восклидалъ Пушкинъ въ заключеніи того же стихотворенія, а вѣдь мы видѣли воочию, и осязали, и персты свои вкладывали, и все это для насъ пережитое, прошлое... Та-

кая разница въ положеніяхъ естественно должна вызвать и разницу въ отношеніяхъ къ предмету, и вотъ почему я, безъ особаго страха оскорбить нравственное чувство читателя, опять скажу: пожалѣемъ обоихъ, обѣ стороны... Я говорю совершенно серьезно и искренно, что нахожу вполнѣ убѣдительною вотъ эту дворянскую самозащитительную рѣчь: «А если и дѣйствительно свой долгъ мы ложно поняли, и наше назначеніе не въ томъ, чтобъ имя древнее, достоинство дворянское поддерживать охотою, пирами, всякою роскошью и жить чужимъ трудомъ, такъ надо было раньше сказать... Чему учился я? Что видѣлъ я вокругъ? Коптилъ я небо Божіе, сорилъ казну народную и думалъ вѣкъ такъ жить... И вдругъ... Владыко праведный!» Авторъ этой, обращенной къ народу, чистосердечной рѣчи зарыдалъ, и что же народъ? Въ отвѣтъ на эти слезы не расхохотался ли онъ злораднымъ смѣхомъ? Нѣтъ, справедливъ народъ и чутокъ его поэтъ. Произошло вотъ что:

Крестьяне добродушные  
Чуть тоже не заплакали,  
Подумавъ про себя:  
„Порвалась цѣпь великая,  
Порвалась — разсочилася:  
Однимъ концомъ по барину,  
Другимъ — по мужику!“

Такъ и подобаетъ чувствовать великому народу, въ числѣ старыхъ завѣтовъ котораго стоитъ правило: лежачаго не бьютъ. Чувство это нашло себѣ яркое выраженіе и у величайшаго поэта нашего:

Въ бореньи падшій невредимъ,  
Враговъ мы въ прахъ не топтали...

.....  
Они народной Немезиды  
Не узрять гнѣвнаго лица  
И не услышать пѣснь обиды  
Отъ лиры русскаго пѣвца.

IV.

Очерки Терпигорева *Оскудніе*—это, можно сказать, почти сплошная «пѣснь обиды» сословію нашихъ бывшихъ дворянъ-душевладѣльцевъ. Терпигоревъ писалъ *Оскудніе* въ самомъ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, т.-е. спустя двадцать лѣтъ послѣ реформы, но хладнокровно и правдиво отнестись къ своему сюжету все-таки не сумѣлъ. Самъ Терпигоревъ былъ объ этомъ другого мнѣнія и въ предисловіи къ своимъ очеркамъ говорить, что заботится не о художественности, а исключительно о правдѣ своихъ изображеній: «Мнѣ дороже всего, чтобы мои картинки были какъ можно болѣе вѣрны дѣйствительности и чтобы освѣщеніе ихъ было тоже самое настоящее, вѣрное». Черезъ страницу — уже въ самомъ текстѣ очерковъ — мы опять находимъ такое же авторское увѣреніе: «Обращаюсь къ читателю съ усердной просьбой, никого не слушая, повѣрить мнѣ, что, кромѣ самой искренней и строгой правды, я ничего не положилъ въ основу этихъ очерковъ и, кромѣ желанія рассказать все, какъ было, никакой задней мысли не имѣлъ» (т. I, стр. 2). Такое излишество божбы и само по себѣ производитъ неблагопріятное впечатлѣніе для автора, а въ связи съ общимъ тономъ его повѣствованія оно представляется совсѣмъ неумѣстнымъ. Этотъ тонъ — тонъ веселаго, беззаботнаго зубоскальства, а вѣдь, какъ бы то ни было, рѣчь идетъ объ «оскуднѣніи» цѣлаго сословія, сыгравшаго очень большую роль въ дѣлѣ развитія страны, во всей нашей исторіи. Дворянинъ оскудѣлъ; мужикъ не разбогатѣлъ; на кого мы возложимъ наши упованія? На доморощенное *tiers état*, конечно, относительно котораго мы, однако, нашли у Терпигорева вотъ какую замѣчательную страницу—одну изъ очень рѣдкихъ у него серьезныхъ и вдумчивыхъ страницъ. «Читатель, конечно, видѣлъ и увидитъ,—говоритъ Терпигоревъ,—что я вовсе не апологистъ стараго строя; но изъ этого не

слѣдуетъ, что я обязанъ восторгаться новымъ деревенскимъ строемъ, если вижу, что на смѣну одного безобразія являлось другое, и Богъ вѣсть еще которое изъ нихъ хуже и ядовитѣе. Помѣщикъ, лишенный крѣпостного права, на самый худой конецъ, былъ только бесполезный человѣкъ. Купца, въ томъ смыслѣ, какой онъ постарался присвоить себѣ, *заявившись* Осиновкой или Ивановкой, мало назвать бесполезнымъ. И потомъ еще: пятнадцать лѣтъ назадъ, у всѣхъ владѣльцевъ этихъ Осиновокъ и Ивановокъ вы, навѣрно, встрѣтили бы и газеты, и журналы, увидали бы и гравюры, услышали бы и рояль, и спать бы вы легли на чистое бѣлье. Теперь, когда поселились купцы 2-й гильдіи Подъугольниковъ и кабатчикъ Луповъ, кромѣ вонючей солонины, тешки севрюжьи, водки и позеленѣлаго самовара, вы ничего не найдете. Поэтому я и не думаю, чтобы въ данномъ случаѣ отечественный прогрессъ что-либо выигралъ отъ такой замѣны.

«Читатель извѣстнаго закала, пожалуй, готовъ уже погладить меня за это по головкѣ, въ надеждѣ, что я вотъ-вотъ сейчасъ начну сѣтовать, отчего *не поддерживали во время помѣщиковъ*. Нѣтъ, дорогой мой, нельзя было. Еще не было такого примѣра, чтобы то, что не имѣетъ въ самомъ себѣ живой силы, будучи поддержано, оживилось и окрѣпло. Мы изуродовали себя своимъ образованіемъ и воспитаніемъ и, повторяю, такой силы нѣтъ, которая могла бы насъ поднять на ноги и спасти. Кромѣ насъ самихъ, насъ никто не спасетъ и спасти не можетъ».

Вотъ точка зрѣнія и вотъ тонъ, которыхъ слѣдовало бы держаться лѣтописцу «оскудѣнія». Но у Терпигорева такихъ страницъ не наберется и полной сотни,—все занято «сатирическимъ» смѣшкомъ да анекдотическими эпизодами. Превосходное и справедливое опредѣленіе: «помѣщикъ, лишенный крѣпостного права, на самый худой конецъ былъ только бесполезный человѣкъ». Это слова Терпигорева, къ которымъ мы присоединили бы такую формулу: «по-

От  
что  
дв  
в  
J

«Вѣнчикъ вѣнчужный крѣпостнымъ правомъ, въ самомъ  
лучшемъ случаѣ былъ только бесполезный человѣкъ».  
Такъ въ чемъ же дѣло и гдѣ предметъ для сатиры, для  
ироніи?

Всему виною: крѣпъ!  
Знѣя родить змѣенышей,  
А крѣпъ — грѣхи помѣщика.

Этой очевидной истины Терпигоревъ не понималъ или, если и понималъ, то не клалъ ее въ основу своего взгляда на оскудѣніе и на оскудѣвшихъ. Онъ, какъ мы только что видѣли, самъ указывалъ на относительно высокій культурный уровень помѣщиковъ и вмѣнялъ имъ эту культурность въ заслугу и онъ же вотъ что говоритъ: «Я убежденъ, что скажу безусловную истину, утверждая, что помѣщики разорились и продолжаютъ разоряться потому только, что никогда не дѣлали того, что имъ слѣдовало и слѣдуетъ дѣлать. Мужики пахутъ, купцы торгуютъ, духовные молятся, а что дѣлали помѣщики? Они занимались и развлекались всѣмъ, чѣмъ угодно — службой, охотой, литературой, амурами, но только не тѣмъ, чѣмъ имъ слѣдовало заниматься». Итакъ, съ одной стороны гнилая соломина и водка купца сопоставляются съ газетой и журналомъ помѣщика, а съ другой — занятіе помѣщика литературой сопоставляется съ амурами и оказывается дѣломъ ненужнымъ, бесполезнымъ... Чѣмъ же долженъ бы былъ заниматься помѣщикъ? А вотъ: «у тебя есть земля, сиди на ней самъ и дѣтей приучай сидѣть на ней. Поэтому давай имъ воспитаніе и образованіе такое, чтобъ они могли прочнѣе, честнѣе, умнѣе и выгоднѣе сидѣть на ней, а не дѣлай изъ нихъ праздныхъ людей» (т. I, стр. 5). Какому собственно помѣщику преподается эта «безусловная истина» — до-или пореформенному? Судя по тому, что Терпигоревъ говоритъ о помѣщикахъ, *никогда* не дѣлавшихъ того, что имъ слѣдовало дѣлать, нужно заключить, что «безусловная истина» Терпигорева относилась къ обоимъ

Но совершенно понятно, что дореформенный помѣщикъ стремился дать своимъ дѣтямъ «блестящее», т.-е. попросту свѣтское, а не агрикультурное образованіе. «У меня триста Захаровъ», какъ говорилъ Обломовъ, каждый изъ этихъ Захаровъ прекрасно постигъ всѣ тайны трехполья и скотнаго двора и эти его знанія, такъ же какъ и весь его трудъ, въ моемъ полномъ распоряженіи: зачѣмъ, спрашивается, Обломову заботиться о приобрѣтеніи знаній собственно для себя? Захаръ-бурмистръ или Захаръ-староста распорядятся гораздо лучше меня, а мое дѣло только съ чувствомъ и съ толкомъ проживать доставляемыя ими деньги. Гораздо пріятнѣе блистать свѣтскимъ образованіемъ въ столичныхъ гостиныхъ, какъ Онѣгинъ, или лежать на диванѣ, какъ Обломовъ, нежели копаться въ навозѣ, считать тальки и т. п. Въ томъ именно и особенность крѣпостного права, что оно дѣлало ненужнымъ, необязательнымъ какой бы то ни было производительный трудъ для цѣлаго общественнаго класса. Каждый помѣщикъ имѣлъ полную возможность и полное право сказать, какъ фонвизинскій Митрофанъ: не хочу учиться, хочу жениться. Да, въ наилучшемъ случаѣ, крѣпостной помѣщикъ могъ быть только безобиднымъ паразитомъ:

Книги читаетъ, да по свѣту рыщетъ,  
Дѣла себѣ исполнскаго ищетъ,  
Благо наслѣдье богатыхъ отцовъ  
Освободило отъ малыхъ трудовъ.

Вопреки «безусловной истинѣ» Терпигорева, можно утверждать, что самыми лучшими, самыми безвредными помѣщиками были именно тѣ, которые *не сидѣли* на своей землѣ, въ своей вотчинѣ, а блистали въ столицахъ или за границей, какъ Онѣгинъ и Бельтовъ. «Дремъ онъ барщины старинной оброкомъ легкимъ замѣнилъ—мужикъ *судьбу благословилъ*», говоритъ Пушкинъ объ Онѣгинѣ, и, конечно, для мужиковъ Онѣгинъ, какъ баринъ, былъ гораздо пріятнѣе и выгоднѣе, нежели хозяйственный Собакевичъ,

который прочно сидѣлъ на своей землѣ и заставлялъ бабу Елизаветъ Воробья нести мужицкое тягло. Конечно, бурмистръ Власъ, за отсутствіемъ барина, обижалъ бабушку Ненилу и говорилъ ей: «нѣтъ лѣсу, и не жди—не будетъ», а бабушка Ненила утѣшала себя мечтою: «вотъ пріѣдетъ баринъ,—баринъ насъ разсудить». Но баринъ другого типа, хотя бы тотъ же Собакевичъ, что сказалъ бы Ненилѣ? Лѣсу онъ, можетъ быть, и далъ бы ей на починку избы, но солоно пришлось бы ей этотъ лѣсъ! За свой десятокъ бревенъ хозяйственный Собакевичъ впрягъ бы ее, пожалуй, въ соху вмѣсто лошади. Куда ни кинь, все клинъ: такова была несокрушимая сила крѣпостного уклада.

Если же «безусловная истина» была адресована Терпигоревымъ пореформенному помѣщику, то ея запоздалость просто комична. Не перышкомъ по бумажкѣ, а силою фактовъ и вещей могучій голосъ жизни сказалъ помѣщикамъ ту «безусловную истину», которую открылъ Терпигоревъ двадцать лѣтъ спустя послѣ уничтоженія права помѣщиковъ жить чужимъ трудомъ. Въ чемъ же историческій и практический смыслъ помѣщичьяго оскудѣнія, какъ не въ этомъ властномъ приказѣ жизни: трудись, паразитъ! Живи силами *своего* ума, *своихъ* рукъ, *своихъ* знаній! А что при такомъ переворотѣ произошли на первыхъ порахъ (которыя могли растянуться на цѣлыя десятилѣтія — въ силу громадности процесса) разнаго рода замѣшательства, затрудненія, недоразумѣнія, промахи, неловкости, паденія, то это болѣе чѣмъ естественно, это было неизбежно и искать въ этихъ замѣшательствахъ прежде всего комическихъ чертъ — значитъ не стоять на высотѣ задачи, легкомысленно относиться къ социальнымъ явленіямъ первѣйшей важности. Да и просто по человѣчеству судя: неужели *только* смѣшонъ этотъ плачущій некрасовскій помѣщикъ, когда говорить: чему учился я? Что видѣлъ я вокругъ? Правда, Терпигоревъ не сразу перешелъ къ анекдотамъ о томъ, какъ одинъ прогорѣвшій помѣщикъ поступилъ въ наѣзд-

ники, другой—открылъ рулетку, третій—попалъ на содержаніе одновременно къ нѣсколькимъ дамамъ и пр., и пр. Въ первой части, и въ особенности въ первыхъ очеркахъ своего «Оскудѣнія», Терпигоревъ является не столько беллетристомъ, сколько публицистомъ, не рассказчикомъ, а теоретикомъ. Основную мысль Терпигорева, которую онъ считалъ «безусловной истиной», мы видѣли: помѣщики занимались не тѣмъ, чѣмъ имъ слѣдовало заниматься, и учили своихъ дѣтей не тому, чему слѣдовало учить. По мнѣнію Терпигорева, дѣло было очень просто: «съ увѣренностью можно сказать, — говоритъ онъ, — что если бы всеословная воинская повинность была бы у насъ введена двадцать-тридцать лѣтъ назадъ, помѣщичья раса не только не вырождалась бы, какъ теперь, но земля наша кипѣла бы помѣщиками и это былъ пріятный народъ. Я нисколько не шучу. Если бы великая военная реформа совершилась двадцать-тридцать лѣтъ назадъ, сердце и очи помѣщиковъ давно уже не прельщались бы красивыми экипировками, ибо они очень хорошо знали бы, что сыновья ихъ, на ряду со всѣми, будутъ въ извѣстное время, годъ или два непременно, носить ту или другую красивую форму и для этого нѣтъ никакой надобности дѣлать ихъ специалистами совершенно не того дѣла, которое будетъ ихъ кормить, т.-е. не зачѣмъ отрывать ихъ отъ земли» (т. I, стр. 6).

Вотъ взглядъ Терпигорева на причины «оскудѣнія», взглядъ, къ которому онъ въ своей книгѣ часто возвращается именно какъ къ «безусловной истинѣ», никакому сомнѣнію не подлежащей. Не легко понять, чего собственно хотѣлъ Терпигоревъ. Того ли, чтобы помѣщики давали своимъ дѣтямъ не военное, а сельскохозяйственное образованіе? Въ такомъ случаѣ ему слѣдовало указать, гдѣ именно и какія существовали у насъ въ пятидесятыхъ годахъ заведенія, въ которыхъ бы сообщались серьезныя агрономическія познанія? Или Терпигоревъ хотѣлъ того,



чтобы, *не отрывая отъ земли* своихъ дѣтей, наши помѣщики давали имъ такъ называемое домашнее воспитаніе съ помощью Кутейкиныхъ, Цифиркиныхъ и Вральмановъ? Достоинства такого воспитанія слишкомъ общеизвѣстны, чтобы стоило говорить о немъ серьезно. Или Терпигоревъ хотѣлъ бы, чтобы помѣщики отдавали своихъ дѣтей не въ «лошадиныя училища» (по любимому выраженію Терпигорева), а проводили ихъ черезъ ту школу, черезъ которую прошелъ самъ Терпигоревъ, т.-е. черезъ гимназію и университетъ. Но университеты наши имѣли главнѣйшею цѣлью подготовить дѣятелей къ гражданской карьерѣ совершенно такъ, какъ военныя училища готовили къ карьерѣ военной. Подготавливая чиновниковъ всевозможныхъ вѣдомствъ, школа отвѣчала только на запросъ самой жизни. Отнюдь не потому сыновья нашихъ помѣщиковъ дѣлались офицерами, что ихъ, такъ же, какъ и ихъ родителей, прельщала красивая военная форма, а потому, что въ силу всего строя нашей жизни, военная карьера представляла собою и наиболѣе легкую, и наиболѣе почетную, и наиболѣе выгодную дорогу. «Купцы торгуютъ, духовные молятся, крестьяне землю пахутъ, а что дѣлаютъ помѣщики?» иронически спрашиваетъ Терпигоревъ. А помѣщики «служили» — вотъ прямой отвѣтъ. Кѣмъ же совершались всѣ эти наши покоренія, одолженія, усмиренія, какъ не помѣщиками, одѣтыми въ военную форму? Если же помѣщикъ въ чинѣ ротмистра выходилъ въ отставку и предавался въ своихъ владѣніяхъ охотѣ съ борзыми, коннозаводству и прочему сельскому спорту, то это было вполнѣ въ порядкѣ вещей. Да, *въ порядкѣ вещей крѣпостнаго строя*. Гоголевскій Гаврюшка («Игроки»), скажу безъ церемоніи, яснѣе и правильнѣе понималъ сущность крѣпостной жизни, нежели нашъ сатирикъ-анекдотистъ. На вопросъ, что дѣлаетъ его баринъ (Ихаревъ) дома, Гаврюшка отвѣчалъ: «да, какъ—что дѣлаетъ? Извѣстно, что дѣлаетъ. Онъ ужъ баринъ, такъ держитъ себя хорошо: онъ

ничего не дѣлаетъ». Превосходно сказано! Ни законъ, ни общественное мнѣніе, ни личный интересъ — ни что не побуждало помѣщика къ труду даже въ такой формѣ, какъ прохожденіе военной или гражданской службы. Если онъ служилъ и дослуживался до степеней извѣстныхъ, до власти и значенія, то это было дѣло его личнаго характера или даже личнаго вкуса, которому однако ничто не мѣшало выразиться совсѣмъ въ иной формѣ, хотя бы, на примѣръ, въ той, о которой говорилъ тотъ же Гаврюшка: «какъ подумаешь, что за житье господамъ на свѣтѣ! Куда хопъ катая! Въ Смоленскѣ наскучило, поѣхалъ въ Рязань, не захотѣлъ въ Рязань — въ Казань, въ Казань не захотѣлъ, валяй подъ самый Ярославъ». Нельзя винить *людей* въ томъ, въ чемъ виноваты исторически сложившіеся *строй*.

А каковы были люди, къ которымъ Терпигоревъ предъявляетъ свои требованія почти сверхъестественной проницательности и предусмотрительности, это въ очень живыхъ и яркихъ краскахъ изображено тѣмъ же Терпигоревымъ. Вотъ, на примѣръ, картинка, представляющая наше высшее сословіе дореформенныхъ временъ со стороны политическаго развитія и образованія: «Послѣ обѣда, собравшись въ кабинетъ и въ угольной, тѣ, которые не засыпали тотчасъ же на диванахъ, плотно затворяли двери и начинали разговоръ:

«— Это мы въ тотъ же день узнали, какъ пріѣхалъ адъютантъ изъ штаба.

«— Сейчасъ и узнали всѣ?

«— Это вы про пятый пунктъ говорите?

«— Да-съ. Вотъ Ивану Петровичу рассказывалъ...

«И вслѣдъ затѣмъ рассказывалось, якобы при заключеніи предварительнаго мира маршалъ Пелисье, отъ имени Наполеона и Пальмерстона, включилъ въ пятый пунктъ этого договора обязательство уничтожить дворянство по всей имперіи, а земли раздать мужикамъ. Кто первый

пустилъ въ ходъ эту штуку, я не знаю, но разсказу этому вѣрили» (т. I, стр. 9). Хороша, конечно, эта картинка, а вотъ эта, рисующая помѣщиковъ со стороны ихъ агрономическихъ (да и всякихъ) знаній, еще, пожалуй, лучше. «Гдѣ выходъ, гдѣ спасеніе отъ надвигающейся бѣды? Въ рациональномъ хозяйствѣ!

«— Вы говорите: рациональное хозяйство? То-есть?

«— Ну, да-съ: рациональное.

«— То-то что же это такое?

«— А это, изволите видѣть, по-заграничному. Тамъ всякая дрянь идетъ въ дѣло, даетъ доходъ, а у насъ пропадаетъ. Тамъ, наприм., хозяинъ увидитъ, что косточка валяется— велитъ ее поднять. Сегодня косточка, завтра косточка, глядишь—и много ихъ собралось,—можно продать.

«— Нѣтъ-съ, тамъ кости въ муку мелютъ и потомъ этой мукой пашни посыпаютъ.

«— А кто хочетъ и такъ продаетъ кости.

«— Отчего же, и такъ продаютъ, только посыпать пашню выгоднѣе.

«— Ну-съ, и потомъ машины. Тамъ на всякое дѣло машина приспособлена.

«— Вотъ это дѣло!

«Что изъ этого «дѣла» у насъ вышло (прибавляетъ Терпигоревъ отъ себя) и какъ мы эти машины приспособляли—это цѣлая эпопея. Очевидность необходимости перемѣнить радикально весь строй хозяйства мы понимали, но какъ это сдѣлать—этого никто изъ насъ толкомъ не зналъ. Вѣкъ было извѣстно и даже доподлинно извѣстно, что за границей сельское хозяйство устроено какъ-то (однако какъ?) иначе, и что тамъ оно ужасно прибыльно. Тамъ все продаютъ: и молоко, и сливки, и творогъ, и сметану, и простоквашу, а мы продаемъ только одно масло. Надо и намъ все это продавать. А кто будетъ покупать?» (т. I, стр. 38).

Дальше Терпигоревъ во многихъ картинахъ рисуетъ эту

*эпопею* рациональнаго хозяйства новоявленныхъ агрономовъ, ничего, кромѣ календарей, отъ роду не читавшихъ, и, конечно, эти картины преисполнены комизма, но вѣдь смѣшонъ и полуторогодовалый ребенокъ, когда въ первый разъ, безъ помощи няньки, *самъ* отваживается пройти всю комнату изъ конца въ конецъ. Будете ли вы однако смѣяться надъ нимъ? И если улыбнетесь надъ его неловкими, неувѣренными движеніями, то въ вашей улыбкѣ не будетъ ли больше всего участливой и добродушной снисходительности и ужъ ни въ какомъ случаѣ не будетъ насмѣшки? Это я прямо по адресу Терпигорева говорю, сатирическая *улыбка* котораго зачастую бывала ненужно-ядовита и оскорбительна. Между тѣмъ Терпигоревъ однажды всталъ на совершенно правильную, по-нашему, точку зрѣнія, но, какъ художникъ, не удержался на ней, ударившись въ анекдотичность. «Много причинъ,—говоритъ онъ,—почему были продѣланы эти пошлости; но все-таки главною между ними, мнѣ кажется, слѣдуетъ считать ненормальное и страшно угнетенное умственное состояніе наше, происшедшее сперва отъ ожиданія и томленія передъ реформой, а потомъ перепугъ при объявленіи «Положенія». Что бы тамъ ни разсказывали, а я крѣпко держусь того мнѣнія, что это-то томленіе и этотъ перепугъ подѣйствовали губительно на нашу помѣщичью логику. Собственно съ ума сошло не особенно много въ силу этихъ причинъ: отъ апоплектического удара умерло гораздо больше, но одурѣвшихъ или, какъ у насъ говорятъ, рехнувшихся было много. Кто былъ впечатлительнѣе и у кого хвостъ былъ больше замазанъ, понятно и перепугался больше и больше рехнулся. А такъ какъ не испытывшихъ никакого впечатлѣнія отъ объявленія «Положенія» не было, такъ же точно, какъ не было и такихъ, у кого хвостики были бы совершенно чисты, то полагаю, и можно сказать, что въ массѣ мы всѣ немножко опалѣли» (т. I, стр. 40).

А на слѣдующей страницѣ Терпигоревъ прямо заявляетъ,

что помѣщики исхудали, «потому что и сами они и дѣти ихъ ни къ какому самостоятельному труду не были подготовлены». Совсѣмъ, значить, не въ пристрастіи помѣщиковъ къ военной формѣ заключалась бѣда,—пристрастіи, которое Терпигоревъ «съ увѣренностью» думалъ бы умѣрить всеобщую воинскою повинностью, введенною «на двадцать-тридцать лѣтъ раньше». Между тѣмъ на тему объ этомъ пристрастіи Терпигоревъ рассказываетъ дальше множество анекдотовъ.

Великая реформа готовилась у насъ не общественнымъ, а канцелярскимъ путемъ, не при свѣтѣ гласнаго обсужденія, а въ туманѣ тайны. Вотъ одна изъ главнѣйшихъ причинъ того «страшно угнетеннаго умственнаго состоянія» помѣщиковъ, о которомъ вполне справедливо говоритъ Терпигоревъ. Въ состояніи этомъ они не только неповинны, какъ классъ, какъ сословіе,—наоборотъ, этою умственною угнетенностью помѣщиковъ объясняются и *оправдываются* ихъ зачастую не здравомысленныя дѣйствія въ то время. Положимъ, вы имѣете извѣстное положеніе, извѣстную специальность, извѣстный заработокъ. Вы освоились съ этимъ положеніемъ, привыкли къ этой специальности, считаете ее, быть можетъ, даже своимъ призваніемъ—и вотъ, въ силу внѣшнихъ обстоятельствъ, вамъ приходится ее покинуть и приспособляться къ новой средѣ. Чиновнику, противъ воли ставшему купцомъ, и купцу, превратившемуся въ чиновника, одинаково на первыхъ порахъ будетъ трудно, угнетенное состояніе духа въ равной мѣрѣ будетъ тяготѣть надъ ними. А вѣдь переворотъ, постигшій помѣщиковъ, былъ гораздо глубже и радикальнѣе, касался не только экономическихъ и политическихъ, но и нравственныхъ основъ быта. Легко представить себѣ обезсиливающее, обезкураживающее вліяніе тѣхъ безчисленныхъ «слуховъ», извѣстій, предположеній, которые проникали изъ столицы въ провинціальную глушь и которые были совершенно неизбѣжны и естественны, какъ бы ни была велика

ихъ нелѣпость въ фактическомъ смыслѣ. Если правда лежить подѣ спудомъ, то по свѣту разгуливаетъ кривда и энervируетъ не однихъ только довѣрчивыхъ простаковъ, а всѣхъ безъ исключенія. Въ такомъ состояніи дѣлъ гораздо болѣе трагическихъ, серьезныхъ элементовъ, нежели комизма, но у Терпигорева рассказы о такихъ «недоразумѣніяхъ» всегда отличаются самою беззаботною веселостью. Вотъ, наприм., приходитъ къ помѣщику огромная толпа его крѣпостныхъ мужиковъ, узнавшихъ о прибытіи машинъ для «раціональнаго хозяйства».

«— Дмитрій Павловичъ! Позволь, батюшка, машинки твои поглядѣть! Ужъ то-то про нихъ рассказываютъ, что и подумать невозможно.

«— Машины? Да... оно конечно... Однако что жъ я вамъ сдѣлать?»

«Я дернулъ его за рукавъ. Онъ стоялъ совершенно дуракомъ передъ мужиками: растерянный, перепуганный. Тѣ тоже смотрѣли на него и ничего не понимали, что съ нимъ сдѣлалось». Сцена глупая—что и говорить. Но для обѣихъ заинтересованныхъ сторонъ она не представляла собою ничего забавнаго,—позабавился за ихъ счетъ только Терпигоревъ и своего читателя позабавилъ. Между тѣмъ въ такомъ именно тонѣ написана вся исторія дворянскаго «оскудѣнія» и, конечно, въ такомъ же тонѣ написалъ бы Терпигоревъ и исторію мужицкаго оскудѣнія, какъ онъ выражалъ на это надежду («и это моя завѣтная мечта») въ предисловіи къ своей книгѣ. «Великая», «благодѣтельная» реформа принесла съ собою оскудѣніе для обѣихъ сторонъ, очевидно, есть что-то внутреннее противорѣчивое въ такомъ взглядѣ. Или реформа была совсѣмъ неблагодѣтельна (а этого Терпигоревъ не говорилъ и—какъ человекъ просвѣщенный и развитой—не могъ говорить), или она принесла съ собою нѣчто такое, что совсѣмъ не вяжется съ понятіемъ объ «оскудѣніи». Объ *этой* сторонѣ дѣла Терпигоревъ однако не говорить ни какъ публицистъ, ни какъ беллетристъ,—

онъ до конца сохраняетъ свою отрицательную позицію сатирика-анекдотиста. Послѣдовавшія за крестьянскою реформой судебная и земская реформы, т.-е. собственно ихъ преломленіе въ дворянской средѣ, изображаются Терпигоревымъ въ тѣхъ же краскахъ: никто не понималъ ихъ просвѣтительной сущности, но наиболѣе ловкіе изъ дворянъ почувствовали, что «запахло пирогомъ», и быстро пристроились къ этому пирогу, тѣмъ самымъ какъ бы оправдывая скептицизмъ мужиковъ, спрашивавшихъ только (по Терпигореву) при извѣстіяхъ о новыхъ порядкахъ: почему съ души? Какая, подумаешь, курьзная страна—наше бѣдное отечество! Начитавшись Терпигорева, хочется воскликнуть: есть ли въ семь полѣ живъ человѣкъ?

Есть, читатель, не будемъ сомнѣваться въ этомъ, не дадимъ омрачить себя никакому сатирико-анекдотическому остроумію. Живъ народъ русскій и жива его интеллигенція, та безсословная интеллигенція, въ составъ которой съ равнымъ правомъ входятъ и крестьянинъ и дворянинъ, не *оскудѣвшіе* сокровищами науки и знанія, а, наоборотъ, обогатившіеся ими, благодаря именно обновленному строю жизни. У насъ нѣтъ такого общественнаго класса, въ которомъ бы не было того, что, по слову Бѣлинскаго, не могло бы быть хорошо или дурно направляемо, а стало быть нѣтъ и матеріала *только* для краснаго словца (см. эпиграфъ) анекдотической сатиры. Самый беззаботный тонъ сатиры Терпигорева доказываетъ, что у насъ *не все неблагополучно*, не все только жадные да неумѣлые, глупые да легкомысленные: Терпигоревъ былъ слишкомъ хорошій гражданинъ и патріотъ, чтобы съ легкимъ сердцемъ питать такое убѣжденіе. Пусть читатель вчитается въ другое большое произведеніе Терпигорева — въ его «Потревоженные тѣни», которое менѣе, пожалуй, интересно, нежели «Оскудѣніе» потому, что цѣликомъ относится къ дореформенному прошлому нашему, но по своему грустно-важному тону, по негодующему чувству, насквозь его проникающему, сто-

ить гораздо выше, нежели развеселое «Оскудѣніе». Возмужалъ ли талантъ Терпигорева въ этомъ болѣе позднемъ его произведеніи, или свойства самаго сюжета обязывали писателя къ серьезности, или дѣйствовали обѣ эти причины одновременно, но «Потревоженные тѣни» составляютъ наиболѣе цѣнный вкладъ Терпигорева въ художественную литературу. Это не сатира, это почти эпосъ, приближающійся по своимъ достоинствамъ къ «Пошехонской старицѣ» Салтыкова. Зато о прочихъ повѣстяхъ и разсказахъ Терпигорева не стоитъ и говорить: это не болѣе, какъ бойкіе фельетоны, на которые безъ пощады размѣнивалъ свой недюжинный талантъ даровитый писатель-журналистъ. Это какая-то беллетристическая полемика по разнымъ поводамъ дня, о которыхъ теперь изгладилось болѣею частью всякое воспоминаніе.

---



1891 г.

## Больной талантъ.

(Собраніе сочиненій Н. С. Лѣскова. Десять томовъ. Спб., 1889—1891 гг.).

---

„Азъ рѣхъ: Господи, помилуй мя, исцѣли душу мою, яко согрѣшихъ Тебѣ“.

### I.

Г. Лѣсковъ такъ часто и такъ охотно цитируетъ въ своихъ произведеніяхъ разнаго рода священные тексты и изреченія, что, подражая ему, и мы позволяемъ себѣ взять эпиграфомъ къ этой статьѣ прекрасныя лирическія слова всѣмъ и каждому извѣстнаго славословія.

Смыслъ этихъ словъ, покаянное чувство, выражаемое ими, не должны бы остаться чуждыми г. Лѣскову. Скажемъ безъ обиняковъ, *душа* г. Лѣскова въ самомъ дѣлѣ нуждается въ *исцѣленіи*, первымъ шагомъ къ которому, конечно, можетъ быть именно сознаніе своей *грѣховности*, своихъ ошибокъ, своихъ уклоненій и пристрастій. Говоря такимъ образомъ, я не желаю сказать ничего колкаго и непріятнаго для г. Лѣскова, какъ не желаю вообще ни полемизировать съ нимъ, ни—еще того менѣе—заднимъ числомъ «отдѣлывать» его. Дѣятельность г. Лѣскова хотя не кончена, но заключена, для нея наступаетъ исторія и о ней можно судить *sine ira*. Смыслъ моего замѣчанія о *грѣховности* г. Лѣскова заключаетъ въ себѣ, въ чисто-

литературномъ отношеніи, нѣчто даже очень лестное для него. Дѣло въ томъ, что талантъ г. Лѣскова принадлежитъ къ разряду тѣхъ талантовъ, которые представляютъ собою не мертвую, внѣшнюю, холодную техническую способность, а живую нравственную силу. Такіе таланты дѣятельны, бодры и здоровы лишь до тѣхъ поръ, пока писателемъ не утрачено душевное равновѣсіе, пока не нарушена его духовная гармонія, пока между умомъ и совѣстью нѣтъ разлада и борьбы. Въ теченіе долгой литературной карьеры своей всегда ли г. Лѣсковъ умѣлъ соблюсти это равновѣсіе? Всегда ли его перомъ руководило убѣжденіе, всегда ли онъ былъ искрененъ? Нѣтъ, далеко не всегда, — ниже мы докажемъ это, — и вотъ причина, почему значительный и оригинальный талантъ г. Лѣскова есть въ тѣсномъ смыслѣ слова *болной талантъ*.

Остаться самимъ собою, несмотря на измѣненіе обстоятельствъ, это — одна изъ первѣйшихъ и, въ то же время, труднѣйшихъ обязанностей всякаго писателя и даже всякаго человѣка. А что значитъ остаться собою? Это значитъ просто-напросто сохранить свое человѣческое достоинство. А что такое человѣческое достоинство? Это — сознаніе своего права, которое есть вмѣстѣ и обязанность, мыслить и дѣйствовать, подчиняясь только указаніямъ своего ума и контролю своей совѣсти, не позволяя не только овладѣть вашею дѣятельностью, но и повліять на нее низшимъ свойствамъ своей природы — своему самолюбію, честолюбію, трусости и т. п. Есть избранные люди, для которыхъ исполненіе этого долга не представляетъ никакихъ трудностей, потому что правдивость и искренность — это ихъ стихія, это воздухъ, которымъ они дышатъ и безъ котораго не могутъ существовать. «Имярекъ по самой природѣ своей, по всему складу своей жизненной дѣятельности не могъ не остаться вѣрнымъ той музѣ, которая, однажды озаривъ его существованіе, уже не оставляла его. У него и другихъ словъ не было, кромѣ тѣхъ, которыя охарактеризо-

вали его дѣятельность, такъ что если бы онъ даже хотѣлъ сказать нѣчто иное, то запутался бы въ своихъ усиліяхъ». Вотъ именно: у людей и талантовъ этого рода *другихъ словъ нѣтъ*, кромѣ тѣхъ, которыя диктуются имъ ихъ совѣстью.

Диктуешь совѣсть,  
Перомъ сердитый водить умъ,—

такова краткая и точная программа литературной дѣятельности, достойной настоящаго писателя, завѣщанная намъ Лермонтовымъ. Кто умѣетъ такъ писать или, еще того лучше, кто не умѣетъ и не можетъ писать иначе, тому нѣтъ надобности молить объ исцѣленіи своей души.

Какъ думаетъ насчетъ этого предмета г. Лѣсковъ? По-видимому, точно такъ же, какъ и мы, т.-е. поставляя для мыслящаго человѣка превыше всего его духовную свободу,—не ту свободу, которая состоитъ въ отсутствіи всякаго контроля и регулятора и которую гораздо правильнѣе назвать безшабашностью, а ту свободу, которая заключается въ независимости отъ всякихъ внѣшнихъ давленій и мелкихъ эгоистическихъ побужденій. Непосредственно отъ своего авторскаго лица г. Лѣсковъ по этому предмету, кажется, не высказывался, но у его персонажей мы найдемъ нужныя намъ указанія. Вотъ, наприм., небольшой отрывокъ изъ одного *идейнаго* разговора:

«— Онъ мнѣ не нравится.

«— Съ какихъ это поръ? Вы, кажется, съ нимъ вчера соглашались?

«— Да мало ли что соглашался? Съ инымъ и соглашаешься, да не любишь, а съ другимъ и не согласишь, да ладишь.

«— Такъ вы вотъ какой: вы единомышленниковъ, значить, немного цѣните?

«— Да вы къ чему мнѣ это говорите? Мыслить всякъ для себя.

«— А партія?

«— Партія? Такъ это, значить, я ся крѣпостной, что ли, что я ради партіи долженъ подлеца въ честь ставить?.. А чтобъ она этого не дожидалась, сія партія!»

Такъ разсуждаетъ одинъ изъ симпатичныхъ автору персонажей. Что жъ? Онъ разсуждаетъ правильно. Ни для какихъ цѣлей человекъ не долженъ отказываться отъ своей умственной самостоятельности, никакая партія не въ правѣ закрѣпощать своихъ приверженцевъ. Если «подлецъ» придерживается тѣхъ же мнѣній, которыя раздѣляемъ и мы, это, конечно, нисколько не ограждаетъ его отъ нашего суда и осужденія и даже болѣе того: это осужденіе наше будетъ тѣмъ безпощаднѣе, чѣмъ дороже для насъ идеи и принципы, имѣвшіе несчастье привлечь къ себѣ «подлеца». Но сущность дѣла не въ этомъ содержится. Очень непріятно имѣть своимъ единомышленникомъ «подлеца»; но вы совершите не только логическую, но и нравственную ошибку, если свое осужденіе личности этого единомышленника перенесете на исповѣдуемое имъ и вами ученіе. Вѣдь, въ числѣ ближайшихъ учениковъ Христа былъ Іуда, предательство котораго однако же нисколько не омрачило чистоты христіанства. Это — во-первыхъ. А во-вторыхъ, въ практической жизни дѣла этого рода дѣлаются нѣсколько иначе. Не говоря уже о почти общей слабости людей возвышать себя путемъ приниженія другихъ, какъ фарисей восхвалялъ себя на счетъ мытаря, сплошь да рядомъ разнаго рода крѣпкіе эпитеты, раздаваемые людьми, характеризуютъ не тѣхъ, къ кому они прилагаются, а тѣхъ, кто неосмотрительно расточаетъ ихъ. Это часто справедливо, когда идетъ рѣчь объ отдѣльной личности, и всегда справедливо, когда имѣется въ виду цѣлый классъ или корпорація. Вотъ, наприм., наши литераторы, — не аристократія литературы, а литературный плебсъ, — газетные беллетристы, рецензенты, фельетонисты, репортеры, хроникеры и т. п. Можно имѣть какое угодно мнѣніе о значеніи этихъ дѣятелей (хотя, въ скобкахъ ска-

зять, какое же другое мнѣніе можно имѣть на этотъ счетъ, кромѣ того, что эти люди дѣлаютъ не большое, но настоятельно-нужное дѣло, что они дѣйствуютъ въ духѣ и въ интересахъ той самой культуры, безъ помощи которой и величайшій геній остался бы антропофагомъ?), но, все-таки, что скажете вы о такой огульной характеристикѣ ихъ.

«Жизнь этихъ несчастныхъ поистинѣ достойно глубочайшаго состраданія. Эти люди большею частью не принесли съ собою въ жизнь ничего, кромѣ тупого ожесточенія, воспитаннаго въ нихъ завистью и нуждой, среди которыхъ прошло ихъ печальное дѣтство и сгорѣла, какъ нива въ бездождіе, короткая юность. Въ ихъ душахъ, какъ и въ ихъ наружности, всегда есть что-то напоминающее заморенныхъ въ щенкахъ собакъ: они безсильны и злы, — злы на свое безсиліе и безсильны отъ своей злости. Привычка видѣть себя заброшенными и никому ни на что ненужными развиваетъ въ нихъ алчную, непомѣрную зависть, непостижимо возбуждаемую всѣмъ на свѣтѣ, и къ тому есть, конечно, свои основанія. Та бѣдная дѣвушка, которая, живя о-бокъ квартиры такого сосѣда, достаетъ себѣ хлѣбъ позорною продажей своихъ ласкъ, и та, кажется, имѣетъ въ своемъ положеніи нѣчто болѣе прочное: однажды посягнувшая на свой позоръ, она, по крайней мѣрѣ, имѣетъ за собою преимущество готоваго запроса, за нее — природа съ ея неумолимыми требованіями и разнужданность общественныхъ страстей. У бѣднаго же писака, перебивающагося строченіемъ различныхъ мелочей, нѣтъ и этого: въ его положеніи мало быть готовымъ на позорную торговлю совѣстью и словомъ, — на его спекуляцію часто нѣтъ спроса, и онъ долженъ постоянно самъ спекулировать на сбытъ своего писанія. Отсюда и идетъ всякое вѣроятіе превосходящая ложь, продаваемая въ самыхъ крупныхъ дозахъ, за самую дешевую цѣну».

Повторяю свой вопросъ: что скажете вы объ этомъ? Прежде всего ясно, что эта характеристика принадлежитъ

не аристократу литературы. Давно извѣстно, что чѣмъ выше стоитъ человѣкъ, тѣмъ меньше въ немъ высокомерія и тѣмъ больше снисходительности, тѣмъ шире его готовность признать чужія заслуги, какъ бы онѣ ни были малы. Далѣе, въ такой же мѣрѣ ясно, что авторъ этой характеристики былъ омраченъ недобрымъ личнымъ чувствомъ, которое подсказывало ему и оскорбительнымъ сравненіемъ и изысканно-ядовитые термины. *Бѣдный писака, перебивающійся строченіемъ различныхъ мелочей... позорная торговля совѣстью... ложь, продаваемая въ крупныхъ дозахъ, за дешевую цѣну...* Энергія этихъ эпитетовъ слишкомъ непропорціональна объекту обличенія, чтобы мы могли повѣрить искренности и безпристрастію обличителя. Въ десяти томахъ г. Лѣскова,—чтобы не далеко ходить за примѣромъ,—не мало «различныхъ мелочей», о которыхъ нѣтъ большого резона говорить, что они «начертаны», а не «настрочены», и, однако, г. Лѣсковъ справедливо считаетъ себя не писакой, а писателемъ. Что же касается *торговли совѣстью и лжи, продаваемой за дешевую цѣну*, то, конечно, такая торговля преступна даже въ томъ случаѣ, когда совершается подъ угрозой голода, подъ тяжкимъ давленіемъ нужды, но все-таки тутъ уместнѣе собогѣзнованіе, нежели негодованіе, которое справедливѣе приберечь для добровольныхъ торговцевъ совѣстью, не составляющихъ рѣдкаго исключенія ни въ нашей жизни, ни въ нашей литературѣ.

Приведенная выше характеристика нашихъ литераторовъ принадлежитъ, какъ понялъ, конечно, читатель, г. Лѣскову. Она свидѣтельствуетъ о такомъ неспокойномъ состояніи духа автора, которое представляетъ собою совершенно богѣзенное явленіе. Не дѣло литературной критики разыскивать біографическіе факты, которые могли бы объяснить чрезвычайное раздраженіе и даже озлобленіе г. Лѣскова. Въ статьѣ *Западный человекъ* г. Лѣсковъ очень опредѣленно намекаетъ на эти факты, но разбираться въ этой

запутанной, забытой и мелкой исторіи намъ нѣтъ нужды. Пусть вся юридическая, фактическая и даже нравственная правда принадлежитъ въ этой исторіи г. Лѣскову,—онъ, все-таки, останется не правъ въ смыслѣ болѣе высокому, не правъ тѣмъ, что дозволилъ личному чувству стать главнымъ стимуломъ своей дѣятельности, антипатію къ *отдѣльнымъ личностямъ* положилъ въ основу своей оппозиціи къ *партіи*. Это было, во-первыхъ, нелогично, въ силу простого соображенія, что

Антоновъ есть огонь, но нѣтъ того закону,  
Чтобы огонь всегда принадлежалъ Антону.

Это было, во-вторыхъ, неблагоприятно, потому что подчинять свои *воззрѣнія* своимъ *впечатлѣніямъ* значить просто-напросто косить самого себя по ногамъ, обезсилить свой талантъ.

## II.

Литературный талантъ г. Лѣскова, рассматриваемый въ его чистомъ, отвлеченномъ, *неиспорченномъ* видѣ, представляется силой и недюжинной и симпатичной. Это реалистическій талантъ бытописателя и психолога, но такого бытописателя, котораго привлекають наименѣе изслѣдованныя стороны жизни, и такого психолога, который ищетъ не столько типовъ, сколько исключеній, котораго интересуютъ не общія нормальныя человѣческія свойства, а именно уклоненія отъ нормы въ лучшую или худшую сторону. Въ этомъ отношеніи г. Лѣсковъ напоминаетъ отчасти Достоевскаго, но съ тѣмъ выгоднымъ для него отличіемъ, что Достоевскій любилъ изображать полуфантастическихъ героевъ зла, въ родѣ Карамазова отца, Свидригайлова, князя изъ *Униженныхъ и оскорбленныхъ* и автора *Записокъ изъ подполья*, а г. Лѣсковъ любитъ рисовать рыцарей добра въ родѣ протоіерея Туберозова, неслетельнаго Голована, трехъ праведниковъ, Шерамура и т. д. У г. Лѣскова много оригинальности, которая была бы его крупнымъ достоинствомъ,

если бы—такова ужъ вѣчная и горькая судьба этого писателя—ее не портило оригинальничанье автора. Не пересолить г. Лѣсковъ никакъ не можетъ. Онъ найдетъ типъ, или образъ, или характеръ, который выдѣляется изъ ряда уже по внутреннимъ свойствамъ своимъ, и этого, конечно, было бы слишкомъ достаточно, чтобы привлечь самое пристальное вниманіе читателя. Но г. Лѣскову этого мало. Точно не довѣряя разумѣнію читателя, онъ спѣшитъ разукрасить своего героя чисто-внѣшними и почти всегда безвкусными атрибутами, т.-е. или назоветъ его какимъ-нибудь сверхъестественнымъ именемъ (Шерамуръ, Ванскокъ, Овцебыкъ и проч., и проч.), или заставитъ изъясняться какимъ-то вычурнымъ, каламбурнымъ языкомъ (клеветонъ вмѣсто фельетонъ, укушетка вмѣсто кушетка, ори сто кратъ, вмѣсто аристократъ, и проч., и проч.), или, наконецъ, припишетъ ему нѣчто «несодѣянное», т.-е. такой поступокъ, какого ни одинъ человѣкъ, въ здоровомъ умѣ и твердой памяти, не совершить. Вотъ, наприм., оригинальная фигура дьякона Ахиллы Десницына (*Соборяне*). Это не сложный, но для художника-психолога очень благодарный образъ простодушнаго безсознательнаго героя, который «межъ дѣтей ничтожныхъ міра, быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй» въ обыкновенное время, но у котораго въ рѣшительные и трагическіе моменты жизни внезапно обнаруживаются силы, привлекающія къ нему и сердца и взоры людей. Тутъ есть надъ чѣмъ остановиться и художнику, и психологу, и философу, но г. Лѣскову не по силамъ удержаться на этихъ высотахъ. Желая отгнать такъ, чтобы въ глаза бросалось, «увлекательность», т.-е. способность къ увлеченію своего Ахиллы, г. Лѣсковъ рассказываетъ о немъ такой эпизодъ. Состоя до своего дьяконства архіерейскимъ пѣвчимъ, Ахилла долженъ былъ однажды пѣть въ церкви басовое соло на словахъ «и скорбьми уязвленъ». Произошло слѣдующее: «Ахилла позабылъ весь міръ и себя самого, и удивительнѣйшимъ обра-



зомъ, какъ труба архангельская, то быстро, то протяжно возглашаетъ: И скорбьми уязвленъ, уязвленъ, у-й-я-з-в-л-е-н-ъ, у-й-я-з-в-л-е-н-ъ, уязвленъ». Силой останавливаютъ Ахиллу отъ не предусмотрѣнныхъ излишнихъ повтореній, и концертъ конченъ. Но не конченъ онъ былъ въ «увлекательной» головѣ Ахиллы, и среди тихихъ привѣтствій, приносимыхъ владыкѣ подходящую къ его благословенію аристократіей, словно трубный гласъ съ неба, съ клироса снова упалъ вдругъ: «Уязвленъ, уй-яз-вленъ, уй-я-з-в-л-е-н-ъ». Это поэтъ ничего не понимающій въ своемъ увлеченіи Ахилла; его дергаютъ—онъ поетъ; его осаживаютъ внизъ, стараясь скрыть за спинами товарищей,—онъ поетъ: «уязвленъ»; его, наконецъ, выводятъ вонъ изъ церкви, но онъ все-таки поетъ: «уй-я-з-вле-н-ъ».

— Что тебѣ такое? — спрашиваютъ его съ участіемъ сердобольные люди.

— «Уязвленъ»,—воспѣваетъ, глядя всѣмъ имъ въ глаза, Ахилла, и такъ и остается у дверей притвора, пока струя свѣжаго воздуха не отрезвила его экзальтацію.

Г. Лѣсковъ способенъ къ удачной и даже широкой концепціи, но справиться съ нею до конца, выдержать ее до подробностей у него не хватаетъ или таланта или самообладанія, и въ результатѣ получается произведеніе, въ которомъ истинно-художественныя страницы чередуются съ неправдоподобными и вульгарными анекдотами. Анекдотъ объ «уязвленномъ» Ахиллѣ — одинъ изъ тысячи такихъ же анекдотовъ, рассказанныхъ авторомъ съ совершенно серьезными цѣлями, какъ художественныя иллюстраціи, какъ психологическіе комментаріи. Выходитъ не столько оригинально, сколько эксцентрично, курьезно и *чудаковато*.

Какъ бытописатель, г. Лѣсковъ обладаетъ большимъ матеріаломъ, большою житейскою опытностью и бывалостью. Повидимому, ему хорошо знакомы самые разнообразныя наши слои, начиная съ деревенскаго люда и кончая сто-

личною аристократіей. Мы заключаемъ это по множеству отрывочныхъ и какъ бы случайныхъ, но мѣткихъ наблюденій, сдѣланныхъ авторомъ, и которыя онъ любитъ облекать въ форму афоризмовъ, надолго остающихся въ памяти. Но странное и пагубное желаніе чѣмъ-нибудь отличиться, какъ-нибудь особенно блеснуть, обуревающее г. Лѣскова, вредить ему и какъ бытописателю. Обстоятельно, живо и эффектно рассказавши, наприм., какъ мужики и бабы, борясь противъ скотской эпидеміи, хоронятъ «коровью смерть», г. Лѣсковъ спѣшитъ удивить насъ своимъ... юморомъ, что ли, и представляетъ такой мужицкій діалогъ: «Звѣзда—стражница, звѣзда все видитъ, она видѣла, какъ Кавель Кавеля убилъ. Мѣсяцъ увидать, да испугался, какъ христіанская кровь брызнула, и сейчасъ спрятался, а звѣзда все надъ Кавелемъ плыла, Богу влодѣя показывала.

«— Кавеля?

«— Нѣтъ, Кавеля.

«— Да вѣдь кто кого убилъ-то: Кавель Кавеля?

«— Нѣтъ, Кавель Кавеля.

«— Врешь, Кавель Кавеля.

«Споръ становился очень затруднительнымъ, только было слышно: «Кавель Кавеля», «нѣтъ, Кавель Кавеля». На чьей сторонѣ была правда ветховавѣтнаго факта, различить было невозможно, и дѣло грозило дойти до брани».

Можетъ быть, найдутся такіе читатели, которымъ эта сцена покажется забавной, и они отдадутъ честь остроумію автора, но врядъ ли найдутся такіе, которые серьезно повѣрятъ въ самую возможность такихъ удивительныхъ преппирательствъ. Гориллы и орангъ-утаны лучше понимаютъ другъ друга, нежели мужики г. Лѣскова, и самъ авторъ, конечно, это сознаетъ; но что прикажете дѣлать?

Эта наклонность къ преувеличенію, къ пересолу, къ хватанію черезъ край является не столько органическимъ изъяномъ дарованія г. Лѣскова, сколько результатомъ простого несоотвѣтствія между силами и намѣреніями писа-

теля. Если у пѣвца не хватаетъ въ груди голоса, онъ беретъ высокія ноты горломъ; если актера не слушается мимика, онъ старается поправить дѣло усиленною жестикующаею; если живописецъ хочетъ непременно удивить вселенную,—а удивить ему нечѣмъ,—онъ рисуетъ голую женщину и показываетъ ее при электрическомъ освѣщеніи; если композиторъ желаетъ блеснуть новизною и самостоятельностью, онъ пишетъ пьесу—«Извозчикъ, потерявшій ночью кнутъ», и кладетъ на ноты непечатныя ругательства раздосадованнаго извозчика. Это, повторяю, не недостатокъ способностей, а недостатокъ самообладанія и самоопредѣленія, не вина таланта, который, въ предѣлахъ своихъ силъ, готовъ и можетъ дѣйствовать плодотворно, а вина обладателя и хозяина этого таланта, взваливающего на него неудобноносимое бремя. Всякій ребенокъ понимаетъ, что выше головы не прыгнешь, но этой простой истины зачастую не понимаютъ очень многіе талантливые писатели, артисты и художники.

Размѣрами своего таланта г. Лѣсковъ могъ бы быть очень доволенъ. Это, конечно, не первой величины звѣзда, въ родѣ тѣхъ, напримѣръ, изъ которыхъ сложилась наша извѣстная беллетристическая плеяда, но все-таки это звѣзда, которая видна даже невооруженному глазу. По объему, а также и по нѣкоторымъ свойствамъ талантъ г. Лѣскова очень близокъ къ таланту Мельникова (Андрея Печерскаго), а изъ беллетристовъ другого лагеря г. Лѣскова можно поставить рядомъ съ Авдѣевымъ. Какъ видите, это очень почетное литературное положеніе: какъ Мельниковъ стоитъ непосредственно за Писемскимъ и Авдѣевъ за Тургеневымъ, такъ г. Лѣсковъ стоитъ непосредственно за Достоевскимъ. Но литературная судьба г. Лѣскова сложилась гораздо менѣе счастливо, нежели судьба его коллегъ: въ то время, какъ Мельниковъ съ эпическимъ спокойствіемъ (точнѣе—съ чиновническимъ хладнокровіемъ) повѣствовалъ о жизни нашихъ раскольниковъ

«въ дѣсахъ» и «въ горахъ», и въ то время, какъ Авдѣевъ съ фанатизмомъ неофита перелагалъ на русскіе нравы поистрепавшійся жоржизандизмъ, г. Лѣсковъ очутился на перепутьи и порѣшилъ, что итти дальше «некуда». Подобно своему Ахиллѣ, онъ былъ глубоко «уязвленъ», и это уязвленіе придало двойственный характеръ его дѣятельности, внесло въ нее путаницу и разладицу. По натурѣ и по роду своего таланта—мирный повѣствователь, г. Лѣсковъ увидѣлъ себя вынужденнымъ выступить въ роли политическаго борца, тенденціознаго беллетриста и полемиста.

Здѣсь именно и заключается ключъ къ разгадкѣ литературной дѣятельности г. Лѣскова и критерій для ея справедливой критической оцѣнки. Читатель ни на минуту не долженъ забывать, что у этого писателя почти всегда двѣ цѣли, двѣ заботы. Одна заключается въ томъ, чтобы, не мудрствуя лукаво, рассказать намъ что-нибудь интересное и поучительное о жизни и о людяхъ; другая состоитъ въ томъ, чтобы кого-то покарать, кому-то отомстить и въ свою очередь «уязвить». Сообразно съ этимъ г. Лѣсковъ часто въ одномъ и томъ же произведеніи является въ двухъ видахъ: на одномъ десяткѣ страницъ онъ—талантливый повѣствователь, тонкій наблюдатель и вдумчивый психологъ, а на другомъ десяткѣ онъ—безпрестанно теряющій равновѣсіе полемистъ, напряженно-язвительный сатирикъ, болѣзненно-мнительный обличитель. Предметъ *повѣствованія* г. Лѣскова обыкновенно не имѣетъ ни прямой, ни косвенной связи съ предметомъ его *обличенія*, и въ результатѣ получается произведеніе нестройное до уродливости, нескладное до смѣшнаго. Еще бы иначе! Соль—вещь хорошая и сахаръ—вещь хорошая; но кому можетъ нравиться и на что можетъ пригодиться смѣсь соли съ сахаромъ?

Пояснимъ дѣло примѣромъ. Вотъ замѣчательная «хроника» г. Лѣскова *Соборные*. Съ первыхъ же страницъ ея вы начинаете испытывать истинно-художественное на-

слаждене, которое только минутами омрачается *эстетической безтактичностью* (если такъ можно выразиться) автора, отсутствиемъ въ немъ *чувства меры*, которое удерживаетъ писателя отъ преувеличеній и отъ погони за дешевыми эффектами, въ родѣ приведеннаго выше эпизода съ дьякономъ Ахиллоу, однимъ изъ героевъ *Соборянъ*. Передъ вами развертывается живая и яркая картина своеобразнаго существованія провинціального духовенства, и бытовой интересъ этой картины усиливается еще психологическимъ элементомъ, который является благодаря тому, что главный герой хроники—протоіерей Туберововъ—человѣкъ свѣтлаго ума и большого, почти великаго духа. Начинается въ «хроникѣ» дневникъ Туберовова или *Демикатонова книга протопопа Туберовова*, какъ называетъ авторъ этотъ дневникъ, и ваше наслажденіе, какъ и вашъ интересъ еще болѣе возрастаютъ: такъ все это ново, такъ все это ярко, такъ все это глубоко-жизненно.

Но... но у г. Лѣскова есть зубъ, во-первыхъ, противъ журналистики нашей, во-вторыхъ, противъ такъ называемой эпохи шестидесятыхъ годовъ. Этотъ гнилой зубъ болить мучительно, не даетъ покою нашему бѣдному повѣствователю, мѣшаетъ ему сосредоточиться на предметѣ, и его во что бы то ни стало надо уговорить. Какъ это сдѣлать? Очень просто: заставить, —вѣдь своя рука владыка, и бумага все терпитъ,—заставить Туберовова отщелкать литературу въ своемъ дневникѣ подъ какимъ-нибудь благовиднымъ предлогомъ, найти который ничего не стоитъ. Повинуясь автору, Туберововъ пишетъ: «Любопытенъ я весьма, что дѣлаешь ты, сочинитель басенъ, балладъ, повѣстей и романовъ, не усматривая въ жизни, тебя окружающей, нитей, достойныхъ вплетенія въ занимательную для чтенія басню твою? Или тебѣ, исправитель нравовъ человѣческихъ, и вправду нѣтъ никакого дѣла до той дѣйствительной жизни, которою живутъ люди, а нужны только претексты для празднословныхъ рацей? Вѣдомо ли тебѣ,

какую жизнь ведетъ русскій попъ, сей «ненужный человѣкъ», котораго, по-твоему, можетъ быть, напрасно призывали, чтобы привѣтствовать твое рожденіе, и призвуютъ еще разъ, такъ же противу твоей воли, чтобы проводить тебя въ могилу? Извѣстно ли тебѣ, что мизерная жизнь сего попа не скудна, но весьма обильна бѣдствіями и приключеніями, или не думаешь ли ты, что его кутейному сердцу недоступны благородныя страсти и что оно не ощущаетъ страданій? Или же ты съ своей авторской высоты вовсе и не хочешь удостоить меня, попа, своимъ вниманіемъ? Или ты мыслишь, что уже и самое время мое прошло и что я уже не нуженъ странѣ, тебя и меня родившей и воспитавшей?.. О, слѣпецъ! скажу я тебѣ, если ты мыслишь первое; о, глупецъ! скажу тебѣ, если мыслишь второе, и въ силу сего заключенія стремишься не поднять и оживить меня, а навалить на меня камень и глумиться надъ тѣмъ, что я смраденъ сталъ задохнувшись».

Очень и очень недурно! Въ самомъ дѣлѣ, искусство автора замѣчательно: языкъ этой обличительной тирады выдержанъ превосходно, и если бы не психологическая несообразность, заключающаяся въ томъ, что умный, спокойный и сдержанный священникъ безъ самомалѣйшей тѣни хоть какого-нибудь резона начинаетъ браниться, какъ подворотный фельетонистъ («о, слѣпецъ! о, глупецъ!»),—можно бы, пожалуй, и повѣрить г. Лѣскову. Но такъ какъ никто въ нашей литературѣ не заявлялъ презрѣнія къ духовенству, никогда наша литература добровольно и сознательно не игнорировала его существованія и т. д., то всю эту раздражительную тираду Туберозова пришлось бы отнести къ числу, говоря его же выраженіемъ, «празднословныхъ рацей», если бы у насъ уже не было готоваго объясненія: эта тирада—капелька хлороформа на больной «зубъ» самого автора,—вотъ вся разгадка, а умный священникъ тутъ терпитъ только похмелѣ въ чужомъ пиру.

Ну, а какъ быть съ злополучною эпохой нашего такъ называемаго пробужденія? Пристегнуть какъ-нибудь ее къ «хроникѣ» однообразной жизни захолустнаго духовенства не легко, но нельзя же, будучи уязвленнымъ ею, пропустить хоть малѣйшій случай къ благородному отомщенію. Обладая находчивостью г. Лѣскова, можно не опасаться такого рода затрудненій. «Теперь, — начинаетъ г. Лѣсковъ, — волей-неволей (охъ, волей!) повинуюсь неодолимымъ обстоятельствамъ, мы должны оставить на время и старгородскаго протопопа, и предводителя, и познакомиться совершенно съ другимъ кружкомъ того же города». Читатель понимаетъ, что этотъ, за волосы притянутый, «совершенно другой кружокъ» и долженъ будетъ явиться козлицемъ отпущенія за грѣхи эпохи, а больше за обиды г. Лѣскова. Дѣйствительно, немедленно начинается казнь, — мелочная, не опасная, но надоѣдливая и назойливая, какъ комариные уколы раннимъ лѣтомъ. Жена акцизнаго чиновника Бизюкина, членъ горемычнаго «кружка», ждетъ изъ Петербурга какихъ-то «дорогихъ гостей», между которыми есть—о, Господи!—«влиятельные политическіе дѣятели». «Акцизница еще спозаранка обошла нѣсколько разъ всѣ свои комнаты и нашла, что все никуда не годится. Остановясь посреди опрятной и хорошо меблированной гостиной, она въ отчаяніи воскликнула: «Нѣтъ, это чортъ знаетъ что такое! Это совершенно такъ, какъ и у Порохонцевыхъ, и у Дарьяновыхъ, и у почтмейстера,—словомъ, какъ у всѣхъ, даже, пожалуй, гораздо лучше! Вотъ, напримѣръ, у Порохонцевыхъ нѣтъ часовъ на каминѣ, да и камина вовсе нѣтъ; но каминъ, положимъ, еще ничего, этого гигиена требуетъ; а зачѣмъ эти бра, зачѣмъ эти куклы, наконецъ, зачѣмъ эти часы, когда въ залѣ часы есть?.. А въ залѣ? Господи! Тамъ фортепьяно, тамъ ноты... Нѣтъ, это рѣшительно невозможно такъ, и я не хочу, чтобы новые люди обошлись со мной какъ-нибудь за эти мелочи. Я не хочу, чтобы мнѣ Термосесовъ могъ

написать что-нибудь въ родѣ того, что въ умномъ романѣ *Живая душа* умная Мама написала своему жениху, который жилъ въ хорошемъ домѣ и пилъ чай изъ серебрянаго самовара. Эта умная дѣвушка прямо написала ему, что, молъ, «послѣ того, что я у васъ видѣла, между нами все кончено». Нѣтъ, я этого не хочу. Я знаю, какъ надо принять дѣятелей! Одно досадно: не знаю, какъ именно у нихъ все въ Петербургѣ?.. Вѣрно у нихъ тамъ все это какъ-нибудь скверно, то-есть я хотѣла сказать прекрасно... тѣфу, то-есть скверно... Чортъ знаетъ что такое». Именно, чортъ знаетъ что такое! Неужели это мелкое шпынянье достойно серьезнаго писателя? Неужели въ этомъ продергиваньи невиннѣйшаго и безпѣтнѣйшаго романа г-жи Вовчокъ, напечатаннаго когда-то въ некрасовскихъ *Отечественныхъ Запискахъ*, не сквозитъ чувство личнаго раздраженія, готовое брать и мытьемъ и катаньемъ? Дальше идетъ все въ томъ же миломъ родѣ и вотъ въ конецъ испорчено художественное произведеніе, такъ много было обѣщавшее вначалѣ, и интересная «хроника» превращается мало-по-малу въ вялый пасквиль, съ беззубыми обличеніями, съ давно опротивѣвшими обвиненіями.

Однако пусть читатель еще воздержится отъ окончательныхъ заключеній относительно литературной фizioноміи г. Лѣскова. Мы сдѣлали пока только контуръ, самый портретъ еще впереди, и, быть можетъ, намъ придется взять краски, которыя посмягчатъ слишкомъ рѣзкія и угловатыя очертанія контура.

### III.

Если бы г. Лѣсковъ расположилъ свои произведенія въ строго-хронологическомъ порядкѣ, всякій внимательный читатель замѣтилъ бы не крутой, но рѣшительный переломъ, послѣдовавшій въ дѣятельности этого писателя около



восьмидесятыхъ годовъ. Лѣсковъ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ и Лѣсковъ восьмидесятыхъ годовъ—это, можно сказать, почти различные писатели. Повѣствовательные приемы, достоинства и недостатки изображенія остались у г. Лѣскова прежніе, но кореннымъ образомъ измѣнилось его душевное настроеніе: смягчилось недоброе чувство, улеглась раздражительность, затянулись старыя раны. Большая душа писателя приблизилась къ полному испѣленію.

Въ шестидесятыхъ годахъ г. Лѣсковъ былъ воинствующимъ беллетристомъ, преслѣдующимъ извѣстныя цѣли, проводившимъ извѣстныя общественныя тенденціи; съ начала восьмидесятыхъ годовъ онъ переходитъ на почву личной морали: вотъ въ чемъ состоитъ сущность перелома въ дѣятельности г. Лѣскова, сообразно съ которымъ она и должна быть разсматриваема въ ея двухъ послѣдовательныхъ фазисахъ. Въ первомъ изъ этихъ фазисовъ г. Лѣсковъ представляется прежде всего какъ авторъ извѣстнаго большого романа *Некуда*; во второмъ—какъ авторъ небольшихъ, но многочисленныхъ моральныхъ сказаній, новеллъ и притчей, совершенно чуждыхъ какой бы то ни было злобы дня. На этомъ мы и остановимся.

Умная пословица наша говоритъ: что написано перомъ, того не вырубишь топоромъ. Въ романѣ г. Лѣскова не мало страницъ, которыхъ онъ не только не написалъ бы теперь, находясь въ болѣе спокойномъ и примирительномъ настроеніи, но о которыхъ, мы надѣемся, онъ и вспоминаетъ безъ особаго самодовольствія. «Вырубить» эти страницы было трудно въ новомъ изданіи, потому что онѣ связаны органически съ идеей романа, и вотъ въ томъ, что ихъ пришлось г. Лѣскову оставить во всей ихъ красотѣ и представить на судъ болѣе позднихъ поколѣній, связанныхъ съ тою эпохой только историческими воспоминаніями,—мы видимъ въ этомъ справедливое возмездіе, рано или поздно постигающее всякаго писателя, измѣнив-

шаго правдѣ и справедливости. Приведемъ одинъ маленький примѣръ. Съ какимъ чувствомъ, хотѣли бы мы знать, перечитываетъ г. Лѣсковъ хотя бы это свое *описаніе наружности* (чего ужъ, казалось, невиннѣе!) одного нашего писателя, представленнаго въ романѣ подѣ фамиліей Бѣлоярцева: «Брюнетъ былъ очень хорошъ собою, но въ его фигурѣ и манерахъ было очень много изысканности и чего-то говорящаго: «не тронь меня». Черты лица его были тонки и правильны, но холодны и дышали эгоизмомъ и безучастностью. Вообще фizioномія этого красиваго господина тоже говорила: «не тронь меня»; въ ней, видимо, преобладали цинизмъ и половая чувственность, мелкая завистливость и злобная мстительность исподтишка». Какой, подумаешь, великій фizioномистъ г. Лѣсковъ! Его не подкупишь красотой, и онъ, точно въ раскрытой книгѣ, читаетъ на лицѣ человѣка и цинизмъ, и *мелкую* завистливость, и *злобную* мстительность *исподтишка*, и даже половую чувственность! Какая обстоятельность описанія, какая глубина психическаго проникновенія! Неудержимо-ненавистническое чувство, продиктовавшее г. Лѣскову это описаніе, до того очевидно, что намъ больно и неловко за автора, какъ, надѣмся, ему теперь больно и неловко самому. Слѣпцовъ, фигурирующий въ романѣ подѣ именемъ Бѣлоярцева, давно покойся въ землѣ, и мы, поколѣніе болѣе позднее, желаемъ, чтобы земля была легка надъ нимъ, потому что знаемъ и цѣнимъ его заслуги и не забудемъ, что онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ не особенно многочисленныхъ писателей, которые не восхваляли глупцовъ и съ подлостью не заключали союза.

Этотъ маленький образчикъ показываетъ, съ какимъ чувствомъ и въ какомъ настроеніи г. Лѣсковъ приступилъ къ своему роману. Но, рассуждая объективно и отрѣшаясь на минуту отъ всякихъ партійныхъ симпатій, нельзя не признать, что *самая идея* романа была чрезвычайно удачна. Я говорю не о той идеѣ, которая выражена въ заглавіи ро-

мана,—сама жизнь уже доказала безапелляционно ея ошибочность,—но о самой мысли, о самомъ намѣреніи изобразить въ широкой картинѣ эпоху нашего общественнаго ренессанса, какъ бы ни относился писатель къ своей темѣ—положительно или отрицательно. Никто не въ правѣ насиловать убѣжденіе писателя, никто не въ правѣ ни ждать, ни требовать отъ него, чтобы онъ непременно симпатизировалъ тому, что симпатично намъ. Мы, во-первыхъ, какъ и всѣ не непогрѣшимы, а во-вторыхъ, что это за дамская слабонервность, требующая непременно комплиментовъ и не выносящая порицанія, и что это за ребяческая мораль, ожидающая непременно конфетки въ награду за прилежаніе и успѣхи? Пусть писателю будетъ предоставленъ полный просторъ похвалы, совершенная свобода порицанія. Но, какъ замѣтилъ одинъ профессоръ, выступая на журнальное поприще, свобода совѣсти не есть свобода отъ совѣсти. Точно такъ же свобода творчества не есть свобода отъ творчества, т.-е. отъ всѣхъ тѣхъ элементовъ, безъ которыхъ нѣтъ творчества, а есть только сочинительство. Въ числѣ этихъ элементовъ и даже на первомъ мѣстѣ между ними стоитъ *художественная* правда, т.-е. такая правда, которая больше простой фактической правды, какъ художественная картина больше, лучше, выше безукоризненно-правдивой фотографіи. Воспользуемся этимъ, подвернувшимся подъ перо, сравненіемъ. Вотъ портретъ чело-вѣка, нарисованный Рѣпинымъ или Крамскимъ, и вотъ превосходная фотографія того же чело-вѣка. Не можетъ быть сомнѣнія, что внѣшнія паспортныя примѣты будутъ схвачены фотографіей несравненно точнѣе, нежели на портретѣ Рѣпина, но въ то же время *сходство* съ оригиналомъ будетъ въ совершенствѣ достигнуто Рѣпинымъ и очень мало достигнуто фотографіей. Въ чемъ же дѣло? Въ томъ, что фотографія изобразить ваше *лицо*, а художникъ изобразить вашу *физиономію*, т.-е. то же лицо, но одухотворенное вашею мыслью, вашимъ чувствомъ, вашею ин-

дивидуальностью. Художественная правда такимъ образомъ есть не только внѣшняя, фактическая, но и внутренняя, психическая правда. Художнику мало видѣть предметъ, чтобъ изобразить его, — онъ долженъ *понять* его, опредѣлить его внутреннюю сущность.

Когда любовь или ненависть являются результатомъ пониманія, ихъ законность и умѣстность никто отвергать не станетъ. Но что можемъ мы сказать, не усматривая въ изображеніи ни тѣни пониманія и лишь настолько внѣшняго сходства, чтобы не имѣть нужды подписывать «се левъ, а не собака» и въ то же время видя автора, преисполненнаго желчью и ненавистью? Такое именно впечатлѣніе и производитъ романъ *Некуда*: не потому авторъ этого романа ненавидитъ, что понимаетъ, — нѣтъ, онъ потому и не понимаетъ, не въ силахъ понять, что ненависть омрачаетъ его духовныя очи. А откуда взялась эта ненависть, испортившая г. Лѣскову значительную часть его литературной карьеры? Я уже выше указывалъ — *откуда*, но послушаемъ объясненіе самого г. Лѣскова:

«Когда распочалась эта пора пробужденія, ясное дѣло, что новые люди этой эпохи во всемъ рвались къ новому режиму, ибо не видали возможности итти къ добру съ лестью, ложью, лѣнью и всякою мерзостью. На великое несчастье этихъ людей, у нихъ не было въ-время силы отречься отъ пристававшихъ къ нимъ шутовъ. Они были болѣе честны, чѣмъ политически опытные, и забывали, что одинъ Донъ-Кихоть можетъ убить цѣлую идею рыцарства. Такъ и случилось. Шуты насмѣшили людей, дураки ихъ разсердили. Началось ренегатство и во время стремительнаго бѣга назадъ люди забыли, что гонить ихъ не пошлость дураковъ и шутовъ, а тупость общества да собственная трусость. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что сдѣлаться смѣшнымъ значить потерять многое; но развѣ менѣе смѣшны другіе? Развѣ передъ ними нельзя поставить

Сквозника-Дмухановскаго и заставить его спросить ихъ: «Чего смѣтесъ? Надъ собой смѣтесъ!»

«Честная горсть людей, не приготовленныхъ къ честному общественному служенію, но полюбившихъ добро и возненавидѣвшихъ ложь и всѣ лживыя положенія, виновата своею нерѣшительностью отречься отъ приставшихъ къ ней дурачковъ; она виновата недостаткомъ самообличенія. За пренебреженіе этою силой она горько наказана, вѣроятно, къ истинному сожалѣнію всѣхъ умныхъ и въ то же время добрыхъ сыновъ Россіи. Но все-таки нѣтъ никакого основанія видѣть въ этихъ людяхъ виновниковъ всей современной жи, такъ же, какъ нѣтъ основанія винить ихъ въ заводѣ шутовъ и дураковъ, ибо и шуты и дураки подъ различными знаменами фигурировали всегда и будутъ фигурировать до вѣка».

Вотъ точка зрѣнія г. Лѣскова. Хорошіе новые люди желали итти къ добру; къ нимъ примкнули шуты и дураки; хорошіе люди, точно гоголевскій городничій, «по неопытности» не сумѣли во-время отречься отъ шутовъ и дураковъ, которые и скомпрометировали прогрессивное движеніе. Надѣюсь, это вполне точное резюме обличительной тирады г. Лѣскова. Взглядъ г. Лѣскова имѣетъ одно достоинство: чрезвычайную простоту и почти хрустальную ясность. Его безъ всякаго труда можетъ усвоить даже малолѣтній гимназистъ, потому что — чего же, въ самомъ дѣлѣ, проще, какъ объяснять человѣческія неудачи человѣческою глупостью? И это даже не лишено пріятности, потому что, говоря о *чужой* глупости, человѣкъ какъ бы зарекомендовываетъ *свой* собственный умъ. Однако самъ же г. Лѣсковъ говоритъ, что «шуты и дураки подъ различными знаменами фигурировали всегда и будутъ фигурировать до вѣка», а все-таки исторія идетъ своимъ чередомъ и отчаиваться за прогрессъ не видно основанія. Не значитъ ли это, что шуты и дураки не такая ужъ бодьшая сила, чтобы могли направлять исторію, вліять

на жизнь, руководить событіями? Далѣе, что это за странные хорошие люди, у которыхъ «не было силы отречься отъ пристававшихъ къ нимъ шутовъ»? Проповѣдь «непротивленія злу» послышалась въ гораздо позднѣйшее время, и, сколько извѣстно, люди того времени вовсе не страдали нравственнымъ индифферентизмомъ, а, наоборотъ, отличались ригоризмомъ, столь вообще свойственнымъ молодымъ людямъ и молодымъ обществамъ. Они, продолжаетъ г. Лѣсковъ, «виноваты недостаткомъ самообличенія». Это тоже ново. Наоборотъ, никогда, ни прежде, ни послѣ общество и литература не занимались столько всякаго рода обличеніями и самообличеніями, какъ именно въ ту эпоху, и это было естественно и необходимо, потому что толчокъ къ тому дало грандіозное историческое событіе. Самъ же г. Лѣсковъ, на той самой страницѣ, на которой онъ упрекаетъ «хорошихъ людей» въ недостатокъ самообличенія, цитируетъ извѣстные стихи Хомякова объ «избранной», но «недостойной избранія» родной странѣ:

Въ судахъ черна неправдой черной  
И игомъ рабства клеймена;  
Безбожной лести, лжи тлетворной  
И лѣни мертвой и позорной  
И всякой мерзости полна.

Какого еще самообличенія нужно г. Лѣскову? Быть можетъ, онъ требовалъ отъ «хорошихъ людей» буквально *обличенія себя* или, по крайней мѣрѣ, обличенія своей партіи, своихъ единомышленниковъ? И это было. Не говоря уже о «шутахъ» и «дуракахъ», съ которыми обыкновенно не церемонятся, не припомнить ли г. Лѣсковъ хотя бы, наприм., то, какъ крупнѣйшій представитель тогдашней прогрессивной журналистики печатно заявилъ, что одна изъ статей его ближайшаго друга, единомышленника и частью учителя — «нахальна до неприличія»? Назову имена, во устраненіе всякихъ сомнѣній: такъ отзывался Добролюбовъ о *Полемическихъ красотахъ* Чернышевскаго

(статья *Забитые люди*). А какъ относился Добролюбовъ къ подлиннымъ шутамъ и дуракамъ безъ различія партій—это тоже должно быть извѣстно г. Лѣскову.

Я очень боюсь, однако, что всѣ эти мои замѣчанія идутъ мимо цѣли, потому что у г. Лѣскова особый языкъ и понимать его надо иносказательно. «Шутъ» и «дуракъ»—не тотъ, кто дуракъ и шутъ, а тотъ, кто имѣлъ неосторожность или несчастье чѣмъ-нибудь не угодить г. Лѣскову,—вотъ ключъ къ истинному смыслу разбираемой нами тирады. Ни Бѣлоярцевъ, ни «углекислыя феи Чистыхъ прудовъ» (сколько озлобленія нужно было, чтобы высидѣть такую кличку!), ни Пархоменко, ни другіе персонажи г. Лѣскова той же категоріи, конечно, не были ни дураками, ни шутами, и если они являются таковыми подъ обличительнымъ перомъ г. Лѣскова, то ужъ таково авторское велѣнье и хотѣнье. Это—во первыхъ. А во-вторыхъ, и это главное, неужели изобличать шутовъ и дураковъ эпохи значить изображать и характеризовать эту самую эпоху? Истинный смыслъ всякой эпохи заключается въ ея подлинныхъ, а не перевранныхъ идеяхъ. Никто, — беремъ примѣръ у г. Лѣскова, — не считаетъ Донъ-Кихота представителемъ рыцарства, а всякій видитъ въ немъ пародію на рыцарство или представителя эпохи упадка рыцарства. Хорошо былъ бы тотъ историкъ, который на основаніи сервантесовскаго романа сталъ бы утверждать, что рыцари были «шуты», потому что кувыркались черезъ голову въ честь деревенской бабы, и были «дураки», потому что сражались съ мельницами. Правда, и г. Лѣсковъ отличаетъ «честную горсть людей» (т.-е. горсть честныхъ людей), но все-таки нашъ предполагаемый историкъ былъ бы не правъ, если бы, почтительно склонивъ голову передъ горстью Ричардовъ, Готфридовъ, Роландовъ, Сидовъ и прочихъ рыцарей «безъ страха и упрека», онъ осмѣялъ бы рыцарство за одного или хоть сто одного Донъ-Кихота. А гдѣ же тѣ толпы крестоносцевъ, ихъ же имена Господи

вѣси, которые отдали свою жизнь за обладаніе святынею?

Такова основная тенденція г. Лѣскова, сообразно съ которой избранъ и расположенъ весь матеріалъ романа. Читателя почти съ первыхъ же страницъ охватываетъ удручающая атмосфера всеобщей глупости и повального шутства, и вся длинная вереница «красныхъ, бѣлыхъ, пестрыхъ, буланыхъ» (по язвительному опредѣленію г. Лѣскова) дѣятелей эпохи представляется чѣмъ-то въ родѣ шайки червонныхъ валетовъ. Кто поумнѣе—тотъ подлѣ, кто почестнѣе—тотъ глупъ. Единственнымъ исключеніемъ является Райнеръ, который зато не болѣе какъ маньякъ, и отчасти Лиза Бахарева, которую зато авторъ и заставилъ умереть отъ разочарованія. Роль здравого смысла романа предоставлена нѣкому доктору Розанову, который пользуется живѣйшими симпатіями автора, и хотя страдаетъ періодическими запоями, но ума не пропиваетъ и въ трезвые свои дни язвить эпоху и ея дѣятелей не хуже самого г. Лѣскова. Если въ романѣ есть какія-нибудь положительныя черты и указанія, то ихъ надо искать именно у этого доктора, съ которымъ мы и познакомимъ читателя. На первомъ мѣстѣ поставимъ слѣдующую тираду здравогомысленнаго доктора: «Я не виноватъ, что въ такіе дни живу, когда люди умъ теряютъ. А вотъ не угодно ли вамъ спросить поляка Незабитовскаго, что они думаютъ о нашемъ либерализмѣ? Они дорожатъ имъ, какъ прошлогоднимъ снѣгомъ, и болѣе готовы уважать рѣзкое слово, чѣмъ бесплодныя заигрыванія. Наши либералы надули того, на кого сами молились; надуютъ и поляковъ, и васъ, и себя, и всѣхъ, кто имѣетъ слабость вѣрить ихъ заученнымъ фразамъ. Самоотверженныхъ людей столько сразу не родится, сколько ихъ вдругъ окликнулось въ это время. Это вѣдь что же? Былъ застой; потомъ люди проснулись,—ну, поддались несбыточнымъ увлеченіямъ, надѣлали глупостей, порастеряли даромъ людей, но все вѣдь это было человѣческое, а это



что же? Воевать съ вѣтряными мельницами, воевать съ обществомъ, злить понапрасну людей и покрывать это именемъ какого-то новаго союза! Ну, что это за союзъ? Вы посмотрите, что это такое: жениночекъ побольше побивать съ толку, пожить съ ними до безстыдства, до наглости, а потомъ будь, что будетъ. Имъ вѣдь ничего, а тѣ будутъ рѣшку пѣть. О, подлецы, подлецы неопишутые!» Если при-смотримъ поближе къ рѣчамъ Розанова, окажется, что онъ повторяетъ ту же главную мысль, которую мы видѣли въ рѣчахъ самого автора. Г. Лѣсковъ говоритъ о *юр-сти* честныхъ людей, обзывая прочихъ дураками и шутами,—Розановъ утверждаетъ, что «самоотверженныхъ людей столько сразу не родится, сколько ихъ вдругъ окликнулось въ это время», и восклицаетъ: «О, подлецы, подлецы неопишутые!» Противъ этого скептицизма и этихъ чересчуръ рѣшительныхъ огульныхъ приговоровъ мы имѣемъ превосходное возраженіе, заимствованное нами не у кого другого, какъ именно у самого г. Лѣскова. Въ шестомъ томѣ его сочиненій есть одинъ небольшой, но превосходный разсказъ подъ заглавіемъ *Безстыдникъ*. Подъ этимъ прозвищемъ фигурируетъ въ разсказѣ (изъ временъ крымской кампаніи) провіантскій чиновникъ, котораго одинъ молодой и горячій морякъ безцеремонно попрекнулъ казнокрадствомъ. Чиновникъ нисколько не протестуетъ противъ этого обвиненія съ фактической стороны, но защищается такимъ образомъ: «Нельзя же такъ утверждать, что будто одни ваши честны, а другіе безчестны. Пустяки! Я за нихъ заступаюсь!.. Я за всѣхъ русскихъ стою!.. Да-съ! Повѣрьте, что не вы одни можете терпѣливо голодать, сражаться и геройски умирать; а мы будто такъ отъ купели крещенія только воровать и способны. Пустяки-съ! Неправедливо-съ! Всѣ люди русскіе и всѣ на долю свою имѣемъ отъ своей богатой натуры на все сообразную способность. Мы, русскіе, какъ кошки: куда насъ ни брось, вездѣ мордой въ грязь не ударимся, а прямо на лапки

станемъ; гдѣ что умѣстно, такъ себя тамъ и покажемъ: умирать—такъ умирать, а красть—такъ красть. Васъ поставили къ тому, чтобы сражаться, и вы это исполняли въ лучшемъ видѣ,—вы сражались и умирали героями, и на всю Европу отличились; а мы были при такомъ дѣлѣ, гдѣ можно было красть,—и мы тоже отличались, и такъ крали, что тоже далеко извѣстны. А если бы вышло, напри-мѣръ, такое повелѣніе, чтобы всѣхъ насъ переставить одного на мѣсто другого: насъ, напри-мѣръ, въ траншеи, а васъ къ поставкамъ, то мы бы, воры, сражались и умирали, а вы бы... крали...»

Г. Лѣсковъ заканчиваетъ свой разсказъ такимъ замѣчаніемъ: «безстыдникъ-то, чего добраго, пожалуй, былъ и правъ». Въ очень значительной степени правъ, скажемъ мы отъ себя. Конечно, человѣкъ, мечтающій о героическихъ подвигахъ и призванный къ нимъ, не пойдетъ служить въ интендантство, точно такъ же какъ человѣкъ, мечтающій о наживѣ, не будетъ проситься въ траншеи. Но такихъ людей, которыхъ не мѣсто красить, а которые красятъ мѣсто, которые остаются собою, несмотря на среду и обстановку, всегда и вездѣ не много, большинство же состоитъ именно изъ людей способныхъ и красть съ во-рами и умирать съ героями. Это—психологическій и историческій фактъ, и вотъ почему учрежденія имѣютъ такое огромное общественно-воспитательное значеніе, и вотъ причина, почему сильныя историческія движенія увлекаютъ собою даже такихъ людей, которые казались вовсе неспособными къ какому бы то ни было движенію. Истрепанная фраза «нѣтъ людей» не имѣетъ смысла; она можетъ значить только то, что *нѣтъ запроса* на людей. Сколько пропойцъ, которымъ предстояло умереть подъ заборомъ, умерли героями на поляхъ Сербіи! Сколько ничтожностей, съ которыми въ обыкновенное время двухъ словъ сказать было не о чемъ, которымъ иногда бывало совѣстно просто руку подать, сумѣли исполнить, когда того потребовали

жизнь и исторія, высочайшую и труднѣйшую заповѣдь—*отдать душу свою за други своя!* Человѣкъ въ сущности очень хорошее существо, а если въ мірѣ совершается болѣе зла, чѣмъ добра, то, конечно, не въ силу органическаго влеченія людей къ злу и отвращенія ихъ къ добру, а просто потому, что сплошь да рядомъ дѣлать зло и легче и выгоднѣе, нежели служить добру. Трудно быть честнымъ тамъ, гдѣ честность и глупость—синонимы.

Теперь нетрудно скептическія и обличительныя фразы г. Лѣскова и его героя обратить противъ нихъ же. Эти фразы доказываютъ только то, что наши обличители не поняли самой сущности обличаемаго ими движенія,—его исторической необходимости, его всеобщности и стихійности. Не «заученныя фразы», а насущные интересы породили это движеніе, которое въ свою очередь создало нужныхъ для него людей. Изъ безчисленнаго ряда примѣровъ, которые я могъ бы привести, приведу одинъ, который не можетъ возбудить споровъ. Вспомнимъ государственнаго человѣка, памяти котораго поэтъ посвятилъ между прочимъ такіа строки:

Чуть колыхнулось болото стоячее,  
Ты ни минуты не спалъ,  
Лишь не остыло-бъ желѣзо горячее,  
Ты безъ оглядки ковалъ.

Откуда взялась эта энергія? Откуда взялся самъ этотъ человѣкъ? Принадлежалъ ли онъ случайно къ «горсти честныхъ людей», которую признаетъ г. Лѣсковъ, или онъ родился вмѣстѣ съ эпохою, какъ требуетъ докторъ Розановъ? Нѣтъ, этотъ даровитый и энергичный человѣкъ былъ все-таки человѣкъ толпы, а не «горсти», и родился онъ въ эпоху, не имѣвшую ничего общаго съ той, которая сдѣлала его «кузнецомъ-гражданиномъ». Не раскали исторія «желѣза»—и ковать ему не пришлось бы, какъ ни велико было бы желаніе и умѣніе, какъ не довелось этого, наприм., графу Киселеву и его сотруднику и едино-

мысленнику Заблоцкому-Десятовскому,—людямъ, ни въ какомъ отношеніи не уступавшимъ Милютину. Вотъ какъ исторія призываетъ дѣятелей, вотъ какъ жизнь рождаетъ нужныхъ ей людей! Напрасно, значитъ, г. Лѣсковъ съ своимъ героемъ иронизировали надъ вдругъ проявившимся множествомъ самоотверженныхъ людей, напрасно заподозрѣвали ихъ искренность: таковъ былъ духъ эпохи, таковъ былъ лозунгъ времени. Люди, прежде только не таскавшіе платковъ изъ чужихъ кармановъ, съ одушевленіемъ заговорили о прогрессѣ, о гуманности, о «младшемъ братѣ», т.-е. все о такихъ вещахъ, которыя еще наканунѣ назывались «завиральными идеями». Много тутъ было дѣтскаго, незрѣлаго, неосмысленнаго, но вѣдь и г. Лѣсковъ, прежде чѣмъ сдѣлаться писателемъ, долженъ былъ выучиться грамотѣ. Смѣяться надъ этою незрѣлостью, а тѣмъ болѣе ненавидѣть или презирать ее—значить свидѣтельствовать о своемъ собственномъ духовномъ несовершеннѣйшии. А прозрѣвать въ энтузіастахъ какихъ-то холодныхъ развратниковъ, для которыхъ «женскій вопросъ» былъ будто бы только хорошимъ средствомъ къ уловленію неопытныхъ женскихъ сердецъ,—это значитъ очень дурно рекомендовать чистоту собственнаго воображенія. Романъ *Некуда*—романъ только по названію: это — полемическій памфлетъ, внушенный недобрымъ чувствомъ и исполненный безъ особаго такта и вкуса.

#### IV.

По мѣрѣ того, какъ улеглось взбаламученное море нашей жизни, успокоивалось и растревоженное чувство г. Лѣскова. вмѣстѣ съ этимъ крѣпнулъ и яснѣлъ его талантъ, способный гораздо болѣе къ тихому созерцанію, нежели къ запальчивой борьбѣ,—къ спокойному повѣствованію, нежели къ сатирѣ,—къ поучительному морализованью, нежели къ страстному обличенію. Дойдя въ рома-

нахъ *Обойденные* и въ особенности *На ножкахъ* до своей кульминаціонной точки, мстительное чувство г. Лѣскова быстро пошло на убыль и *больной талантъ* сталъ быстро выздоравливать. Глубокое затишье, наступившее въ нашей жизни съ началомъ прошедшаго десятилѣтія, отразилось самымъ благотворнымъ образомъ на дѣятельности г. Лѣскова, который именно въ этотъ періодъ далъ цѣлый рядъ не большихъ, но превосходныхъ произведеній, преслѣдующихъ одну и ту же моральную цѣль. *Аскалонскій злодѣй, Гора, Несмертельный юлованъ, На краю свѣта, Скоморохъ Памфалонъ, Прекрасная Аза, Фигура, Человѣкъ на часахъ* и проч. и проч.—вотъ рядъ произведеній г. Лѣскова этого періода, совершенно достаточный, чтобы создать писателю чистую и прочную репутацію. Довольно ли ихъ, чтобы пересоздать репутацію? Этотъ вопросъ пусть рѣшаетъ читатель въ зависимости отъ своихъ субъективныхъ впечатлѣній, отъ степени своей собственной терпимости или злопамятности. Дѣло критики—отмѣтить тотъ фактъ, что теперешнему г. Лѣскову можно вѣрить и его стоить слушать, что его одушевляютъ нынѣ не узкія личныя пристрастія, а свѣтлые моральные идеалы. По формѣ эти произведенія г. Лѣскова распадаются на двѣ группы,—на легенды (лучшая между ними *Скоморохъ Памфалонъ*) и бытовые рассказы (лучшій между ними *Человѣкъ на часахъ* или *Спасеніе поибавшаго*), но по содержанію они составляютъ одно цѣлое, потому что служатъ одной и той же морали. Мораль эта очень не нова: это мораль евангелія, но евангелія, прочтеннаго не затуманенными глазами, усвоеннаго не по его буквѣ, а по его любвеобильному духу. Гдѣ любовь, тамъ и Богъ, гдѣ добрыя дѣла, тамъ и правда и истинная, не мертвая вѣра, гдѣ страданія, тамъ и поприще для дѣятельности—вотъ сущность этой морали, которую такъ легко понять и такъ трудно усвоить. Въ рассказѣ *Скоморохъ Памфалонъ* г. Лѣсковъ дѣлаетъ именно это противопоставленіе между высокимъ брною добродѣтелью,

пуше всего оберегающею *свою* чистоту и ради того избѣгающею людей, и простою, естественною человѣчностью, которая не заботится о томъ, что о ней скажутъ, не ищетъ похвалъ, не боится никакой грязи, а помогаетъ, кому придется и чѣмъ придется. Вотъ поучительный отрывокъ изъ разговора высокоумнаго и высокодобродѣтельнаго Ермія со скоморохомъ Памфалонѣмъ, не претендующимъ ни на умъ, ни на добродѣтель:

„Замѣтивъ, что Ермій отвернулся, Памфалонъ тронулъ его ласково за плечо и молвилъ съ увѣтомъ:

„— Вѣрь мнѣ, почтенный старикъ, что живое всегда живымъ остается, и у гетеръ часто бьется въ груди прекрасное сердце. А печально намъ быть на пирахъ у богатыхъ господъ. Вотъ тамъ люди горды, надменны и веселья хотять, а свободного смѣха и шутокъ не терпятъ. Тамъ требуютъ того, чего естество человеческое стыдится, тамъ угрожаютъ удареніемъ и ранами, тамъ щиплютъ мою разноперую птицу, тамъ дуютъ и плюютъ въ носъ моей собацѣ Акрѣ. Тамъ ни во что вѣщаютъ всѣ обиды для низшихъ, и на утро... хотять молиться для вида.

„— О горе, о горе!—прошпенталъ Ермій,—вижу, что ты даже всѣмъ еще далекъ отъ того, чтобы понимать, въ чемъ погрязъ ты, но твой умъ и твое естество, можетъ быть, добры...

„И сказалъ онъ ему вдохновенно:

„— Брось свое гадкое ремесло, Памфалонъ!

„А тотъ ему спокойно отвѣтилъ:

„— Не могу... Да знай: я имѣлъ возможность бросить скоморошество и не бросилъ.

„— И почему же ты не бросилъ?

„— Не могъ.

„— Что у тебя за отвѣтъ: все ты „не могъ“! Почему ты не могъ?

„— Не могъ и не могу, потому что... я не могу о себѣ думать, когда есть кто-нибудь, кому надо помочь.

„Старецъ приподнялся на ложѣ и, вперивъ глаза въ скомороха, воскликнулъ:

„— Что ты сказалъ?! Ты ни во что считаешь погубить свою душу на безконечные вѣки вѣковъ, лишь бы сдѣлать что-нибудь въ сей быстрой жизни для другого! Да ты имѣешь ли понятія о являщемся пламени ада и о глубинѣ вѣчной ночи?

„Скоморохъ усмѣхнулся и сказалъ:

„— Нѣтъ, я ничего не знаю объ этомъ. Да и какъ я могу знать о

мертвыхъ, когда я не знаю даже всего о живыхъ? А ты знаешь о тартарѣ, старецъ?

„— Конечно!

„— А между тѣмъ я вижу, и ты не знаешь о многомъ, что есть на землѣ. Мнѣ это странно.

„— Несчастный! Да ты имѣешь ли даже понятіе о самомъ Божествѣ?

„— Имѣю, только очень малыя понятія, но въ томъ не ожидаю себя великаго осужденія, потому что я вѣдь не выросъ въ благородной семьѣ, я не слушалъ уроковъ у схоластиковъ въ Византіи.

„— Бога можно знать и служить Ему безъ науки схоластиковъ.

„— Я съ тобою согласенъ и такъ всегда и думалъ: мнѣ Тебя не понять, а я не хочу быть какъ лѣнивый рабъ, чтобы о Тебѣ со всѣми пересуживать и узнавать, зачѣмъ Ты отъ меня одно требуешь, а другое запрещаешь! Я буду Тебѣ просто покоренъ и не стану разузнавать, что Ты думаешь, а просто возьму и исполню, что Твой перстъ начерталъ въ моемъ сердцѣ! А если дурно сдѣлаю—Ты прости, потому что вѣдь это Ты меня создалъ со слабымъ сердцемъ. Я съ нимъ и живу.

„— И ты на этомъ надѣешься оправдаться?

„— Ахъ, я ни на что не надѣюсь, но и ничего не боюсь. Я Его люблю“.

Этотъ характерный эпизодъ даетъ всестороннее понятіе о той моральной основѣ, на которой утвердилось теперешнее творчество г. Лѣскова. Конечно, не поученіями исправляется нравственность людей, но, съ другой стороны, что же другое можетъ предложить отъ себя служитель слова? Если онъ облакаетъ свои поученія въ яркіе и живые образы, легко проникающіе въ сознаніе слушателя или читателя, и если смыслъ этихъ поученій простъ и правдивъ (а это все есть у г. Лѣскова), онъ можетъ считать свою обязанность исполненной. Пройдетъ время, потускнѣетъ впечатлѣніе отъ этихъ образовъ, забудется смыслъ этихъ поученій, но на днѣ души все-таки останется осадокъ, который сдѣлаетъ ее воспримчивѣе къ будущимъ вліяніямъ того же рода,—и развѣ это не успѣхъ? И развѣ мораль, проповѣдуемая г. Лѣсковымъ, не составляетъ новости для огромнаго множества людей, удо-

влетворяющихся внѣшностью, живущихъ формальностями, преклоняющихся передъ буквой? Просвѣщенный Ермій долженъ былъ признать подъ конецъ правоту неученаго и даже неумнаго Памфалона, и это не примиреніе разума передъ невѣдѣніемъ, знанія передъ вдохновеніемъ, это—торжество любви передъ себялюбіемъ. Какъ симпатиченъ писатель, проповѣдующій эти простыя, но и глубокія начала, и какъ мало похожъ онъ на того писателя, который съ пѣною бѣшенства на устахъ предавалъ анаѳемѣ цѣлую эпоху и цѣлое поколѣніе!

Морально-бытовые рассказы г. Лѣскова, во главѣ которыхъ мы поставили *Спасеніе погибавшаго*, отличаются тою же моральною тенденціей, какъ и легенды, но имѣютъ, сверхъ того, то достоинство, что характеризуютъ извѣстныя стороны нашей жизни. Маленькій рассказъ *Спасеніе погибавшаго* обрисовываетъ наши нравы и порядки полвѣка назадъ съ такою рельефностью и типичностью, какой напрасно искать въ огромномъ романѣ *Некуда*. Солдатъ, стоя на часахъ, услышавъ на льду Невы крики о помощи и, оставивъ свой «постъ», спасъ погибающаго—вотъ фабула рассказа. Сострадательный солдатъ былъ жестоко наказанъ розгами за нарушеніе своихъ обязанностей и остался очень доволенъ, что такъ дешево отдѣлался, и начальство его, употребивъ всѣ усилія, чтобы дѣло не получило огласки, и, достигнувъ этого, осталось довольно не менѣе. Итакъ: истерзанный до полусмерти за доброе и даже геройское дѣло солдатъ, награжденный проходимецъ, обманутое высшее начальство, оставленное въ невѣдѣніи общество, а въ результатѣ—«все благополучно»—и все это съ одобренія высшаго нравственного авторитета того времени—это ли не типическая картина «добраго стараго времени»? Г. Лѣсковъ обнаружилъ здѣсь качества истиннаго бытописателя, и онъ же въ заключеніи рассказа нашелъ простыя, но прекрасныя слова, которыя озарили свѣтомъ моральную сторону событія. Вотъ заключеніе г. Лѣскова:



«Если бы я имѣлъ дерзновеніе счастливыхъ избранниковъ неба, которымъ, по великой ихъ вѣрѣ, дано про-  
нищать тайны Божія смотрѣнія, то я, можетъ быть, дер-  
нулъ бы дозволить себѣ предположеніе, что, вѣроятно, и  
Самъ Богъ былъ доволенъ поведеніемъ созданной имъ  
смирной души Постникава. Но вѣра моя мала; она не  
даетъ уму моему силы зрѣть столь высокаго; я держусь  
земного и перстнаго. Я думаю о тѣхъ смертныхъ, кото-  
рые любятъ добро просто для самаго добра и не ожидаютъ  
никакихъ наградъ за него, гдѣ бы то ни было. Эти пря-  
мые и надежные люди тоже, мнѣ кажется, должны быть  
вполнѣ довольны святымъ порывомъ любви и не менѣе  
святымъ терпѣніемъ смиреннаго героя моего точнаго и  
безыскусственного разсказа».

Вотъ какъ умѣетъ говорить г. Лѣсковъ, когда его вдох-  
новляетъ чувство любви, когда онъ въ мирѣ съ самимъ  
собою и когда онъ даетъ волю своему живому и чут-  
кому таланту и не принуждаетъ его прислуживать дур-  
нымъ инстинктамъ своей человѣческой, т.-е. несовер-  
шенной природы. Что будетъ дальше? Исполнится прекрас-  
ное дарованіе г. Лѣскова вполнѣ или застарѣлые недуги  
все-таки будутъ давать себя знать? Это вопросъ времени  
и обстоятельствъ, а мы можемъ только повторить слова  
нашего поэта о другомъ, не русскомъ поэтѣ:

О, Боже! возврати  
Твой миръ въ его озлобленную душу.

---

1892 г.

## Беллетристъ-публицистъ.

(Романы и повѣсти г. Боборыкина).

---

Реветь ли звѣрь въ лѣсу глухомъ,  
Трубить ли рогъ, гремитъ ли громъ,  
Поетъ ли дѣва за холмомъ,—

На всякій звукъ

Свой откликъ въ воздухѣ пустомъ

Родишь ты вдругъ.

*Пушкинъ.*

### I.

Изъ всѣхъ современныхъ дѣйствующихъ русскихъ писателей г. Боборыкинъ едва ли не больше всѣхъ имѣетъ право претендовать на нашу литературную критику. Съ изумительною энергіей и съ талантомъ, во всякомъ случаѣ, замѣчательнымъ онъ работаетъ уже болѣе тридцати лѣтъ, но общей оцѣнки своей дѣятельности и характеристики своей литературной личности онъ до сихъ поръ не дождался. Не то, чтобы г. Боборыкина игнорировали читатели или умышленно «замалчивали» критики: читаютъ г. Боборыкина охотно и написано о немъ довольно много,—больше, впрочемъ, въ отрицательномъ духѣ,—но писательская репутація его все-таки не установлена прочно. Проработавши тридцать лѣтъ, г. Боборыкинъ какъ будто все еще не вышелъ изъ рядовъ писателей, «подающихъ надежды», то-есть именно писателей не опредѣлившихся, не сформировавшихся. Не удивительно ли это?

Нѣчто гораздо болѣе серьезное, чѣмъ простая случайность, лежитъ въ основѣ этого факта. Если писатель послѣдователенъ, если его міросозерцаніе представляетъ собою стройную систему извѣстныхъ идей, если, наконецъ, онъ преслѣдуетъ опредѣленные литературныя или общественныя цѣли, вы будете, сообразно со своими личными взглядами, относиться къ нему съ симпатіей или съ антипатіей, но никакихъ недоразумѣній между вами не возникнетъ. Зная общіе принципы такого писателя, вы заранее и почти безошибочно сумѣете предугадать, какъ онъ отнесется къ тому или другому новому явленію жизни. Представьте себѣ, наприм., Салтыкова, только что ознакомившагося съ теоріей непротивленія злу: пойдете ли вы освѣдомляться относительно мнѣнія сатирика объ этомъ оригинальномъ продуктѣ русскаго ума? Не зачѣмъ вамъ итти: десять томовъ *Сочиненій* Салтыкова есть не что иное, какъ сплошное и упорнѣйшее противленіе злу и, стало быть, отвѣтъ Салтыкова предрѣшенъ заранее. Но вообразите, наприм., Достоевскаго передъ этою же самою теоріей. Это тоже первоклассный талантъ, но идеи его такъ смутны и сбивчивы, онъ указываетъ вамъ пути въ столь различныхъ направленіяхъ,—то къ протесту (въ *Бѣдныхъ людяхъ*), то къ резиньяціи (въ *Братьяхъ Карамазовыхъ*),—что ваше сомнѣніе будетъ въ данномъ случаѣ вполне основательно. Быть можетъ, Достоевскій объявилъ бы теорію Толстого вдохновеннымъ откровеніемъ, а быть можетъ и возмутительною ересью. Въ умственномъ запасѣ этого писателя не было такихъ фундаментальныхъ идей, которыя бы *обязывали*, какъ только можетъ обязывать простая здоровая логика, и потому вы могли ожидать отъ него какихъ угодно заключеній.

Въ огромномъ большинствѣ подобныхъ случаевъ очень трудно было бы предугадать мнѣніе г. Боборыкина, трудно даже тому, кто внимательно изучилъ произведенія этого писателя. Можно ручаться только за одно: «на вся-

кій звукъ» жизни г. Боборыкинъ не замедлитъ «родить свой откликъ», и это произойдетъ именно «вдругъ», экспромтомъ и для читателя и для самого писателя. Въ эпоху наибольшаго процвѣтанія у насъ классицизма въ наше общество нахлынули разные то честолюбивые, то просто голодные «братушки» въ качествѣ нашихъ наставниковъ и просвѣтителей,—и г. Боборыкинъ пишетъ на эту тему большой рассказъ *Докторъ Цыбулька*. Около того же времени пышнымъ цвѣтомъ распустилось у насъ всякаго рода гешефтмахерство,—и г. Боборыкинъ предлагаетъ огромный романъ *Дольцы*, въ которомъ едва возникшее явленіе изображено со всѣхъ возможныхъ сторонъ. Начались въ обществѣ и въ литературѣ толки о зарождающейся у насъ буржуазіи на западно-европейскій ладъ,—буржуазіи образованной, не имѣющей, кромѣ происхожденія, ничего общаго съ старозавѣтнымъ Кить Китычемъ,—и г. Боборыкинъ ужъ тутъ какъ тутъ съ романомъ *Китайгородъ*. Послышались голоса объ упадкѣ общественной нравственности, объ исчезновеніи у насъ идеаловъ, объ отсутствіи широкихъ жизненныхъ цѣлей и проч.,—г. Боборыкинъ является съ романомъ *На ущербѣ*. Оплакиваютъ многочисленныя измѣны, говорятъ съ горечью о какомъ-то почти повѣтріи ренегатства,—г. Боборыкинъ живою рукой воплощаетъ образъ современнаго ренегата въ повѣсти *Поумнѣлъ*. Идетъ рѣчь о деревнѣ, о возможности въ ней для интеллигенціи плодотворной дѣятельности, о культурныхъ демократическихъ идеалахъ,—г. Боборыкинъ въ романѣ *Василій Теркинъ* даетъ изображеніе во весь ростъ чистокровнаго демократа, совмѣщающаго въ своей личности необыкновенный идеализмъ съ чрезвычайною практичностью. Словомъ, не возникало за послѣднія двадцать лѣтъ въ нашей жизни такого значительнаго явленія или «вопроса», который бы не былъ беллетристически обработанъ и обсужденъ г. Боборыкинымъ.

Вообще говоря, это прекрасно. Живой о живомъ и ду-

маеть, какъ говорится, а вѣдь писатель, беллетристъ, художникъ—человѣкъ живой по преимуществу. Онъ не можетъ быть не отзывчивымъ и обязанъ быть отзывчивымъ на всѣ житейскія волненія и битвы:

Писатель, если только онъ  
Волна, а океанъ—Россія,  
Не можетъ быть не возмущенъ,  
Когда возмущена стихія.

Но тутъ представляются нѣкоторыя требованія, не какія-либо партійныя требованія, а чисто-литературныя, художественныя, обязательныя для всякаго писателя, независимо отъ общаго направленія его идей. *Во-первыхъ*, прежде всего нужно уметь выбирать явленія. Любой изъ безчисленныхъ фактовъ жизни можетъ стать объектомъ для изученія и для художественнаго воспроизведенія, но литературные старовѣры, къ которымъ и мы себя причисляемъ, полагали и полагаютъ, что лишь тѣ явленія заслуживаютъ вниманія художника, которыя внутренне-значительны, въ которыхъ есть общественный смыслъ, которыя, наконецъ, отличаются типичностью, то-есть известною степенью всеобщности. *Во-вторыхъ*, для того, чтобы вѣрно воспроизвести *такое* явленіе, нужно вполне овладѣть имъ, понять или, какъ говорилося въ старину, *выносить* его. *Въ-третьихъ*, нужно уметь координировать явленія, т.-е. соотносить ихъ къ какому-нибудь единому и общему принципу. Это послѣднее требованіе (такъ же, впрочемъ, какъ и второе) предъявляется одинаково и со стороны литературнаго утилитаризма и со стороны чистѣйшей эстетики. Утилитаристъ ставитъ это требованіе, желая, чтобы художникъ дѣйствовалъ во имя опредѣленнаго *идеала*, въ лучахъ котораго онъ и покажетъ намъ сдѣланныя имъ наблюденія. Эстетикъ предъявляетъ то же самое требованіе въ интересахъ литературной архитектуры, въ интересахъ эстетическаго единства и стройности художественнаго произведенія. Спрашивается, въ какой

мѣрѣ удовлетворяетъ г. Боборыкинъ этимъ элементарнымъ требованіямъ?

Въ мѣрѣ очень незначительной, отвѣтимъ мы безъ всякихъ обиняковъ. Однако г. Боборыкинъ можетъ спокойно выслушать этотъ нашъ отвѣтъ, потому что, какъ это слишкомъ ясно, если бы дѣло этимъ и исчерпывалось, ни г. Боборыкинъ не игралъ бы той, очень видной, роли въ нашей литературѣ, какую играетъ онъ теперь, ни мы не предложили бы читателямъ большой критической статьи о писателѣ, о которомъ можно лишь то сказать, что его не надобно читать, по лермонтовскому выраженію. Есть, значить, нѣчто въ душевномъ и умственномъ запасѣ г. Боборыкина, — нѣчто, возвышающее его надъ среднимъ уровнемъ нашей литературы и тѣмъ самымъ привлекающее къ нему вниманіе и читателей и критики. Объ этомъ будетъ разговоръ дальше, а пока вернемся къ ближайшему пункту. *Первому* требованію г. Боборыкинъ удовлетворяетъ лучше, нежели двумъ остальнымъ. У него есть то чутье жизни, которое позволяетъ писателю многое вѣрно угадывать, даже находясь въ сторонѣ отъ событій, не участвуя непосредственно въ водоворотѣ жизни. Его интересуется все, что въ данную минуту интересуется общество, и, кромѣ того, онъ удачно предугадываетъ и то, чѣмъ общество можно заинтересовать или чѣмъ оно будетъ интересоваться въ ближайшемъ будущемъ. Г. Боборыкинъ всегда ап соупантъ жизни. Однако не все то важно, о чемъ говорится въ газетахъ и въ салонахъ, не все то значительно, что составляетъ интересъ дня. Нашествіе, наприм., разнаго рода «докторовъ Цыбулекъ» будто бы съ просмѣтельными, а на самомъ дѣлѣ съ хищническими цѣлями, могло бы въ свое время послужить матеріаломъ для хорошаго фельетона, но писать на эту тему романъ въ двадцать печатныхъ листовъ значить, попросту говоря, хватить черезъ край. Г. Боборыкину слѣдовало бы родиться не въ Россіи, а гдѣ-нибудь на западѣ и всего лучше во

Франція. Наша сѣренькая жизнь плетется черезъ пенъ-колоду, самыя могучія и чистыя ея струи долго остаются подъ почвой, прежде чѣмъ пробиться на свѣтъ Божій, да и пробиваются онѣ какъ-то спорадически, маленькими отдѣльными фонтанами, такъ что иногда и не разберешь, случайная ли это чья-нибудь затѣя, или признакъ настоящаго, готоваго прорваться подпочвеннаго *теченія*. На западѣ—иное дѣло. Тамъ жизнь кипитъ при полномъ солнечномъ освѣщеніи, тамъ явленія группируются не искусственно, а естественно, силою своего внутреннего значенія, тамъ нѣтъ надобности гадать и предугадывать, а достаточно лишь наблюдать и размышлять. Наша жизнь такъ не богата крупными явленіями, а г. Боборыкинъ такой плодовитый и нетерпѣливый бытописатель, что ему волей-неволей нужно или дѣлать изъ мухи слона или прибѣгать къ сочинительству. Мы живемъ, какъ говорится, *съ прохладцей*, утѣшаясь тѣмъ, что надъ нами не каплетъ и дѣло не медвѣдь—въ лѣсъ не уйдетъ, а г. Боборыкинъ «жить торопится и чувствовать спѣшить». Г. Боборыкинъ слишкомъ нервнъ для насъ, а мы слишкомъ флегматичны для него. Наше *сегодня* не только совершенно походить на наше *вчера*, но и повторяетъ собою то, что было лѣтъ за пять передъ тѣмъ, а г. Боборыкину нужны каждый день новыя впечатлѣнія, каждый мѣсяцъ—новыя темы, каждый годъ—новыя вѣянія и настроенія. Только тогда онъ почувствовалъ бы себя совершенно въ своей тарелкѣ, а намъ, помилуйте, откуда же намъ взять всего этого? Но если мы несомнѣнно ни въ чемъ не виноваты, потому что на нѣтъ и суда нѣтъ, то и г. Боборыкинъ тоже по-своему правъ, разыскивая въ нашей жизни всякаго рода новинки и «послѣднія слова»: таково ужъ его призваніе, такова его специальность, такъ ужъ созданъ его талантъ.

Въ этой неустанной погонѣ за самыми животрепещущими общественными темами г. Боборыкину, разумѣется,

совсѣмъ не до того, чтобы «вынашивать» свои образы. *Второе* основное требованіе, поставленное нами выше, слишкомъ стѣснительно для г. Боборыкина, чтобы онъ могъ серьезно надъ нимъ задуматься. Г. Боборыкину ждать некогда, да, быть можетъ, и не зачѣмъ, потому что онъ беллетристъ-публицистъ, а не беллетристъ-художникъ. Въ силу этого процессъ концепціи, творческаго воспріятія, упрощается до послѣдней крайности. Явленіе едва возникло, передъ нимъ еще лежитъ длинная дорога развитія, которая когда-то къ чему-нибудь положительному приведетъ, а между тѣмъ впечатлительность нашего беллетриста-публициста уже затронута, быстрая фантазія уже рисуетъ ему перспективы будущаго, а опытное и талантливое перо, конечно, сумѣетъ облечь призраки въ плоть и кровь и крошечный бутончикъ изобразить въ видѣ пышно распустившагося цвѣтка. Кто, наприм., навѣрное знаетъ, каково будетъ наше будущее третье сословіе и въ чемъ выразится его историческая роль? *Навѣрное* никто не знаетъ. Писаревъ, наприм., полагалъ, что «придетъ время, и оно ужъ вовсе недалеко», когда образованный капиталистъ *пойметъ*, что приносить пользу обществу гораздо *пріятнѣе*, нежели получать съ своего капитала самые жидовскіе проценты; г. В. В. полагаетъ, что никакой будущности у нашего третьяго сословія нѣтъ, потому что чаша капиталистическаго производства должна миновать насъ; *Новое Время* утверждаетъ, что не въ будущемъ только, а уже въ настоящемъ наше третье сословіе благодѣлствуетъ Россіи и будетъ еще больше благодѣлствовать, даже до послѣдней рубашки, только, Бога ради, *поддержите коммерцію*, т. е. возвышайте, возвышайте, возвышайте таможенные тарифы. Существуютъ на этотъ счетъ и другія мнѣнія и самое ихъ разнообразіе доказываетъ, что явленіе далеко еще не опредѣлилось, но г. Боборыкинъ, случайно повстрѣчавшись за табльдотомъ съ волжскимъ купцомъ Теркинымъ и побесѣдовавши съ нимъ



полчаса, возвращается къ себѣ въ кабинетъ и пишетъ романъ *Василій Теркинъ*, въ которомъ и психологія, и цѣли, и средства, и все прошедшее, настоящее и будущее нашей буржуазіи представлено какъ на ладони. Быстрота воспріятія изумительная, смѣтливость теоретическаго пониманія замѣчательная, гибкость литературнаго таланта необыкновенная! Но что тутъ дѣлать бѣдному, старомодному «творчеству»? Оно, какъ «гробовой мастеръ» Пушкина въ пьесѣ *На выздоровленіе Лукулла*, сконфуженно «вворы клонить»...

Относительно *третьяго* требованія, — требованія, касающагося общаго идеала писателя, — всего удобнѣе выслушать показаніе самого г. Боборыкина. Въ печати недавно появилось одно его частное письмо, въ которомъ мы найдемъ нужныя намъ свѣдѣнія. Вотъ что мы находимъ въ этомъ письмѣ: «Когда я впервые, въ 1865 г., попалъ въ Парижъ, во мнѣ были всѣ данныя и почти вся подготовка того, что французы называютъ *libre penseur* на подкладкѣ нѣмецкаго матеріализма, на который я однако и тогда смотрѣлъ уже не снизу вверхъ, а сбоку, видя, что онъ и нетерпимъ, и узокъ, и несостоятеленъ, *какъ система*, что онъ даже совсѣмъ не міровоззрѣніе. Нечего говорить, что припадки *нашего нигилизма* я продѣлывалъ еще студентомъ въ Дерптѣ, когда всѣ «лиловыя» и другія книжки воспринялъ въ оригиналѣ и шестью годами раньше ихъ распространенія въ Петербургѣ. Я искалъ и жаждалъ широкаго и, главное, *научнаго*, объективнаго, твердаго обобщенія. Бывшій «естественникъ» сидѣлъ во мнѣ, да и теперь сидитъ еще. Нашелъ я это обобщеніе въ системѣ Конта. Она на *первыхъ порахъ* отвѣтила на мой запросъ. На ея изученіе и усвоеніе ушло два-три года. Но, познакомившись съ нею еще въ 1868 г., когда я напечаталъ первую свою статью въ *Philosophie Positive*, я уже былъ самый лѣвый изъ всѣхъ лѣвыхъ позитивистовъ отъѣнка Литтре. Я уже сильно и ясно чувствовалъ неполноту

и даже просто недостаточность системы въ жгучихъ, безотлагательныхъ вопросахъ дня. Въ это время какъ разъ я, въ званіи корреспондента и по своей охотѣ, столкнулся съ цѣлымъ рядомъ социальныхъ и политическихъ явленій, очень много видѣлъ и впервые *почувствовалъ* значеніе и дѣйствительную жгучесть разныхъ общественныхъ силъ и стремленій. Былъ даже одинъ моментъ, на одномъ изъ конгрессовъ, когда я испыталъ ударъ въ родѣ того, какой оварилъ Павла на дорогѣ въ Дамаскъ. Съ этимъ я вернулся въ Россію въ 1871 г. Какъ беллетристу и журналисту, мнѣ не было ни повода, ни свободы высказываться насчетъ своего *profession de foi*, но оно сложилось не въ сухой и формальный компромиссъ съ дѣйствительностью, какъ у Вырубова или г. Стронина, какъ у всѣхъ систематическихъ позитивистовъ-доктринеровъ, а въ ученіе, гдѣ на основѣ научно-философской лежитъ неустанное стремленіе: отзываться на явленія жизни активно, бороться со всѣмъ, что только стоитъ на пути ко благу, какъ долженъ его понимать живой человѣкъ, работающій на все культурное и некультурное человѣчество. Если доктринеры будутъ сидѣть съ своими катехизисами, ихъ жизнь оставить за штатомъ. Мой же комическій позитивистъ есть чиновничье, дилетантское отраженіе сухости и бездушія школы. Бездушіе это, если хотите, не намѣренное но, все-таки, бездушіе».

Все это очень интересно. Здѣсь между прочимъ указываются такія черты, которыхъ мы не подозрѣвали въ г. Воборыкинѣ, судя о немъ лишь на основаніи его произведеній. Мы не думали, наприм., что г. Воборыкинъ озабоченъ судьбами «некультурнаго человѣчества». Наоборотъ, намъ всегда казалось, что одною изъ главнѣйшихъ особенностей г. Воборыкина, какъ беллетриста, является его отчужденность отъ сѣрыхъ, некультурныхъ массъ человѣчества. Не то чтобы г. Воборыкинъ презиралъ народъ за его некультурность и не то чтобы онъ не желалъ ему

всякаго блага,—нѣтъ, г. Боборыкинъ писатель гуманный и доброжелательный. Но эта гуманность вытекаетъ не изъ живого чувства, а изъ холоднаго принципа, не отъ любви, даже не отъ состраданія, а изъ просвѣщенной снисходительности. Доброжелательность г. Боборыкина—доброжелательность платоническая. Въ его идеалѣ, насколько онъ выразился не въ *словахъ*, а въ *дѣлахъ*, т.-е. въ литературныхъ произведеніяхъ г. Боборыкина, рѣшительно нѣтъ демократическаго элемента. Это скорѣе всего идеалъ высоко-просвѣщеннаго джентльмена-европейца, который очень цѣнитъ свободу, но еще болѣе цѣнитъ порядокъ. «Быть можно дѣльнымъ человѣкомъ и думать о красѣ ногтей». Равноправность, четвертое сословіе, эмансипація труда, націонализація земли, государственное вмѣшательство и проч., и проч.,—все это прекрасно, всему этому не можетъ не сочувствовать просвѣщенный человѣкъ, который и со Спенсеромъ дебатировалъ, и Конта знаетъ наизусть, но только, пожалуйста, нельзя ли безъ шума, безъ восклицаній, безъ дикихъ сценъ, безъ чрезмѣрной жестикуляціи? Прогрессъ—прогрессомъ, но и благовоспитанность—дѣло хорошее. Вотъ чувство или настроеніе, которое, кажется намъ, почти всегда сквозить въ рѣчахъ г. Боборыкина. Это не безразличный аристократизмъ, это именно утонченный, изящно-культурный европеизмъ, который съ готовностью, съ искреннею даже симпатіей подастъ руку демократизму, но все-таки до того надѣнетъ перчатки или послѣ того тщательно умоется водою съ одеколономъ,—не отъ лицемерія, а отъ чрезвычайной чистоплотности. Щедринскій герой съ ужасомъ рассказывалъ, какъ онъ только что встрѣтилъ на Невскомъ нигилиста: «онъ былъ *mal lavé, mal reigné* и отъ него... пахло!» Г. Боборыкинъ—не щедринскій герой, онъ произноситъ приговоры вещамъ и людямъ на основаніи ихъ внутреннихъ, а не внѣшнихъ свойствъ, и поэтому онъ ничего не имѣетъ противъ *идеи* демократизма. Но что отъ демократіи... «пахнетъ», этого онъ ни на минуту не можетъ забыть.

Мы вовсе не оспариваемъ фактическихъ показаній г. Боборыкина, заключающихся въ его письмѣ: мы только представляемъ ихъ нѣсколько въ иномъ освѣщеніи. Нельзя сомнѣваться, наприм., что «лиловыя» книжки г. Боборыкинъ прочелъ шестью годами раньше ихъ распространенія въ интеллигентной массѣ, но мы подчеркиваемъ, что, кромѣ какихъ-то, сожалѣнія достойныхъ, «припадковъ», эти книжки не дали ничего г. Боборыкину. Не сомнѣваемся мы и въ томъ, что, отыскивая «широкое, научное, объективное, твердое обобщеніе», г. Боборыкинъ изучилъ позитивизмъ настолько основательно, что могъ сотрудничать въ его спеціальному органѣ, но — опять подчеркиваемъ мы — вскорѣ отвернулся отъ него, какъ отъ «сухого, формальнаго компромисса». «На одномъ изъ конгрессовъ», г. Боборыкинъ «испыталъ ударъ въ родѣ того, какой озаирилъ Павла (т.-е. Савла) на дорогѣ въ Дамаскъ», и, вѣроятно, это такъ и было. Но гонитель Савлъ вслѣдствіе удара превратился въ энергичнѣйшаго ученика Павла, а ударъ, постигшій г. Боборыкина, неизвѣстно какія имѣлъ послѣдствія. Въ послѣднемъ результатѣ, послѣ всѣхъ своихъ изученій и размышленій, г. Боборыкинъ пришелъ только къ тому убѣжденію, что необходимо «отзываться на явленія жизни активно, бороться со всѣмъ, что только стоитъ на пути ко благу, какъ долженъ его понимать живой человѣкъ». Это — чисто-публицистическая программа, и первую ея половину г. Боборыкинъ, какъ мы видѣли, исполняетъ неукоснительно: онъ «отзывается» на все, что сколько-нибудь стоитъ отзыва. Въ произведеніяхъ г. Боборыкина есть и «борьба», но мы все-таки не знаемъ, какъ именно понимаетъ нашъ романистъ идею общаго блага, выдвигаемую имъ на первый планъ.

Въ этомъ почти вся сущность дѣла. Писательская личность г. Боборыкина не ясна для насъ — и ужъ, конечно, не отъ недостатка внимательности, съ какою мы присматривались къ ней. Огромная энергія и очень мало вы-

держки; много ума и мало убѣдительности; стремленіе къ борьбѣ на почвѣ *объективнаго* обобщенія; чистѣйшій космополитизмъ рядомъ, рука объ руку съ чистѣйшимъ патриотизмомъ. Одна изъ симпатичныхъ героинь г. Боборыкина, судьба которой похожа на судьбу самого автора въ смыслѣ долгаго, даже слишкомъ долгаго, общенія съ западно-европейскою жизнью, выражается такимъ образомъ: «Мнѣ противно въ Петербургѣ. Дальше въ Россіи я не ѣздила, но, кажется, и тамъ такъ же. Это такая страна. Если быть *prolétaire* и работать, чтобы не быть голодной, такъ лучше тамъ, гдѣ есть солнце, гдѣ дешевле жить, гдѣ народъ смѣется не такъ, какъ у васъ здѣсь, гдѣ всѣ... *rôdent comme des âmes en peine!* Это такой городъ. Это такая земля. Никто не живетъ. *Tout le monde végète.* Развѣ всѣмъ не скучно?» Это говоритъ чистокровная русская дѣвушка. Г. Боборыкинъ тоже чистокровный русскій человѣкъ. Но эти слова, которыя мы выписали, это высокоумное презрѣніе къ своей несчастной родинѣ, эта забота о своихъ удобствахъ, о яркомъ солнцѣ, о веселомъ смѣхѣ, о дешевизнѣ жизни, — развѣ это не простое видоизмѣненіе формулы космополитизма: «гдѣ хорошо, тамъ и отечество»? Мы не рѣшимся сказать, чтобы г. Боборыкинъ безъ всякихъ оговорокъ подписался подъ словами своей героини, но отчего же все-таки такъ оживляются краски г. Боборыкина, когда онъ рисуетъ не «эти бѣдныя селенья, эту скудную природу», а шумную уличную жизнь французскихъ городовъ, живописную прелесть швейцарскихъ деревень, яркое небо и роскошную природу Италиі? Г. Боборыкинъ тяготеетъ къ западу, — это несомнѣнно. Но несомнѣнно и то, что онъ всѣми корнями вросъ въ родную почву, оторваться отъ которой онъ, быть можетъ, и хотѣлъ бы, но не въ силахъ. Его сознательныя симпатіи всѣ на сторонѣ запада; но его безсознательныя инстинкты, его воспоминанія, его невольныя влеченія, — все это принадлежитъ его родинѣ. Едва ли не это именно обстоятель-

ство липаетъ г. Боборыкина той духовной цѣлостности, безъ которой нѣтъ и настоящей устойчивости и твердой опредѣленности. Приведемъ одинъ не крупный, но вразумительный примѣръ. Г. Боборыкинъ говоритъ о кровной связи человѣка съ *родною* природой. «Никакая растительная роскошь не дастъ вамъ этихъ ощущеній. Вы ходите по теплицамъ «Jardin des Plantes» и «Нью-Гардена», любуетесь тропическими папоротниками, пальмами и бананами, орхидеями и магноліями, но вы не живете съ ними, вы не чувствуете ихъ пульса, они не будятъ въ васъ образовъ, мимовъ, порываній, сострастій, назрѣвавшихъ среди другихъ обаяній природы. Только тутъ вы и познаете, какъ далеки искусственные восторги и возгласы отъ безмолвнаго, простого, но неустаннаго чувства, наполняющаго васъ въ минуты вашего соединенія съ тѣмъ, что вдохновенные греки звали «Панъ». Вдругъ среди дальнихъ странствій, гдѣ-нибудь въ долинахъ андалузскихъ Сьерръ, тихую и теплою ночью вдохнете вы въ себя струю пахучаго воздуха и спросите: чѣмъ это пахнетъ? Розмариномъ, отвѣчаетъ вамъ туземный спутникъ. Но розмаринъ превращается въ запахъ родныхъ «корешковъ» и «свѣтиковъ», и въ груди вашей задрожитъ первобытное чувство бытія... Панъ воскреснетъ!.. Берега Гвадалквивира унесутъ васъ въ глушь «Дуплянки», гдѣ вы припадали къ свѣтлому ключу и рвали ландыши, и ловили раковинки, гдѣ каждый кустъ зари издавалъ особое благоуханіе, воспринятое впервые младенческими нервами и сливавшееся съ безконечною вереницей другихъ обаяній». Это чрезвычайно характерно. Г. Боборыкину какъ будто неловко, конфузно признаться въ своемъ чувствѣ и назвать его настоящимъ именемъ. Просвѣщенному ли европейцу тосковать о непросвѣщенной Россіи? И вотъ г. Боборыкинъ ссылается зачѣмъ-то на грековъ и припутываетъ къ дѣлу Пана, которому тутъ совсѣмъ дѣлать нечего. «Великій Панъ умеръ», но любовь къ родной землѣ живетъ въ каждомъ человѣческомъ сердцѣ

и ничего общаго эта любовь не имѣтъ съ тѣмъ проникновеніемъ природой, съ тѣмъ восторженно-эстетическимъ любованіемъ ея вѣчными красотами, которое выражалось въ образѣ Пана. Г. Боборыкинъ не хуже насъ знаетъ, конечно, что если все дѣло въ томъ, чтобы воскресить Пана, то это удобнѣе сдѣлать на берегахъ Гвадалквивира, нежели въ какой-нибудь Дуплянкѣ, но у него нѣтъ мужества сознаться, что его влечетъ къ Дуплянкѣ не въ силу эстетическаго, а въ силу патріотическаго чувства. Любить Россію—Боже мой! «Это такая земля. Это такая страна. Никто не живетъ. Tout le monde végète. Развѣ всѣмъ не скучно?» И, все-таки, г. Боборыкинъ страстною любовью любитъ эту скучную страну. Онъ бѣжитъ изъ нея, потому что хочетъ жить, а не прозябать, но, очутившись на берегахъ Гвадалквивира или на бульварахъ Парижа, тотчасъ же убѣждается, что чужая радость плохо веселитъ. Умственные интересы и привычки влекутъ г. Боборыкина въ одну сторону, а стихійныя симпатіи или, говоря его собственнымъ выраженіемъ, «сострастія»—въ другую сторону, и это придаетъ особый отпечатокъ его литературной фizioноміи.

У г. Боборыкина, какъ у одной героини русской сказки, «тысяча-тысячъ думшекъ». Его литературное амплуа и многосложно и довольно исключительно. Съ одной стороны, онъ является какимъ-то литературнымъ посредникомъ между нами и западными европейцами: имъ рассказываетъ о насъ, а намъ рассказываетъ о нихъ. Съ другой стороны, онъ зачастую въ одномъ и томъ же произведеніи, а иногда на одной и той же страницѣ, отъ роли беллетриста-бытописателя переходитъ къ роли публициста-теоретика, отъ картинъ—къ разсужденіямъ и обратно. Большой бѣды въ этомъ нѣтъ,—точно такъ же часто поступалъ и Глѣбъ Успенскій,—но есть бѣда въ томъ, что свое специальное призваніе «отзываться» г. Боборыкинъ часто понимаетъ въ смыслѣ «увлекаться». Г. Боборыкинъ то реалистъ въ

духъ русской реалистической школы (*Въ путь-дорогу, Жертва вечерня*), то французскій натуралистъ (*По-американски, Поддѣли*), то чуть не народникъ (*Въ усадьбѣ и на порядкѣ*), то почти антинродникъ (*На ущербѣ*), то пессимистъ (*Поумнѣлъ*), то оптимистъ (*Василій Теркинъ*) и т. д. Это не перемѣна убѣжденій, это — перемѣна настроеній и увлеченій. Но потому-то и нельзя сказать за-ранѣе, какъ отнесется г. Боборыкинъ къ тому или другому явленію. Вы не можете быть за него спокойны, какъ спокойны за каждаго писателя, у котораго не тысяча, а одна думушка, одна цѣль, одинъ идеалъ. Г. Боборыкинъ писатель талантливый и многоопытный и, все-таки, за него приходится каждый разъ опасаться, какъ за начинающаго: въ настоящее время, напримѣръ, мы съ искреннимъ безпокойствомъ ждемъ окончанія послѣдняго произведенія г. Боборыкина *Передъ чѣмъ-то*. Г. Боборыкинъ только одному всегда и неизмѣнно вѣренъ: той общей почвѣ просвѣщенной культурности, съ которой онъ сжился въ западно-европейскихъ обществахъ, той, если такъ можно выразиться, цивилизованной *порядочности мысленія*, для которой невозможны, неприличны разные взѣрошенные и распушенные парадоксы и абсурды, какихъ не мало циркулируетъ въ нашей литературѣ. Эту справедливость мы охотно воздаемъ г. Боборыкину. Онъ можетъ мѣнять свои воззрѣнія на психологическія свойства народа, но своего мнѣнія объ общихъ человѣческихъ правахъ народа онъ не измѣнитъ никогда, потому что слишкомъ умственно дисциплинированъ для этого. Ученія какого-нибудь князя Мещерскаго должны представляться ему совершенно въ такомъ же освѣщеніи, какъ и легенды о бабѣ-ягѣ, о коровьей смерти, о лѣшихъ и русалкахъ.

Собственно литературный талантъ г. Боборыкина, какъ специальная техническая способность, принадлежитъ къ разряду второстепенныхъ, но замѣчательныхъ талантовъ. Въ немъ нѣтъ ни той глубины психологическаго проник-



новения, которая отличает Достоевского, ни той изящной поэтичности, которою всегда блистает Тургеневъ, ни той грубоватой, но несомнѣнной правдивости, которую мы находимъ у Писемскаго, зато въ талантѣ г. Боборыкина имѣются *все* эти свойства—въ гораздо слабѣйшей степени, конечно. Какъ психологъ, г. Боборыкинъ представилъ нѣсколько типовъ (мы ихъ сейчасъ увидимъ), которые долго не забудутся. Какъ бытописатель, онъ далъ рядъ картинъ изъ жизни самыхъ разнообразныхъ общественныхъ слоевъ,—картинъ, въ которыхъ есть и правда и красота. Фактический художественный запасъ г. Боборыкина разнообразенъ и значителенъ. Г. Боборыкинъ много видѣлъ и наблюдалъ, много учился и размышлялъ... и все-таки онъ распоряжается своимъ матеріаломъ не какъ настоящій хозяинъ, который любитъ каждый уголокъ и знаетъ каждую вещь въ своемъ хозяйствѣ, помнить и ея происхождение, и ея назначеніе, а какъ практичный арендаторъ, которому нѣтъ дѣла до разныхъ преданій и воспоминаній. Я хочу сказать этою метафорой только то, что уже говорилъ: г. Боборыкинъ, за немногими исключеніями, заимствуетъ свои темы чисто-внѣшнимъ образомъ, говорить не о томъ, о чемъ болитъ его душа (болитъ же она о чемъ-нибудь!), а лишь о томъ, чѣмъ въ данную минуту интересуется общество. Это и естественно для г. Боборыкина: его сила не въ непосредственности, а въ рефлексіи, въ идейности. Беллетристика для него—только средство; его цѣли—чисто-публицистическія.

Не стоить распространяться о мелкихъ писательскихъ недостаткахъ г. Боборыкина, о нѣкоторой вычурности его языка, о манерности его описаній и т. п. Недостатки эти досадны, потому что лежатъ не въ сущности самаго дарованія г. Боборыкина, а какъ будто, по недоразумѣнію, добровольно привиты къ нему самимъ писателемъ, полагающимъ, что сказать просто: «онъ улыбнулся» — далеко не такъ красиво, какъ выразиться, наприм., такимъ обра-

зомъ: «въ одномъ уголку его рта зазмѣилось что-то похожее на улыбку». Такой именно фразы у г. Боборыкина нѣтъ, но подобныхъ фразъ у него сколько угодно. Гораздо интереснѣе и важнѣе то обстоятельство, что вообще въ суховатомъ, немножко резонерскомъ дарованіи г. Боборыкина есть элементъ искренняго и горячаго лиризма, который, точно въ укоръ всякимъ космополитическимъ тенденціямъ, невольно и тѣмъ болѣе неудержимо прорывается именно при воспоминаніи о „такой странѣ“, въ которой „никто не живетъ и tout le monde végète“. Читаете вы какой-нибудь романъ г. Боборыкина—*Солідныя добродѣтели*, наприим.,—и на протяженіи всѣхъ 500 страницъ романа видите въ авторѣ только бойкаго и умнаго рассказчика, немножко щеголяющаго своимъ умомъ европейца, въ одно и то же время и высокоумнаго и снисходительнаго къ намъ, бѣднымъ русскимъ варварамъ. Съ этимъ впечатлѣніемъ, въ которомъ есть и нѣкоторая доля почтительности, какъ данъ утонченной цивилизаціи, и большая доля отчужденности, вы готовы закрыть романъ и—вдругъ, въ самомъ послѣднемъ уголку его, въ концѣ послѣдней страницы, встрѣчаете такой удивительный и неожиданный *пассажъ*:

«Медлительная слеза скатилась по его поблѣднѣвшей щекѣ. Онъ чувствовалъ въ эту минуту, какъ все его существо было охвачено любовью къ тому многообразному бытію, которое зовутъ родиной. Высоты цивилизаціи, гдѣ онъ дышалъ, откуда онъ обозрѣвалъ безпредѣльные кругозоры, не заморозили фибра, трепетавшаго въ немъ такъ сладостно при видѣ и тихой рѣки, и блѣднаго неба, и глинистой земли, и бѣдныхъ кустиковъ. А посреди родной, не крикливой картины его духовный взоръ, съ надсадой сострастія, обнималъ безропотно идущаго своею темною стезей кормильца-пахаря. Какъ глубоко несчастливъ былъ бы онъ, если бы міровое движеніе, мозговая работа, яркіе цвѣты всесвѣтной культуры оставили его въ эту минуту безучастнымъ наблюдателемъ того, что творится въ одномъ

углу вселенной, и не дали ему силъ, держась за вѣчные устои, на которыхъ зиждется людское преуспѣяніе, припасть горячими, любовными устами къ матери русской землѣ...»

Что жъ это такое? Кто бы ожидалъ, что нашъ позитивистъ можетъ такъ плакать передъ образомъ «кормильца-пахаря», нашъ космополитъ и европеецъ можетъ припадать *горячими, любовными устами къ матери русской землѣ*? Не часты, очень не часты у г. Боборыкина такіе порывы, но они сближаютъ, сдружаютъ васъ съ писателемъ, въ которомъ, подъ конецъ, вы перестаете видѣть щеголя-европейца, гоголемъ прохаживающагося около нашей бѣдноты и темноты, и усматриваете въ немъ *своего* человѣка, *своего* и по крови, и по духу, по той скорби и по той любви, безъ которыхъ не живетъ русскій интеллигентный человѣкъ. Одна, двѣ, три такихъ встрѣчи съ писателемъ въ общемъ чувствѣ, въ одинаковомъ стремленіи и—вы уже съ большимъ спокойствіемъ, безъ нетерпѣливой досады и безъ унынія будете выслушивать его рассказы о «яркихъ цвѣтахъ всесвѣтной культуры». Ну, что жъ? Дай Богъ имъ всякой удачи и мы рады у нихъ чѣмъ можно позаимствоваться, но мы съ г. Боборыкинымъ знаемъ, что

Какъ ни тепло чужое море,  
Какъ ни красна чужая даль,  
Не ей размыкать наше горе,  
Развѣять русскую печаль.

Разъ слившись съ писателемъ въ этомъ чувствѣ *русской печали*, вы уже не забудете его, охотно отпустите ему всякія прегрѣшенія, вольныя и невольныя, и сколько бы онъ потомъ, въ силу требованій свѣтско-культурной благоприличности, ни сдерживался, вы не забудете, что этотъ парижско-лондонскій джентльменъ еще недавно вмѣстѣ съ вами плакалъ надъ пахаремъ-кормильцемъ, что подъ его вѣнскимъ фракомъ бьется простодушное русское сердце. «Краски чуждыя съ лѣтами спадаютъ ветхой чешуей».

II.

Огромнѣйшее большинство нашихъ талантливѣйшихъ беллетристовъ всегда гораздо болѣе занималось психологіей, нежели соціологіей, изображеніемъ *людей* болѣе, нежели изображеніемъ *дѣятелей*, изученіемъ *характеровъ*, нежели изученіемъ *идей*. Онѣгинъ, Чацкій, Печоринъ, Лаврецкій, Обломовъ, Бельтовъ, Рудинъ, Базаровъ,—все это замѣчательные въ разныхъ отношеніяхъ характеры, все это очень интересные люди, но нисколько не дѣятели, потому что и не дѣлаютъ ничего, а только тоскуютъ о дѣятельности или до сѣдыхъ волосъ все только подготавлиются къ ней. Но это не значитъ, конечно, чтобы наша общественная жизнь была лишена своихъ героевъ. Онѣгинъ уступалъ мѣсто Чичикову, Чацкій—Молчалину, Бельтовъ, Печоринъ, Лаврецкій ступевались передъ Калиновичемъ, Обломовъ и Рудневъ были вытѣснены Штольцемъ, Базаровъ посторонился передъ Соломинымъ. Постоянное и повсемѣстное торжество «трезвенныхъ взглядовъ» надъ «завиральными идеями», приспособленныхъ людей надъ неприспособленными, жизнерадостныхъ практиковъ надъ хмурыми идеологами—вотъ что составляетъ одну изъ характернѣйшихъ особенностей нашей общественной исторіи почти за все девятнадцатое столѣтіе. Замѣчательные *люди* не были дѣятелями. Недолгіе историческіе моменты, когда такое оригинальное теченіе дѣлъ измѣнялось, точно такъ же, какъ нѣсколько личныхъ и случайныхъ счастливыхъ исключеній, конечно, не измѣняютъ общаго смысла нашей формулы.

Беллетристическая дѣятельность г. Боборыкина, сообразно съ только что указаннымъ общимъ фактомъ, распадается на два главныхъ теченія—индивидуалистическое и общественное. Въ началѣ своей литературной карьеры г. Боборыкинъ углублялся преимущественно въ вопросы личной психологіи, занимался тщательнымъ анализомъ

интересовавшихъ его нравственныхъ типовъ. Такъ было съ г. Боборыкинымъ въ шестидесятыхъ годахъ. Въ семидесятыхъ и въ восьмидесятыхъ — публицистическій элементъ занимаетъ въ произведеніяхъ г. Боборыкина все большее и большее мѣсто, въ ущербъ психологическому анализу. У г. Боборыкина не достало силъ сохранить равновѣсіе и гармонію между этими элементами, по существу вовсе между собой невраждебными, и въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго въ виду трудности задачи: разрѣшить которую не сумѣлъ и самъ Тургеневъ: *общественные дѣятели* Тургенева или умираютъ преждевременно, едва взявшись за дѣло, какъ Инсаровъ, Базаровъ, Неждановъ, или, понуривши голову, бессильно разводятъ руками, какъ Лаврецкій, Рудинъ, Берсенева, или обрисовываются авторомъ въ какой-то туманной дымкѣ, какъ Соломинъ. Этотъ гордіевъ узелъ беллетристики г. Боборыкинъ не развязалъ, а разрѣзалъ: онъ является въ однихъ своихъ произведеніяхъ *только психологомъ*, въ другихъ — *только публицистомъ*, который заимствуетъ у беллетристики одну внѣшнюю форму ея, почти не заботясь о психологической обрисовкѣ характеровъ. Это обстоятельство для насъ удобно: сначала мы посмотримъ на г. Боборыкина, какъ на психолога, а потомъ постараемся оцѣнить его публицистику, т.-е. его тенденціозныя беллетристическія произведенія.

Самое большое по объему и самое малое по значенію произведеніе г. Боборыкина — романъ *Въ путь-дорогу* — можно оставить въ сторонѣ. Это собственно не романъ, а какая-то «проба пера» начинающаго романиста, какая-то безсвязная хроника безъ характеровъ, безъ идей, даже безъ замысла и фабулы. Совсѣмъ другое нужно сказать о *Жертвѣ вечерней*; это — произведеніе, въ которомъ талантъ г. Боборыкина сразу сдѣлалъ огромный шагъ, произведеніе въ полномъ смыслѣ замѣчательное, преисполненное ума, наблюдательности и задушевности. Героиня этой повѣсти — любимѣйшій типъ г. Боборыкина. Въ теченіе своей

литературной карьеры г. Боборыкинъ нѣсколько разъ обращался къ этому типу (*Жертва вечерняя*, *По-американски*, *Дюлцы*—эпизодически, въ лицѣ Зинаиды Алексѣвны, и *Обречена*), изучилъ его до мельчайшихъ подробностей и въ *психологию* такой интересъ совершенно понятенъ: сложная, вся созданная изъ мучительныхъ противорѣчій, нравственная природа женщинъ этого сорта представляетъ любопытный матеріалъ для анализа. Но г. Боборыкинъ придаетъ этому типу большое общественное значеніе и этого нельзя оставить безъ возраженій. Героиня повѣсти *По-американски* такимъ образомъ защищаетъ себя и свое дѣло: «Наша армія сойдетъ со сцены не раньше, какъ черезъ сорокъ лѣтъ. И мы будемъ во всѣхъ углахъ такъ называемаго порядочнаго свѣта. Изъ насъ выберутъ себѣ женъ всѣ стоящія на виду мужчины,—тѣ, изъ кого лѣтъ черезъ пятнадцать—двадцать выйдутъ администраторы, судьи, дипломаты, члены земства, придворные, игроки англійскаго клуба, хозяева, спекуляторы. Пока горсть *новыхъ* женщинъ станетъ пробивать себѣ кое-какъ безвѣстную тропинку, мы, рожденные въ стнившемъ будто бы *мірѣ*, будемъ жить припѣваючи, разѣзжать по за границѣ, проигрывать куши въ Баденѣ и Монако, лѣчиться у всѣхъ нѣмецкихъ профессоровъ, вмѣшиваться въ дѣла, плясать, хандрить, злословить, увлекаться моднымъ либерализмомъ или вдаваться въ самую безпощадную реакцію и ежедневно, ежечасно, ежеминутно изрекать сентенціи, охать и ахать на традиціонныя темы и муштровывать слѣдующее поколѣніе барышень, вбивая въ нихъ тотъ же бездушный вздоръ, какимъ такъ ревностно переполняли насъ!.. И послѣ того есть такіе наивные люди, которые увѣрили себя, что нашъ легіонъ находится при послѣднемъ издыханіи!»

Мы пойдемъ дальше героини г. Боборыкина: *изъ армія* не только черезъ сорокъ, но и черезъ сто сорокъ лѣтъ еще не сойдетъ со сцены. И все-таки наивные люди пра-

вы, полагая, что легіонъ этихъ героинь находится при послѣднемъ издыханіи. Медленно, постепенно, но неудержимо измѣняются условія жизни, и измѣняются какъ разъ въ томъ направленіи, при полномъ торжествѣ котораго довольно затруднительно будетъ людямъ, не умѣющимъ заработать личнымъ трудомъ четвертака, проигрывать купии въ Монако. Медленно, но неудержимо измѣняются и взгляды общества, его понятія о добрѣ и злѣ, его нравственныя требованія. Героини Хвощинской, принадлежащія къ тому же «легіону» по своимъ нравственнымъ свойствамъ, но выросшія въ атмосферѣ крѣпостничества, съ его изуродованною моралью, смотрѣли на себя съ уваженіемъ, считали себя солью земли, потому что такъ смотрѣло на нихъ и все общество, тогда какъ героиня г. Боборыкина очень хорошо понимаетъ, что, кромѣ «бездушнаго вздоха», у ней нѣтъ ничего за душой. Героиня Хвощинской г-жа Верховская (*Большая Медведица*), въ своей чувственности видѣла страстность, въ своихъ капризахъ — тонкость нервной организаціи, въ своей жаждѣ новизны и наслажденій — признакъ избранной натуры и т. п. Героиня повѣсти г. Боборыкина *По-американски* моложе Верховской лѣтъ на тридцать — и она уже далеко не считаетъ себя избранною натурой и непонятнымъ существомъ, а съ похвальною откровенностью говорить о «бездушномъ вздохѣ». А героиня недавней повѣсти г. Боборыкина *Обречена*, принадлежащая къ самому новѣйшему поколѣнію, но того самаго нравственного типа, выражается еще прямѣе, — такъ, что ей остается менѣе шага до полного самосознанія. Вотъ ея слова: «Кончить съ собою нѣтъ храбрости... Я могла бы сказать кому-нибудь... вамъ, напримѣръ: «застрѣлите меня», но я этого не скажу... Ядъ уже вошелъ въ меня... Это не фраза. Я не рисуюсь и не люблю театральныхъ эффектовъ. Ядъ, по наслѣдству, въ родѣ болѣзни... Вѣдь не всѣ застрѣливаются отъ неизлѣчимыхъ болѣзней, а мучатся, презираютъ

себя и живутъ. И я буду жить, какъ моя мать жила и живетъ. Много-много денегъ, салонъ въ Парижѣ, вила на Ривьерѣ, рулетка въ Монте-Карло, лошади, брильянты, съ каждымъ годомъ все новыя и новыя фантазіи. C'est du cynisme, еп. c'est se ras?— то, что я вамъ сказала?..— это только правда... И вѣрьте, каждая дѣвушка двадцати лѣтъ, изъ того же міра, гдѣ я родилась и воспиталась, все знаетъ и видитъ... И если она смотритъ наивностью—она лжетъ; да нынче и нѣтъ такихъ въ нашемъ обществѣ, ни здѣсь, ни за границей. Даже любовь, страсть не спасутъ... Придетъ минута... Le coup de foudre... Кого подставить судьба?.. Un bellâtre quelconque!.. Теноръ или тореадоръ... Все, все возможно! А жадность къ высокой жизни—вѣдь это переводъ словъ high-life? все будетъ глотать... до самой смерти, вмѣстѣ съ презрѣніемъ къ себѣ... Тѣ, у кого совѣсть совсѣмъ умерла, счастливицы!..»

Вотъ какъ совершается ростъ общественныхъ понятій: представительницы одного и того же нравственного типа пятьдесятъ лѣтъ назадъ не могли достаточно налюбоваться собою, двадцать пять лѣтъ назадъ сознавались, что весь ихъ душевный запасъ—«бездушный вздохъ», а нынѣ онѣ съ неподдѣльнымъ трагизмомъ говорятъ въ минуты искренности: «счастливицы, у кого. совѣсть совсѣмъ замерла». Очевидно, *наионные люди*, говорившіе о *последнемъ издыханіи*, были совершенно правы. Существовать, презирая себя, завидуя *счастливицамъ*, потерявшимъ совѣсть, конечно, не значить жить, значить — находиться въ агоніи.

Г. Боборыкинъ съ вѣрнымъ расчетомъ и съ тонкимъ беллетристическимъ тактомъ изобразилъ въ лицѣ своей «жертвы вечерней» не заурядную женщину, гонящуюся за не испытанными впечатлѣніями, въ родѣ Зинаиды Алексѣевны изъ романа *Дюлцы*, но женщину съ натурою глубокой, съ теплымъ сердцемъ, съ яснымъ умомъ. Со стороны внѣшнихъ преимуществъ она тоже не обижена судь-



бой: она красива, богата, молода и въ довершеніе всего совершенно свободна, въ качествѣ вдовы. Кому бы и жить, какъ не такой счастливицѣ? И она живетъ — по-своему, по традиціямъ, по установленному свѣтскому шаблону: «спанье до одиннадцатаго часу, гостинный дворъ, магазины, Невскій, визиты, Лѣтній садъ и Англійская набережная, коньки, понедѣльники въ оперѣ, суббота въ Михайловскомъ и потомъ плясъ, плясъ и плясъ съ разными уродами». Это ея собственная характеристика (повѣсть имѣетъ форму дневника героини). Ничего не можетъ быть однообразнѣе, монотоннѣе этой, повидимому, столь наполненной жизни. Представьте себѣ музыканта, который принужденъ разыгрывать десятокъ все однѣхъ и тѣхъ пьесъ, или живописца, который долженъ рисовать на одинъ и тотъ же сюжетъ, или писателя, который можетъ разрабатывать только одну тему: чѣмъ они даровитѣе, тѣмъ скорѣе ихъ жизнь и ихъ ремесло превратятся для нихъ въ пытку. Рубинштейнъ въ роли тапера, Рѣпинъ въ роли вѣселаго живописца, Толстой въ роли репортера очень скоро или сошли бы съ ума, или пустили бы себѣ пули въ лобъ. Тотъ же самый душевный процессъ происходитъ и въ героинѣ г. Боборыкина: она выше того общества, въ которомъ живетъ, лучше той жизни, которую ведетъ. Повторяю: это очень удачно, что г. Боборыкинъ избралъ своею героиней не такую женщину, въ которой всѣ человѣчныя свойства подавлены тщеславіемъ, желаніемъ блистать и первенствовать, но такую, которая хотѣла бы и могла бы жить, а не порхать, — мыслить, а не сентенціи изрекать, — трудиться, а не плясать. Марья Михайловна (имя героини) должна быть отнесена къ общему типу *обреченныхъ* (по выраженію г. Боборыкина), но обречла ее не собственная ничтожность и пустота, а внѣшнія условія ея жизни. Это обстоятельство придаетъ личности Марьи Михайловны извѣстное общественное значеніе, даетъ право взглянуть на повѣсть г. Боборыкина не какъ на психоло-

гическій этюдъ только, но и какъ на соціальный трактатъ въ беллетристической формѣ.

Свой дневникъ Марья Михайловна начинаетъ признаніемъ, что ей «вчера было особенно какъ-то тоскливо», и черезъ нѣсколько строкъ заявляетъ: «мнѣ бы хотѣлось увидать настоящій канканъ. А гдѣ его увидишь? Поѣхать на пикникъ... или попасть къ Огюсту, когда пріѣдутъ мужчины съ француженками?» Какая безнравственность! Совершенно справедливо. Точно такъ же и точно съ такимъ же правомъ воскликнули бы мы, увидавши тапера — Рубинштейна и репортера—Толстого, отправляющимися послѣ своей работы въ ближайшій трактиръ. Это мое сравненіе не слишкомъ грѣшитъ преувеличеніемъ. Несообразность положенія Толстого въ роли репортера только немного побольше и порѣзче несообразности положенія нашей героини въ роли расхожей свѣтской женщины. Чистая, какъ кристаллъ, душа Марьи Михайловны, ее горячее сердце, которому некого любить, ея тонкій и свѣтлый умъ, которому не о чемъ думать, вся ея нравственная личность, способная не только къ дѣятельности, но и къ подвигу,— все это страница за страницей раскрывается передъ вами въ ея дневникѣ, безъ всякаго намѣренія со стороны героини порисоваться передъ вами или хоть только передъ собою. Дневникъ Марьи Михайловны—не фразистое ломаніе передъ всею Европой, съ цѣлью подольше «остаться на землѣ», это—или покорное покаяніе грѣшной Магдалены, или бурная жалоба на несправедливость судьбы, все показавшей и ничего въ дѣйствительности не давшей, или, наконецъ, то мучительное самовопрошеніе передъ тайной жизни, которое посѣщаетъ человѣка, какъ только онъ надолго остается наединѣ со своею чуткою и требовательною совѣстью. Нужно сказать правду: г. Боборыкинъ показалъ очень большое мастерство именно въ изображеніи *безсознательности чистоты* своей героини, подобно тому, какъ Хвощинская въ лицѣ героя своей повѣсти *Первая борьба*

изобразила *безсознательность подростка*. Марья Михайловна преискренно и прегорячо казнить себя за свою грѣховность, тѣмъ самымъ доказывая, безсознательно для себя, что въ ея такъ называемыхъ «паденіяхъ» не было участія воли, души, разума, даже разсудка. Въ концѣ дневника, передъ своимъ самоубійствомъ, она даже прямо записала эту мысль, какъ послѣдній выводъ всѣхъ своихъ думъ: «иной разъ мнѣ кажется, что вся моя жизнь прошла безъ моего участія». Сogleките съ этой мысли нѣкоторый мистическій флёръ и передъ вами вся правда, во всей ея чистотѣ: да, жизнь нашей героини сложилась и прошла безъ ея участія, какъ безъ нашего участія катится по рельсамъ вагонъ, въ которомъ мы сидимъ, точнѣе—въ который насъ посадили. И вотъ почему мы сказали, что психологическій этюдъ г. Боборыкина имѣетъ общественное значеніе.

Но развѣ не возможенъ протестъ, развѣ нельзя было бороться? Но героиня наша только и дѣлала, что протестовала и боролась: противъ «идоловъ свѣта» (по лермонтовскому выраженію) она протестовала,—ужь не взыщите,—посѣщеніями аѳинскихъ вечеровъ, а противъ пустоты собственной жизни боролась энергично, отыскивая себѣ живое дѣло. Но она была слишкомъ умна для иллюзій. «Я знаю,—писала она въ дневникѣ,—могутъ, пожалуй, сказать: чѣмъ вамъ здѣсь заниматься плясомъ и дѣлать глазки разнымъ *ріпіоуфс*, лучше бы поѣхать въ деревню, поселиться тамъ, хозяйство оставить на рукахъ Ѳедора Христіаныча, а самой завести школу, больницу... Видѣла я эти школы и больницы. Въ школы никого калачомъ не заманишь, а больницъ мужики терпѣть не могутъ. Такъ давать по рукамъ лѣкарства, — я нахожу это нелѣпостью. Мало развѣ у насъ деревенскихъ барынь, которыя лѣчатъ по книжкамъ арники?.. Я не злая, слава Богу. Я готова помочь всякому. Можно дѣлать добро и въ городѣ. Здѣсь есть много барынь по добрымъ дѣламъ: пріюты разные, общины...

Если бъ представился случай—я не прочь; но всё эти добрыя дѣла — наполовину мода, реклама или опять-таки спасеніе отъ скуки. Подать нищему копейку не трудно, не трудно отдать и весь кошелекъ. Для этого нужно только доброе сердце имѣть. Но сдѣлать изъ благотворительности особую специальность, какъ нѣкоторыя изъ нашихъ барынь, для этого нужно, какъ для лѣченія же, какъ бы это сказать... принципъ, да и взяться надо съ толкомъ, а не зря. Да меня сейчасъ проведутъ, какъ маленькую дѣвочку. Всякая нищенка, попрошайка вымолитъ у меня все на свѣтѣ... и кончается это такимъ надувательствомъ, что даже смѣшно. Бѣгаютъ, хлопочутъ, устраиваютъ разныя лотереи, спектакли, концерты, жантильничаютъ. Боже мой, какъ онѣ рисуются, эти покровительницы! И раздадутъ деньги какимъ-нибудь салопницамъ, а тѣ ихъ пропьютъ. А для собственной охоты, *rouge la chose en elle mѣme*, т.-е. чтобы быть дѣйствительно образованною женщиной, нужно начать съ начала. А мы, если бы и захотѣли учиться съ *азы*, остались бы навѣки-вѣчные недоучками. У меня—дѣвочкой, правда—была охота читать; но теперь мнѣ и романы-то въ тягость. Взять мудреную книжку и сидѣть передъ ней четыре часа сряду каждое утро безъ всякаго интереса такъ же глупо, какъ и помогать пьянымъ салопницамъ. Все, что мнѣ нужно для своего собственнаго поведенія, я это и безъ книгъ знаю. *Un peu de savoir vivre et du sens commun!...*

Противъ этого, кажется, намъ возражать довольно затруднительно. Оставимъ школы, больницы и филантропію: всё эти дѣла могутъ быть *цѣлью* и содержаніемъ дѣятельности, но не могутъ и не должны быть *поводомъ* къ дѣятельности, средствомъ къ самовоспитанію. Но книги? Лучшаго средства для саморазвитія и перевоспитанія себя нельзя, кажется, и найти. Но Марья Михайловна логична и искренна. Ея логика—та самая, которая справедливо восхитила когда-то Писарева въ фонвизинской госпожѣ Про-

стаковой, объявившей, что географія—не дворянская наука, потому что кучеръ долженъ привести куда прикажетъ баринъ. Зачѣмъ двадцатидвухлѣтней женщинѣ, съ пятнадцатью тысячами годового дохода, утруждать себя чтеніемъ книгъ? Именно, именно такъ: все, что ей нужно *въ ея положеніи*, въ условіяхъ *ея жизни*, это—свѣтскій тактъ да здравый смыслъ. Вы—литераторъ: вздумаете ли вы когда-нибудь изучать китайскій языкъ? Въ *вашемъ положеніи* для васъ совершенно достаточно полного обладанія роднымъ языкомъ и знанія двухъ-трехъ иностранныхъ. Вы—купецъ: углубитесь ли вы въ тайны интегральнаго исчисленія? Въ *вашемъ положеніи* достаточно хорошаго знанія ариметики. Я хочу сказать этими примѣрами, что лишь тѣ знанія усваиваются прочно, въ которыхъ человѣкъ ощущаетъ не только внутреннюю потребность, но и практическую, внѣшнюю необходимость, которыя пріобрѣтались не изъ платонической любознательности, а ради насущныхъ жизненныхъ интересовъ. Ничего не можетъ быть проще и симпатичнѣе по своей искренности этихъ словъ нашей героини: «взять мудреную книжку и сидѣть передъ ней четыре часа безъ всякаго интереса—глупо». Глупо и лицемѣрно, прибавимъ мы. Откуда же возьмется интересъ? Марья Михайловна не додумалась еще до той простой истины, что для того, чтобы перевоспитать человѣка,—себя или другого,—нужно кореннымъ образомъ измѣнить условія его жизни. Вспомните притчу о богатомъ юношѣ; вспомните аналогичную по смыслу исторію перерожденія толстовскаго Пьера Безухова. Если бы наша героиня имѣла счастье разориться и вмѣсто *шикарнаго* проживанія готовенькихъ пятнадцати тысячъ въ годъ была принуждена жить на трудовыя, заработанныя пятнадцать рублей въ мѣсяцъ, — какіе новые горизонты раскрылись бы передъ ней! Для большинства такой крутой переломъ былъ бы гибелью во всѣхъ отношеніяхъ, но мы потому такъ и ставимъ высоко героиню г. Боберыкина, что энергичная дѣя-

тельность ея духа не заглохла даже подъ бременемъ абсолютной, хотя и суетливой праздности. Если даже такой импульсъ, какъ чувство мелкаго тщеславія, можетъ побудить человѣка къ серьезному, упорному труду, какъ это мы знаемъ изъ исторіи Башкирцевой, то, конечно, борьба за жизнь и за свою долю счастья заставитъ человѣка развернуть всѣ свои силы. Нельзя налагать на человѣка *бремена неудобноносимыя*; но еще болѣе опасно освобождать его отъ *всякаго* бремени. Безъ идеи долга, безъ сознанія чужого права, безъ чувства отвѣтственности не проживешь хорошо на этомъ свѣтѣ. «Дайте мнѣ глубокое суевѣріе! Дайте мнѣ мрачное изуверство! Дайте мнѣ дѣтскія грезы, что-нибудь дайте мнѣ, въ чемъ бы я хоть на секунду забылась!» — вотъ съ какими воплями отчаянія обращалась наша героиня къ жизни, къ *той самой* жизни, которая могла предложить, какъ свою лучшую и послѣднюю новинку, всего только аэинскіе вечера да французскій канканъ...

Конецъ повѣсти испорченъ, по нашему мнѣнію. Г. Боборыкинъ очень вѣрно понялъ, что для такихъ натуръ, какъ его героиня, истинная, серьезная любовь можетъ явиться источникомъ возрожденія, и онъ не отказалъ своей героинѣ въ этомъ счастьи. Но тутъ же и покаралъ ее за что-то — столько же ужасно, сколько и неправдоподобно. Эта брызжущая жизнью женщина, съ такимъ горячимъ сердцемъ, съ такимъ сильнымъ чувствомъ, внезапно превращается въ какую-то деревянную резонерку, которая убѣждаетъ себя, что она никакъ не можетъ соединиться навсегда съ любящимъ и любимымъ человѣкомъ. Но почему же?! Что за путаница, когда дѣло такъ просто? что за рефлексированіе передъ свѣжимъ и чистымъ чувствомъ? что за странная робость передъ явившимся счастьемъ?! А вотъ послушайте: «Чтобъ я была его женой, сознавая, что онъ будетъ меня любить только какъ не злую, не глупую и не скучную женщину? Чтобъ я чувствовала ежесекундно глубокую пропасть моего *rot-au-feu* и его настоящей, ду-

ховной, самоотверженной жизни? Чтобы его нетребовательность и терпимость кололи меня хуже всякаго ножа и говорили про безвыходность моего невѣжества, моей узости, моей безпомощности предъ тѣми вѣчными задачами, которымъ онъ служить и будетъ служить? Никогда, — о, никогда!» Это совсѣмъ не та женщина, которую мы до сихъ поръ видѣли. *Та* умѣла и здраво мыслить, и искренно чувствовать, *эта* — истерическая пустомеля, для которой всего важнѣе ея собственное болѣзненное самолюбіе. Казалось бы, если мужъ любить свою жену какъ не злую, не глупую и не скучную женщину, а она — все равно, правильно или неправильно — видеть въ немъ человѣка идеи, то этого и вполне достаточно для прочнаго счастья. Какая такая «пропасть» грозитъ образоваться между ними? Избранникъ Марьи Михайловны какой-то химикъ или технологъ: неужели будущей женѣ этого человѣка необходимо тоже изучить химію, чтобы устранить опасность «пропасти»? Въ этомъ смысла нѣтъ, но иного смысла нельзя отыскать въ ламентацияхъ Марьи Михайловны. Служеніе «вѣчнымъ задачамъ» многообразно и вовсе не требуетъ непременно технологическаго образованія. Тѣмъ не менѣе, наша героиня предпочла лучше умереть, нежели выйти за химика, не зная химіи. Богъ знаетъ что такое!

Мы кончили съ «жертвой», но не кончили съ самою повѣстью. Въ лицѣ литератора Домбровича, развратителя *жертвы вечерней*, г. Боборыкинъ раньше всѣхъ и, быть можетъ, глубже всѣхъ представилъ хорошо изученный теперь типъ изящнаго краснобая, жреца красоты и эстетики, слова котораго въ такой же мѣрѣ красивы, какъ скверны его дѣла. Стоить привести ту характеристику, которую Домбровичъ дѣлаетъ людямъ своего типа, — такъ много въ ней животрепещущаго, современнаго:

«Мы теперь попали въ дураки. Если бы вы послушали кого-нибудь изъ новыхъ... nous ne sommes que des gâches! Никакимъ вопросамъ мы не сочувствуемъ, переплет-

ныхъ заведеній не заводимъ и не можемъ мы никакъ понять, что такое дѣлается въ россійской литературѣ! Я помню, какъ мы всѣ начинали свою жизнь... Мы не мудрствовали, не разрушали основъ,—да-съ, это такое теперь специальное занятіе. Мы обожали искусство. Вѣра была, огонь, оттого и таланты появлялись... Да вотъ и теперь еще, на старости лѣтъ, возьмешь какую-нибудь сцену... «Сганареля», что ли, Мольеровскаго, и хохочешь себѣ какъ малое дитя; предъ картиной, предъ барельефомъ, предъ маленькимъ антикомъ простаивали мы по цѣлымъ часамъ. Каждую точку, каждый штрихъ изучали мы съ благоговѣніемъ,—да-съ, съ благоговѣніемъ! Мнѣ скучно, я глушь, я ничего не понимаю во всѣхъ этихъ реализмахъ, социализмахъ, нигилизмахъ и разныхъ другихъ измахъ. Все это мертвая болтовня! Талантишку ни въ одномъ на булавочную головку. Что такое писатель, поэтъ, повольте васъ спросить? А вотъ что-съ. Художникъ, артистъ во всемъ одинаковъ. Скульпторъ какой-нибудь или живописецъ бьется изъ-за того, чтобъ у него фигура вышла живая, чтобы вы видѣли, какъ въ ней кровь переливается. Больше ничего-съ! Точно то же самое и писатель. Клади краски, схватывай жизнь прямо, «не мудрствуя лукаво». Чтобы каждое слово было звучно, какъ нота въ аккордѣ. А нынче нѣтъ-съ, не такъ. Повѣсть ли, романъ ли, разсказъ ли—должны быть написаны съ дѣтскою простотой, да-съ, безъ всякихъ тенденцій тамъ, прогрессивныхъ идей и всего этого дешеваго товара. Тотъ не писатель, т.-е. я хотѣлъ сказать, не артистъ, кто впередъ думаетъ, что я, дескать, вотъ докажу то-то, размягчу сердца, взяточниковъ обличу и подѣйствую на гражданскія чувства». Не правда ли, все очень знакомыя рѣчи? Г. Боборыкинъ не оставилъ этого яда безъ противоядія и устами другого своего персонажа, молодого писателя, дѣлаетъ надлежащую оцѣнку людямъ этого типа, оцѣнку мѣткую и вѣрную во всѣхъ отношеніяхъ, кромѣ одного: онъ



приурочиваетъ этотъ типъ къ извѣстной эпохѣ и къ извѣстному поколѣнію и тѣмъ самымъ умаляетъ его значеніе. Опять спрошу: развѣ разсужденія Домбровича отошли въ область преданія? Развѣ не слышимъ мы теперь варіацій на ту же тему изъ устъ молодыхъ Домбровичей? А Домбровичъ вотъ что такое:

«Не то бѣда, что Домбровичъ и люди его сорта не понимаютъ молодыхъ стремленій и клеветуютъ на нихъ, не то бѣда, что они не обучались естественнымъ наукамъ, но они развратники и лжецы. Я сталъ нынче снисходителенъ до гадости, но все-таки скажу это. Они развратники и какъ частные люди, и какъ общественные дѣятели, потому что никакихъ основъ у нихъ не было и нѣтъ, кромѣ совершенно внѣшнихъ увлеченій таланта и празднаго ума. Лжецы они опять-таки вдвойнѣ: въ домашней жизни и предъ глазами всего общества. Лгать для нихъ—такая же потребность, какъ теперешней генерациі добиваться правды. Въ этомъ они, если хочешь, не виноваты. Все ихъ умственное и душевное воспитаніе вышло изъ красивой, увлекательной лжи. Домбровичу теперь, вѣроятно, лѣтъ сорокъ пять. Онъ—человѣкъ сороковыхъ годовъ. Ихъ образцы доживаютъ теперь свой вѣкъ во Франціи. Видѣлъ я ихъ вблизи; они написали много талантливыхъ вещей, но все-таки весь свой вѣкъ лгали и теперь лгутъ. Высочайшихъ эгоистовъ ты встрѣтишь въ ихъ средѣ. Эгоизмъ доведенъ у нихъ до художественности, до цѣлой системы».

*Молодые стремленія*, о которыхъ упоминается здѣсь, были въ то время прогрессивными стремленіями. Были люди, несомнѣнно принадлежавшіе къ поколѣнію сороковыхъ годовъ и съ ненавистью относившіеся къ *молодымъ стремленіямъ*, но никакихъ выводовъ на основаніи этого факта дѣлать нельзя. Назовемъ наудачу десятка два именъ людей, которые въ большей или меньшей степени могутъ считаться представителями эпохи сороковыхъ

годовъ. Василій Боткинъ, Константинъ Аксаковъ, Грановскій, Кудрявцевъ, Некрасовъ, Кетчеръ, Бакунинъ, Панаевъ, Достоевскій, Катковъ, Бѣлинскій, Ключниковъ, Коршъ, Гончаровъ, Никитенко, Станкевичъ, Герценъ, Огаревъ, Тургеневъ, г. Плещеевъ,—все это люди одного поколѣнія, но есть ли хоть какая-нибудь возможность свести ихъ къ одному и тому же нравственному типу?

Домбровичи—такой же скверный, но и такой же неизбежный продуктъ жизни, какъ и типъ «обреченныхъ» женщинъ. Можно сказать, что оба эти типа—порожденіе однихъ и тѣхъ же условій и сторонъ жизни. Это не труженики, а трутни общества,—не работники, а дилетанты. Служа въ сущности только своему личному комфорту, они возводятъ это служеніе на степень какой-то общественной миссіи. Окружая себя рѣдкими картинами и гравюрами, простаивая по часамъ передъ антиками и барельефами, всячески холя себя и нѣжа всѣ свои пять чувствъ, они въ то же время воображаютъ себя какими-то высшими, утонченными натурами, жрецами красоты, которая безъ нихъ погибла бы, а съ нею и весь міръ, конечно. Въ этой ихъ претензіи—ихъ главная ложь. Все получая отъ жизни, отъ общества и ничего имъ не возвращая, они требуютъ къ себѣ уваженія и даже поклоненія. Всякіе общественные идеалы и идеи имъ ненавистны, потому что всѣ такіе идеалы обязываютъ, призываютъ къ труду, а часто и къ жертвамъ; эти же люди помнятъ только свои права, точнѣе—свои привилегіи. Они изображаютъ себя невинными, чистосердечными *малыми дѣтьми*, но горе человѣку, который имъ довѣрится, горе женщинѣ, которая ихъ полюбитъ! Эти *малыя дѣти* въ дружбѣ—предадутъ, въ любви—сотни разъ измѣнятъ, въ опасности—струсятъ, въ бѣдѣ—не помогутъ. Все это черты не только типическія, но, можно сказать, историческія.

Подобно тому, какъ прогрессъ нравственныхъ понятій общества можетъ измѣняться постепеннымъ измѣненіемъ

его взгляда на «обреченных» женщин, духъ и характеръ эпохи можетъ опредѣляться степенью вліятельности такихъ людей, какъ Домбровичъ. Въ моменты общаго подъема духа и общаго дружнаго труда Домбровичи скрываются въ свои разукрашенные норы и съ завистливою злобой шипятъ оттуда противъ всякихъ «измовъ», т.-е. противъ всякихъ идей. «Все это мертвая болтовня», говорятъ они, утѣшая себя и другъ друга. Въ моменты затишья, когда уставшее или растерявшееся общество, какъ обезматочившій улей, теряетъ сознаніе своей солидарности и превращается въ толпу Ивановъ и Петровъ, поглощенныхъ исключительно своею личною жизнью, — на улицѣ Домбровичей настаеъ праздникъ. Вѣдь что же такое они, какъ не представители *личнаго* счастья, личнаго комфорта? Такимъ образомъ они внезапно оказываются на *высотѣ положенія*. Ихъ самоуслаждающееся бездѣлье перестаетъ быть стыдомъ и становится достоинствомъ: вѣдь всѣ бездѣльничаютъ, но никто не бездѣльничаетъ красиво и изящно ихъ. Они такимъ образомъ являются для всѣхъ примѣромъ и образцомъ. И все-таки они, какъ и ихъ достойныя спутницы — «обреченныя», находятся при *последнемъ издыханіи*. «Наивные люди» опять правы...

Какъ психологъ, г. Боборыкинъ, какъ видите, не обладаетъ очень большимъ запасомъ и довольно часто повторяется. Но запасъ этотъ почерпнуть прямо изъ жизни и г. Боборыкинъ могъ бы утилизировать его, не опасаясь повтореній (вѣдь и Тургеневъ, и Достоевскій постоянно повторялись), если бы вполне овладѣлъ имъ. Повидимому, этому препятствуютъ чисто-внѣшнія причины: г. Боборыкинъ работаетъ не какъ писатель-олимпіецъ, который пишетъ по извѣстному гоголевскому рецепту, то-есть съ полудюжиной черновыхъ, съ безчисленными вставками и поправками, а какъ журнальный работникъ, которому зачастую некогда перечитать, не только что переписать и обдѣлать свою работу. Замыселъ у г. Боборыкина обык-

новенно очень хорошъ. *Начало* повѣсти или романа написано почти всегда прекрасно; *середина*—послабѣе, *конецъ* всегда скомканъ и выручаютъ его только разныя лирическія вставки, которыя г. Боборыкинъ, какъ опытный писатель, будто нарочно приберегаетъ въ видѣ послѣдняго ресурса. Мелкіе штрихи и черточки, которые въ психологіи имѣютъ большую важность, исчезаютъ совсѣмъ. Едва ли не единственнымъ исключеніемъ изъ этого является тоже чисто-психологическая повѣсть г. Боборыкина— *Въ усадьбѣ и на порядкѣ*. Основной мотивъ этой повѣсти отлично выдержанъ до конца, но зато какой же это и избитый мотивъ! Онъ исчерпанъ до дна еще въ *Гамлетѣ*, а преднамѣренное сопоставленіе нашей культурной дряблости и нерѣшительности съ мужественною непосредственностью не испорченнаго цивилизаціей дикаря, конечно, не выдерживаетъ критики.

Обратимся къ беллетристической публицистикѣ г. Боборыкина.

### III.

Приступая къ анализу *беллетристической публицистики* г. Боборыкина, т.-е., проще говоря, къ его общественнымъ тенденціямъ, прежде всего поражаешься слѣдующимъ любопытнымъ обстоятельствомъ: такъ называемая эпоха шестидесятыхъ годовъ не оставила на умственной и нравственной фізіономіи г. Боборыкина никакихъ замѣтныхъ слѣдовъ, не отразилась ничѣмъ въ его литературной дѣятельности. Г. Боборыкинъ началъ писать въ самый разгаръ нашего достопамятнаго общественнаго движенія, но въ главномъ его произведеніи того времени—въ романѣ *Въ путь-дорогу*, имѣющемъ, если не ошибаемся, автобіографическое значеніе, господствующія въ то время тенденціи не отразились ни положительно, ни отрицательно. Герой этого романа—студентъ Телепневъ, специалистъ главнымъ образомъ по части «науки страсти вѣжной», и

эта онѣгинско-печоринская черта, усиленно подчеркнутая и разработанная въ романѣ, разумѣется, не имѣла и не могла имѣть какого бы то ни было отношенія къ эпохѣ. Въ общемъ смыслѣ то же самое должно сказать и о драмахъ г. Боборыкина *Ребенокъ* и *Одноворецъ*, относящихся къ тому же времени, точно такъ же, какъ и о не оконченномъ романѣ подъ многообѣщавшимъ заглавіемъ *Земскія силы*.

Какимъ образомъ могло произойти, что молодой писатель и притомъ такой, въ талантѣ котораго *отзывчивость* къ жизни является главнымъ элементомъ, писатель-эпоха остался внѣ вліянія одного изъ самыхъ широкихъ и замѣчательныхъ историческихъ теченій нашихъ? Въ своемъ письмѣ, уже цитированномъ нами, г. Боборыкинъ прямо указываетъ, что онъ, такъ сказать, антисипировалъ движеніе шестидесятыхъ годовъ: «припадки нашего нигилизма я предѣлалъ еще студентомъ въ Дерптѣ, когда всѣ «лиловыя» и другія книжки воспринялъ въ оригиналѣ и шестью годами раньше ихъ распространенія въ Петербургѣ». Шестъ лѣтъ и вообще не мало времени, а для г. Боборыкина, съ его необычайною воспримчивостью въ особенности, такъ что, когда Петербургъ только еще сталъ просвѣщаться «лиловыми книжками», г. Боборыкинъ уже переросъ нѣмецкій матеріализмъ и видѣлъ, «что онъ и нетерпимъ, и узокъ, и несостоятеленъ, что онъ даже совсѣмъ не міровоззрѣніе». Итакъ, дѣло ясно: общественное движеніе, которое г. Боборыкинъ опередилъ на цѣлыхъ шесть лѣтъ, конечно, не могло увлечь его съ собою. Передовымъ людямъ этого движенія надо было воспѣывать изъ всѣхъ силъ, чтобы только догнать г. Боборыкина или, по крайней мѣрѣ, не дать ему опередить себя еще на новыя шесть лѣтъ, что окончательно покрыло бы ихъ голову несмыслимымъ позоромъ...

Едва ли однако дѣло происходило именно такъ, какъ рассказываетъ г. Боборыкинъ. Начать хоть съ того, что пресловутыя «лиловыя книжки» вовсе не играли въ нашемъ

умственномъ движеніи особенно большой роли. Правда, Аркадій Кирсановъ просвѣщалъ своего родителя брошюрой Бюхнера *Kraft und Stoff* и Базаровъ одобрилъ выборъ этой «лиловой книжки», потому что она, по его словамъ, «популярно написана», но какъ личность Базарова характеризовалась отнюдь не этимъ маленькимъ фактомъ, а всею совокупностью его воззрѣній, такъ и смыслъ нашего общественнаго движенія шестидесятыхъ годовъ выражался совсѣмъ не въ случайномъ увлеченіи отдѣльныхъ кружковъ тѣми или другими теоріями космоса. Нужно ли доказывать это? Вспомните литературу того времени: въ ней были статьи, навѣянные не *милосыми* только книжками; литература эта была совсѣмъ не бѣдна содержаніемъ и, притомъ такимъ, очень опередить и перерасти которое было бы мудрено даже и г. Боборыкину. Но коренная сущность дѣла даже и не въ этомъ заключалась, не въ самомъ содержаніи возникшихъ ученій и теорій, а въ томъ духѣ страстной убѣжденности, съ какимъ они проповѣдывались, въ томъ вѣяніи умственной независимости, которое было новизною для всѣхъ, а въ томъ числѣ, смѣемъ думать, и для г. Боборыкина, не съ эфирныхъ же высотъ упавшаго къ намъ и даже не изъ Парижа, Лондона къ намъ пріѣхавшаго, а родившагося и воспитавшагося въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ нами,—въ Нижегородской губерніи. Можно было опередить всѣхъ русскихъ людей знакомствомъ съ «лиловыми книжками», но никому нельзя было отрѣшиться сразу и вдругъ отъ предразсудковъ среды, отъ ложныхъ понятій, привитыхъ общимъ фальшивымъ воспитаніемъ, отъ дурныхъ привычекъ мысли и дѣйствія, обусловленныхъ общимъ низкимъ культурнымъ уровнемъ. Борьба съ этими историческими недостатками нашими, выражавшаяся въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, именно и была содержаніемъ едва пробудившейся мысли нашего общества, и вотъ слѣдовъ этой-то борьбы мы и не находимъ въ дѣятельности г. Боборыкина.

Мы, съ своей стороны, можемъ предложить другое объясненіе, менѣе лестное для г. Боборыкина, но, кажется, болѣе правдоподобное. Въ романѣ *На ущербѣ* одинъ изъ симпатичныхъ героевъ г. Боборыкина сдѣлалъ мимоходомъ такое замѣчаніе: «Прямолинейность—вещь хорошая, только не всѣмъ она дается». Хорошая или дурная вещь прямолинейность, но не подлежитъ сомнѣнію, что она не далась г. Боборыкину. Какъ мы видѣли, г. Боборыкинъ, будучи еще молодымъ человѣкомъ, «искалъ и жаждалъ широкаго и, главное, научнаго, объективнаго, твердаго обобщенія». Такое стремленіе не имѣетъ ничего общаго съ прямолинейностью и даже прямо противоположно ей. Прямолинейность есть именно результатъ крайняго субъективизма, горячаго личнаго чувства, при чемъ цѣнность ея находится въ прямой зависимости отъ достоинства и чистоты субъективнаго чувства, ее вызвавшаго. Есть прямолинейность влюбленнаго, который не хочетъ знать никакихъ препятствій къ соединенію съ любимымъ существомъ и твердитъ одно: хоть день, да мой. Есть прямолинейность карьериста, который подчиняетъ своему чувству честолюбія или самолюбія всѣ нравственные мотивы и соображенія. Есть прямолинейность общественнаго дѣятеля, который свою личную, сердечную жажду справедливости возводитъ въ своемъ сознаніи на степень общественнаго идеала, во имя котораго отвергаетъ всевозможныя *объективныя* обобщенія и построенія, не удовлетворяющія его основнымъ нравственнымъ требованіямъ. Ясно, что прямолинейность, какъ система дѣйствій, въ нравственномъ смыслѣ можетъ имѣть и положительный, и отрицательный, и безразличный характеръ: все зависитъ отъ достоинства цѣли, къ которой по прямой линіи стремится человѣкъ. Прямолинейность—это удѣлъ всѣхъ вообще цѣлостныхъ натуръ и характеровъ, т.-е. такихъ, въ которыхъ, *временно или постоянно*, но безусловно и рѣшительно господствуетъ какой-нибудь одинъ внутренній импульсъ. Мы подчеркнули слова «вре-

менно или постоянно» потому, что даже въ отдѣльныхъ, личныхъ случаяхъ (какъ въ нашемъ примѣрѣ влюбленнаго человѣка) прямолинейность можетъ быть результатомъ только временнаго настроенія, а въ массовыхъ общественныхъ или народныхъ движеніяхъ, какъ само собою очевидно, этотъ признакъ совершенно неизбѣженъ.

Эпоха шестидесятыхъ годовъ была эпохою полнаго, хотя и непродолжительнаго торжества прямолинейности. Умы и сердца были настроены по одному камертону, идеалы казались не только осуществимыми, но и близкими къ осуществленію, стыдъ за прошлое, только что разоблаченное тяжелымъ урокомъ исторіи, вмѣстѣ съ надеждою на скорое возрожденіе одушевлялъ всѣхъ и cadaго. Тогда, по ненужно-ироническому выраженію Льва Толстого, «всѣ руссіане, какъ одинъ человѣкъ, находились въ неописанномъ восторгѣ». Именно въ восторгѣ: не въ какихъ-нибудь, повторяю, идеяхъ и теоріяхъ заключался смыслъ той эпохи и причина этого восторга, а въ общемъ подъемѣ духа, въ пробужденіи человѣческаго и гражданскаго чувства. Но у г. Боборыкина уже и тогда было «тысяча-тысячъ думшекъ». Онъ отнесся къ общему движенію совершенно такъ же, какъ, по его словамъ, отнесся къ матеріалистическимъ ученіямъ: не какъ другъ, участникъ, адептъ и не какъ врагъ, а именно *сбоку*, какъ посторонній человѣкъ. Въ полномъ распоряженіи г. Боборыкина оказался въ то время журналъ (*Библіотека для Чтенія*),—средство незамѣнимое въ рукахъ убѣжденнаго человѣка, но ничего безцвѣтнѣе и, такъ сказать, нейтральнѣе этого журнала, даже въ наше время, мудрено было бы найти. Чего же недоставало г. Боборыкину? Ума, литературной оытности, знаній, издательской сноровки, редакторскаго чутья? Но г. Боборыкинъ былъ богатъ этимъ тогда, какъ богатъ этимъ и теперь. Но какъ теперь, такъ и тогда онъ былъ скуденъ вѣрою, которую онъ напрасно надѣялся обрѣсти не въ глубинѣ совѣсти, не въ святая святыхъ своей души, а въ какомъ-то



*объективномъ обобщеніи*, въ сферахъ чистой науки и отвлеченной мысли. Эти поиски за всеобъемлющею истиной, эта нерѣшительность г. Боборыкина, эта неспособность его къ прямолинейности предохранили его отъ несчастія написать что-нибудь въ родѣ *Взбаламученнаго моря* или *Марева*, но не допустили его высказаться и въ противоположномъ смыслѣ, хотя бы съ тургеневскою умѣренностью. Г. Боборыкинъ остался, какъ говорится, «ни въ тѣхъ, ни въ сѣхъ». Быстро являющейся, но и быстро проходящей *отзывчивости* было слишкомъ мало для того требовательнаго времени: ему нужно было отдаться цѣликомъ, совсѣмъ на борьбу съ его тенденціями или на защиту ихъ. Не найдя въ себѣ достаточно рѣшимости для этого, г. Боборыкинъ отправился разрѣшать вопросы русской жизни при свѣтѣ западно-европейскаго просвѣщенія... Посмотримъ, съ чѣмъ онъ вернулся оттуда.

#### IV.

«Святые чудеса Запада», какъ выражались у насъ въ сороковыхъ годахъ, разрастающіяся все шире и шире, все разнообразнѣе и удивительнѣе, способны не только поразить, но и подавить мало-мальски впечатлительное воображеніе. Эти безчисленные, шумные города, въ которыхъ радостная и дѣятельная жизнь бьетъ бойкимъ ключомъ; эти обширные гавани, въ которыхъ тѣсно массѣ паровыхъ и парусныхъ судовъ, приплывающихъ и отплывающихъ во всѣ концы свѣта; эти горы товаровъ, надъ производствомъ которыхъ трудились милліоны сильныхъ и искусныхъ рукъ; эти длинные ряды блестящихъ магазиновъ, въ которыхъ каждая вещь представляетъ собою чуть не художественное произведеніе; эти библіотеки, съ милліонами томовъ, въ которыхъ навѣки-вѣчные упрочено все, что гдѣ-либо и когда-либо произвела человѣческая мысль; эти галереи искусствъ, передъ шедеврами которыхъ тысячи людей проводили цѣлые часы въ благоговѣйномъ созерцаѣніи; эти пар-

ламенты, въ которыхъ сотни избранныхъ людей творять волю пославшаго ихъ сюда народа; эти, какъ вѣтеръ свободныя, газеты, отъ зоркаго глаза и чуткаго уха которыхъ ничто не укроется и отъ контроля которыхъ никто не спасется; эти площади, на которыхъ каждый квадратный метръ ознаменованъ какимъ-нибудь мировымъ событіемъ; эти улицы, каждый шагъ по которымъ будить историческія воспоминанія; эти бульвары, которые видѣли и подвиги героизма, и циническій развратъ, облиты благороднѣйшею кровью и безстыднѣйшею грязью... Какія ослѣпительныя картины, какіе поразительные контрасты, какія головокружительныя перспективы! Помните ли, какъ у Достоевскаго Макарь Алексѣичъ Дѣвушкинъ описываетъ свои чувства при созерцаніи пробуждающагося отъ сна Петербурга? «Случается мнѣ рано утромъ, на службу спѣша, заглядываться на городъ, какъ онъ тамъ пробуждается, встаетъ, дымится, кипитъ, гремитъ, — тутъ иногда предъ такимъ зрѣлищемъ такъ умалишься, что какъ будто бы щелчокъ какой получилъ отъ кого-нибудь по любопытному носу, да и поплетешься, тише воды, ниже травы, своею дорогою и рукою махнешь». Положимъ, мы съ вами не Дѣвушкины, но вѣдь и Петербургъ — не Европа, а всего только окно въ Европу. Пропорція, такимъ образомъ, остается приблизительно вѣрной, и что же намъ съ вами остается передъ «святыми чудесами», какъ не умалиться, махнуть рукою, да и поплестись, тише воды, ниже травы, своею дорогою?

Кѣмъ созданы, кѣмъ поддерживаются и кѣмъ увеличиваются эти чудеса? А вотъ толпами этихъ отлично одѣтыхъ людей, которые съ озабоченными лицами, спѣшною дѣловою походкой направляются въ Сити или ѣдутъ въ палату, или толпятся на биржѣ. Это они собрали эту поразившую васъ массу всевозможныхъ товаровъ; это имъ принадлежатъ ослѣпившіе васъ магазины; это по ихъ приказанію и на ихъ деньги гиганты-пароходы во всѣхъ направленіяхъ бороздятъ океанъ; это они поддерживаютъ

музеи и библиотеки, они хозяйничаютъ въ городахъ, они предписываютъ законы. Не думайте, что въ ихъ распоряженіи только денежная сила: на ихъ сторонѣ и превосходство ума, знанія, образованія, таланта. Великія научныя и техническія открытія нашего времени сдѣланы людьми, принадлежащими къ ихъ средѣ. Газеты, поразившія васъ своимъ всевѣдѣніемъ, издаются ими. Литература и искусство процвѣтаютъ, благодаря ихъ трудамъ и талантамъ. Промышленная жизнь, торговая, фабричная и заводская дѣятельность бѣлымъ ключомъ кипитъ вслѣдствіе ихъ энергическихъ усилій. «Культура — это мы», вотъ что могутъ сказать эти люди, видоизмѣняя по-своему знаменитую фразу Людовика XIV.

Кто эти удивительные люди? Это, отвѣтятъ вамъ, буржуа, бюргеры, въ буквальномъ переводѣ на русскій языкъ всего только *мѣщане*. Мѣщане!.. Но мы хорошо знаемъ своихъ мѣщанъ, этихъ заморенныхъ и робкихъ существъ въ чуйкахъ, съ которыми Глѣбъ Успенскій велъ, наприм., такого рода разговоръ:

«— Какъ же вы живете-то?

«— Да Богъ ее знаетъ какъ!

«— Да какъ же именно?

«— Да такъ вотъ именно, что кое-какъ...

«— Толчешься будто вокругъ пустого мѣста,—объяснялъ болѣе обстоятельно понимавшій дѣло житель, — ну, ан-но будто и пропитываемся, въ родѣ какъ пропитаніе!..

«— Покуда Богъ грѣхамъ терпитъ, то и живы!—объяснилъ другой, болѣе скромно глядѣвшій на дѣло обыватель» (*Неизлѣчимый*).

Контрастъ съ тѣмъ, что мы только что видѣли, не дуренъ. Расширимъ понятіе нашего «мѣщанства», включивъ въ него всѣхъ героевъ Островскаго, всѣхъ этихъ Большовыхъ, Подхалюзиныхъ, Торцовыхъ, Русаковыхъ, Коршуновыхъ и проч. и проч., которые живутъ не кое-какъ и имѣютъ настоящее пропитаніе, а не «въ родѣ какъ пропи-

таніе». Слово «*bourgeois*» значить не только мѣщанинъ, но и *гражданинъ*, а у насъ не мало личныхъ и потомственныхъ почетныхъ *гражданъ*, совокупность которыхъ, до коммерціи совѣтниковъ включительно, пусть и представляетъ собою то, что называется на западѣ буржуазіей, или третьимъ сословіемъ. Все-таки можетъ ли наше мѣщанство, наше третье сословіе, сказать о себѣ, подобно своему западному собрату: «культура страны — это я»? «*Можетъ*», отвѣчаетъ на этотъ вопросъ г. Боборыкинъ.

Г. Боборыкинъ не сразу и даже не скоро пришелъ къ этому утѣшительному отвѣту. Идея просвѣщенной, дѣятельной и энергичной буржуазіи — одна изъ основныхъ и любимѣйшихъ тенденцій г. Боборыкина. Не трудно понять тотъ процессъ мысли, которымъ г. Боборыкинъ пришелъ къ своему выводу, точнѣе говоря — ту психологическую, субъективную основу, которая послужила почвой для этого вывода. Впечатлительный, отзывчивый, увлекающійся, г. Боборыкинъ слишкомъ долго жилъ среди «святыхъ чудесъ», чтобы не поддаться влиянію ихъ импонирующей внѣшности. Выше мы говорили объ этихъ чудесахъ именно съ точки зрѣнія того впечатлѣнія, которое должны производить казовые концы и стороны европейской культуры на тѣхъ въ особенности людей, которые не всегда помнятъ, что не все то золото, что блеститъ. Я говорю не *всегда* потому, что *иногда* г. Боборыкинъ вспоминаетъ и объ обратной сторонѣ медали, и, въ интересахъ критической добросовѣстности, мы представимъ читателю самое сильное и яркое мѣсто въ этомъ смыслѣ изъ всей массы написаннаго г. Боборыкинымъ. Вотъ что находимъ мы въ романѣ *Солидные добродѣтели*:

„Крупницынъ, повозившись три-четыре мѣсяца на выставкѣ, впервые распозналъ практически, за какіе низменные инстинкты держится рычагъ всемірной индустріи. Куда онъ ни заглядывалъ, къ французамъ ли, къ англичанамъ ли, къ нѣмцамъ ли, вездѣ наталкивался на хозяйскую погоню за рекламой. Трудъ рабочаго хоронился за блестящими витринами и крикливыми драпировками. Публика

глазѣла на продуктъ, а чего онъ стоилъ рабочей массѣ, до этого никому не было дѣла. Самые любознательные туристы довольствовались идилліей публичнаго тканья и тачанія ботинокъ умытыми и шикарно причесаннымъ увіерками. Все блистало, кокетничало формами и красками, кидалось въ глаза казовымъ концомъ и успокаивало простодушныхъ зѣвакъ, повторившихъ на разные лады: „какъ это мило устроено и какъ хорошо, что мы живемъ въ такое время, когда все можно достать за деньги, кромѣ птичьяго молока!“ И глядѣли эти зѣваки на карточный домикъ, созданный досужимъ воображеніемъ императора, заигрывающаго съ социализмомъ... „Что за прелесть этотъ домикъ! Въ немъ не то, что семействамъ рабочихъ, а хоть бы статскимъ совѣтникамъ съ супружницами и чадами проводить лѣтній сезонъ гдѣ-нибудь въ Лѣсномъ или Стрѣльнѣ. Просто игрушечка! И спальня, и кухня, и столовая, и каминъ... и чего-чего только нѣтъ въ каждомъ помѣщеніи. Какого же рожна еще этимъ ненасытнымъ пролетаріямъ, когда самъ императоръ строить имъ такіе домики? Значить, они съ жиру бѣсятся, затѣвая стачки и коалиціи... Фи!.. Можно ли имъ сочувствовать послѣ этого?“ Вотъ что думали лавочники Сити, буржуа улицы St.-Denis, саратовскіе и тамбовскіе землевладѣльцы, притаившіеся въ столицу вселенной — себя показать и на людей посмотреть. Крупининъ видѣлъ и чувствовалъ это каждый день, и съ каждымъ днемъ охлаждалась въ немъ охота искать благодѣтелей рабочаго класса. Мало того, весь міръ индустріи, подавляющій массу своими гигантскими размѣрами, богатствомъ и разнообразіемъ производительности и умственнаго почина, сдѣлался для него почти ненавистнымъ. Онъ не видалъ никакого исхода изъ этой алчной горячки успѣха, барыша, бездушной конкуренціи... Инстинкты захвата, жадности, безумной роскоши, утонченной чувственности, сословнаго высокомерія, — всѣ нашли себѣ безчисленныхъ промышленниковъ, кидающихъ милліоны на производство всякаго ненужнаго хлама и мишуры. Выкиньте изъ пріемника всемірной индустріи эти выкладки праздности и эксплуатаціи и увидите, что останется кое-какое дрянцо, на которое и даромъ не заманишь скучающую публику пяти частей свѣта. Только одна идея правъ труда на благоденствіе заброшена въ каталогъ подъ видомъ пресловутой „Х группы“, но и она облеклась въ мизерныя формы, въ фальшь правительственныхъ ласкъ, во что-то дѣланное, подрумяненное, умышленное“...

Вотъ какую прекрасную страницу нашли мы у г. Боборыкина. Но на *одну* такую страницу въ сочиненіяхъ г. Боборыкина имѣется *тысяча* страницъ противополож-

наго смысла и духа, и если дѣлать заключенія объ общемъ направленіи писателя, то необходимо, конечно, основываться не на случайныхъ почти обмолвкахъ его. Судьбы буржуазіи вообще и русскаго «мѣщанства» въ особенности давно и сильно занимають г. Боборыкина. Въ теченіе послѣднихъ двадцати лѣтъ г. Боборыкинъ написалъ на эту тему три большихъ романа (*Дюльцы*, *Китай-городъ* и *Василій Теркинъ*), которые являются самыми значительными произведеніями изъ всего написаннаго нашимъ романистомъ. Остался ли г. Боборыкинъ въ этихъ романахъ вѣренъ самому себѣ? Послѣдовательно ли развита имъ основная тенденція этихъ романовъ? *Беллетристическая публицистика* г. Боборыкина въ одну ли точку бьетъ, не впадаетъ ли въ рѣзкія противорѣчія, которыя обезсиливаютъ ее до того, что положиться на ея выводы было бы очень рискованно? Обратимся къ романамъ. Анализъ ихъ,—въ той мѣрѣ, въ какой это нужно для нашей главной цѣли,—лучше всего отвѣтитъ на поставленные вопросы.

Романъ *Дюльцы* появился лѣтъ двадцать назадъ и его тема исчерпывается его заглавіемъ. Тема была выбрана удачно. То было время «экономическаго оживленія», когда, съ одной стороны, моральные и общественные идеалы шестидесятыхъ годовъ утратили свою сдерживающую, облагораживающую силу и въ литературѣ была произнесена фраза: «наше время — не время широкихъ задачъ», а, съ другой стороны, внѣшнія условія, начиная съ крестьянской реформы и кончая усиленною постройкой желѣзныхъ дорогъ, вызвали на свѣтъ Божій и капиталы и охотниковъ до капиталовъ. Г. Боборыкинъ характеризуетъ это время съ точки зрѣнія одного изъ своихъ героев, Петра Николаевича Прядильникова, человѣка честнаго и дѣльного, но не дѣловитаго, не дѣльца. «Акціонерная горячка находилась тогда въ самомъ разгарѣ. Человѣку знающему можно было приладиться къ какому-нибудь выгодному дѣлу; но Петръ Николаевичъ не чувствовалъ расположенія

къ чисто-технической части. Онъ и не думалъ искать мѣста, чтобы можно было «обвинженеривать». Онъ слѣдилъ за промышленною горячкой, и съ каждымъ днемъ желчь все накапливала въ немъ. Его глубоко-честная натура, на подкладкѣ нервной тревоги и прирожденного пессимизма, возмущалась зрѣлищемъ безперерывной эксплуатаціи отечественнаго легковѣрія. Въ особенности началъ онъ негодовать на заграничныхъ выходцевъ, куаферовъ и другихъ проходимцевъ, которые обтѣпили все дѣло своимъ чужезднымъ роємъ. Выйдя въ отставку, Прядильниковъ кинулся въ инженерную публицистику и попалъ въ кружокъ людей, которымъ именно надо было наложить руку на подобную личность. Его дѣятельность казалась ему обширною и плодотворною». Какъ видите, въ этой характеристикѣ есть и иронія, и негодованіе, и этимъ съ первыхъ же страницъ романа опредѣляется отношеніе автора къ изображаемой имъ жизни. Дѣльцы конца шестидесятыхъ и начала семидесятыхъ годовъ были глубоко антипатичны г. Боборыкину. На первомъ планѣ между ними поставленъ нѣкто Саламатовъ, специалистъ по части «писанія всевозможныхъ уставовъ». Личность этого героя дѣловитости всего лучше характеризуется тостомъ, провозглашеннымъ имъ передъ своими сотрудниками, въ тѣсномъ кружкѣ своихъ людей: «Господа! поднимаю стаканъ за единство нашихъ начинаній!.. Къ чему упрёки и недоразумѣнія между бойцами одной рати? Все намъ принадлежитъ въ сей болотной столицѣ, а, стало, и въ остальномъ любезномъ отечествѣ,— все, вплоть до іерусалимскихъ дворянъ. И они въ нашихъ рукахъ!..» Это не простой тостъ, не обыкновенная застольная похвальба, это — торжествующій крикъ безпощаднаго побѣдителя: горе побѣжденнымъ! А побѣжденною стороною является здѣсь «любезное отечество», которое должно вскорѣ почувствовать всю сладость «экономическаго оживленія». Другимъ представителемъ петербургскаго міра дѣльцовъ является у г. Боборыкина адвокат Воротилинъ, котораго

мало назвать *премудростью мысли*, а слѣдуетъ назвать циникомъ мысли. Вотъ разговоръ, который онъ ведетъ съ едва знакомымъ ему человѣкомъ:

«— Не знаю, какъ другіе, а я смотрю на свое дѣло совершенно просто. Я не раздѣляю тонкихъ соображеній нѣкоторыхъ изъ моихъ товарищей по ремеслу. Надо брать-ся за всякое дѣло.

«— Даже и за скверное?—спросилъ Карповъ.

«— Скверныхъ дѣлъ нѣтъ. Есть дѣла болѣе или менѣе выгодныя. А чтобы не давать повода разнымъ краснобаямъ кричать, что вы такой-сякой, я занимаюсь исключительно гражданскими дѣлами. Я—цивилистъ.

«— Но вѣдь и въ гражданскихъ дѣлахъ,—началь Карповъ,—бываютъ разные обстоятельства...

«— Вы хотите сказать—щекотливаго свойства? Конечно, бываютъ; но формальная сторона дѣла всегда на первомъ планѣ. Возьмите вы хоть вотъ такой случай. Вы узнаете, что какое-нибудь большое имѣніе ищетъ наслѣдниковъ. Этихъ наслѣдниковъ двѣ категоріи. Предположите, что съ одной стороны—вдова и сирота, какъ выражаются на чувствительномъ языкѣ, а съ другой—богатый человѣкъ или нѣсколько богатыхъ людей. Если я знаю, что и съ той и съ другой стороны будетъ очень много возни, для меня важно одно: опредѣлить процентъ моего вознагражденія. Дастъ мнѣ его несчастная вдова—я сдѣлаюсь ея защитникомъ; не дастъ—не сдѣлаюсь». Программа дѣйствій недурна, но самыя дѣйствія Воротилина идутъ еще гораздо дальше программы. Воротилинъ, какъ его изображаетъ г. Боборыкинъ, это не только, говоря народнымъ выраженіемъ «нанятая совѣсть» въ своей адвокатской дѣятельности, но и въ полномъ смыслѣ слова негодяй въ своей личной жизни. Третій экземпляръ «дѣльца» представленъ въ видѣ газетнаго дѣловаго публициста Малявскаго, котораго г. Боборыкинъ характеризуетъ такимъ образомъ: «Въ Малявскомъ жила сатанинская гордость самомнѣнія, гор-



дость настоящего выскочки, которая заставляла его безпрестанно поднимать тонъ и голову тамъ, гдѣ ему слѣдовало бы держать ихъ пониже. Онъ постоянно старался держаться съ Саламатовымъ на равной ногѣ. И каждый разъ, какъ онъ только попадалъ въ кабинетъ Бориса Павловича, онъ съ затаеннымъ злорадствомъ подмѣчалъ все, что могло дать ему точку опоры, когда настанетъ благоприятная минута. Малявскій былъ совершенною противоположностью Прядильникову. Полнѣйшее отсутствіе наивности и искренности составляло главный фондъ его личности. За каждый шагъ, за каждое печатное слово, за каждую справку и дѣловой разговоръ онъ требовалъ, прямо или косвенно, соотвѣтственнаго гонорарія и уже начиналъ находить, что ему недостаточно платять, считалъ очень часто свои заработки нищенскими и съ особымъ сладострастіемъ выжидалъ того момента, когда ему удастся схватить кушъ «по-саламатовски». Подобно Саламатову и Воротилину, Малявскій представляетъ собою продуктъ нашего прогресса, развитія нашей печати и увеличенія ея вліянія: «Я помню, — говоритъ о Малявскомъ одинъ изъ персонажей романа, — лѣтъ десять тому назадъ объ этихъ мусьякахъ и слуху не было. Онъ знаетъ, гдѣ раки зимуютъ. Посмотрите-ка: всѣ тузы къ нему обращаются, чуть что-нибудь надо публикѣ представить въ приличномъ мундирѣ. И каждая статейка ему сторицею отдается». Четвертымъ и послѣднимъ представителемъ дѣловыхъ сферъ Петербурга является у г. Боборыкина нѣкто Кучинъ, дѣятель по филантропической части, характеристика котораго не сложна: «Ваше царство, — говоритъ Кучину одна изъ героинь романа, — держится только пустотой и фразой свѣтскихъ барынекъ. Ими вы будете еще долго править деспотически, и всякій живой человѣкъ не сегодня, такъ завтра разгадаетъ васъ». Какъ бы для полноты впечатлѣнія читателя, всѣ эти «дѣльцы» относятся къ единственному честному человѣку между ними—Прядильникову—

съ презрительною ироніей, а Малявскій даже прямо называетъ его заочно «идіотомъ», хотя и льститъ ему въ глаза. «Идіотъ» Прядильниковъ потому, что не умѣетъ брать кушей, не знаетъ, гдѣ зимуютъ раки.

Коллекція подобрана старательно, и составляющіе ее экземпляры «дѣльцовъ» обрисованы г. Боборыкинымъ очень хорошо. Романъ, какъ романъ, довольно безсвязенъ и написанъ крайне торопливо, съ предоставленіемъ самаго широкаго простора *случаю*, но сатирическая или полемическая сторона романа, повторяю, обработана авторомъ очень удачно. Но что же собственно возмутило г. Боборыкина въ дѣльцахъ? Вѣдь, съ извѣстной точки зрѣнія, они служатъ именно излюбленной г. Боборыкинымъ «культурѣ». Странѣ необходимы желѣзныя дороги и банки, а Саламатовъ необходимъ желѣзнымъ дорогамъ и банкамъ. Странѣ нуженъ судъ скорый, правый и милостивый: и Воротилинъ—одинъ изъ дѣятелей этого суда. Странѣ нужна вѣская и вліятельная печать: и Малявскій—одинъ изъ столповъ нашей дѣловой журналистики. Въ благоустроенной странѣ, наконецъ, филантропія, помощь ближнему, не должна быть дѣломъ случайнымъ, а должна превратиться въ постоянную общественную функцію: Кучинъ является организаторомъ филантропіи. Почему же эти дѣльцы — не общественные дѣятели? Потому что они не безкорыстны? Но, вѣдь, г. Боборыкинъ, навѣрное, получаетъ же гонораръ за свои романы и повѣсти. Или потому, что они работаютъ не ради идеи, а ради собственныхъ интересовъ? Но если интересы идеи совпадаютъ съ личными интересами дѣятеля, этому нужно только радоваться, потому что въ этомъ совпаденіи лучшая гарантія энергіи и настойчивости дѣятелей. Что-то недоговоренное чувствуется во всемъ этомъ, какое-то глухое противорѣчіе скрывается въ этомъ восхваленіи *дѣла* съ одновременнымъ и параллельнымъ осужденіемъ *дѣятелей*. Намъ кажется, г. Боборыкину слѣдовало или совсѣмъ утвердиться на точкѣ зрѣнія его героя

Крутицына — и *тогда* онъ получилъ бы и логическое и нравственное право громить «дѣльцовъ» сколько ему угодно, или совсѣмъ покинуть эту точку и установиться на той, съ которой основными вопросами всякой культуры являются вопросы простого накопленія національныхъ богатствъ, безъ всякаго почти осложненія этихъ вопросовъ задачами распределенія. И въ такомъ случаѣ г. Боборыкину пришлось бы посбавить тону передъ лицомъ его дѣловитыхъ героев: пусть они всѣми правдами и неправдами набиваютъ свои карманы, но развѣ они не способствуютъ «оживленію промышленности», поднятію производительныхъ силъ страны и т. д.?

Но г. Боборыкинъ не любитъ прямолинейной логики. Противорѣчіе, указываемое нами, очевидно, чувствовалъ и г. Боборыкинъ въ глубинѣ своей души, но онъ не захотѣлъ устранить его, а вздумалъ обойти его. Черезъ десять лѣтъ послѣ романа *Дрѣвцы* явился романъ *Китай-городъ*, написанный на ту же самую тему, но уже съ значительно видоизмѣненными тенденціями. Никакого крутого переворота не произошло, но уклоненіе въ сторону, и очень значительное, доказать не трудно. Начнемъ съ того, что отмѣтимъ маленькую, крошечную, но характерную черточку, которая можетъ намекнуть на общій тонъ романа. Въ *Китай-городѣ* есть такая фраза: «отъ него (отъ фабриканта Взломцева) кормилось цѣлое населеніе въ тридцать тысячъ прядильщиковъ, ткачей и прочаго фабричнаго люда». Фраза заурядная, безпрестанно повторяющаяся. Но это языкъ Саламатова, а Крутицинъ такъ не сказалъ бы, безхитростный же и прямолинейный Прядильниковъ, пожалуй, прямо бы брякнулъ: «его (Взломцева) кормитъ цѣлое населеніе въ тридцать тысячъ прядильщиковъ, ткачей и прочаго фабричнаго люда». То же бы слово да не такъ бы молвить г. Боборыкину...

Обратимся къ содержанію романа. Его героями являются опять-таки «дѣльцы», но уже значительно приумытые и

прихорошенные авторомъ. Если десять лѣтъ назадъ въ *Дальцахъ* Гаргантюа-Саламатовъ грозился проглотить сначала «болотную столицу», а затѣмъ и «остальное любезное отечество», проглотить просто въ силу своего необъятнаго аппетита, то герой *Китай-города*, нѣкто Палтусовъ, уже гораздо сдержаннѣе, тоньше и, что всего важнѣе, *идейнѣе*. Онъ не просто хочетъ «жрать», какъ Саламатовъ, онъ стремится къ нѣкоторому общественному идеалу, гешефтмахерствуетъ ради принципа. Онъ вотъ какъ разсуждаетъ: «Кто хозяйничаетъ въ городѣ? Кто распоряжается бюджетомъ цѣлаго нѣмецкаго герцогства? Купцы... Они занимаютъ первыя мѣста въ городскомъ представительствѣ. Время прежнихъ Титовъ Титычей кануло. Милліонныя фирмы передаются изъ рода въ родъ. Какое громадное вліяніе въ скоромъ будущемъ! Судьба населенія въ пять, десять, тридцать тысячъ рабочихъ зависитъ отъ одного человѣка. И человѣкъ этотъ—не помѣщикъ, не титулованный баринъ, а коммерціи совѣтникъ или просто купецъ первой гильдіи, крестить лобъ двумя перстами. А дѣти его проживаютъ въ Ниццѣ, въ Парижѣ, въ Трувиллѣ, кутятъ съ наслѣдными принцами, прикармливаютъ разныхъ упраздненныхъ князьковъ. Жены ихъ не иначе все выписываютъ, какъ отъ Ворта. А дома, обстановка, картины, цѣлые музеи, виллы... Шопенъ и Шуманъ, Чайковский и Рубинштейнъ,—все это ихъ обыкновенное меню. Тягаться съ ними нѣтъ возможности. Стоитъ побывать хоть на одномъ большомъ купеческомъ балѣ. Дошло до того, что они не только выписываютъ изъ Петербурга хоръ музыкантовъ на одинъ вечеръ, но они выписываютъ блестящихъ офицеровъ, гвардейцевъ, кавалеристовъ, чуть не цѣлыми эскадронами, на мазурку и котильонъ. И тѣ ѣдутъ, и пляшутъ, и пьютъ шампанское, льющееся въ буфетахъ съ десяти до шести часовъ утра».

Все это, кажется, фактически вѣрно, но что же изъ этого слѣдуетъ? «Время прежнихъ Титъ Титычей кануло», но

Палтусовъ не сказалъ почти ничего такого о новѣйшихъ нашихъ негоціантахъ, чего нельзя было бы примѣнить и къ старозавѣтнымъ Титъ Титычамъ. Правда, Титъ Титычъ помѣщался въ «горницѣ», спалъ на изразцовой лежанкѣ, помадился постнымъ масломъ или квасомъ, а у «нынѣшнихъ» — «обстановка, картины, цѣлые музеи»; жена Титъ Титыча ходила въ платкахъ и «головкѣ», а супруги негоціантовъ «все выписываютъ не иначе, какъ отъ Ворта»; дѣти Титъ Титыча спаивали городничихъ и становыхъ, а дѣти негоціантовъ «кутять съ наслѣдными принцами, прикармливаютъ разныхъ упраздненныхъ князьковъ». И такъ далѣе. Измѣненіе въ *культурномъ*, въ формальномъ смыслѣ огромное, но велика ли разница по существу? Палтусовъ (и не онъ одинъ!) придаетъ преувеличенное значеніе внѣшней культурности. Задачи прогресса упростились бы до крайности, если бы измѣненіе вкусовъ вело къ измѣненію нравовъ, улучшеніе обстановки вело къ улучшенію понятій. Но мы отъ самого же г. Боборыкина знаемъ, что хотя тайный совѣтникъ и камергеръ Саламатовъ жилъ въ палатахъ, упитывался отборнѣйшими кушаньями и винами и изъяснялся на различныхъ языкахъ, все-таки въ общественномъ смыслѣ онъ былъ не болѣе какъ паразитъ, и отъ его утонченнаго гурманства никому, кромѣ модныхъ ресторановъ, барыша не было. Еще Добролюбовъ истощался въ доказательствахъ, что сущность Титъ Титычей состоитъ не въ особенностяхъ ихъ костюма, не въ длиннополыхъ сюртукахъ и не въ сапогахъ «бутылкою», а въ ихъ *самодурствѣ*, и вотъ если мы доживемъ до того времени, когда «населеніе въ пять, десять, тридцать тысячъ рабочихъ», о которомъ вскользь упоминаетъ Палтусовъ, осязательно почувствуетъ улучшеніе въ своей «судьбѣ», тогда, но не ранѣе, мы согласимся съ Палтусовымъ, что «время прежнихъ Титъ Титычей кануло».

Въ чемъ же собственно состоитъ «идея» Палтусова? Онъ именно говоритъ объ *идеѣ*, напримѣръ, въ такихъ выра-

женіяхъ: «Я идею провожу... не улыбайтесь—идею... Все дѣло въ томъ, замараюсь или не замараюсь. Если не замараюсь — ладно! Я заставлю купецкую утробу признать смѣтку, какая у меня значится». Въ другомъ мѣстѣ великая идея формулируется Палтусовымъ еще отчетливѣе: «явится онъ, Палтусовъ, а за нимъ и другой, и третій—люди тонкіе, культурные, все понимающіе—и почнутъ прибираться къ рукамъ этотъ купеческій «городъ», доберутся до его кубышекъ, складовъ и амбаровъ, настроятъ дворцовъ и скупятъ у обанкротившихся купцовъ ихъ дома, фабрики, лавки, конторы». Вотъ и вся идея. Любопытно было бы знать — авторъ не даетъ никакихъ поясненій—чѣмъ эти «тонкіе, культурные, все понимающіе» люди отличаются отъ некультурнаго Козьмы Рощина или Ваньки Каина, цѣль жизни которыхъ тоже вѣдь состояла въ томъ, чтобы «добратся до кубышекъ, складовъ и амбаровъ»? Только, кажется, тѣмъ, что, «добравшись», культурные люди настроятъ дворцовъ, а Кузьма Рощинъ и Ванька Каинъ поспѣшили бы удалиться въ муромскіе лѣса. *Обанкротившіеся купцы*... но вѣдь ради прекрасныхъ глазъ Палтусова и ради его культурныхъ аппетитовъ купцы банкротиться не согласятся, ихъ нужно *обанкрутить* такъ или иначе — и развѣ это не разбойничья цѣль? Вѣдь, кромѣ «дворца» для собственнаго жительства, Палтусовъ послѣ своей побѣды надъ купцами ничего въ перспективѣ не видитъ. Правда, онъ запасася оправданіемъ: «Если, — говоритъ Палтусовъ, — у насъ есть воспитаніе, умъ, раса наконецъ, надо все это дисконтировать... а не дожидаться, сложа руки, чтобы господа коммерсанты съѣли насъ—и съ хвостикомъ». Послѣ этого остается только спросить: въ странѣ какихъ людейъ живемъ мы? Неужели «дисконтировать» свой умъ, свое воспитаніе, свои способности можно лишь путемъ стремленія къ чужимъ кубышкамъ? Неужели передъ нами только такая альтернатива: или «дожидайся, сложа руки», чтобы тебя «съѣли»,

или посматривай получше, гдѣ лежитъ плохо? Пока еще ни одно общество не дошло до такого ужаснаго состоянія и въ жизни все еще остается возможность честнаго труда, не отнято ни у кого право ѣсть не украденный, а заработанный хлѣбъ, жить, не опасаясь другихъ и не заставляя опасаться себя. Не мечтайте о дворцахъ, не зарѣйтесь на чужія кубышки и, главное, *будьте нужны* на своемъ мѣстѣ, при своемъ дѣлѣ— вотъ здоровая, трудовая программа жизни, вотъ путь, которымъ дѣйствительно можно *дисконтировать*, т.-е. утилизировать данныя вамъ Богомъ способности. Несмотря на свою мнимую идейность, на которую Саламатовъ совсѣмъ не претендовалъ, Палтусовъ хуже, ниже Саламатова, потому что лицемѣрнѣе и лживѣ его.

Я изъ всѣхъ силъ стараюсь быть безпристрастнымъ и больше всего опасаясь *навязать* г. Воборыкину что-нибудь такое, чего онъ не хотѣлъ или не думалъ сказать. Я спѣшу поэтому указать на прекрасный *démenti*, который онъ дѣлаетъ людямъ, мечтающимъ—обыкновенная уловка всѣхъ слабодумныхъ—сначала всѣми правдами и неправдами нажитья, а потомъ на прибрѣтенныя средства хорошія дѣла дѣлать. Вотъ что на смертномъ одрѣ говоритъ одинъ дѣлецъ-удачникъ, бросившій ученую карьеру ради наживы: «Молодой человѣкъ, вотъ вы тоже начали съ этимъ народомъ возжаться... Не продавайтесь! Бога для— не продавайтесь... Хотя бы и такъ, какъ я... Я не плутовалъ!.. Свезутъ меня завтра на погостъ, будутъ вамъ говорить: Лещовъ наворовалъ себѣ состояніе, Лещовъ былъ угодникъ первыхъ плутовъ, фальшивыхъ монетчиковъ, не вѣрьте... Ничего я не укралъ, ничего! Но я пошелъ на сдѣлку... Да. Хотя и тыкалъ ихъ въ носъ, показывалъ имъ ежесекундно свое превосходство, а все-таки ими питался... И опоплѣлъ, каюсъ Господу моему и Спасителю! Опустился... Все думалъ такъ: вотъ буду въ стахъ тысячахъ, а потомъ въ двухстахъ, трехстахъ, и тогда все по

боку и заживу съ другими людьми, спастись стану... Мыслить опять начну... Чувствованія свои очищу... Анъ тутъ болѣзнь подползла. И никакіе доктора меня не подымутъ на ноги—вижу я это. Не хуже ихъ ставлю себѣ діагнозу... Вотъ она трагедія-то! Слушай меня, франтъ-адвокатъ, слушай... коли въ тебѣ душа, а не паръ, гляди на меня, и гляди въ оба, и страшись расплаты съ самимъ собою». Все это прекрасно. И все-таки, утверждаю я, г. Боборыкинъ относится къ Палтусову совсѣмъ иначе, нежели къ Саламатову съ компаніей,—безъ ироніи, безъ негодованія и если не съ прямымъ одобреніемъ, то съ какимъ-то участливымъ вниманіемъ, почти въ самомъ дѣлѣ такъ, какъ къ человѣку идеи. Правда, въ концѣ-концовъ г. Боборыкинъ заставляетъ Палтусова провороваться и пасть подъ судъ, но опять какъ-то такъ, что воровство оказывается больше *самопомощью*, чѣмъ воровствомъ, и Палтусовъ какъ ни въ чемъ не бывало катается по Москвѣ въ коляскахъ съ богатыми и красивыми купеческими женами. Отъ своей идеи онъ и не думаетъ отказываться, а такъ какъ тутъ и конецъ роману, то остается неизвѣстнымъ, въ какія окончательныя формы отлилась дѣятельность Палтусова, добрался ли онъ до купеческихъ кубышекъ, и если добрался, то что изъ этого вышло.

Написавши два романа на одну и ту же тему, г. Боборыкинъ все-таки не исчерпалъ ее, будущія судьбы нарождающейся русской буржуазіи продолжали занимать его, и черезъ новый десятокъ лѣтъ онъ явился съ романомъ *Василій Теркинъ*, при чемъ въ тенденціяхъ автора обнаружился опять новый поворотъ. Въ романѣ *Долги* г. Боборыкинъ имѣлъ дѣло съ бессловесными хищниками, свободными отъ всякихъ принциповъ; въ романѣ *Китай-городъ* г. Боборыкинъ выставилъ впередъ *дворянина*, съ культурною миссіей стереть съ лица земли «купца» и стать на его мѣсто; въ романѣ *Василій Теркинъ* просвѣтительная миссія отводится уже мужику, получившему,



правда, нѣкоторое образованіе: онъ долженъ согнуть въ дугу и хищника-купца и расточителя-дворянина и тѣмъ облагодѣтельствовать отечество.

Прежде чѣмъ говорить о Теркинѣ, какъ о піонерѣ здравой дѣловитости и культурности, посмотримъ на его человеческую личность. Авторъ не скупится на похвалы своему герою, а самъ Теркинъ не устаетъ хвастаться, при чемъ оба играютъ на одной и той же струнѣ: Теркинъ — золотое русское сердце, что называется *душа-человѣкъ*, у котораго что на умѣ, то и на языкѣ. Такъ рекомендуетъ своего героя авторъ и такъ постоянно рекомендуетъ себя самъ герой. На первыхъ же страницахъ романа, въ разговорѣ съ писателемъ-народникомъ, Теркину «страстно хотѣлось излиться». Черезъ пять страницъ Теркину опять «хотѣлось поисповѣдоваться, раскрыть душу, показать себя въ настоящемъ свѣтѣ». Черезъ двѣ страницы Теркинъ жалѣетъ, что «не повинился въ своихъ окаянствахъ». Разговаривая съ капитаномъ парохода, нашъ герой не безъ торжественности заявляетъ: «Знайте, Андрей Ѳомичъ, что Василій Теркинъ — сдается мнѣ—никогда не промѣняетъ вотъ этого мѣста,—и онъ приложился пальцемъ къ лѣвой сторонѣ груди,—на мѣдный пятакъ». Бесѣдуетъ Теркинъ съ любимую женщиной и читаетъ ей такую нотацію: «Сима!—сказалъ Теркинъ строго, — совѣсти своей я тебѣ не продавалъ... Мой долгъ—не только самому очиститься отъ всякаго облыжнаго поступка, но и тебя довести до сознанія, что такъ не гоже». Разрывая съ этою самою женщиной, Теркинъ изливается передъ ея сестрой: «Вы говорите: она безъ меня погибнетъ! А я бы съ ней погибъ... Во мнѣ двѣ силы борются—одна хищная, другая душевная. Вамъ я какъ на духу покаюсь. Погибъ бы я съ ней! У Серафимы въ душѣ—Бога нѣтъ! Я и самъ въ праведники не гожусь... Но во мнѣ, благодаря Создателю, нѣтъ закоренѣлости». Вскорѣ затѣмъ Теркинъ пожелалъ «очиститься духомъ, познать свое ничтожество, просто, по-мужицки,

замолить всѣ вольные и невольные грѣхи», для чего онъ отправляется въ Сергіевскую лавру, но тутъ, свидѣтельствуя авторъ, «его засосало стыдливое чувство: потрясенъ ли онъ такъ могуче, чтобы воскресить въ немъ хранившуюся въ изгибахъ души жажду въ порывѣ къ Тому, что стоитъ надъ нами, въ недостигаемой высотѣ мірозданія и судебъ вселенной?» Не успѣвши воскресить жажду, хранившуюся въ изгибахъ души, Теркинъ размышляетъ: «Что жъ дѣлать? Не заставишь себя вѣрить ни по-мужички, ни по-барски. Онъ ищетъ примиренія съ совѣстью, а не тупого отрѣшенія отъ жизни, съ ея радостями и жаждою дѣятельнаго добра». Вслѣдъ затѣмъ Теркинъ исповѣдывается народнику, — не писателю, а другому, практическому дѣятелю: «Онъ не могъ уйти отъ Аршаулова безъ исповѣди. Безъ всякихъ оговорокъ и смятенія, порывисто, со слезами въ голосѣ, раскрылъ ему свою душу», объявивши въ заключеніе исповѣди, что хочетъ *служить правдѣ*: «Взыскую этого, всѣмъ моимъ нутромъ взыскую!» Далѣе, Теркинъ находитъ уже, что «совѣсть его чиста; онъ не для кубышки работаетъ, а для общенароднаго дѣла». Немножко спустя, въ разговорѣ съ бывшимъ товарищемъ по гимназіи, Теркинъ объявляетъ: «Однако, братъ, съ совѣстью я хочу въ ладахъ быть. Изволь, я тебѣ кое въ чемъ повинюсь». *Повинная*, какъ всегда у Теркина, кончается хвастовствомъ: «Я еще никогда лежачаго не билъ. И ни передъ кѣмъ не кичился своею честностью». Познакомившись послѣ того съ одною молодою барышней, Теркинъ держится съ нею обычной своей политики: «Съ вами, вы видите, я сразу нараспашку», говоритъ онъ. А въ слѣдующее свиданіе опять увѣряетъ ее: «Я по душѣ съ вами... вы видите. Прошу васъ вѣрить, что я не паукъ, развѣсившій паутину надъ всѣми вашими угодами». Далѣе, Теркинъ любитъ на самого себя: «Не собственною мощной онъ силенъ, не ею онъ величается, а добился всего головой и волей, надзоромъ за собственною со-

вѣстью». Далѣе, встрѣтившись опять со своею прежнею любовницею, Теркинъ великодушно говоритъ ей: «Я передъ тобой виноватъ», и авторъ, съ своей стороны, поясняетъ: «За три минуты онъ не ожидалъ ничего похожаго на такой приговоръ себѣ. Это вылилось у него прямо, изъ какой-то глубокой складки его совѣсти, и складка эта лежала внѣ его обычныхъ душевныхъ движеній... И ему стало очень легко, почти радостно». Отставная любовница (типа «обреченныхъ») предлагаетъ ему возобновить прежнія отношенія, но Теркинъ отказывается: «Съ тобой я опять завяжу сначала одинъ ноготокъ въ тину, а потомъ и всю лапу. Я долженъ за собою слѣдить... чтобы денѣга всей души не выѣла...»

«Охъ, ужъ и плутъ же, должно быть, этотъ Теркинъ!» подумаетъ всякій житейски-опытный читатель. Кажется, что такъ. Черточки, терпѣливо собранныя нами въ одинъ пышный букетъ, будучи разсѣяны на всемъ протяженіи большого романа, остаются незамѣченными и не производятъ надлежащаго впечатлѣнія. Въ формѣ *букета* ихъ крѣпкое благоуханіе поражаетъ обоняніе. Я по душѣ... я по совѣсти... нараспашку... нутро... подоплека... правда-матужка...—все это, можно сказать, сакраментальныя слова. Ихъ употребляютъ чаще всего или очень наивные и дѣйствительно чистосердечные люди, въ силу того, что у кого что болитъ, тотъ о томъ и говоритъ, или прожженные пройдохи, съ волчьимъ ртомъ и лисьимъ хвостомъ. Къ которой изъ этихъ двухъ категорій принадлежитъ герой г. Боборыкина? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, нужно оцѣнить достоинство той *идеи*, которой Теркинъ тоже запасся, нисколько не хуже Палтусова. Идею эту мы формулируемъ собственными словами Теркина, употребивши тотъ же приемъ, т.-е. соберемъ изъ всего романа въ одну цитату всѣ признанія и изліянія Теркина, сдѣланныя имъ при разныхъ обстоятельствахъ, равно какъ и его тайныя мечты, рассказанныя самимъ авторомъ. «Не объ одномъ личномъ

ходѣ въ гору мечталъ Теркинъ. Мысль его шла дальше: вотъ онъ дѣлается однимъ изъ главныхъ воротилъ Поволжья, и тогда начнетъ онъ борьбу съ обмелѣніемъ, добьется того, что это дѣло станетъ общенароднымъ и миллионы будутъ всажены въ рѣку за тѣмъ, чтобы навѣки очистить ее отъ перекатовъ. А берега на сотни и тысячи десятинъ внутрь покроются заново лѣсами.—Но вотъ чего онъ не будетъ заводить. Хотя бы у него денегъ куры не клевали. Фабричное дѣло! Мастеровщина! Заводская голытьба, пьяная, ярыжная, франтоватая, развратная, оторванная отъ сохи и топора. Крестьянству надо сначала копейку сколотить, а потомъ уже о спасеніи души думать. Но развѣ мужикъ скопитъ ее фабричною лямкой?—Устья и верховья Волги будутъ служить его неизмѣнной идеѣ—бороться съ гибелью великой русской рѣки.—Не жалѣлъ онъ дворянъ за ихъ теперешнюю оскудѣлость, а жалѣлъ о прежнемъ привольи и порядкѣ барскихъ хозяйствъ. Къ *купчишкамъ*, хищникамъ, разоряющимъ всѣ эти старыя родовыя гнѣзда, онъ еще менѣе благоволилъ. Даже и тѣхъ, кто умно и честно обращался съ землей и лѣсомъ, онъ не считалъ законными обладателями большихъ угодій.—Народъ—темная, слѣпая сила и надо ею править, а не становиться передъ ней на колѣни.—Развѣ онъ—Теркинъ—не благое дѣло дѣлаетъ, что выхватываетъ изъ такихъ (дворянскихъ) рукъ общенародное достояніе? Безъ воды да безъ лѣса Поволжье на сотни и тысячи верстъ, въ длину и ширину, обнищаетъ въ какихъ-нибудь десять-двадцать лѣтъ. Это не кулачество, не спекуляція, а *миссія*.—Въ немъ вскипѣло годами накопившееся презрѣніе къ безпутству всѣхъ этихъ господъ (дворянъ), къ ихъ наслѣдственной неумѣлости, къ хапанью всего, что плохо лежитъ, и все это только за тѣмъ, чтобы просаживать ворованныя деньги чортъ знаетъ на что.—Безъ идей нельзя. Безъ идей только закоренѣлость одна да кулачество».

Вотъ символъ вѣры Теркина. Что жъ? Очень и даже

очень недурно—на первый взглядъ, по крайней мѣрѣ. Во всякомъ случаѣ, рядомъ съ извѣстными героями Островскаго и Успенскаго фигура культурнаго мужика г. Боборыкина производитъ выгодное впечатлѣніе. А все-таки, почему-то возникаетъ желаніе собрать въ одну кучу всѣхъ дѣловитыхъ героевъ г. Боборыкина, съ идеями, съ миссіями и безъ миссій, и въ предостереженіе прохожимъ и проѣзжимъ надписать надъ ними:

Не стала вороновъ слеталась  
На груду тлѣющихъ костей:  
Удалыхъ шайка собиралась!

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь это было бы смѣшно, если бы не было грустно: столько хорошихъ словъ — дупна, совѣсть, общенародное дѣло, миссія и проч., а въ результатѣ, на практикѣ, только стремленіе *добратъ до кубышекъ*, какъ у Палтусова, или *выхватить изъ дворянскихъ рукъ* имѣнія, какъ у Теркина. Неужели г. Боборыкинъ серьезно вѣрить, что Теркинъ можетъ облѣсить Поволжье и тѣмъ спасти Волгу? Точно нарочно, въ тотъ день, когда мы пишемъ эти строки (30 ноября), въ *Новомъ Времени* появилось слѣдующее извѣстіе: «Безпорядочное веденіе лѣсного хозяйства въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ поволжскихъ сѣверныхъ губерній грозитъ еще большимъ обмелѣніемъ Волги. Несмотря на то, что казна, удѣлы и нѣкоторые частные владѣльцы тратятъ большія суммы на лѣсоразведеніе, рядомъ, межа съ межей съ лѣсокультурными участками, идетъ безпощадное истребленіе того же лѣса. Въ виду всего этого многія земства поволжскихъ губерній возбуждаютъ ходатайство передъ высшимъ правительствомъ о введеніи усиленнаго лѣсоохраненія въ районѣ бассейна Волги». Въ числѣ *нѣкоторыхъ частныхъ владѣльцевъ*, упомянутыхъ въ газетѣ, весьма вѣроятно, находится и герой г. Боборыкина, и мы хотѣли бы знать, каково онъ себя чувствуетъ? Продолжаетъ ли онъ лелѣять надежду—допускаетъ ли искренность — спасти Волгу и Поволжье путемъ

*выхватыванія* изъ неумѣлыхъ, небрежныхъ рукъ прилежащихъ къ Волгѣ земель или усомнился, наконецъ, въ цѣлесообразности своихъ единичныхъ усилій? Нельзя культивировать мѣстность, страну, помимо населяющихъ ее людей. Не можетъ существовать такого культурнаго Эльдорадо, которое черезъ нѣсколько лѣтъ не превратилось бы въ пустыню, если его населить полудикими людьми. Теркинъ этого не понимаетъ. Доморощенный якобинецъ, онъ полагаетъ, что «народъ—темная, слѣпая сила и надо ею править, а не становиться передъ нею на колѣни». На колѣни становиться нѣтъ надобности, но программа дѣйствій, исчерпывающаяся словомъ «правлять», приличествуетъ не людямъ, а лошадямъ. Пока народъ останется *темною*, слѣпою силой, до тѣхъ поръ невозможны никакія общенародныя культурныя задачи, а возможны лишь нѣкоторые культурные оазисы, которые нужно оберегать чуть не военною силой. Теркину лучше чѣмъ кому бы то ни было слѣдовало понять это, потому что сама жизнь дала ему въ этомъ смыслѣ тяжелый урокъ. Въ его лѣсной дачѣ произошелъ пожаръ, для тушенія котораго были, разумеется, призваны окрестные крестьяне, и вотъ какъ Теркинъ рассуждалъ на другой день послѣ пожара: «Ну, скажите, развѣ они не скоты? Какъ они вчера повели себя? Только на деньги и позарились! А чтобы у нихъ самихъ на душѣ защемило, чтобы жалость ихъ взяла — какъ бы не такъ! Гори, паря! По цѣлковому-рублю получимъ—и похаживаетъ себѣ вдоль опушки да лапкой помахиваетъ, точно отъ мухъ... А чуть мы отвернемся, такъ спину чешетъ. Одинъ подлецъ даже курить началъ. Я его чуть самого въ огонь не бросилъ. Скоты! Скоты! Непробудные!» Негодованіе Теркина совершенно безразсудно. Нѣтъ смысла уличать въ непробудности людей, которыхъ никто и не пробовалъ будить, которые выросли безъ всякаго призора, какъ береза въ лѣсу. Теркинъ побывалъ въ гимназіи, онъ можетъ вести не только «душевные», но и идейные разговоры съ

писателями, онъ читалъ и читаетъ разныя умныя книжки, а вѣдь его земляки и односельцы ни о какихъ государственныхъ задачахъ не слыхивали, имѣютъ самое смутное представленіе обо всемъ, что выходитъ за предѣлы ихъ околицы, и требовать отъ нихъ самоотверженія во имя отвлеченнаго принципа просто странно. Третируютъ мужиковъ, какъ «скотовъ», какъ лошадей, и разыскивать съ нихъ, какъ съ полноправныхъ людей, — въ этомъ нѣтъ ни тѣни справедливости, ни искры разсудительности. «Чтобы на душѣ защемило, чтобы жалость ихъ взяла» — какія милья претензіи! Щемило, надо полагать, у мужиковъ на душѣ и разбирала ихъ жалость, когда этотъ дѣсъ въ свое время отходилъ «по положенію» изъ ихъ пользованія за тѣмъ, чтобы попасть въ руки ихъ выскочки-односельца. Надѣяться, что они проникнутся теперь сердечными несчастіями къ имущественнымъ интересамъ своего земляка — это черезчуръ ужъ наивно... Къ *непробуднымъ скотамъ* предъявляются такія нравственныя требованія, которыя оказываются часто не по плечу очень и очень многимъ такъ называемымъ образованнымъ людямъ.

Ясно во всякомъ случаѣ, что сколько бы ловкачъ-Теркинъ ни *захватилъ* дѣсныхъ дачъ по Поволжью, дѣло культуры края не подвинется отъ того ни на волосъ: «рядомъ, межа съ межей съ дѣсокультурными участками, идетъ безпощадное истребленіе того же дѣса», какъ говорить газетное сообщеніе. *Идея* Теркина — абсурдъ, его миссія — *миссія* Сизифа. Сопоставляя это обстоятельство съ тѣмъ, что Теркинъ, какъ мы видѣли, безпрестанно толкуетъ о своей совѣсти и своей честности, можно, кажется, окончательно установить тотъ выводъ, что Теркинъ принадлежитъ къ давно извѣстному типу людей, желающихъ и невинность соблюсти и капиталъ приобрѣсти. Какъ смотреть на него самъ авторъ? Это очень трудно сказать. Общій тонъ романа вполне серьезенъ; рассказываетъ г. Боборыкинъ о затѣяхъ Теркина, такъ же какъ и о его неопрытныхъ ивліаніяхъ

«по душѣ» и «нараспашку», безъ малѣйшей улыбки. За всѣмъ тѣмъ въ романѣ кое-гдѣ инкрустированы замѣчанія или сцены, смыслъ которыхъ очень подрываетъ кредитъ Теркина, какъ героя современности. Приведемъ одну изъ такихъ сценъ. Теркинъ разговариваетъ со своимъ крестнымъ отцомъ по дѣловой карьерѣ, нѣкимъ Усатинымъ.

«— Позвольте, — сказалъ Теркинъ, — будто нельзя посмотрѣть на свою дѣлецкую карьеру, какъ на средство послужить родинѣ?

«— Родинѣ!

«Усатинъ пренебрежительно тряхнулъ головой.

«— Однако, позвольте, — Теркинъ понизилъ голосъ, — вы изволили же въ былые годы служить нѣкоторымъ идеямъ. И я первый обязанъ вамъ тѣмъ, что вы меня поддерживали... не какъ любостыжательный хозяинъ, а какъ чело-вѣкъ съ направлениемъ.

«— Направление! — остановилъ его Усатинъ. — Оно у меня вотъ гдѣ сидитъ, — онъ рѣзнулъ себя по затылку, — и когда эту родину изучишь хорошенько, придешь къ тому выводу, что только забывая про всякія цивическія затѣи и можно двигать ею. И вамъ, Теркинъ, тотъ же совѣтъ даю. Не садитесь между двухъ стульевъ, не обманывайте самого себя, не мечтайте о томъ, чтобы подражать дѣльцамъ, какъ во Франціи изъ школы сенсимонистовъ. Они мнили, что перестроить все общество, во имя гуманности и братства, а кончили тѣмъ, что стали банковскими воротилами. Все это — или пустая блажь или безсознательная, а то такъ и умышленная фальшь».

Теркину слѣдовало бы подумать надъ этими словами своего бывшего принципала. Не мѣшало бы обратить на нихъ вниманіе и г. Боборыкину, хотя бы уже потому, что они даютъ фигурѣ Теркина другое освѣщеніе: что ужъ это за герой, въ которомъ можно заподозрить *умышленную фальшь*, и сидѣть *между двухъ стульевъ* — позиція совсѣмъ не геройская. Однако какъ этотъ разговоръ, такъ и другіе



уроки того же рода проходят для Теркина безслѣдно и вставлены они въ романъ какъ будто за тѣмъ только, чтобы показать, что автору небезызвѣстны и возраженія, которыя могутъ быть представлены противъ плановъ его героя. Въ послѣднемъ мы не сомнѣваемся, но зачѣмъ же г. Боборыкинъ, поставивши возраженіе, не устраняетъ, а преспокойно обходитъ его?

Повторяемъ, писательская личность г. Боборыкина неясна для насъ и притомъ не по нашей, а по авторской винѣ. Контуры литературной фізіономіи г. Боборыкина неопредѣленны, ея черты недостаточно выразительны. Вотъ мы разсмотрѣли три главныхъ произведенія г. Боборыкина, связанные между собою если не единствомъ идеи, то единствомъ намѣренія,—какой общій выводъ мы въ правѣ сдѣлать? Выводъ очень тощій: авторъ не овладѣлъ предметомъ, не составилъ себѣ прочнаго убѣжденія относительно изображаемыхъ имъ явленій жизни. Г. Боборыкинъ то осудить нашу буржуазію en herbe въ лицѣ безсословныхъ «дѣльцовъ», то предоставитъ культурному дворянину задачу прогнать «купца», сѣсть на его мѣсто и, такимъ образомъ, оплодотворить буржуазное начало культурнымъ элементомъ, то, наконецъ, разночинцу безъ роду, безъ племени отдаетъ въ жертву и въ выучку и дворянина, и купца, и мужика. Все это очень произвольно и рѣшать вопросы этого рода на почвѣ сословности очень рискованно. Наше будущее зависитъ совсѣмъ не отъ судебъ того или другого сословія, а отъ судебъ нашей интеллигенціи, въ составъ которой съ одинаковымъ правомъ могутъ войти и дворянинъ, и мужикъ, и священникъ, и купецъ, и мѣщанинъ, и разночинецъ. Всѣ задачи нашей культуры сводятся къ вопросу просвѣщенія массъ и никто, кромѣ интеллигенціи, этой задачи рѣшить не въ силахъ. По мѣрѣ разрѣшенія *этой* общей задачи будутъ упорядочиваться и всѣ практическія стороны нашей жизни: лѣса не будутъ истребляться, почва не будетъ истощаться, рѣки не будутъ

мелѣть, населеніе не будетъ бѣднѣть и хронически голодать. Не съ конца, а съ начала дѣла дѣлаются: цивилизуйте людей, и культура территоріи явится сама собою, самодѣятельностью этихъ самыхъ людей.

## V.

Въ талантѣ г. Боборыкина есть одно свойство, за которое онъ долженъ всего горячѣе благодарить судьбу: это ничѣмъ не смущающаяся бодрость духа, *радость жизни*, активная энергія человѣка и дѣятеля. Г. Боборыкинъ въ полномъ смыслѣ человѣкъ земли, неустанный работникъ, которому трудъ нуженъ какъ стихія. Пессимистически ныть, кукусься, капризничать г. Боборыкинъ не хочетъ и не можетъ, и хотя онъ очень далекъ отъ кандидовскаго оптимизма, но вкуса къ жизни не утрачиваетъ и никогда не выражалъ желанія «сложить на пустой груди ненужныя руки». Повѣсть *Передъ чѣмъ-то*, за которую мы выразили опасеніе въ началѣ этой статьи, потому что подмѣтили было въ ней нѣчто въ родѣ приглашенія посыпать главу пепломъ и возсѣсть на рѣкахъ Вавилонскихъ, — эта повѣсть, теперь оконченная, служить лучшимъ доказательствомъ счастливой неспособности г. Боборыкина ко всякаго рода *кладбищенству*, какъ говаривалъ Помяловскій: *Передъ чѣмъ-то* кончилась ровно ничѣмъ. Г. Боборыкину указываемое нами свойство его таланта должно быть тѣмъ дороже, что оно совершенно непосредственно; опирается не на идеѣ, а выходитъ изъ инстинкта, изъ глубины натуры. Міросозерцаніе г. Боборыкина совсѣмъ не блещетъ такою логическою стройностью, которая бы могла предохранить человѣка отъ паденія, отъ отступничества: г. Боборыкинъ застрахованъ отъ такого печальнаго конца именно своею юношескою чуткостью и отзывчивостью на все, въ чемъ есть сила, достоинство, правда. Благодаря этому своему свойству, г. Боборыкинъ въ наше время всяческихъ сдѣлокъ и позорнѣйшихъ измѣнъ успѣлъ сохранить въ себѣ

душу живу и даже болѣе того: онъ смогъ явиться обличителемъ, и обличителемъ не какихъ-либо отдѣльныхъ личностей, а цѣлой полосы нашей жизни. Къ категоріи такихъ *идейно-обличительныхъ* произведеній относятся большой романъ *На ущербъ* и повѣсть *Поумнѣлъ* \*). Нужно сказать правду, г. Боборыкинъ мягкій и снисходительный обличитель, почти до слабости. Онъ не караетъ, не наказываетъ, а вѣжливо указываетъ: не угодно ли полюбоваться? Равнымъ образомъ онъ и не призываетъ къ борьбѣ,—прямая борьба вообще не по его части,—а ограничивается преподаніемъ нѣкоторыхъ благожелательныхъ и удобоисполнимыхъ совѣтовъ. Главный герой романа *На ущербъ*—Ермиловъ—выражаетъ отъ своего лица, кажется намъ, затаенную мысль самого автора, когда говоритъ слѣдующее: «Вамъ всѣмъ, господа, пора бы убѣдиться вотъ въ чемъ: слѣдуетъ въ наши лѣта людямъ знанія и таланта глядѣть на то, что у насъ дѣлается, какъ Ливингстонъ или Стэнли смотрѣли на быть африканцевъ: ѣзди, наблюдай, пиши книги, обогащай науку, но души своей не отдавай на съѣденіе». Въ переводѣ на вульгарный языкъ этотъ совѣтъ значить вотъ что: моя хата съ краю — ничего не знаю. Для людей науки и вообще отвлеченной мысли этотъ совѣтъ можетъ быть недуренъ, но мы бы хотѣли, чтобы г. Боборыкинъ примѣнилъ его къ самому себѣ. Казалось бы, защитнику протокольнаго, объективнаго французскаго натурализма сдѣлать это было бы нетрудно, и однако г. Боборыкинъ волнуется, печалится, негодуетъ въ виду «ущерба» общественной мысли. Но вотъ что гораздо серьез-

\*) Возможно, что у г. Боборыкина имѣются и другія произведенія на ту же тему, но я ихъ не знаю и долженъ вообще сдѣлать слѣдующее признаніе: подготавлиаясь къ этой статьѣ, я прочиталъ, конечно, большую часть произведеній г. Боборыкина, но *далеко не всю*. Оправданіемъ мнѣ служить, во-первыхъ, то, что Вольфовское изданіе сочиненій г. Боборыкина очень неполно; во-вторыхъ, то, что новѣйшій историкъ нашей литературы, г. Скабичевскій, отказался даже *перечислить* работы г. Боборыкина, —до такой степени онъ многочисленны.

нѣе: непостижимымъ образомъ г. Боборыкинъ связываетъ фактъ «ущерба» съ... какъ бы вы думали, съ чѣмъ? Даже сказать страшно: съ пагубнымъ вліяніемъ женщинъ и съ необыкновенною страстностью русскіихъ мужчинъ. Мы не клеветемъ и не шутимъ. Вотъ разговоръ между Ермиловымъ и «непримиримымъ» Кустаревымъ, отставнымъ профессоромъ-либераломъ:

«— Кто можетъ за себя поручиться?.. Бабе, по нынѣшнему времени, взяло великую силу. Одна умная переводчица въ Москвѣ мнѣ не такъ давно сказала: «Никто, говоритъ, Евменій Филипповичъ, изъ васъ не застрахованъ отъ революціи своего сорокъ восьмого года!»

«— Какъ, какъ?—крикнулъ Ермиловъ и пріостановилъ Кустарева на ходу.

«— Революція сорокъ восьмого года... это вотъ въ нашъ съ вами возрастъ или около того. Одинъ мнитъ себя легкимъ эпикурейцемъ, другой—суровымъ ригористомъ, а глядь... врагъ-то и одолѣетъ. Баба возьметъ верхъ и правъ передѣлаетъ, и правила, и мозгъ, и темпераментъ. Эстетикъ очутится въ притонѣ и тамъ въ послѣднюю потаскушку будетъ класть весь остатокъ своихъ душевныхъ силъ... Такъ-то-съ!..»

Не знаемъ, право, что ужъ и сказать тутъ. Это не обмолвка, потому что далѣе тотъ же Ермиловъ, бесѣдуя съ другимъ интеллигентомъ, говоритъ опять то же: «Одинъ считалъ себя хранителемъ долга и добродѣтели, другой—эпикурейцемъ, во вкусѣ прошлаго вѣка, а оба оказались предназначенными на служеніе силъ прекраснаго, которая исходитъ отъ женщины въ какихъ-то линіяхъ и звукахъ. Не слѣдуетъ ли видѣть въ повсемѣстной тираніи женщины доказательство того, что конецъ вѣка изжилъ свои задачи или не въ силахъ справиться съ ними?» Трудно повѣрить, чтобы это говорилось серьезно, и однако г. Боборыкинъ настойчиво проводитъ этотъ взглядъ на причины современнаго «ущерба». Подъ вліяніемъ женщинъ или даже

«бабу» передѣлываются «и нравъ, и правила, и мозгъ, и темпераментъ» мужчинъ, которые и погибаютъ жертвою «прекраснаго, исходящаго отъ женщины въ какихъ-то линияхъ и звукахъ...» Очень просто! Но мы хотѣли бы спросить г. Боборыкина, почему же героиня повѣсти *Поумнѣлъ*, Антонина Сергѣевна Гаярина, ровно ничего не могла подѣлать съ своимъ ренегатомъ-мужемъ, хотя и старалась объ этомъ, какъ могла? Неужели, по мнѣнію г. Боборыкина, женщины всемогущи на зло и безсильны на добро? Неужели, далѣе, «умная переводчица» была права и мужчинъ, подошедшему къ пятидесятилѣтнему возрасту, грозитъ серьезная опасность «уложить въ послѣднюю потаскушку весь остатокъ своихъ душевныхъ силъ»?

Мы долго не кончили бы своихъ недоумѣвающихъ вопросовъ, если бы вздумали серьезно оспаривать объясненіе нашего «ущерба», предложенное г. Боборыкинымъ. Но такъ какъ превращеніе общественныхъ дѣятелей въ мышиныхъ жеребчиковъ не есть законъ природы и никакой эпохи характеризовать собою не можетъ, то мы можемъ и ограничиться этимъ. Между тѣмъ романъ въ эстетическомъ и психологическомъ смыслѣ написанъ очень хорошо. Фигуры чиновника—Пилата Капцова, его сына—студента новой формациі, Сохина—изъ лагеря *поумнѣвшихъ*, и др. обрисованы рельефно. Изобразительная способность г. Боборыкина сильнѣе его критической способности. Тонкій и разносторонній наблюдатель, онъ имѣетъ въ своемъ распоряженіи массу живыхъ фактовъ, которыхъ однако ему нечѣмъ мѣрять, не къ чему соотносить, за отсутствіемъ какого-нибудь общаго принципа. Этимъ же объясняется и тотъ, на первый взглядъ странный, фактъ, что г. Боборыкинъ можетъ чувствовать себя одинаково удобно въ очень далеко отстоящихъ другъ отъ друга органахъ печати, отъ *Отечественныхъ Записокъ* до *Нови*. *Прямолинейности* мы отъ г. Боборыкина не ждемъ и не требуемъ, но большей определенности и устойчивости во взглядахъ нельзя не пожелать.

---

18.. г.

## Бодрый талантъ.

Повѣсти и рассказы И. Н. Потапенка. Одиннадцать томовъ.

---

Я согласенъ, что дважды два четыре — превосходная вещь; но если ужъ все хвалить, то и дважды два пять премилая иногда вещьца.

*Достоевскій (Записки изъ подполья).*

### I.

«Геній есть терпѣніе», сказалъ кто-то изъ западныхъ знаменитыхъ людей. Русскій народъ съ своей стороны удостовѣряетъ, что «терпѣніе да трудъ все перетрутъ», а одинъ изъ нашихъ поэтовъ патетически воскликнулъ:

Куда какъ упоренъ въ трудъ человекъ!  
Чего онъ не сможетъ,—лишь было бъ терпѣнье,  
Да разумъ, да воля, да Божье хотѣнье!

Читатель ошибется, если, судя по этому нашему приступу, подумаетъ, что мы намѣрены прежде всего распространиться о замѣчательной литературной плодovitости г. Потапенка, свидѣтельствующей объ его терпѣніи и трудолюбіи. Нѣтъ, тема эта уже давно исчерпана нашими остроумными газетными и журнальными фельетонистами, соперничать съ которыми я не желаю. Что жъ дурного въ плодovitости? Еще Макарь Макарычъ Дѣвушкинъ (*Бѣдные люди*) говорилъ: «Ну, что жъ дѣлать? Я вѣдь и самъ знаю, что я немного дѣлаю тѣмъ, что переписываю; да

все-таки я этимъ горжусь: я работаю, я потъ проливаю. Ну, что жъ тутъ, въ самомъ дѣлѣ, такого, что переписываю! Что, грѣхъ переписывать, что ли? *Онъ, дескать, переписываетъ!* Да что жъ тутъ безчестнаго такого?» Ровно ничего, разумѣется. Г. Потапенко не писецъ, а писатель, и чѣмъ больше энергіи обнаружить онъ въ своемъ дѣлѣ, тѣмъ лучше и для него и для насъ. Правда, и ему случается иногда не только писать, но и переписывать (обыкновенно—самого себя), но въ концѣ-концовъ его трудовая *бодрость* дѣлаетъ ему только честь,—и это все, что можно и что стоитъ сказать по этой сторонѣ дѣла.

Разговоръ о могуществѣ труда и терпѣнья мы начали съ другою, болѣе серьезною цѣлью. Дѣло въ томъ, что идея терпѣливаго, неустаннаго труда есть основная идея г. Потапенка, его главнѣйшій вкладъ въ сокровищницу русской литературы. Г. Потапенко энергически зоветъ всѣхъ насъ на дѣйствительную общественную службу (*На дѣйствительной службѣ* — заглавіе одной изъ удачнѣйшихъ повѣстей г. Потапенка), ядовито иронизируетъ надъ людьми, стремящимися жить чужими трудами, на чужой счетъ, жить *на пенсію*, не заработавъ ея (*На пенсію* — заглавіе другой, тоже очень хорошо написанной повѣсти г. Потапенка), и, конечно, все это очень справедливо, очень вѣрно. «Дважды два четыре — превосходная вещь» (см. эпиграфъ). Г. Потапенко такъ горячо преданъ этой своей идеѣ, — идеѣ производительнаго и терпѣливаго труда, — что даже не скучаетъ и переписывать на эту тему: его повѣсть *Исполнительный органъ*, не только по тенденціи, но отчасти и по фабулѣ, есть почти простой перифразъ его же, упомянутой выше, повѣсти *На дѣйствительной службѣ*. Конечно, большой бѣды тутъ нѣтъ: если идея жива и плодотворна, то ее стоитъ не только высказать, но и неоднократно повторить, дабы мы, читатели, какъ можно прочнѣе ее усвоили. Это, надо думать, не болѣе, какъ педагогическій пріемъ опытнаго наставника-писателя. Бѣда въ томъ... какъ бы мнѣ

выразить свою мысль помягче, побезобиднѣе? Скажу хоть такъ: при чтеніи повѣстей г. Потапенка, написанныхъ на тему обязательности труда, мнѣ, Dieu sait pourquoi, постоянно вспоминалось одно мѣсто изъ *Губернскихъ очерковъ* Салтыкова, гдѣ авторъ характеризуетъ гарнизонныхъ офицеровъ. «Я ужасно,—говоритъ Салтыковъ,—люблю господъ гарнизонныхъ офицеровъ. Есть у нихъ на все этакой взглядъ наивный, какого ни одинъ человѣкъ въ цѣломъ мірѣ имѣть не можетъ. На цѣлый міръ онъ смотритъ съ точки зрѣнія пайка; читаетъ онъ какое-нибудь «сочиненіе» — думаетъ: «авторъ столько-то пайковъ себѣ выработалъ»; слышитъ ли, что кто-нибудь изъ его знакомыхъ мѣсто новое получилъ,—говоритъ: столько-то пайковъ ему прибавилось» (*Пріятное семейство*). Я ужасно люблю трудолюбивыхъ и энергичныхъ героевъ г. Потапенка, но отъ общихъ воззрѣній ихъ на жизнь я хотѣлъ бы предостеречь читателя: «пакъ» какъ будто играетъ въ этихъ воззрѣніяхъ уже слишкомъ большую роль. Что говорить, деньги — вещь хорошая, злато — не презрѣнный, а драгоценный металлъ; на деньги, какъ остроумно замѣтилъ Помяловскій, свѣчу можно купить и какому-нибудь угоднику поставить, но все-таки и (см. эпиграфъ) дважды два пять — иногда премилая вещица. Давно кѣмъ-то сказано, что деньги — отличный слуга и очень дурной хозяинъ, а у дѣловитыхъ героевъ г. Потапенка онѣ частенько являются именно въ роли хозяина. По крайней мѣрѣ, вотъ какъ выражается у г. Потапенка одинъ изъ героевъ этой категоріи: «Я—человѣкъ прямыхъ и опредѣленныхъ выраженій. Я говорю прямо, что считаю богатство самымъ высокимъ благомъ въ жизни, потому что съ нимъ легко достигнуть всѣхъ прочихъ благъ». Такъ-таки *естъ*, многоуважаемый господинъ? Повѣсть построена такъ (конечно, не неумышленно), что на этотъ вопросъ приходится дать положительный отвѣтъ: да, всѣхъ. Одно изъ главнѣйшихъ благъ и вмѣстѣ одно изъ главнѣйшихъ достоинствъ человѣка состоитъ въ томъ, чтобы счастли-



вить другихъ, разливать вокругъ себя свѣтъ и теплоту — и этого высокаго блага практичный и дѣловитый герой г. Потапенка достигъ въ полной мѣрѣ. Обозрѣвая свою жизнь, онъ съ гордостью говоритъ о себѣ: «Я ни въ чемъ не раскаиваюсь и нахожу, что все, что я сдѣлалъ, было превосходно. Конечно, я имѣлъ въ виду прежде всего устроить свое благополучіе, — это, вѣдь, естественно, и это, если говорить правду, имѣетъ въ виду всякій всегда и во всякое время. Но мнѣ пріятно сознавать, что я также увеличилъ счастье рѣшительно всѣхъ, кто соприкасался со мной въ этотъ періодъ времени». Герой затѣмъ поименно перечисляетъ всѣхъ ошастливленныхъ имъ людей, и мы должны согласиться, что онъ вполнѣ правъ въ фактическомъ смыслѣ. Онъ не хвастаетъ; его гордость законна; люди, которыхъ онъ перечисляетъ, дѣйствительно любятъ и уважаютъ его и считаютъ чуть ли не добрымъ гениемъ своимъ. Послѣ этого намъ ничего не остается, какъ съ почтительнымъ вниманіемъ выслушать наставленіе, которое преподаетъ герой уже непосредственно по нашему адресу: «Сколько на землѣ живетъ бесполезнаго и ненужнаго ни себѣ ни другимъ, и какая масса свѣжихъ и молодыхъ силъ гибнетъ, благодаря неумѣнью жить и неспособности приспособляться!» Точно такъ-съ. Что жъ намъ больше еще отвѣтить? Вѣдь это голосъ самой мудрости, — практической, торжествующей мудрости, которая благоразумно не забываетъ себя и благородно не забываетъ другихъ, — мудрости, сумѣвшей сочетать и примирить требованія естественнаго, зоологическаго эгоизма съ требованіями высоконравственнаго альтруизма. Эта мудрость учитъ насъ «умѣнью жить», — не тому старомодному умѣнью, которое называлось прежде умѣньемъ въ мутной водѣ рыбу ловить и знать, гдѣ раки зимуютъ, но тому умѣнью, которое состоитъ въ искусствѣ *приспособленія*. Герой г. Потапенка не просто живетъ, а ведетъ *борьбу за существованіе*, и не просто дѣлишки свои устраиваетъ, а *приспособляется къ средѣ*. Какая звучная,

внушительная терминологія, какое торжество позитивной науки!

Читатель, конечно, замѣчаетъ нашъ ироническій тонъ и догадывается, что дѣло обстоитъ не совсѣмъ благополучно. Дѣйствительно, хороша или нехороша житейская мудрость героя г. Потапенка, но несомнѣнно, что самого мудреца, познакомившись съ нимъ поближе, вы на порогъ своего дома не согласились бы пустить. Въ процессѣ своего пресловутаго *приспособленія* онъ совершаетъ рядъ дѣяній, закономъ, правда, не наказуемыхъ, но въ полномъ смыслѣ безнравственныхъ, если только слово нравственность — не пустой звукъ. Изъ ряда этихъ дѣяній, которыя, какъ мы видѣли, герой находитъ *превосходными*, приведемъ только одинъ — правда, самый главный — его поступокъ. Герой любитъ дѣвушку, былъ любимъ взаимно и имъ оставалось только повѣнчаться. Какъ разъ въ это время въ дѣвушку влюбился старый холостякъ, миллионеръ, и практический герой быстро оцѣнилъ выгоду своего положенія: онъ предложилъ миллионеру купить у него невѣсту, но не такъ купить, какъ лошадей покупаютъ, — изъ полы въ полу и деньги на столъ, — а на благородномъ основаніи. «Если я, — говоритъ герой старику-миллионеру, — уступаю вамъ свою невѣсту, то только потому, что слишкомъ люблю ее. Я хочу, чтобъ она была богата, и убѣжденъ, что это сдѣлаетъ ее гораздо болѣе счастливой, чѣмъ моя любовь. И вотъ мои условія: вы владѣете вашими миллионами до послѣдней вашей минуты. А затѣмъ, я полагаю, вамъ рѣшительно все равно, кто будетъ владѣть ими. Такъ вотъ-съ, вы теперь же переведете все ваше состояніе на имя Надежды Алексѣевны (невѣсты), съ оговоркой, что она получитъ его послѣ вашей смерти». Расчетъ героя состоялъ въ томъ, что старикъ проживетъ недолго, и дѣйствительно, все произошло какъ по-писаному: старикъ женился, состояніе свое перевелъ на жену, черезъ два года умеръ, а молодая вдова вышла замужъ за своего прежняго жениха, котораго

она не переставала любить, и, такимъ образомъ, удачливый герой заполучилъ и любимую женщину и три милліона въ придачу (или, пожалуй, наоборотъ). Теперь вооружимся ариеметикой или просто таблицей умноженія и будемъ считать барыши и убытки. Кто въ убыткѣ? Кто оскорбленъ, кто пострадалъ, кто несчастливъ? Никто. Убытковъ нѣтъ, одни чистѣйшіе барыши. Старикъ-милліонеръ на закатѣ дней своихъ наслаждался любовью (нераздѣленной, положимъ, но это ничего: люби не люби, да почаще взглядывай), молодая женщина поскучала два года (и то не очень, потому что упивалась заграничными увеселеніями), но зато обезпечила себѣ блестящее будущее, а о самомъ героѣ нечего и говорить: онъ не только счастливъ, но и гордъ своимъ счастьемъ, какъ бываетъ гордъ авторъ своимъ лучшимъ произведеніемъ. Итакъ, что же? «Дважды два четыре — превосходная вещь» и больше ничего. Ариеметика — наука точная. \*

Не напрасно, однако, и Достоевскій, вопреки всякой ариеметикѣ, утверждаетъ, что «и дважды два пять иногда премилая вещица». Призовите къ обсужденію нашего вопроса чистокровнаго, прямолинейнаго моралиста — Достоевскаго или Льва Толстого, или хоть г. Владиміра Соловьева — и онъ дастъ отвѣты прямо противоположные тѣмъ, которые мы нашли съ помощью ариеметики. Нѣтъ никакихъ барышей, а есть только одни убытки. Кто оскорбленъ? Богъ оскорбленъ. Кто пострадалъ? Человѣческое достоинство пострадало. Кто несчастливъ? Несчастливы всѣ: несчастливъ былъ этотъ старикъ, который не могъ не понимать, что его смерти ждуть какъ освобожденія; несчастлива эта дѣвушка, промѣнявшая чистую, молодую любовь на грязь позолоченной проституціи, несчастлива будетъ эта навсегда оскверненная женщина и несчастныѣ всѣхъ будетъ самъ самодовольный герой, когда спадетъ съ его глазъ чешуя и онъ увидитъ, что не счастье, не свѣтъ и тепло, а ядъ разврата и мракъ обмана распространялъ онъ вокругъ себя.

Такія преступленія даромъ не проходятъ; жизнь, цѣликомъ построенная на лжи и насквозь ею проникнутая, ничего не принесетъ человѣку кромѣ мученій, отъ которыхъ не могутъ укрыть никакія золотыя горы. Тутъ выступаетъ законъ нравственнаго возмездія, болѣе могучій, чѣмъ какіе бы то ни было ваши ариѳметическіе и логическіе расчеты. «Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ».

Теперь наша очередь говорить. Я въ равной мѣрѣ уважаю ариѳметику и этику и именно поэтому увѣренъ, что онѣ не могутъ такъ рѣзко противорѣчить другъ другу. Болѣе того, въ своихъ положеніяхъ и утвержденіяхъ онѣ просто не могутъ встрѣтиться между собою, потому что ихъ сферы и ихъ критеріи совершенно различны. Онѣ освѣщаютъ одинъ и тотъ же предметъ, но съ разныхъ точекъ и съ разныхъ сторонъ. Положимъ, я говорю: въ такомъ-то человѣкѣ два съ половиной аршина роста. Нѣтъ, возражаете вы, въ немъ четыре съ половиной пудовъ вѣса. Ваше утвержденіе, быть можетъ, вполнѣ вѣрно фактически, но оно не логично, ваше «нѣтъ» не имѣетъ смысла. Вы не опровергаете, а только дополняете мое показаніе. Практичные и дѣловитые герои г. Потапенка узки и односторонни до послѣдней степени. Они знаютъ ариѳметику, но только ее и знаютъ и не хотятъ знать ничего другого. Точка зрѣнія «пайка» единственно доступная имъ точка зрѣнія. Если у васъ сто тысячъ годового дохода, а у меня только тысяча, то что отсюда слѣдуетъ? По-нашему, слѣдуетъ только то, что вы во сто разъ богаче, а по мнѣнію героя г. Потапенка, это значить, что вы во сто разъ меня *счастливей*. «И черезъ золото слезы льются», говоритъ здравый смыслъ народа, но образованный и умственно развитый герой г. Потапенка не въ состояніи усвоить этого простого соображенія. Мѣшаютъ этому, конечно, его молодая неопытность, а главное, его чрезвычайная удачливость. Г. Потапенко старательно избѣгаетъ трудныхъ психологическихъ усложненій, и его герой дѣлаетъ свою карьеру точно съ гладкой

горы на салазкахъ катится. Какъ онъ по своей несложной житейской ариметикѣ разсчитываетъ, точь-въ-точь такъ все и сбывается. Это невѣроятно и неправдоподобно. Ну, а если бы миллионеръ прожилъ еще не два года, а два десятка лѣтъ? Ну, а если бы невѣста героя не согласилась выйти замужъ за старика и, нравственно возмущенная, прогнала бы съ глазъ своего сребролюбиваго жениха? Ну, а если бы, будучи женой старика и развѣзжая съ нимъ по заграничнымъ курортамъ, она влюбилась въ какого-нибудь плѣнительнаго иностранца? И такъ далѣе. Такихъ *случайностей* можно было бы насчитать сколько угодно и каждая изъ этихъ случайностей оставила бы героя, что называется, при печальномъ интересѣ, и вся его философія оказалась бы построенной на пескѣ. Дѣло въ томъ, что такіа *случайности* чаще всего бываютъ не случайностями, а необходимостями, вытекающими изъ того факта, что человекъ — не арифметическая величина, а также и не животное только, но разумно-нравственное существо. Допустимъ, что собственно герой г. Потапенка не знаетъ никакихъ нравственныхъ сомнѣній, не испытываетъ никакихъ тревогъ совѣсти: бываютъ такіе люди, хотя и рѣдко, какъ бываютъ глухонѣмые отъ рожденія. Но вѣдь они оперируютъ между людьми обыкновенными, т.-е. такими, которые обойти стороной нравственный законъ очень согласны, но топтать его ногами никакъ не рѣшатся. Достаточно было бы заупрямиться хоть одному, болѣе другихъ честному человеку изъ среды окружавшихъ героя людей (его невѣста, напримѣръ) и всѣ его махинаціи пошли бы прахомъ, всѣ его арифметическія житейскія выкладки оказались бы невѣрными отъ вторженія въ нихъ этического элемента. Вспомнимъ Достоевскаго, который, какъ превосходный талантъ, не только не избѣгалъ психологическихъ коллизій, но тщательно разыскивалъ ихъ. Расчеты его Раскольникова были математически вѣрны. «Съ одной стороны, глупая, бессмысленная, ничтожная, злая, больная старушонка, никому не нужная

и, напротивъ, всёмъ вредная, которая сама не знаетъ для чего жить и которая завтра же сама собой умретъ. Съ другой стороны, молодыя, свѣжія силы, пропадающія даромъ, безъ поддержки, и это тысячами, это всюду! Сто, тысячу добрыхъ дѣлъ и начинаній, которыя можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченныя въ монастырь!» Возражать тутъ нельзя, нечего: дважды два—четыре. Но жизнь человѣческая безконечно шире, разнообразнѣе и разностороннѣ математики, и *возраженіе* немедленно нашлось, во-первыхъ, въ собственной возмущившейся совѣсти Раскольникова, во-вторыхъ, въ отвращеніи къ злодѣянію всѣхъ близкихъ къ Раскольникову людей (сестры, Сони, Разумихина). Раскольниковъ (возвращаясь къ прежнему сравненію) точно и аккуратно измѣрилъ свой ростъ: два аршина съ половиной. Ища себѣ выхода, онъ точно и аккуратно прорѣзалъ въ окружавшей его стѣнѣ отверстіе ровно въ сорокъ вершковъ длиною, но забылъ о своихъ четырехъ пудахъ вѣса и сдѣлалъ отверстіе только въ четверть шириною. Понятно, что онъ застрялъ въ устроенной имъ для себя — не двери, а щели и вмѣсто желаннаго выхода обрѣлъ только муку для себя. Безъ метафоръ говоря, Раскольниковъ, составляя свой планъ убійства старухи, забылъ о своей нравственной личности, да не принялъ въ расчетъ и духовной природы тѣхъ, кого онъ хотѣлъ облагодѣтельствовать своими кровавыми деньгами. Герой г. Потапенка, напротивъ, удачно проскользнулъ въ свою *щель*, но не потому, что у него *здравыя понятія* (повѣсть озаглавлена *Здравыя понятія*), какъ онъ воображаетъ, а просто потому, что онъ не человѣкъ, а ужъ, которому до поры до времени еще никто не наступилъ на хвостъ, а не наступилъ потому, что авторъ предусмотрительно окружилъ его не людьми, а лягушками, съ которыми онъ что хочетъ, то и дѣлаетъ.

Назвавши, наконецъ, повѣсть (отъ чего я до сихъ поръ умышленно воздерживался), о героѣ которой мы разсужда-

ли, я тѣмъ самымъ обязываю себя къ объясненію, котораго въ правѣ потребовать отъ меня всякій памятливыи читатель и въ особенности самъ авторъ. Дѣло въ томъ, что шесть лѣтъ назадъ, на страницахъ этого же самаго журнала, я мимоходомъ говорилъ объ этой повѣсти (*Письма о литературѣ*, письмо второе) и признавалъ, что г. Потапенко относится къ своему герою отрицательно, иронически. Я упрекалъ г. Потапенку лишь въ томъ, что его иронія слишкомъ снисходительна, что онъ «довольствуется легонькой усмѣшкой въ бороду». Послѣ этого имѣю ли я право видѣть въ героѣ *Здравыхъ понятій* выразителя идеи, сочувственной автору? Гдѣ иронія, тамъ нѣтъ сочувствія, нѣтъ солидарности, и мы должны смотрѣть на эту повѣсть какъ на сатиру. Да, казалось бы такъ, но, къ сожалѣнію, г. Потапенко самъ далъ мнѣ это право. Передо мной теперь не какая-нибудь отдѣльная повѣсть г. Потапенки, а цѣлыхъ одиннадцать томовъ его произведеній, между которыми есть не мало вполне оправдывающихъ мою теперешнюю точку зрѣнія. Вотъ, напримѣръ, другая большая повѣсть *Подвальный этажъ*. Если бы героиня этой повѣсти не была простою, малограмотною дѣвушкой, она совершенно могла бы повторить хвалебную себѣ рѣчь героя *Здравыхъ понятій*: она точно такъ же осчастливила и облагодѣтельствовала всѣхъ окружающихъ, начиная съ родного отца и кончая чужимъ, заброшеннымъ, но очень даровитымъ мальчикомъ, изъ котораго, благодаря ей, вѣроятно, вырабатается со временемъ крупный художникъ-живописецъ, такъ что не только родственники, но и всѣ мы, общество, обязаны ей благодарностью. А что такое она сдѣлала? Продала себя, пошла на содержаніе, и деньгами, вырученными отъ самопродажи, всѣхъ облагодѣтельствовала, въ томъ числѣ и васъ, читатель, если вы интересуетесь судьбами русской живописи. Пожалуйста, не брезгайте, не морализируйте — говорю это вполне серьезно: вѣдь преступленія, въ точномъ смыслѣ

слова, тутъ въ самомъ дѣлѣ нѣтъ, а есть только проступокъ, нѣтъ, какъ у Раскольникова, крови, а есть только грязнотца, которой гдѣ же нѣтъ? Но все-таки очень, конечно, характерно для писателя, что источникомъ блага онъ поставляетъ дѣяніе, во всякомъ случаѣ симпатіи не возбуждающее. Къ той же идеѣ г. Потапенко, въ повѣсти *Семейная исторія*, подходитъ съ другого конца и показываетъ намъ, какъ самыя чистыя намѣренія, самыя благородныя душевныя движенія приводятъ иногда къ положительному злу, ведутъ къ раздору и къ несчастію. Пылкій и благородный юноша-студентъ пріѣзжаетъ на каникулы домой и вскорѣ дѣлаетъ страшно поразившее его открытіе, что семья его—гнѣздилище обмана и компромисса: у отца имѣется любовница, у матери—любовникъ, но они, его родители, ради дѣтей и свѣта (который, впрочемъ, тоже все и давно знаетъ) продолжаютъ жить вмѣстѣ и даже очень дружно жить. Сынъ не могъ скрыть своего негодованія — и безоблачное счастье отлетѣло, семья распалась. «Гдѣ пиршество раздавались клики, надгробныя тамъ воютъ лики», а все отчего? Отъ излишняго риторизма молодого человѣка, отъ его неумѣнія (вотъ оно!) приспособляться къ обстоятельствамъ. Такова основная мысль этой повѣсти г. Потапенка, — мысль, опять-таки вполне вѣрная съ точки зрѣнія житейской ариѳметики: ну, въ самомъ дѣлѣ,—скажу опять народной пословицей, — кому какое дѣло, что кума съ кумомъ сидѣла. Оказывается, свѣжему и чуткому нравственному чувству есть дѣло, чувству сына, униженнаго и оскорбленнаго за тѣхъ, кого онъ любитъ и кого хотѣлъ бы уважать. Г. Потапенко, доверяя больше всего своему практическому смыслу, никакъ этого одобрить не можетъ. Всѣ мы люди, всѣ человѣки, надо жить и надо другимъ давать жить — вотъ его философія. Кстати сказать, въ этой повѣсти г. Потапенко въ первый разъ высказываетъ въ видѣ афоризма свою излюбленную идею: «въ жизни все дѣлается странно и часто



зло оказывается причиной добра». Эта именно идея развивалась въ повѣстяхъ *Здравыя понятія* и *Подвальный этажъ*, а повѣсть *Семейная исторія* дополняетъ афоризмъ его антитевой: «часто добро оказывается причиной зла». Бываетъ, конечно, и такъ и этакъ,—чего на свѣтѣ не бываетъ! Но вѣдь г. Потапенко не анекдоты ради курьеза рассказываетъ намъ, а пишетъ повѣсти, т.-е. даетъ осмысленныя, обобщенныя изображенія жизни и мы, наконецъ, теряемся: зло—причина добра, добро—причина зла,—да что же, есть существенная разница между добромъ и зломъ или нѣтъ никакой? Вотъ два человѣка передъ нами. Одинъ изъ нихъ (напримѣръ, герой *Здравыхъ понятій*) не отступаетъ ни передъ какою низостью, лжетъ, хитритъ, лицемеритъ и все это (по его же собственнымъ словамъ) съ цѣлью устроить свое личное благополучіе. Въ результатѣ такой почтенной дѣятельности получается, *по волю автора*, не только личное благополучіе героя, но и благополучіе всѣхъ его окружающихъ. Другой человѣкъ (наприм., герой *Семейной исторіи*)—это сама гласность, сама искренность, само чистосердечіе. Онъ органически не терпитъ лжи, не выносить обмана и позволилъ себѣ выразить отвращеніе къ нимъ хотя въ очень скромной и деликатной формѣ (см. повѣсть), но все-таки не двусмысленнымъ образомъ. Въ результатѣ, *по волю автора*, общій семейный раздоръ, ненависть матери къ дѣтямъ, отчужденіе отъ нихъ отца. Повторяю: всяко въ жизни бываетъ, и уже давно сказано, что правда глаза колетъ, ласковый теленокъ двухъ матокъ сосетъ и пр., и пр. Но когда передъ нами *тенденціозно* настаиваютъ на такихъ фактахъ, то что прикажете думать о самомъ проповѣдникѣ, о его житейской морали, о его нравственныхъ идеалахъ? Они возбуждаютъ сомнѣніе и недовѣріе—это наименьшее, что можно сказать о нихъ.

Трудно судить Манлія въ виду Капитолія, какъ сказалъ когда-то Маколей.—Благополучные герои г. Потапенка всѣ своего рода маленькіе Манліи, у cadaго изъ нихъ есть

свой маленький Римъ, который они спасли и которымъ они назойливо, надоёдиво тычутъ всѣмъ въ глаза: «мы-то вотъ, какъ-никакъ, Римъ спасли, хоть и маленький, а вы что сдѣлали, вы, рыцари каплуновой нравственности? Без-полезные вы люди и больше ничего!» Въ ряду этихъ маленькихъ великихъ людей у г. Потапенка главнѣйшимъ является нѣкто Ерошкинъ, герой повѣсти «На пенсію». *Этому* герою авторъ несомнѣнно отъ всей души сочувствуетъ и сочувствія своего не скрываетъ, хотя тотъ въ психологическомъ смыслѣ родной или по меньшей мѣрѣ двукродный братъ герою «Здравыхъ понятій», отъ панибратства съ которымъ г. Потапенко какъ будто все-таки остерегся. Не знаемъ, какъ ужъ и подступиться съ критикой къ этому феноменальному Ерошкину: у него звѣзда во лбу, онъ ходитъ подбоченясь и толкаетъ васъ своими оттопыренными локтями, онъ просто подавляетъ васъ своимъ самоувереннымъ величіемъ. Однако, если ужъ настоящего Манлія, спасителя настоящего Рима, все-таки свергнули съ Тарпейской скалы, то можно ветупить въ разговоръ и съ Манліемъ-Ерошкинымъ. Чѣмъ вы такъ гордитесь, почтеннѣйшій? Практичностью, дѣловитостью, въ связи съ идеалистическими стремленіями самаго перваго сорта! «Видите ли, я человѣкъ вполне сложившійся и крайне опредѣленный», говоритъ Ерошкинъ въ одномъ мѣстѣ. *Крайняя* опредѣленность Ерошкина чрезвычайно высокаго достоинства: «все молодое, здоровое, сохранившее хоть каплю правдивости, должно сочувствовать моей дѣятельности», заявляетъ онъ, а г. Потапенко утвердительно киваетъ головой. Не знаю, право, я, положимъ, человѣкъ ужъ очень не молодой, но здоровый и сохранившій каплю правдивости, но я боюсь сочувствовать дѣятельности Ерошкина, потому что глубоко недоумѣваю. «Я задался цѣлью поднять, сколько буду въ силахъ, благосостояніе нашего края», объявляетъ Ерошкинъ. Цѣль грандіозная, но вѣдь это еще *буки*, а пока мы видимъ нѣчто очень странное.

Въ закладѣ у Ерошкина (онъ — сельскій хозяинъ, сынъ кулака-мужика, получившій высшее образованіе) находится имѣніе его шурина и вмѣстѣ товарища по школѣ, человѣка «безполезнаго», дилетанта чистой крови. Срокъ закладной наступаетъ черезъ недѣлю, и Ерошкинъ никакъ не соглашается отсрочить долга своему товарищу и родственнику. «Разъ я задался этою цѣлью (т.-е. цѣлью *поднять благосостояніе края*), мой долгъ увеличивать средства всѣми законными путями, какіе могутъ оказываться въ моихъ рукахъ», говоритъ Ерошкинъ несчастному дилетанту. Вотъ какой пріятный и легкій нравственный *долгъ* лежитъ на Ерошкинѣ: набивать себѣ карманъ всѣми законными путями! Жена Ерошкина, т.-е. родная сестра дилетанта, всецѣло на сторонѣ мужа и какъ дятель долбитъ брата: «безполезный, безполезный, безполезный!» Имѣніе, по показанію управляющаго, стоитъ на худой конецъ двѣсти пятьдесятъ тысячъ; заложено оно въ ста двадцати тысячахъ. Таковы факты. Добрые люди, «сохранившіе хоть каплю правдивости» и понимающіе толкъ въ этого рода дѣлахъ, объясните мнѣ, Бога ради, что такое творится тутъ? Гг. Потапенко и Ерошкинъ увѣряютъ меня, что тутъ совершается жертвоприношеніе на алтарь отечества, готовится счастье цѣлаго края, а я ничего не усматриваю кромѣ обыкновеннаго гешефтмахерства. Необыкновенно и ново здѣсь развѣ одно: прежде при такихъ операціяхъ слышались веселыя прибаутки, въ родѣ «на то шука въ морѣ-сь, чтобъ карась не дремалъ-сь», а теперь раздаются приглашенія ко всему молодому, здоровому и правдивому почитательно любоваться гешефтмахеромъ.

Но ужъ нечего дѣлать. Очень ужъ уважаетъ г. Потапенко практичность, дѣловитость, терпѣніе и трудолюбіе, до того, что охотно согласенъ простить за эти свойства нѣкоторую нравственную тупость и неразборчивость въ средствахъ. А, впрочемъ, какъ *нечего дѣлать*? Очень жаль, конечно, что г. Потапенко компрометируетъ себя

дружескимъ общеніемъ съ Ерошкиными, съ людьми, берущими на законномъ основаніи рубль за свою полтину, но у него же мы находимъ доказательства, что ему извѣстны другіе люди, съ другими цѣлями и идеалами. Въ повѣсти *На дѣйствительной службѣ* священникъ Кирилъ Обновленскій формулируетъ, правда, свою жизненную цѣль почти такъ же, какъ и Ерошкинъ, но приступаетъ къ этой цѣли совсѣмъ иначе. Ерошкинъ объявилъ свою цѣлью *поднять благосостояніе края* и поэтому — такова ужъ дѣлецкая логика — онъ усиленно хлопочетъ о поднятіи своего собственнаго благосостоянія. Священникъ Обновленскій задался цѣлью «*послужить меньшему брату, темному человѣку, единому отъ малыхъ сихъ*», и начинать съ того, что наносить ущербъ своему личному благосостоянію. Какъ человѣкъ дѣйствительно искренній, онъ не можетъ разсуждать по-ерошкински: сначала, дескать, весь край ограблю, а потомъ тому же краю, на вырученные «законными путями» деньги, благодѣтельствовать стану. Священникъ Обновленскій объявилъ своимъ прихожанамъ-крестьянамъ, что будетъ брать съ нихъ за требы не по установившейся таксѣ, а что, по силѣ возможности, дадутъ ему. Кто имѣетъ понятіе о нашей провинціи и ея нравахъ, тотъ согласится, что этотъ простой съ виду поступокъ — дѣйствительно подвигъ, требующій настоящаго самоотверженія, не въ денежномъ только смыслѣ. Г. Потапенко не только симпатизируетъ Обновленскому, какъ равный равному, какъ единомышленнику, — онъ благоговѣетъ передъ нимъ, какъ передъ героемъ не въ беллетристическомъ, а въ буквальномъ значеніи, и постарался создать для него и обстановку героическую. Какъ будто будничная, незамѣтная борьба, самоотверженіе ежедневное, ежечасное, никѣмъ не цѣнимое, не выше въ нравственномъ смыслѣ какого-нибудь эффектнаго и шумнаго подвига! Г. Потапенко разсудилъ иначе: что за герой безъ пьедестала и безъ бенгальскаго освѣщенія? И вотъ онъ создаетъ

въ той мѣстности голодъ, и священникъ Обновленскій, разумѣется, является среди голодающихъ сразу и пророкомъ, и апостоломъ, и чудотворцемъ, такъ что у читателя глаза разбѣгаются. Голодающіе, черезъ своего представителя, почтеннаго такого патріарха, разумѣется, обращаются къ нему съ восторженно-торжественною рѣчью: «А ужъ какъ мы чувствуемъ, вотъ пускай весь міръ скажетъ, какъ мы чувствуемъ! Одно скажу: такого батюшки, должно быть, еще и на свѣтѣ не было и не будетъ. Вотъ какъ мы чувствуемъ». Въ заключеніе — и это уже сверхсмѣтный эффектъ — богатая помѣщица, помогавшая батюшкѣ въ его заботахъ о голодающихъ, влюбляется въ него и говоритъ ему объ этомъ, ну, а онъ, разумѣется, «отскочилъ отъ нея и смотрѣлъ на нее изумленными глазами». Все это, по мнѣнію г. Потапенка, должно наставлять насъ тому, какъ слѣдуетъ поступать на *дѣйствительной службѣ*. По нашему мнѣнію, всѣ такія романтическія прикрасы не уясняютъ, а только затемняютъ истинную сущность дѣла.

Но любопытнѣе всего вотъ что. Г. Потапенко въ теченіе всей повѣсти съ замѣчательнымъ постоянствомъ подчеркиваетъ безкорыстіе своего героя, очевидно, удивляясь этому безкорыстію. Дѣло въ томъ, что священникъ Обновленскій монтилъ курсъ въ академіи первымъ магистромъ и ему предстояла блестящая карьера. «Большой ходъ тебѣ будетъ, очень большой ходъ», твердили ему родственники, но онъ не остался при академіи, отказался отъ профессуры и добровольно сдѣлался сельскимъ священникомъ. Ужасу родственниковъ, разумѣется, нѣтъ предѣловъ, какъ нѣтъ предѣловъ и почтительному удивленію самого автора: отъ такой карьеры отказался! Такое отношеніе г. Потапенка чувствуется и въ архитектурѣ, и въ тонѣ повѣсти, а главнымъ образомъ въ томъ, что священникъ Обновленскій, совершенно вопреки главнымъ психологическимъ основамъ того типа, къ которому онъ принадлежитъ, безпрестанно твердитъ о своемъ безкорыстіи, какъ бы стараясь укрѣ-

питься въ немъ, подбодрить самого себя. Своему сослуживцу онъ, наприм., говоритъ: «Вамъ нуженъ доходъ, а мнѣ его не нужно; васъ онъ радуетъ, а меня оскорбляетъ! Вы прѣехали сюда за тѣмъ, чтобы обезпечить себя, а я за тѣмъ, чтобы послужить бѣднымъ и темнымъ людямъ». Въ томъ же тонѣ и тѣмъ же мотивомъ повѣсть и оканчивается: «Образумиться? Это значитъ пойти по протоптанной дорожкѣ, жить безъ мысли, безъ идеи! Нѣтъ, никогда я не образумлюсь! Никогда! Пусть я буду одинокъ!» Всѣ эти подбадриванья не Обновленскому, а самому г. Потапенку нужны. Онъ вѣритъ, что рѣшимость Обновленскаго хороша, но ему, что хотите, не вѣрится, чтобы эта рѣшимость была прочна, и онъ самъ себя убѣждаетъ, заставляя своего героя безпрестанно во всѣ стороны повторять: «нѣтъ! никогда! ни за что!» Что это значитъ? Это значитъ, что г. Потапенко, вращаясь въ обществѣ Ерощиныхъ, утратилъ истинное мѣрило человѣческаго достоинства. Онъ преклоняется, какъ передъ героическимъ поступкомъ, передъ такимъ дѣяніемъ, которое совсѣмъ не превосходитъ требованій истинной нравственности. Честность и искренность не героизмъ, а обязанность, и мы удивляемся удивленію г. Потапенка.

Подводя общій итогъ всѣмъ предыдущимъ замѣчаніямъ нашимъ, мы скажемъ вотъ что: и хорошо и дурно въ одно время, что у г. Потапенка совсѣмъ нѣтъ той черты, которую водмѣтилъ Толстой у русскихъ людей. Говоря о своемъ Пьерѣ, Толстой замѣчаетъ: «Онъ испытывалъ несчастную способность многихъ, особенно русскихъ людей, — способность видѣть и вѣрить въ возможность добра и правды и слишкомъ ясно видѣть зло и ложь жизни, для того, чтобы быть въ силахъ принимать въ ней серьезное участіе. Всякая область труда въ глазахъ его соединялась со зломъ и обманомъ». О г. Потапенкѣ нужно сказать прямо противоположное: всякая область труда въ глазахъ его соединяется съ добромъ и правдою. «Пей, да дѣло разумѣй»,

вотъ что могъ бы взять себѣ девизомъ г. Потапенко. Это хорошо, потому что дѣйствительно надоѣли намъ старые герои добрыхъ намѣреній, эти «рыцари на часъ», которые такъ благородно чувствуютъ, такъ возвышенно мыслятъ, такъ тонко анализируютъ и ровно ничего не дѣлаютъ. Но это въ то же время и дурно, потому что трудъ, да терпѣнье, да разумъ, да воля—еще не все: необходимо нужно еще *Божье хотѣнье*, какъ сказалъ Ив. Аксаковъ (цитированные въ началѣ статьи стихи принадлежатъ ему), т.-е. необходимо соприсутствіе въ трудѣ не только утилитарнаго, но и нравственнаго элемента. Всякій трудъ есть трудъ, но не всякій трудъ—трудъ благословенный. Ерошкинъ очень энергичный труженикъ, но мы не желаемъ брать съ него примѣра.

## II.

Однако что жъ это такое?—скажетъ намъ читатель. — Вы собрались писать критическую статью—и это значить, что вы придаете произведеніямъ г. Потапенка серьезное значеніе, даете своей статьѣ заглавіе, уже заключающее въ себѣ очень лестную характеристику дарованія г. Потапенка, и тѣмъ не менѣе мы пока отъ васъ почти ничего кромѣ иронизированія не видали. Гдѣ же «талантъ» г. Потапенка и въ чемъ заключается его «бодрость»?

Мнѣ нетрудно разсѣять это, впрочемъ, довольно сираведливое недоумѣніе читателя. Цѣль моей статьи въ томъ, чтобы доказать, что г. Потапенко—сомнительный моралистъ и философъ, очень удовлетворительный психологъ и превосходный бытописатель. До сихъ поръ мы говорили только о его нравственной философіи—и отсюда наша иронія. Но беллетристическій талантъ г. Потапенка не подлежитъ сомнѣнію,—*талантъ*, а не *талантикъ*, какихъ у насъ очень много. Прочнаго слѣда по себѣ въ литературѣ г. Потапенко не оставитъ, потому что онъ, какъ говорится, ѣдетъ не на овсѣ, а на кнутѣ, т.-е. не воспитываетъ свой

талантъ, а только эксплуатируетъ его, но зато теперь кипучая дѣятельность г. Потапенка составляетъ въ текущей литературѣ очень замѣтное явленіе. Перечитывать произведенія г. Потапенка, *изучать* ихъ врядъ ли кто будетъ (кромѣ критиковъ, конечно), зато читаютъ ихъ всѣ, и дѣйствительно ихъ нельзя не читать. Г. Потапенко человѣкъ современности по преимуществу, писатель безъ широкихъ идеаловъ, приблизительное осуществленіе которыхъ возможно лишь въ будущемъ, но у него есть задачи, имѣющія значеніе для настоящаго. Онъ не гоняется, какъ гоняется, наприм., г. Боборыкинъ, за разными новомодными «теченіями» и «моментами», но онъ живетъ въ самомъ водоворотѣ жизни и черпаетъ впечатлѣнія изъ перваго источника. Сверхъ того, у него большой запасъ стародавнихъ наблюденій изъ школьной, деревенской и городской провинціальной жизни — и вотъ тотъ фондъ, изъ котораго онъ почерпаетъ свои средства, свои темы. Наблюдатель г. Потапенко прекрасный, онъ быстро схватываетъ сущность предмета и памятливъ на детали, но... все то же: такъ какъ г. Потапенку вѣчно некогда и за одной работой онъ о другой работѣ думаетъ, то вмѣсто картины получается этюдъ, эскизъ, глядя на который даже наилучшимъ образомъ расположенный къ автору читатель или критикъ невольно скажетъ un compliment de condoléance: ну, молъ, ничего, сойдетъ, въ другой разъ лучше напишете. Это бываетъ обыкновенно тогда, когда г. Потапенко обрабатываетъ свѣжія темы, излагаетъ только что воспринятія впечатлѣнія, но совсѣмъ другой эффектъ получается, когда онъ обращается къ запасу своихъ прежнихъ, провинціальныхъ наблюденій: тутъ уже все продумано и прочувствовано, все, говоря языкомъ старой эстетики, *выношено* авторомъ, и вотъ въ рукахъ у насъ прелестная жанровая картина, блещущая яркими и свѣжими красками, полная правды, ума и какого-то добродушнаго юмора. Образчики мы представимъ ниже, а теперь будемъ



продолжать общую характеристику таланта г. Потапенка. Г. Потапенко, какъ видно изъ нѣкоторыхъ его произведений и какъ это, впрочемъ, показываетъ самая его фамилія, — малороссъ по происхожденію, и всѣ тѣ черты, которыя мы, великороссы, привыкли приписывать малороссянамъ — упрямство, флегматичность, насмѣшливость — всѣ эти черты характеризуютъ и духовный обликъ г. Потапенка. Онъ упрямъ въ работѣ, флегматиченъ по отношенію къ своимъ персонажамъ, честны или подлы они, и насмѣшливъ по отношенію къ жизни вообще, какъ въ ея текущемъ процессѣ, такъ и въ ея глубочайшей сущности, въ ея тайнѣ. Онъ не скептикъ, — скептицизмъ все-таки система, — онъ просто реалистъ-здравомысль, который предпочитаетъ имѣть дѣло только съ фактами и никакихъ *превыспренности* знать не хочетъ. Когда г. Потапенко, устами своихъ персонажей, рассуждаетъ о какихъ-нибудь общихъ идеяхъ, онъ говоритъ вообще очень хорошо, но болѣе разсудительно, чѣмъ умно, и ужъ совсѣмъ не увлекательно. Дающая, по выраженію Некрасова, силу и власть въ словѣ чужда ему страсть. Но онъ не равнодушенъ: — онъ только ужъ очень уравновѣшенъ. Именно этою уравновѣшенностью духовной природы г. Потапенка обусловливается *бодрость* его таланта. Я не нашелъ, хотя искалъ, лучшаго слова для опредѣленія главной особенности таланта г. Потапенка: бодрый, именно прежде всего и больше всего это *бодрый* талантъ. Сопоставьте г. Потапенка съ его сверстниками — съ Гаршинымъ и г. Чеховымъ: они, рядомъ съ нимъ, являются какими-то плачущими лириками, тоскующими о чемъ-то, стремящимися къ чему-то, грустными, глубоко неудовлетворенными, тогда какъ г. Потапенко живетъ во-всю, ни о чемъ не горюетъ, ни къ чему *надеждному* ни втайнѣ, ни въявь сердцемъ не возносится. Онъ премоного доволенъ дѣйствительностью, хотя, какъ писатель упрямый и наблюдательный, совершенно понимаетъ всѣ ея недостатки и несообразности. Землякъ

г. Потапенка, только много покрупнѣй его ростомъ, воскликнуть однажды съ лирическимъ порывомъ: «скучно на этомъ свѣтѣ, господа!» Вотъ мнѣніе или чувство, котораго не только раздѣлить, даже понять не можетъ г. Потапенко: наоборотъ, превесело жить на этомъ свѣтѣ, господа! Человѣческая пошлость его не оскорбляетъ и не огорчаетъ, а только смѣшить, и этотъ его видимый міру смѣхъ не сопровождается ни единой незримой слезинкой.

*Бѣдность и несовершенство жизни*—ну, да, такъ что же? Вѣдь и на солнцѣ есть пятна и съ бѣдностью надо бороться, несовершенство надо исправлять, т.-е. вообще надо всѣмъ работать, много работать, какъ можно больше работать, а не распускать нюни. Г. Потапенко такъ и поступаетъ и другихъ тому же настойчиво поучаетъ. Это ли еще не бодрость? Къ слову сказать, эта же бодрость помогла г. Потапенку и въ его литературной карьерѣ. Въ то время, какъ Гаршинъ, г. Чеховъ и, въ особенности, г. Короленко работали и работаютъ при самой горячей критической поддержкѣ, г. Потапенко оставался почти въ полномъ одиночествѣ и шелъ впередъ на свой собственный страхъ и рискъ. За единственнымъ исключеніемъ г. Скабичевского, ни одинъ изъ нашихъ современныхъ критиковъ не далъ о г. Потапенкѣ критической статьи, тогда какъ, наприм., о г. Короленкѣ, за единственнымъ исключеніемъ (моимъ), *есть* наши критики, отъ г. Арсеньева до Говорухи-Отрока, безъ различія направленій и школъ, писали подробно и обстоятельно, въ хвалебномъ, иногда даже просто въ рекламномъ тонѣ. Чѣмъ объяснить это? Во-первыхъ, тѣмъ, конечно,—если только это объясненіе,—что *habeant sua fata libelli*, во-вторыхъ, тѣмъ, что г. Потапенко—писатель и человѣкъ «свѣжій отъ партій», какъ выразился про Наполеона Левъ Толстой. Какъ бы то ни было, это отсутствіе поддержки, это относительное одиночество г. Потапенка не повліяли на его энергію: остроумничайте и хихикайте сколько угодно, но онъ каждый годъ пишетъ

столько, сколько Гаршинъ написалъ во всю свою жизнь, и я опять спрошу: это ли еще не бодрость? «Въ добрый часъ, г. Потапенко!» ободрительно и съ симпатіей сказали бы мы ему, но воздержимся, не скажемъ, потому что не хотимъ рисковать услышать въ отвѣтъ: пожалуйста, не беспокойтесь и безъ васъ давно знаю! Отвѣтъ былъ бы обиденъ, потому что былъ бы совершенно справедливъ. Г. Потапенко *доказалъ*, что его бодрость не нуждается въ постороннихъ воздѣйствіяхъ.

Малороссовъ называютъ созерцательными и поэтическими натурами. Вотъ черта, которой вы напрасно стали бы искать у нашего малоросса - автора. Г. Потапенко (разумѣется, я имѣю въ виду только его писательскій темпераментъ) — натура по преимуществу прозаическая, до сухости, даже до черствости. Онъ слишкомъ занятъ наблюденіями, чтобъ имѣть досугъ для созерцанія, и слишкомъ дѣловитъ, чтобы предаваться поэтическому экстазу. Ему нужны люди, сутолока жизни, а природа... что въ ней? Извѣстно — «равнодушная природа», и г. Потапенко въ свой чередъ тоже къ ней равнодушенъ, т.-е. къ ея краскамъ, къ ея поэзіи, къ ея красотѣ. Оттого вы не встрѣтите у г. Потапенко описаній природы: г. Потапенко не пейзажистъ, а исключительно жанристъ, и если ему неизбежно приходится рисовать ландшафтъ, то онъ сдѣлаетъ это по-своему, на дѣловой ладъ. Вотъ малороссійское село на берегу Днѣпра. Чего не сдѣлалъ бы тутъ Куинджи — Чеховъ, какъ размечтался и расчувствовался бы тутъ Гаршинъ, но у г. Потапенки вышло вотъ что: «Днѣпръ виденъ невдалекѣ. Плоскій, ровина берегъ его уставленъ дубками, каюками и душегубками. На кольяхъ развѣшано нѣсколько рядовъ сѣтей, пропитанныхъ смолой; неподалеку отъ берега, въ довольно глубокой водѣ, плаваютъ на якорахъ наглухо закрытыя корвины («сапеты»), сохраняющія живую рыбу, — словомъ, всѣ признаки того, что это село рыбальское, что Днѣпръ съ его дополненіями замѣняетъ

сельчанамъ землю, дубки и каюки — воловъ съ возами, а сѣти—соху. Да и самый воздухъ здѣсь насквозь пропитанъ запахомъ рыбы, здѣсь ее ловятъ, солить, вялить на солнцѣ, хотя дѣлаютъ это очень плохо. Раннимъ утромъ снаряжаютъ угловатые дубки, нагруженные рыбой, и плывутъ по Днѣпру противъ теченія въ городъ, а продавъ рыбу, привозятъ обратно хлѣбъ и ситецъ, и все, что надо для жизни рыбацкаго села». Таковъ Днѣпръ «съ его дополненіями» въ изображеніи г. Потапенка. А какая больше рыба въ Днѣпрѣ ловится? А почему она продается? А сколько платятъ мужики за аршинъ ситца въ городѣ? Если вы хотите выиграть въ мнѣніи г. Потапенка, то обращайтесь къ нему только съ такими вопросами, а всякаго рода эстетику поберегите для другихъ okazji. «Прекрасный, величественный Днѣпръ, чудная, поэтическая рѣка!»—воскликнули бы Гаршинъ и г. Чеховъ. Рѣка хорошая, рыбная, — говоритъ г. Потапенко,— жаль только, что тамошніе рыбаки ни солить, ни вялить какъ слѣдуетъ не умѣютъ рыбы. Собственному вкусу читателя предоставляемъ рѣшить, который изъ этихъ собесѣдниковъ ему симпатичнѣе, а лично для насъ они въ равной мѣрѣ любопытны.

Если бы г. Потапенко не былъ хорошимъ писателемъ, онъ былъ бы очень хорошимъ чиновникомъ. Говорю это не въ похвалу и не въ порицаніе, а просто устанавливаю фактъ, для меня сомнѣнію не подлежащій. Онъ былъ бы не формалистомъ, какъ Фамусовъ, и не карьеристомъ, какъ Молчалинъ, но однимъ изъ такихъ чиновниковъ, какими были, наприм., Салтыковъ и Иванъ Аксаковъ. Съ начальствомъ своимъ онъ ладилъ бы очень хорошо, но и наши классическіе «просители» оставались бы имъ очень довольны. Я завелъ этотъ разговоръ вотъ къ чему. Равнодушный къ природѣ и даже вообще къ изящной сторонѣ жизни, г. Потапенко совсѣмъ не равнодушенъ къ человѣку и любить его, но по-своему. Бываетъ любовь къ людямъ

платоническая или отвлеченная, бываетъ любовь гнѣвная («Родная земля! Назови мѣ такую обитель»...—Некрасовъ), любовь протестующая («полно такъ ли, голубчики?»—Достоевскій), любовь сострадающая («льются такіа рабы слезы»—Салтыковъ), любовь сентиментальная и т. д. и т. д. У г. Потапенка любовь къ человѣку—любовь, такъ сказать, дѣловая. Вопросы матеріальнаго благосостоянія всѣхъ и каждаго ему дороги и близки, но дальше онъ не идетъ. Если вы сыты, одѣты, обуты и живете въ теплѣ, то что же еще? Запросы вашего духа—это уже ваше дѣло, разбирайтесь въ нихъ какъ знаете и тутъ г. Потапенко вамъ не помощникъ и тѣмъ болѣе не учитель. Въ душу человѣка г. Потапенко заглядываетъ только такъ себѣ, мимоходомъ, поверхностно и оттого именно его психологія только-только что удовлетворительна; но обстановку человѣка, условія его быта г. Потапенко изучаетъ внимательно, и оттого онъ очень силенъ какъ бытописатель. Пояснимъ дѣло сравненіемъ. Въ рассказѣ г. Потапенка *Семейка* къ нищей бабѣ-матери приходитъ ея дочь — дѣвушка, бывшая въ услуженіи и прогнанная съ мѣста, приходитъ за тѣмъ, чтобы родить «байстрюка», т.-е. незаконно-прижитаго ребенка. Мать встрѣчаетъ ее отборною бранью: «слова были ужасны», говоритъ г. Потапенко. Но *только слова*. «Если бы въ комнатѣ незримо присутствовали два человѣка, изъ которыхъ одинъ только слышалъ слова, произносимыя Оеклой, а другой только видѣлъ то, что она дѣлала, то первый счелъ бы ее самымъ страннымъ, безчеловѣчнымъ звѣремъ, а другой призналъ бы, что у нея безконечно доброе сердце». Оекла бранилась и грозилась, но въ то же время «она снимала съ себя дырявый платокъ и окутывала имъ Оксану (дочь); собирала все оставшееся непропитыи тряпье и мостила подъ голову дочкѣ, чтобъ ей было повыше, поудобнѣе». Не совсѣмъ то же, но нѣчто подобное мы находимъ и у самого г. Потапенка: не *слово* конечно, но *тонъ* многихъ его рассказовъ въ самомъ дѣлѣ ужасенъ и

именно рассказовъ изъ жизни всяческаго бѣднаго люда. Это—или тонъ какого-то до странности неумѣстнаго пролическаго зубоскальства или тонъ безчувственно-деревяннаго протоколизма. Да, но въ то же время г. Потапенко, совершенно какъ его Оекла, хлопочеть изо всѣхъ силъ, рассказываетъ о своихъ бѣднякахъ всю подноготную, не скроеть отъ васъ и даже слегка не затушаетъ ни одной ихъ бѣды, ни одного увѣчья, причиненнаго жизнью, а ужъ тамъ ваше дѣло: хотите—плачьте, хотите—негодуйте, тутъ вамъ г. Потапенко не товарищъ. На ваши вопросы, если вы обратитесь съ ними къ нему, одинъ у него отвѣтъ—«работать надо», а жалѣть да сантиментальничать—пустое дѣло.

Тотъ сердца въ груди не носилъ,  
Кто слезъ надъ тобою не лилъ!

Очень нужны ваши слезы! скажетъ г. Потапенко, а вмѣстѣ съ нимъ и дѣловитая Оекла. Да и вообще не торопитесь оплакивать: наружность обманчива и это еще зачастую не извѣстно, кто въ сущности счастливѣе—вы ли, оплакивающій, или они, оплакиваемые. Вотъ хоть бы одинъ изъ тѣхъ мужиковъ-рыбаковъ, которымъ г. Потапенко попенялъ только за то, что они не умѣютъ вялить и солить рыбы. «Кандюба, а? Если бы тебѣ сказали: будь губернаторомъ и живи постоянно въ городѣ, ты согласился бы?—Ни!—отвѣчалъ Кандюба.—Мнѣ мой какъ и моя сѣтка дороже всего на свѣтѣ... Такъ оно и должно! Какъ же иначе? Хо-хо-хо-о! Нѣтъ, нигдѣ въ цѣломъ свѣтѣ нѣту такихъ мѣстовъ, какъ у насъ...» Что вы объ этомъ скажете? Вѣдь г. Потапенко выходитъ какъ будто совсѣмъ правъ: что же еще нужно этому мужику для полноты его счастья, какъ не то только, чтобы выучиться похозяйственнѣе обходиться со своимъ добромъ, лучше солить и вялить рыбу? Такъ вотъ и поучите, поработайте, а плакать совсѣмъ не о чемъ. Такъ, такъ... Но когда Кандюба выучится солить и вялить, разбогатѣетъ, мы услышимъ вотъ что: «Да, это дѣйствительно, честный и разумный

мужикъ. Онъ достигъ своей цѣли: довелъ свой домъ до полной чаши. Но, спрашивается, съ какой стороны подойти къ этому разумному мужику? Какимъ образомъ увѣрить его, что не о хлѣбѣ единомъ живъ бываетъ человѣкъ?» (Салтыковъ). Ну, это ужъ не по части г. Потапенка. Онъ, какъ Шерамуръ Лѣскова («Три праведника и одинъ Шерамуръ»), знаетъ только одну свою панацею: ѣшь, ѣшь. Кандюба увѣренно говоритъ, что лучше его села нѣтъ въ цѣломъ свѣтѣ «мѣстовъ», хотя о цѣломъ свѣтѣ онъ знаетъ столько же, сколько его каюкъ. Но это г. Потапенка не смущаетъ и не смутитъ: Кандюба сытъ—слѣдовательно доволенъ, доволенъ — слѣдовательно счастливъ. Такъ оно и должно! Какъ же иначе? Хо-хо-хо-о!

Таковъ реализмъ и утилитаризмъ г. Потапенка. Это очень добродушный, очень благожелательный, но слишкомъ узкій и даже животненный утилитаризмъ. Хорошо въ немъ, что, именно благодаря своей узкости, онъ можетъ быть распространенъ на всѣхъ людей (и даже на всѣхъ животныхъ) безъ различія національностей, вѣрованій, духовныхъ особенностей. Крещенный и некрещенный одинаково ѣсть хотять, и г. Потапенко одинаково готовъ служить имъ. Вотъ изнываетъ на трудной и неблагоприятной работѣ еврей-мишурисъ (мишурисъ—гостиничный служитель, что-то въ родѣ фактора)—и г. Потапенко пишетъ разсказъ *Мишурисъ*, въ которомъ очень тепло, совершенно такъ, какъ о своихъ родныхъ Кандюбахъ и Оеклахъ, рассказываетъ намъ о мытарствахъ бѣднаго еврея. *Теплота* г. Потапенка, по обыкновенію, состоитъ не въ томъ, что онъ какъ-нибудь жалѣетъ своего героя и привлекаетъ къ этому жалѣнію читателя, — совсѣмъ нѣтъ: онъ снисходительно *разрѣшаетъ* мишурису пользоваться для своего пропитанія весьма подходящими средствами. Надо сознаться, что въ этой повѣсти г. Потапенко исполняетъ свою задачу очень искусно: мишурисъ Ицекъ излагаетъ своему товарищу полный курсъ мошенничества, но такъ наивно и добродушно, что у васъ

языкъ не повернется на осужденіе. Надо же, въ самомъ дѣлѣ, питаться человѣку, надо и семью кормить! Вотъ что я скажу тебѣ, Борохъ,—говоритъ Ицекъ товарищу,—«Ты мишуришь и я мишуришь. Знаешь ты, что это значитъ? Нѣтъ? Не знаешь? Такъ пойди спроси какого-нибудь мальчишку на улицѣ, такъ онъ тебѣ скажетъ, что это значитъ. Онъ скажетъ, что мишуришь это все равно что мошенникъ... Ну, понялъ? И теперь ты спроси кого хочешь изъ постояльцевъ, которые прѣзжаютъ сюда и которымъ мы разную практику дѣлаемъ. Ты думаешь, кто-нибудь не считаетъ тебя мошенникомъ? Всякій на тебя такъ и смотритъ. И когда ты говоришь, что это стоить рубль, то уже онъ знаетъ, что ты на десять копеекъ совралъ. Онъ такъ и думаетъ: онъ—мишуришь и значитъ—мошенникъ. И если ужъ всѣ тебя считаютъ мошенникомъ, такъ... ну, такъ ты понялъ теперь, Борохъ?»

Борохъ понялъ, — да и какъ не понять! Такова своеобразная гуманность г. Потапенка. Разумѣется, Ицекъ правъ и передъ людьми и передъ Богомъ, хотя и погрѣшаетъ противъ восьмой заповѣди, но правъ ли, опять спрашиваю, авторъ, не усматривая тутъ никакого вопроса? Противорѣчія между идеаломъ и фактомъ, этикой и арифметикой, нравственнымъ долгомъ и житейскою необходимостью встрѣчаются постоянно, и въ этомъ главный трагизмъ *реальной* жизни, но въ высшемъ синтезѣ эти противорѣчія должны быть примирены, и задача всякаго настоящаго писателя въ томъ и состоитъ, чтобы всячески искать этого примиренія. И г. Потапенко знаетъ объ этомъ, но... рядомъ съ повѣстью *Мишуришь* стоитъ повѣсть *Рышился*, которая начинается такимъ характернымъ для г. Потапенка заявленіемъ: «Человѣческая жизнь полна непостижимыхъ странностей. Конечно, если хорошенько разобрать, то окажется, что на все есть причины и все очень просто и естественно. Но извольте-ка добратся до этихъ причинъ, въ особенности, если вы человѣкъ занятой и



у васъ есть свои дѣла». Вотъ именно. За недосугомъ г. Потапенко обходится, не мудрствуя лукаво, одною ариеметикой.

### III.

Въ одиннадцати томахъ произведеній г. Потапенка помѣщены только повѣсти и рассказы его, но нѣтъ романовъ, которыхъ однако г. Потапенко написалъ не мало. Не помѣщены даже нѣкоторыя его большія повѣсти, какъ, напр., *Смертный бой*, которую вѣроятно еще помнятъ читатели *Русской Мысли*. Это обстоятельство прискорбно для критики, а вотъ другое обстоятельство, которое для критики неудобно: повѣсти г. Потапенка расположены не въ хронологическомъ, а въ неизвѣстномъ порядкѣ. Если талантъ писателя дѣйствительно живая сила, а не мертвая техническая способность, онъ будетъ расти, созрѣвать, и прослѣдить процессъ этого роста, его главные фазисы—это задача во многихъ отношеніяхъ интересная. Писатель развивается въ зависимости отъ общаго хода жизни, такъ что говорить о его личномъ развитіи—значить судить объ условіяхъ и путяхъ самой жизни. Въ данномъ случаѣ однако оба эти обстоятельства большого значенія не имѣютъ. Въ своихъ романахъ г. Потапенко не выше и не ниже, чѣмъ въ своихъ повѣстяхъ, и разница между ними только количественная,—въ числѣ составляющихъ ихъ печатныхъ листовъ. Вѣроятно и самъ г. Потапенко, называя свое произведеніе романомъ, или повѣстью, или рассказомъ, руководствуется только этимъ признакомъ: много написалось—романъ, поменьше—повѣсть, еще поменьше—рассказъ. Между тѣмъ—сказать мимоходомъ—архитектура романа и самая его концепція совсѣмъ не то же самое, что архитектура и концепція повѣсти. Это родственные, но не тождественные роды искусства. Другое обстоятельство—случайное расположение произведеній г. Потапенка—не имѣетъ большого значенія потому, что общее міросозерцаніе г. Пота-

пенка столько же твердо и устойчиво, сколько несложно. Его не мучать и никогда не мучили никакія сомнѣнія, никакихъ умственныхъ или нравственныхъ ложекъ г. Потапенко не переживалъ, не падалъ и не поднимался, не пытался летѣть, а бодро выступалъ дѣловитою рысцой человѣка, озабоченнаго насущными нуждами. Онъ не развивался, онъ *сохранился* и всегда былъ самъ себѣ равенъ. Геніальные таланты пишутъ иногда совершенные пустяки (*Хозяйка* Достоевскаго, многія сказки Толстого), а у г. Потапенки пустяковъ нѣтъ. Правда, зато у него нѣтъ *Записокъ изъ мертваго дома*, нѣтъ *Войны и мира*... Но что геніальные таланты! Сопоставьте и въ этомъ отношеніи г. Потапенку съ его сверстниками: Гаршинъ, Новодворекій и г. Чеховъ—это, скажемъ, дорогія группы, сильно пороченныя червоточиной (червякомъ сомнѣнья и разумѣнья), а г. Потапенко—это зеленый, свѣжій огурецъ-крѣпышокъ, безъ малѣйшаго пятнышка. Конечно, и огурецъ растетъ постепенно, согласно законамъ природы, но во всякомъ случаѣ мы этого не замѣтили, да и замѣчать не стоило, потому что... по многимъ причинамъ. О *червоточинѣ* надо поразсудить и позаботиться, надо добратся, откуда она появилась, надо мѣры противъ нея принять, а на огуречныхъ грядкахъ все благополучно. Возьмемъ ли мы для анализа произведеніе г. Потапенки, написанное вчера или десять лѣтъ назадъ,—наши выводы будутъ одни и тѣ же: талантъ, бодрый талантъ, шествующій впередъ безъ размышленій, безъ тоски, безъ думы роковой, безъ коварныхъ и пустыхъ сомнѣній.

Крестьянство (южно-русское), духовенство, еврейство и «мыслящій пролетаріатъ»—вотъ сферы г. Потапенки, изъ которыхъ онъ беретъ свои сюжеты. Именно рассказы изъ быта духовенства я имѣлъ въ виду, когда говорилъ о «преlestныхъ жанровыхъ картинахъ» г. Потапенки, преисполненныхъ жизненной правды. Рассказъ *Шестеро* можетъ служить образчикомъ мастерства г. Потапенки въ этомъ

родѣ. Это самая простая, будничная исторія, и герой ея—самый заурядный человѣкъ, но г. Потапенко привлекаетъ все ваше вниманіе къ этой исторіи и вызываетъ все ваше сочувствіе къ ея герою, простому сельскому дьякону. Чувствуя себя хозяиномъ въ этой сферѣ, г. Потапенко поступаетъ тутъ какъ настоящій художникъ, какъ поступалъ Гоголь съ Акакіемъ Акакіевичемъ и Достоевскій съ своимъ Дѣвушкинымъ: онъ не затрудняется выставить комическія стороны своего героя, тѣмъ собственно еще ярче отбѣняетъ и трагизмъ его положенія, и его широкое, любвеобильное сердце. Вотъ, наприм., какъ изображаетъ г. Потапенко наружность своего героя: «нашъ герой отличался необыкновенно большимъ ростомъ. Если принять во вниманіе, что онъ былъ при этомъ чрезвычайно тонокъ, держался всегда прямо и что на его тонкой и длинной шеѣ была посажена маленькая головка съ цѣлою кучей темныхъ, густыхъ кудрей, торчавшихъ какъ-то вверхъ, да взять еще безусое и безбородое лицо съ мелкими, почти дѣтскими чертами, то станетъ ясно, что о. Антоній въ самомъ дѣлѣ представлялъ своеобразную фигуру». Не своеобразенъ только, но и просто комиченъ былъ о. Антоній, и авторъ и дальше не стѣсняется ставить его или въ смѣшныя или въ нелѣпыя положенія (наприм., сцена съ консисторскимъ секретаремъ), но ваша симпатія къ смѣшному чудаку все возрастаетъ и переходитъ, наконецъ, въ *сознательное уваженіе* къ нему. Онъ не только несчастенъ, онъ умѣетъ быть терпѣливымъ и великодушнымъ въ несчастьи, а это очень трудное, даже великое дѣло: разсудите по себѣ, читатель... «Славный малый и не безграмотный человѣкъ», такъ аттестуетъ о. Антонія его начальство, но авторъ понимаетъ и даетъ намъ понять, что его герой побольше «славнаго малаго». Передавать фэбулу разсказа я не стану,—читатель можетъ прочесть или перечесть разсказъ,—да и не въ фэбулѣ дѣло, а въ личности героя и въ его бытовой обстановкѣ. Разсказъ замѣчателенъ именно тѣмъ, что

представляет собою счастливое соединеніе психологическаго изображенія *характера* и изображенія условій извѣстнаго *быта*. Я хочу сказать, что о. Антоній интересенъ какъ нравственная личность и онъ же интересенъ просто какъ бѣдный сельскій дьяконъ, попавшій въ такую бѣду, которая возможна только въ его спеціальному положеніи. Этотъ разсказъ г. Потапенка—жемчужина между другими его, той же категоріи, разсказами, а ихъ не мало: *До и послѣ, Остроумно, Рѣчные люди, Жены, Небывалое дѣло* и пр.

Не менѣе обстоятельно, но гораздо менѣе колоритно изображаетъ г. Потапенко крестьянскій бытъ и крестьянскіе нравы. Наиболѣе серьезными по замыслу изъ числа этихъ повѣстей являются повѣсти *Деревенскій романъ* и *Земля*, но все-таки сказать о нихъ почти нечего. Самымъ живымъ лицомъ въ *Деревенскомъ романѣ* намъ кажется не герой этого романа, не крестьяне вообще, а эпизодически введенная и на второмъ планѣ поставленная чета «батюшки» и «матушки»,—въ особенности послѣдней, хозяйственной попадьи-кулака. А въ бытовомъ смыслѣ *Деревенскій романъ* не даетъ ничего оригинальнаго, новаго, мѣстнаго (романъ—«изъ хроники южно-русской деревни», какъ значится въ подзаголовкѣ), ничего такого, что не могло бы случиться въ любой сѣверной нашей деревнѣ. Правда, въ романѣ дѣйствуютъ не Петры и Сидоры, а Охримы и Панасы, которые говорятъ другъ другу «хлопче» и «собачья дытына», но такое отличіе слишкомъ ужъ не существенно. «Романъ» имѣетъ значеніе, но не для характеристики «южно-русской деревни», а для характеристики самого автора. Это все то же: «добро часто бываетъ причиною зла»,—для этой мысли читатель найдетъ въ *Деревенскомъ романѣ* сколько угодно иллюстрацій. Деревня пріютила и даже спасла отъ смерти бездомнаго мальчика и въ послѣдствіи была подожжена руками этого мальчика, ставшаго взрослымъ «хлопцемъ». Съ своей стороны, этотъ хлопецъ

остался бы усерднымъ и толковымъ работникомъ, какимъ онъ уже успѣлъ сдѣлаться, если бы не его желаніе помочь своей матери-пьяницѣ. Уступая этому прекрасному желанію, онъ шагъ за шагомъ сдѣлался сначала домашнимъ воромъ, потомъ конокрадомъ и, наконецъ, поджигателемъ. Не спрашивайте у г. Потапенка, что изъ этого слѣдуетъ. Слѣдуетъ ли, что нельзя спасать людей отъ смерти и не надо помогать родной матери? Г. Потапенко и вообще блестяще объективно, здѣсь же, ведя «хронику», онъ просто регистрируетъ факты, не давая даже намека на какое-либо свое личное мнѣніе. «Такъ было, а впрочемъ мнѣ какое дѣло?»—эта формула, считавшаяся, лѣтъ шестьдесятъ назадъ, формулой наивысшаго творчества, выполнена г. Потапенкомъ въ совершенствѣ, лучше всякаго Шекспира, хотя и не лучше хорошаго судебного слѣдователя. Наоборотъ, въ повѣсти *Земля* г. Потапенко блеснулъ даже лиризмомъ, вообще столь несвойственнымъ его трезвой и сухой литературной манерѣ. Мысль повѣсти—та самая, которая съ такою силою выражена Глѣбомъ Успенскимъ въ его извѣстныхъ очеркахъ *Власть земли*. Внѣ земли—истинный крестьянинъ немислимъ; ей принадлежать не только его трудъ, но и его помыслы; на ней сосредоточиваются всѣ его радости и печали; она—источникъ не только матеріальнаго, но и духовнаго его существованія. Это, конечно, мысль, подлежащая спору, имѣющая противъ себя серьезныя возраженія, но богатая, широкая, требующая многосторонней обработки. Въ такой именно обработкѣ Глѣбъ Успенскій и представилъ ее намъ, но г. Потапенко распорядился гораздо проще. Богатый мужикъ Марко Моторный возгордился своимъ богатствомъ и задумалъ перебраться въ городъ, приписаться въ мѣщане, а можетъ быть и въ купцы. Противъ этого намѣренія сильнѣйшимъ образомъ возстала его жена Арина, и Марко погрузился въ сомнѣнія до того, что забросилъ все хозяйство, которымъ занялась Арина. «На Марка напала какая-то душевная неподвижность. Какъ-то онъ пере-

сталъ стремиться къ чему бы то ни было, настаивать на чемъ-либо и на все махнулъ рукой. Пусть себѣ идетъ все какъ хочетъ». Но вотъ, послѣ долгаго бездѣйствія, Марко, влекомый какъ бы таинственною силой («онъ почувствовалъ, что его куда-то тянетъ»), ночью, крадучись, пробирается въ поле и видитъ свою ниву, взлелѣянную трудами Арины. «Да это же моя земля! Мое жито, мое счастье,—шепчетъ Марко.—О, Господи, что жъ это со мной дѣлается?—Онъ широко разставляетъ руки, какъ будто хочетъ принять въ свои объятія всю землю, весь міръ. Дрожащими руками хватаетъ онъ пучки колосьевъ, цѣлуетъ ихъ и крестится и шепчетъ молитвы. Онъ падаетъ грудью на мягкую землю и, весь дрожа, плачетъ и орошаетъ ее своими слезами. Но что это? Кто это, какое живое существо тутъ, рядомъ съ нимъ, осторожно кладетъ лапу ему на шею и тихонько теревитъ его, словно хочетъ сказать: «Очнись, образумься, Марко! Ты видишь теперь, гдѣ твое счастье! Оно въ землѣ! Земля святая! Она—твоя мать, твоя кормилица!» — Барбосъ! Добрая моя собака! Славная собака! И ты со мной тутъ! Ты видѣлъ, какъ плакали Марковы очи! Охъ, ты, мое золото драгоценное! Ну, пойдемъ же домой и выбросимъ изъ головы всю дурь! Ахъ, умница же моя Арина! Ахъ, и сокровище же она баба! Мудрая баба—моя Арина!» Земля побѣдила, Марко остался хозяйничать въ деревнѣ навсегда.

Все это—слезы Марка, лиризмъ г. Потапенка, мудрость Арины и даже Барбоса—все это можетъ быть для иныхъ трогательно, но врядъ ли для кого-нибудь убѣдительно. Г. Потапенко — писатель серьезный, мы и требованія ему предъявляемъ серьезные. Широкое, обобщающее заглавіе (*Земля*) его повѣсти указываетъ на то, что и намеренія автора были серьезны: онъ хотѣлъ показать притягательную силу земли для крестьянина, но то ли онъ показалъ? Вліяніе или власть земли, деревни, борется на нашихъ глазахъ съ вліяніемъ или властью города, который

тоже имѣть для крестьянъ притягательную силу, но вѣдь Марко Моторный не въ *этой* борьбѣ участвовалъ: онъ уступилъ подъ тяжестью непривычной ему праздности, на которую онъ для чего-то обрекъ себя. Отъ томительной скуки бездѣлья не только къ земледѣльческому, но и къ какому угодно труду бросишься. Если бы Моторный, занявшись въ городѣ соотвѣтственною дѣятельностью, постепенно разочаровался бы въ ней и личнымъ опытомъ пришелъ бы къ убѣжденію, что условія городской жизни—не для крестьянина, тогда можно было бы говорить о побѣдѣ «земли». А теперь этого нельзя. Если бы сапожникъ просидѣлъ почему-нибудь мѣсяца четыре безъ всякаго дѣла, онъ тоже воскликнулъ бы со слезами: «вотъ оно, мое счастье,—въ шилъ и дратвъ!» Г. Потапенко попалъ въ цѣль, но не въ ту, въ которую мѣтилъ. Не могущество земли, а невыносимость для рабочаго человѣка праздности показалъ онъ намъ.

На другихъ повѣстяхъ г. Потапенка изъ народной жизни мы останавливаться не будемъ, такъ же какъ и на его разсказахъ изъ еврейскаго быта (изъ послѣднихъ — лучший *Мишурисъ*, уже упомянутый нами). Но вотъ небольшой разсказъ, подъ обобщающимъ заглавіемъ *Право на счастье*, изъ жизни нашей интеллигенціи, разсказецъ не менѣе характерный, нежели большія повѣсти — *Здравыя понятія*, *На пенсію* и *Семейная исторія*, о которыхъ мы уже говорили. «Кто работаетъ, тотъ имѣетъ право на счастье», такой сентенціей заключается разсказъ. Я уже спорилъ противъ такого рѣшительнаго приговора, противъ такой крутой постановки вопроса, — спорилъ, потому что есть работа и работа, и теперь буду лишь рассказывать. Сентенцію изрекла нѣкая госпожа Позднева, которая незадолго передъ тѣмъ жила въ деревнѣ съ мужемъ, но бросила его и поселилась въ Москвѣ, гдѣ занимается перепиской и корректурой. А то, говорить Позднева, «въ прислуги пойду, поломойкой сдѣлаюсь, прачкой, — я отлично умѣю гладить

бѣлье...» Позднева — жена зажиточнаго помѣщика и, конечно, ея героическое рѣшеніе обусловливалось невыносимымъ характеромъ ея мужа? Не совсѣмъ такъ, читатель. Позднєвъ отличался именно отсутствіемъ всякаго характера и былъ замѣчателенъ лишь тѣмъ, что очень много ѣлъ, еще больше спалъ и ровно ничего не дѣлалъ. Это былъ флегматичный байбакъ обломовскаго типа, который всѣмъ предоставлялъ полную свободу, лишь бы не нарушали его спокойствія. Полы, конечно, были и въ его деревенскомъ домѣ, равно какъ и бѣлье и прислуга, такъ что если его супруга мечтала серьезно о карьерѣ поломойки или прачки, или горничной, то она могла бы самымъ широкимъ образомъ практиковать эти свои таланты, не убѣгая въ Москву. Тѣмъ не менѣе въ Москвѣ она восклицаетъ: «Работы, работы и работы! Я набрасываюсь на работу съ жадностью, какъ проголодавшійся волкъ на пищу. Во-первыхъ, у меня слишкомъ большой запасъ силъ, о, огромный! У меня рабочая сила выдержанная, какъ вино! А во-вторыхъ, деньги нужны». Мы съ читателемъ, несмотря на эмфазъ героини, продолжаемъ недоумѣвать: неужели сельское хозяйство, которому г-жа Позднева могла бы предаваться сколько угодно, — не работа, и неужели оно, какъ трудъ, ниже, хуже, нежели переписка бумагъ и глаженье бѣлья? Но этого мало: уѣзжая въ Москву, г-жа Позднева послала мужу такую телеграмму: «Бѣжала отъ нравственной смерти. Опомнись и ты. Я въ Москвѣ. Дарья». Какая странная эта Дарья! — вѣроятно, подумалъ мужъ, читая телеграмму. — Неужели полная свобода дѣйствія называется нравственною смертю? И отъ чего собственно я долженъ «опомниться»? Я, правда, ничего не дѣлаю, но вѣдь въ моей дѣятельности нѣтъ никому и надобности, а работать для моціона — значить тѣшиться или обманывать себя. Если бы я сталъ рубить дрова, которыхъ у меня и безъ того полно въ сарай, или копать ни на что ненужную канаву, — неужели это знаменовало бы мое нравственное



воскрешеніе? Вѣдь результатомъ такого «труда» было бы только, что я сталъ бы ѣсть еще больше и спать еще крѣпче, то-есть, по-ихнему, еще больше погрузился бы въ ту бездну, изъ которой меня хотятъ извлечь. Путаешь что-то моя Дарья, — а впрочемъ, скатертью дорога.

Дѣйствительно, по словамъ самой г-жи Дарьи Поздневой, мужъ прислалъ ей паспортъ и написалъ «четыре слова: *дѣлай, какъ сама знаешь*. Впрочемъ, прибавилъ: *если нужно, могу прислать денегъ*». Но отъ денегъ г-жа Позднева отказалась — не изъ презрѣнія къ мужу, а оттого, что, по ея мнѣнію, «деньги вредны. Жить надо не на деньги, а на труды». Я уже имѣлъ случай говорить, что деньги, наоборотъ, *не вредны*, но тогда позиція г. Потапенка была совершенно другая: герой *Здравыхъ понятій* доказывалъ, что деньги не только не вредны, а всемогущи. Но не въ томъ дѣло. Г-жа Позднева не хочетъ денегъ, а хочетъ работы, потому что деньги не даютъ, а работа даетъ право на счастье, по ея мнѣнію: «кто работаетъ, тотъ имѣетъ право на счастье». А въ чемъ состоитъ счастье? Это она объясняетъ университетскому товарищу мужа, нѣкому Куртанову, который именно и помогъ ей бѣжать изъ дому и пристроиться въ Москвѣ. Она говоритъ, что ей «давно уже хочется кокетничать» и затѣмъ валиетъ напрямикъ: «Вы моего кокетства берегитесь, потому что оно тоже выдержанное какъ вино...—Съ кѣмъ же вы будете кокетничать?—спросилъ Куртановъ.—О, съ цѣлымъ міромъ, съ первыми встрѣчными... Ну, хоть съ вами, напримѣръ». Разговоръ еще нѣсколько времени продолжается въ томъ же духѣ, но наконецъ Позднева заявляетъ: «У меня наконецъ лопнетъ терпѣніе». Простоватый Куртановъ тутъ спохватился, «наклонился и взялъ ея руку». Потомъ «поцѣловалъ ея руку и опустился на диванъ рядомъ съ нею и близко-близко около нея. Давно бы такъ, давно бы такъ!—сказала она какимъ-то слабымъ, затихающимъ голосомъ».

Именно—давно бы такъ! Тутъ-то именно и былъ произнесенъ афоризмъ: «кто работаетъ, тотъ имѣетъ право на счастье», — афоризмъ, смыслъ котораго въ устахъ г-жи Поздновой теперь совершенно ясенъ. Посудите сами, читатель, если бы у г-жи Поздновой была не работа, а деньги въ карманѣ, могла ли бы она быть столь развязной? Могла ли бы она сказать: «у меня есть деньги, я имѣю право на счастье», т. е. на то специфическое дѣяніе, которое она подразумеваетъ подъ счастьемъ? Фи! Куртановъ (котораго, кстати сказать, героиня знаетъ всего нѣсколько недѣль) вѣдь тогда явился бы въ роли Альфонса, а сама героиня въ роли нисколько не лучшей, тогда какъ теперь все совершается на благородномъ основаніи, подъ аккомпанементъ звучныхъ словъ, за ширмою высокихъ принциповъ.

Вотъ это-то мнѣ и хотѣлось показать г. Потапенку. Его идея труда, *всякаго* труда, хотя бы и мартышкина, въ его же собственномъ живомъ изображеніи представляется явнымъ абсурдомъ. Очевидно, Обломовъ-Поздневъ не только все ѣлъ и спалъ, но и постоянно дремалъ и отсюда, *только* отсюда, жажда *дѣятельности* его жены подалше отъ мужа и вообще отъ знакомыхъ лицъ и мѣстъ. «Вѣдь это такъ естественно!» восклицаетъ отъ избытка деревенскаго здоровья г-жа Позднева. Естественно и въ высшей степени просто, соглашаюсь я, но не слѣдуетъ естественные и простые инстинкты прикрывать высокими идеями и принципами. Трудиться въ потѣ лица и съ жиру бѣситься—не одно и то же. Позднева однако преискренно считаетъ себя героиней труда и съ высоты своего воображаемаго пьедестала авторитетно раздаетъ аттестаты людямъ: мужъ — «мертвецъ», Куртановъ — «порядочный человекъ» и «хорошій», жизнь въ деревнѣ — «кладбище» и т. д. Позднева искренна, потому что не привыкла къ анализу и не видитъ, не понимаетъ, что ея двигаютъ не

идеи, а инстинкты, не жажда труда, а жажда того счастья, которого она не нашла съ своимъ соннымъ и вялымъ мужемъ. Это неудивительно и такая близорукость пониманія себя и жизни встрѣчается очень часто, но что сказать и подумать о г. Потапенкѣ? Вѣдь онъ не съ сожалѣніемъ, а съ полнымъ уваженіемъ относится къ своей выигравшей героинѣ; вѣдь у него не находится ни малѣйшаго слова ироніи (на которую вообще онъ такъ щедръ), хотя бы въ тотъ эффектный моментъ, когда героиня объявляетъ о своей готовности и способности «кокетничать» даже «съ пѣлымъ міромъ, съ первымъ встрѣчнымъ». *Презируетъ* Поздневу было бы, конечно, несправедливо: «тѣлеснаго озлобленія терпѣти не могу», съ этимъ дѣлать нечего, да и незачѣмъ—пусть ее! Но нельзя же за пылкій темпераментъ производить ее въ героини, называть «дивной женщиной», поручать ей роль нашей учительницы. Да, учительницы: вѣдь она призвана авторомъ за тѣмъ, чтобы объяснить намъ «право на счастье», и она, въ заключительной сценѣ, примащиваясь поудобнѣе на диванъ, «слабымъ, затихающимъ голосомъ», наставительно изрекла: «кто работаетъ, тотъ имѣетъ право на счастье». Развѣ это не поученіе, да еще сопровождаемое нагляднымъ примѣромъ? Ну, такъ вотъ мы и говоримъ автору: будьте, пожалуйста, поразборчивѣе въ выборѣ своихъ сотрудниковъ и адептовъ, повнимательнѣе къ смыслу своихъ собственныхъ поученій и поуважительнѣе къ намъ, читателямъ, потому что мы не малые ребята и вороной, разукрашенной павлиньими перьями, насъ нельзя ни удивить ни прельстить. Лично я рекомендовалъ бы г. Потапенку идею Толстого о «недѣланіи». Смыслъ этой идеи состоитъ въ приглашеніи людей къ самоуглубленію, къ самопровѣркѣ, и я убѣжденъ, что такая самопровѣрка была бы чрезвычайно полезна для г. Потапенки. Нѣтъ надобности для этого забрасывать всѣ свои дѣла и въ пустыню уда-

латься, какъ проповѣдывать Толстой, но вполне достаточно временами отходить отъ мелкой суеты ежедневной жизни и подвергать себя искусу нелицемѣрнаго и безстрашнаго самовопрошенія. Съ чѣмъ я иду къ людямъ? Нѣтъ ли существенныхъ ошибокъ въ моемъ трудѣ? «Ты имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ?» Искренно желая г. Потапенкѣ всякихъ успѣховъ въ будущемъ, я именно поэтому хотѣлъ бы, чтобы на своемъ «вышемъ судѣ» г. Потапенко отвѣтилъ на послѣдній вопросъ: нѣтъ, не доволенъ.

---

1899 г.

## Пропадающія силы.

*М. Горькій.* Очерки и рассказы. Два тома. Спб., 1898 г.

---

Вѣдь надо ужъ все сказать: вѣдь этотъ народъ необыкновенный былъ народъ. Вѣдь это, можетъ быть, и есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего. Но погибли даромъ могучія силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виновать? То-то, кто виновать?

*Достоевскій* („Записки изъ мертвого дома“).

### I.

Въ глухомъ провинціальномъ трактирѣ идетъ кутежъ. Затосковалъ одинъ купецъ по случаю того, что не можетъ понять, «чего его душа хочетъ», и вотъ онъ объявилъ: «желаю я разгуляться и чтобы съ трескомъ... понятно? Сто цѣлковыхъ брошу, но чтобъ былъ отдыхъ душѣ. Чтобы вихрь былъ!» Въ трактиръ, по приглашенію купца, являются вольнопрактикующіе пѣвцы изъ фабричныхъ и между ними пѣвкій «паренекъ» Костя, котораго особенно рекомендуютъ купцу: «вотъ, купецъ, человѣкъ, такъ сказать, талантъ! Вотъ душа!» Между пѣвцами идетъ совѣщаніе о томъ, какъ лучше пронять купеческую душу. «Нужно начинать съ грусти, чтобы привести душу въ порядокъ и заставить ее прислушаться. Понимаете? Вотъ вы ей сейчасъ и закиньте удочку «Лучинушкой», къ примѣру, или

«Заходило солнце красное»,—она и приостановится, замретъ. А тутъ вы ее хватите сразу «Чоботами» или «Во лузяхъ», да съ дробью, съ пламенемъ, съ плясомъ, чтобы жгло! Ожжете ее, она и встрепенется! Тогда и пошло все въ дѣйствіе. Тутъ ужъ начнется прямо бѣшенство: чего-то хочется и ничего не надо! Тоска и радость—такъ все и заиграетъ радугой!» Очевидно, дѣло излѣченія купеческой тоски попало въ надежныя руки. А пока идетъ предварительная выпивка. Шумъ въ трактирѣ становился все болѣе хаотичнымъ, оглушающимъ, пьянымъ. И вдругъ въ него впиалась высокая теноровая нота, болѣзненно вибрирующая, протяжная, унылая:

Эхъ, да въ непогоду-у...

Вѣтеръ воетъ, завываетъ...

Публика сразу притихла и уставилась на Костю, сидѣвшаго на диванѣ съ блѣднымъ лицомъ и судорожно открытыми губами, изъ которыхъ, дрожа и взвиваясь все выше, лились одинъ за другимъ звуки, сильные, но надломленные и—было ясно—рожденные больною грудью:

А мою голо-овушку

Злая грусть терзаетъ!

Продолжалъ Костя, неподвижный и весь углубившійся въ себя. Маленькій онъ былъ, сухой, желтый, и было странно убѣждаться, что это именно въ его съезженной и изогнутой фигуркѣ хранятся такіе красивые, сильные звуки. Пѣсня лилась нота за нотой. Голосъ Кости, высокій, металлическій теноръ, вибрировалъ, какъ бы рыдая, и замиралъ. Пѣсня звучала, то мрачная и страстная, какъ молитва кающагося грѣшника, то печальная и кроткая, какъ плачь больного ребенка, то полная отчаянной и безнадежной тоски, какъ всякая хорошая русская пѣсня.

Э-я сажу у мо-оря-а...

рыдалъ Костя, у котораго отъ напряженія выступилъ потъ на лбу и катился по щекамъ, какъ слезы.

Доли себѣ жду-у!  
Душу мою слезы-и-и...  
Слезы жгучи моютъ...

Купецъ не выдержалъ: «Братцы!—глухо крикнулъ Тихонъ Павловичъ, вскакивая со стула.—Больше не могу! Христа ради, больше не могу! Душу мою пронзили! Будетъ—тоска моя! Тронули вы меня за больное сердце... то-есть, часу у меня такого не было еще въ жизни!»

Я заимствовалъ этотъ эпизодъ у г. Горькаго, изъ его разсказа *Тоска*; я считаю долгомъ извиниться передъ авторомъ, что испортилъ его прелестную картину своими невольными и неизбѣжными купюрами. На самомъ дѣлѣ, пѣлъ не одинъ Костя, пѣло трое («тріё»), и cadaго изъ пѣвцовъ г. Горькій сумѣлъ обрисовать такими же яркими штрихами, какъ запѣвалу—Костю (см. разсказъ). Намъ нуженъ собственно только Костя. Зачѣмъ нуженъ? На первый разъ хотя бы только затѣмъ, чтобъ отрекомендовать читателю г. Горькаго въ тѣхъ самыхъ выраженіяхъ, въ которыхъ былъ отрекомендованъ купцу Костя: «вотъ, читатель, человѣкъ, такъ сказать талантъ! Вотъ душа!» Именно, не только талантъ, но и душа, и какъ разъ такая душа, о которой съ такою силой говорится въ пѣснѣ Кости, душа тоскующая, ищущая и неудовлетворенная:

Душу мою слезы,  
Слезы жгучи моютъ.

Эти два удивительныхъ стиха (и кто только сочиняетъ ихъ!) г. Горькій могъ бы по праву взять эпиграфомъ къ своимъ произведеніямъ, которыя онъ скромно называетъ (въ посвященіи) *набросками*. Если хотите, это дѣйствительно не болѣе какъ наброски, и именно поэтому намъ было странно *убѣждаться*, что въ этихъ маленькихъ, *сжеженныхъ* наброскахъ *хранятся такіе красивые, сильные звуки*, заключено такое серьезное и живое содержаніе. Мы не раздѣляемъ тоски г. Горькаго, но понимаемъ ее. Не раздѣляемъ потому, что въ основѣ ея лежитъ, какъ намъ

кажется, нѣкоторое теоретическое доразумѣніе, съ которыми никакъ, повидимому, не можетъ справиться молодая мысль автора. Но мы понимаемъ всю законность этой тоски въ томъ или для того, кому противорѣчія жизни представляются неразрѣшимой загадкой. Еще бы живой душѣ не тосковать отъ жизни, въ которой не видится смысла! Еще бы не стонать ей, какъ стоналъ въ той же пѣснѣ Костя:

Матушка пустыня,  
Пріюти сиротку!

Это искренно и логично: нельзя жить съ людьми,—надо искать утѣшенія на лонѣ матери-природы, уйти, по-южно-русски, въ степи, къ морю или, по-великороссійски, въ непроходимыя лѣсныя дебри. Другой вопросъ—разумно ли это? Точно ли съ людьми жить нельзя? Въ *сиротствѣ* человѣка нѣтъ ли его собственной вины? И что собственно значить жить съ людьми? Поставить эти вопросы—значить подойти къ самой сердцевинѣ образовъ г. Горькаго и къ самому источнику его завѣтнѣйшихъ убѣжденій. Мы, однако, съ этимъ дѣломъ еще повременимъ.

Впредь утро похвалю, какъ вечеръ ужъ наступить. Для литературной критики (въ особенности для русской) это—золотое правило, но на этотъ разъ мнѣ хотѣлось бы отступить отъ него. У г. Горькаго такъ много увлекательнаго, горячаго и искреннаго лиризма, что нельзя, кажется, сомнѣваться въ жизнеспособности его литературнаго дарованія. Съ увеличеніемъ житейскаго опыта и расширеніемъ умственнаго кругозора міропониманіе человѣка постепенно и неизбежно видоизмѣняется, но его *отношеніе* къ жизни находится въ прямой зависимости отъ его природной впечатлительности. Этою впечатлительностью г. Горькій обладаетъ въ высокой степени. Онъ мало жилъ, но много пережилъ; мало видѣлъ, но много перечувствовалъ. Кругъ его наблюденій не широкъ и очень однообразенъ, но зато это и не простыя наблюденія, а нѣчто большее и высшее,



переработанное не только въ горниѣ его таланта, но и въ тайникахъ его души. Можетъ быть, что, къ нашему огорченію, г. Горькому такъ и не удастся справиться съ своими теоретическими недоразумѣніями, освободиться отъ пессимистическаго налета, который теперь несомнѣнно покрываетъ и омрачаетъ его взгляды, но не можетъ быть того, чтобы г. Горькій когда-нибудь самодовольно успокоился на какой-нибудь идейкѣ или даже идеѣ. Это какъ-то непосредственно чувствуется. Можетъ случиться, что пѣвецъ Костя такъ или иначе пропадетъ, наприм., сохнетъ съ кругомъ и умретъ подъ заборомъ, но врядъ ли можетъ случиться, что онъ «остепенится», войдетъ въ колею благоразумныхъ людей и начнетъ копотливо устраивать свое благосостояніе. Это тоже чувствуется. Слишкомъ ужъ страстно отдается Костя пѣснѣ, слишкомъ ужъ сильно его волнуютъ такіа чувства, которыя совсѣмъ, совсѣмъ не ладятъ съ тономъ и строемъ будничной жизни. Приблизительно то же я скажу и о г. Горькомъ: по всей вѣроятности, онъ навсегда останется въ литературѣ писателемъ «града взыскующихъ», т.-е. такимъ, который ничему читателя прямо не научить, но будетъ постоянно побуждать его къ наученію, къ исканію истины. Такое литературное амплуа совсѣмъ не неблагоприятно. Дѣловитости, разсудительности, положительности въ нашей литературѣ достаточно, но «священнаго безумія», увлекающей страсти, бодрящей и поднимающей духъ поэзіи совсѣмъ немного. Г. Горькій обладаетъ этимъ даромъ *идейнаго лиризма*, — обладаетъ въ такой степени, что именно этою чертой опредѣляется главная сущность его замѣчательнаго литературнаго дарованія. Опредѣленнаго идеала у г. Горькаго нѣтъ никакого, ни личнаго ни общественнаго, но стремленіе къ идеалу никогда его не покидаетъ. Онъ не сознаетъ, но онъ какъ бы предчувствуетъ возможность идеала, и это инстинктивное предчувствіе окрыляетъ его даже въ тѣ, нерѣдкія у него, минуты, когда имъ всецѣло овладѣваютъ тоска и

уныніе. Это особаго рода тоска и уныніе: тоска со злобой и съ негодованіемъ, и уныніе не грустное, не пассивное, а протестующее. Да, *протестующее уныніе*, воинствующій во имя идеала пессимизмъ — вотъ что я усматриваю въ духовной фізіономіи г. Горькаго. Ничего страннаго тутъ нѣтъ. Вѣру г. Горькаго, согласно опредѣленію Достоевскаго («Братья Карамазовы»), я назвалъ бы вѣрой по преимуществу русской: всѣ люди грѣшники или, какъ обыкновенно выражаются герои г. Горькаго, «скоты», но гдѣ-то тамъ, въ пустынѣ, за тридевятью землями, ужъ навѣрно есть два-три такихъ праведника, что по ихъ слову даже горы сдвигаются съ своихъ мѣстъ. Вотъ почему г. Горькій — лирикъ, и очень хорошій лирикъ, но совсѣмъ не элегикъ.

Для характеристики г. Горькаго, какъ его таланта, такъ и его міросозерцанія, лучше всего можетъ служить его аллегорическій разсказъ «О Чижѣ, который лгалъ, и о Дятлѣ—любителѣ истины». Это столько же красиво написанная, сколько и плохо продуманная аллегорія. Лирическій талантъ г. Горькаго выразился въ этой аллегоріи очень ярко; но достаточно немного вдуматься въ смыслъ яркихъ образовъ аллегоріи, чтобы понять всю несостоятельность философіи автора. Г. Горькій заставляеть своего чижа пѣть такую пѣсню:

Я слышу карканье воронъ,  
Смущенныхъ холодомъ и тьмой...  
Я вижу мракъ—но что мнѣ онъ,  
Коль добръ и ясенъ разумъ мой?  
За мной, кто смѣлъ! Да сгинетъ тьма!  
Душъ живой въ ней мѣста нѣтъ!  
Зажжемъ сердца огнемъ ума,—  
И воцарится всюду свѣтъ!

Словыи разсказа, слушая эту пѣсню, отлично ее комментируютъ: «Сильно спѣто! Молодо, самонадѣянно, не музыкально, но сильно... У этого пѣвца есть искорка!» Именно это самое должна сказать и наша критика. Лично

я, впрочемъ, удовлетворенъ стихами г. Горькаго и со стороны ихъ музыкальности,—чего еще въ самомъ дѣлѣ? Но послушаемъ дальше.

Кто честно смерть пріялъ въ бою,  
Тотъ развѣ палъ и побѣдить?  
Палъ тотъ, кто, робко грудь свою  
Прикрывъ, ушелъ изъ битвы вонъ...  
Друзья! и тотъ палъ, кто, боясь  
Труда, волненій, боли ранъ,  
О битвѣ судить, погрузясь  
Въ философическій туманъ...  
Друзья! пусть падшіе молчатъ,  
Имъ очи съѣлъ сомнѣній дымъ;  
Въ сердцахъ ихъ честь и гордость спятъ...  
Друзья! давайте крикнемъ имъ:  
Прочь! Вашихъ мудрствованій чадъ  
Темнѣ сдѣлалъ эту ночь,  
И отравляетъ онъ, какъ ядъ,  
Умы и души юныхъ... Прочь!

Если бы вамъ, читатель, удалось пропѣть такую пѣсню, т.-е. написать такое стихотвореніе, стали бы вы смѣяться надъ собою или нѣтъ? О себѣ скажу — не сталъ бы. Напротивъ, я былъ бы радъ и гордъ своею удачей, потому что найти для вѣковѣчной и потому самому избитой темы новыя и сильныя слова—это въ самомъ дѣлѣ большая удача. А вотъ г. Горькому смѣшно: «Прочь! Когда это кричить орелъ, соколъ, ястребъ наконецъ,—это и красиво и мощно, но чижь... тутъ есть нѣкоторое несоотвѣтствіе, что-то странное и смѣшное». Странность заключается здѣсь въ очевидномъ непониманіи г. Горькимъ условій и требованій искусства, хотя онъ самъ поэтъ и даже хорошій поэтъ. Орелъ, соколъ, ястребъ—птицы не пѣвчія, а хищныя. Это—во-первыхъ. Во-вторыхъ,—если ужъ раскрывать аллегорію,—орлами и соколами не въ птичьихъ, а въ человѣческихъ обществахъ мы привыкли, благодаря своей цивилизаціи, признавать не тѣхъ, кто живетъ насиліемъ и хищничествомъ, а, напримѣръ, тѣхъ, кто умѣетъ громко

крикнуть «прочь» всему, что отравляет умы и души юных... Трудно сказать, какими признаками руководствуется г. Горькій въ своихъ іерархическихъ представлѣніяхъ объ относительномъ достоинствѣ людей, но несомнѣнно, во всякомъ случаѣ, что его понятія объ этомъ пока еще очень смутны. Въ нашей человѣческой средѣ, г. Горькій, истинная сила не есть сила физическая, ястребиная, а сила нравственная и разумная, сила права и правды, та самая, во имя которой и пѣлъ вашъ чижъ. Осмѣивая своего смѣлаго героя за его физическую слабость, вы обнаруживаете такія тенденціи, которыя, къ чести вашей сказать, вамъ рѣшительно не къ лицу.

А дальше бѣдный чижъ, по волѣ скептически настроеннаго автора, терпитъ полное пораженіе отъ здравомысленнаго дятла. Чижъ, пропѣвши свою пѣсню, обратился къ птицамъ съ прозаическою рѣчью такого содержанія: «Мы не должны уставать и должны всегда бороться и все побѣдить, чтобы оправдать самихъ себя въ своихъ глазахъ, чтобы имѣть право сказать: все прошедшее, настоящее и будущее—это мы, а не слѣпая сила стихій. Путь, по которому мы должны идти, мнѣ незнакомъ, но я увѣренъ, что нужно идти впередъ. Тамъ страна, достойная быть наградой...» и проч. и проч. Птицы были увлечены пѣсней и рѣчью Чижа, — «всѣ птицы пѣли и всѣмъ стало такъ легко, хорошо, всѣ чувствовали, что въ сердцахъ родилось такое страстное желаніе жизни и счастья». Но противъ Чижа выступилъ «съ фактами въ рукахъ» Дятель, который охладилъ общее увлеченіе такою трезвенною рѣчью: «Разсмотримъ безпристрастно, что есть тамъ — впереди, куда зоветъ насъ г. Чижъ. Всѣ вы вылетали на опушку лѣса и знаете, что сейчасъ же за нею начинается поле, лѣтомъ голое и сожженное, зимой покрытое холоднымъ снѣгомъ; тамъ, на краю его, стоитъ деревня и въ ней живетъ Гришка, человѣкъ, занимающійся птицеводствомъ. Вотъ первая станція по пути «впередъ», о которомъ такъ много наговорилъ

здѣсь г. Чижъ. Предполагая, что мы устремимся впередъ сообразно его желанію, что мы благополучно минуемъ сѣти Гринки и пролетимъ мимо деревни, мы опять-таки очутимся въ полѣ, а на концѣ его снова встрѣтимъ деревню, а потомъ снова—поле, деревня, поле... и такъ какъ земля кругла, то мы и должны будемъ необходимо долетѣть до той самой рощи, въ которой въ данный моментъ я имѣю высокую честь говорить съ вами. Это ли та страна, въ которой, по словамъ г. Чижа, мы получимъ награду за наши труды? Это ли она?»

Рѣчь Дятла произвела подавляющій эффектъ: «Птицы молча смотрѣли на Чижа и видѣли, какъ изъ его глазъ одна за другой скатывались слезинки. О чемъ онъ могъ плакать, какъ не о своей винѣ передъ ними? Такой мизерный, сѣренькій и лживый чижъ!» Оставшись въ полномъ одиночествѣ, Чижъ думалъ: «Я солгалъ, да, я солгалъ, потому что мнѣ неизвѣстно, что тамъ за рощей, но вѣдь вѣрить и надѣяться такъ хорошо! Я же только и хотѣлъ пробудить вѣру и надежду и вотъ почему (курсивъ нашъ) я солгалъ... Онъ, Дятель, можетъ быть, и правъ, но на что нужна правда, когда она камнемъ ложится на крылья и не позволяетъ высоко взлетать въ небеса?»

Вотъ и вся аллегорія. Вы, читатель, смѣю спросить, на чьей сторонѣ—Чижа или Дятла? Я буду очень радъ, если мой вопросъ покажется вамъ неприличнымъ или дерзкимъ, но вотъ однако послушайте заключеніе самого автора: «Прочитавъ эту исторію, ты, конечно, увидишь, что Чижъ благороденъ, но не имѣетъ вѣры и поэтому нищъ духомъ; Дятель благоразуменъ, но пошлъ, а птицы-слушатели отзывчивы лишь потому, что любопытны, но они въ сущности черствы сердцемъ и мелки, мелки, позорно мелки... Увидавъ это, ты подумаешь, что я невѣрно рассказалъ эту, до слезъ смѣшную, исторію. Думай такъ, если это тебя утѣшаетъ, думай!» Это, по правдѣ говоря, довольно живо напоминаетъ Собакевича: одинъ почтмейстеръ у насъ до-

вольно порядочный человекъ, да и тотъ... и т. д. Но не въ томъ дѣло. Не знаю съ точностью, что подумаетъ о философской сторонѣ аллегоріи г. Горькаго читатель, но не подлежитъ сомнѣнію, что свою «до слезъ смѣшную исторію» г. Горькій разсказалъ совершенно невѣрно. Невѣрно исторически или фактически, невѣрно логически и невѣрно психологически. Вся его пессимистическая философія оказывается построенной на пескѣ. Во-первыхъ, гдѣ видѣлъ г. Горькій такихъ пѣвцовъ, воспѣвавшихъ вѣру и надежду и звавшихъ другихъ впередъ, которые бы внутренне сознавались, что ихъ призывъ не болѣе, какъ ложь? Авгурь-жрецы были и всегда могутъ быть, но авгуровъ-проповѣдниковъ не было и быть не можетъ. Правда, однажды мы слышали, что обманъ, возвышающій насъ, дороже тьмы низкихъ истинъ, но это образное выраженіе надо понять правильно. Не о лжи, не о сознательномъ обманѣ была тутъ рѣчь, а о самообманѣ, о тѣхъ иллюзіяхъ, которыя поддерживаютъ духъ человека, хотя и не могутъ выдержать суда разума. Самообманъ можетъ имѣть влияние только при полнѣйшей искренности обманывающагося человека—это ясно. Правда и то, что во всѣхъ литературахъ могутъ быть указаны «пѣвцы», которые пѣли очень хорошо, а жили очень дурно, громко звали всѣхъ «впередъ», а сами лично съ мѣста не двигались и не хотѣли двигаться—и это иногда въ такой стѣпени, что приходилось даже приносить публичное покаяніе: «Прости меня, о, родина, прости!» И все-таки *лжецами* они никогда не были. Никогда не сказали бы они о своей дѣятельности, о своихъ пѣсняхъ: «да, я лгалъ», какъ говоритъ аллегорическій Чиждъ г. Горькаго. Наоборотъ, ложью они признавали не свою пѣсню, а свою жизнь, которую они устроили себѣ какъ разъ по благоразумной программѣ вашего Дятла. Во-вторыхъ, у г. Горькаго Чиждъ-пѣвецъ поетъ совсѣмъ не о томъ, о чемъ говоритъ Чиждъ-ораторъ. Оба они зовутъ «впередъ», но совершенно въ различныхъ смыслахъ, и это

прямая вина автора, что онъ не замѣтилъ этой уже чисто-логической несообразности. Чижь-поэтъ восклицалъ:

За мной, кто смѣлъ! Да сгинетъ тьма!  
Душѣ живой въ ней мѣста нѣтъ!  
Зажжемъ сердца огнемъ ума,—  
И воцарится всюду свѣтъ!

Это совсѣмъ не то значить, что надо летѣть вонъ изъ рощи, куда глаза глядятъ, летѣть затѣмъ лишь, чтобы, по справедливому замѣчанію Дятла, опять, вслѣдствіе шарообразности земли, въ ту же самую рощу прилетѣть. Зажечь сердца огнемъ ума значитъ побудить себя и другихъ къ нравственному и умственному совершенствованію, къ уничтоженію предразсудковъ, къ упорядоченію и обновленію жизни, а для этого нѣтъ надобности покидать свою рощу. Наоборотъ, именно въ родной рощѣ и надо позаботиться о свѣтѣ, не задаваясь непосильною задачей воцарить свѣтъ *всюду*. Совершенные пустяки говорилъ Чижь-ораторъ, утверждая, что гдѣ-то «тамъ» находится «вѣчный, неизсякаемый свѣтъ, невѣдомыя намъ чудеса», и, конечно, Дятлу ничего не стоило разрушить эти фантазіи. Но Дятлу, не покрывая себя срамомъ, трудно было бы возражать Чижу-пѣвцу, призывавшему населеніе рощи на общую работу по устроенію и просвѣщенію своего настоящаго мѣстопребыванія, своей родины. «Впередъ безъ страха и сомнѣнья!» Такіе призывы не означаютъ и никогда не означали собою приглашенія людямъ къ физическому перемѣщенію, къ перемѣнѣ территоріи, а означаютъ и всегда означали воззваніе къ разуму и къ совѣсти людей. Шарообразность земли тутъ совсѣмъ ни при чемъ.

Прекрасный поэтъ, но слишкомъ ужъ слабый философъ г. Горькій. Онъ разсуждаетъ совершенно такъ, какъ и его герои, такъ называемые «босяки» или «золоторотцы», которые въ поискахъ лучшей жизни буквально бредутъ впередъ, куда глаза глядятъ, идутъ въ степи, на Кубань,

къ морю, добравшись до котораго, останавливаются въ тоскливо-безсмысленномъ ожиданіи чего-то, какъ объ этомъ разсказывается въ пѣснѣ Кости:

Я сижу у моря,  
Доли себѣ жду!

Не надо быть дятломъ, чтобы сказать, что это занятіе очень неблагодарное. И опять намъ Костя вспоминается: хорошо Костя поетъ и увлекается своимъ пѣніемъ до самозабвенія, но когда пѣсня кончилась, онъ ни умнаго ни глупаго слова не сумѣлъ сказать купцу, а «наливалъ себѣ водки и пилъ ее рюмку за рюмкой, видя, что за нимъ никто не смотритъ». Право же, нѣчто подобное замѣчается и у самого автора: пока онъ является только художникомъ, пока онъ рисуетъ характеры, или природу, или быль, онъ вполне удовлетворяетъ и даже увлекаетъ читателя. Но едва г. Горькій пустится въ разсужденія, устами своихъ героевъ, которые—отъ бездѣлья, что ли?—чрезвычайно любятъ порезонировать, читателю въ большинствѣ случаевъ остается только руками разводять. Что вы скажете, напримѣръ, о такой картинкѣ:

«Море смѣялось.

«Подъ легкимъ дуновеніемъ знойнаго вѣтра оно вздрагивало и, покрываясь мелкою рябью, ослѣпительно ярко отражавшею солнце, улыбалось голубому небу тысячами серебряныхъ улыбокъ. Въ глубокомъ пространствѣ между моремъ и небомъ носился веселый и шумный плескъ волнъ, набѣгавшихъ одна за другою на пологій берегъ песчаной косы. Этотъ звукъ и блескъ солнца, тысячекратно отраженного рябью моря, гармонично сливались въ непрерывное движеніе, полное живой радости. Солнце было счастливо тѣмъ, что свѣтило, море—тѣмъ, что отражало его ликующій свѣтъ.

«Вѣтеръ ласково гладилъ мощную, атласную грудь моря, солнце грѣло ее своими горячими лучами, и море, дремотно вдыхая подъ нѣжной силой этихъ ласкъ, насыщало



жаркій воздухъ соленымъ ароматомъ своихъ испареній. Зеленоватыя волны, взбѣгая на желтый песокъ, сбрасывали на него бѣлую пѣну своихъ пышныхъ гривъ; она съ тихимъ звукомъ таяла на горячемъ пескѣ, увлажая его...»

Не знаю, какъ вы, читатель, а я вижу отсюда, изъ туманнаго Петербурга, эту прелестную южную картину, это смѣющееся море, хотя никогда не бывалъ на югѣ. Изъ современныхъ писателей нашихъ мастеромъ на пейзажи считается г. Чеховъ, но эта марина г. Горькаго поспоритъ съ известными степными пейзажами г. Чехова. Но вотъ Костя спѣлъ, вы насладились его пѣніемъ, т.-е., хочу я сказать, вы полюбовались картиною г. Горькаго, и теперь не угодно ли получить порцію хотя бы такихъ уместованій:

«Времена переменчивы... а люди—скоты. Впрочемъ, все держится въ своихъ законахъ, и человѣкъ на землѣ не болѣе, какъ ничтожная гнида. Все въ порядкѣ, ныть и плакать не стоитъ,—ни къ чему не поведетъ. Живи и ожидай, когда тебя ивломаетъ, а если ивломало уже—жди смерти! Только и есть на землѣ всѣхъ умныхъ словъ. Поняли? Вѣрно-съ! И больше никакихъ! Всякіе разговоры—пустяки и чепуха. Я прежде былъ другого взора на жизнь и очень беспокоился за себя и за другихъ,—какъ, молъ, и что, и какой смыслъ, и въ чемъ суть и зачѣмъ, и по чему... Нынче—наплевать! Проходить жизнь известнымъ порядкомъ,—ну, и проходи,—такъ значить надо, и я тутъ ни при чемъ. Законы-съ; противъ нихъ невозможно итти... И не зачѣмъ, потому что даже и тотъ, кто знаетъ, ничего не знаетъ. Ужъ повѣрьте мнѣ въ этомъ случаѣ,—съ умнѣйшими людьми вель по этимъ дѣламъ беебды, со студентами и со многими священнослужителями церкви, хе-хе! Разсуждаютъ люди о томъ, о другомъ и прочее... глупо-съ! Очень глупо! О чемъ разсуждать, когда существуютъ законы и силы? И какъ можно имъ противиться, ежели у насъ всѣ орудія въ умѣ нашемъ, а онъ тоже подлежитъ законамъ и силамъ? Вы понимаете? Очень просто. Зна-

чить живи и не кобенясь, а то тебя сейчас же разрушить въ прахъ сила, состоящая изъ собственныхъ твоихъ свойствъ и намѣреній и изъ движеній жизни. Это называется—философія—съ дѣйствительной жизни... Понятно?»

О разсужденіяхъ этого рода я, какъ гоголевскій бурсакъ о плетяхъ, скажу, что въ больномъ количествѣ это вещь нестерпимая. А въ послѣднее время они появляются въ нашей литературѣ въ очень большомъ количествѣ: чуть не на-дняхъ намъ пришлось урезонивать г. Меншикова, который позволяетъ разбойнику выколотъ глаза ребенку во имя всепрощающей «святой любви», но въ то же время никакъ не можетъ простить намъ нашего сожительства съ законными женами. У г. Горькаго эту философію квіетизма во имя непреложныхъ законовъ природы (у г. Меншикова—во имя довѣрія къ мудрости воли) развиваетъ одинъ изъ пѣвцовъ, лѣчившихъ купеческую душу, и мы на мѣстѣ купца спросили бы его: и откуда ты, другъ любезный, набрался такой премудрости? По-нѣмецки ты не знаешь, Гегеля и Шопенгауэра не читалъ, что же это—родной фатализмъ, что ли? Но тогда тебѣ такъ бы ужъ и говорить о «планидѣ», не касаясь законовъ и силъ природы, тебѣ неизвѣстныхъ. Но и въ этомъ случаѣ я спросилъ бы тебя: зачѣмъ же ты разсуждаешь, если разсуждать вообще, по-твоему, «глупо-съ, очень глупо»? Если же ты не можешь не разсуждать, то будь же послѣдователенъ, продолжай «кобениться» и дальше: борись, учись, работай, вообще не дѣлай изъ себя безответной жертвы судьбы или, по-твоему, «планиды». Нѣтъ, читатель, это въ самомъ дѣлѣ просто удивительно, что на этомъ діалектическомъ порогѣ у насъ спотыкается мысль столькоихъ писателей! Г. Горькій—изъ ихъ числа, и его, видимо, измучило это діалектическое противорѣчіе почти въ такой же мѣрѣ, какъ нѣкогда Бѣлинскаго. Самый недогадливый читатель сообразить, что въ этомъ, какъ и во всѣхъ другихъ, очень многочисленныхъ слу-

чаяхъ, не «босаякъ» какой-то, а самъ авторъ черезъ его посредство философствуетъ. Мы еще будемъ имѣть дальше случаи, говоря о герояхъ г. Горькаго, встрѣтиться съ этой философіей и тогда скажемъ по ея существу, а теперь я только отмѣчаю: вотъ что мучить г. Горькаго! Пессимизмъ на подкладкѣ фатализма, въ соединеніи съ самой страстной жаждой жизни, съ чуткимъ инстинктомъ красоты, съ готовностью къ самому бурному протесту, съ великодушною потребностью подвига и жертвы,—какая удивительная амальгама! Какое странное смѣшеніе свойствъ и силъ, другъ друга нейтрализующихъ и парализирующихъ! Ничего, читатель, не будемъ опасаться за г. Горькаго, будемъ лучше надѣяться: не изъ мутнаго ли броженія творится свѣтлое вино? Но пока что, я все-таки, какъ видитъ читатель, имѣлъ право характеризовать г. Горькаго какъ *идеалиста, не имѣющаго идеала*, не успѣвшаго его себѣ выработать.

## II.

Пора обратиться къ героямъ г. Горькаго. Это очень интересные, но нисколько не новые герои.

„Сторона-ль моя сторонushка,  
Сторона незнакомая!  
Что не самъ ли я на тебя зашелъ,  
Что не добрый ли да меня конь завезъ:  
Завела меня, добраго молодца,  
Прыткость, бодрость молодецкая  
Да хмелинушка кабацкая“.

Когда какое-нибудь явленіе воспрѣвается въ народной пѣснѣ, это значитъ, что оно стало очень распространеннымъ и популярнымъ. А такъ какъ цитированная пѣсня хотя и не древняго, но очень все-таки стараго происхожденія, то ясно, что явленіе «босаячества» у насъ не новостъ и никакой такой Америки г. Горькій намъ не открылъ. Я отождествляю наше исконное бродяжничество съ современнымъ босаячествомъ въ силу одинаковости ихъ психо-

логической основы. Босякъ характеризуется не босоногостью, не лохмотьями своими, а именно прыткостью, бодростью молодецкою, своимъ инстинктивнымъ отвращеніемъ къ установившимся формамъ и торнымъ путямъ. Разумѣется, и хмелинушка кабацкая играетъ здѣсь не послѣднюю роль. Это обстоятельство, т.-е. неперемѣнное соприсутствіе хмелинушки, обуславливается опять-таки не физическими (за исключеніемъ случаевъ прямо болѣзненныхъ), а нравственными свойствами людей этого типа: хмелинушка — одно изъ дѣйствительнѣйшихъ средствъ утомонить въ себѣ энергію, для которой нѣтъ правильного исхода. Эту сторону дѣла, которую нашимъ проповѣдникамъ противъ народнаго пьянства не мѣшало бы имѣть въ виду, отлично характеризовалъ Некрасовъ:

„Не водись-ка на свѣтѣ вина,  
Тошень былъ бы мнѣ свѣтъ,  
И пожалуй—силенъ сатана!—  
Натворилъ бы я бѣдъ“.

Въ принципѣ, такимъ образомъ, мы совершенно согласны съ г. Горькимъ: его герои—люди въ своемъ родѣ замѣчательные, а нѣкоторые—пожалуй, многіе изъ нихъ—могли бы быть замѣчательными людьми не въ личномъ только, но и въ общественномъ смыслѣ, не только въ психологическомъ, но и въ историческомъ отношеніи. Однако пьянство есть пьянство и ничего болѣе. Это не подвигъ, даже не протестъ, а самый несомнѣнный порокъ, и идеализировать пьяницъ нѣтъ никакого резона. Если бъ Илья Муромецъ, вмѣсто очищенія дорогъ отъ разбойниковъ и избѣженія татаръ, употреблялъ свою богатырскую силу на то, чтобы ежедневно осушать бочку зелена вина, то, конечно, свою могучесть онъ доказалъ бы, но любимымъ героемъ былинъ не сдѣлался бы. Васька Буслаевъ былъ «босякомъ» чистѣйшей крови, не вѣрилъ онъ ни въ сонъ, ни въ чохъ, а вѣровалъ въ свой червленый вязъ, но онъ, во-первыхъ, какъ гласитъ былина, и кончилъ самымъ жалкимъ, даже

дурацкимъ образомъ; а во-вторыхъ, какъ ничтожна его молодецкая, ухарская фигура рядомъ со спокойно-величавой фигурой Ильи! Илья—это земель-строитель, Васька—это бунтарь-разрушитель. Такова ихъ роль въ исторіи, а въ будничной, личной жизни Илья—домовитый и заботливый хозяинъ, а Васька—трактирный забулдыга и уличный дебоширъ. Въ процессъ историческаго развитія Илья нуженъ всегда, Васька—только въ періоды острыхъ кризисовъ. Илья—это хлѣбъ, который самъ по себѣ, безъ всякихъ приправъ, можетъ служить пищею и поддерживать силы человѣка; Васька—это соль, питаться которою нельзя и которая хороша только при хлѣбѣ, да и то въ умѣренномъ количествѣ: недосоль на столѣ, а *пересолъ на спинѣ*, говорить пословица. И ужъ сколько разъ, на протяженіи нашей тысячелѣтней исторіи, попадало Васькѣ по спинѣ отъ Ильи именно за пересоль, за неумѣнье остановиться въ-время!

Это очень удобно, что мнѣ подвернулись подъ перо имена Ильи Муромца и Васки Буслаева, какъ представителей двухъ коренныхъ нашихъ психологическихъ и историческихъ типовъ. Подъ флагомъ этихъ именъ мы и будемъ продолжать нашу параллель. Въ психологическомъ смыслѣ эти два исконныхъ русскихъ типа отъѣняютъ и во многихъ отношеніяхъ дополняютъ другъ друга. Силы у Ильи гораздо побольше, нежели у Васьки, но у него меньше прыткости, бодрости молодецкой, меньше темперамента. Именно потому онъ въ высокой степени обладаетъ тѣмъ качествомъ, котораго Васька совершенно лишенъ: самообладаніемъ. Васька—рабъ, а Илья—господинъ своихъ страстей. Разумѣется, и Илья не аскетъ, и онъ не прочь, при случаѣ, осушить чару зелена вина въ полтора ведра, но все-таки не въ удовлетвореніи своихъ инстинктовъ онъ видитъ цѣль и радость своей жизни:

Дворъ твой, княже, мнѣ не диво,  
Не пировъ держусь:

Я мужикъ неприхотливый,—  
Быль бы хлѣба кусъ.  
Не люблю парадныхъ сѣней,  
Мраморныхъ тѣхъ плитъ;  
Отъ царьградскихъ отъ куреній  
Голова болить!

Ну, а Васькѣ все это нужно—и парадныя сѣни, и мраморныя плиты, и царьградскія куренья. Онъ двадцать разъ рискнетъ своею головою, чтобы добыть себѣ эти сокровища, но зачѣмъ?—Отнюдь не затѣмъ, чтобы съ буржуазнымъ спокойствіемъ и самодовольствомъ наслаждаться ими, а какъ бы исключительно затѣмъ, чтобы всенародно и всеторжественно оплевать ихъ. Попросту это называется озорничествомъ, и Васька, дѣйствительно, озорникъ, и вся его безалаберная жизнь—одно сплошное озорство, въ которомъ иногда проявляется великодушіе и всегда—самая безумная смѣлость, но которое тѣмъ не менѣе терпимо быть не можетъ. Батюшка, Илья Ивановичъ, умири его, «ты уйми да супостата великаго!»

Сталъ Илья унимать его по-своему:  
Онъ схватилъ его да за черны кудри,  
Еще билъ его да о сыру землю о матушку и пр.

Такія воззванія и такія (буквально или въ болѣе культурной формѣ) расправы можно наблюдать въ нашей жизни за частую, потому что Васекъ, безпрестанно порывающихся выскочить изъ рамокъ общепринятыхъ условій, у насъ до сихъ поръ сколько угодно. Но «озорники» все-таки со всѣмъ не то, что «самодуры». Самодуръ вовсе не лишенъ внутренней дисциплины, тогда какъ у озорника ея нѣтъ вовсе. Самодуръ тише воды и ниже травы передъ сильнѣйшимъ и нравственно распоясывается онъ только передъ людьми отъ него зависимыми, самодурствуетъ надъ слабѣйшими, тогда какъ чистокровный озорникъ чувствуетъ тѣмъ большее удовольствіе отъ своихъ каверзъ, тѣмъ сильнѣе его противникъ. Васька непремѣнно хотъ языкъ показалъ бы Ильѣ, когда тотъ беретъ его за черны кудри,

чтобы шлепнуть о сыру землю, тогда какъ самодуръ въ такомъ положеніи только бы разнюнился и расхныкался.

Васьки Буслаевы, безъ всякаго сомнѣнія, гораздо даровитѣе и, въ особенности, блестяще Муромцевъ, но если вы хотите погубить, разстроить какое-нибудь практическое дѣло—поставьте во главѣ его Ваську; если же вы хотите это дѣло укрѣпить, поддержать—поручите его Ильѣ. Однако и то безспорно, что если устойчивость дѣлу придаютъ Муромцы, то жизнь и движеніе вносятъ въ него именно Васьки, если только имѣется налицо достаточно сильный регуляторъ, чтобы дисциплинировать ихъ буйное своеволие. Дѣдушка Илья очень степенный, хозяйственный, трудолюбивый, разсудительный, но—грѣха таить нечего—немножко туповатый мужикъ. Онъ—надежный оплотъ всякаго рода «устоевъ», но его кругозоръ очень ограниченъ, и, предоставленный самому себѣ, никѣмъ не возбуждаемый и не беспокоимый, Илья очень скоро задремалъ бы среди охраняемыхъ имъ «устоевъ», которые, въ свою очередь, не замедлили бы покрыться мохомъ и плѣсенью. Къ счастью, нельзя задремать старому богатырю, и онъ знаетъ это: подкрадется къ нему, къ сонному, озорникъ Васька и начнетъ щекотать у него въ носу соломинкой или придумаетъ каверзу еще гораздо похуже—и что тогда? Выдрать Ваську за черныя кудри не трудно, но какой же въ томъ толкъ? Какъ видите, Илья и Васька просто необходимы другъ другу, первый—какъ регуляторъ второму, второй—какъ возбудитель для перваго. Можно сказать даже больше: эти типы до такой степени родственны между собою, при всей своей противоположности, что главныя ихъ свойства могутъ характеризовать одно и то же лицо, уживаться одновременно въ одномъ человѣкѣ. Въ нашей національной психикѣ это явленіе даже довольно обычное. Чтобы не далеко ходить за примѣромъ, вспомнимъ того купца г. Горькаго, разсказомъ о лѣченіи души котораго мы начали свою статью. Съ чего это у него

заболѣла душа? И какими симптомами выражается эта болѣзнь? Тихонъ Павловичъ (имя купца)—солидный и обстоятельный хозяинъ, благополучный семьянинъ, пожилой человѣкъ подъ пятьдесятъ лѣтъ, совершенно, казалось бы, установившійся и уравновѣсившійся—и вдругъ у него, среди такой благодати, является «тоска»! Это совсѣмъ не та тоска, которую испытываетъ долго воздерживавшійся отъ вина пьяница, не физиологическая тоска передъ запоемъ, это именно тоска неудовлетворенной души. Тихонъ Павловичъ совсѣмъ не пьяница и, затосковавши, онъ отправляется не въ трактиръ (это уже потомъ), а къ сельскому учителю за совѣтомъ и наставленіемъ. Этотъ учитель однажды обличилъ дѣлецкіе подвиги Тихона Павловича въ газетахъ, такъ что визитъ къ нему Тихона Павловича представляется какъ бы даже нѣкоторою жертвою. Учитель ничего путнаго не сумѣлъ сказать, и разочарованный Тихонъ Павловичъ раздумываетъ на обратномъ пути: «Х-хе! Учитель! А ты учить-то учи, да и самъ тоже поучивайся, понимай вокругъ-то себя, какъ и что. Какой бы это лѣпшій загналъ меня къ тебѣ, кабы душа къ тому не побудила? И долженъ ты, учитель, всегда на такой точкѣ стоять, чтобы человѣку до тебя, не уродуя себя, взобраться можно было. А то—эка вотъ!—вперся со строгостью-то своей выше печной трубы, да и пошелъ оттуда пророчить. Понимай тебя—я тебя понять не могу... Добродѣтели стопудовыя тоже! А ежели я хочу говорить и словъ у меня нѣтъ?» Искренность купца не подлежитъ сомнѣнію. Повторяю, это совсѣмъ не пьяница, — вѣдь процессъ «возобновленія души» онъ произвелъ не столько съ помощью вина, сколько съ помощью пѣсни, — это просто затосковавшій на своемъ дѣлѣ человѣкъ, это степенный Илья, которому наскучило съ утра до вечера степенничать и захотѣлось окунуться на время въ Васькино безпутство. А Васька въ свою очередь — и такихъ примѣровъ у г. Горькаго много — «возобновляетъ»



свою мятежную душу тѣмъ, что на время остепеняется, пристраивается къ какому-нибудь дѣлу, всѣхъ удивляетъ своей энергіей и своей разносторонней даровитостью, но, добившись успѣха, охлаждѣваетъ и, провозгласивши: «убирайтесь вы всѣ къ чорту!» опять проваливается въ свои любезныя трущобы. Ну, развѣ это не родные братья по духу? Съ точки зрѣнія социальной экономіи, разумѣется, Илья несравненно выше Васьки: дѣлу время, а потѣхъ часъ — вотъ девизъ Ильи; дѣлу часъ, а потѣхъ время — вотъ программа Васьки. То-есть, конечно, оба они живутъ безъ всякихъ девизовъ и программъ, живутъ по своей натурѣ, но въ томъ и дѣло, что въ натурѣ одного преобладаютъ положительные, а въ натурѣ другого — отрицательные элементы. Это — позволю себѣ такъ выразиться — одно и то же психологическое снадобье, составленное изъ однихъ и тѣхъ же спецій, но спецій, положенныхъ въ разныхъ дозахъ. Чистокровный, выработанный многовѣковой культурой, буржуа работаетъ десятки лѣтъ, ни разу не утративъ своего равновѣсія, никогда не почувствовавши той «тоски», которая одолѣла, наприм., Тихона Павловича. Онъ, какъ и всякій трудящійся человѣкъ, нуждается, конечно, въ отдыхѣ, въ смѣнѣ впечатлѣній, но это не наша русская «тоска». Онъ и въ отдыхѣ остается тѣмъ же корректнымъ джентльменомъ, какимъ его всегда привыкли видѣть, тогда какъ солидному Тихону Павловичу для «возобновленія души» нужно непременно плюхнуться въ грязную лужу, прохрюкать цѣлую недѣлю и только тогда онъ почувствуетъ «себя виноватымъ предъ всѣми и передъ самимъ собой» (такъ, и очень удачно, характеризуетъ это нравственное состояніе г. Горькій), и именно потому съ удвоенной энергіей примется за оставленное на время дѣло. Чѣмъ глубже онъ будетъ чувствовать свою вину, другими словами: чѣмъ больше онъ насрамитъ, наскандалитъ и набѣдокуритъ, тѣмъ съ большимъ жаромъ онъ примется за дѣло. Произведенный Тихономъ Павловичемъ де-

бошъ явится для него чѣмъ-то въ родѣ горячей грязевой ванны. Съ другой стороны, «босаякъ», утомившійся безцѣльною растратой своихъ силъ, мечтаетъ о своей реабилитаціи тоже совсѣмъ не по манеру западно-европейскаго пролетарія. Не хорошій заработокъ, не выгодное «мѣсто» нужно ему, а подвигъ, въ точномъ смыслѣ слова. Вотъ, наприм., какъ мечтаетъ у г. Горькаго сапожникъ Орловъ въ разгаръ холерной эпидеміи: «Горить у меня душа... Хочется ей простора... чтобы могъ я развернуться во всю мою силу... Эхма! силу я въ себѣ чувствую необоримую! То-есть если бъ эта, напримѣръ, холера да преобразилась въ человѣка... въ богатыря... хоть въ самого Илью Муромца,—сцѣпился бы съ ней! Иди на смертный бой! Ты сила и я, Гришка Орловъ, сила,—ну, кто кого? И придушилъ бы я ее и самъ бы легъ... Крестъ надо мной въ полѣ и надпись: «Григорій Андреевъ Орловъ... Освободилъ Россію отъ холеры». Больше ничего не надо». — «Ну, да, презрительно скажетъ читатель, старая, извѣстная, давно надобѣвшая эта пѣсня: я-ста, да мы-ста, да наша матушка Россія всему свѣту голова! Мало, видно, насъ еще били за это дурацкое самомнѣніе, мало мы заплатили за него!» Читатель правъ и неправъ въ одно время. Правъ потому, что самомнѣніе, конечно, не то же, что самосознаніе, и всякая похвальба, личная и національная, ни чести ни выгоды хвастуну не приносить. Но читатель не правъ въ томъ смыслѣ, что вѣдь наши Гришки Орловы не только бахвалились, но и дѣло дѣлали. Герой г. Горькаго поступаетъ въ холерный баракъ санитаромъ и работаетъ на этомъ мѣстѣ такъ, что докторъ одобрительно говоритъ ему: «Ты человѣкъ нужный», а что касается Орловыхъ вообще, то они имѣютъ полное право указать на нѣкоторый «оправдательный документъ», составленный далеко не безъ ихъ участія. Документъ этотъ имѣетъ въ ширину четыре, а въ длину десять тысячъ верстъ, называется Россійскою имперіей, и сколько Васекъ Буслаевыхъ

и Гришекъ Орловыхъ сложили свои буйныя головы какъ бы въ видѣ сертификата къ этому документу! Убѣдительный документъ! Отъ Святослава Игоревича и до Ермака Тимофеевича и отъ Ермака Тимофеевича до Михаила Дмитриевича, т.-е. черезъ всю нашу исторію идетъ длинный и непрерывный рядъ неугомонныхъ непосѣдовъ и сорвиголовъ, которые, ни о чемъ другомъ не думая, какъ объ удовлетвореніи своей страсти къ авантюрамъ, своей прыткости, бодрости молодецкой, безсознательно служили въ то же время рѣшенію великой исторической задачи. Ничего путнаго, разумѣется, изъ ихъ авантюръ не вышло бы, если бы надъ ними или рядомъ съ ними не стояли разсудительные, осмотрительные и хладнокровные хозяева-собиратели, хозяева-скопидомы, въ родѣ Мономаха, Невскаго, Калиты, Ивана III, длинный и тоже непрерывный рядъ которыхъ идетъ параллельно съ рядомъ нашихъ историческихъ авантюристовъ. Не только Петербургу, но и Москвѣ бы не быть. Копотливое дѣло историческаго устроенія и созиданія совершается не отвагой, а расчетомъ, не порывами, а терпѣливымъ трудомъ—это несомнѣнно. Но вѣрно и то, что нашимъ кунктаторамъ не надъ чѣмъ было бы оперировать, если бъ имъ не поставляли матеріала люди изъ того, другого параллельнаго ряда, и вѣрно то, что они прокунктаторствовали, продремали бы Россію, если бъ ихъ не возбуждала неугомонная, хотя и безтолковая энергія тѣхъ же людей. Повторяю, они, люди обоихъ этихъ типовъ, были необходимы другъ другу и, къ нашему великому счастью, всегда сопровождали другъ друга, рѣшая одну и ту же задачу, каждый на свой ладъ. Разъ, единственный только разъ, произвела Россія, въ 1872 г., богатыря, въ могучей личности котораго проявились въ лучезарномъ синтезѣ лучшія свойства обоихъ національныхъ типовъ нашихъ: хладнокровіе и хитрость дьяка въ приказахъ посѣдѣлаго съ дерзостью ушкуйника, дальновидная зоркость государственнаго кормчаго съ прыткостью молодецкаго за-

бубенного матроса, терпѣніе и выдержка дипломата съ лихостью и отвагой рядового солдата, прямолинейность фанатическаго новатора съ осторожностью всеотвѣтственнаго главы государства. Но это было только однажды. Тысячелѣтняя исторія Россіи слагалась одновременными усиліями представителей обоихъ главныхъ типовъ нашихъ.

Читатель, смѣю надѣяться, отдастъ мнѣ ту справедливость, что въ опредѣленіи относительнаго удѣльнаго вѣса этихъ типовъ я старался соблюсти всевозможное безпристрастіе. Къ сожалѣнію, онъ не найдетъ такого безпристрастія у г. Горькаго. Очень замѣтнымъ образомъ г. Горькій склоняется на сторону буйнаго русскаго типа, однимъ изъ частныхъ видовъ котораго являются его герои, такъ называемые «босяки». Намъ, однако, важны не личныя симпатіи г. Горькаго, а изображаемые имъ факты, которыми мы обязаны вѣрить, разъ мы признали за авторомъ и талантъ, и наблюдательность, и искренность. А факты, изображаемые г. Горькимъ, совсѣмъ не оправдываютъ его симпатій. Нашъ, только что развитый выше взглядъ они подтверждаютъ, но взгляда автора не подтверждаютъ нисколько. Въ данномъ случаѣ произошла довольно обычная коллизія между теоретическими убѣжденіями или предубѣжденіями автора и тѣми наблюденіями, которыя онъ даетъ намъ, какъ художникъ. Г. Горькаго называютъ художникомъ-марксистомъ. Жалѣю, что наши марксисты не обзавелись еще собственнымъ литературнымъ критикомъ, которому я съ удовольствіемъ взялся бы объяснить, что образы и наблюденія г. Горькаго—совсѣмъ не вода на ихъ марксистское колесо. Надѣюсь, впрочемъ, что это будетъ ясно и безъ полемики, изъ простаго анализа фактовъ, предлагаемыхъ г. Горькимъ.

На *первомъ мѣстѣ перваго* тома рассказовъ г. Горькаго стоитъ рассказъ «Челкашъ», и это обстоятельство едва ли случайно. Дѣйствительно, этотъ рассказъ имѣетъ принци-

пiальное значенiе, въ немъ обрисовывается та общая точка зрѣнiя, съ которой авторъ смотритъ на своихъ героевъ. Прежде всего ошибочна сама эта точка: г. Горькiй *противопоставляетъ* своихъ бездомныхъ героевъ деревенскому хозяйственному народу, живущему подъ «властью земли». Затѣмъ противопоставляетъ то, что соединено между собою органическою духовною связью? Тутъ можно только различать, какъ мы различаемъ выпуклую и вогнутую сторону одной и той же медали, но нельзя усматривать тутъ два какихъ-то враждебныхъ стана, какихъ-то непримиримыхъ данайцевъ и троянцевъ. Никакой войны не происходитъ. Сегодняшнiй крестьянинъ можетъ залѣниться, разориться, спиться съ круга—и вотъ вамъ готовъ босякъ-пролетарiй, котораго г. Горькiй возьметъ и, съ его точки зрѣнiя, обязанъ взять подъ свою защиту. Точно такъ же любой изъ теперешнихъ любимцевъ г. Горькаго можетъ опаматоваться и протрезвиться, взяться за работу какъ слѣдуетъ, т.-е. не наскоками, а вплотную, — и г. Горькiй долженъ будетъ лишить его своей симпатiи. Какая странная, какая курьзая точка зрѣнiя! Я отнюдь не навязываю ее г. Горькому, а просто указываю на нее, какъ на несомнѣнный и авторомъ нисколько нескрываемый фактъ. Говоря, наприм., о сапожникѣ Григорѣ Орловѣ и его женѣ, г. Горькiй вотъ какъ выражается: «Они зажили бы сѣрою жизнью полусытой бѣдности, кулацкою жизнью, всецѣло поглощенной погоней за грошомъ, но отъ этого конца ихъ спасло то, что Гришка называлъ своимъ «безпокойствомъ въ сердцѣ» и что по существу своему не могло помириться съ буднями». Кажется ясно? Трудовая жизнь есть жизнь «сѣрая», погоня за заработкомъ есть кулачество, правильное существованiе есть «будни», а все вмѣстѣ представляетъ собою «конецъ». Конецъ чего? По-нашему, всего только безшабашнаго пьянства, и слава бы Богу, но въ устахъ г. Горькаго это слово «конецъ», очевидно, означаетъ собою нѣчто очень печальное: конецъ безпокойству

въ сердцѣ, конецъ милому лихачеству, разудалому молодечеству, конецъ жаждѣ подвига, конецъ человѣческому достоинству. Да, удивительный критерій, необыкновенно странная точка зрѣнія!

Но какъ разъ съ этой точки зрѣнія г. Горькій и дѣлаетъ свои противопоставленія. Замѣтимъ мимоходомъ, что большею частью похождения героев г. Горькаго совершаются на берегахъ Чернаго моря, вѣроятно, въ силу того правила, что *les oiseaux de même plumage s'assemblent sur le même rivage*. Такъ же развивается и фабула разсказа «Челкашъ». Челкашъ—это прозвище одного босняка, но босняка необыкновеннаго, такъ сказать, оберъ-босняка. «Даже и здѣсь,—говоритъ г. Горькій,—среди сотенъ такихъ же, какъ онъ, рваныхъ и рѣзкихъ босяцкихъ фигуръ, онъ сразу обращалъ на себя вниманіе своимъ сходствомъ съ степнымъ ястребомъ, своей хищной худобой и этой прицѣпливающейся походкой, такой же плавной и покойной съ виду, но внутренне возбужденной и зоркой, какъ летъ той нервной птицы, которую онъ напоминалъ». Челкашъ имѣетъ въ виду «солидный заработокъ, требовавшій немного труда и много ловкости». Для насъ осталось неяснымъ—провозъ контрабанды или простое воровство имѣлъ въ виду и затѣмъ совершилъ Челкашъ, но во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что «заработокъ» Челкаша имѣлъ очень мало правъ на почетное наименованіе «труда». Но для достиженія цѣли Челкашу необходимъ помощникъ, котораго онъ и намѣтилъ въ случайно попавшемся ему деревенскомъ парнѣ. «Парень былъ широкоплечъ, коренастъ, русъ, съ загорѣлымъ и обвѣтреннымъ лицомъ и съ большими голубыми глазами, смотрѣвшими на Челкаша довѣрчиво и добродушно». Какъ видите, чистѣйшая великороссійская деревня-матушка. Парень возвращается домой съ косовицы почти съ пустыми руками: «косили версту, выкосили грошъ», сознается онъ Челкашу, которому это обстоятельство очень на-руку. Вотъ между этими двумя персона-

жами, какъ представителями двухъ міровъ, двухъ типовъ и происходитъ столкновение, при чемъ симпатіи г. Горькаго явно на сторонѣ Челкаша, а я, съ своей стоны, приглашаю читателя къ строжайшему нейтралитету: будьте покойны, деревенскій парень сумѣетъ постоять за себя. — Нравятся тебѣ босяки? — спрашиваетъ Челкашъ. «Они-то? Какъ же! Ничего, ребята вольные ..свободные...», отвѣчаетъ парень. — «А что тебѣ свобода? Ты развѣ любишь свободу?» продолжаетъ свой допросъ босякъ - Мефистофель. — «Да вѣдь какъ же? Самъ себѣ хозяинъ, пошелъ куда хошь, дѣлай что хошь... Еще бы!» Отвѣтъ совершенно въ духѣ Челкаша, такъ что читатель готовъ уже пожалѣть наивнаго парня, но я опять повторяю: пожалуйста, не безпокойтесь. Парень еще не кончилъ и дѣлаетъ вотъ какое добавленіе къ своему дирамбу босяцкой свободы: «Коли сумѣешь себя въ порядкѣ держать, да на шеѣ у тебя камней нѣтъ, — первое дѣло. Гуляй знай какъ хошь, Бога только помни»... Это ужъ мотивъ совсѣмъ изъ другой оперы, слышавъ который, Челкашу оставалось только «презрительно сплюнуть», что имъ съ успѣхомъ и было сдѣлано. За всѣмъ тѣмъ Челкашъ чувствовалъ себя неловко. «Въ немъ этотъ здоровый деревенскій парень что-то будилъ... Это было смутное, независимо отъ воли назрѣвавшее, досадливое чувство, копошившееся гдѣ-то глубоко»... А дальше дѣло пошло еще хуже или еще лучше: Челкашъ «почувствовалъ нѣчто въ родѣ ожога въ груди», — до такой степени наивный парень разстроилъ его своими неумышленно - оскорбительными рѣчами. Въ отвѣтъ на предложеніе Челкаша помочь ему въ его предпріятіи парень говорилъ: «Такъ... Что же? Ничего. Работать можно. Только тово вотъ... не влетѣть бы съ тобой во что. Больно ты закомуристь... темень ты... Я не прочь... Я даже радъ. Работы вѣдь и ищу. Мнѣ все равно у кого работать, у тебя или у другого. Я только къ тому сказалъ, что не похожъ ты на рабочаго чловѣка... больно ужъ того... драный. Ну, я вѣдь знаю,

что это со всякимъ можетъ быть. Господи, рази я не видалъ пьяницъ! Эхъ, сколько! Да еще не такихъ, какъ ты». Каково все это было выслушивать гордому Челкашу отъ наивнаго парня, котораго онъ презрительно называлъ «сосункомъ». Правда, онъ опять взялъ надъ парнемъ верхъ, подпоивъ его въ трактирѣ, и «чувствовалъ себя въ силѣ повернуть его жизнь и такъ и этакъ», но не надолго: возвращаясь послѣ успѣшнаго окончанія «предпріятія», на которомъ онъ «заработалъ полтысячи рублей», Челкашъ самъ увлекается мечтами парня о радостяхъ деревенской жизни («въ которыхъ самъ онъ давно разочаровался», замѣчаетъ отъ себя г. Горькій) и рисуетъ такую идиллію: «Главное въ крестьянской жизни, братъ, это свобода! Хозяинъ ты есть самъ себѣ. У тебя твой домъ,—грошъ ему цѣна, да онъ твой. У тебя земля своя,—всего и того ея горсть, да она твоя! Курица у тебя своя, яйцо свое, яблоко свое! Король ты на своей землѣ! И потомъ порядокъ... Утромъ всталъ—работа, весной одна, лѣтомъ другая, осенью, зимой—опять иная. Куда ни пойдѣ, воротись въ свой домъ. Тепло! Покой! Король вѣдь? Такъ ли?—воодушевленно закончилъ перечисленія крестьянскихъ преимуществъ и правъ и почему-то запоминать объ обязанностяхъ». Послѣднее ядовитое замѣчаніе принадлежитъ самому автору и, конечно, очень для него характерно, но не въ томъ дѣло. Дѣло въ томъ, что гордый и въ данную минуту богатый (у него пятьсотъ рублей въ карманѣ) Челкашъ съ *одушевленіемъ* сталъ вторить презираемому имъ деревенскому парню, а не наоборотъ. Парень твердо стоитъ на своей почвѣ, на своей позиціи и безъ всякаго злого умысла продолжаетъ притигать Челкаша къ землѣ: «Это, братъ родимый, вѣрно! Ахъ, какъ вѣрно! Вотъ гляди-ка на себя, что ты теперь такое безъ земли? Ага! Землю, братъ, какъ мать не забудешь надолго». Опять спрошу: каково это слушать Челкашу? И кто здѣсь является побѣдителемъ, кто кого заставляетъ



пѣтъ на свой голосъ, подъ свою дудку? Очень естественно, что Челкашъ разсердился. «Онъ почувствовалъ это раздражающее жженіе въ груди, явившееся всегда, чуть только его самолюбіе, самолюбіе безшабашнаго удальца, бывало задѣто кѣмъ-либо и особенно тѣмъ, кто не имѣлъ цѣнны въ его глазахъ. Замолотъ!—сказалъ онъ свирѣпо,—ты, можетъ, думалъ, что я все это въ серьезъ... Держи карманъ шире!»—«Конечно, милый, ты говорилъ въ серьезъ,—могъ бы отвѣтить ему Гаврило (парень),—потому что ты говорилъ о радостяхъ крестьянства съ *одушевленіемъ*, а это высшая степень искренности». Но Гаврило отвѣтилъ по-своему,—попрежнему, продолжая съ полною безсознательностью, но и съ полною увѣренностью щелкать по носу самолюбиваго босняка: «Да, чудакъ-человѣкъ!—снова оробѣлъ Гаврило.--Развѣ я про тебя говорю? *Чай такихъ-то, какъ ты, много! Эхъ, сколько несчастнаго народу на свѣтъ! Шатающихся*... Чортъ возьми! Просто вчужѣ становится, наконецъ, жалко Челкаша! Что ему оставалось дѣлать? «Садись, тюлень, въ весла!» кратко скомандовалъ Челкашъ, почему-то сдержалъ въ себѣ цѣлый потокъ горячей ругани, хлынувшей ему къ горлу. То-есть Челкашъ замолчалъ и, конечно, это было самое лучшее для него, для его самолюбія. Но вотъ мы у развязки. Слушая мечты Челкаша о томъ, какъ хорошо онъ кутнетъ на свои пятьсотъ рублей, Гаврило бросается ему въ ноги съ слѣдующей патетической рѣчью: «Голубчикъ! Дай ты мнѣ... эти деньги! Дай, Христа ради! Что онѣ тебѣ? Вѣдь въ одну ночь... только въ ночь... А мнѣ года нужно... Дай... молиться за тебя буду! Вѣдь ты ихъ на вѣтеръ... а я бы въ землю... Эхъ, дай мнѣ ихъ! Вѣдь, что въ нихъ тебѣ? Али тебѣ дорого? Сдѣлай доброе дѣло! *Пропавшій вѣдь ты... Нѣтъ тебѣ путя*... А я бы... охъ, дай ты ихъ мнѣ!» Обращаю вниманіе читателя на подчеркнутыя мною слова: наивный Гаврило даже въ эту минуту самоуниженія продолжаетъ безсознательно колотъ

болѣзненное самолюбіе Челкаша, и это оказалось самымъ дѣйствительнымъ средствомъ. «На, собака! Жри!» гаркнулъ Челкашъ, дрожа отъ возбужденія, острой жалости и ненависти къ этому жадному рабу. И, бросивъ деньги, онъ почувствовалъ себя героемъ. Удачество свѣтилось въ его глазахъ, во всей фигурѣ. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ не герой? Несомнѣнно тутъ есть великодушіе, хотя и на подкладкѣ тщеславія и бахвальства, но, къ сожалѣнію (г. Горькій талантливый, а стало быть искренній и правдивый художникъ, не уродующій фактовъ ради своихъ симпатій), даже такого великодушія Челкашъ не могъ выдержать до конца: на сорокъ второй страницѣ онъ подарилъ, а на сорокъ третьей опять отнялъ, *силой* отнялъ у Гаврилы подаренныя деньги. Очень естественно, что дѣло кончилось не по-хорошему: Гаврило пустилъ въ Челкаша камнемъ, разбилъ ему голову, но вмѣсто того, чтобъ ограбить его, со слезами сталъ просить у него прощенія. «Оба были блѣдны, жалки и страшны», замѣчаетъ г. Горькій. И, кромѣ того, глупы и нелѣпы, замѣчу я отъ себя. Кончается тѣмъ, что Челкашъ отдѣляетъ себѣ на гульбу одну сторублевку, а прочія отдаетъ Гаврилѣ — поступокъ, до котораго легко было бы додуматься и безъ кровопролитія. Оставимъ психологамъ разбирать, кто тутъ лучше или кто хуже — Челкашъ или Гаврило. Въ качествѣ нейтральныхъ зрителей мы отойдемъ съ читателемъ въ сторону и конфиденціально перешепнемся съ нимъ нѣсколькими словами: вѣдь результатъ недуренъ, не правда ли? Деревенскій тюлень былъ правъ: на что Челкашу деньги? Нѣсколькими разбитыми фізіономіями и нѣсколькими полицейскими протоколами больше — вотъ и весь возможный результатъ его внезапнаго обогащенія. А тюлень, хоть онъ и дѣйствительно тюлень, распорядится деньгами производительно, а это только и важно. Интересы общественной экономики, очевидно, въ выигрышѣ, а эстетико-психологическая точка зрѣнія г. Горькаго никакого обязатель-

наго значенія для насъ не имѣеть. Пусть Челкашъ въ глазахъ г. Горькаго будетъ хоть разгерой — все-таки это очень хорошо и для него и для всѣхъ, что его деньги нашли другое, болѣе подходящее помѣщеніе.

Съ общими выводами надо еще повременить. Передъ нами еще цѣлая коллекція «босяковъ», которую мы должны рассмотреть. Эта коллекція распадается на двѣ группы: 1) босяковъ изъ народа, 2) босяковъ интеллигентныхъ, а эти группы распадаются каждая на двѣ подгруппы: 1) босяковъ-фаталистовъ и 2) босяковъ-протестантовъ. Въ этой послѣдовательности мы и приступимъ къ ихъ анализу.

### III.

«Погибли даромъ могучія силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно» — таково было заключительное слово Достоевскаго о его герояхъ (см. эпиграфъ). Г. Горькій отнюдь не скажетъ того же о своихъ герояхъ, о «босякахъ», которые въ свою очередь очень высокаго мнѣнія о себѣ. Въ чемъ же разница собственно? Вѣдь герои Достоевскаго несомнѣнно одного поля ягоды съ героями г. Горькаго. Первые живутъ «въ мертвомъ домѣ», а вторые пока гуляютъ на свободѣ, но это разница положеній, а не характеровъ и не общей судьбы: судьба тѣхъ и другихъ состоитъ въ томъ, что они враждуютъ съ обществомъ, что они отщепенцы или отверженцы, что они не хотятъ или не умѣютъ приноровиться къ тѣмъ условіямъ жизни, среди которыхъ живемъ всѣ мы. Герои Достоевскаго *уже* перешли, герои же г. Горькаго *еще* не перешли, а готовы перейти ту черту, за которой человѣкъ утрачиваетъ право самостоятельнаго существованія, и обязанность дисциплинировать его волю беретъ на себя государство. Конечно, отъ тюрьмы да отъ сумы не отказывайся, какъ гласитъ пословица, но герои г. Горькаго на тюрьму и на суму, такъ сказать, напрашиваются. И съ полнымъ успѣхомъ:

*сумой* они уже обладают (или *сума* ими обладает), а *тюрьма* отъ нихъ, по всей вѣроятности, не уйдетъ.

«А кто виноватъ?» спрашивалъ Достоевскій и оставлялъ этотъ вопросъ безъ отвѣта. Г. Горькій надъ отвѣтомъ не раздумываетъ: виновато общество, виновата жизнь и ея ненормальный строй, а эти распрекрасные лихачи-кудрявичи съ безпокойствомъ въ сердцѣ совѣмъ-таки ни въ чемъ не виновны. Мы, читатель, съ вами, а также и съ парнемъ Гаврилой (см. раньше) мы — «ужи», которымъ предназначено пресмыкаться по землѣ, а они, всѣ эти Челкаши и т. п., — «соколы», которымъ надлежитъ парить въ небѣ. Такъ по крайней мѣрѣ силится представить дѣло г. Горькій. Рядомъ съ только что рассмотрѣннымъ нами разказомъ «Челкашъ» и какъ бы въ видѣ авторскаго комментарія къ нему помѣщена «Пѣсня о соколѣ», настоящее «стихотвореніе въ прозѣ». Умираетъ соколъ и говоритъ подползшему къ нему ужу: «Я славно пожилъ... Я много прожилъ... Я храбро бился... И видѣлъ небо. Ты не увидишь его такъ близко... Эхъ, ты, бѣдняга!» Ужъ, какъ оказалось, былъ поглупѣе много Дятла (см. раньше) и вздумалъ подражать соколу: «Въ кольцо свернувшись, онъ прынулъ въ воздухъ и узкою лентой блеснулъ на солнцѣ. Рожденный ползать — летать не можетъ! Забывъ объ этомъ, онъ палъ на камни, но не убился, а разсмѣялся». А смерть сокола воспѣли морскія волны: «О, смѣлый соколъ! Ты, жившій въ небѣ, безкрайнемъ небѣ, любимецъ солнца! Пускай ты умеръ! Но въ пѣснѣ смѣлыхъ и сильныхъ духомъ всегда ты будешь призывомъ громкимъ къ свободѣ, къ свѣту!»

Вотъ, подумаешь, какая поэзія! И по поводу кого или чего рассыпаетъ г. Горькій всѣ эти цвѣты краснорѣчія? По поводу Челкашей — не болѣе того. Вотъ здѣсь разсудительныя рѣчи Дятла были бы, пожалуй, вполне умѣстны. «Я славно пожилъ, я много прожилъ», говоритъ Челкашъ-соколъ. Жизнь безъ полезнаго труда, преисполненная без-

смысленныхъ приключеній, есть жизнь безславная и прожить такую жизнь не значить прожить много. «Я храбро бился» — съ кѣмъ и за что? Съ таможенными сторожами, оберегая контрабандный товаръ, и съ городовыми, обороняясь отъ кутузки? «Я видѣлъ небо», — ничего ты не видѣлъ, кромѣ закопченныхъ потолковъ кабаковъ и трактировъ, а если и видѣлъ воздушную лазурь, освѣщенную солнцемъ, то вѣдь и все живое на землѣ видѣло и видитъ это зрѣлище. Пустяки говорили волны: въ пѣснѣ смѣлыхъ и сильныхъ духомъ никогда ты не будешь призывомъ къ свободѣ, къ свѣту, въ истинномъ, человѣческомъ значеніи этихъ большихъ словъ. Твоя свобода — бездѣлничество и шалопаиство, не свобода честнаго труда, а свобода отъ всякаго труда. Что же касается до *свѣта*, то не тебѣ, темному хищнику, говорить о немъ.

Г. Горькій постоянно забываетъ о томъ, что его герои — люди *историческіе* не въ серьезномъ, а въ каламбурномъ значеніи этого слова, дѣлающіе не исторію, а *исторіи*. Разумѣется, люди того же самаго типа, къ которому принадлежитъ и Челкашъ, живутъ иногда подолгу въ памяти народа, несмотря даже на полнѣйшую неудачу ихъ замысловъ:

И хотя на Руси по церквамъ каждый годъ  
Человѣка того проклинають,  
Но приволжскій народъ о немъ пѣсни поетъ  
И съ почетомъ его вспоминаетъ.

Но дѣло въ томъ, что этотъ человѣкъ пилъ да ума не пропивалъ, и помыслы и мечтанія его не около кабака витали. А герои-босыяки г. Горькаго, всѣ до одинаго, никакой другой задачи въ жизни не усматриваютъ, кромѣ той, чтобы кутнуть и гульнуть во всю. Вино въ ихъ жизни играетъ роль не побочнаго и довольно случайнаго аксессуара, а является цѣлью, для достиженія которой тратятся всѣ силы ихъ ума, всѣ способности и вся энергія ихъ. Это разница существенная. Челкашъ относится къ Стенькѣ

точно такъ же, какъ кошка къ тигру: тотъ же кошачій родъ, да не тотъ видъ, не тотъ масштабъ, не тѣ силы. Кошка бываетъ очень довольна, когда поймаешь мышъ, тигру нужна дичь покрупнѣе.

Этой мелкости и слабости своихъ героевъ г. Горькій не видитъ, потому что не видитъ въ пьянствѣ порока, а видитъ въ немъ какой-то серьезный протестъ. Въ рассказѣ «Коноваловъ» мы находимъ вотъ какой разговоръ между авторомъ и героемъ рассказа: «Я началъ говорить о роковой роли кабака въ жизни русскаго литератора, о тѣхъ крупныхъ и искреннихъ талантахъ, что погибли отъ водки—единственной утѣхи ихъ многотрудной жизни.—Да развѣ такіе люди пьютъ? шопотомъ спросилъ меня Коноваловъ. Въ его широко открытыхъ глазахъ сверкало и недовѣріе ко мнѣ, и испугъ, и жалость къ тѣмъ людямъ.—Пьютъ! Что же они... послѣ того, какъ напишутъ книги, запиваютъ?—Это, по-моему, былъ неумѣстный вопросъ, и я на него не отвѣтилъ.—Конечно, послѣ... рѣшилъ Коноваловъ. Живутъ люди и смотрятъ въ жизнь и вбираютъ въ себя чужое горе жизни. Глаза у нихъ, должно быть, особенные... И сердце тоже... Насмотрятся на жизнь и затоскуютъ... И зальютъ тоску свою въ книги... Но это ужъ не помогаетъ, потому сердце тронута и изъ него тоски огнемъ не выжжешь... Остается водкой ее заливать. Ну, и пьютъ. Такъ я говорю?—Я согласился съ нимъ».

Авторъ *согласился* съ своимъ философствующимъ собесѣдникомъ, да и не могъ не согласиться, потому что самъ провозгласилъ водку *единственною утѣхою* нѣкоторыхъ крупныхъ русскихъ писателей. Противъ *единственной утѣхи* какъ возставать? Имѣютъ же право люди на утѣшеніе, а тѣмъ болѣе такіе хорошие люди, и пусть общество глядитъ да казнится, до чего оно доводитъ своихъ лучшихъ сыновъ. Такова мысль талантливаго автора. Что же это такое, спрошу я, какъ не апологія пьянства? Точно такъ же разсуждаютъ и сами босяки: знакомый уже намъ

Григорій Орловъ восклицаетъ: «Развѣ я могу не пить, коли въ этомъ моя радость?» А другой босякъ (въ рассказѣ «Мальва»), которому совѣтуютъ купить штаны, выражаетъ ту же мысль еще обстоятельнѣе: «Мнѣ попъ говорилъ, что человѣкъ не о шкурѣ своей долженъ заботиться, а о душѣ. А душа у меня требуетъ водки, а не штановъ». Это, если хотите, логично. Но логично разсудимъ и мы, если замѣтимъ, что душа, требующая водки, какъ радости,—душа небольшихъ размѣровъ и очень невысокаго полета. А главное—все это неискренно: босяки г. Горькаго пьютъ и съ радости, пьютъ и съ горя, пьютъ и тогда, когда нѣтъ ни радости, ни горя, и это называется пить «со скуки». А такъ какъ человѣческая душа непременно находится въ одномъ изъ этихъ трехъ состояній (радостномъ, горестномъ, безразличномъ), то поводъ къ пьянству всегда у босяка имѣется въ наличности. Что же касается до «крупныхъ и искреннихъ талантовъ», которые погибли отъ водки и на которыхъ ссылается г. Горькій, то, надо полагать, обладатели этихъ талантовъ не могли, какъ люди умные, не понимать, что причина *шбел* не можетъ быть *единственной утѣхой*.

Я запѣлъ бы смѣло,  
Да не та мнѣ доля:  
Уходило тѣло,  
Износилась воля.

Эту *изношенность воли* превосходно сформулировалъ одинъ изъ «крупныхъ и искреннихъ талантовъ» нашихъ, а именно Помяловскій: «не хочется захотѣть»—вотъ какъ отвѣчалъ Череванинъ Молотову на его горячія убѣжденія и предостереженія. Неужели Череванинъ-Помяловскій могъ не понимать, что эта изношенность воли, эта атрофія самочувствія, характеризующаяся формулой «не хочется захотѣть», можетъ доставить человѣку, ясно ее сознавшему, что-нибудь кромѣ тоски или даже отчаянія? Хороша *единственная утѣха*! Не вѣрнѣ ли было бы назвать ее

*единственнымъ проклятіемъ? Вѣдь, хоть бы у того же Помяловскаго былъ и большой талантъ, и физическое здоровье, и умственное развитіе—все это необходимо для самой плодотворной дѣятельности, для самой энергичной работоспособности и все это было потушено виномъ, утоплено на днѣ бутылки. Тутъ отчаяніе, тутъ смерть, а не радость и не утѣха. «Думаешь ли ты, продавецъ, что мнѣ этотъ полуштофъ въ сласть пошелъ? Скорби, скорби искалъ я на днѣ его и вкусилъ, и обрѣлъ, а простить насъ Тотъ, Кто всѣхъ простилъ, Онъ единый, Онъ и Судія!» Такъ, на своемъ комически-витіеватомъ языкѣ, восклицалъ Мармеладовъ, и въ этихъ словахъ слышится покаяніе, а не похвальба, сожалѣніе о разбитой жизни своей. А вѣдь, казалось бы, чтó ужъ такъ Мармеладову жалѣть о неудавшейся жизни? Вѣдь его *удавшаяся*, то-есть вполнѣ трезвая и корректная, жизнь все-таки была бы не болѣе какъ тихонькимъ прозябаніемъ исправнаго столоначальника, какихъ на свѣтѣ тысячи. Во сколько разъ должны быть жгучѣе муки самобичеванія того, кто одаренъ судьбою силами исключительными, отмѣченъ талантомъ и кто самъ, собственными руками, погубилъ этотъ талантъ, скрывавшій въ себѣ горькій источникъ чистѣйшихъ и уже вполнѣ реальныхъ *утѣхъ и радостей?**

Идеализировать пьянство хуже, нежели идеализировать воровство. Мы, не исключая и простой народъ, давно уже стоимъ на той нравственной ступени, на которой идеализація воровства и всяческаго хищничества не можетъ представлять большой опасности. По отношенію къ пьянству мы всѣ находимся совсѣмъ въ иномъ положеніи. «Я былъ вчера пьянъ» или «я, грѣшнымъ дѣломъ, былъ вчера выпивши»—это, безъ особаго конфуза, скажетъ и интеллигентъ и мужикъ, но никто изъ нихъ не скажетъ: «я вчера благополучно своровать успѣлъ». Да, конечно, въ числѣ десяти заповѣдей нѣтъ заповѣди «не пей», но есть у насъ апостольскій завѣтъ, преисполненный глубокаго значенія.



«Духа не угашайте» — вотъ этотъ завѣтъ. Это гораздо общѣе и глубже, нежели другой, специальный завѣтъ «не упиваться виномъ, въ немъ же есть блудъ». Угашать свой духъ — значить омрачать свое сознание и нейтрализовать свою энергію, и изъ всѣхъ искусственныхъ средствъ, ведущихъ къ этой цѣли, вино является однимъ изъ главныхъ. А это, въ свою очередь, значить выводить себя изъ рядовъ тружениковъ и увеличивать собой число паразитовъ, — и это самое мы видимъ у босяковъ. «Научился я мастерству... это вотъ зачѣмъ? Какое въ этомъ для меня удовольствіе? Сижу въ ямѣ и пью... Потомъ помру. И зачѣмъ это нужно, чтобъ я жилъ, шилъ и померъ, а?» Такъ разсуждаетъ нашъ знакомецъ Григорій Орловъ, а другой босякъ выражается о томъ же (сидя въ кабацѣ) еще прямо: «Работа? Да развѣ человѣкъ для этого на свѣтъ родился?»

А, въ самомъ дѣлѣ, для чего человѣкъ на свѣтъ родится? Индивидуалисты и сенсуалисты по преимуществу, босяки согласнымъ хоромъ отвѣчаютъ на этотъ вопросъ: для радости, для наслажденія, для счастья. А въ чемъ счастье? Въ освобожденіи себя отъ обязанностей и главнымъ образомъ отъ тѣхъ, которыя вытекаютъ изъ общаго долга: *въ потъ лица своего пѣтъ хлѣбъ свой*. Авторъ, какъ мы видѣли, весьма замѣтно склоняется къ этой же философіи, при чемъ, во имя послѣдовательности, ему приходится брать подъ свою защиту и безшабашное пьянство и безстыдный паразитизмъ своихъ героевъ. Но мы не даромъ указывали, что г. Горькій — писатель еще не опредѣлившійся, философъ не установившійся, идеалистъ, идеала себѣ еще окончательно не выбравшій. Вотъ почему на основной вопросъ всякой философіи — *чѣмъ и зачѣмъ жить?* — мы найдемъ у него отвѣтъ, идущій рѣшительно въ разрѣзъ съ тѣмнтенденціями, выразителями которыхъ являются милые его сердцу босяки. Отвѣтъ этотъ до такой степени замѣчательнъ, и его главная мысль до того намъ

представляется вѣрной, что его необходимо привести, если не пѣбликомъ, то съ выборкою изъ него самыхъ существенныхъ положеній. Выборки эти я соединю въ одну большую цитату, за величину которой я *не* извиняюсь передъ читателями.

«Ты, слушай! Ты меня непустишь на подвигъ? Пусти! Я пойду и созову всѣхъ ихъ въ поле. Тамъ соберемся всѣ мы, нищіе духомъ, и грустно уйдемъ отъ жизни, нищіе духомъ! Но не радуйся! И всѣ твои — пусть они не радуются нашему пораженію, хотя мы и признаемъ его, ибо уходимъ изъ жизни, нищіе духомъ, и съ разбитыми щитами надеждъ въ рукахъ и безъ брони вѣры, потерянной нами въ битвахъ. Мы воротимся, богатые силой творить и вооруженные крѣпкою вѣрой въ себя, ея же нѣтъ крѣпче оружія! Ты понялъ? Я хочу вывести вонъ изъ жизни всѣхъ тѣхъ людей, которые, несмотря на свои пятна, есть все-таки самые свѣтлые люди жизни... Они погибаютъ отъ тоски одиночества и вашего гоненія на нихъ. Они, видишь ли, задыхаются въ смятѣніи жизни, которымъ ты дышишь легко. Ты знаешь людей въ плѣну у жизни? Это тѣ люди, которые хотѣли быть героями, а стали статистиками и учителями. Они нѣкогда боролись съ жизнью, но были побѣждены ею и взяты въ плѣнъ ея мелочами... Вотъ о нихъ-то говорю я и это ихъ хочу спасти... Ты понялъ? Они погибаютъ, ибо гонимы, ибо всѣ смотрятъ на нихъ, какъ на враговъ, а сами они враги себѣ. Разсѣянные повсюду, они погибаютъ отъ сомнѣнія и тоски. И вотъ ихъ я соберу воедино... Я наложу на всѣхъ одну обязанность—творить. Твори, ибо ты человѣкъ! прикажу я каждому. Это будетъ грандіозно! Ты хочешь быть? Твори новое! Дай что-нибудь людямъ, дай имъ, ибо они жалки и бѣдны!»

Пусть читатель не удивляется вѣдшней безсвязности этого монолога: онъ увидитъ дальше, что это совершенно въ порядкѣ вещей, что авторъ монолога *не могъ* выра-

жаться въ болѣе точной и логичной формѣ. Но, помимо формы, что вы скажете объ основной мысли монолога? Мысль эта состоитъ въ приглашеніи людей къ *творчеству*, къ соизданію *новаго*. Бросается въ глаза прежде всего, что такая программа вполнѣ устраняетъ одинъ изъ тѣхъ стульевъ, между которыми усѣлся на полу г. Горькій. Если жизнь есть творчество, если въ творествѣ состоитъ призваніе человѣка, если съ миссіей творить и создавать является человѣкъ на землю, то во что же превращается та проповѣдь квіетизма, которую мы слышали отъ г. Горькаго черезъ посредство босаяцкихъ устъ? «Все въ порядкѣ—ныть и плакать не стоитъ. Законы-съ, противъ нихъ невозможно итти. Какъ можно имъ противиться, ежели у насъ всѣ орудія въ умѣ нашемъ, а онъ тоже подлѣжитъ законамъ и силамъ? Значить, живи и не кобенься». Приказъ человѣку «твори!» съ совѣтомъ тому же человѣку—«не кобенься» очевидно примирены быть не могутъ. И если «все въ порядкѣ», то зачѣмъ хлопотать о внесеніи въ жизнь чего-нибудь *новаго*? «Только и есть на землѣ всѣхъ умныхъ словъ», говорилъ г. Горькій о своемъ философскомъ фатализмѣ. Оказывается, не только: *твори, человекъ!* то-есть дѣйствуй, работай, совершенствуй свою личную и общую дѣйствительность—вотъ еще умное слово, прямо претивоположное тѣмъ словамъ, которыя будто бы только одни и остались въ нашемъ умственномъ обиходѣ. Если законы природы слѣпы, то это не значитъ, что они требуютъ отъ насъ слѣпого же и подчиненія себѣ, а слѣдуетъ только то, что съ ними надо сообразоваться, надо къ нимъ приспособляться, надо, пользуясь ихъ слѣпотой, ихъ равнодушіемъ («равнодушная природа»), овладѣть ими для осуществленія своихъ идеаловъ и цѣлей. Ничего другого лучшіе, сильнѣйшіе изъ людей и не дѣлали: они именно *творили*, внося въ общее сознаніе новыя понятія о законахъ и силахъ природы,—это, во-первыхъ; а, во-вторыхъ, они поставляли равнодушныя силы

природы въ такіа комбинаціи между ними, которыя приводили не къ безразличному, а къ *разумному* результату, къ результату *полезному* для человѣчества. Ядъ есть ядъ въ рукахъ природы, но въ рукахъ человѣка онъ нерѣдко превращается въ противоядіе. Но *творить* въ этомъ смыслѣ могутъ не всѣ, а только избранные между нами. Зато *трудиться* могутъ всѣ, за исключеніемъ дѣтей и инвалидовъ, и вотъ тотъ *общій* приказъ, съ которымъ можно обратиться къ людямъ. Трудись, человѣкъ! Ты хочешь быть? Создавай вещи, увеличивай сумму общаго богатства! Вотъ какъ измѣнили бы мы формулу г. Горькаго, съ его позволенія. Но въ томъ и дѣло, что такого позволенія, несмотря на всю его очевидную логическую обязательность для автора, намъ не дожидаться ни отъ г. Горькаго, ни отъ его героевъ.

Приведенный выше монологъ произноситъ у г. Горькаго человѣкъ *сумасшедшій*... то-есть сумасшедшій не въ какомъ-нибудь хитромъ, аллегорическомъ смыслѣ, а въ самомъ простомъ, медицинскомъ, — сумасшедшій, котораго лѣчатъ, котораго изолируютъ, на котораго приходится временами надѣвать для укрощенія смиренную рубашку. Что бы такое могъ означать собою такой авторскій приемъ? Если г. Горькій хочетъ внушить читателю мысль, что только люди больного духа могутъ мечтать и говорить о творествѣ, то такое намѣреніе не обратится ли прежде всего противъ самого автора, въ трудъ котораго очень замѣтенъ элементъ творчества, именно и придающій рассказамъ г. Горькаго всю ихъ значительную литературную цѣнность? Это такъ просто понять. По всей вѣроятности, никакихъ заднихъ мыслей, никакихъ тайныхъ коварныхъ намѣреній у г. Горькаго нѣтъ и не бывало, а онъ простодушно не знаетъ, какъ ему быть: съ одной стороны, выше собственной головы не прыгнешь, «потому — законы-съ», а съ другой — ясно, что человѣкъ, пока живъ и въ силахъ, будетъ прыгать, долженъ прыгать, не можетъ

не прыгать. А вотъ такъ: на всякій случай философію квіетизма г. Горькій вложилъ въ уста безрукаго (т. - е. опять-таки буквально *безрукаго*, человѣка съ оторванными машиной руками) рабочаго, а философію активнаго творчества, дѣятельной любви, онъ предоставитъ развивать умоповрежденному человѣку. Такимъ образомъ съ г. Горькаго взятки гладки. Ну, конечно, что же *безрукому* и дѣлать остается, какъ только *не кобениться*, и о чемъ же ему философствовать, какъ не о жестокой силѣ неумолимыхъ законовъ природы! Точно такъ же человѣку, энергію котораго приходится сдерживать насильственными средствами, вполне прилично говорить объ активности, философствовать о необходимости творчества. Несмотря на всѣ такія предосторожности, г. Горькій все-таки выдаетъ читателю свою настоящую мысль: онъ—фаталистъ, а не протестантъ, философія безрукаго ему ближе и роднѣе, нежели философія маньяка. Пріятелю-босяку г. Горькій вотъ что проповѣдывалъ однажды: «Я съ жаромъ расписывалъ ему его жизнь и доказывалъ, что онъ не виноватъ въ томъ, что онъ таковъ, какъ есть, что онъ, какъ фактъ, вполне логиченъ и совершенно правильно обоснованъ длиннымъ рядомъ посылокъ изъ далекаго прошлаго. Онъ—печальная жертва условій, существо, по природѣ своей, со всѣми равноправное и длиннымъ рядомъ историческихъ несправедливостей сведенное на степень соціального нуля. Я кончилъ объяснять его ему тѣмъ, что сказалъ еще разъ: тебѣ не въ чемъ винить себя... Тебя обидѣли». Такимъ образомъ мы съ г. Горькимъ опять уперлись въ глухую стѣну. Если босякъ ни въ чемъ не виноватъ, то не виноватъ и тотъ, кто сдѣлалъ его босякомъ, да и, вообще, никакой исторической несправедливости нѣтъ, а есть только историческая логика, обусловленная рядомъ посылокъ изъ далекаго прошлаго. А какъ же творчество? Какъ быть съ обязанностью *творить новое*, трудиться надъ вещами и, между прочимъ, надъ дѣломъ собственнаго

совершенствованія? Неужели все это надо предоставить на долю «сумасшедших»? Теоретическія воззрѣнія г. Горькаго очевидно находятся въ весьма плачевномъ состояніи.

#### IV.

Въ предыдущей главѣ мы, повидимому, говорили только о г. Горькомъ, но на самомъ дѣлѣ мы все время говорили объ его герояхъ. Я уже назвалъ г. Горькаго *идейнымъ лирикомъ*, а что же можетъ быть субъективнѣе лирика? Г. Горькій не изображаетъ жизнь своихъ героевъ, а переживаетъ ее вмѣстѣ съ ними, волнуясь съ ними одинаковыми чувствами и вращаясь въ циклѣ ихъ умственныхъ интересовъ. Интеллигентность автора тутъ ничему не мѣшаетъ: во-первыхъ, между босяками не мало интеллигентныхъ людей, а во-вторыхъ, сама жизнь заставляетъ босяковъ философствовать, безпрестанно обращая ихъ мысль на ихъ странно сложившуюся судьбу. Самая неразвитая мысль естественно приходитъ въ концѣ этихъ философствованій къ вопросу: кто виноватъ? А какъ разъ около этого вопроса вращается и мысль самого автора, рѣшающаго его, какъ мы видѣли, и такъ и этакъ, то въ смыслѣ оправданія личности передъ обществомъ, то наоборотъ.

Коренное различіе между босяками-фаталистами и босяками-протестантами состоитъ въ различномъ отношеніи именно къ этому вопросу о виновности: фаталистъ оправдываетъ все и всѣхъ, кромѣ себя; протестантъ обвиняетъ все и всѣхъ, кромѣ себя. Согласно плану статьи я буду теперь говорить о босякахъ изъ народа. Вотъ, на прим., Коноваловъ. «По костюму это былъ типичный босякъ, по фигурѣ и лицу настоящій славянинъ, рѣдкій экземпляръ расы». Такъ рекомендуетъ Коновалова авторъ, а вотъ какъ рекомендуетъ его хозяинъ-пекарь, у котораго Коноваловъ работаетъ: «Коновалова никто не обидѣлъ, потому онъ самъ никого не обижаетъ». Наконецъ, вотъ что пи-

шетъ Коновалову влюбленная въ него женщина: «ничего я отъ тебя кромѣ хорошаго не видѣла: ты былъ одинъ еще первый такой, и я про это не забуду». Я спрошу читателя: кого напоминаетъ Коноваловъ: озорливаго Ваську Буслаева или добродушнаго Илью Муромца? Разумѣется, послѣдняго, и тѣмъ не менѣе Коноваловъ—несомнѣнный босякъ по своей безхозяйственности, непосѣдливости. «Тянетъ меня куда-то,—говорить онъ:—кабы не моя планета, не ушелъ бы», говорилъ онъ же. Это чистопробный фатализмъ, но Коноваловъ не довольствуется указаніемъ на свою *планету*, а старается уяснить себѣ дѣло ближе: «На меня,—говорить онъ,—видишь ты, тоска находить. Такая, скажу я тебѣ, тоска, что невозможно мнѣ въ ту пору жить, совсѣмъ нельзя. Какъ будто я одинъ человекъ на всемъ свѣтѣ, и кромѣ меня нигдѣ ничего живого нѣтъ. И все мнѣ въ ту пору противѣтъ, все какъ есть, и самъ я себѣ становлюсь въ тягость, и всѣ люди хоть помирай они—не охну. Болѣзнь это у меня, должно быть. Съ нею я и пить началъ, раньше не пилъ». Мы уже видѣли у г. Горькаго купца Тихона Павловича, о которомъ я сказалъ, что «это степенный Илья, которому наскучило съ утра до вечера степенничать и захотѣлось окунуться на время въ Васькино безпутство». Коноваловъ—это по своей природѣ тоже степенный Илья, но не окунувшійся, а уже совсѣмъ захлебнувшійся въ босяцкомъ безпутствѣ. Вотъ почему весь его нравственный обликъ подернутъ тѣнью глубокой грусти, безъ малѣйшей примѣси Васькиной похвалы и ухарства. Коноваловъ—живой упрекъ всѣмъ истымъ Васкамъ, потому что онъ казнить себя за свое безпутство, за свою бесполезность, а не величается этими свойствами. Онъ прямо говоритъ: «жизнь моя безъ всякаго оправданія. Зачѣмъ я живу на землѣ и кому я на ней нуженъ, ежели посмотреть? Ни угла своего, ни жены, ни дѣтей... и ни до чего до этого даже и охоты нѣтъ. Живу и тоскую... про что? Неизвѣстно. Въ родѣ того со мной, какъ бы меня мать

на свѣтъ родила безъ чего-то такого, что у всѣхъ другихъ людей есть, и что человѣку прежде всего нужно. Внутренняго пути у меня нѣтъ... понимаешь? (NB: вспомните, читатель, парня Гаврилу, который говорилъ Челкашу: «пропащій ты, нѣтъ у тебя пути!») Какъ бы это сказать? Этакой искорки въ души нѣтъ... силы, что ли?»

Превосходно, въ полномъ смыслѣ слова превосходно! Этотъ горячій комплиментъ я адресую художнику Горькому, съ такою правдой и силой изобразившему внутренній разладъ своего героя, но съ мыслителемъ Горькимъ я долженъ тотчасъ же вступить въ полемику. Дѣло въ томъ, что самобичеваніе Коновалова, трогательное и примиряющее съ нимъ насъ, г. Горькаго «*побысило*» — подлинное выраженіе автора. Бысило это г. Горькаго вотъ почему: «Коноваловъ съ такимъ легкимъ духомъ выдѣлялъ себя изъ жизни въ разрядъ людей, для него ненужныхъ и потому подлежащихъ искорененію, съ такою смѣющеюся грустью, что я былъ положительно ошеломленъ этимъ фатальнымъ самоуниженіемъ, до той поры еще не виданнымъ мною у босняка, въ массѣ своей—существа отъ всего оторванного, всему враждебнаго и надъ всѣмъ готоваго испробовать силу своего озлобленнаго скептицизма. Я встрѣчалъ только людей, которые всегда все винили и на все жаловались, упорно отодвигая самихъ себя въ сторону отъ ряда очевидностей, и всегда сваливающихъ свои неудачи на безмолвную судьбу, на злыхъ людей. Коноваловъ судьбы не винилъ и о людяхъ не говорилъ ни слова. Во всей неурядицѣ своей личной жизни былъ виноватъ только онъ самъ, и чѣмъ упорнѣе я старался доказать ему, что онъ жертва среды и условий, тѣмъ настойчивѣе онъ убѣждалъ меня въ своей виновности передъ самимъ собою и жизнью за свою печальную долю».

Илья Муромецъ, бесѣдующій съ Васькой Буслаевымъ, парень Гаврило, бесѣдующій съ Челкашемъ, Коноваловъ, бесѣдующій съ г. Горькимъ,—все это частные эпизоды



одного и того же великаго русскаго спора, одной великой коллизіи двухъ національныхъ типовъ нашихъ, столь несходныхъ и столь родственныхъ между собою и—главное—столь другъ другу необходимыхъ. Но Коноваловъ не рѣчистъ, и гдѣ жъ ему было сражаться съ г. Горькимъ, который однако, сказать къ слову, такъ и не смогъ сбить Коновалова съ его позиціи, несмотря на все превосходство своего развитія. Попробую я замѣнить собою Коновалова въ спорѣ съ г. Горькимъ и начну разговоръ наивною, но характерною фразою Коновалова: *«Да, братъ, очень нуженъ для жизни порядокъ поступковъ...»*.

Да, г. Горькій, очень нуженъ порядокъ рѣшительно во всѣхъ сферахъ жизни—общественной и личной. Если какая-нибудь страна велика и обильна, а порядка въ ней нѣтъ, то граждане этой страны готовы будутъ даже національнымъ своимъ самолюбіемъ—если ужъ не національной свободой—поступиться, лишь бы учредить у себя порядокъ, безъ котораго и обиліе не въ обиліе. Не знаете ли вы такихъ примѣровъ въ исторіи? Высшая степень гражданскаго безпорядка—это кулачное право, право червленаго вяза, то право, которое такъ наглядно изобразилъ вамъ вашъ же герой, Емельянъ Пиляй: *«Права! Вотъ они, права!—у моего носа красовался внушительный жилистый кулакъ Емельяна»* (II, стр. 279). Какъ вы себя чувствовали въ этотъ моментъ, г. Горькій? То-то! Но вѣдь именно только это право и проповѣдуютъ и признаютъ *симпатичные* вамъ герои и именно этого права и не терпятъ ни Илья, постоянно воевавшій со всякими соловьями-разбойниками, ни Гаврило (*«гуляй, коли сумѣешь себя въ порядкѣ держать, Бога помни»*), ни Коноваловъ, который, по постороннему свидѣтельству, *«никого не обижаетъ»*. Въ личной жизни порядокъ нуженъ въ такой же степени, какъ и въ общественной. *Упорядоченная* личная жизнь есть жизнь правильно-распределеннаго труда, который будетъ тѣмъ производительнѣе, чѣмъ это его распределе-

ніе будетъ тщательнѣе. Не умѣренность и аккуратность проповѣдую я,—и съ російской ироніей на этотъ счетъ вы не торопитесь. Умѣренность и аккуратность—качества прекрасныя, но подчиненныя, служебныя, прекрасныя не сами по себѣ, а лишь постольку, поскольку они способствуютъ проявленію вдохновенія, таланта, страсти и другихъ свойствъ высшей категоріи. Это—рельсы, по которымъ быстро несется впередъ пылающій, разгоряченный локомотивъ, увлекая за собою длинный рядъ вагоновъ. Вы, такой большой мастеръ на аллегоріи, безъ труда поймете мою незамысловатую метафору. Да, движемся мы силою упругаго пара, заключеннаго въ локомотивъ, но движемся не иначе, какъ по рельсамъ, и если соскакиваемъ съ нихъ, то... нехорошо бываетъ. Ваши любимые герои—это именно соскочившіе съ рельсовъ локомотивы, да такъ соскочившіе въ большинствѣ случаевъ, что ужъ никуда, какъ только въ ломъ, и не годятся больше. Коноваловъ это инстинктивно чувствуетъ по отношенію къ себѣ, и вотъ причина его грусти надъ собою,—грусти, возбуждающей въ васъ столь странное негодованіе. Да, конечно, это наше родное, російское:

Не пойдетъ нашъ поѣздъ, какъ идетъ нѣмецкій:  
То соскочить съ рельсовъ, съ силой молодецкой,  
То обвалить насыпь, то мостокъ продавить,  
То на встрѣчный поѣздъ ухарски направить.

Но вѣдь это только печально и любоваться тутъ нечѣмъ. Я знаю, это ухарство органически соединено съ другими, положительными качествами, являясь ихъ изнанкой, но все-таки *само по себѣ* оно великій недостатокъ, а не достоинство. Коноваловъ совершенно правъ въ своей грусти и въ своемъ самобичеваніи; вы совершенно неправы въ своемъ самодовольствѣ и въ своемъ самовосхваленіи. Да, очень нуженъ порядокъ поступковъ.

Вотъ что сказалъ бы я г. Горькому на мѣстѣ Коновалова, а вотъ что я сказалъ бы Коновалову на мѣстѣ г.

Горькаго: Никакой такой планеты у человека нѣтъ, никакой роковой, неотразимой судьбы надъ нимъ не тяготеетъ: жизнь его складывается изъ взаимодействія обстоятельствъ и его собственной воли. Отчего ты такъ увѣренъ, что въ тебѣ нѣтъ «искорки», т. е. вотъ этой самой доброй воли? Отчего ты думаешь, что тебя такимъ «мать на свѣтъ родила»? Вотъ это самое главное и самое вредное. Сказать себѣ фаталистически: у меня нѣтъ внутренней силы, нѣтъ отъ природы, по велѣнію судьбы,—сказать это значить дѣйствительно лишить себя силы, которая на дѣлѣ навѣрное есть и ждетъ лишь, когда наконецъ ее призвать обнаружиться. «Тоска находить... такая тоска, что невозможно мнѣ въ ту пору жить...» Вѣрю твоей искренности, но скажи по совѣсти: пробовалъ ли ты когда-нибудь избыть эту тоску не съ помощью кабака, а другими средствами? И если пробовалъ, то послѣ одной-другой неудачи не прекратилъ ли ты свои попытки бороться съ тѣмъ, что ты называешь своею «болѣзнью»? Ничего, молъ, не подѣлаешь, такова ужъ видно моя судьба, такимъ меня мать на свѣтъ родила. Но развѣ такъ борются, даже развѣ такъ лѣчатся? Твоя «болѣзнь» въ тебѣ самомъ, но въ тебѣ же самомъ и лѣкарство противъ этой болѣзни. Никакихъ порошковъ и примочекъ для духа, въ родѣ тѣхъ, какихъ требовалъ «Неизлѣчимый» Глѣба Успенскаго, не существуетъ, и нужно для выздоровленія только не *утишать духа*, который самъ себѣ поможетъ. Тоска? Потерпи ее какъ зубную боль—вотъ и весь секретъ. Эта тоска—только особое состояніе нашихъ нервовъ (есть такая штука въ каждомъ человѣкѣ), а никакое особое состояніе не можетъ быть вѣчнымъ, даже не можетъ быть длительнымъ. Первое, самое главное у тебя уже есть: ты считаешь себя неправымъ, въ своемъ пьянствѣ ты видишь вину, бѣду, а не удачъ молодецкую. Второй шагъ будетъ состоять въ томъ, что ты свою бѣду рѣшишься считать поправимою—и приступишь къ ея ис-

правленію. Придетъ тоска—сожми голову руками, стисни зубы и перетерпи; тоска эта довольно скоро превратится въ скуку — и тогда надѣйся: эта скука только отдыхъ усталой души, а въ этомъ отдыхѣ твое исцѣленіе. А что дальше? А дальше я напомню тебѣ твой собственный разговоръ съ г. Горькимъ: «Да погоди,—кричалъ я (т.-е. г. Горькій),—какъ можетъ человѣкъ устоять на ногахъ, коли на него со всѣхъ сторонъ разная сила претъ?—Упрись крѣпче!—возглашалъ мой оппонентъ (т.-е. ты, Коноваловъ!), горячася и сверкая глазами.—Да во что упереться?—Найди свою точку и упрись!—А ты чего же не упирался?—Вотъ я-те и говорю, чудакъ человѣкъ, что я самъ виновать въ моей долѣ! Не нашелъ я точки моей! Ищу, тоскую—не нахожу!» Всѣ симпатіи наши въ этомъ спорѣ, разумѣется, принадлежать Коновалову. Но о какой таинственной «точкѣ» говорить онъ? Г. Горькому, какъ человѣку умственно-развитому, было бы не трудно объяснить это своему простодушному и несчастному собесѣднику. Точка опоры для всякаго человѣка—нужно ли говорить—это трудъ по силамъ и по способностямъ; «работающій человѣкъ всегда добръ», замѣтилъ образцовый труженикъ—Зола. «Вѣрь, ни единый песъ не взвылъ тоскливѣе лѣнтяя», сказалъ другой, тоже очень хорошій работникъ—Некрасовъ. Прекрасный образчикъ этого тоскливаго воя и этой безпредметной злости на все и на всѣхъ мы находимъ въ разговорѣ автора съ извѣстнымъ уже намъ Гришкой Орловымъ, бросившимъ свое ремесло и окончательно превратившимся въ босяка: «Вотъ такъ-то значить, Максимъ Савватѣичъ, приподняло меня, да и шлепнуло. Такъ я никакого геройства и не совершилъ. А и по сю пору хочется мнѣ отличиться на чемъ-нибудь... Раздробить бы всю землю въ пыль или собрать шайку товарищей и жидовъ перебить... всѣхъ до одного! Или, вообще, чтонибудь этакое, чтобы встать выше всѣхъ людей и плюнуть на нихъ съ высоты... И сказать имъ: ахъ, вы, гады! Зачѣмъ

живете? Какъ живете? Жулье вы лицемѣрное и больше ничего! И потомъ внизъ тормашками съ высоты и... и вдребезги! Я родился съ беспокойствомъ въ сердцѣ... и судьба моя—быть босякомъ! Пью? Конечно, а какъ же? Все-таки водка—она гаситъ сердце... А горитъ сердце большимъ огнемъ... Противно все, города, деревни, люди разныхъ калибровъ... тьфу!» *Этому* оратору г. Горькій не возражалъ, тогда какъ Коновалова оспаривалъ съ большою запальчивостью. «Беспокойство въ сердцѣ» Орлова, которымъ онъ похвывается и которымъ онъ очаровалъ автора, совсѣмъ не то «святое беспокойство», которое воспѣлъ Некрасовъ: это недовольство неудачника, это завистливая злоба человѣка, которому не куда итти и не на что надѣяться. «Раздробить бы всю землю въ пыль»—это говоритъ Орловъ *теперь*, но, до своего превращенія въ босяка, онъ мечталъ о спасеніи людей отъ холеры: разница въ настроеніяхъ, какъ видите, огромная, и эта разница происходитъ отъ различія положеній. Коноваловъ кончилъ свою неудавшуюся жизнь самоубійствомъ, Орловъ, что весьма вѣроятно, закончитъ свою карьеру убійствомъ, и который же изъ этихъ двухъ исходовъ достойнѣе? А вѣдь, въ общемъ, положеніе того и другого одинаково: оба они выше своего ремесла (Орловъ—сапожникъ, Коноваловъ—пекаръ) и оба они не сумѣли найти для себя такого дѣла, которое потребовало бы отъ нихъ всей ихъ энергіи и тѣмъ самымъ дисциплинировало ихъ. Но Коноваловъ по натурѣ своей «мірской» человѣкъ, какъ бы созданный для того, чтобы жить подъ «властью земли», тогда какъ Орловъ—чистѣйшій индивидуалистъ. Вотъ почему Коноваловъ умираетъ какъ жилъ, «никого не обижая», тогда какъ Орлову надо кому-то и за что-то отомстить. Коноваловъ—типъ по преимуществу деревенскій; Орловъ—типъ по преимуществу городской.

Но Орловъ, по его умственной неразвитости, слишкомъ ужъ примитивный протестантъ. Обругать всѣхъ людей га-

дами и жуликами—это только глупо, и подобнаго рода сапожническій пессимизмъ даже интереса къ себѣ не возбуждаетъ. Но у г. Горькаго есть еще другіе экземпляры «протестантовъ», къ интеллигенціи хотя не принадлежащихъ, но уже старающихся осмыслить и мотивировать свои дѣйствія. Вотъ наборщикъ провинціальной газеты, Гвоздевъ, подстроившій редактору, своему товарищу дѣтства, дерзкую и злую каверзу. Объясняетъ онъ свой поступокъ такимъ образомъ: «Такъ вотъ, Митрій Павловичъ (редакторъ), значить оно и выходитъ, что я одного съ вами гнѣзда птица... Да! А полеты у насъ разные. И какъ вспомню я, что вѣдь вся разниа между мной и моими товарищами бывшими только въ томъ, что не сидѣлъ я въ гимназіи за книгами,—горько и тошно мнѣ бываетъ... Развѣ въ этомъ человекъ? Въ душѣ онъ, въ чувствахъ къ ближнему своему... Ну, вотъ, вы мой ближній, а какую я цѣну имѣю для васъ? Вѣрно, что я для васъ пустое мѣсто. Есть я или нѣтъ меня, вамъ все равно наплевать. Затѣмъ вамъ душа моя? Живу я одинъ на свѣтѣ и всѣмъ людямъ, меня знающимъ, очень надоѣлъ. Поэтому у меня характеръ злой, и очень я люблю разные фокусы выкидывать. Однако у меня чувства вѣдь тоже есть и умъ есть... Я чувствую обиду въ моемъ положеніи. Чѣмъ я хуже васъ? Только моимъ занятіемъ... Я говорю про несправедливость жизни. Развѣ можно меня съ какой-нибудь точки забраковать? А я забракованъ въ жизни, нѣтъ мнѣ въ ней хода...»

Таковъ протестъ Гвоздева. Редакторъ началъ было говорить о томъ, что нужно примѣнить другую точку зрѣнія, но Гвоздевъ возраженія не принялъ: «Опять ваша точка зрѣнія! Эхма, господа, господа! Умомъ-то вы награждены, а сердце-то видно... Вы мнѣ скажите что-нибудь такое, чтобъ мнѣ по недугу пришлось... вотъ!» Это ужъ не праздная болтовня Орлова,—въ словахъ Гвоздева есть и горечь, и искренность, и много правды. Но безъ «точки зрѣнія»,

съ помощью только одного сердца, въ его положеніи разобратся нельзя. Чѣмъ я хуже васъ?—спрашиваетъ и, конечно, какъ человѣкъ онъ никого не хуже, не ниже и не меньше. Но забраковать его все-таки неминуемо придется и именно съ точки зрѣнія практической пригодности: для того, чтобы быть редакторомъ, недостаточно быть даже расчудеснымъ человѣкомъ, а надо, непременно надо, предварительно надъ гимназическими книжками посидѣть. Я, напримѣръ, хотѣлъ бы быть капельмейстеромъ оркестра и чѣмъ же я хуже, положимъ, г. Направника? Хуже или лучше, но дѣло въ томъ, что г. Направникъ знаетъ музыку, а я не отличу *до* отъ *ре*. Правъ ли я буду, если заговорю по этому случаю про несправедливость жизни? Вѣдь если наборщикъ Гвоздевъ завидуетъ редактору и его образованности, то съ такимъ же точно чувствомъ могутъ отнестись къ самому Гвоздеву миллионы совсѣмъ безграмотныхъ людей. «Пѣтъ мнѣ въ жизни хода!» восклицаетъ Гвоздевъ. Хода въ редакторы или въ судебные слѣдователи (какое мѣсто занимаетъ другой товарищъ дѣтскихъ игръ Гвоздева) наборщику типографіи точно нѣтъ, но въ этомъ смыслѣ нѣтъ хода ни одному профессиональному работнику: *бѣда*, коль пироги начнетъ печи сапожникъ, а сапоги тачать пирожникъ. Не возмущенное чувство справедливости, а уязвленное самолюбіе говоритъ въ Гвоздевѣ, и его продѣлка съ редакторомъ (см. рассказъ) отнюдь не протестъ, а злое озорничество (рассказъ такъ и называется *Озорникъ*).

Весь моральный кодексъ босяковъ-протестантовъ отлично выразилъ одинъ изъ нихъ въ такой краткой формулѣ: «самому противъ себя не надо спорить. Коли кто противъ себя заспорилъ, пиши пропалъ человѣкъ». Цѣлая бездна отдѣляетъ эту мораль доморощенного сенсуализма и эгоизма отъ морали Коноваловыхъ, которые страдаютъ и погибаютъ отъ того, что не могутъ себя переспорить, не находятъ «точки», въ которую бы они могли «упереться».

Разумѣется, никакой *порядокъ поступковъ* невозможенъ для того, кто пуще всего боится въ чемъ-нибудь ограничить, какъ-нибудь обуздать себя: онъ повинуется только своимъ желаніямъ и настроеніямъ, которыя у него перемѣнчивы и капризны. Коноваловы предпочитаютъ вовсе не жить, чѣмъ жить безъ порядка. Не благоразумнѣе ли ихъ всѣхъ Тихонъ Павловичъ? Онъ пятьдесятъ недѣль въ году работаетъ, а двѣ проводитъ въ усиленномъ безпорядкѣ и тѣмъ «возобновляетъ душу» свою. Если ужъ такое возобновленіе для некультурнаго русскаго человѣка неизбежно, то манера Тихона Павловича самая безобидная.

V.

Интеллигентные босяки сгруппированы у г. Горькаго въ одномъ разсказѣ, носящемъ характерное заглавіе *Бывшіе люди*. Тутъ въ одномъ мѣстѣ съютились—отставной ротмистръ, учитель, бывший лѣсничій удѣльнаго вѣдомства, бывший тюремный смотритель, механикъ и, наконецъ, дьяконъ. Мы остановимся только на двухъ — ротмистрѣ и учителѣ, гораздо болѣе типичныхъ, нежели остальные. Ротмистръ содержитъ «ночлежку», т.-е. заброшенную лачугу на окраинѣ города, и эта лачуга, помимо своего спеціальнаго назначенія, является чѣмъ-то въ родѣ босяцкаго клуба, главными ораторами въ которомъ являются ротмистръ и учитель. Это люди разныхъ типовъ: ротмистръ—веселый и язвительный «протестантъ», учитель—именно болѣе всего *учитель* — натура мягкая и созерцательная, любящая благообразіе жизни и поучающая другихъ этому благообразію, несмотря на свое личное фіаско. Оба пьютъ горькую, но связываетъ ихъ далеко не это одно. «Съ учителемъ однимъ Аристидъ Кувалда (ротмистръ) могъ философствовать въ увѣренности, что его понимаютъ. Онъ цѣнилъ это, и когда реставрированный учитель, заработавъ деньжонокъ и имѣя намѣреніе снять себѣ въ городѣ уголь, готовился оставить ночлежку,—Аристидъ Ку-



валда такъ грустно провожалъ его, такъ много изрекали меланхолическихъ тирадъ, что оба они непремѣнно напились и пропивались. Вѣроятно, Кувалда сознательно ставилъ дѣло такъ, что учитель при всемъ желаніи не могъ выбраться изъ его постели. Можно ли было Аристиду Кувалдѣ, дворянину съ образованіемъ, съ развитою прерватностями судьбы привычкой мыслить,—можно ли ему было не желать и не стараться всегда видѣть рядомъ съ собой человѣка такого же, какъ и онъ самъ? Мы умѣемъ жалѣть себя». Оставимъ пока обоихъ героевъ въ сторонѣ и обратимся къ автору. *Мы умѣемъ жалѣть себя* — въ этой фразѣ г. Горькаго явственно слышится упрекъ, почти негодованіе, и, по всему ходу нашихъ мыслей, ничего, кромѣ удовольствія, это обстоятельство намъ доставить не можетъ. Такъ, такъ, г. Горькій: пьянство есть только пьянство, и скверно это, когда, ради жалости къ себѣ, человѣкъ топить другого. Но черезъ четырнадцать страницъ г. Горькій выражается еще суровѣе: «У этихъ людей была одна смѣшная черта: они любили показать себя другъ другу хуже, чѣмъ были на самомъ дѣлѣ. Человѣкъ, не имѣя въ себѣ ничего хорошаго, иногда не прочь порисоваться и своимъ дурнымъ». Вотъ неожиданный пассажъ! *Не имѣя въ себѣ ничего хорошаго* — такой фразы я никакъ не рѣшусь сказать, хотя, какъ знаетъ читатель, особой нѣжности къ босякамъ не питаю. А еще черезъ два десятка страницъ г. Горькій выражается еще жестче: «Зло въ глазахъ этихъ людей имѣло много привлекательнаго. Оно было единственнымъ орудіемъ по рукѣ и по силѣ имъ. Каждый изъ нихъ давно уже воспиталъ въ себѣ полусознательное, смутное чувство острой непріязни ко всѣмъ людямъ, сытымъ и одѣтымъ не въ лохмотья, и въ каждомъ изъ нихъ было это чувство въ разныхъ степеняхъ развитія». Неужели это г. Горькій говоритъ? Да, тотъ самый г. Горькій, который въ беззлбномъ Коноваловѣ старался вызвать «острое чувство непріязни» къ лю-

дамъ и къ жизни, тотъ самый, который ничего не возражалъ Гришкѣ Орлову, когда тотъ обзывалъ людей гадами и желалъ, чтобы земной шаръ превратился въ пыль. Я объясняю эту метаморфозу автора просто, и мое объясненіе клонится къ чести г. Горькаго: въ безоружномъ, обездоленномъ мужикѣ ему пріятно видѣть протестующее чувство, какъ выраженіе нѣкотораго личнаго достоинства, но интеллигентамъ, вооруженнымъ для борьбы образованіемъ и развитіемъ, онъ не желаетъ прощать ихъ паденія. Что жъ? Это очень справедливо. Но только г. Горькому придется сильно видоизмѣнить свое мнѣніе и о судьбѣ «большихъ и искреннихъ талантовъ», которымъ онъ вполнѣ прощалъ пьянство, какъ «единственную утѣху ихъ многотрудной жизни». Вѣдь эти таланты—архиинтеллигенты.

Возвращаемся къ нашимъ героямъ. Бѣда ихъ та же, что и у всѣхъ босаяковъ: они не нашли себѣ опоры въ какомъ-нибудь живомъ дѣлѣ, хотя и брались за разные предпріятія и профессіи. «Передъ тѣмъ Аристидъ Кувалда имѣлъ въ городѣ бюро для рекомендаціи прислуги; восходя выше въ его прошлое, можно было узнать, что онъ имѣлъ типографію, а до типографіи онъ, по его словамъ, просто—жилъ! И славно жилъ, чортъ возьми!» Вѣроятно, въ этомъ послѣднемъ занятіи и состояло его настоящее призваніе, такъ что если бы не «оскудѣніе», то никакихъ протестующихъ и негодующихъ рѣчей Кувалда и не произносилъ бы. Съ своей стороны, учитель тоже повидалъ виды: «этотъ учитель когда-то что-то преподавалъ въ учительскомъ институтѣ одного приволжскаго города, но вслѣдствіе нѣкоторой исторіи былъ устраненъ изъ института. Потомъ онъ былъ конторщикомъ на кожевенномъ заводѣ и тоже принужденъ былъ уйти. Былъ библіотекаремъ въ какой-то частной библіотекѣ, извѣдалъ еще нѣсколько профессій и, наконецъ, сдавъ экзаменъ на частнаго повѣреннаго по судебнымъ дѣламъ, запилъ горькую и попалъ къ ротмистру.

Средства къ жизни, или, вѣрнѣе, къ пьянству, онъ добывалъ репортерствомъ въ мѣстныхъ газетахъ». Очень любопытенъ этотъ оборотъ фразы г. Горькаго: *наконецъ, сдавъ экзаменъ, запилъ горькую*. Именно—наконецъ! Точно всѣ эти переходы отъ профессіи къ профессіи, эти изгнанія, эти экзамены,—все это только предварительныя мытарства передъ фатально-неизбѣжнымъ финаломъ: наконецъ, запилъ! Свершилось! Затѣмъ и экзаменовался!

Моря житейскаго шумныя волны  
Мы протекли;  
Пристань надежную утлые челны  
Здѣсь обрѣли.

Что же сказать объ этихъ людяхъ? Но что же кромѣ того, что это люди — не побѣдившіе жизни, а побѣжденные жизнью, что это не борцы, а инвалиды, что будущего у нихъ нѣтъ и возлагать на нихъ какія-нибудь «марксистскія» надежды наивно и странно? Люди они различные: учитель—это интеллигентный Коноваловъ, а ротмистръ—интеллигентный Орловъ, но оба они люди поконченные,—я чуть не сказалъ погребенные. Ротмистръ Кувалда еще храбрится, но совершенно наманеръ Гришки Орлова. Вотъ какія, наприм., рѣчи произноситъ онъ: «Я—бывшій человѣкъ, такъ? Я отверженъ—значить, я свободенъ отъ всякихъ путъ и узъ... Значить, я могу наплевать на все! Я долженъ по роду своей жизни отбросить въ сторону все старое... всѣ манеры и приемы отношеній къ людямъ существующимъ сыто и нарядно и презирающимъ меня за то, что въ сытости и костюмѣ я отсталъ отъ нихъ... и я долженъ воспитать въ себѣ что-то новое... понять? Такое, знаешь, чтобы мимо меня идущіе господа жизни, въ родѣ Іуды Петунникова, при видѣ моей представительной фигуры трепеть хладный въ печенкахъ ощущали!» Вотъ какова миссія босяка въ представленіи Кувалды: внушать трепетъ хладный сытымъ и наряднымъ

господамъ жизни! А что, ротмистръ, когда вы были сыты и нарядны, трепетали вы передъ босяками или нѣтъ? Мнѣ, впрочемъ, не зачѣмъ стараться разрушить самообольщеніе ротмистра, потому что это сдѣлать лучше меня одинъ изъ его слушателей—босяковъ: «зкій у тебя языкъ храбрый!» сказалъ онъ оратору. Да, по храбрости языка едва ли не одинъ только Гришка Орловъ превзойдетъ ротмистра Кувалду. «Что-то новое», общаемое ротмистромъ, оказывается чѣмъ-то очень старымъ и вполне для насъ неожиданнымъ: «Ромуль и Ремъ — развѣ они не золоторотцы?» пресерьезно говоритъ онъ. Послѣ этого остается только предположить, что Александръ Македонскій, подобно Кувалдѣ, былъ содержателемъ ночлежнаго дома. Тутъ можно кончить всякій разговоръ съ ротмистромъ: «вешній путь — не дорога, съ пьянымъ рѣчь — не бесѣда».

Босякъ-учитель о самовосхваленіи не думаетъ, босяковъ и босячество не идеализируетъ, а совершенно, какъ Коноваловъ, безнадежно груститъ надъ собою и кончаетъ, какъ Коноваловъ, преждевременною и тоже чуть ли не насильственной смертью. Мишурнаго реформатора и кодульнаго протестанта онъ собою изображать не стремится, а свою грусть по жизни и свою потребность любви — не вражды, а любви — выражаетъ въ очень трогательной, даже поэтической формѣ. «Учитель часто собиралъ уличныхъ дѣтей вокругъ себя и, накупивъ булокъ, яицъ, яблоковъ и орѣховъ, шелъ съ ними въ поле, къ рѣкѣ. Тамъ они располагались на землѣ и сначала жадно поѣдали все, что предлагалъ имъ учитель, а потомъ начинали играть, наполняя воздухъ на цѣлую версту беззаботнымъ шумомъ и смѣхомъ. Учитель, вообще, мало разговаривалъ съ ними, а если и говорилъ, то какъ-то такъ осторожно и даже робко, точно боялся, что его слова могутъ выпачкать ихъ или, вообще, повредить имъ. Онъ проводилъ съ ними въ роли ихъ игрушки и товарища по нѣсколькимъ часамъ кряду,

разсматривая оживленные рожицы своими тоскливо-грустными глазами, а потомъ задумчиво и медленно шель отъ нихъ въ харчевню и тамъ быстро и молча напивался до потери сознанія». Тутъ, конечно, не можетъ быть мѣста ни упрекамъ, ни совѣтамъ, ни даже сожалѣніямъ. Тутъ умѣстно только воскликнуть, какъ когда-то Тургеневъ востѣдъ своему Рудину: помощи, Господи, всѣмъ безпріютнымъ скитальцамъ!

---

Вы, однако, скажетъ читатель, общали какіе-то общіе выводы, такъ давайте ихъ! Главный мой общій выводъ вотъ какой: плохо мы съ вами живемъ, многоуважаемый читатель. Оно, конечно, это у насъ историческое: Руси есть веселіе пити. Правда и то, что пить до дна—не видать добра, пей да не опохмеляйся, пей за столомъ, да не пей за угломъ, и такъ далѣе,—русскій народъ насочинилъ множество совѣтовъ и предостереженій противъ пьянства. А я все-таки свое говорю: худо мы съ вами живемъ, худо живетъ работающая и трезвая Россія, если въ ней не находятъ себѣ мѣста и дѣла тысячи и тысячи здоровыхъ рукъ и головъ. Пропадающія силы... Какъ можемъ мы, столь бѣдные и матеріально и духовно, допустить у себя такіа пропажи и растраты? «Сами они виноваты»—это легко сказать и очень успокоительно думать, но къ массовымъ явленіямъ нельзя примѣнять личные критеріи. Г. Горькій говоритъ о своихъ герояхъ какъ «о людяхъ, которыхъ давно пора считать за классъ и которые вполне достойны вниманія». Классъ, не классъ, но во всякомъ случаѣ такой общественный слой, появленіе котораго не можетъ быть случайностью, а находится въ тѣсной связи съ самыми сокровенными источниками жизни страны. Если тысячи трудоспособныхъ людей чураются труда и берутся за него только подъ давленіемъ необходимости, то это не-

премѣнно значить, что есть нѣчто глубоко ненормальное въ условіяхъ самаго труда. Трудъ есть не проклятіе, а благословеніе человѣка,—но лишь при условіи возможно большаго соотвѣтствія его съ нашими силами. Если онъ слишкомъ выше или слишкомъ ниже нашихъ силъ, онъ превращается именно въ проклятіе, отъ котораго надо бѣжать куда глаза глядятъ. Въ такомъ именно положеніи находится большинство героевъ г. Горькаго, и въ этомъ—ихъ оправданіе. Мы кстати и не кстати любимъ повторять, что у насъ «людей нѣтъ», хорошо зная въ то же время, что тысячи людей у насъ гибнутъ подъ заборами.

---

1900 г.

## Беллетристы новѣйшей формаціи.

М. Горькій: „Очерки и рассказы“. Томъ III. Спб., 1899 г.

Танъ: „Чукотскіе рассказы“. Спб., 1900 г. В. Вересаевъ:  
„Очерки и рассказы“. Спб., 1899 г.

---

Соринка—дѣло плевое,

Да только не въ глазу.

*Некрасовъ* („Кому на Руси“ и пр.).

Сей возрастъ жалости не знаетъ.

*Крыловъ* („Два голубя“).

### I.

Французы говорятъ: si jeunesse savait, si vieillesse pouvait! Да, хорошо бы такъ... Но возможно ли это? Еще гоголевскій Швоневъ («Игроки»), не философъ какой-нибудь, а самый обыкновенный шулеръ, говорилъ: «вообще у стариковъ есть это: напримѣръ, если они на чемъ-нибудь обожглись, они твердо увѣрены, что и другой непременно обожжется на томъ же. Если они пошли по какой-нибудь дорогѣ, да, зазѣвавшись, хлопнулись о гололедъ—они ужъ кричатъ и выдаютъ за правило, что по такой-то дорогѣ никому нельзя ходить, потому что на ней есть въ одномъ мѣстѣ гололедъ, и всякій непременно на ней шлепнется лбомъ, никакъ не принимая въ соображеніе того, что другой, можетъ быть, не зазѣвается и сапоги у него не на скользкой подошвѣ. Нѣтъ, у нихъ для этого нѣтъ соображенія. Собака укусила человѣка на улицѣ,—всѣ кусаются собаки и потому никому нельзя выходить на улицу». Намъ, старикамъ

шестидесятникамъ и семидесятникамъ, приходится теперь выслушивать нѣчто очень похожее, и на первый разъ мы отвѣтимъ, какъ отвѣтилъ Швохневу другой шулеръ—старикъ Гловъ: «такъ, батюшка, оно точно, съ одной стороны, есть тотъ грѣхъ. Да вѣдь за то-жъ и молодые! Вѣдь ужъ слишкомъ много рыси, того и смотри, что сломить шею!»

Вотъ ужъ именно: *das ist eine alte Geschichte und bleibt doch ewig neu!* Если-бъ молодость знала... Да что такое мы должны непременно знать?—возражаетъ молодость.

Богаты мы, едва изъ колыбели,  
Ошибками отцовъ и позднимъ ихъ умомъ.

Мы очень хорошо знаемъ вашу исторію и ничего поучительнаго для себя въ ней не находимъ. Если вы, заѣзжавшись, хлопнулись о гололедъ, такъ это ваше, а не наше дѣло: мы, во-первыхъ, надѣемся не вазѣваться, у насъ, во-вторыхъ, сапоги не на скользкой подошвѣ, и мы, въ-третьихъ, и въ самыхъ главныхъ, собираемся итти совсѣмъ не по той дорогѣ, на какой вы такъ блистательно шлепнулись лбомъ. Вы говорите о своей опытности, но вашъ же любимый поэтъ сказалъ:

Будь онъ проклятъ, растлѣвающий,  
Пошлый опытъ—умъ глупцовъ!

Глупцами, положимъ, мы васъ не считаемъ, но вашъ умъ во всякомъ случаѣ *поздній умъ* для насъ, и должны же вы понимать, что только *собственный* опытъ можетъ имѣть значеніе для человѣка. Чужая бѣда не даетъ ума, а вы для насъ чужіе. Да, *чужіе*, не по метрицѣ, а по духу, который въ насъ независимъ и смѣлъ, а у васъ—опутанъ цѣлою сѣтью всяческихъ традицій и условностей. Вашей слезливой сентиментальности, вашего хваленago альтруизма въ насъ нѣтъ и не будетъ—и мы гордимся этимъ, въ этомъ именно усматриваемъ наше превосходство



надъ вами, субъективными старичками. Мы смѣемъ жить для себя, смѣемъ думать по-своему, а вы жили и досихъ поръ учите жить для другихъ и думаете не по своему разуму, а по указкѣ двадцативѣковыхъ традицій. Вы трусы и рабы, несмотря на свои пресловутые «подвиги». Несмотря? Нѣтъ, именно эти такъ называемые «подвиги» ваши и доказываютъ ярче всего ваше безволіе, отсутствіе въ васъ того гордаго самочувствія, которое составляетъ драгоценную особенность людей нашего поколѣнія. Ваши подвиги... Хорошо натасканный и ловко науськанный бульдогъ очертя голову бросается на медвѣдя, который въ слѣдующее мгновеніе сломастъ ему спинной хребетъ или разможжитъ голову,—что скажете вы объ этой картинѣ? Самоотверженный бульдогъ, героическій бульдогъ! Восхваляйте его въ тимпанахъ и гусяхъ, на струнахъ и органахъ, въ стихахъ и въ прозѣ, а мы, серьезно мыслящіе люди, съ спокойною объективностью говоримъ: глупая собака. Она очень хорошо выдрессирована,—эту справедливость мы ей охотно отдадимъ,—но это все, что мы имѣемъ сказать ей въ похвалу. Ну, не только собачьей дрессировки надъ собой, но и *никакихъ* ограниченій для своего свободного самодовлѣющаго «я» мы знать не хотимъ. Человѣкъ живетъ только однажды, не мѣшайте же ему прожить свою жизнь какъ ему хочется и нравится. Не опутывайте его ума предрасудками, не связывайте его воли никакими правилами: живая человѣческая личность выше и дороже всякихъ правилъ, всякихъ нормъ. Міръ принадлежитъ человѣку; я сознаю и чувствую себя человекомъ, міръ принадлежитъ мнѣ. Надо быть смѣлымъ, дерзкимъ, безстрашнымъ и, главное, безжалостнымъ. «Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ за каждаго изъ своихъ братьевъ по крови» (Бѣлинскій)—глупѣе этихъ словъ никогда ничего не было сказано. «Ну, будетъ у него бѣлая изба, а изъ меня лопухъ будетъ расти,—ну, а дальше?» (Базаровъ)—умнѣе этихъ словъ никогда ниче-

го не было сказано. Я вхожу въ жизнь не какъ гость, неуверенный въ радушномъ приѣмѣ, а какъ хозяинъ, передъ которымъ распахиваются всѣ двери и разступается толпа всѣхъ этихъ униженныхъ, оскорбленныхъ и обиженныхъ, голодныхъ отъ собственной глупости, обездоленныхъ отъ собственной трусости. Ничего кромѣ презрѣнія я къ нимъ не чувствую. Они—только люди, а я—сверхчеловѣкъ, они—Иваны и Петры, а мы—Фаусты и Прометеи. Субъективные старички, вы, жалкіе историческіе неудачники, слушайте:

Не бойся вѣчности, не уступай судьбѣ!  
Будь смѣль, будь дерзокъ и безстрашенъ:  
Огромный этотъ міръ принадлежитъ тебѣ,  
Лишь для тебя такъ пышно онъ украшенъ.  
Дыханье устъ твоихъ даетъ ему вѣнецъ,  
Твой взоръ ведетъ его надъ бездной.  
Безъ нихъ онъ былъ бы пустъ, какъ нежилой дворецъ,  
Какъ склепъ нѣмой и бесполезный.  
Владѣй же имъ какъ богъ. Живи въ его чертѣ,  
Какъ гордый и счастливый геній.  
Умѣй отыскивать въ мгновенной красотѣ  
Источникъ вѣчныхъ наслажденій.  
Дерзай господствовать! Лазури глубину  
Великой покори побѣдой,  
Сорви съ ея чудесъ нѣмую пелену  
И людямъ тайну ихъ повѣдай.  
Колѣнъ своихъ во прахъ не преклоняй вѣкъ,  
Но злыхъ небесъ не бойся мести,  
И вѣрь въ свою звѣзду, и имя—человѣкъ  
Носи, какъ символъ высшей чести!  
Когда придетъ пора раздумья и тоски,  
Не прячь подъ спудъ свое страданье!  
Какъ Фаустъ, свой упрекъ словами облеку  
И брось загадкѣ мірозданья.  
Явись ея судьей, на роковой вопросъ  
Потребуй яснаго отвѣта!  
Пытливый разумъ твой въ запутанный хаосъ  
Пускай прольетъ хоть отблескъ свѣта.  
Какъ новый Прометей, найди въ себѣ самомъ

Свою защиту и опору.  
Презрѣнемъ обезсилъ жестокой Зевса громъ  
И вѣчно будь готовъ къ отпору.  
Отъ камня твердаго огонь себѣ добудь  
Или зажги его отъ молній.  
Ослухный небесамъ, землѣ владыкой будь  
И цѣлый міръ собой наполни!...

Какъ вамъ все это нравится, читатель? *Не дурно для начала*, какъ сказалъ одинъ турокъ, когда его посадили на колъ. Читателю хорошо шутить,—его дѣло хоть не сторона, а все-таки не такъ близко и кровно, какъ для насъ, субъективныхъ старичковъ. Работаешь тоже, трудишься, пользу, думаешь, приносишь, и вдругъ приходятъ люди «умѣлые, съ бодрыми лицами, съ полными жита кошницами», и весь твой лѣтѣнный трудъ на твоихъ же глазахъ на смарку пускаютъ! Обидно до послѣдней степени и, право, ужъ лучше бы, кажется, умереть въ то время, когда—точь въ точь какъ теперешніе—съ полною увѣренностью носилъ истину въ своемъ жилетномъ карманѣ и ни малѣйше не сомнѣвался, что стоитъ только сдѣлать вотъ то, да еще вотъ это—и тотчасъ же въ любезномъ отечествѣ (а то и во всемъ мірѣ) потекутъ медовыя рѣки въ кисельныхъ берегахъ. «О, наша юность, о, наша свѣжесть!» Одно утѣшительно: мы не были неблагоприятными. Намъ, въ пору нашей молодости, не приходило въ голову поучать стариковъ уму-разуму, хотя и приходилось не соглашаться съ ними и ужъ ни въ какомъ случаѣ мы не фыркали на ихъ трудъ, на ихъ заслуги; шестидесятники считали себя продолжателями людей сороковыхъ годовъ (вспомнимъ глубокое и почти-тельное уваженіе Чернышевскаго, Добролюбова, Писарева къ Бѣлинскому, Герцену и др.), точно такъ же какъ мы, семидесятники, считали себя очень многимъ обязанными людямъ предыдущей эпохи. Это понятно: всѣ мы, при всѣхъ нашихъ частныхъ разногласіяхъ, стояли на одной и той же нравственной почвѣ. Униженныхъ и обижен-

ныхъ мы не презирали, а, наоборотъ, въ ихъ поддержкѣ и защитѣ усматривали единственно достойную человѣка цѣль существованія и дѣятельности. Нашу общую и главную заповѣдь хорошо выразилъ нашъ поэтъ:

Иди къ униженнымъ,  
Иди къ обиженнымъ—  
По ихъ стопамъ,  
Гдѣ трудно дышится,  
Гдѣ горе слышится,  
Будь первый тамъ!

*Какъ* идти къ униженнымъ, *идти* особенно трудно дышится и наибольшее горе слышится, объ этомъ мы спорили и съ своими предшественниками и между собою. Но никакихъ разногласій не существовало у насъ относительно самой заповѣди, идеи долга: иди и служи. Иди къ униженнымъ, служи обиженнымъ. Ничего другого и не дѣлали какъ люди 40-хъ, такъ и люди 60-хъ и 70-хъ годовъ во всѣхъ сферахъ практической и теоретической дѣятельности. Между ними существовала тѣсная нравственная солидарность, благодаря которой въ ихъ дѣятельности была извѣстная преемственность.

Теперь на нашихъ глазахъ происходитъ нѣчто совершенно иное. Насъ не смѣняютъ—насъ упраздняютъ, а съ нами вмѣстѣ и тѣхъ, разумѣется, которые имѣютъ общую съ нами генеалогію,—нашихъ отцовъ, дѣдовъ и прадѣдовъ: всѣ мы одинаково повинны въ томъ, что любили ближняго, а не дальняго, помогали слабому, а не сильному, стремились къ равноправности, а не къ усугубленію неравноправности. Радищевъ, наприимѣръ, людямъ двадцатыхъ, сороковыхъ, шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ совершенно *свой* человѣкъ, ближайшій единомышленникъ, тогда какъ для нашихъ ближайшихъ преемниковъ—ближайшихъ въ хронологическомъ смыслѣ—мы представляемся людьми «чужими». Смѣна поколѣній—процессъ естественный и

разумный, но не при этомъ процессѣ мы присутствуемъ и даже участвуемъ теперь, а вотъ при какомъ:

Сыны другого поколѣнія,  
Мы въ новомъ—прошлогодній цвѣтъ.  
Живыхъ намъ чужды впечатлѣнія,  
А къ нашимъ—въ нихъ сочувствій нѣтъ.  
Они, что любимъ,—разлюбили,  
Страстямъ ихъ—насъ не волновать,  
Ихъ не было тамъ, гдѣ мы были,  
Гдѣ будутъ—намъ ужъ не бывать.  
Нашъ міръ—имъ храмъ опустошенный,  
Имъ баснословье—наша быль,  
И то, что пепелъ намъ священный,  
Для нихъ—одна нѣмая пыль.

Характеристика, сдѣланная поэтомъ (княземъ Вяземскимъ), была совершенно невѣрна для его времени и для его поколѣнія, но она вполне точно обрисовываетъ положеніе вещей на порогѣ двадцатаго столѣтія. Поколѣніе Пушкина и Вяземскаго никакъ не могло сказать, что его *впечатлѣніямъ* не сочувствовали Бѣлинскій и его сверстники, что его «священный пепелъ» для нихъ одна «нѣмая пыль». «Увижу ли, друзья, народъ освобожденный?» восклицалъ самый яркій представитель поколѣнія 20-хъ—30-хъ годовъ, и кто же изъ передовыхъ людей послѣдующихъ поколѣній не присоединился бы къ этому восклицанію ото всего своего сердца? Повторяю: со времени Радищева и Новикова, на протяженіи почти всего девятнадцатаго столѣтія, идеалы лучшихъ русскихъ людей *въ общемъ* были одни и тѣ же:

Надъ отечествомъ свободы просвѣщенной  
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря!

*Просвѣщенная свобода*, умственное развитіе рука объ руку съ уваженіемъ къ закону, для *всѣхъ* равно обязательному,—вотъ каковъ былъ идеалъ Пушкина, и развѣ не о томъ же мечтавъ Радищевъ и развѣ не къ тому же стремились и стремимся мы? Смѣю думать, голоса нашихъ

«отцовъ»,—такихъ какъ Чернышевскій, Некрасовъ, Добролюбовъ, нашихъ «дѣдовъ»,—такихъ какъ Бѣлинскій, Герценъ, Аксаковы, нашихъ прадѣдовъ, какъ Пушкинъ, Рылѣевъ, Бестужевъ, нашихъ прапрадѣдовъ, какъ Радищевъ и Новиковъ, и даже голоса родоначальниковъ нашей литературы—Ломоносова и Кантемира, слились бы въ одинъ громовый крикъ негодованія, если бы эти дѣятели дожили, какъ имѣли несчастье дожить мы, до всеторжественнаго провозглашенія *прогрессивной* формулы: «увиджу ли, друзья, народъ *закабаленный!*» Знаменитое приглашеніе русскому народу «вывариться въ фабричномъ котлѣ» никакого другого смысла не имѣетъ и никакъ иначе истолковано быть не можетъ.

Я, впрочемъ, имѣю здѣсь въ виду не нашъ такъ называемый марксизмъ, какъ экономическое ученіе, а ту новѣйшую мораль, на почвѣ которой нашъ марксизмъ могъ вырасти и побѣдоносно заявить о себѣ. Обратимся къ тому горделивому стихотворному воззванію, которое мы привели выше. О благотѣльности фабричнаго закабаленія въ этомъ воззваніи ничего не говорится, рѣчь идетъ въ немъ о злыхъ небесахъ, о глубинѣ лагуны, о Прометѣѣ и Фаустѣ и пр.; но напитайтесь духомъ этого стихотворенія, увѣруйте въ *нравственную правду* этого воззванія, и вы затѣмъ уже съ совершенно легкимъ сердцемъ скажете своему ближнему: полѣзай въ фабричный котель, другъ любезный! Прежде всего—къ кому собственно обращено это воззваніе? Не къ вамъ, читатель, и не ко мнѣ: мы съ вами только люди и, какъ люди, не можемъ *не бояться вѣчности*, не можемъ *не уступать судьбѣ*. Мы слышали другой поэтическій завѣтъ:

За личнымъ счастьемъ не гонись  
И Богу уступай не споря.

Ту же самую мысль выражаетъ и народъ въ своей извѣстной пословицѣ: не такъ живи, какъ хочется, а такъ живи, какъ Богъ велитъ. Да, знаете ли, ту же самую

мысль выражаетъ (между прочимъ) собою и личность Фауста, на примѣръ котораго вы намъ указываете. Что онъ сдѣлалъ? Онъ именно *попался за личнымъ счастьемъ*, прошелъ въ этой погонѣ черезъ преступленія, не утратившись окунуться въ мракъ и грязь вальпургіевой ночи, перенесся въ безконечное пространство къ таинственнымъ Матерямъ, но кончилъ тѣмъ, чѣмъ началъ свою сознательную жизнь, — тѣмъ, что прежде всего и требуется и благословляется *нашею* моралью: самоотверженною работою на пользу общую. Перечтите, молодой поэтъ (я умышленно не называю пока его имени), великую поэму Гёте, и вы увидите, что я вѣрно раскрываю смыслъ *этой* (у ней есть, опять скажу, другія) ея стороны. Что же касается вашего указанія на Прометея, то это указаніе напрасно и необдуманно: не для себя, не для своего счастья; а для блага всѣхъ людей похитилъ Прометей огонь съ неба, и его любовь къ людямъ была такъ велика и самоотверженна, что онъ не утратился во имя ея отдать свое тѣло на безконечныя муки. Прекрасный миѳъ, глубокая идея! Но, юный поэтъ, неужели вы не знаете той великой, всемірно-исторической переработки, которой подверглась эта идея девятнадцать вѣковъ назадъ? Зевсъ мстилъ Прометею за его подвигъ высокаго человѣколюбія, но наши христіанскія небеса — не «злые небеса», а благія, и благость ихъ именно въ томъ, что они не казнятъ, а благословляютъ людей, «взявшихъ на себя крестъ свой» и пошедшихъ по стопамъ Того, Кто всѣмъ намъ показалъ, что служить Богу можно только посредствомъ служенія людямъ. А для такого служенія надо быть не *безстрашнымъ* и *дерзкимъ*, какъ вы утверждаете, а наоборотъ — *кроткимъ* и *смирнымъ сердцемъ*... Не зная вы этого не можете, но, по молодости, очевидно, не понимаете, какъ не понимаетъ и вашъ сверстникъ и единомышленникъ г. Горькій, который тоже считаетъ безстрашіе и дерзость непремѣнными атрибутами настоящей силы.

«Дерзай господствовать!» Надъ кѣмъ? Если надъ неодолимой природой, надъ чудесами и тайнами лазури глубины, по вашему кудрявому выраженію, то я скажу, что для такого господства единеніе между людьми особенно необходимо: въ одиночку не только черезъ океанъ, но и черезъ нашу Маркизову лужу не переберешься, не только города, но и хорошаго дома не выстроишь. «Въ тѣснотѣ, да не въ обидѣ», говоритъ русскій народъ, и въ этой наивной формулѣ выражена въ сущности вся задача человѣческой цивилизаціи. *Тѣсноту* устранить нельзя, да и не зачѣмъ, но какъ устранить *обиду*? Вашъ совѣтъ «господствовать» менѣе всего пригоденъ для этой цѣли: въ господствѣ человѣка надъ человѣкомъ именно и заключается главная обида. А вѣдь ваша настоящая мысль именно и состоитъ въ приглашеніи къ *такому* господству,—къ господству человѣка надъ человѣкомъ. Это мы знаемъ, во-первыхъ, потому, что хорошо знаемъ ваши карты, ваши книжки,—слава Богу, не отъ своего ума вы свои ужасныя слова говорите,—а во-вторыхъ, потому, что это прямо явствуетъ изъ этихъ вашихъ стиховъ:

Живи въ его чертѣ (въ чертѣ земного міра)  
Какъ гордый и счастливый геній.  
Умѣй отыскивать въ мгновенной красотѣ  
Источникъ вѣчныхъ наслажденій.

Ужъ, конечно, это не къ намъ съ читателемъ относится: какіе мы съ нимъ *геніи*, да еще гордые и счастливые! Мы съ нимъ скромные работники, исполняющіе не болѣе какъ миллиардную долю общечеловѣческой работы. Это можетъ относиться только къ «сверхчеловѣку», такъ же какъ и заключительные стихи:

Ослушный небесамъ, землѣ владыкой будь  
И цѣлый міръ собой наполни!

Гордо, очень гордо! Но еще апостолъ сказалъ: «испытаю не слова возгордившихся, а силу», и мы хотѣли бы про-



силье поэта объяснить намъ, почему *ослушаніе небесамъ* ставится въ связи съ *владычествомъ надъ землею*? Правда, къ этой мысли мы имѣемъ превосходную старинную иллюстрацію, смыслъ которой, *повидимому*, именно таковъ: «Опять беретъ Его дьяволъ на весьма высокую гору, и показываетъ Ему всѣ царства міра и славу ихъ, и говорить Ему: все это дамъ Тебѣ, если падши поклонишься мнѣ. Тогда Иисусъ говоритъ ему: отойди отъ Меня, сатана: ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Поклоненіе сатанѣ было бы, конечно, послушаніемъ небесамъ, а такъ какъ за это послушаніе воспо слѣдовало бы, въ видѣ награды, обладаніе всѣми царствами міра, то поэтъ нашъ выходитъ какъ будто совсѣмъ правъ. Правъ ли?.. Ахъ, какъ стары всѣ эти новыя новости, которыми наша литературная молодежь думаетъ удивить насъ!—Гм...—замѣтилъ однажды Базаровъ Аркадію Кирсанову, ведя съ нимъ какой-то споръ,—это ты сказалъ *противоположное общее мѣсто*.—«Что это значитъ?»—спросилъ Кирсановъ.—А вотъ, видишь ли,—отвѣтилъ Базаровъ:—если ты скажешь, что просвѣщеніе полезно,—ты скажешь общее мѣсто; а если ты скажешь, что просвѣщеніе вредно,—ты скажешь *противоположное общее мѣсто*. Вотъ именно такими противоположными общими мѣстами являются теперь модныя «новыя слова»: служи людямъ,—нѣтъ, заставляй людей служить себѣ; помогай слабому,—нѣтъ, помогай сильному; люби ближняго,—нѣтъ, люби дальняго. Этакое остроуміе! Но то же самое и въ данномъ случаѣ. Живи не по своему хотѣнію, говоритъ наша мораль, а по Божьему велѣнію, и помни, что у тебя есть *свое мѣсто*, которое ты долженъ найти (потому *найти*, что не случайностями внѣшнихъ обстоятельствъ опредѣляется мѣсто человѣка, а всею суммой его духовныхъ способностей), и *своя* задача, которую ты долженъ угадать и рѣшить. Нѣтъ, поучаетъ новѣйшая мораль, будь послушенъ небесамъ и цѣлый міръ собой наполни, другими словами: поклонись

сатанѣ и владѣй всѣми царствами міра. И, представьте читатель, они дѣйствительно всенародно кланяются сатанѣ. Недавно, наприм., одна наша поэтесса, декадентка и ницшеанка, напечатала чернымъ по бѣлому:

О, мудрый Соблазнитель,  
Злой Духъ, ужели ты—  
Непонятый Учитель  
Великой Красоты?

Злому духу, надо полагать, хуже горькой рѣдьки надоѣли поклоненія разныхъ «лавандныхъ душъ», и онъ не только не отдаетъ поэтессѣ всѣхъ царствъ міра, но съ свойственною ему ироническою жестокостью довелъ ее до такого состоянія, что она *закричала* (стихотвореніе «Крикъ»):

Изнемогаю отъ усталости,  
Душа изранаена, въ крови,  
Ужели нѣтъ надъ нами жалости,  
Ужель надъ нами нѣтъ любви?

Владыкамъ міра, кажется, не подобаетъ говорить такимъ языкомъ. Это старая всемірная трагедія: тѣ, чьи поклоны дѣйствительно были бы нужны и пріятны злому духу, говорятъ ему: отойди отъ меня сатана, или смѣются ему въ лицо, какъ Прометей злому Зевсу или, какъ Фаустъ Мефистофеля, третируютъ его какъ своего лакея. Тѣ же,—безчисленные тѣ, которые рады бы лобъ себѣ расшибить отъ усердныхъ поклоновъ сатанѣ, или не удостоиваются его взгляда или подвергаются его издѣвательствамъ, какъ «игрушечнаго дѣла людишки».

Горделивый риёмованный манифестъ (назвать его просто стихотвореніемъ нельзя, мало), рассмотрѣнный нами, принадлежитъ г. Тану. Я напелъ этотъ манифестъ, конечно, не въ его «Чукотскихъ разсказахъ», а въ другомъ мѣстѣ, гдѣ его появленіе было вполне естественно и логично, въ томъ мѣстѣ, гдѣ со спокойнымъ духомъ утверждается, что у русскаго народа нѣтъ собственной національной фізіо-

номіи, а есть только «навыки», измѣнить которые—плевое дѣло. Но подъ манифестомъ г. Тана подписались бы и г. Горькій, и г. Вересаевъ,—съ небольшимъ только различіемъ въ приѣмахъ. Г. Горькій подписался бы такъ: «подъ симъ стихотвореніемъ босякъ Максимъ Горькій обѣими руками подписуется»,—и сдѣлалъ бы росчеркъ во всю страницу, а г. Вересаевъ, на уголкѣ листа, бисернымъ почеркомъ, еле замѣтнымъ для глазъ, написалъ бы: В. Вересаевъ. Это характеризуетъ различные степени ихъ солидарности съ г. Таномъ, но въ концѣ-концовъ солидарность несомнѣнна, и мы побесѣдуемъ теперь съ каждымъ изъ молодыхъ писателей въ отдѣльности,—въ той послѣдовательности, въ какой поставлены ихъ книги въ заголовкѣ статьи.

## II.

Въ статьѣ о первыхъ двухъ томахъ произведеній г. Горькаго («Пропадающія силы», *Р. М.*, май, іюнь 1899) я, если припомнить читатель, пришелъ между прочимъ къ тому заключенію, что «теоретическія воззрѣнія г. Горькаго очевидно находятся въ весьма плачевномъ состояніи». Третій томъ не разрушаетъ, а только подтверждаетъ это заключеніе. Философія первыхъ двухъ томовъ была, какъ припомнить читатель, и нова и несложна: «все въ порядкѣ,—ныть и плакать не стоить. Законы-съ, противъ нихъ невозможно итти. Какъ можно имъ противиться, ежели у насъ всѣ орудія въ умѣ напемъ, а онъ тоже подлежитъ законамъ и силамъ? Значить, живи и не кобенься». Теперь г. Горькій предлагаетъ намъ діаметрально-противоположную философію: не только живи и кобенься, но кобенься усиленно, во все свое удовольствіе, не обращая вниманія ни на божескіе («ослушный небесамъ»), ни на человѣческіе законы («землѣ владыкой будь и цѣлый міръ собой наполни»). «Все дозволено» — этой формулой Раскольникова и Ивана Карамазова философія г. Горькаго резю-

мируется съ полною точностью. Это называется по-русски—отъ дождя да въ воду, или изъ огня да въ полымя. Какъ натура очень даровитая, г. Горькій не терпитъ благоразумной середины, а предпочитаетъ ей крайности: или все, или ничего—на меньшее онъ не согласенъ. *Кое-что* или *что-нибудь*, въ предѣлахъ возможности и разсудка,—это совсѣмъ не по его части, не по его сердцу. Сиди и пальцемъ не шевели, потому что бесполезно: «законы-съ», говорилъ онъ намъ въ первомъ фазисѣ своего развитія. Знать не хочу никакихъ законовъ, бей направо и налево, живи какъ нравится, дѣлай все, что вздумается,—вотъ что говорить онъ намъ во второмъ фазисѣ. Когда г. Горькій перейдетъ въ третій классъ, то бишь, въ третій фазисъ своего развитія, онъ, можно надѣяться, придетъ къ тому не эффектному, прозаическому, но правильному убѣжденію, что человѣку не подобаетъ ни бездѣльничать по-босаячки (хотя бы то подъ сѣнью Гегеля), ни разбойничать по-босаячки же (хотя бы то подъ сѣнью Ницше), а подобаетъ ему усердно работать подъ фѣрулой многихъ законовъ: и законовъ природы, и законовъ общежитія, и законовъ морали. Я отнюдь не желаю смѣяться надъ г. Горькимъ: симпатичный и свѣжій талантъ этого писателя подкупаетъ читателя и критика, обезоруживаетъ насмѣшку. Но я имѣю право, незавидное право не мало прожившаго и прожившаго стараго человѣка, сказать съ добродушной улыбкой и съ вполне доброжелательнымъ чувствомъ: молодо — зелено. Совсѣмъ, совсѣмъ не нужно ни этого избытка смиренія («не кобенясь»), ни этого избытка дерзости («все дозволено»).

Это я только въ видахъ удобства критическаго анализа такъ грубо расчленилъ творчество г. Горькаго на два отдѣльныхъ и рѣзко между собою различныхъ фазиса: проповѣди безусловнаго смиренія и проповѣди безусловной и неограниченной дерзости. На самомъ дѣлѣ оба эти мотива развиваются у г. Горькаго одновременно и парал-

тельно, сталкиваются, борются между собою, при чемъ «то сей, то онъ на бокъ гнется», и наше подраздѣленіе вѣрно лишь въ томъ смыслѣ, что указываетъ на временное преобладаніе, а не на прочное господство того или другого мотива. Г. Горькій—не проповѣдникъ, а лирикъ, выразитель не системы, а настроеній \*).

Теперешнее настроеніе г. Горькаго выражается въ слѣдующемъ афоризмѣ: *нѣтъ законовъ иныхъ, развѣ во мнѣ*. Правда, афоризмъ этотъ авторъ выражаетъ не отъ своего лица, а устами одного изъ своихъ героев, интеллигентнаго босяка (рассказъ «Проходимецъ», стр. 334), но тутъ же, на той же страницѣ, заявляетъ о своемъ полномъ согласіи съ нимъ. «Какое мнѣ дѣло до чужой спины? Дай Боже свою сберечь въ цѣлости. Это, конечно, не морально; но какое мнѣ, опять-таки, дѣло до того, что морально и что не морально? Согласитесь, что ровно никакого дѣла нѣтъ!» Такъ рассуждаетъ босякъ, и г. Горькій съ нимъ согласился: «что жъ,—подумалъ я,—волкъ правъ»... Такъ и напечатано: *волкъ правъ*. Какъ будто сама судьба вступилась за нашу человѣческую, христіанскую мораль и побудила автора сказать: не «онъ правъ», а «*волкъ правъ*». Это бессознательное самоопроверженіе автора чрезвычайно упрощаетъ нашу задачу и даже совсѣмъ упраздняетъ ее: да, *волкъ правъ*, и я съ этимъ совершенно согласенъ. Правъ *волкъ*, совершенно *волкъ правъ*—это я готовъ кри-

---

\*) Съ этой точки зрѣнія нельзя не пожалѣть, что г. Горькій нашелъ нужнымъ исключить изъ второго изданія первыхъ двухъ томовъ своихъ произведеній прелестную аллегорію „О чижѣ, который лгалъ, и дятлѣ, любителѣ истины“. Въ статьѣ „Пропадающія силы“ мы рѣшительно возстали противъ тенденцій этой аллегоріи, и если наши замѣчанія поспособствовали рѣшенію автора, то наше сожалѣніе еще болѣе усиливается. Но мы виноваты безъ вины. Пусть г. Горькій утвердится въ той мысли, что не поученія его поучительны, а поучительна его живая, тревожная, ищущая писательская личность. Не его, а наше дѣло отдѣлать въ его поученіяхъ пшеницу отъ плевелъ; его дѣло—высказываться со всею полнотою молодого чувства и со всею прямою молодой мысли.

чать на улицѣ. Останутся ли только довольны такимъ нашимъ согласіемъ г. Горькій и его герой? Врядъ ли. Однако они не сдадутся, потому что у нихъ въ запасѣ имѣются аргументы, обойти которые мы не имѣемъ права. Потому не имѣемъ права, что аргументы эти имѣютъ не оборонительный, а наступательный характеръ, имѣютъ цѣлью не только защитить волковъ и волчью сноровку, но и унижить насъ, людей, и нашу мораль. Ну, пусть такъ, испытаемъ силу возгордившихся. Слушайте, читатель, внимательно:

«Я къ себѣ никогда не относился строго, не одергивалъ себя, и зубы моей совѣсти никогда у меня не ныли... не царапалъ я моего сердца когтями моего ума. Я, знаете, рано и какъ-то незамѣтно для себя твердо усвоилъ самую простѣйшую и мудрую философію: какъ ни живи, а все-таки умрешь,—зачѣмъ же ссориться съ собой, зачѣмъ тащить себя за хвостъ влѣво, когда натура твоя во всю мочь претъ направо? И людей, которые рвутъ себя на-двое, я терпѣть не могу... Чего ради они стараются? Бывало, я разговаривалъ съ такими юродивыми. Спрашиваешь его: о чемъ ты, другъ, поешь, зачѣмъ ты, братъ, скандалишь?—Стремлюсь, говорить, къ самоусовершенствованію...—Чего же, моль, ради?—Какъ такъ—чего ради? Въ совершенствованіи чловѣка—смыслъ жизни...—Ну, я этого не понимаю: вотъ въ совершенствованіи дерева смыслъ ясенъ,—оно усовершенствуется до пригодности въ дѣло, и его употребятъ на оглоблю, на гробъ или еще на что-нибудь полезное для чловѣка... Ну, хорошо, ты совершенствуешься—это твое дѣло, но скажи, зачѣмъ ты ко мнѣ пристаешь и меня въ свою вѣру обратить хочешь?—А зачѣмъ, говорить, что ты скотъ и не ищешь смысла въ жизни.—Да я же нашелъ его, ежели я скотъ, и сознаніе скотства моего не отягощаетъ меня.—Врешь, говорить. Коли ты, говорить, сознаешь, ты долженъ исправиться.—Какъ исправиться? Да вѣдь я живу въ мирѣ съ собой, умъ и чувство

у меня едино суть, а слово и дѣло въ полной гармоніи!— Это, говоритъ, подлость и цинизмъ... И вотъ такъ разсуждаютъ всѣ они, бывало. Чувствую я, что они и врутъ и глупы; чувствую это и не могу не презирать ихъ. Потому что я людей знаю! Если все сегодняшнее подлое, грязное и злое объявишь завтра честнымъ, чистымъ, добрымъ—всѣ эти морды, безъ всякаго усилія надъ собой, завтра же и будутъ совершенно честными, чистыми и добрыми. Имъ для этого понадобится только одно—трусость свою уничтожить въ себѣ... Такъ-то» (стр. 349—350).

Такъ-то... Правда, это самое сильное и яркое мѣсто изъ всѣхъ трехъ томовъ г. Горькаго, да зато ужъ и мѣстечко же! Есть въ чемъ поразобратъ, есть о чемъ поговорить. Въ видѣ предварительнаго и даже побочнаго замѣчанія скажу прежде всего о «мордахъ», какъ энергично обзывается г. Горькій людей, которые... Да позвольте-ка, въ самомъ дѣлѣ, кого именно, какихъ людей хлестнулъ г. Горькій названіемъ «мордъ»? Тѣхъ людей, которые вчерашнее подлое, грязное и злое сегодня съ чужого голоса объявляютъ честнымъ, чистымъ, добрымъ. Соотвѣтственно съ этой переменной морали они измѣняются и сами, измѣняютъ и свои отношенія къ обществу, къ народу, къ труду и т. п. Они осмѣлились, «трусость свою уничтожили въ себѣ», какъ говоритъ г. Горькій, и явились воочію тѣмъ, чѣмъ были до сихъ поръ въ скрытомъ состояніи: скотами, звѣрями, волками, «мордами». Это не я говорю, это г. Горькій открылъ, а я съ нимъ не согласенъ. Ну, за что же «морда»? Умственными недорослями ихъ назвать можно бы, но и того не слѣдуетъ, потому что недоросль, Богъ дастъ, современемъ и вырастетъ. Будемъ на это надѣяться, а до тѣхъ поръ станемъ повторять свое стариковско-добродушное: молодо—зелено, молодо—зелено...

А теперь можно перейти къ самому дѣлу. Я представлю г. Горькому возраженія или отвѣты отъ лицъ *трехъ* обширныхъ человѣческихъ группъ, члены которыхъ по

долгу и по совѣсти «рвутъ себя на-двое», по выраженію автора. Вопросъ поставленъ г. Горькимъ съ кристальною ясностью: «зачѣмъ ссориться съ собой, зачѣмъ тащить себя за хвостъ налѣво, когда натура твоя во всю мочь претъ направо?» Люди первой, самой многочисленной группы, къ которой принадлежитъ и Левъ Толстой, отвѣтятъ не задумавшись: зачѣмъ, чтобы исполнить волю пославшаго; зачѣмъ, чтобы поработать хозяину; зачѣмъ, что отъ юности нашей мнози борются насъ страсти и между ними есть такія, обузданіе которыхъ вмѣнено намъ въ обязанность: не прелюбодѣйствуй, не лги, не убивай, не укради, не пожелай ничего, принадлежащаго твоему ближнему. Если для васъ, скажутъ люди этой многомилліонной группы, ясенъ смыслъ совершенствованія дерева «до пригодности въ дѣло», то для васъ долженъ быть ясенъ смыслъ и нашего самосовершенствованія: дерево—орудіе человѣка, человѣкъ—орудіе Бога. Мы тоже хотимъ довести себя «до пригодности въ дѣло»—въ великое Божье дѣло, общій смыслъ котораго мы, правда, болѣе предчувствуемъ, чѣмъ сознаемъ, но реальность котораго для насъ все-таки не подлежитъ сомнѣнію. «Натура наша во всю мочь претъ направо», а мы усиливаемся итти налѣво, потому что «натура» наша и несовершенна, и противорѣчива, и обманчива. Не натурѣ, а лучшимъ и чистѣйшимъ только силамъ и свойствамъ ея мы хотимъ подчиняться. Въ составъ «натуры» нашей входятъ и животныя инстинкты, но входятъ также и разумъ и совѣсть, и только этихъ послѣднихъ мы стараемся слушаться. Въ этомъ именно и состоитъ процессъ нашего совершенствованія, конечная цѣль котораго заключается въ постепенномъ приближеніи человѣка къ Богу, къ высшему нравственному идеалу... «Хе!—перебываетъ г. Горькій.—А знаете вы, что такое идеаль? Это просто костыль, придуманный въ ту пору, когда человѣкъ сталъ плохимъ скотомъ и началъ ходить на однѣхъ заднихъ лапахъ. Поднявъ голову отъ сырой



земли, онъ увидалъ надъ ней голубое небо и былъ ослѣпленъ великолѣпиемъ его ясности. Тогда онъ, по глупости, сказалъ себѣ: я достигну его! И съ той поры онъ шляется по землѣ съ этимъ костылемъ, держась при помощи его до сего дня, все еще на заднихъ лапахъ. Вы не подумайте, что я тоже лѣзу на небо,—никогда не ощущалъ такого желанія... я это такъ сказалъ, для краснаго словца» (стр. 351). Ну, вотъ что молодой человѣкъ: для разговора съ людьми этой группы вамъ очевидно еще не пришла пора. Поживите да побольше *пострадайте*—такъ, чтобы пропала всякая охота къ задорнымъ «краснымъ словцамъ», и тогда мы опять поговоримъ. Теперь же во всякомъ случаѣ помните и знайте, что существуютъ десятки, сотни миллионовъ людей, которые безъ всякаго затрудненія отвѣтятъ на вашъ мнимо-сокрушительный вопросъ: *зачѣмъ*, зачѣмъ себя обуздывать и ограничивать? И не полагайте, пожалуйста, въ своемъ молодомъ самомиріи, что этотъ отвѣтъ—«отъ глупости». Жилъ на землѣ человѣкъ, много поумнѣй насъ съ вами, который однажды вотъ что сказалъ: философія, если коснешься слегка, отводитъ отъ Бога, если же въ нее погрузишься поглубже—приводитъ къ Нему. Звали этого человѣка Бэконъ Веруламскій.

Гораздо понятнѣе для г. Горькаго будетъ языкъ людей второй, тоже очень многочисленной, группы. Зачѣмъ тянуть себя за хвостъ налѣво, когда хочется направо? Да просто затѣмъ, что если не потянешь себя въ-время и кстати за хвостъ, то это сдѣлаетъ, по обязанности службы, городской, и это будетъ очень стыдно. Вы понимаете? Кто живетъ въ обществѣ, тотъ долженъ знать, что на всякое хотѣнье есть терпѣнье. Мое право кончается тамъ, гдѣ начинается право другого, и отсюда обязанность и необходимость ограничивать себя въ предѣлахъ закона и справедливости. Вотъ у окна ювелирнаго магазина стоитъ красавица-барышня и любитъ на выставленное брильян-

товое колье. Натура моя «во всю мочь» тянетъ меня и къ барышнѣ и къ колье: барышню мнѣ хотѣлось бы «проводить», а колье—прикарманить. Я однако ясно понимаю, что этого никакъ нельзя, и «тащу себя за хвостъ» подальше отъ грѣха. Кажется, я благоразумно поступилъ? И неужели вы меня спросите: зачѣмъ? Зачѣмъ, дорогой мой философъ, что я хочу дома ночевать, а не въ кутузкѣ. Ужъ этотъ-то отвѣтъ, вѣроятно, всякій босякъ пойметъ.

Представители третьей группы сказали бы г. Горькому: зачѣмъ мы стремимся къ совершенствованію, что и для насъ лично и для общества *выгодно*, если мы сдѣлаемся лучше, умнѣе, добрѣе. Чтобы не долго говорить, мы предложимъ вамъ произвести слѣдующій опытъ: убѣдите своихъ друзей-босяковъ не пьянствовать, не бездѣльничать и не развратничать хотя бы въ теченіе одного года. Это будетъ съ ихъ стороны актомъ добровольнаго самоограниченія, самообузданія въ видѣ хотя бы только опыта, и вы, а равно и они, увидите! Прояснится одурманенная голова, разсѣется мракъ горячечныхъ представленій, возбуждятся растрепанная и растроченная энергія, явится охота къ труду, будетъ нарастать и укрѣпляться чувство самоуваженія. Что это все значить? Это значить: счастье явится, радость жизни улыбнется. Не будутъ они больше желать (какъ желалъ вашъ Орловъ) взорвать всю землю, не будутъ проклинять всѣхъ людей, перестанутъ быть отверженцами. И для общества и для нихъ самихъ это будетъ великимъ выигрышемъ, а вѣдь чѣмъ онъ будетъ достигнутъ? Единственно только усиленіемъ доброй воли, искреннимъ желаніемъ стать лучше. Спросите ли вы ихъ тогда: зачѣмъ? Зачѣмъ совершенствоваться? Вы только порадуетесь вмѣстѣ съ ними и съ нами. Попробуйте!

### III.

Имя г. Тана извѣстно читающей публикѣ гораздо меньше, нежели имя г. Горькаго и даже г. Вересаева, но по

таланту г. Танъ не уступаетъ г. Горькому и значительно превосходить г. Вересаева. Причина этой относительной малоизвѣстности г. Тана очевидна: «Чукотскіе рассказы» — кто станетъ читать чукотскіе рассказы? Кого заинтересуетъ чукотская жизнь? Если же иной читатель взглянетъ въ книжку г. Тана, чтобы хоть бѣгло ознакомиться съ ея содержаніемъ, его отпугнутъ самыя имена персонажей, о которыхъ повѣствуетъ авторъ. Не угодно ли: Акомлюка, Кэргакъ, Этынькэу, Умка, Китилькутъ, Нувать, Яякъ, Уквунъ, Ятиргинъ, Энмувія и пр., и пр. Оно, конечно, все это не только люди, но и сограждане, соотечественники наши, но сограждане столь отъ насъ во всѣхъ смыслахъ отдаленные, что заинтересоваться ихъ жизнью довольно трудно. Для этого надо быть большимъ любителемъ этнографіи, — науки, положимъ, интересной, но съ художественной литературой не имѣющей почти ничего общаго. Угораздило автора выбрать уголокъ для наблюдений! Чукчи? Вѣдь это, должно быть, на Чукотскомъ носу, т.-е. почти на лунѣ и ужъ во всякомъ случаѣ на краю свѣта, куда никакой воронъ костей не заносилъ и никакой Макаръ телятъ не гонялъ. Всѣмъ медвѣжьимъ угламъ уголь! Вотъ куда судьба забросила г. Тана и вотъ мѣста и люди, о которыхъ онъ намъ рассказываетъ! Ну, Богъ съ ними... Курьезно, по всей вѣроятности, но ужъ, конечно, неинтересно и нисколько непоучительно. Судьба всѣхъ этихъ Яяковъ, Ятиргиновъ и пр. давно предрѣшена и извѣстна: это все та же судьба, которая ждетъ и ихъ антиподовъ, — разныхъ готтентотовъ, кафровъ, папуасовъ, общая судьба всѣхъ некультурныхъ и не историческихъ племенъ и народцевъ. Уже сочтены дни ихъ зоологическаго существованія и нѣтъ такой силы, которая бы отмѣнила приговоръ надъ ними исторіи и самой природы. Пусть ужъ «Вэйпъ, пишущій человекъ» (такъ звали г. Тана любезные чукчи) хоронитъ самъ своихъ мертвецовъ, а намъ до нихъ, право, дѣла нѣтъ.

Такъ разсудятъ многіе читатели, такъ рассуждалъ и я, пропуская очерки г. Тана, когда они печатались въ журналахъ,—и совершенно напрасно. Прочтите со вниманіемъ въ книжкѣ г. Тана только *первыя двѣ* страницы—и этого будетъ достаточно, талантливый авторъ уже не отпуститъ васъ и заставитъ прочесть книгу до конца. Если вы обладаете достаточно живымъ воображеніемъ, то, читая эти первыя страницы, вы, пожалуй, *озябнете* въ своей теплой комнатѣ, почувствуете просто физическій холодъ. Дѣло въ томъ, что на этихъ страницахъ г. Танъ описываетъ полярную व्यюгу, но не просто описываетъ, а живописуетъ, да такъ, что вы какъ бы видите эти безграничныя ледяныя равнины и слышите вой страшнаго сѣвернаго вѣтра, проносащагося надъ ними. А не хотите ли посмотрѣть шамановъ? Слышать о нихъ, вы, конечно, слышали, но я говорю — не хотите ли вы *видѣть* шаманское дѣйствіе? Прочтите 46—60 страницы книги г. Тана—и вы увидите. Къ этимъ страницамъ приложена иллюстрація, съ подписью «Шаманство», но два сморщенныхъ, старообразныхъ человѣка съ бубнами, изображенные на ней, ровно ничего вамъ не объясняютъ, ничего не прибавляютъ къ тому впечатлѣнію, которое производитъ описаніе г. Тана, преисполненное дикой и своеобразной поэзіи. Вотъ хоть бы этотъ приступъ шамана къ *дѣйствію*: «Э-ге-ге-гей! Гей, гей! — протянулъ ткнувъ (шаманъ). — Гей, гей! *Я человекъ, я ищущій, я зовущій!*» Какова чукотская лирика? Въ одной строчкѣ цѣлое стихотвореніе съ мыслью и со страстью. А дальше—не хуже и не слабѣе, съ тѣмъ же удивительнымъ нервнымъ подъемомъ, съ такими же оригинальными и яркими образами. Выписокъ я дѣлать не стану, а рекомендую обратиться къ г. Тану непосредственно.

Изобразительная способность молодого автора \*) въ са-

---

\*) Я, впрочемъ, не имѣю никакого понятія о возрастѣ автора и если называю его молодымъ, то, во-первыхъ, потому, что имя его

момъ дѣлѣ замѣчательна. Вѣдь трудно найти болѣе неблагодарный сюжетъ для художественнаго воспроизведенія, нежели скудная, простая, полуавѣриная жизнь дикарей, затерявшихся въ необозримой тундрѣ. Г. Танъ однако справился съ этой задачей какъ настоящій мастеръ: его герои не только живутъ, но живутъ полною жизнью, богатою и впечатлѣніями и страстями. Въ тепловатомъ и слезливомъ участіи, которымъ мы привыкли награждать разныхъ униженныхъ и оскорбленныхъ, они совсѣмъ не нуждаются. Кто они такіе? «Они принадлежали къ племени людей, рожденныхъ отъ «бѣломорской жены» (такъ, — замѣчаетъ авторъ въ выносѣхъ, — называютъ себя чукчи въ эпическихъ разсказахъ и преданіяхъ) и отъ поколѣнія къ поколѣнію, съ незапамятныхъ временъ, такъ привыкли къ борьбѣ съ моремъ, морозомъ и вѣтромъ, что безъ нея жизнь показалась бы имъ лишенной содержанія и смысла. Это были охотники, нападавшіе съ копьемъ въ рукахъ на огромнаго бѣлаго медвѣдя, мореплаватели, на утлыхъ кожанныхъ лодкахъ дерзавшіе лавировать на негостепріимномъ просторѣ полярнаго океана, люди, для которыхъ холодъ былъ стихіей, океанъ — нивой, а ледяная равнина — поприщемъ жизни, вѣчные борцы съ природой, тѣло которыхъ было закалено какъ сталь и мышцы не уступали неутомимостью ни одному изъ дикихъ звѣрей, пробѣгавшихъ среди пустыни, войны, привыкшіе считать естественную смерть постыдной и безсильную старость — наказаніемъ судьбы, которое слѣдуетъ сокращать добрымъ ударомъ ножа или копья...» Какъ видите, это совершенно наши давнишніе знакомые — герои Купера, дѣйствующие въ иной средѣ, точнѣе — подъ иной географической широтой, но съ тѣми же стремленіями, вкусами, цѣлями и правами. Между

---

появилось въ литературѣ очень недавно, во-вторыхъ, потому, что онъ пишетъ *молодо*, такъ, какъ въ старости могутъ писать только такіе таланты, какъ Гюго, Толстой и пр.

знаменитымъ Чингачгукомъ Купера («Послѣдній изъ могоканъ») и Кителькутомъ г. Тана трудно найти какое-нибудь серьезное психологическое различіе. Но Куперъ былъ не только романистъ, но и романтикъ, тогда какъ г. Танъ—реалистъ чистѣйшей крови, а сближеніе его съ чукчами происходило на прозаической почвѣ статистики: авторъ дѣлалъ имъ перепись для всероссійской переписи 1897 года. «Я переѣзжалъ со стойбища на стойбище (на собакахъ), отдаваясь интересу этой своеобразной жизни. Въ одномъ мѣстѣ наблюдалъ, какъ чукотки длинными ножами разрѣзываютъ трупъ, чтобы, обнаживъ сердце, собственными глазами изслѣдовать причину смерти, въ другомъ слушалъ хитросплетенныя сказанія «временъ сотворенія міра и еще раньше того», а въ третьемъ старался укрѣпить свой слухъ предъ оглушительнымъ трескомъ бубна во время торжественнаго служенія богамъ. Чукчи успѣли привыкнуть къ моимъ разпросамъ и не оказывали мнѣ недовѣрія». Ролью статистика г. Танъ не ограничился, да не удовлетворился и ролью этнографа, а явился въ своихъ разсказахъ истиннымъ художникомъ-психологомъ. Собственно говоря, онъ одновременно и одинаково удачно рѣшаетъ двѣ различныя задачи: рисуетъ быть, какъ обстоятельный этнографъ, и рисуетъ людей, характеры, какъ художникъ. Въ разсказѣ «На рѣкѣ Россомашей» г. Танъ разсказываетъ о чукчахъ такія изумительно-курьзныя и неожиданныя вещи, которымъ настоящее мѣсто только въ какомъ-нибудь специальномъ изданіи по этнографіи или, пожалуй, по антропологіи. Зато главный разсказъ книжки—«На каменномъ мысу»—по содержанию и по исполненію представляетъ собою настоящую драму съ ярко очерченными характерами, суровыми и цѣльными, какъ воспитавшая ихъ природа. Вотъ Кителькутъ, вотъ Яякъ, вотъ Коравія, вотъ Нувать — главные персонажи разсказа; все это дикари-чукчи, но все это въ то же время *личности*, которыя вы рѣзко отличаете другъ

отъ друга и къ которымъ относитесь совсѣмъ неодинаково: Кителъкуту симпатизируете, Яяка ненавидите, Корава я жалѣете, Нуватомъ живо интересуетесь. Да, симпатизируете и ненавидите, какъ *равныхъ* себѣ людей, — не по развитію, не по культурности равныхъ вамъ, а по волнующимъ ихъ и васъ чувствамъ и страстямъ. Далеко ли ушли въ смыслѣ культурности различные Отелло, Яго, Макбетъ, Лиръ да и самъ Гамлетъ? Всѣ они чистосердечно вѣрятъ въ привидѣнія и во всякую чертовщину не хуже какого-нибудь Нувата, но это не является препятствіемъ къ тому, чтобы насъ глубоко интересовалъ ихъ внутренній міръ, сложная и мучительная борьба ихъ страстей.

Должную эстетическую дань мы г. Тану отдали. Что будемъ говорить мы дальше? Вѣдь статья эта преслѣдуетъ совсѣмъ не эстетическія цѣли? А я попрошу читателя припомнить стихотвореніе г. Тана, цитированное нами въ первой главѣ этой статьи; рядъ нравственныхъ требованій, предъявляемыхъ человѣку въ этомъ стихотвореніи, оказался, если припомнить, не по плечу намъ съ вами, но Кителъкутъ съ Нуватомъ стоятъ вполне на высотѣ требованій г. Тана. «Не бойся вѣчности, не уступай судьбѣ, будь смѣлъ, будь дерзокъ и безстрашенъ, огромный этотъ міръ принадлежитъ тебѣ», такъ взывалъ г. Танъ, и Кителъкутъ съ Нуватомъ должны были бы сказать тутъ: такъ, такъ, Вэйпъ, пишущій человѣкъ, такъ! Бояться вѣчности и судьбы? Но мы съ ними, благодаря нашимъ шаманамъ, за панибрата, ничего таинственного, непонятнаго въ нихъ для насъ нѣтъ. Эка важность—вѣчность! Эка штука—судьба! Какъ теперь мы жремъ оленину и пьемъ тюлений жиръ, такъ будемъ жрать и пить и въ вѣчности. Насчетъ дерзости и безстрашія насъ учить нечего, а что касается до этого огромнаго міра, то, конечно, онъ принадлежитъ намъ. И тундра наша, и океанъ нашъ, со всѣми оленями, тюленями, медвѣдями, песцами и про-

чей благодатью. «Владѣй же имъ какъ богъ. Живи въ его чертѣ какъ гордый и счастливый геній». А какъ же иначе: власть наша въ тундрѣ безгранична, а за черту ея мы переходимъ только за тѣмъ, чтобы табаку и сердитой воды (водки) достать. «Какъ новый Прометей, найди въ себѣ самомъ свою защиту и опору и вѣчно будь готовъ къ отпору». Ну, еще бы! У насъ кто сильнѣе, тотъ и правѣе и чуть заѣваешься, не остережешься—тотчасъ горло перерѣжутъ! Изъ-за табаку Яакъ зарѣзалъ Кителъкута (см. рассказъ «На каменномъ мысу»), а сынъ Кителъкута, Нуватъ, за это зарѣзалъ старика Уквуна и двухъ женщинъ—Анеку и Вельвуну, зарѣзалъ не потому, чтобы они были какъ-нибудь причастны къ убійству Кителъкута, а потому что не можетъ же отецъ Нувата «уйти изъ этого свѣта безъ свиты» (стр. 95). Стариковъ и женщинъ рѣзать безопасно—сдачи не дадутъ, такъ что же задумываться? «Дерзай господствовать!» Вотъ, вотъ это самое! Ахъ, какъ ты уменъ, Вэйпъ, пишущій человѣкъ! Если ты сильнѣе — ты господинъ; если ты слабѣе — ты слуга и рабъ. Вездѣ такъ: большая рыба глотаетъ маленькую, тюлень ловить рыбу, бѣлый медвѣдь ловить тюленя, я, Кителъкутъ, бью бѣлаго медвѣдя, а Яакъ, который оказался сильнѣе, нежели я, убилъ меня. Не сносить и ему головы, найдется кто-нибудь посильнѣй его. Самъ видишь, Вэйпъ, мы, чукотцы, живемъ точно такъ, какъ ты учишь. Правда, наѣзжаютъ къ намъ иногда какіе-то люди, — миссіонерами что ли ихъ зовутъ, — которые говорятъ совсѣмъ не то, что ты говоришь, да мы ихъ не слушаемъ. Любите, говорятъ они, другъ друга, не ссорьтесь, не обижайте слабыхъ, стариковъ, женщинъ, дѣтей, не лгите, не воруйте, не убивайте. Есть чего слушать! Когда тюлень медвѣдя полюбитъ, тогда и я, Кителъкутъ, полюблю Яака. Ты самъ, Вэйпъ, слышалъ какъ нашъ шаманъ пѣлъ: «я поднимался за предѣлы вселенной, ноги мои топтали изнанку неба; глаза мои видѣли шатры верхнихъ странъ;



незримый, я смотрѣлъ... Я видѣлъ, какъ уцѣрбленный мѣсяцъ столкнулся съ нарождающимся—и одинъ изъ нихъ упалъ мертвымъ... Я видѣлъ, какъ Восходъ и Закатъ состязались, прыгая взапуски черезъ черное ущелье, утыканное острыми осколками костей...» (стр. 57). Ужъ если мѣсяцъ съ мѣсяцемъ на смерть дерутся, ужъ если восходъ съ закатомъ состязаются, ужъ если за предѣлами вселенной такъ дѣла устроены, такъ намъ, въ нашей тундрѣ, и думать не о чемъ. Будемъ жить, какъ жили и какъ ты, Вэипъ, учишь:

Землѣ владыкой будь  
И цѣлый міръ собой наполни.

Буду владычествовать и господствовать, насколько кулака хватить. Свернуть шею—туда мнѣ и дорога, но до тѣхъ поръ сколько я шей посвертываю, сколько горлъ перерѣжу! Да здравствуетъ чукотская мораль! Многая лѣта Вэипу, пишущему человѣку!

Если г. Тану не понравится эта наша страница, то мы будемъ очень мало огорчены этимъ обстоятельствомъ: на зеркало нечего пенять... Правда, для характеристики литературной личности г. Тана мы воспользовались матеріаломъ, не входящимъ въ составъ его «Чукотскихъ рассказовъ», но, во-первыхъ, матеріаломъ (стихотвореніемъ) все-таки ему принадлежащимъ, а во-вторыхъ, *манера* автора «Чукотскихъ рассказовъ» вполне отвѣчаетъ *тенденціямъ* автора стихотворенія. Надо только взглянуть въ эту манеру, понять ея настоящій смыслъ, иначе рискуешь принять ее за безстрастную художественную объективность, въ которой очень многіе видятъ большое достоинство. Среди чукчей г. Танъ совершенно какъ дома. Не въ томъ смыслѣ дома, что онъ приобрѣлъ полное довѣріе дикарей, а въ томъ, что онъ чувствуетъ себя въ ихъ средѣ нравственно-свободно. Физически ему часто бывало душно въ ихъ шалашахъ, и онъ не разъ упоминаетъ объ этомъ, но нравственно — никогда. Нѣтъ, это не объективность, это...

неужто солидарность? А право, не знаю, какъ сказать. Я увѣренъ только въ томъ, что, какъ бы ни высоко стоялъ цивилизованный человѣкъ надъ умственнымъ и нравственнымъ уровнемъ дикарей, онъ все-таки не можетъ вполне безразлично относиться къ ихъ дѣйствіямъ и даже понятіямъ. Кошка, собака могутъ вызвать въ немъ искреннее негодованіе своимъ поведеніемъ («ахъ, лукавая тварь!» «ахъ, подлая трусиха!»), такъ неужели же люди, хотя бы они были изъ дикарей дикарями, не въ состояніи вволновать насъ? Ну, хоть что-нибудь, какое-нибудь чувство, смотря по темпераменту человѣка,—одинъ скажетъ: тьфу! вотъ скоты! Другой скажетъ: несчастные, не вѣдаютъ, что творятъ! Третій скажетъ: темнота, темнота безпросвѣтная! Четвертый, пятый, десятый, вы, я,—всѣ мы что-нибудь скажемъ, потому что всѣ что-нибудь—отъ омерзѣнія до состраданія—почувствуемъ, глядя на жизнь этихъ людей-звѣрей. А г. Танъ невозмутимъ. Онъ невозмутимъ какъ... я хотѣлъ сказать, какъ скала, но скажу гораздо правильнѣе—невозмутимъ какъ Китилькутъ. Китилькутъ лучше, симпатичнѣе своихъ соплеменниковъ, но, будучи выше ихъ ростомъ, онъ все-таки стоитъ на одномъ съ ними нравственномъ уровнѣ, на томъ уровнѣ, который съ нашею христіанскою моралью лежитъ, говоря языкомъ математики, въ различныхъ плоскостяхъ.

Дальше распространяться объ этомъ не стоитъ—читатель понимаетъ нашу мысль. Да, господа, вы правы (см. главу I), вы намъ, а мы вамъ дѣйствительно *чужіе*.

#### IV.

Съ Чукотскаго носа, изъ общества Китилькутовъ и Яяковъ, читателю надлежитъ перенестись мыслью въ самый центръ высшей культуры, туда, гдѣ «гремятъ витіи, кипитъ словесная война». Путеводителемъ нашимъ будетъ теперь г. Вересаевъ, утонченнѣйшій джентльменъ, съ изящными манерами, съ ласковымъ взоромъ, съ тихо-журча-

шей рѣчью. Онъ никому не скажетъ, какъ г. Горькій, «ахъ, вы морды»! Мягко-премягко стелетъ г. Вересаевъ... Если бы отъ насъ потребовали выразить въ одномъ словѣ основную сущность таланта г. Вересаева, мы сказали бы, что это *уклончивый* талантъ. Г. Вересаева очень озабочиваютъ судьбы и пути нашего народничества и нашего марксизма, и его главнѣйшіе рассказы «Безъ дороги» и «Повѣтріе» написаны на тему борьбы этихъ двухъ теченій нашей мысли. Но кто такой самъ г. Вересаевъ? Онъ не народникъ,—я имѣю и представлю на то доказательства; онъ и не марксистъ,—я и на это имѣю и представлю доказательства. «Ну, что жъ, скажетъ мнѣ кто-нибудь изъ моихъ постоянныхъ читателей, вѣдь и вы не народникъ, и не марксистъ—что тутъ худого? Быть можетъ, г. Вересаевъ занимаетъ какъ разъ ту позицію, на которой и вы утвердились». Не совсѣмъ такъ, читатель. Моя позиція состоитъ въ томъ, что я говорю народникамъ: *вы ошибались и ошибаетесь*, а марксистамъ: *вы совершенно не правы*, тогда какъ г. Вересаевъ говоритъ народникамъ: *вы правы*, а марксистамъ: *не могу съ вами не согласиться*. Это отнюдь въ г. Вересаевѣ не хамелеонство, это именно чрезмѣрное джентльменство, избытокъ любезности и учтивости. Г. Вересаевъ какъ будто руководствуется двумя правилами, изъ которыхъ одно гласитъ: *les présents sont exclus*, а другое—*les absents ont toujours tort*. Въ силу этихъ свѣтскихъ правилъ г. Вересаевъ пожимаетъ плечами при словѣ «народничество», когда находится въ обществѣ марксистовъ. Это онъ изъ вѣжливости.

Въ книжкѣ г. Вересаева семь рассказовъ, изъ которыхъ можно и должно остановиться только на двухъ уже упомянутыхъ выше—«Безъ дороги» и «Повѣтріе». Остальные представляютъ собою средняго разбора фельетоны, которые читаются обыкновенно или послѣ обѣда или на сонъ грядущій. *Безъ дороги*—это народники идутъ безъ дороги. *Повѣтріе*—это нашъ марксизмъ повѣтріе. А впрочемъ, г.

Вересаевъ готовъ сопутствовать первымъ и не принимаетъ никакихъ предохранительныхъ мѣръ, чтобы не заразиться вторымъ. А впрочемъ... ничего положительнаго *впрочемъ* я сказать не могу, потому что манеры г. Вересаева сбиваютъ меня съ толку. Это слишкомъ тонкій и тонный для моего грубаго пониманія авторъ. Что такое, наприм., вотъ это: «Какимъ чудомъ могло случиться, что въ такой короткій срокъ все такъ измѣнилось? Самыя свѣтлыя имена вдругъ потускнѣли, слова самыя великія стали пошлыми и смѣшными; на смѣну вчерашнему поколѣнію явилось новое и не вѣрилось, неужели *эти*—всего только младшіе братья вчерашнихъ? Въ литературѣ медленно, но непрерывно шло какое-то общее заворачиваніе фронта и шло во все не во имя какихъ-либо новыхъ началъ,—о, нѣтъ! Дѣло было очень ясно: это было лишь ренегатство, — ренегатство общее, массовое и, что всего ужаснѣе, безсознательное. Литература тщательно оплевывала въ прошломъ все свѣтлое и хорошее, но оплевывала наивно, сама того не замѣчая, воображая, что поддерживаетъ какіе-то «завѣты»; прежнее чистое знамя въ ея рукахъ давно уже обратилось въ грязную тряпку, а она съ гордостью несла эту опозоренную ею святыню и звала къ ней читателя; съ мертвымъ сердцемъ, безъ огня и безъ вѣры говорила она что-то, чему никто не вѣрилъ...» (стр. 102).

Что бы это такое могло означать? Это одинъ народникъ («Безъ дороги») разсуждаетъ такъ у г. Вересаева, человѣкъ довольно интеллигентный, врачъ... За что онъ клеймитъ литературу? Какую именно часть ея онъ обвиняетъ въ ренегатствѣ? Если марксистскую,—какъ этого можно ожидать отъ народника,—то онъ очевидно и грубо неправъ: заворотъ фронта произошелъ у марксистовъ именно *во имя новыхъ началъ*, о которыхъ можно имѣть всякое мнѣніе, но наличности которыхъ невозможно отрицать. Однако, нѣтъ: та же ренегатская литература, оплевывая прошлое, воображала, что *поддерживаетъ какіе-то завѣты*.. Ника-

кихъ завѣтовъ марксисты не поддерживаютъ, потому что до народническихъ завѣтовъ имъ дѣла нѣтъ, а своихъ собственныхъ у нихъ еще не выработалось за недавностью. Или это народники—ренегаты? Они *опозорили святыню*? Они *чистое знамя* превратили въ *грязную тряпку*? Ничего подобного, въ сколько-нибудь значительныхъ проявленіяхъ, не было въ народнической литературѣ (совершенно даже наоборотъ: вѣрность народниковъ своему — не опозоренному, а изстрѣлянному—знамени внушаетъ и симпатію и почтеніе),—ну, а въ жизни, конечно, всякое бывало. Чтобы не далеко ходить за примѣромъ, взять хотя бы того же героя г. Вересаева, тутъ же дѣлающаго такіа признанія: «При этомъ я не могъ не видѣть и всей чудовищной уродливости моего собственнаго положенія: недовѣрчиво встрѣчая всякое новое вѣяніе, я обрекать себя на мертвую неподвижность; мнѣ грозила опасность обратиться въ совершенно «обезсмысленную щепку» когда-то «побѣдоноснаго корабля». Путаясь все больше въ этомъ безвыходномъ противорѣчій, заглушая въ душѣ горькое презрѣніе къ себѣ, я пришелъ, наконецъ, къ результату: уничтожиться, уничтожиться совершенно—единственное для меня спасеніе» (стр. 103). А, вотъ что! Такъ какъ на людяхъ и смерть красна, то земскій врачъ Чекановъ (имя героя), разочаровавшись въ народническихъ идеалахъ, приписываетъ свое разочарованіе и литературѣ, свое личное отступничество поставляетъ подъ сѣнь общаго будто бы отступничества. Это очень не новая и обыкновенная исторія, валить съ своей больной головы на чужую здоровую—это излюбленный приѣмъ мелкихъ и трусливыхъ натуръ. Дальше Чекановъ обнаруживаетъ себя еще яснѣе: «Въ разговорахъ ея проскальзываютъ слова: «долгъ народу», «дѣло», «идея». Мнѣ же эти слова рѣжутъ ухо, какъ визгъ стекла подъ тупымъ шиломъ» (стр. 137).

И вотъ этого-то человѣка, опустошеннаго до того, что даже слово «идея» вызываетъ въ немъ нервное раздраже-

ніе, эту слезливую старую дѣву со свѣтильникомъ безъ масла, г. Вересаевъ ставитъ въ драматическое положеніе: появилась въ губерніи холера, и Чекановъ, въ качествѣ врача, явился бороться съ нею. То-то борецъ! Онъ ведетъ дневникъ, въ которомъ изливаетъ свои чувства (самое время для такого заятія!), и мы узнаемъ изъ этого дневника объ его подвигахъ. Подробно анализировать эти подвиги я не стану, но два-три указанія сдѣлаю. Чекановъ не лѣчить, а все только убѣждаетъ простонародье лѣчиться. На первыхъ же порахъ онъ встрѣчается съ сопротивленіемъ,—ему не позволяютъ сдѣлать въ комнатѣ холернаго дезинфекцію,—и онъ говоритъ: «Ну, какъ хотите. Заставлять я васъ не стану. Но только помните, если теперь кто поблизости заболѣетъ, вы будете виноваты! Прощайте!» Сказавъ это, онъ постѣпшилъ къ своему дневнику и записалъ: «Скверно и тяжело на душѣ, мучить совѣсть: произвести дезинфекцію было необходимо, но что же я могъ сдѣлать? Оставалось только прибѣгнуть къ помощи полиціи; дезинфекцію мы бы произвели, а дальше?» (стр. 201). Бываютъ же такіе кисляи на свѣтѣ! Мнѣ больше всего нравится этотъ дневникъ, который аккуратно ведетъ Чекановъ на полѣ битвы (какъ же иначе?), это бухгалтерская книга всѣхъ содѣянныхъ имъ глупостей. Считаетъ онъ свои глупости вѣрно, но избавиться отъ нихъ не въ состояніи. Пишетъ онъ, наприм., объ одномъ дезинфекторѣ, своемъ подчиненномъ: «Съ какимъ апломбомъ онъ является въ жилище холернаго, съ какимъ авторитетнымъ и снисходительнымъ видомъ объясняетъ родственникамъ заболѣвшаго суть заразы и дезинфекціи! И его презрѣніе къ ихъ невѣжеству дѣйствуетъ на нихъ сильнѣе, чѣмъ всѣ мои убѣжденія...» (стр. 212). Повліялъ ли этотъ примѣръ на Чеканова? Нисколько! Онъ продолжаетъ ходить и убѣждать, ходить и убѣждать: лѣчитесь, ахъ, пожалуйста, лѣчитесь! Чуть ли не на самую даже холеру онъ надѣется подѣйствовать краснорѣчіемъ. По крайней мѣрѣ, на стр.

206 онъ пишетъ въ дневникѣ: «Меня удивило, какъ часто Рыковъ (больной) просился въ ванну: сидить въ ней съ полчаса, затѣмъ походить по комнатѣ, полежить—и опять въ ванну; и все просить воды погорячѣе». А на стр. 210 мы вотъ что читаемъ: «Рыковъ почти не выходилъ изъ ванны. Я опасался, чтобы такое продолжительное пребываніе въ горячей водѣ не отозвалось на больномъ неблагопріятно, и нѣсколько разъ укладывалъ его въ постель. Но Рыковъ тотчасъ же начиналъ беспокойно метаться и требовать, чтобы его посадили обратно въ ванну. Въ одиннадцатомъ часу больной попросился въ постель и заснулъ; пульсъ былъ твердый и полный. Около четырнадцати часовъ Рыковъ, почти не выходя, просидѣлъ въ ваннѣ, и я вынесъ впечатлѣніе, что спасла его именно ванна». Онъ вынесъ впечатлѣніе... Выносить впечатлѣнія, разносить убѣжденія и все это заносить въ свою тетрадку, копаются въ своей душѣ, анализируютъ свои чувства, — вотъ гдѣ умѣстно воскликнуть, какъ однажды воскликнулъ Глѣбъ Успенскій: «Тѣфу! И жалъ и, кажется, убилъ бы!» Русскій народъ—народъ дѣловитый, своихъ жалѣльщиковъ и плакальщиковъ онъ не любитъ или, по крайней мѣрѣ, относится къ нимъ какъ къ «блаженненькимъ». Онъ любитъ и уважаетъ именно разумную энергію, толковую распорядительность. Что сказали бы солдаты, если бы ихъ командиръ въ пылу битвы подбѣгалъ къ каждому раненому и елеиннымъ голосомъ говорилъ ему: «Ахъ, голубчикъ ты мой! Не больно ли тебѣ?»—«Да отойди ты отъ меня, ваше благородіе,—сказалъ бы раненый,—гляди лучше впередъ, на непріятеля, вонъ онъ какъ напираетъ!» А холера—тотъ же атакующій непріятель.

Кончилось тѣмъ, что народъ на смерть избилъ любвеобильнаго доктора-народника, и, Боже мой, какія рѣки слезныя разливаютъ и цвѣты краснорѣчія рассыпаютъ по этому поводу какъ самъ авторъ, такъ и его умирающій герой. Они взапуски взываютъ: за что? за что? По *горь-*

кому мнѣнію доктора, вотъ за что: «Они меня били за то, что я пришелъ къ нимъ на помощь, что я несъ имъ свои силы, свои знанія, — все... Господи, Господи! Что жъ это — сонъ ли тяжелый, невѣроятный или голая правда? Не стыдно признаваться, я и въ эту минуту, когда пишу (а все-таки пишу!), плачу, какъ мальчикъ. Да, теперь только вижу я, какъ любилъ я народъ и какъ мучительно горька обида...» (стр. 233).

Вотъ о народникахъ этого толка и сказано мѣткое слово, что они *обсахариваютъ* народъ. Зачѣмъ пришелъ Чекановъ? Зачѣмъ, чтобы бороться съ болѣзнью, спасти безпомощно гибнущихъ людей. Земство, платившее ему жалованье, ожидало отъ него не краснорѣчія, не проповѣдей, а разумныхъ мѣропріятій. Неужели, видя захлебывающагося въ водѣ челоуѣка, вы закричите: «милый другъ, сердечный другъ! Сдѣлай ручками вотъ такъ-такъ, а ножками вотъ этакъ-этакъ и ты выплывешь!» Да не умѣетъ онъ плавать, почтеннѣйшій, и выучиться этому искусству можно только постепенно и ужъ, конечно, не передъ лицомъ смертной опасности! Бросайтесь въ воду и тащите его къ берегу за волосы, а не хотите, уходите по добру, по здорову. «Ну, какъ можно, за волосы! Это не гуманно!» Тьфу! И жаль и, кажется, убить бы!

Г. Вересаевъ хлопочетъ изъ всѣхъ своихъ силъ, чтобы представить своего героя невиннымъ страдальцемъ и вызвать въ читателѣ участіе къ нему. У него есть при этомъ своя цѣль (сознательно или бессознательно поставленная — намъ все равно), которую мы должны обнаружить. Для этого необходимо привести заключительныя строки разсказа, т.-е. дневника Чеканова. «Передо мною стоитъ Наташа. Она горько плачетъ, закрывъ глаза рукою. И я тихо гляжу на трепещущую отъ рыданій руку и не могу оторвать отъ нея глазъ. И я говорю ей, чтобъ она любила людей, любила народъ, что не нужно отчаиваться, нужно много и упорно работать, нужно искать дорогу,



потому что работы страшно много». О, какъ благороденъ и великодушенъ этотъ народникъ! Онъ умираетъ отъ руки народа и говоритъ своей единомышленницѣ въ видѣ послѣдняго завѣта: люби народъ. Не чувствуете ли вы, какъ закипаетъ въ вашей душѣ раздраженіе и негодованіе противъ этого неблагодарнаго народа, этого звѣря бессмысленнаго, готоваго разорвать тѣхъ, кто служить ему? О, да, г. Вересаевъ—тонкій писатель! Запомните, пожалуйста, эту Наташу-народницу, она сейчасъ явится передъ нами въ новомъ обличіи, и къ этой метаморфозѣ авторъ васъ и подготавлилъ, заблаговременно и искусно внушая вамъ мысль о совершенной законности этой метаморфозы.

Передъ нами рассказъ «Повѣтріе». Я не знаю съ точностью, гдѣ первоначально былъ былъ напечатанъ этотъ рассказъ, но полагаю, что въ народническомъ или близко къ народничеству стоящемъ журналѣ. Полагаю такъ потому, что въ рассказѣ этотъ г. Вересаевъ отзывается непосредственно отъ своего лица крайне неодобрительно о марксизмѣ: «онъ (одинъ изъ героевъ рассказа) уже не разъ слышалъ подобные взгляды и по журнальной полемикѣ былъ знакомъ съ этимъ недавно народившимся у насъ безобразнымъ доктринерскимъ ученіемъ, привѣтствующимъ развитіе въ Россіи капитализма и на мѣсто живой, дѣятельной личности кладущимъ въ основу исторіи слѣпую экономическую необходимость» (стр. 246). Это ужъ даже и не по-джентльменски. Однако за эту рѣзкость г. Вересаевъ съ лихвою вознаграждаетъ марксистовъ, изображая «повѣтріе» марксизма въ очень привлекательныхъ образахъ. Наша знакомка Наташа очень выросла умственно и нравственно съ тѣхъ поръ, какъ мы ее видѣли у постели умирающаго доктора-народника, пожила, побывала за границей, и теперь ее беспокоить отнюдь не какой-то «долгъ народу», а «развитіе промышленности» и «расширеніе внутренняго рынка». Мудрыя слова Наташи заслуживаютъ быть приведенными въ подлинникъ: «по-мо-

ему, переселенія прямо *желательны*, потому что они повысят благосостояніе и переселенцевъ и остающихся, а это поведетъ къ расширенію внутренняго рынка. Промышленность сразу не разовьется, для этого нужно время, число же безработныхъ растеть, и нельзя забывать, что дѣло тутъ идетъ о живыхъ людяхъ, уже поэтому одному переселенія желательны; притомъ, повысивъ благосостояніе мужика, переселенія увеличили бы его покупательную силу, а это важно для развитія той же промышленности» (стр. 265). Самъ г. Скальковскій лучше не скажетъ... Просто, у этой дѣвицы ума палата! Присутствовавшій тутъ народникъ заикнулся было, что *теперешней* Наташѣ о «живыхъ людяхъ» совсѣмъ не подобаетъ говорить: «будьте ужъ откровенны до конца, говорите о вашей промышленности и оставьте живыхъ людей въ покое. Если бы они грозили остановить развитіе вашего милаго капитализма, то развѣ вы стали бы съ ними считаться? (слѣдовало, очевидно, сказать — *церемониться*). Что значить для васъ эта сотня тысячъ какихъ-то «живыхъ людей», умирающихъ съ голоду?» (стр. 266).

Народникъ, однако, былъ тотчасъ же разбитъ въ пухъ и прахъ, при чемъ у Наташи «свѣтилось въ глазахъ сожалѣніе къ нему», а у ея союзника-марксиста былъ «снисходительный тонъ выраженій». Такіе жалкенькіе эти народники...

Ясно, что марксисты могутъ легко простить г. Вересаева, что онъ называлъ марксизмъ *безобразнымъ доктринерскимъ ученіемъ*. Въ изображеніи г. Вересаева это «повѣтріе» охватываетъ наиболѣе чуткія и живыя натуры, въ родѣ Наташи, а безсильные народники умѣютъ только повторять свои вокабулы, давно всѣмъ надѣвшіяся. Наташа въ изображеніи г. Вересаева, нисколько не ренегатка, она — *обновляющаяся, возродившаяся*. Она говоритъ тѣмъ энергичнымъ языкомъ, какимъ говорятъ Павлы, переставшіе быть Савлами, не только не боится упрековъ со сто-

роны прежнихъ своихъ единомышленниковъ, но сама упрекаетъ и обличаетъ ихъ. «Какъ можете вы съ этимъ жить?—спрашиваетъ она одного народника.—Во что вѣрите вы? Въ окружающей жизни идетъ коренная, давно невиданная ломка, въ этой ломкѣ падаетъ и гибнетъ одно, незамѣтно нарождается другое, жизнь перестраивается на совершенно новый ладъ, выдвигаются совершенно новыя задачи. И вы стоите передъ этимъ хаосомъ, потерявъ подъ ногами всякую почву; старое вы бы рады удержать, но понимаете, что оно гибнетъ безвозвратно; къ нарождающемуся новому не испытываете ничего, кромѣ недовѣрія и ненависти. Гдѣ же для васъ выходъ?» (стр. 277). Предоставляя народникамъ самимъ защищаться, если пожелаютъ, отъ нападеній этой бѣдовой барышни, я спрошу только: гдѣ идетъ коренная невиданная *ломка*? Гдѣ и какой хаосъ? Ломка, правда, идетъ въ понятіяхъ нѣкоторой части нашего общества и она сопровождается, пожалуй, хаосомъ въ міросозерцаніи, но обстоятельство это имѣетъ нѣкоторое общественное значеніе и несомнѣнный литературный интересъ, но историческаго, всенароднаго смысла она не имѣетъ никакого. Экономическіе процессы, совершающіеся въ жизни нашего народа, представляютъ собою отнюдь не *ломку*; это процессы органическіе, начало которыхъ можетъ быть указано во времени съ полной точностью: 19 февраля 1861 года. *Старое гибнетъ безвозвратно*,—нѣтъ, кажется, все слава Богу. Неурядицы и всякой чепухи, разумѣется, не мало, но *старое* наше, старое-престарое, не только не гибнетъ, а растетъ и крѣпнеть. Это старое—многомилліонный русскій народъ, тотъ народъ, который вынесъ на своихъ плечахъ всю нашу нелегкую исторію, который только вчера освободился отъ двухсотлѣтняго крѣпостнаго ига и который не спасуетъ передъ вашимъ капитализмомъ, передъ этимъ капитализмомъ, шагу не умѣющимъ сдѣлать безъ государственныхъ помочей, безъ протекціонистскихъ костылей. Вы, господа

марксистка, разочаровались въ русскомъ народѣ, въ его духѣ и разумѣ, потому что воочию видѣли проявленіе его бессмысленнаго звѣрства, а намъ разочароваться нельзя по той причинѣ, что мы никогда себя и не очаровывали. «Такъ русская печь печетъ», не помню кому принадлежитъ это выраженіе, но въ немъ есть смыслъ и отнюдь не *квасной*. Въ *этомъ* не разочаруютъ насъ никакія проявленія народной темноты, и мы надѣмся полюбоваться не тѣмъ, какъ нашъ пахарь будетъ вывариваться въ фабричномъ котлѣ, а тѣмъ, какъ западный капитализмъ будетъ выпекаться въ нашей печи. А пока припичите хоть *одно* западное явленіе или учрежденіе, отъ табели о рангахъ до литературныхъ ученій и школъ, которое, будучи перенесено на нашу почву, не измѣнило бы своего первоначальнаго характера самымъ существеннымъ образомъ. Милитаризмъ? Да, это единственное, на что вы могли бы указать съ нѣкоторымъ правдоподобіемъ, но лишь до недавняго времени: милитаризмъ, взывающій къ разоруженію, къ самоограниченію, понимающій о «мирѣ всего міра» — это не западный, не подлинный, не злостный милитаризмъ. Въ призмѣ русскаго характера (а не *навыковъ*, почтеннѣйшіе господа) преломляются и мѣняють свой цвѣтъ самыя яркіе лучи, идущіе отъ запада. Вашъ учитель-космополитъ, какъ извѣстно, понималъ это очень хорошо, а вы, русскіе люди, понять этого не въ состояніи. Смотрять и не видять, слышать и не внемлуть.

Приглядываясь къ литературной личности г. Вересаева, мы въ концѣ-концовъ можемъ сравнить этого своеобразнаго народника-марксиста только съ Иваномъ Ивановичемъ Полумраковымъ, извѣстнымъ героемъ Глѣба Успенскаго. *Полумраковъ* — эта фамилія точно нарочно придумана для нашего полумарксиста, полународника. «Довольно, довольно, довольно! Дайте и намъ, и намъ... не все же мужикъ, мужикъ, мужикъ!» Такъ вопіялъ разочаровавшійся въ народѣ Полумраковъ, и то же самое въ сущ-

ности говорить г. Вересаевъ, но не съ грубою прямою героя Успенскаго, а съ мягкою уклончивостью, съ красивыми изворотами рѣчи, съ вѣжливыми оговорками. То ли дѣло г. Горькій, у котораго что на умѣ, то и на языкѣ!

V.

Все имѣетъ свою причину и понять—значить простить. Какъ часто повторяются эти афоризмы и какъ рѣдко они получаютъ практическое значеніе! Не трудно понять, а значить возможно простить (однако *такого* рода прощеніе вовсе не освобождаетъ отъ борьбы) и успѣхи у насъ ницпiанства съ марксизмомъ. Я ставлю эти два теченія мысли въ тѣснѣйшую зависимость и, пожалуй, въ причинную связь: безъ дерзкаго ницпiанства не было бы и самоувѣреннаго марксизма. Нашъ русскій марксизмъ не только экономическое, но и этическое ученіе. Что такое русскій мужикъ? Не сѣятель и не хранитель родной земли, какъ это утверждали сантиментальный поэтъ-народникъ, это экономическій факторъ, рабочая сила, подчиненная власти желѣзныхъ экономическихъ законовъ. C'est le ventre qui fait les révolutions, какъ сказалъ Наполеонъ I, и не только революціи, но и всякія общественныя эволюціи происходятъ изъ того же источника. Le ventre—это основаніе, на которомъ воздвигаются разнаго рода «надстройки», имѣющія только производное, второстепенное значеніе.

Такой взглядъ на человѣка уже самъ въ себѣ заключаетъ цѣлое нравственное ученіе. Вотъ человѣкъ, нашъ ближній, нашъ братъ,—это одинъ взглядъ; вотъ человѣкъ, т.-е. брюхо, которое потребляетъ, и руки, которыя производятъ,—это другой взглядъ. «И ближнаго я не люблю, какъ не люблю себя», такъ выразился одинъ нашъ поэтъ-ницпiанецъ и совершенно резонно: если человѣкъ не болѣе какъ орудіе производства, то намъ *нечего* любить и чтить ни въ другихъ, ни въ самихъ себѣ. А работа нашего духа, а мысли о безконечности, а стремленіе къ

идеалу, жажда вѣры и любви? Это все въ насъ, должно быть, *надстройки*, которыя могутъ быть, но могутъ и не быть, смотря по обстоятельствамъ.

Позвольте, читатель. Я вовсе не приглашаю васъ къ тому необузданному идеализму, который договаривается до разрѣшенія дикарю терзать на вашихъ глазахъ вашихъ собственныхъ дѣтей или разбойнику выкалывать глаза ребенку. Любить ближняго—это прекрасно, но кто нашъ ближній? Всѣхъ любить—сердца не хватитъ, да это было бы и несправедливо и неразумно. Вотъ г. Горькій, цѣною тяжелаго личнаго опыта пришедшій къ убѣжденію, что homo homini lupus, человѣкъ человѣку—волкъ. Въ разсказѣ «Мой спутникъ» онъ съ своею обычною яркою изобразительностью рассказываетъ намъ о человѣкѣ, его случайномъ спутникѣ, котораго онъ по-христіански пожалѣлъ, пріютилъ, защитилъ и который постыднѣйшимъ образомъ въ концѣ-концовъ обманулъ его. «Я,—говоритъ г. Горькій,—никогда больше не встрѣчалъ этого человѣка, моего спутника въ теченіе почти четырехъ мѣсяцевъ жизни, но я часто вспоминаю о немъ съ добрымъ чувствомъ и веселымъ смѣхомъ. Онъ научилъ меня многому, чего не найдешь въ толстыхъ фоліантахъ, написанныхъ мудрецами, ибо мудрость жизни всегда глубже и обширнѣе мудрости людей» (стр. 309). Чему же именно научилъ г. Горькаго примѣръ его спутника? Мудрости, о которой авторъ напрасно говоритъ, что ее не найдешь въ толстыхъ фоліантахъ мудрецовъ. Нѣтъ, философія эгоизма и индивидуализма, резюмирующаяся въ извѣстномъ правилѣ—«каждый за себя, каждый для себя», что въ вольномъ переводѣ на босяцкій языкъ значитъ просто «не вѣдай»,—эта философія довольно тщательно разработана. Каждому доброму человѣку, вѣроятно, приходилось встрѣчаться съ людскою неблагодарностью, иногда поистинѣ вопіющею, и... что же изъ этого слѣдуетъ? На этотъ вопросъ пусть отвѣтитъ намъ Марья Павловна, одна изъ героинь «Воскресенія». «Марья Павловна никогда не думала о себѣ,

а всегда была озабочена только тѣмъ, какъ бы услужить, помочь кому-нибудь въ большемъ или меньшемъ. Одинъ изъ теперешнихъ товарищей ея, Новодворовъ, шутя говорилъ про нее, что она предается спорту благотворенія. И это была правда. Весь интересъ ея жизни состоялъ, какъ для охотника найти дичь, въ томъ, чтобы найти случай служенія другимъ. И этотъ спортъ сдѣлался привычкой, сдѣлался дѣломъ ея жизни. И дѣлала она это такъ естественно, что всѣ, знавшіе ее, уже не цѣнили, а требовали этого». Если примѣръ лживаго, наглаго и подлаго чело-вѣка «научилъ многому» г. Горькаго, то неужели ничему не научилъ бы его примѣръ Марьи Павловны? Толстой указываетъ не личную и не случайную, а общую, типическую черту людей: всѣ знавшіе Марью Павловну уже не цѣнили, а требовали отъ нея самоотверженія и помощи. На *этомъ* наблюденіи могутъ быть построены нѣкоторые общіе выводы, тогда какъ ни примѣръ «спутника», ни примѣръ Марьи Павловны ровно ничего не говорятъ намъ. Разные люди на свѣтѣ есть—вотъ все, что мы можемъ сказать, глядя на Шакро («спутника» г. Горькаго) и на Марью Павловну. Мы слишкомъ выше Шакро, чтобы поучаться его примѣромъ, и слишкомъ ниже Марьи Павловны, чтобы надѣяться достигнуть ея чистоты, ея неистощимой любвеобильности. Всесовершенная безсовѣстность Шакро, точно такъ же, какъ чисто евангельская доброта Марьи Павловны—ихъ личныя, стихійныя свойства, ихъ, я готовъ сказать, *таланты*, а талантамъ подражать нельзя. Намъ, среднимъ людямъ, нужно искать пригодную для насъ истину между этими двумя нравственными полюсами—въ срединѣ же. Если наша добродушная услужливость, наша искренняя доброжелательность порождаетъ со стороны людей все только новыя и большія претензіи, мы начинаемъ испытывать негодованіе и вспоминаемъ, что у насъ есть не только шея, на которой можно ѣздить охочимъ людямъ, но и руки, чтобы защищаться, и зубы, чтобы кусаться. Хроническое самопожертвованіе Марьи Павловны для насъ

не образец, и святыню своей личности мы не отдадимъ въ безконтрольное распоряженіе всякому встрѣчному. Съ другой стороны, ничего, кромѣ отвращенія, мы не можемъ чувствовать къ Шакро, потому что въ насъ не молчитъ голосъ совѣсти, живое чувство правды. Обмануть человѣка, сдѣлавшаго намъ добро (см. рассказъ), для насъ такъ же трудно и даже невозможно, какъ вѣчно прощать обманывающимъ насъ. Мы не скоты, какъ Шакро, и не святые, какъ Марья Павловна. Завѣтъ «люби» мы знаемъ и помнимъ, но на ряду съ нимъ помнимъ и другой завѣтъ: не метать бисера передъ свиньями. Марья Павловна неисчерпаемо богата и можетъ быть расточительной, а намъ этого *бисера*, драгоценнаго бисера любви, отпущено судьбою въ обрѣзъ, такъ что намъ поневолѣ приходится быть экономными. Ну, попробуйте любовно и сердечно относиться ко *всѣмъ* людямъ, что получится въ результатъ, къ чему вы придете? Къ ожесточенію, къ человѣконенавистничеству, т.-е. къ нравственному банкротству. Это случится всенепремѣнно, потому что вашу любовь будутъ злостно эксплуатировать, ваше добродушіе обзовутъ глупостью, вашу личность по клочкамъ расхитятъ. Господъ Шакро въ нашей жизни—непечатый край. Но не они съ ихъ волчьей моралью олицетворяютъ въ себѣ «мудрость жизни», какъ это слишкомъ поспѣшно заключилъ г. Горькій, а также—увы!—и не Марья Павловны. Мы живемъ не «по ту сторону добра и зла», не по ту и не по эту, а въ самомъ ихъ круговоротѣ, и «мудрость жизни» состоитъ въ томъ, чтобы не терять нравственного равновѣсія, чтобы любить лишь достойное любви, сердце имѣть отверстымъ, но и камнемъ за пазухой не пренебрегать. Любите ближняго, но Зулу, поджаривающій дѣтей, но разбойникъ, выкалывающій глаза, но Шакро, платящій зломъ за добро, не ближніе мои, а худшіе изъ враговъ,—враги по человѣчеству. *Беллетристы новѣйшей формации* въ значительной мѣрѣ утратили это чувство нравственного равновѣсія.



1898 г.

## Публицистъ-идилликъ.

(М. О. Меньшиковъ: *Думы о счастіи*. Спб., 1898 г.—  
Онъ же: *О писательствѣ*. Спб., 1898 г.)

„О, я прамехонько иду въ лѣса Аркадіи счастливой!“  
Крыловъ („Волкъ и кукушка“).

„Всякое судебное мѣсто снисходительнѣе  
осуждаетъ, нежели записные филантропы и  
люди, сознающіе себя честными и добрыми“.  
Герценъ („Капризы и раздумье“).

### I.

«Книга—корабль мысли,—говоритъ Вэконъ.—Выпуская эту небольшую книгу въ океанъ времени, гдѣ волнуются человѣческія сердца, авторъ желаетъ ей не слишкомъ жестокихъ бурь и гостепріимныхъ береговъ. Набеant sua fata libelli... Я не желаю своей книгѣ иной судьбы, чѣмъ та, которую она заслуживаетъ».

Такъ, не безъ нѣкоторой торжественности, говоритъ г. Меньшиковъ въ предисловіи къ своей книгѣ *О писательствѣ*. Другая, болѣе значительная книга того же автора *Думы о счастіи* не снабжена предисловіемъ, но, конечно, только что цитированныя нами слова всецѣло примѣняются и къ ней. Съ своей стороны, мы присоединяемся къ пожеланіямъ автора и раздѣляемъ его надежды: объ его книги не заслуживаютъ бурь и вправѣ разсчитывать на гостепріимство читателей. Это не большіе корабли,

которымъ предстоитъ большое плаваніе, это красивенькія любительскія яхточки, предназначенныя для мирныхъ прогулокъ по какому-нибудь средиземному морю, давнымъ давно вдоль и поперекъ изъѣзженному, имѣющему превосходныя карты. Все будетъ благополучно, — не надо только за Геркулесовы столбы заплывать и отъ Сциллы и Харибды стараться подальше курсъ держать. Г. Меньшиковъ не обидится, если я предложу ему свои услуги въ качествѣ лоцмана, — не обидится потому, что въ томъ же предисловіи онъ самъ говоритъ: «не учить я хочу, — это не моя манера, — а лишь подѣлиться впечатлѣніями чловѣка, желающаго научиться». Вотъ и прекрасно: будемъ дѣлиться впечатлѣніями, будемъ учиться другъ у друга, будемъ совѣтоваться другъ съ другомъ — и намъ быть можетъ удастся достигнуть тихой гавани Истины. Съ перваго же раза я посовѣтовалъ бы г. Меньшикову оставить курсъ на Элладу, потому что хотя въ Элладѣ и находится Аркадія, но я крѣпко увѣренъ, что въ Аркадіи не находится того, что намъ нужно.

Какое изобиліе метафоръ! Поводъ къ нимъ однако подалъ мнѣ самъ г. Меньшиковъ, съ которымъ теперь читателю и предстоитъ познакомиться. Поздравляю читателя: онъ дѣлаетъ интересное и полезное знакомство. Г. Меньшиковъ принадлежитъ къ разряду тѣхъ, во всѣхъ литературахъ немногочисленныхъ, писателей, которые смотря на свое дѣло не какъ на ремесло, а какъ на миссію. «Это мои думы о томъ, о чемъ думаетъ каждый, кто со страхомъ и трепетомъ смотритъ на служеніе Слову», такъ говоритъ г. Меньшиковъ въ своемъ предисловіи, и это въ его устахъ, кажется, не фраза. Общій тонъ его писаній отличается не только глубокою серьезностью, но и какою-то тихою задумчивостью и почти молитвенною сосредоточенностью. Г. Меньшиковъ не улыбнется, не пошутитъ и по сторонамъ не оглядывается, — онъ держитъ себя въ литературѣ такъ, какъ религіозный чловѣкъ держитъ себя

въ храмѣ. Правда, онъ часто противорѣчить самъ себѣ, но искренность его несомнѣнна и тогда, когда онъ говорить «да», и тогда, когда онъ по тому же вопросу говорить «нѣтъ»: онъ только недостаточно продумалъ свои темы, вотъ и все. Противъ логики онъ, дѣйствительно, часто погрѣшаетъ, но противъ совѣсти—никогда. Казалось бы, какъ это возможно? Какъ возможно на одной страницѣ съ убѣжденіемъ утверждать, а на другой страницѣ съ не меньшимъ убѣжденіемъ отрицать? А я попрошу читателя вспомнить знаменитаго Каратаева изъ романа *Война и миръ*. По замѣчанію Толстого, «Каратаевъ часто говорилъ совершенно противоположное тому, что онъ говорилъ прежде, но и то и другое было справедливо»,—и это самое можно сказать о г. Меньшиковѣ. Дѣло въ томъ, что Каратаевъ говорилъ поговорками и пословицами, г. Меньшиковъ говоритъ афоризмами и сентенціями, и именно поэтому они оба неуязвимы, несмотря на свои противорѣчія: всякая пословица, какъ и всякій афоризмъ, представляютъ собою нѣкоторое огульное наблюденіе и нѣкоторое общее сужденіе, непременно заключающее въ себѣ свою долю истины, которую надо только пристроить къ надлежащему мѣсту. «На Бога надѣйся, а самъ не плошай», скажетъ Каратаевъ въ одномъ случаѣ; «на Бога положишься—не обложишься», скажетъ онъ въ другомъ случаѣ; «Божью власть не руками скласть», скажетъ онъ въ третьемъ случаѣ, и во всѣхъ случаяхъ будетъ правъ, потому что и случаи, по поводу которыхъ онъ изрекалъ, были между собою существенно различны. Да, бываетъ и такъ, что человекъ выручаетъ изъ тисковъ сама судьба, помимо всякихъ усилий со стороны самого субъекта, выручаетъ такъ называемый счастливый случай,—и тутъ Каратаевъ скажетъ свое мудрое «не обложишься»; бываетъ такъ, что человекъ побѣждаетъ обстоятельства единственно силою своей энергіи,—и тутъ Каратаевъ изречетъ: «вотъ что значитъ самому не плошать»; бываетъ, наконецъ, и такъ, что въ результатѣ

борьбы человѣка съ жизнью получается нѣчто непредвидѣнное, худое или хорошее, но никѣмъ неожиданное, и это будетъ значить, что «Божью власть не руками скласть». Каратаевъ окажется опять правъ. То же самое мы находимъ и у г. Меньшикова, точно такова и его всегдашняя искренность и «правота». Вотъ, напр., на стр. 7 своей книги *Думы о счастьѣ* г. Меньшиковъ утверждаетъ, что «въ сущности любить, какъ и ненавидѣть — можно только другихъ, *тотъ маленький міръ близкихъ, въ которыхъ живешь душою*» (курсивъ мой), а на стр. 46 онъ же говоритъ: «тепличное существованіе несносно. Живой душѣ хочется богатнаго *климата*» (курсивъ автора), любви, родственной атмосферы, чего не даетъ кружокъ людей и что *можетъ дать лишь большой человѣческій міръ* (курсивъ мой), вамъ сочувственный». Какъ вамъ это нравится? Или вотъ другой примѣръ: на стр. 28 той же книги г. Меньшиковъ съ убѣжденіемъ говоритъ, что «выросшая и остающаяся въ деревнѣ простонародная интеллигенція, не имѣющая сословнаго и профессиональнаго отчужденія отъ народной массы, — развѣ она не желательна? Нѣкоторые видѣли въ ней прямо спасеніе Россіи, хотя и невѣрно полагали, что такая интеллигенція можетъ создаться путемъ переселенія образованныхъ людей «на землю». Переселеніе изъ городовъ едва ли возможно въ замѣтныхъ размѣрахъ». Помните же, читатель: не стоитъ садиться «на землю», это *невѣрная* мысль. Но на стр. 49 читаемъ: «Только поселившись въ деревнѣ и сдѣлавшись крестьяниномъ (насколько это возможно), образованный человѣкъ искренно пожалѣетъ народъ, только тогда онъ восчувствуетъ въ себѣ народную душу, найдетъ родство съ ней. Это не будетъ смертью интеллигенціи, — совсѣмъ напротивъ! — это будетъ ея возрожденіемъ». Третій примѣръ: воздѣйствіе нашей неслужилой интеллигенціи на практическій ходъ дѣлъ совершенно ничтожно, — вотъ мысль автора. «Даже при искреннемъ желаніи быть полезной своей странѣ, при

наличіи литературныхъ дарованій, русская политическая печать все-таки ничтожна, она представляетъ собою голосъ, очень робко и фальшиво вопіющій въ пустынь: мнѣніе департаментскаго столоначальника значить гораздо больше, нежели статья талантливаго публициста». Это напечатано на стр. 39, а на стр. 59 читаемъ: «несправедливо было бы утверждать, что министерства вовсе не пользуются трудами общества: если труды серьезные, то канцеляріи имъ очень рады, и если не всегда примѣняютъ къ дѣлу, то не отъ недостатка желанія». Такъ какъ я пока не спорю съ г. Меньшиковымъ, а только характеризую его, то этихъ трехъ примѣровъ достаточно. Никакая діалектика не ухитрится примирить логически утвержденія г. Меньшикова съ его отрицаніями (я привелъ только три, но берусь привести хоть сто три примѣра), но его искренность во всѣхъ случаяхъ не подлежитъ сомнѣнію. Благодаря афористической манерѣ своего изложенія, г. Меньшиковъ легко не замѣчаетъ своихъ противорѣчій, а по существу его утвержденія, такъ же какъ и его отрицанія, не представляютъ собою ничего явно недѣлаго. Интеллигенція наша должна садиться на землю—это мысль. Интеллигенція наша не должна садиться на землю—это тоже мысль. Обѣ эти мысли—совсѣмъ не аксіомы уже по одному тому, что онѣ взаимно уничтожаютъ другъ друга, въ равной мѣрѣ нуждаются въ доказательствахъ, въ детальной разработкѣ, должны явиться не предпосылками, а выводами, въ концѣ, а не въ началѣ и не въ серединѣ рѣчи. Г. Меньшиковъ придерживается другой, гораздо болѣе легкой манеры. Онъ совершенно какъ Каратаевъ, богатъ не доказательствами, а разными благомысленными реченіями, которыхъ у него большой запасъ, чужого и собственнаго изобрѣтенія, и онъ пользуется этими реченіями широко, придавая имъ, посредствомъ маленькой и простенькой частицы *не*, то положительный, то отрицательный смыслъ: интеллигенція должна, интеллигенція *не* должна, человѣкъ можетъ любить только друзей, человѣкъ

не может любить только друзей. Почему должна или не должна, может или не может? Только и единственно потому, что такъ слѣдовало сказать по общему ходу мыслей той главы книги, которую въ ту минуту писалъ г. Меньшиковъ. И онъ во всѣхъ случаяхъ правъ, но *по-каратаевски*. Да, при извѣстныхъ условіяхъ извѣстная часть интеллигенціи *должна* садиться на землю, при отсутствіи этихъ условій *не должна*. Да, любить (одного рода любовью) можно только немногихъ близкихъ людей, но любить (другого рода рода любовью) можно только большой человеческій міръ—свое отечество, напим. Да, наша политическая печать лишена всякаго officialнаго вліянія; да, къ голосу нашей политической печати прислушиваются люди повначительнѣе департаментскихъ столоначальниковъ. О какой печати рѣчь? О политической, отвѣчаетъ г. Меньшиковъ. Такъ, но, видите ли, Чернышевскій былъ талантливый политическій писатель и Катковъ былъ талантливый политическій писатель, но въ «канцеляріяхъ» ихъ писанія находили весьма различный пріемъ. *Какая интеллигенція, какая любовь, какая печать?* Только поставивъ эти вопросы, мы становимся сами на почву дѣйствительнаго анализа, обѣщающаго положительные результаты. Но г. Меньшиковъ не любитъ анализа, или, точнѣе, не владѣетъ его оружіемъ, хотя, впрочемъ, и синтеза настоящаго у него тоже нѣтъ. Онъ говоритъ «вообще», подкрѣпляя одинъ афоризмъ другимъ, который въ свою очередь подкрѣпляется третьимъ, а этотъ четвертымъ или просто оставляется на вѣру читателю. Развѣ такъ можно рѣшать какіе бы то ни было вопросы? \*)

---

\*) Г. Меньшиковъ, кажется, математикъ по образованію, и я, собственно для него, предложу ему сравненіе изъ области низшей математики.

Дана такая система уравненій первой степени:  $x = \frac{y}{2}, y = \frac{z}{2}, z = 4x$ . Какъ найти неизвѣстныя? Всякій математикъ тутъ улыбнется и скажетъ, что никакой системы уравненій тутъ нѣтъ, а есть неопредѣленное уравне-

Г. Меньшиковъ не столько публицистъ, сколько поэтъ, и статьи его—не теоретическія разсужденія, а лирическія, «стихотворенія въ прозѣ». Онѣ имѣютъ значеніе не по своему *построенію*, а по своему *настроенію*, не по своей *убѣдительности*, а по своей *заразительности*. Недавно г. Меньшикова постигло несчастье выслушать въ печати (въ очень распространенномъ органѣ къ тому же) упрекъ себѣ въ *фарисействѣ*. Назвать писателя фарисеемъ гораздо болѣе обидно, нежели назвать чиновника карьеристомъ, или купца—кулакомъ, или офицера—трусомъ. Хуже всего, что писатель лишенъ всякой возможности оборониться отъ такого упрека, потому что искренность писателя чувствуется, а не доказывается, — доказать ее можно только трудомъ или даже подвигомъ цѣлой жизни:

И только трупъ его увидя,  
Какъ много сдѣлалъ онъ, поймутъ,  
И какъ любилъ онъ, ненавидя!

Но вѣдь до примиренія и оправданія черезъ смерть писателю надо еще жить и, быть можетъ, долго жить, и каково же ему работать подъ тяжестью всенароднаго обвиненія въ неискренности, въ лицемеріи, въ фарисействѣ? Такъ

---

ніе, допускающее безчисленное множество одинаково удовлетворительныхъ рѣшеній. Нѣтъ *системы* уравненій, потому что нѣтъ условий, связующихъ ихъ въ одно цѣлое, а есть только замаскированное *повтореніе* этихъ условий: если  $x$  равенъ половинѣ  $y$ , который равенъ половинѣ  $z$ , то, *implicite*, нашъ  $x$  равенъ четверти  $z$ . Если дадимъ  $z$  опредѣленное значеніе, тогда, дѣйствительно, мы будемъ имѣть систему уравненій, имѣющихъ только *одно* рѣшеніе. Точно такъ же, если г. Меньшиковъ убѣдительно обоснуетъ хоть одинъ свой главный афоризмъ, онъ получитъ систему воззрѣній, которой у него теперь нѣтъ, а есть вотъ что: народъ нашъ прекрасенъ, ибо чуждъ нашей гнилой цивилизаціи ( $x = \frac{y}{2}$ ), а цивилизація гнила, ибо убиваетъ въ человѣкѣ его лучшія свойства ( $y = \frac{z}{2}$ ), а цивилизація убиваетъ, ибо, посмотрите, въ нецивилизованномъ народѣ эти свойства сохранились ( $z = 4x$ .) Такъ нельзя, г. Меньшиковъ...

вотъ *эту* тяжесть мнѣ хотѣлось бы снять съ г. Меньшикова \*). Это нужно сдѣлать не только въ видахъ отвлеченной справедливости, но и въ интересахъ практической необходимости: если г. Меньшиковъ неискрененъ, то нѣтъ писателя Меньшикова и нѣтъ смысла подвергать его какой-либо критикѣ. Г. Меньшикову, какъ публицисту, какъ строителю формъ жизни, какъ мыслителю, я сказать бы всего только двѣ строки изъ сатиры старика Кантемира:

Уме незрѣлый, плодъ недолгой науки,  
Покойся! Не понуждай къ перу мои руки!

И это не было бы высокоуміемъ, а было бы только справедливостью: наивная логика г. Меньшикова иного отношенія къ себѣ не заслуживаетъ. А я, однако, считаю г. Меньшикова замѣчательнымъ литературнымъ явленіемъ — особенно для нашей эпохи, — и не изъ ироніи, но вполне серьезно поздравлялъ выше читателя съ знакомствомъ съ нимъ. Постоянно высокій строй мысли г. Меньшикова, его тихое, но никогда не ослабѣвающее воодушевленіе, его глубокая вѣра въ призваніе и достоинство человѣка, его *религіозность*, въ самомъ широкомъ и лучшемъ значеніи этого слова, — все это такія достоинства, которыя не часто встрѣчаются. Подлинные лицемеры и фарисеи не говорятъ, не могутъ, не умѣютъ говорить, наприм., такимъ языкомъ: «Чѣмъ же должна быть жизнь? Она должна быть *богослуженіемъ*, непрерываемымъ священнодѣйствіемъ предъ лицомъ Создателя. Какъ богослуженіе, жизнь должна быть торжественна, серьезна, полна вдохновенной радости общенія съ Богомъ, полна познѣи и мысли, направленной къ вѣчности. Въ этомъ священнодѣйствіи жрецомъ долженъ быть каждый изъ людей-братьевъ; молитвою ихъ должна быть любовь,

---

\*) Я достаточно опытный человѣкъ и писатель, чтобы не предвидѣть и себѣ обвиненія въ *кумовствѣ* и потому не лишнимъ считаю замѣтить, что не имѣю удовольствія знать г. Меньшикова лично и даже никогда въ глаза его не видѣлъ.



которая «исправится», какъ кадило благовонное. Жизнь съ Богомъ—величайшее счастье и завершеніе счастья». Апеллирую къ читателю: что онъ скажетъ объ этомъ? Пусть онъ обратится не только къ нравственному, но и къ элементарному эстетическому своему чувству и съ помощью ихъ рѣшить, есть ли эти слова—«слова лукавствія», или гимнъ неподдѣльнаго чувства? По-моему, это не слова, а тихія слезы, это въ одно время и религіозный экстазъ и поэтическое вдохновеніе. Въ непосредственно-практическомъ отношеніи совѣты или требованія г. Меньшикова не дорого стоятъ:

Насъ давить времени рука,  
Насъ изнуряетъ трудъ,  
Всесилень случай, жизнь хрупка,  
Живемъ мы для минутъ.

Какое ужъ тутъ богослуженіе и гдѣ ужъ тутъ помышлять о вѣчности! Но вѣдь *минуты*, для которыхъ живемъ мы, не всегда походятъ одна на другую какъ капли воды, и выпадаютъ между ними такія, когда смирятся души нашей тревога, когда расходятся морщины на челѣ и счастье можемъ мы постигнуть на землѣ, и въ небесахъ мы видимъ Бога. Въ эти рѣдкія минуты г. Меньшиковъ—драгоценный собесѣдникъ.

## II.

Нѣтъ, ошибся Лермонтовъ,—не умчался вѣкъ эпическихъ поэмъ! Эпическая поэма г. Меньшикова (*Думы о счастья*) подраздѣляется на семь пѣсенъ или главъ, носящихъ такія многозначительныя заглавія: *Семья, Народъ, Природа, Трудъ, Цивилизація, Прогрессъ, Богъ*. Каждая изъ этихъ темъ много разъ была и еще много разъ будетъ предметомъ и научныхъ, и философскихъ, и метафизическихъ изслѣдованій, обстоятельныхъ, подробныхъ, трудныхъ, но у г. Меньшикова каждой изъ этихъ темъ аккуратно отпущено по полтора печатныхъ листа, т.-е. по двадцати съ небольшимъ страничекъ разгонистой печати.

Слишкомъ ясно, что для изслѣдованія, хотя бы и журнально-публицистическаго, этихъ страничекъ черезчуръ мало, но ихъ вполне достаточно, чтобы пролить лирическую слезу и нѣсколько разъ вздохнуть отъ душевнаго сокрушенія. Это самое мы, главнымъ образомъ, и находимъ у г. Меньшикова, т.-е. глубокіе вздохи и горькія слезы, искренность которыхъ, какъ я уже говорилъ, не подлежитъ сомнѣнію. Но г. Меньшиковъ все-таки не лирикъ-поэтъ, а публицистъ-прозаикъ, и потому не можетъ же онъ такъ и завздыхать и заплакать съ первой строки или съ перваго абзаца. Чтобы не показаться страннымъ, онъ долженъ подготовить читателя къ своимъ изліяніямъ какою-нибудь аргументаціей, и вотъ на эту-то сторону дѣла мы теперь и обратимъ вниманіе. Вѣдь какъ бы то ни было, не *прѣзы*, а *думы* о счастьѣ предлагаетъ намъ г. Меньшиковъ. Грезить можно о чемъ угодно съ помощью только одной фантазіи, но для *думъ* нужно хоть сколько-нибудь ума-разума и хоть сколько-нибудь логики.

Прежде всего я не понимаю схемы г. Меньшикова: *Семья, Народъ, Природа, Трудъ* и т. д. Сама по себѣ схема хоть куда, но все-таки чѣмъ она лучше, наприм., такой схемы: *Личность, Любовь, Наука, Искусство, Отечество, Человѣчество, Богъ*. Если семья, трудъ, природа являются условіями или элементами нашего счастья, то вѣдь и самосознаніе нашей личности, наука, искусство и пр.—условія и пути для счастья не менѣе важные. Ни выборъ, ни порядокъ членовъ своей схемы г. Меньшиковъ ничѣмъ не обосновалъ и даже не подумалъ объ этомъ. Я пойду дальше и предложу такую схему счастья: *Женщина, Вино, Пѣсня* (вспомните знаменитое двустипіе Лютера), *Стары, Карты* и т. д. Ужъ кто другой, а г. Меньшиковъ не имѣетъ права смѣяться даже надъ такой схемой, потому что видитъ въ картахъ одно изъ средствъ къ общенію людей между собою: «*винтъ*» (карточная игра) искусственно свинчиваетъ души партнеровъ хотя на нѣ-

сколько часовъ и хотя бы на очень пустомъ предметѣ, удовлетворяя насущную потребность человѣка въ людяхъ» (стр. 17). Ну, если винтъ свинчивается души, то женщина смягчаетъ, вино раскрываетъ, сигара ублажаетъ, пѣсня увеселяетъ наши души и, стало-быть, все это способствуетъ общенію людей, т.-е. способствуетъ ихъ счастью. Факторовъ общенія людей — многое множество, начиная съ языка и кончая всѣми видами спорта; всѣ они, въ качествѣ таковыхъ, могутъ войти въ составъ общаго идеала счастья, но съ равнымъ ли правомъ? Очевидно, здѣсь нужна извѣстная классификація, о которой г. Меньшиковъ даже не подумалъ, какъ не подумалъ о ней въ свое время и Писаревъ, въ схемѣ котораго («любовь, знаніе и трудъ») тоже не сдѣлано различія между категоріями *необходимаго* (какъ трудъ), *полезнаго* (какъ научное знаніе) и *пріятнаго* (какъ половая любовь). Но пусть будетъ такъ. Примемъ схему г. Меньшикова въ томъ видѣ, въ какомъ онъ ее предлагаетъ, и будемъ разсматривать ея элементы въ томъ порядкѣ, въ какомъ онъ ихъ поставляетъ. Итакъ:

*Семья.* Весьма неожиданно г. Меньшиковъ начинаетъ эту главу разсмотрѣніемъ вопроса о самоубійствахъ, котораго, будто бы, «растутъ въ ужасающемъ числѣ». Г. Меньшиковъ чувствуетъ «какое-то неразрѣшимое, тяжелое недоумѣніе» передъ фактомъ самоубійствъ, онъ ищетъ «разгадки гнетущей тайны самоубійства». Въ поискахъ этихъ г. Меньшиковъ обнаруживаетъ большую нѣжность своего сердца и не меньшую хрупкость своей логики. О нѣжности сердца свидѣлствуютъ слѣдующія его слова: «Какъ бы вы ни были далеки отъ погибшаго, всегда при вѣсти о самоизгнаніи его изъ жизни васъ начинаетъ мучить въ тайныхъ уголкахъ сердца какое-то тревожное сознаніе, что какимъ-то образомъ и вы причастны этой смерти, какъ будто и вы въ чемъ-то виноваты. Точно пришедшій къ вамъ гость вдругъ уходитъ раньше времени, обидѣв-

шись чѣмъ-то или соскучившись. Такъ и здѣсь, невольно говоришь себѣ: можетъ быть и не убилъ бы онъ себя, если бы я во-время подошелъ къ нему и заглянулъ въ его душу, если бы я, какъ родной братъ къ брату, приблизился къ нему и взялъ на себя половину его ужаса, погоревалъ бы съ нимъ, поплакалъ бы, обнялъ бы его и умолилъ его пощадить себя...». Вотъ гдѣ уместно вспомнить заглавіе какого-то водевиля: «Бѣда отъ нѣжнаго сердца!» Именно бѣда, такъ какъ самоубійства случаются едва ли не ежедневно и вѣсти о нихъ непремѣнно доходятъ до г. Меньшикова, потому что печатаются въ газетахъ,—онъ долженъ хронически пребывать въ «тревожномъ сознаніи» собственной виновности. Всѣхъ не оплачешь, всѣхъ не обнимешь, ко всѣмъ въ душу не заглянешь, г. Меньшиковъ! Къ чему эта чрезмѣрная сентиментальность? Если бы я не имѣлъ полнѣйшей увѣренности въ искренности г. Меньшикова, я упрекнулъ бы его въ фразерствѣ, въ пристрастіи къ «жалкимъ словамъ», упрекнулъ бы по праву, потому что всего черезъ семь десятковъ страницъ (5 и 73) г. Меньшиковъ о тѣхъ же самоубійцахъ говоритъ совсѣмъ инымъ тономъ: «при заржавленности организма мудрено ли, что жизнь, этотъ даръ мгновенный, даръ прекрасный, обращается въ нѣчто случайное и напрасное, въ медленную казнь, по словамъ поэта? И эта казнь заслужена. Въ первоисточникѣ всѣхъ нашихъ бѣдъ лежитъ преступленіе противъ природы, наслѣдственное или личное. Современный пессимистъ,—а огромное большинство образованныхъ людей тайные пессимисты,—самъ не знаетъ, отчего онъ несчастенъ; онъ среди роскоши и комфорта изнываетъ, душевно гніетъ и разлагается. Медленный, безсознательный самоубійца, онъ превращается часто въ сплошную язву; природѣ изъ милосердія остается убрать эту живую заразу, и если несчастный имѣетъ хоть немного совѣсти, онъ благословляетъ смерть. Часто онъ самъ становится своимъ палачомъ»... *Часто онъ самъ становится своимъ пала-*

чомъ... Право, препикантная получается картина: г. Меньшиковъ подходит «какъ родной братъ» къ «сплошной язвѣ» или «живой заразѣ», горюетъ и плачетъ съ ней, обнимаетъ «заразу» и умоляетъ ее пощадить себя... Это на одной сторонѣ картины. А на другой сторонѣ тотъ же г. Меньшиковъ говорить «язвѣ»: если у тебя есть «хоть немного совѣсти», убери ты себя, пожалуйста!

Зачѣмъ вы все это говорите? спросить читатель. Вы собрались о семьѣ разсуждать, а толкуете о самоубійцахъ. Зачѣмъ?—А я и самъ не знаю зачѣмъ, читатель. Не знаю и не вѣдаю. Я рѣшилъ итти за г. Меньшиковымъ шагъ за шагомъ,—куда онъ, туда и я, о чемъ онъ, о томъ и я,—и если топчусь теперь на одномъ мѣстѣ, то единственно потому, что топчется тутъ и г. Меньшиковъ. По правдѣ-то говоря, намъ съ нимъ пока и дѣлать больше нечего: хотъ мы и написали въ заголовкѣ *Семья*, но въ дѣйствительности никакой семьи нѣтъ. «Какъ такъ нѣтъ семьи?» А вотъ такъ: «Въ современныхъ городскихъ условіяхъ искренняя семья невозможна. Въ городѣ глава семьи, погруженный въ свою спеціальность, непонятную ни женѣ, ни дѣтямъ, органически не связанъ съ ежедневною домашнею жизнью,—такой глава семьи часто гость у себя дома». А между тѣмъ какое это великое благо — семья! «Родное гнѣздо, жена—какъ второе сердце мое, милыя дѣтки, стихія горячей любви и дружбы—вотъ основное счастье человѣка. Кроткій пламень «семейнаго очага»—единственный свѣтъ, согрѣвающій и не жгущій, около котораго душа обрѣтаетъ миръ. Но для того, чтобы сложился этотъ очагъ, для того, чтобы не померкалъ этотъ святой огонь, необходима постоянная трудовая и житейская близость всей семьи, необходимъ непрерывный обмѣнъ всѣхъ впечатлѣній и мыслей, интересовъ и надеждъ. Такая семья возможна лишь въ патріархальномъ быту деревни (гдѣ деревня не разстроена вмѣшательствомъ города)». Итакъ, читатель, мы съ вами, горожане, лишены «основного

счастья». У васъ есть жена и дѣти и у меня есть жена и дѣти, но семьи у насъ все-таки нѣтъ, и «кроткій пламень семейнаго очага» никогда не согрѣвалъ и не согрѣетъ насъ. За что такъ? А за то, что вы пишете «бумаги», а я пишу статьи, которыми наши жены и дѣти не интересуются, изъ чего неопровержимо слѣдуетъ, что онѣ и нами лично интересоваться не могутъ. Мы съ вами не люди: вы *только* чиновникъ, я *только* писатель, и если наши жены говорятъ намъ «другъ мой», если наши взрослые дѣти говорятъ намъ «отецъ», а малыя дѣти кричатъ «папочка», то это все одно лицемеріе съ ихъ стороны: «искренняя семья въ городскихъ условіяхъ невозможна». Лицемеримъ, конечно, и мы съ вами, когда вытягиваемъ изъ себя жилы для того, чтобы посвѣтлѣе и порадостнѣе жилось этимъ *чужимъ* намъ людямъ. Чужимъ людямъ? Гораздо того хуже. «Глава семьи съ ужасомъ чувствуетъ, что жена и дѣти—холодные, присосавшіеся къ нему паразиты, которымъ отъ него нужно только содержаніе, только ѣда, одежда, квартира и больше ничего». Вотъ что и вотъ какъ, по словамъ умнаго человѣка, мы съ вами чувствуемъ, и это была большая наивность съ нашей стороны воображать, что и мы любимъ, и насъ любятъ, что семья для насъ—не просто мѣсто для ночлега, а мы для семьи—не просто батраки, обязанные всѣми правдами и неправдами зарабатывать деньги на ея матеріальныя потребности. Мы думали... впрочемъ, мало ли что мы думали и мало ли какія иллюзіи имѣли! Теперь, просвѣщенные г. Меньшиковымъ, мы уже твердо будемъ знать, что всякая городская интеллигентная семья не что иное какъ клоповникъ, въ которомъ мы играемъ роль связанныхъ по рукамъ и ногамъ узниковъ, а наши жены и дѣти—это вшившіеся въ насъ кровожадные клопы. Искренно прошу читателя сдержатъ свое негодованіе или хоть только поременить съ нимъ.

У мужика—совсѣмъ иное. Крестьянская семья работаетъ

одно общее дѣло, а именно «выцарапываетъ изъ земли хлѣбъ» (по выраженію Петропавловскаго-Каронина), и оттого въ ея средѣ тишь, да гладь, да Божья благодать. Это не то, что у насъ: мужъ въ департаментъ или въ кабинетъ, за письменный столъ, а жена въ кухню или въ дѣтскую. Тамъ ужъ если надо навозъ возить—то всѣ возятъ; если косить—то всѣ на лугу; если пахать или жать—то всѣ на полѣ. И вотъ, исполнивши сообщая свой дневной трудъ, крестьянская семья разсаживается вокругъ «кrotкаго пламени, согрѣвающего, но не жгущаго». На первомъ мѣстѣ, подъ образами, самъ глава—патріархъ, по правую его рученьку свѣтъ—Ивановна, богоданная супружница, по лѣвую рученьку соколъ—Ванюшка, ненаглядный первенецъ, насупротивъ ягодка дочка—Марыюшка, рядомъ съ ней милая сношенька Аленушка, а кругомъ дѣтушки-подросточки и малые внученьки. То не рѣчка журчитъ—разливается, то драгой жемчугъ-разговоръ по избѣ разсыпается. Истово, любовно, благомысленно ведетъ мудрую рѣчь многоопытный дѣдушка—батюшка. Ужъ вы дѣтушки мои милые, ужъ вы соколы мои ясные..

Однако, не довольно ли, читатель? Истинно говорю вамъ: противно! Противна эта слащавая народническая идеализація горькой дѣйствительности, противна эта подмалеванная, декоративная Аркадія! Для увеселенія соскучившагося читателя, а главнымъ образомъ для вразумленія заговорившагося г. Меньшикова расскажу одинъ характерный анекдотецъ, который циркулируетъ въ моей родной (Костромской) губерніи въ качествѣ, впрочемъ, не анекдота, а истиннаго происшествія. Въ одномъ большомъ селѣ поднимали на колокольню колоколъ. Какъ водится, сбѣжалось на зрѣлище все село и даже изъ окрестныхъ деревень, и всѣ мужчины, старъ и младъ, взялись за веревки. Начали тянуть, колоколъ пошелъ, но на половинѣ пути вышла какая-то заминка, и колоколъ остановился. Распорядитель работъ (мѣстный мужикъ) не могъ понять

въ чемъ дѣло и рѣшилъ, что такъ вышло не просто, а «по грѣхамъ». Онъ немедленно нашелся: «снохачи, прочь отъ веревоекъ!»—скомандоваль онъ, и что же? Человѣкъ двѣнадцать русо- и сѣдобородыхъ мужиковъ, самыхъ зажиточныхъ, почтенныхъ и вліятельныхъ членовъ общины, отошли въ сторону, сконфуженно почесывая въ затылкахъ. Вотъ ужъ именно: *se non è vero, è ben trovato*, т.-е. по-русски: можетъ и не правда, да похоже на правду! И какая же это горькая правда, г. Меньшиковъ! И уже тутъ никакъ нельзя свалить вину на городъ, который *разстраи-ваетъ* деревню: анекдотъ относится къ мѣстности, о которой сложилась специальная поговорка, что ее чортъ три года искалъ и ногу себѣ сломалъ. Вспомнимъ еще Некрасова: въ числѣ текущихъ «деревенскихъ новостей» ему между прочимъ рассказываютъ, что

...Пастуха

Грономъ во стадѣ убило.  
Въ Шаховѣ свекру сноха  
Вилами бокъ просадила,—  
Было за что...

Какъ вы думаете, *за что*, г. Меньшиковъ? Не хочу смущать вашу невинность разъясненіями, но не знаете ли вы, по крайней мѣрѣ, пѣсни о лучинуншкѣ, которую *све-кровь лютая* водой залила? Или другой пѣсни о золовкахъ-колотовкахъ, проклятыхъ чертовкахъ? Или третьей пѣсни о томъ, что «плетка свистнула, кровь пробрызнула, я и тутъ млада не спокаялась»? Я привожу эти образчики на память, но если заняться этимъ дѣломъ серьезно, не мимоходомъ, то я берусь представить не менѣе пяти десятковъ чисто народныхъ пѣсенъ или легендъ, или повѣрій, имѣющихъ одинъ смыслъ, тотъ смыслъ, что семейное (слышите, г. Меньшиковъ,—*семейное*) положеніе нашей деревенской женщины поистинѣ ужасно. А если ужасно семейное положеніе *женщины*, т.-е. положеніе матери, жены, дочери и т. д., это значить, что ужасно состояніе дере-



венской семьи вообще, потому что безъ счастливой женщины нѣтъ и счастливой семьи. А стало быть не зачѣмъ было и восторгаться семейной деревенской идилліей.

Что же касается насъ, интеллигентовъ-горожанъ, и нашего семейнаго уклада, то намъ даже защищаться отъ нападеній г. Меньшикова не зачѣмъ, потому что онъ самъ не знаетъ, о чемъ говорить. Онъ говоритъ, наприм., вотъ что: «Въ городской семьѣ нѣтъ общаго психическаго центра, нѣтъ общаго сотрудничества, объединяющаго всѣ отдѣльныя способности и потребности. Мужъ женѣ не товарищъ: онъ не можетъ интересоваться ея туалетами, французскими романами, благотворительностью да сплетнями, какъ и жена мужу, такъ какъ его канцелярія для нея китайская грамота». Такъ какъ г. Меньшиковъ упоминаетъ о *канцелярії*, то, значитъ, рѣчь идетъ о чиновникахъ, и я спрошу петербургскихъ начальниковъ отдѣленій и столоначальниковъ: что скажете, господа? Я спрашиваю именно ихъ потому, что они—чиновники *средняю* служебнаго положенія. Беру на себя смѣлость отвѣтить за нихъ: наши жены, г. Меньшиковъ, благотворительностью на занимаются, потому что на наши 1,500—4,000 р. благотворительствовать нельзя, а надо думать лишь о томъ, какъ бы дома концы съ концами свести. Французскихъ романовъ наши жены не читаютъ за полнѣйшимъ недосугомъ: ихъ трудовой день начинается раньше и кончается позже, нежели нашъ, потому что жизнь департамента пріостанавливается на большую часть сутокъ, жизнь семьи успокаивается едва лишь на нѣсколько часовъ. Туалетами нашихъ женъ мы, вопреки вашему мнѣнію, очень интересуемся, какъ весьма расходными статьями, но, къ счастью, это случается рѣдко: два-три раза въ годъ, не чаще, по причинѣ, о которой и вы догадаетесь. Канцеляріи наши для нашихъ женъ въ техническомъ смыслѣ, дѣйствительно, китайская грамота, но наша *служба* въ канцеляріяхъ, какъ содержаніе нашей жизни и какъ источникъ нашего существованія, для нихъ

не китайская грамота, а предмет высочайшаго интереса. Чаши служебныя задачи и неудачи радуют и огорчают — даже болѣе, нежели насъ, не только потому, что наши — какъ женщины, впечатлительнѣе насъ, но и потому, онѣ лучше насъ знаютъ о значеніи лишней тысячи даже сотни рублей въ бюджетѣ домашняго обихода. Кромѣ того, онѣ раздѣляютъ съ нами и то скромное честолюбіе наше, которое мы считаемъ позволительнымъ для себя. Какъ видите, г. Меньшиковъ, «общихъ психическихъ центровъ» у насъ довольно, а главнѣйшимъ изъ этихъ центровъ является семья. Дѣтей надо вырастить, воспитать, обучить, образовать и если бы вы только знали, какая масса хлопотъ и всяческаго безпокойства скрывается за этими небольшими словами! Нѣтъ, мы своимъ женамъ товарищи, и наши жены намъ сотрудницы, и ваше отрицаніе этого факта, — скажемъ казеннымъ выраженіемъ, — *не соответствуетъ обстоятельствамъ дѣла.*

То же самое, разумѣется, *mutatis mutandis*, могутъ сказать г. Меньшикову и интеллигенты всѣхъ другихъ профессій, такъ что въ его неоспоримомъ обладаніи останутся только тѣ семьи, гдѣ мужъ по цѣлымъ днямъ не видитъ жены, потому что живутъ они на своихъ «половинахъ» и общихъ интересовъ дѣйствительно не имѣютъ, потому что вообще не имѣютъ живыхъ интересовъ, а создаютъ себѣ искусственные. Г. Меньшиковъ, — и это у него обычное дѣло, — на фундаментѣ, имѣющемъ площадь въ одну квадратную сажень, силится построить зданіе величиной съ Хеопсову пирамиду. Вполнѣ понятно, что вмѣсто пирамиды получается или воздушный замокъ, для котораго и вовсе фундамента не надо, или карточный домикъ, для котораго одной квадратной сажени болѣе чѣмъ достаточно.

Переходимъ ко второму члену схемы г. Меньшикова — къ *народу*. «Рѣшительно необходимо, чтобы изъ редакцій были вытѣснены низкіе и грубые элементы и замѣнены другими». Господи помилуй! Что такое? А это, читатель,

точная цитата (стр. 57) изъ той главы книги г. Меньшикова, которая трактуеть о «народѣ». Да чему же вы собственно удивляетесь? Пора бы ужъ вамъ и попривыкнуть къ неожиданнымъ изгибамъ мысли г. Меньшикова, образчики которыхъ мы и выше видѣли. Ну, слѣдить за этими изгибами—занятіе въ самомъ дѣлѣ скучное и неблагоприятное, и надо употребить другой приѣмъ. Изъ разсужденій г. Меньшикова я возьму лишь то, что дѣйствительно имѣеть отношеніе къ предмету, а изъ этого я выберу лишь то, что имѣеть наиболѣе общій характеръ. Профильтрированные такимъ способомъ разсужденія г. Меньшикова явятся намъ въ формѣ *трехъ* положеній общаго характера, положеній, которыя я представлю въ подлинныхъ выраженіяхъ автора. Положеніе *первое*: «Насильственное и искусственное введеніе западной культуры со временъ Петра I внесло и продолжаетъ вносить печальнѣйшее разстройство въ народную душу. Этотъ крутой переворотъ принесъ нѣкоторую одностороннюю пользу (безмѣрно преувеличиваемую), но въ то же время психически расчленилъ Россію, создалъ чуждые другъ другу и органически враждебные классы, враждебныя культуры и міросозерцанія» (стр. 37). Конечно, это болѣе чѣмъ не ново,—это дряхло. Правовѣрные славянофилы временъ Аксакова и покоренія Крыма истолкли эту тему въ мелкій порошокъ, давно уже превратившійся въ историческую пыль. Однако, это пыль пріобрѣтаетъ довольно злокачественное свойство, если съ ней соединить *второе* положеніе г. Меньшикова, которое гласитъ слѣдующее: «Съ раскрыпощеніемъ крестьянъ была разорвана хотя и безобразная, но вѣковая *политическая* связь народа съ высшими классами; всадникъ сброшенъ съ коня, оба свободны, но оба уже чужды и ненужны другъ другу. Крепостное право должно было исчезнуть, но на мѣсто дурного связывавшаго начала нужно было создать хорошее, выгодное для обѣихъ сторонъ: слѣдовало выработать новую форму живого сотрудничества и взаимнаго проникновенія

сословій, дабы въ государствѣ былъ одинъ народъ, а не два, одна общая душа, а не двѣ» (стр. 43).

Это начало, читатель, право, ничего, и г. Меньшиковъ совсѣмъ не виноватъ. Вѣдь онъ не публицистъ, отъ котораго мы вправѣ требовать строгой логики и точныхъ выраженій, г. Меньшиковъ поэтъ, да еще второстепенный, т.-е. такой, который не управляетъ своими образами, а бессознательно увлекается ими. Его воображеніе прельстилось образомъ коня—народа и всадника—высшихъ сословій, ему примерещилось «живое сотрудничество и взаимное проникновеніе» между конемъ и всадникомъ, въ его фантазіи возникла могучая фигура центавра, и вотъ его мысль въ плѣну: крѣпостное право было безобразіемъ, но какъ жаль, однако, крѣпостного права! Надо было бы вмѣсто него что-нибудь другое въ томъ же родѣ придумать... Такіе пассажи могутъ случаться даже съ крупными поэтами, если сила фантазіи значительно превосходитъ у нихъ силу ума и разсудка: вспомните Гоголя и его знаменитую тройку. Разумѣется, спорить съ г. Меньшиковымъ по существу приведеннаго выше морсо я не стану, но любопытно сопоставить между собою *первое* и *второе* положенія г. Меньшикова. Реформы Петра I *психически* расчленили Россію, создали въ ней враждебныя культуры и міросозерпанія. Реформы Александра II разорвали вѣковую *политическую* связь народа съ высшими классами. Отсюда можно сдѣлать нѣсколько заключеній. Если реформаторская дѣятельность Петра I и Александра II одинаково привела Россію къ внутреннему разладу, хотя и не въ одинаковыхъ отношеніяхъ (въ психическомъ, въ политическомъ), и если реформы Петра подлежатъ осужденію именно за этотъ произведенный ими разладъ, то не въ такой ли мѣрѣ подлежатъ за то же самое осужденію и реформы Александра II? По логикѣ, несомнѣнно, такъ, но по г. Меньшикову не такъ: нѣтъ, хотя отмѣна крѣпостного права и произвела разладъ, но эта отмѣна была благотѣльна, ибо крѣпостное право было

*безобразіемъ*. Прекрасно, но отсюда очевидно слѣдуетъ, что достоинство реформъ (Петровыхъ и всякихъ другихъ) измѣняется не степенью вносимаго ими въ жизнь разлада, а чѣмъ-то другимъ, какимъ-то другимъ критеріемъ. Для насъ съ читателемъ (въ которомъ я всегда предполагаю обыкновеннаго интеллигентнаго человѣка, уважающаго и логику, и разсудокъ, и здравый смыслъ) относительно этого критерія не можетъ быть колебаній: онъ заключается въ степени соотвѣтствія реформы прежде всего съ идеей общаго блага, а затѣмъ съ идеями права, справедливости и просвѣщенія. Для г. Меньшикова этотъ критерій не пригоденъ: того, что мы называемъ просвѣщеніемъ, онъ терпѣть не можетъ и всячески принижаетъ его, а на общее благо и на справедливость у него особый взглядъ, поэтический или эстетическій. Дворянство (беру метафору г. Меньшикова) сидитъ верхомъ на крестьянствѣ—какъ красиво! Какой могучій центавръ! Какое дивное единеніе сословій! «Всадникъ сброшенъ съ коня» и что же вышло? «Оба чужды и ненужны другъ другу»,—какое же тутъ общее благо и какая же справедливость! Какъ тутъ спорить, что тутъ сказать? Развѣ только одно: г. Меньшиковъ, осѣдомьтесь у «коня», котораго вы такъ любите, очень или не очень скучаетъ онъ по своему всадникѣ, очень или не очень хочетъ, чтобы его вновь взнуздали и осѣдлали?

Къ *третьему* положенію г. Меньшикова мы подойдемъ не сразу. Реформа Петра произвела *психическій* разладъ въ народѣ. Въ чемъ онъ выразился? Конечно, въ томъ, что мы, дѣти и наслѣдники этихъ реформъ, растратили свою душу до того, что даже собственную свою семью не можемъ любить искренно и видимъ въ ней только нашихъ паразитовъ, тогда какъ народъ сохранилъ въ неприкосновенности всѣ свои душевныя сокровища. Далѣе, реформы Александра II произвели *политическій* разладъ въ народѣ. Это что значитъ? По аналогіи съ результатами психическаго разлада нужно ожидать, что реформы Александра II привели

насъ, интеллигенцію, къ политическому безсилію, совершенно такъ, какъ реформы Петра I привели насъ (по г. Меньшикову) къ безсилію нравственному. Такъ оно именно и есть,—на этотъ разъ г. Меньшиковъ блеснулъ логичностью. «Я думаю,—коротко и ясно заявляетъ г. Меньшиковъ,—что народъ имѣетъ при всей своей приниженности политическую роль, а мы ея не имѣемъ» (стр. 51). Въ этомъ состоитъ его *третье* положеніе.

Какъ видите, г. Меньшиковъ шутить не любитъ. Лишивъ насъ образа и подобія Божія (чего ужъ! собственныхъ дѣтей любить искренно не можемъ!), г. Меньшиковъ лишаетъ насъ теперь образа и подобія гражданскаго. Право, это напоминаетъ сцену изъ повѣсти Достоевскаго *Дядюшкинъ сонъ*, когда разсерженные губернскія дамы напали на князя: «Вы безногіе-съ, да еще и беззубые-съ, вотъ вы какіе-съ. Да еще и одноглазый!—закричала Марья Александровна.—У васъ корсетъ вмѣсто реберъ-съ!—прибавила Наталья Дмитріевна.—Лицо на пружинахъ! Волосъ своихъ нѣтъ-съ! И усишки-то у дурака накладные,—скрѣпила Марья Александровна.—Да хоть носъ-то оставьте мнѣ, Марья Степановна, настоящій!—вскричалъ князь, ошеломленный такими откровеніями». Г. Меньшиковъ неумолимъ, какъ Марья Александровна, Наталья Дмитріевна и Марья Степановна, вмѣстѣ взятыя, и намъ, подобно князю, остается только кричать: «Да хоть политическую-то роль настоящую признайте за нами!»—Нѣтъ, ни за что!—отвѣчаетъ г. Меньшиковъ. «Вѣдь что такое—политическая жизнь?—тонко спрашиваетъ онъ.—Это участіе разумомъ и совѣстью въ нравственныхъ интересахъ страны,—не въ будничныхъ мелочахъ, всегда эгоистическихъ,—а въ возвышенныхъ всеобщихъ задачахъ». Ну, не совсѣмъ такъ... «Участіе разумомъ и совѣстью»—а участіе *знаніями*? «Нравственные интересы страны»—почему политическіе интересы есть интересы нравственные и даже *только* нравственные (о другихъ г. Меньшиковъ даже не упомина-

еть)? Союзъ Россіи съ Франціей—это для Россіи «интересъ» огромной важности, но этотъ интересъ — политическій, или нравственный, или экономическій? Надо быть поостчетливѣе, г. Меньшиковъ! Какъ бы то ни было, жить политическою жизнью, играть политическую роль—значить принимать участіе въ возвышенныхъ всеобщихъ задачахъ своей страны, вотъ опредѣленіе, на которомъ мы можемъ сойтись съ г. Меньшиковымъ. Что же теперь? Я чувствую себя въ затрудненіи, потому что мнѣ ужъ слишкомъ легко говорить и даже совѣмъ не о чемъ говорить. Можетъ ли принимать участіе въ общихъ задачахъ своей страны человѣкъ, не знающій ни ея исторіи, ни ея географіи, ни даже численности и состава ея населенія, не имѣющій понятія ни о функціяхъ, ни объ органахъ государственной власти,—ни о чемъ, что лежитъ за предѣлами его волости или уѣзда и что стоитъ повыше исправника и земскаго начальника? Скажу шире: можно ли принимать участіе въ *рѣшеніи* задачъ, не имѣя понятія о самомъ *существованіи* этихъ задачъ? И, однако, вся народная масса наша находится именно въ такомъ положеніи. Всѣ вопросы и всѣ задачи нашей жизни дебатировались интеллигенціей, она регулируетъ внѣшнія отношенія государства, она издаетъ законы, создаетъ или улучшаетъ нормы народной жизни, судить въ судахъ, управляетъ въ администраціи, учить въ школахъ, проповѣдуетъ въ церквахъ, обучаетъ народъ въ арміи—и оказывается, что она не имѣетъ въ странѣ никакой политической роли! Съ чѣмъ сообразно такое утвержденіе? Численный перевѣсъ, разумѣется, находится на сторонѣ народа, но вѣдь не это же подразумевалъ г. Меньшиковъ, когда говорилъ о перевѣсѣ политическаго значенія народа? Конечно, насъ, русской интеллигенціи, едва ли наберется миллионовъ 5—6, а прочая стомилліонная масса состоитъ изъ безграмотныхъ и малограмотныхъ людей, такъ что народъ въ этомъ смыслѣ значительнѣе насъ въ двадцать разъ, но вѣдь и туловище

человѣка вѣситъ приблизительно тоже разъ въ двадцать болѣе головы; но все-таки не рукавъ, не ногамъ, не желудку принадлежить руководящая роль, а именно головѣ. Больше говорить объ этой сторонѣ дѣла не стоитъ, потому что само дѣло за себя въ этомъ случаѣ говорить.

Третій членъ схемы—*природа*.—Любезная природа!—воскликнулъ однажды Карамзинъ и заплакалъ. Такъ же воскликаеть и такъ же плачетъ г. Меньшиковъ на протяженіи цѣлаго печатнаго листа, но плачетъ не сладкими слезами карамзинскаго умиленія, а слезами досады. Человѣкъ поступаетъ съ природой возмутительно: «Подъ дурными внушеніями, накопляющимися вѣками, человѣкъ выходитъ изъ естественнаго міра и создаетъ себѣ иной, искусственный міръ, въ непрерывномъ крушеніи котораго и самъ гибнетъ. Онъ создаетъ себѣ смрадную атмосферу городовъ, вырубаетъ тѣнистые лѣса, превращаетъ благоуханную степь въ пустыню; онъ истребляетъ и рыбъ морскихъ, и птицъ небесныхъ и всякую живую душу, данную для утѣшенія человѣка» (стр. 64). Какъ тутъ не плакать чувствительному человѣку! Дѣло въ томъ, однако, что природа вовсе не «любезная», а по отличному выраженію Пушкина — «равнодушная». Ей нѣтъ дѣла до «утѣшенія» человѣка, которому приходится самому о себѣ думать. Онъ вырубаетъ «тѣнистые лѣса» не подъ вліяніемъ какихъ-то «дурныхъ внушеній», изобрѣтенныхъ г. Меньшиковымъ, а подъ вліяніемъ чувства самосохраненія: надо построить себѣ жилище и надо согрѣвать его, надо дороги проложить, мѣсто для пашни расчистить и пр. и пр. Рыбы морскія (и не только морскія—тоже и прѣсноводныя) и птицы небесныя истребляются человѣкомъ по той же причинѣ: питаться надо, г. Меньшиковъ. Подъ небомъ счастливой Аркадіи, можетъ быть, нѣтъ надобности ни въ жилищѣ, ни въ одеждѣ, ни въ животной пищѣ, но въ нашихъ широтахъ безъ нихъ никакъ нельзя. Человѣкъ «превращаетъ благоуханную степь въ пустыню»,—совершенно наоборотъ,



г. Меньшиковъ: пустыню и болото превращаетъ человѣкъ въ цвѣтущій садъ и даже, благодаря своему умѣнью и знанію, благодаря своей *культуре*, у самаго океана отвоевываетъ почву. Прочтите объ этомъ въ популярныхъ книжкахъ, хорошо извѣстныхъ даже дѣтямъ.

Г. Меньшиковъ идетъ дальше,—именно ужъ за Геркулесовы столбы. Превознеся первобытнаго человѣка за его физическую силу и красоту, г. Меньшиковъ говоритъ: «Но не только тѣло, а и самый духъ человѣка вполне сложился до начала исторіи». Каково! А мы-то думали, что исторія человѣка есть прежде всего исторія развитія общественности отъ семьи, рода, племени до современнаго государства. Nous avons changé tout cela—даже этимъ смѣхотворнымъ оправданіемъ г. Меньшиковъ не удостоиваетъ прикрыться. Онъ знаетъ никого и ничего не хочетъ, никакихъ изслѣдованій, никакихъ теорій, никакихъ чужихъ авторитетныхъ мнѣній, и съ невозмутимою серьезностью фантазируетъ на чисто научныя темы: «На просторѣ степей, среди лѣсовъ и горъ или на уединенныхъ островахъ океана иногда слагались удивительно разумныя отношенія человѣка къ природѣ и истинно гуманныя отношенія его къ своимъ ближнимъ: слагалась высокая и *умственная и нравственная культура*, дававшая здоровое, не отравленное счастье. Затерянное среди природы племя не имѣло ни науки, ни даже письменности, но обладало множествомъ свѣдѣній, взятыхъ изъ живой дѣйствительности, обладало чуткою интеллигентною душой, которая откликалась радостно на всѣ впечатлѣнья бытія. Свѣжая, мощная раса отдавалась нетяжелому, живительному труду; люди были свободны, беззаботны и великодушны, ихъ взаимность слагалась въ союзы братства и нѣжнаго береженія всѣми всѣхъ» (стр. 65).

Если все это наука или, по крайней мѣрѣ, публицистика, то г. Меньшиковъ *обязанъ* былъ подтвердить свои утвержденія какими-нибудь авторитетными свидѣтельства-

ми, ссылками на источники, цитатами. Если же все это поэтическая фантазія, то г. Меньшиковъ *обязанъ* былъ поставить это обстоятельство на видъ читателю, чтобы не вводить его въ заблужденіе. Спорить съ г. Меньшиковымъ о чемъ же? Съ Шехеразадой спорить нельзя, ее можно только слушать или не слушать. Пока г. Меньшиковъ не дастъ указаній болѣе опредѣленныхъ, нежели его «на просторѣ степей, среди лѣсовъ и горъ, на уединенныхъ островахъ», до тѣхъ поръ мы будемъ только пожимать плечами, слушая его вѣщанія. А я, съ своей стороны, заранее объявляю, что такихъ указаній г. Меньшиковъ не представитъ, потому что ихъ въ наукѣ *нѣтъ*, такъ что вся глава о *природѣ* представляетъ собою одно сплошное... одно сплошное недоразумѣніе.

Четвертый членъ схемы—*трудъ*. Конечно, трудъ одинъ изъ самыхъ существенныхъ элементовъ счастья и обойти его нельзя. Здѣсь г. Меньшикову предстояло итти по широкой и торной дорогѣ, потому что о современномъ трудѣ и его условіяхъ написано на всѣхъ европейскихъ языкахъ болѣе чѣмъ достаточно. Дѣйствительно, противъ своего обыкновенія, г. Меньшиковъ въ этой главѣ не ограничивается изготовленіемъ сентенцій, а старается обосновать свои мысли, призываетъ на помощь науку, ссылается на авторитеты и т. д. Какъ-то даже странно читать у г. Меньшикова, хотя бы, наприим., такія тирады: «Работа мозга и остальныхъ тканей неизбежно сопровождается тратой ихъ и разрушеніемъ; продукты этого разрушенія представляютъ сильнѣйшіе яды (такъ называемые *лейкомаины*). Организмъ спасается отъ нихъ тѣмъ, что или сжигаетъ ихъ въ кислородѣ крови или обезвреживаетъ въ особомъ аппаратѣ — печени и выводитъ вонъ почками. Итальянскій ученый Моссо и пр.». Каковъ г. Меньшиковъ! Конечно, не совсѣмъ это ладно, что онъ таинственно называетъ печень «особымъ аппаратомъ», — точно вчера только узналъ о ней,—но все-таки *ужь* это не сентенціи

домашняго приготовленія, а какая ни есть «наука». Къ сожалѣнію, г. Меньшиковъ относится къ показаніямъ авторитетовъ безъ критики. Говоря о переутомленіи, онъ ссылается, наприм., на Макса Нордау (ужь и авторитетъ же!), который говоритъ: «населеніе Европы даже не удвоилось въ теченіе послѣдняго пятидесятилѣтія, а его трудъ увеличился въ десять, а иногда и въ пятьдесятъ разъ». Г. Меньшиковъ не только принимаетъ на вѣру это показаніе, но и прибавляетъ отъ себя: «членъ цивилизованнаго общества работаетъ теперь отъ пяти до двадцати пяти разъ больше, чѣмъ полвѣка тому назадъ». Гм!.. Значитъ, если полвѣка назадъ цивилизованный человѣкъ работалъ *одинъ* часъ въ сутки (не меньше же!), то теперь мы работаемъ по *двадцати пяти* часовъ въ сутки... Дѣйствительно, это многовѣко, не мудрено и переутомиться. Ларчикъ открывается чрезвычайно просто: г. Меньшиковъ не отличаетъ *количества* работы отъ *производительности* работы. Между тѣмъ, въ другой книгѣ г. Меньшикова (*О писательствѣ*) мы находимъ такой примѣръ: «одинъ № *Figaro*, напечатанный въ форматѣ книги in 8°, даетъ 240 страницъ текста; печатая же газету въ количествѣ 100,000 экземпляровъ въ теченіе каждой ночи (6 часовъ), типографія въ общемъ отпечатываетъ 24 милліона страницъ. Чтобы выполнить эту работу триста лѣтъ тому назадъ, въ тѣ же шесть часовъ, потребовалось бы, по крайней мѣрѣ, 500,000 переписчиковъ и огромный городъ для ихъ помѣщенія. Теперь же, при помощи машинъ, для всей работы требуется лишь сто человѣкъ». Итакъ, производительность рабочаго типографіи увеличилась въ сравненіи съ производительностью переписчика въ *пять тысячъ* разъ, но количество труда, измѣряемое временемъ, осталось прежнее—шесть часовъ. Это—огромный, сказочный успѣхъ *культуры*, но г. Меньшиковъ ненавидитъ культуру и потому ея успѣхъ превращаетъ въ ея вину: посмотрите, посмотрите, до чего довела культура современ-

наго человѣка: онъ по двадцати пяти (и даже гораздо больше) часовъ въ сутки долженъ работать, несчастный! *Только въ деревнѣ...* надѣюсь, читатель, вы теперь ужъ заранѣе знаете, что должно слѣдовать дальше? Ну, конечно! «Только въ деревнѣ, на просторѣ и въ тишинѣ природы, при органическомъ срастаніи съ землею, при культурѣ бѣдной и скромной возможно возстановленіе души человѣка и ея власти» (стр. 91). Я скажу г. Меньшикову вотъ что. Пусть онъ возьметъ для сравненія нынѣшняго съ прошлымъ такую сферу труда, въ которой вліяніе машинъ чувствоваться не можетъ, наприм., нашъ писательскій (не типографскій) трудъ. Работая всего по *шести* часовъ въ сутки, можно,—вы это по собственному опыту должны знать,—безъ особаго напряженія написать *три* печатныхъ страницы или семь съ половиною тысячъ буквъ. Полагая одну недѣлю на чтеніе матеріаловъ и на соображеніе состава статьи, мы въ остальные три недѣли мѣсяца напишемъ слѣдовательно *четыре* печатныхъ листа большого формата. Скажите, кто изъ современныхъ писателей нашихъ даетъ ежемѣсячно по четыре листа? А тридцать пять лѣтъ назадъ Писаревъ, наприм., ежемѣсячно давалъ по 5—6 листовъ, а шестьдесятъ слишкомъ лѣтъ назадъ Николай Полевой почти единолично наполнялъ всѣ отдѣлы своего журнала (*Московская Телеграфа*). То же самое и во всѣхъ другихъ сферахъ труда, гдѣ машины не помогаютъ и не могутъ помогать работнику: современный художникъ пишетъ не больше картинъ, нежели Рафаель или Рубенсъ, современный скульпторъ трудится не больше Кановы и т. д. Если въ настоящее время петербуржецъ можетъ пріѣхать въ Москву менѣе чѣмъ въ сутки, тогда какъ прежде онъ долженъ былъ бы для того же дѣла употребить не менѣе четырехъ сутокъ, то это со всѣмъ не значитъ, что теперешній петербуржецъ долженъ потратить на поѣздку вчетверо больше энергіи и усилія, нежели петербуржецъ сороковыхъ годовъ.

Сдѣлавъ упрекъ «городской культурѣ» за мнимое переутомленіе современнаго человѣка, г. Меньшиковъ далѣе ставить ей въ еще тягчайшую вину «раздѣленіе труда». Безъ сомнѣнія, «раздѣленіе труда» въ своихъ крайнихъ, обостренныхъ формахъ—явленіе пагубное, но г. Меньшиковъ и въ этомъ, давно и хорошо обследованномъ вопросѣ не могъ избѣгнуть путаницы. Онъ говоритъ: «человѣкъ просто, самъ для себя живущій и себѣ довлѣющій, уже неизвѣстенъ: всѣ мы или чиновники, или доктора, или офицеры, писатели, столяры, сапожники и внѣ ремесла—мы никто». Не правда, г. Меньшиковъ: внѣ ремесла—мы люди, мы граждане, мы мужья и отцы. Наше ремесло занимаетъ у насъ 4—5 часовъ въ сутки и неужели же въ остальные двадцать часовъ наши способности и потребности бездѣйствуютъ? Раздѣленіе труда—это не зловредная выдумка культуры, это — властное указаніе и требованіе самой природы. Вотъ три человѣка, которыхъ зовутъ Салтыковъ, Чайковский, Крамской. Какіе бѣдные, односторонніе, *обмашиненные* люди! Одинъ только и знаетъ, что пишетъ сатиры, другой только и умѣетъ, что сочинять музыкальныя произведенія, третій—только картины и портреты рисуетъ. Съ точки зрѣнія г. Меньшикова чрезвычайно прискорбно, что Чайковский не написалъ и не собирался писать *Писемъ къ тетенькѣ*, Салтыковъ не писалъ *Христа въ пустынь*, а Крамской не сочинилъ *Пиковой дамы*. Читатель, однако, безъ труда разсудитъ, о комъ ему дѣйствительно слѣдуетъ скорбѣть—объ этихъ ли людяхъ или о г. Меньшиковѣ. Да, конечно, въ своихъ крайнихъ выраженіяхъ начало раздѣленія труда ведетъ къ возмутительнымъ результатамъ. Ужасны эти рабочіе, изъ которыхъ одинъ только умѣетъ, что рѣзать на равные куски проволоку, другой—заострять съ конца эту проволоку, третій—придѣлывать съ другого конца головку къ этой проволоцѣ, но эти—*некультуренные*, а *обмашиненные* люди—чье созданіе? Отнюдь не культуры, какъ таковой, а

капитализма, уродливого дѣтища культуры. Въ эту бы сторону г. Меньшикову и направить свои удары.

*Пятый и шестой* факторы счастья—цивилизация и прогресс—должны быть разсматриваемы совмѣстно, потому что ихъ и въ логическомъ смыслѣ трудно разъединить. Когда мы говоримъ о *прогрессѣ*, мы всегда подразумеваемъ именно *прогрессъ цивилизации*. Если существующая цивилизация—благо, то процессъ ея развитія,—*прогрессивный* процессъ,—тоже благо. Если цивилизация—зло, то благомъ для насъ долженъ представляться попятный, регрессивный процессъ, туда, въ доисторическую глубину, къ троглодитамъ, къ пещернымъ и свайнымъ жилищамъ (по-нашему) или къ «свободнымъ, беззаботнымъ, великодушнымъ людямъ съ чуткою, интеллигентною душой» (по г. Меньшикову). Говорить о прогрессѣ значитъ говорить не о чемъ иномъ, какъ о *динамикѣ цивилизации*, и вотъ почему мы соединяемъ эти двѣ темы г. Меньшикова въ одну общую тему.

Должно сознаться, что неясность мысли и сбивчивость анализа г. Меньшикова выразились въ этихъ главахъ его книги съ особенною рельефностью. Итти теперь за г. Меньшиковымъ просто опасно: какъ разъ уподобишься тому легендарному пошехонцу, который въ трехъ соснахъ ухитрился заблудиться. Съ другой стороны, трудно воспользоваться и другимъ нашимъ приѣмомъ—сдѣлать выборку изъ разсужденій г. Меньшикова и обсудить дѣло по существу: какъ тутъ выбирать, на чемъ остановиться въ этомъ ряду перемежающихся «да», «нѣтъ», и опять «да», и опять «нѣтъ»? Вотъ, напримѣръ, г. Меньшиковъ говоритъ на стр. 154: «ошибочное внушеніе, что счастье внѣ насъ, заставляетъ современнаго человѣка весь капиталъ души своей вкладывать въ переустройство внѣшняго міра». Ну, и чудесно. На стр. 162 читаемъ: «всякому народу и во всякое время необходимы гуманные порядки, просвѣщеніе, свобода и т. п., и все это необходимо не въ низ-

шей, не въ средней, а въ *полной* *мѣртѣ* (курсивъ автора), какъ чистый воздухъ для груди одинаково нуженъ и для лорда и для мужика. Все это жизнетворныя и *самыя важныя условія счастья*» (курсивъ нашъ). Именно. Однако вѣдь «чистый воздухъ» (т.-е. гуманные порядки, просвѣщеніе, свобода) кажется не внутри, а внѣ человѣка находятся? А вотъ переверните листочекъ и на стр. 164 читайте: «главнѣйшее вниманіе человѣка должно быть обращено на развитіе своего живого, личнаго прогресса, всякій иной приложится къ нему». То-есть заведите чистый воздухъ внутри себя, а о внѣшнемъ чистомъ воздухѣ не беспокойтесь,—онъ самъ собою явится. Вотъ и судите, какъ тутъ быть критику г. Меньшикова, на чемъ остановиться, которую изъ двухъ противоположныхъ мыслей считать подлиннымъ убѣжденіемъ автора? Надо поискать косвенныхъ свидѣтельствъ, которыя выдали бы намъ, наконецъ, настоящую мысль автора. Вотъ г. Меньшиковъ ссылагается, наприм., на прогрессистовъ, не какъ на союзниковъ, а какъ на своихъ противниковъ, но это ничего, мы догадливы и сумѣемъ воспользоваться отрицательными указаніями такъ же, какъ и положительными. «Попробуйте,—говорить г. Меньшиковъ,—заявить объ этомъ (объ *этомъ*, т.-е. о необходимости для человѣка *внѣшняго* чистаго воздуха), вамъ сейчасъ же отвѣчаетъ хоръ прогрессистовъ: «мы еще не созрѣли! Нужны постепенныя стадіи развитія... Подождите, все придетъ въ свое время». Такъ разсуждали прежде о крѣпостномъ правѣ, задержавъ его отъѣзду на цѣлое столѣтіе, такъ иногда разсуждаютъ и теперь» (стр. 162). Вы это серьезно, г. Меньшиковъ? Право?

Вотъ ужъ сорокъ лѣтъ живу,  
Ни во снѣ, ни наяву,  
Не видалъ до этихъ поръ  
Я на ведрахъ мѣдныхъ шпоръ!

Не видалъ я прогрессистовъ, которые во имя постепенности возставали бы противъ либеральныхъ реформъ, и

не слыхаль я о прогрессистахъ, которые задержали, будто бы, на цѣлое столѣтіе отмѣну крѣпостного права! Были такіе люди, была и есть такая партія, но называть ихъ прогрессистами это совершенно то же, что придѣлывать къ ведрамъ мѣдныя шпоры. Лѣтъ двадцать назадъ люди этой партіи рекомендовали поставить «точку къ реформамъ», чѣмъ и возбудили общій хохоть среди прогрессистовъ, теперь же они вотъ говорятъ: «Не *опередъ безъ страха и сомнѣнья* слѣдовало бы внушать толпѣ, а скорѣе—«остановитесь и осмотритесь», одумайтесь, разглядите дорогу и вспомните, куда вамъ нужно итти, да и нужно ли». Какъ видитъ читатель, это тоже «точка». «Князь—точка», какъ его тогда прозвали, долженъ быть извѣстенъ всякому старому и памятливому читателю, но ему, конечно, никакъ не догадаться, кто является нынѣ продолжателемъ князя—точки: это г. Меньшиковъ, къ нашему искреннему сожалѣнію. Только что цитированныя слова читатель найдетъ на 155 стр. его *Думъ*.

Опять скажу читателю: отнюдь не негодуйте на г. Меньшикова, —никакихъ затаенныхъ реакціонныхъ замысловъ онъ не питаетъ и если виновать, то лишь въ томъ, что взялся разсуждать о предметѣ, ему, очевидно, вполне незнакомомъ. Только отъ глубины невинности можно сказать, напримѣръ, вотъ этакое: «Еще печальнѣе примѣры загубленныхъ лѣтъ и цѣлыхъ столѣтій въ жизни народовъ, слѣдующихъ теоріи прогресса. Возьмите хотя бы нашу сосѣдку, Персію». Да, буквально такъ и напечатано на 160 стр. Персія загублена своими прогрессивными стремленіями... Я берусь разгадать читателю этотъ ребусъ. Дѣло въ томъ, что г. Меньшиковъ не видитъ рѣшительно никакого различія между прогрессистомъ и фаталистомъ. Онъ утверждаетъ, что «прогрессисты договариваются буквально до предопредѣленія, до полной бесполезности борьбы со зломъ, до полной невѣроятности всѣхъ гадостей» (стр. 153). Если такъ, то понятно, какимъ образомъ Пер-



сія является самой прогрессивной страной: страна мусульманства, она, на ряду съ Турціей, представляет собою очагъ фаталистическихъ ученій всевозможныхъ оттѣнковъ, и вотъ вамъ вся разгадка ребуса. Кто фаталистъ, тотъ и прогрессистъ, и, слѣдовательно, Персія и Турція переполнены прогрессистами. Такъ ясно. Жаль, однако, что г. Меньшиковъ не указываетъ, кто изъ прогрессистовъ, гдѣ и когда договорился до фатализма. Если бы названы были имена и вообще приведены были хоть какія-нибудь доказательства, можно было бы попытаться оправдаться, а теперь намъ, прогрессистамъ, остается только молчать даже тогда, когда г. Меньшиковъ обзываетъ мысль прогрессистовъ— «тупой и не совсѣмъ честной мыслью». Да, жаль! Острая и совсѣмъ честная мысль г. Меньшикова напрасно прикрывается анонимностью.

А, впрочемъ, г. Меньшиковъ тоже прогрессистъ и даже «разумѣтся» прогрессистъ. Вы этого не ожидали? Но вотъ его слова: «отрицая теорію вѣчнаго, непрерывнаго прогресса, я, разумѣтся, не думаю отрицать прогресса конечнаго». *Люди должны идти впередъ*, заявляетъ онъ черезъ нѣсколько строкъ, совершенно забывая, что всего за десятокъ страницъ передъ тѣмъ онъ находилъ, что люди должны остановиться, одуматься и вспомнить, куда имъ нужно идти, да и *нужно ли* (цитировано выше). Итакъ, что же, наконецъ, мы *должны дѣлать*?

И удивленные народы не знаютъ, что начать:  
Ложиться спать или вставать?

Затѣмъ, мы можемъ увѣрить г. Меньшикова, что о *вѣчномъ* прогрессѣ человѣчества мы не думаемъ, потому что вѣченъ только космосъ, а планета наша и даже вся солнечная система—конечны. Что же касается *непрерывности* прогресса, то необходимо условиться насчетъ этого термина. Прогрессъ непрерывенъ въ томъ смыслѣ, что балансъ человѣчества за каждое прожитое имъ столѣтіе

или даже десятилѣтіе сводится безъ дефицита, съ явнымъ и несомнѣннымъ перевѣсомъ прибрѣтеній надъ потерями. Но намъ небезызвѣстно о существованіи въ исторіи не только акцій, но и реакцій, а также о существованіи застоя. Въ нерѣдкихъ случаяхъ прогрессисты терпятъ полное пораженіе, но это ни мало не ослабляетъ ихъ энергію, потому что непоколебимо ихъ убѣжденіе въ конечномъ торжествѣ добра, правды и разума. А убѣжденіе это основывается не на фаталистической вѣрѣ, а на *знаніи*, на данныхъ историческаго опыта и науки о человѣкѣ вообще. Золотой вѣкъ лежитъ не далеко позади, а далеко впереди насъ,— пора бы ужъ это и поэтамъ признать.

Заключительная глава книги г. Меньшикова, озаглавленная *Богъ*, самая важная по предмету, въ то же время и самая маленькая по объему: въ ней всего-на-все шесть страницъ, но этихъ немногихъ страницъ достаточно, чтобы примирить читателя съ авторомъ. Намъ кажется, что съ точки зрѣнія, устанавливаемой авторомъ въ этой главѣ, не только возможно, но и логически обязательно для него кореннымъ образомъ измѣнить свой отрицательный взглядъ на насъ, людей, и на наши дѣла, общая совокупность которыхъ именно и составляетъ то, что и называется цивилизаціей и культурой. Точка зрѣнія, устанавливаемая г. Меньшиковымъ, слѣдующая: «жизнь принимаетъ прекрасный, волшебный видъ тотчасъ же, какъ вы внимательно, т.-е. религіозно, къ ней отнесетесь. Все кажется страннымъ, загадочнымъ, недѣльнымъ, и мелкія, привычныя явленія жизни оживаютъ: изъ механическихъ и мертвыхъ превращаются въ яркія, полныя интереса событія. Все интересно, если во всемъ видишь раскрывающуюся тайну, все теряетъ интересъ, когда тайна непроницаема. Начало міра близко и доступно; сознаніе этого навѣваетъ на человѣка возвышенное, покорное благой Волѣ настроеніе, полное жажды слиться съ нею».

Очень хорошо сказано. Но неужели г. Меньшиковъ не

видить, что онъ противъ себя говоритъ? Если даже мертвые, механическія явленія оживаютъ и превращаются въ полныя интереса событія съ религіозной точки зрѣнія, то неужели такой огромный, не только историческій, но и органическій фактъ общечеловѣческой жизни, какъ вся наша цивилизація, лишень внутренняго глубокаго смысла? Нѣтъ мѣры усиліямъ и нѣтъ числа жертвамъ, которыя сдѣлали люди, вырабатывая свою общественность, свою культуру, и что же—эти усилія шли въ разрѣзъ съ намѣреніями Воли, были бунтомъ противъ нея, эти жертвы были принесены Ваалу? Но вѣдь тогда жизнь превращается, по выраженію Достоевскаго, въ «діаволовъ водевилъ», вся земля наша является въ такомъ случаѣ какъ бы документомъ, доказывающимъ побѣду злого начала надъ благимъ. Если этотъ выводъ ужаснетъ г. Меньшикова—онъ долженъ будетъ отказаться отъ большей части своей книги. Я упорно отгоняю отъ себя всякое подозрѣніе въ неискренности г. Меньшикова, но единственнымъ средствомъ для этого является допущеніе въ немъ самой крайней непоследовательности. Можно быть парадоксальнымъ, но нельзя быть до такой степени нелогичнымъ. Книга г. Меньшикова сама себя съѣдаетъ на глазахъ у читателя. Это не *Думы о счастіи*, а думы о несчастьи,—о несчастьи интеллигентнаго человѣка, не имѣющаго ни родины, ни семьи, ни политической роли, ни настоящихъ знаній, ни общенія съ природой, ни здороваго труда, ни вѣры въ Бога. «Только въ деревнѣ» и т. д., и т. д. Но и въ деревнѣ, оказывается, ничего хорошаго нѣтъ, въ живой, реальной деревнѣ: «Я говорю, — заявляетъ г. Меньшиковъ, — не о современной русской деревнѣ: она далека, конечно, отъ типа истинной, живой культуры. Нынѣшняя деревня уже не та старинная деревня, которая напоминала библейскія времена по простотѣ и строгости жизни. Развѣ только въ глуши, гдѣ-нибудь въ раскольниковыхъ селахъ, въ дальнихъ лѣсныхъ поселкахъ или въ

степныхъ станицахъ можно встрѣтить еще первобытную чистоту нравовъ, глубокую религіозность, нравственную дисциплину и поэзію, неизмѣнно сопутствующія цѣломудренной жизни» (стр. 91). Какова идиллія? Но, во-первыхъ, въ этой идилліи остается огромнѣйшая часть крестьянской, деревенской Россіи, а не одна только интеллигенція, и, во-вторыхъ, ужасомъ преступленія и тлѣніемъ смерти отдастъ отъ этой идилліи. Точно нарочно для г. Меньшикова жизнь представила всего полтора года назадъ торжественный démenti. Около города Тирасполя, Херсонской губ., въ уединенномъ раскольничьемъ поселкѣ разыгралась такая дѣйствительная драма, рядомъ съ которой сочиненная идиллія г. Меньшикова превращается въ злую иронию. Все было тутъ налицо, чего требуетъ г. Меньшиковъ: простота и строгость жизни, чистота нравовъ, нравственная дисциплина и глубочайшая, фанатическая религіозность. Не было одного, того самаго, за что такъ караетъ насъ г. Меньшиковъ: умственного развитія, сознательности, просвѣщенія, культурности. Дальнѣйшее всѣмъ извѣстно: перепись, кривотолки о ней темныхъ людей, боязь «антихристовой печати» и въ результатѣ—замурованіе заживо двухъ десятковъ людей. Герой этой драмы, Ѳедоръ Ковалевъ, замуровавшій въ числѣ другихъ свою жену и малолѣтнюю дочь,—герой вполне во вкусѣ г. Меньшикова: его нравственная дисциплинированность—изумительна, его чистота нрава—несомнѣнна, его религіозность—фанатична. Но развѣ этотъ изуверъ не преступникъ передъ людьми и передъ самимъ Богомъ? Онъ не вѣдалъ, что творилъ—вотъ его оправданіе. Въ нравственныхъ интересахъ самого г. Меньшикова то же самое оправданіе я примѣняю и къ нему и къ его книгѣ.

### III.

Достаточно будетъ немногихъ страницъ, чтобы характеризовать другую, гораздо менѣе значительную книгу г. Мень-

шикова *О писательствѣ*. Переходомъ къ такой характеристикѣ намъ послужить одно замѣчаніе, сдѣланное авторомъ въ его *Думахъ*. Замѣчаніе вотъ какое: «Мыслитель или художникъ должны какимъ-нибудь инымъ трудомъ добывать себѣ хлѣбъ, наприм., какъ апостолы, дѣлавшіе черную работу, шившіе, какъ Павелъ, палатки. Въ божественномъ откровеніи душа должна быть свободна, какъ въ любви: продавать мысль—все равно, что продавать любовь. Человѣкъ продающій зависитъ въ своемъ трудѣ отъ покупателя, онъ долженъ приспособляться къ чужимъ вкусамъ. Въ физическомъ трудѣ это необходимо, но трудъ психическій долженъ быть свободенъ отъ всякаго приспособленія и не имѣть цѣны. Онъ долженъ быть общимъ достояніемъ, а наградой артисту должно быть то чувство счастья, которое даетъ высокое творчество художнику и публикѣ» (стр. 117). Г. Меньшиковъ можетъ такъ говорить, потому что онъ нашелъ для себя такую норму жизни, которая намъ не по плечу: «норма человѣка—кусокъ хлѣба и стаканъ воды, чистый воздухъ, легкій трудъ, любовь и свобода» (стр. 137). Какая аркадская невинность! Едва ли однако многіе писатели считаютъ свой трудъ легкимъ: какъ бы то ни было, намъ приходится затрачивать на свой трудъ изрядную дозу и мозговой, и нервной, и мышечной энергіи, и для пополненія этой траты намъ необходимъ не кусокъ хлѣба, а кусокъ мяса, да побольше, и не стаканъ воды, а, по крайней мѣрѣ, бутылка хорошаго пива. Такъ-то покрѣпче дѣло будетъ! Нѣмцы лишь нѣсколько утрируютъ, утверждая, что *der Mensch ist was er isst*. Вотъ почему мы безъ всякихъ угрызеній совѣсти получаемъ съ своихъ редакцій гонораръ, который намъ и уплачивается безъ всякихъ споровъ, какъ должно, тогда какъ редакція *Недѣли*, гдѣ сотрудничаетъ г. Меньшиковъ, вѣроятно, каждый разъ оказывается въ затрудненіи, что ей дѣлать съ деньгами, заработанными г. Меньшиковымъ? Какъ-нибудь навязать ихъ ему—было бы не деликатно: вѣдь это значило

бы уподобить своего почтеннаго сотрудника блудницѣ, а ужъ это на что-жъ похоже! А можетъ быть на дѣлѣ ничего подобнаго нѣтъ? Кажется, что такъ. По крайней мѣрѣ я, прочитавъ строгій репримандъ г. Меньшикова, поспѣшилъ взглянуть на обложку его книгъ и нашелъ тамъ чрезвычайно прозаическія надписи: «цѣна 1 р.» на *Думахъ*, «цѣна 1 р. 50 к.» *О писательствѣ*. О «счастьи творчества», какъ о единственной достойной наградѣ за психическій трудъ г. Меньшикова, говорится только въ текстѣ, а на обложкѣ значится: два съ полтиной пожалуйста! Такъ можетъ быть г. Меньшиковъ и гонораръ беретъ? По всей вѣроятности. Зачѣмъ же онъ себя и своихъ товарищеписателей къ блудницѣ приравняетъ? Ну, Боже мой, для красоты слога! Г. Меньшиковъ очень часто пишетъ исключительно для красоты слога.

Тема эта однако имѣетъ самое близкое отношеніе къ вопросу *О писательствѣ*, и г. Меньшиковъ—не первый (раньше его въ томъ же смыслѣ говорилъ г. Мережковский) и, вѣроятно, не послѣдній, подавляющій насъ, сребролюбцевъ, своимъ сверхъестественнымъ благородствомъ. Такъ вотъ для нихъ мы скажемъ разъ навсегда, чтобы на авторитетъ апостола Павла они не ссылались, а поискали бы себѣ другой опоры: Павелъ не осудилъ бы насъ за корыстолюбіе и не восхитился бы ихъ безкорыстіемъ. Великій апостолъ зналъ жизнь, зналъ человѣка и его благовѣствованіе не было проповѣдью аскетизма. Въ посланіи къ филиппійцамъ онъ написалъ: «Я весьма возрадовался въ Господѣ, что вы уже вновь начали заботиться о мнѣ; вы и прежде заботились, но вамъ не благопріятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольнымъ тѣмъ, что у меня есть: умѣю жить и въ скудости, умѣю жить и въ изобиліи; научился всему и во всемъ, насыщаться и терпѣть голодъ, быть и въ обиліи и въ недостаткѣ. Впрочемъ, вы хорошо поступили, принявши участіе въ моей скорби. Вы знаете, фи-

липійцы, что въ началѣ благовѣствованія, когда я вышелъ изъ Македоніи, ни одна церковь не оказала мнѣ участія подаваніемъ и принятіемъ, кромѣ васъ однихъ; вы и въ Фессалонику и разъ, и два присылали мнѣ на нужду» (IV, 10—16). А въ первомъ посланіи къ Тимоею апостолъ, говоря о томъ же предметѣ, ссылается на писаніе: «Ибо писаніе говоритъ: не заграждай рта у вода молотящаго; и трудящійся достоинъ награды своей» (V, 18). Можно было бы привести изъ «посланій» еще нѣсколько мѣстъ того же самаго смысла. Ясно, что ссылка г. Меньшикова на высокій авторитетъ болѣе чѣмъ неудачна.

Не трудно, но послѣ сдѣланнаго уже нами обзора первой книжки г. Меньшикова утомительно и скучно было бы слѣдить за его разсужденіями о литературѣ, о писательствѣ: это все такъ же и все то же, *toujours perdrix!* Одной рукой г. Меньшиковъ напишетъ, а другой рукой написанное—сотретъ; почти каждому его утвержденію можно противопоставить его же собственное отрицаніе; а такъ какъ въ книгѣ почти триста страницъ, то гдѣ жъ намъ за нимъ угоняться! Вотъ, напримѣръ, общій вопросъ о происхожденіи и значеніи нашей литературы. Читатель помнитъ взглядъ г. Меньшикова на петровскія реформы: «насиловственное и искусственное введеніе западной культуры со временъ Петра I внесло и продолжаетъ вносить печальнѣйшее разстройство въ народную душу». Кажется ясно сказано? Читайте же теперь вотъ это мѣсто изъ книги *О писательствѣ*: «До тѣхъ поръ, пока бѣдная, хотя и сильная народнымъ духомъ, *старая* культура закупорена въ самой себѣ (наприм., наша московская культура до Петра), она безплодна; великія силы дремлютъ, застаиваются и отъ бездѣйствія отмираютъ; но стоитъ напряженному духу народному подвергнуться иному, иноземному вѣянію,—тотчасъ же, какъ отъ сближенія разнородныхъ полюсовъ электрической цѣпи, зажигается яркимъ свѣтомъ народное сознаніе, проявляется могучій токъ до того не-

замѣтной психической силы. Инерція покоя переходитъ въ инерцію движенія. Внезапно (въ нѣсколько десятилѣтій) во всѣхъ сферахъ поэзіи и мысли является рядъ великихъ произведеній, отливающихъ въ вѣчныя вещественныя формы тѣ состоянія духа, которыя долѣе существовали въ скрытомъ напряженіи. Всѣ страны переживаютъ эти рѣдкіе, счастливые моменты расцвѣта культуры, оплодотворенія души народной инымъ, родственнымъ геніемъ» (стр. 19). Это написано тѣмъ же г. Меньшиковымъ, который писалъ о злополучномъ психическомъ разъединеніи народной души пагубными петровскими реформами. «Ну, да что жъ такое,— скажетъ читатель,— оставьте г. Меньшикова самому разбираться въ его противорѣчіяхъ и обсуждайте его мысли по существу». Обсуждать... А вы помните, какъ г. Меньшиковъ въ своихъ *Думахъ* осмѣялъ прогрессистовъ за ихъ мнимое пристрастіе къ *постепенности*? «Мы еще не созрѣли! Нужны постепенныя стадіи развитія!»—такъ будто бы постоянно говорятъ трусливые и безтолковые прогрессисты. А вотъ какъ разсуждаетъ г. Меньшиковъ въ книгѣ *О писательствѣ* тотчасъ же вслѣдъ за признаніемъ благодѣтельности петровскихъ реформъ: «Чужая цивилизація должна вліять постепенно, чтобы дѣйствовать *органически*; это вліяніе требуетъ извѣстнаго времени, чтобы новое срослось со старымъ, вошло въ кровь и нервы и претворилось въ нихъ. *Первое* прикосновеніе чужой культуры похоже на вспрыскиваніе сказочною живою водою. Оно даетъ толчокъ скрытой энергіи народа, не разбивая ее. Но если культура, хотя бы и весьма высокая (и даже чѣмъ выше, тѣмъ хуже), падаетъ на подготовленную почву не тихимъ дождемъ, а цѣлыми потоками,—она является настоящимъ бѣдствіемъ для страны. Она смываетъ накопленное въ почвѣ удобреніе и самыя сѣмена, обнажая бесплодные нижніе слои. Она обезличиваетъ и духовно разоряетъ общество» (*О писательствѣ*, 21). Теперь позвольте спросить, которую изъ мыслей г. Меньшикова я долженъ



«обсуждать по существу»? У него три мнѣнія по одному предмету, и это для г. Меньшикова естественно: онъ мыслить образами, сравненіями, уподобленіями, которыми, точно кольями, онъ подпираетъ свои афоризмы, воображая, что укрѣпляетъ, *доказываетъ* ихъ. Петровскія реформы *психически расчленили* Россію—уподобленіе первое; петровскія реформы зажгли яркимъ свѣтомъ народное сознаніе, какъ отъ *сближенія разнородныхъ полосовъ электрической цѣпи*,—уподобленіе второе; петровскія реформы *хлынули на русскую землю не тихимъ дождемъ, а цѣлыми потоками*,—уподобленіе третье. При богатствѣ воображенія можно найти, а при слабости логики принять еще три или хоть двадцать три красивыхъ уподобленія, но что съ ними дѣлать критикѣ? Приходится оцѣнять эти уподобленія съ эстетической точки зрѣнія, но нельзя и этого, потому что съ своими электрическими цѣпями и тихими дождями авторъ незамѣтно подбирается къ большому выводу чисто публицистическаго характера: «Страна, оставаясь въ существѣ своемъ прежнею, принимаетъ новый обликъ; происходитъ культурное разложеніе и психическій упадокъ. *Такой упадокъ собственнаго творчества переживаетъ теперь Россія*» (стр. 21). Курсивъ мой, да и какъ не подчеркнуть этикія страсти! Послушайте, г. Меньшиковъ: есть творчество государственное, творчество научное, творчество художественное, творчество литературное, творчество нравственное (въ религіозныхъ движеніяхъ, напр.), творчество культурное (въ изысканіи новыхъ формъ общественности). Въ которой изъ этихъ сферъ мы оскудѣли творческими способностями? Потрудитесь, во-первыхъ, опредѣлить *это*, а во-вторыхъ, потрудитесь доказать, что оскудѣніе дѣйствительно существуетъ и вызвано такими-то причинами. Г. Меньшиковъ не различаетъ никакихъ родовъ творчества и говоритъ вообще, доказываетъ же онъ упадокъ у насъ творчества на свой обычный ладъ: «При столкновеніи съ Европой (я непосредственно продолжаю

цитату) Россія приобрѣла, конечно, множество важныхъ выгодъ въ развитіи знаній, въ смягченіи нравовъ и проч.; это столкновеніе выбросило Русь изъ ея историческаго *кривого* русла. Но, выброшенная изъ него столь стремительно, Россія не нашла пока никакого русла, общественный духъ ея утратилъ опредѣленное направленіе, разсѣялся, обратился въ развалины, которыя, при всей ихъ живописности, не годны, чтобы жить въ нихъ. Культурныя руины, правда, полны своего рода летучими мышами, пауками, мокрицами» и пр. и пр. Вотъ какъ доказалъ авторъ оскудѣніе нашего творчества! Сначала у него, въ роли аргументовъ, явились тихіе дожди и потоки, а потомъ руины, пауки, мокрицы и проч. А тутъ, черезъ нѣскольکو строкъ, и глава благополучно кончается,—кончается, кстати сказать, новымъ уподобленіемъ: «Какъ душевнобольные иногда заражаютъ психіатра безуміемъ, такъ...» и проч. И это называется публицистикой! Я серьезно рекомендую г. Меньшикову попробовать свои силы въ беллетристикѣ: картины и образы тамъ важнѣе и нужнѣе, нежели логическіе выводы и фактическія доказательства.

Въ своихъ сужденіяхъ о литературѣ, «о писательствѣ» г. Меньшиковъ столько же неумолимъ, сколько и въ своихъ сужденіяхъ вообще объ интеллигенціи. Его приговоры огульны, рѣшительны, лаконичны и ровно ничѣмъ не мотивированы. «Я думаю,—съ хладнокровною непреклонностью говорить г. Меньшиковъ,—что въ годы общаго оскудѣнія слѣдуетъ призвать къ отвѣту и общество—мозгъ народа и литературу—сознаніе общества» (стр. 5). *Оскудѣніи* г. Меньшиковъ ничѣмъ не доказалъ, но къ отвѣту за оскудѣніе онъ требуетъ и общество и литературу. Его судъ надъ обществомъ, т.-е. надъ интеллигенціей, мы уже видѣли, а его судъ надъ литературой продолжается всего нѣсколько минутъ. Виновна ли литература въ несчастіяхъ русскаго народа?—такъ ставитъ вопросъ г. Меньшиковъ и отвѣчаетъ на него кратко и ясно: «Да,

виновна. Она виновна, какъ разумъ, который долженъ не только все предвидѣть и отъ всякой опасности предостеречь, но и обязанъ быть достаточно сильнымъ, чтобы заставить волю повиноваться себѣ. Литература виновна въ недостиженіи своихъ хорошихъ цѣлей уже тѣмъ, что ихъ не достигла» (стр. 6). Позвольте замѣтить, г. Меньшиковъ, что разумъ, который все предвидитъ и все заставляетъ повиноваться себѣ, есть разумъ не человѣческій, а божественный. А вѣдь русская литература, какъ и всякая другая, дѣло человѣческое. Г. Меньшиковъ знать ничего не хочетъ и продолжаетъ: «Русская литература говорила много, но, очевидно, слѣдовало говорить еще больше. Она говорила иногда правильно и ясно, но слѣдовало говорить еще правильнѣе и яснѣе. Иногда вспыхивалъ въ этой литературѣ яркій огонь, зажигавшій чуткую совѣсть, но слѣдовало разгораться цѣлымъ пожаромъ и накалять даже каменные сердца» (стр. 6). Ясно, что отъ такого суда спасенія нѣтъ и быть не можетъ. Вы талантливы? Вы виновны, потому что слѣдуетъ быть еще талантливѣе. Вы много сдѣлали? Вы виновны, потому что слѣдовало сдѣлать еще больше. Вы воспаляли сердца? Вы виновны, потому что слѣдовало воспалять даже камни. Разумнымъ требованіямъ есть предѣлъ и мѣра, но полету фантазіи не положено никакихъ границъ. Г. Меньшиковъ показываетъ далѣе свою фантастическую мѣрку вообщю: «Предположите, что въ надлежащее время и въ должномъ числѣ у насъ явились бы литературные пророки, которые ясно увидѣли бы ложь жизни и истинный спасительный путь, которые имѣли бы силу открыть это людямъ, поднять ихъ, возбудить, воспламенить, облагородить, — наша исторія сложилась бы совсѣмъ не такъ, какъ сложилась». *Предположите* это, читатель, сдѣлайте такое удовольствіе автору. Однако, подражая г. Меньшикову, я скажу ему: вы виновны, потому что *предположить* можно и получше что-нибудь. Предположимъ, наприим., что среди насъ «въ долж-

номъ числѣ» явились чудотворцы, которые камни превращаютъ въ хлѣбъ, глупцовъ въ умниковъ, фантазеровъ въ разсудительныхъ людей: наша исторія сложилась бы ужъ совсѣмъ не такъ, какъ сложилась. Тогда даже и исторіи никакой бы не было, потому что каждый сидѣлъ бы подъ кущею своею и подъ смоковницею своею, спокойно насыщаясь чудотворнымъ хлѣбомъ. До чего мы съ вами договорились, г. Меньшиковъ? И это называется литературною критикой! Обращаю вниманіе г. Меньшикова на слова Герцена, взятые мною эпиграфомъ къ статьѣ.

---

1896 г.

## Критикъ-декадентъ.

(А. Л. Волинскій: «Русскіе критики. Литературные очерки». Спб., 1896 г.)

---

„Мысль моя, какъ острый мечъ,  
Смѣло губить предрасудка,  
Созерцаа смутный смерчъ  
Въ волосахъ моей малютки,  
Ниспадающихъ до плечъ...“

*Изъ русскихъ декадентовъ.*

### I.

Если читатель, прочитавши нашъ эпиграфъ, съ недоумѣніемъ разведетъ руками, то это докажетъ только то, что онъ мало знакомъ съ декадентствомъ вообще и съ привлекательною литературною личностью г. Волинскаго въ частности. Вступая въ область декадентства, нужно отрѣшиться отъ обыкновенныхъ критическихъ приемовъ и нужно, кромѣ того, вооружиться рѣшимостью ничему не удивляться и ничѣмъ не оскорбляться. Этимъ я вовсе не хочу сказать, что декаденты, импрессионисты, символисты и т. п.—люди психически больные и потому невмѣняемые. Это мнѣніе Макса Нордау — мнѣніе, на нашъ взглядъ, очень узкое и одностороннее, защитить которое нѣмецкому критику-врачу рѣшительно не удалось (см. его книгу *Вырождение*). Я хочу сказать только то, что декадентство—явленіе ничтожное, а сами декаденты—люди не серьезные. Это совсѣмъ не болѣзненные выродки, какъ

полагаетъ Нордау, а просто духовные недоросли, какіе всегда были и всегда будутъ, потому что въ семьѣ не безъ урода. Судьбы какой-либо націи или расы или, еще менѣе, всего человѣчества, тутъ ровно не причесть. Ни о какомъ «вырожденіи» тутъ не должно быть и рѣчи. Никакого другого декаданса (упадка), кромѣ своего собственнаго, личнаго, декаденты не представляютъ и не выражаютъ.

Послѣ этого стоить ли говорить о нихъ? На всякое чиханье не наздравствуешься и за всякой печатной бессмыслицей не угоняешься. И не противорѣчу ли я самъ себѣ, собираясь писать даже цѣлую статью о критикѣ-декадентѣ, когда, на основаніи моихъ же собственныхъ заключеній, самое естественное было бы предоставить г. Волынскому полный просторъ губить предрассудки какъ мечъ, созерцая въ волосахъ смутный смерчъ? Пусть его забавляетъ публику, какъ онъ давно уже забавляетъ критику. Такая роль не лишена даже нѣкотораго утилитарнаго значенія, и зачѣмъ же мѣшать человѣку, избравшему эту роль не только сознательно, но и по призванію, по естественной склонности?

Вашими бы устами да медъ пить, сказали бы мы читателю, предъявившему намъ такіа замѣчанія. Очень легко было бы работать критикамъ, если бы они могли во всѣхъ подходящихъ случаяхъ ограничиться брамбеусовской фразой: «Ванька! Это твоя литература!»—сохраняя увѣренность, что послѣ этого читатель уже самъ, собственными силами, разглядитъ шарлатана подъ маской философа или критика. Къ сожалѣнію, читатели далеко не всегда внимательны. «Мысль моя, какъ острый мечъ, смѣло губить предрассудки»,—увы, сколько читателей дальше этого и вникнуть не захотятъ или не сумѣютъ, а, вѣдь, что же дурного въ этомъ заявленіи самоувѣреннаго декадента? Губить предрассудки—это дѣло прямо превосходное и если вы, повѣривъ декаденту на слово, не доберетесь до смутнаго смерча въ волосахъ малютки, то вы должны будете

почтить дѣятельность декадента самымъ искреннимъ уваженіемъ. «Я хотѣлъ не рассказывать, а судить», заявляетъ г. Волынский въ предисловіи къ своимъ очеркамъ. Что же?—это прекрасно: пусть рассказываютъ біографы и бібліографы, а дѣло критики освѣщать и оцѣнять факты. Далѣе г. Волынский объявляетъ, что его судъ будетъ безопаденъ: «Критика историческихъ явленій должна быть безопадною въ своихъ приговорахъ надъ отживающими системами и отдѣльными предвзятыми сужденіями». И это очень хорошо: судить, такъ ужъ судить, безъ сантиментальности, безъ послабленій. Правда, когда подумаешь, что подъ «историческими явленіями», подлежащими безопадному суду г. Волынскаго, подразумѣваются три главныхъ критика наши,—Бѣлинскій, Добролюбовъ и Писаревъ,—становится какъ-то грустно: по человѣчеству судя, ихъ жалко, да жалко и самого себя, то-есть, собственно, тѣхъ привычныхъ представленій, которыя связаны съ именами этихъ писателей. Чисты, прекрасны, почти святы эти представленія и какъ же горько услышать отъ свѣжаго чловѣка, что они—не болѣе какъ грубая ошибка и иллюзія наша. Однако, дѣлать нечего: Платонъ—другъ, но истина—другъ еще болѣе, и если г. Волынский овладѣлъ истиной, то ужъ, конечно, мы не отступимся отъ него. А онъ именно овладѣлъ. Критика Бѣлинскаго, Добролюбова и Писарева была болѣе чѣмъ слаба. Она «никогда не углублялась до истинно философскихъ идей; она «не умѣла укрѣпить гуманныя стремленія на непоколебимыхъ основаніяхъ»; она—«оставляла безъ разработки то, что есть самаго существеннаго во всякомъ глубокомъ поэтическомъ произведеніи»; она «не вскрывала духовныхъ источниковъ искусства». Все это съ теченіемъ времени сдѣлаетъ г. Волынский: онъ углубится, онъ укрѣпитъ, онъ разсмотритъ, онъ вскрыетъ. Онъ сдѣлаетъ это, потому что онъ знаетъ, какова должна быть истинная критика: «Истинная критика должна изслѣдовать художественныя и поэти-

ческія произведенія, такъ сказать, изнутри, подходя къ нимъ съ идеалистическимъ мѣриломъ и разсматривая весь конкретный матеріалъ искусства только какъ форму болѣе или менѣе совершеннаго воплощенія высшихъ философскихъ началъ». Г. Волынский обѣщаетъ далѣе, что при такой критикѣ «изнутри» искусство «окрѣпнетъ» и «создастъ совершенные образцы новой красоты, болѣе прозрачной».

Вотъ, не угодно ли. Мы убѣждены, что не десятки, а сотни читателей будутъ ошеломлены самоувѣреннымъ тономъ г. Волынскаго, и не сообразятъ, что передъ ними совсѣмъ не новаторъ, а просто декадентъ. Недавно умершій Поль Верленъ очень хорошо опредѣлилъ сущность декадентства: «Они мнѣ надоѣли, всѣ эти цимбалисты! Когда въ самомъ дѣлѣ хотятъ произвести переворотъ въ искусствѣ, поступаютъ не такъ. Въ 1830 г. шли въ битву съ однимъ знаменемъ, на которомъ было написано «Эрнани!» А теперь всякій дѣзетъ съ своимъ знаменемъ, на которомъ написано «Реклама!» Это самое слово написано и на знамени нашего критика-декадента. Надо отдать справедливость г. Волынскому: изъ тысячи существующихъ способовъ рекламировать себя онъ избралъ самые вѣрные, самые испытанные. Первый изъ этихъ способовъ состоитъ въ томъ, чтобы безъ драки попасть въ большія забіяки. Въ каждой литературѣ есть своего рода «слоны», установившіеся авторитеты и репутаціи, нападая на которые можно чрезвычайно выгодно отбѣнить свою умственную самостоятельность. Когда-то еще разберутъ, что вамъ, въ сущности, совсѣмъ нечего сказать, что вся ваша мнимая полемика противъ этихъ авторитетовъ именно только лай съ безопаснаго разстоянія, а до тѣхъ поръ наивные люди будутъ говорить другъ другу: знать онъ силенъ! При этомъ можно похваливать самого себя,—не прямо, конечно, а косвенно, осторожно инсинуируя читателю высокое мнѣніе о своихъ достоинствахъ. «Видно по всему, что А. не былъ знакомъ со всѣми извилистыми



оттѣнками и неуловимо-нѣжными нюансами гениальнаго ученія Канта» (простите, читатель, что я такъ глупо-напыщенно выражаюсь,—я, вѣдь, подражаю)—эта фраза, конечно, значитъ не только то, что *А. не былъ знакомъ*, а также и то, что я-то, авторъ этой фразы, ужь, разумѣется, знакомъ и съ оттѣнками и съ нюансами. «Не подлежить сомнѣнью, что В. выступилъ на критическое поприще безъ глубокой теоретической подготовки, безъ возвышеннаго настроенія чуткихъ нервовъ, безъ вдохновеннаго подъема обнаженной души» (простите, читатель),—это значитъ, что у меня и подготовка глубока, и нервы чутки, и душа вдохновенно обнажена. Вотъ, стало быть, я какая жаръ-птица въ литературѣ! Второй способъ импонировать читателю, прекрасно усвоенный г. Волынскимъ, состоитъ въ томъ, чтобы при всякихъ обстоятельствахъ сохранять апломбъ и нахмуренно-значительный видъ, хотя бы рѣчь шла о выѣденномъ яйцѣ или о такомъ предметѣ, въ которомъ я ровно ничего не понимаю. Кто твердо стоитъ на собственныхъ ногахъ, тому не зачѣмъ подниматься на ходули; кто дѣйствительно талантливъ, тотъ спокойно можетъ оставаться самимъ собою, не ломаться и не позировать передъ читателемъ. Талантливый человѣкъ и пошутить, посмѣется, если предметъ разговора допускаетъ шутку, и безъ всякаго стѣсненія скажетъ «не знаю» или «не понимаю», когда предметъ выходитъ изъ предѣловъ его компетентности. Для претенціозной бездарности этого никакъ нельзя. Веселая шутка унизить ея достоинство, — вѣдь, оно такое маленькое, прямодушное «не знаю» пошатнетъ ея авторитетъ, — вѣдь, онъ и безъ того еле держится. Впрочемъ, все это сказано гораздо раньше и гораздо лучше насъ. Помните ли читатель старую повѣсть Льва Толстаго *Поликушка*? Придурковатый герой этой повѣсти сдѣлался съ голода коноваломъ и приобрѣлъ успѣхъ, сталъ авторитетомъ въ глазахъ мужиковъ, изъ которыхъ каждый въ десять разъ былъ умнѣе его. «Какъ онъ вдругъ сдѣлался

коноваломъ,—разсказываетъ Толстой,—это никому не было извѣстно и еще меньше ему самому. Приемы, которые онъ употреблялъ для внушенія довѣрія,—тѣ же самые, которые дѣйствовали на нашихъ отцовъ, на насъ и на нашихъ дѣтей будутъ дѣйствовать. Мужикъ, брюхомъ навалившись на голову своей единственной кобылы, составляющей не только его богатство, но почти часть его семейства, и съ вѣрой и ужасомъ глядящій на значительно-нахмуренное лицо Поликея и его тонкія, засученныя руки, которыми онъ нарочно жметъ именно то мѣсто, которое болитъ, и смѣло рѣжетъ живое тѣло съ затаенною мыслью: «куда кривая не вынесетъ!»—и, показывая видъ, что онъ знаетъ, гдѣ кровь, гдѣ матерія, гдѣ сухая, гдѣ мокрая жила, а въ зубахъ держать цѣлительную тряпку или склянку съ купоросомъ,—мужикъ этотъ не можетъ представить себѣ, чтобъ у Поликея поднялась рука рѣзать не зная. Самъ онъ никогда не могъ бы этого сдѣлать». Поликей убѣдилъ въ своихъ познаніяхъ даже свою жену, которая, зная его лучше всѣхъ, не уважала его нисколько и все-таки думала: «Вишь, дошлый! Откуда что берется!» Такихъ Поликеевъ сколько угодно во всякой человѣческой дѣятельности, между прочимъ и въ литературѣ. Въ нашей литературѣ Поликеямъ особенно привольно потому именно, что и русскіе читатели (какъ и русскіе писатели) простодушнѣе, чистосердечнѣе, нежели ихъ западные собратья. Какъ толстовскій мужикъ, нашъ читатель «не можетъ представить себѣ» шарлатанство систематическое и сознательное, не можетъ представить, чтобы можно было рѣшиться «рѣзать не зная». Читатель судить по себѣ, а «самъ онъ не могъ бы этого сдѣлать». Вотъ почему въ бессмыслицѣ онъ склоненъ видѣть глубокомысліе, нарочно закутанное въ аллегорію, въ юридичѣскихъ выкрикиваньяхъ—наитіе высшей силы. Вотъ и извольте при такихъ условіяхъ презрительно игнорировать декадентское и всякое другое шарлатанство!

Въ огромной (пятьдесятъ слишкомъ печатныхъ листовъ,—

обстоятельство, конечно, не случайное и характерное) книгъ г. Волынского самую существенную часть занимаютъ сокрушительныя ниспроверженія Бѣлинскаго, Добролюбова и Писарева. На этихъ трехъ послѣдовательныхъ ниспроверженіяхъ мы теперь и остановимся. Это именно ниспроверженія, а не опроверженія: аргументовъ въ нихъ нѣтъ или очень мало, но шумныхъ фразъ, задорныхъ словъ, крикливыхъ метафоръ—цѣлая коллекція. *Ote-toi de là, que je m'y mette* — вотъ плохо замаскированный смыслъ всей этой элоквенціи въ декадентскомъ вкусѣ.

## II.

«Имя Бѣлинскаго вызываетъ почти всеобщее поклоненіе»,—такъ начинаетъ г. Волынский. —Но мы,—продолжаетъ г. Волынский, — «не побоимся отмѣтить пробѣлы въ его общемъ міросозерцаніи и промахи въ его критическихъ сужденіяхъ». Какъ видите, павлинь съ перваго же шага раскидываетъ вѣеромъ свой хвостъ и съ горделивой осанкой проходитъ мимо насъ. Ахъ, неразумная, тщеславная птица! «Мы не побоимся»,—да чего же тутъ бояться? Вѣдь даже не критикъ, а всего только обстоятельный біографъ Бѣлинскаго, г. Пыпинъ, преспокойно, безъ всякихъ геройскихъ позъ, отмѣчалъ въ своемъ трудѣ и «пробѣлы» и «промахи» Бѣлинскаго. То же дѣлали и другіе писатели, и никто изъ нихъ своею смѣлостью не хвасталъ, не потому только, что хвастаться вообще неприлично, но и потому, что тутъ и нѣтъ никакой смѣлости. Кто же считалъ Бѣлинскаго непогрѣшимымъ? Но прежде, чѣмъ дойти до «промаховъ» Бѣлинскаго, смѣлый критикъ, тутъ же, въ приступѣ къ статьѣ, на первой ея страницѣ, совершаетъ съ своей стороны такой «промахъ», который свидѣтельствуетъ не о простой ошибкѣ, а о совершенной неспособности къ логическому мышленію. Въ критикѣ Бѣлинскаго,—заявляетъ г. Волынский,—«мы должны найти тотъ матеріалъ, изъ котораго создалась послѣдующая журнальная критика». Совершенно справедливо.

Эту самую мысль высказывали и Добролюбовъ, и Писаревъ, и другіе, родственные имъ по духу, критики, открыто признававшіе себя послѣдователями и продолжателями Бѣлинскаго. Ничего другого этотъ фактъ собою не показываетъ, какъ только то, что Бѣлинскій былъ у насъ основателемъ цѣлой критической школы, и притомъ такой, къ которой принадлежать «наиболѣе авторитетные и вліятельные русскіе критики», по собственному признанію г. Волынскаго. Представьте же, что всего черезъ десятокъ страницъ г. Волынскій пишетъ: «критика Бѣлинскаго не создала никакой школы и осталась безъ рѣшительнаго воздѣйствія на исторію нашего дальнѣйшаго эстетическаго развитія», а еще черезъ два десятка страницъ то же самое утверждается въ категорической формѣ: «не забудемъ, что критической школы у насъ все-таки нѣтъ». Итакъ, критика Бѣлинскаго доставила матеріаль, «изъ котораго сошлась послѣдующая журнальная критика», и та же критика «осталась безъ рѣшительнаго воздѣйствія на исторію нашего дальнѣйшаго эстетическаго развитія» и «не создала никакой школы». Учитель — налицо, ученики — налицо, ученіе — налицо, а школы «у насъ все-таки нѣтъ». *Не забудемъ*, что этотъ перлъ «идеалистическаго мышленія» мы нашли, едва приступивъ къ чтенію книги г. Волынскаго.

Тутъ же рядомъ мы находимъ другую критическую жемчужину, доказывающую одно изъ двухъ: или невѣжество г. Волынскаго или его недобросовѣстность. Характеризуя въ общихъ фразахъ литературу слѣдовавшаго за Бѣлинскимъ періода, г. Волынскій усматриваетъ въ ней, главнымъ образомъ, «журнальныя сатурналіи, которыя устраивались съ высшими либеральными цѣлями, съ негодованіемъ противъ всего, что не соприкасается съ матеріальными нуждами даннаго времени». Что же, — спросимъ мы, — идея свободы, идея личности, идея человѣческаго достоинства, идея просвѣщенія, идея равенства передъ зако-

номъ и т. д. — всѣ эти идеи находятся въ противорѣчій съ «высшими либеральными цѣлями»? Или, быть можетъ, эти идеи—совсѣмъ не идеи, а всего только «матеріальныя нужды даннаго времени»? Передъ литературою характеризуемаго періода стояла задача, заслонявшая собою всѣ другія,—задача, рѣшенная 19 февраля 1861 года. Какъ полагаетъ г. Волынской, вопросъ освобожденія былъ ли исключительно (или хотя бы только преимущественно) вопросомъ одного матеріальнаго благосостоянія? Никакъ онъ не полагаетъ, разумѣется, потому, что разсуждать—не по его части. Онъ огласилъ воздухъ «протестантской» фразой—съ него и достаточно. Такое же значеніе и такую же цѣль имѣютъ и прочія фразы вступленія, въ родъ того, напримѣръ, что у Бѣлинскаго «не было всеобъемлющей системы мысли», что у него «философскія убѣжденія разносились по теченію вѣтра», что онъ «не былъ мыслителемъ, философомъ, призваннымъ вырабатывать какія-нибудь новыя идеи, раскрывать новыя духовныя горизонты». Читатель обнаружилъ бы большую недогадливость, если бы не сообразилъ, у кого онъ долженъ искать «всеобъемлющую систему мысли» и «новыя идеи, новыя горизонты» и даже «новыя мозговыя линіи». Однако, вѣдь, мало сказать; надо бы постараться доказать. Къ удивленію, забывая свое торжественное обѣщаніе не разсказывать, а судить, г. Волынской спокойно переходитъ въ слѣдующей главѣ къ описанію «внѣшняго вида» Бѣлинскаго. Это описаніе можетъ доставить читателю нѣсколько веселыхъ минутъ. Мы узнаемъ изъ него, что у Бѣлинскаго была «выдающаяся лопатка», «тембръ нервическаго, хрипящаго голоса» и глаза, «сверкавшіе золотыми искорками въ глубинѣ зрачковъ». На улицѣ Бѣлинскій «производилъ впечатлѣніе травленнаго волка», зато дома «не робѣлъ» и ходилъ въ скюртугѣ «застегнутомъ на-криво». Затѣмъ начинается полемика съ Тургеневымъ, который, по мнѣнію г. Волынскаго, представилъ Бѣлинскаго «въ электрическомъ свѣтѣ великолѣп-

ныхъ фразъ» и изобразилъ его «съ поэтическимъ интригантствомъ». Съ *поэтическимъ интригантствомъ* — каково выраженье! Гончаровъ характеризовалъ Бѣлинскаго тоже неудовлетворительно, хотя и безъ интригантства, зато характеристика, сдѣланная Достоевскимъ, великолѣпна. Еще бы! Достоевскій и Бѣлинскій «стояли рядомъ, глядѣли другъ другу въ глаза» и говорили: Бѣлинскій—«съ взвизгивающей хрипотою въ голосъ», а Достоевскій—«съ гнѣвнымъ испугомъ въ глазахъ». Послѣ этого какъ же имъ было не понять другъ друга? Не надо думать, что «гнѣвный испугъ» Достоевскаго былъ вызванъ «взвизгивающей хрипотою» Бѣлинскаго,—совсѣмъ нѣтъ: несмотря на свой испугъ, Достоевскій относился независимо къ Бѣлинскому, не имѣвшему никакого вліянія на его произведенія,—на «эти раскаленные, безформенныя глыбы высшей психологической правды». Эти глыбы, какъ и всю картину, недовѣрчивый читатель найдетъ на 20 страницъ *Очерковъ* г. Волинскаго. А еще черезъ страницу читатель найдетъ другую, еще болѣе удивительную картину, изображающую, какъ Бѣлинскій, умирая, «лежа въ жару, безъ силъ и безъ памяти», «вдругъ разразился патетическою рѣчью къ русскому народу». Откуда почерпнулъ г. Волинскій извѣстіе о такомъ чудѣ? А какъ же: «Панаевъ рассказываетъ, что за четверть часа до смерти Бѣлинскій вдругъ вскочилъ съ постели, сдѣлавъ нѣсколько шаговъ, проговорилъ невнятно, но съ энергіею какія-то слова и началъ падать». Вотъ откуда! *Какія-то слова*, произнесенныя *невнятно*, г. Волинскій на глазахъ читателя превращаетъ въ *патетическую рѣчь къ русскому народу*—и ничего, нисколько не конфузится. Онъ рассказываетъ, какъ судить, и судить, какъ рассказываетъ—съ передержками.

Вторая половина первой статьи о Бѣлинскомъ (ниспроверженіе состоитъ изъ трехъ статей) заключаетъ въ себѣ изложеніе кое-какихъ критическихъ отзывовъ о дѣятельности знаменитаго критика. Давать намъ здѣсь, по харак-

теру нашей теперешней задачи, совсѣмъ нечего, за исключеніемъ, впрочемъ, одного пункта. Можете ли вы представить себѣ г. Волынского въ роли защитника Бѣлинскаго? Трудно, конечно; но г. Волынский въ самомъ дѣлѣ беретъ на себя эту роль, и сколько же благороднѣйшаго пыла и негодованія онъ обнаруживаетъ при этомъ случаѣ! Какъ настоящій философъ, г. Волынский ставитъ вопросъ широко и частному инциденту даетъ значеніе показателя «нашихъ литературныхъ нравовъ», презираемыхъ имъ со всею страстью безукоризненно нравственного писателя. Ну, какіе же наши нравы, г. Волынский? А вотъ видите ли: въ *Съверной Пчелѣ* почти сорокъ лѣтъ тому назадъ былъ напечатанъ о Бѣлинскомъ пасквильный фельетонъ Ксенофонта Полевого—вотъ и все, весь поводъ къ изобличенію нашихъ нравовъ. Хорошо ужъ и это, но г. Волынский, по обыкновенію, не могъ воздержаться, чтобъ еще больше не напутать: изъ его же собственныхъ показаній слѣдуетъ, что нравы, на которые онъ ополчается, были даже очень недурны. «Фельетоны Полевого,—говоритъ г. Волынский,—вызвали шумный протестъ въ литературныхъ кружкахъ, и надо сказать правду—по заслугамъ». Чего же вамъ еще нужно, г. Волынский? Но самое лучшее впереди. Просимъ читателя оцѣнить слѣдующую тираду: «Изданіе сочиненій Бѣлинскаго не имѣетъ никакого литературнаго значенія. Онъ почти исключительно писалъ критическія статьи, рѣзко, дерзко, безпрестанно увлекаясь своими страстями и разными личными отношеніями. Несчастный можетъ быть и не подозревалъ этого, бѣсновался, увлекался и умеръ жалкимъ образомъ, не принеся никакой пользы нашей литературѣ, но извративши понятія многихъ юношей, возраставшихъ во время его широкошумной дѣятельности». Что же особеннаго въ этой, именно въ этой тирадѣ г. Волынскаго?—съ удивленіемъ спроситъ читатель. Среди его безчисленныхъ утвержденій, что «Бѣлинскій вышелъ на арену журналистики безъ научной и философской подготовки, даже

безъ надлежащаго знакомства съ европейскою литературой», что онъ «путался въ наивныхъ теоретическихъ разсужденіяхъ, громоздя риторическія фразы», что ему «систематическое мышленіе не давалось», что онъ «не умѣлъ примѣнять трудныхъ философскихъ теоремъ къ вопросамъ жизни», что онъ попросту «не вѣдалъ, что творилъ» и т. д., и т. д.,—среди океана такихъ утвержденій приведенная тирада представляется чѣмъ-то совершенно незначительнымъ. Правда, читатель. Но дѣло въ томъ, что приведенная тирада принадлежитъ не г. Волынскому, а Полевому, и г. Волынскій именно по ея поводу изливаетъ свой благородный гнѣвъ, называетъ эту тираду «совершенно невѣроятной выходкой», «общими, совершенно негѣпными и поворными словами». *Ты глаголеши!*—можемъ сказать мы г. Волынскому. Фельетонъ Полевого,—говоритъ г. Волынскій,—«классическій образчикъ газетной наглости»,—такъ; но не зналъ ли г. Волынскій примѣра, тоже достойнаго быть классическимъ, журнальной наглости? «Полевой,—продолжаетъ г. Волынскій,—одинъ изъ первыхъ въ длинномъ ряду газетныхъ шарлатановъ, не церемонящихся никакими соображеніями умственной и нравственной благопристойности»,—правда; но на кого надо указать, какъ на одного изъ самыхъ послѣднихъ журнальных шарлатановъ этого рода?.. И необходимо замѣтить еще вотъ что: на сторонѣ Полевого были смягчающія обстоятельства, которыхъ нѣтъ у г. Волынскаго. Во-первыхъ, у Ксенофонта Полевого ни за себя, ни за брата (Николая Полевого, извѣстнаго критика) не прошла еще въ то время боль отъ ударовъ, которые наносилъ имъ Бѣлинскій, какъ полемистъ и какъ рецензентъ, такъ что личное раздражительное чувство Ксенофонта Полевого было вполне естественно; во-вторыхъ, огромное значеніе Бѣлинскаго, извѣстное теперь каждому толковому гимназисту, прежде было ясно только для такихъ людей, какъ Чернышевскій и Добролюбовъ. Ни одного изъ этихъ смягчающихъ обстоятельствъ на сто-



ронъ г. Волынского нѣтъ, и стало быть... Заключение такъ ясно, что его на этотъ разъ сумѣетъ правильно сдѣлать даже г. Волынский.

Съ первую частью сокрушительнаго «ниспроверженія» Бѣлинскаго мы покончили. Какъ видите, не такъ страшенъ чортъ, какъ его малюютъ, и грозное «мы не побоимся» г. Волынского оказалось не столько грозно, сколько забавно. Что-то ждетъ бѣднаго Бѣлинскаго во второй части? Но вторая статья г. Волынского начинается слѣдующимъ неожиданнымъ заявленіемъ: «подробному и всестороннему изученію Бѣлинскаго должно предшествовать знакомство со Станкевичемъ». Вотъ это сюрпризъ! Почему *должно предшествовать*? Потому что Станкевичъ имѣлъ «огромное влияніе» на Бѣлинскаго. Но на Бѣлинскаго имѣли не меньшее влияніе и Боткинъ, и Бакунинъ, и Герценъ, и Грановскій: неужели характеристикъ Бѣлинскаго должны предшествовать характеристики всѣхъ этихъ людей? Въ видахъ увеличенія объема статьи или книги такой приемъ удобенъ, но это совсѣмъ не критическій приемъ. О Станкевичѣ мы узнаемъ отъ г. Волынского, напр., вотъ что: «красивый, изящный, необычайно деликатный, съ прекрасными черными волосами, съ ясными карими глазами, онъ былъ точно воплощенная мечта юности». Все это намъ необходимо было узнать «для всесторонняго изученія Бѣлинскаго». Кто не знаетъ, что у Станкевича глаза были каріе, а волосы черные, тотъ никогда не пойметъ Бѣлинскаго. А вотъ вамъ свѣдѣніе о духовной личности Станкевича: «все его душевное развитіе шло самыми свѣтлыми, воздушными тропами». Если вамъ этого мало то вотъ еще драгоценное сообщеніе: «безплотнымъ призракомъ въ лучахъ разсвѣта встаетъ онъ на фонѣ свѣтлѣющей русской жизни, съ ласковымъ взоромъ, съ привѣтливой улыбкой, которая нѣжно змѣилась около тонкихъ, правильно очерченныхъ губъ его». Если вамъ все еще не тошно, то можно привести еще и еще—сколько угодно—точно такихъ же образовъ. За *этимъ*

у г. Волинскаго дѣло не станетъ. Къ чему же все это пусто-  
порожнее краснорѣчіе? Но къ тому, во-первыхъ, что г. Во-  
лынскій иначе писать не умѣетъ. Если бы изъ его толстой  
книги исключить всѣ метафоры, параболы и гиперболы,  
то она превратилась бы въ тощую брошюру нисколько не  
импонирующей наружности. Во-вторыхъ,—вотъ это пунктъ,  
не лишенный нѣкоторой серьезности. Безплотный призракъ  
Станкевича съ его нѣжно змѣящейся улыбкой понадобился  
г. Волинскому въ качествѣ союзника противъ Бѣлинскаго.  
Дѣло въ томъ, что Бѣлинскій, равно какъ и его настав-  
никъ въ гегеліанствѣ—Бакунинъ,—не понимали Гегеля, по  
мнѣнію г. Волинскаго, а вотъ Станкевичъ—тотъ пони-  
малъ. Предметомъ разногласія является извѣстное поло-  
женіе Гегеля насчетъ разумности дѣйствительности и дѣй-  
ствительности разума. Старая и до смерти надоѣвшая это  
исторія, но г. Волынскій съ такимъ трескомъ провозгла-  
шаетъ единоспасительную силу гегелевской системы, что  
невольно останавливаетъ на себѣ вниманіе. «Это,—воскли-  
цаетъ г. Волынскій,—дѣйствительно грандіозная система.  
Это—послѣднее слово идеализма, развернутаго въ одно  
стройное, организованное ученіе». Стоило послѣ этого ого-  
родъ городить, крикомъ кричать о появленіи какихъ-то  
новыхъ мозговыхъ линій, когда достаточно было сдѣлать  
простую архивную справку и, смахнувши пыль съ «по-  
слѣдняго слова идеализма», представить его намъ въ нази-  
даніе. Но въ томъ-то и дѣло,—говоритъ г. Волынскій,—  
что Гегеля у насъ невѣрно понимали. Бѣлинскій и Баку-  
нинъ, на основаніи теоремы Гегеля, оправдывали *всякую*  
дѣйствительность, тогда какъ оправданію подлежитъ только  
*разумная* дѣйствительность. «Все разумное дѣйствительно  
и все дѣйствительное разумно, ибо то, что не разумно, не  
слѣдуетъ называть дѣйствительнымъ, какъ не называютъ  
плохого поэта дѣйствительнымъ поэтомъ, какъ не назы-  
ваютъ дѣйствительнымъ государственнымъ человѣкомъ  
того, кто не можетъ создать ничего дѣльнаго и разумнаго».

Такъ защищаетъ г. Волынский Гегеля. Понимаетъ ли г. Волынский то, что онъ говоритъ? Понимаетъ ли онъ, что лазейка, которую онъ открываетъ гегелизму для избѣжанія упрека въ квіетизмъ, уничтожаетъ его и теоретическое и практическое значеніе? Положимъ, передъ нами какое-нибудь явленіе жизни, хотя бы, наприм., самъ г. Волынский и его книга. По извѣстнымъ, такимъ-то и такимъ-то, основаніямъ я нахожу, что г. Волынский критикъ не разумный и, слѣдовательно (по Гегелю), не дѣйствительный, а вотъ, наприм., г-жа Гуревичъ, которой статьи г. Волынскаго (см. предисловіе) «обязаны появленіемъ на страницахъ журнала», находитъ безъ сомнѣнія, что ея протеже—критикъ въ высшей степени разумный и стало быть въ высшей степени дѣйствительный. И я, и г-жа Гуревичъ можемъ въ равной степени тяготѣть къ ученію Гегеля, но сужденія наши о дѣйствительности г. Волынскаго будутъ все-таки діаметрально противоположны. Понимаете, что это значитъ? Это значитъ, что съ вашей лазейкой, приготовленной для Гегеля, рѣшительно все остается по старому, на своихъ прежнихъ мѣстахъ, такъ, какъ бы гегелианство и не существовало вовсе. Если критеріемъ дѣйствительности поставляется разумность, то въ чемъ же заключается критерій для самой этой разумности? Мы вотъ съ г-жей Гуревичъ совершенно согласны въ томъ, что дѣйствительно только разумное, но мы рѣзко расходимся въ оцѣнкѣ степени вашей разумности, а, слѣдовательно, и вашей дѣйствительности. «Не разуменъ—значитъ не дѣйствителенъ», говорю я; «разуменъ—значитъ дѣйствителенъ», говоритъ г-жа Гуревичъ, и съ точки зрѣнія гегелианства мы оба правы; несомнѣнно между тѣмъ, что кто-нибудь изъ насъ только одинъ правъ, и кто же именно? Въ рѣшеніи *этого*, самаго существеннаго, вопроса Гегель совершенно не причемъ. Разумность не судья, а подсудимый.

Безплоднѣе и неутѣшительнѣе этого діалектическаго выверта метафизической мысли трудно себѣ и представить

что-нибудь. Меня, наприм., засадилъ въ тюрьму Меттернихъ или наказалъ шпицрутенами Араччеевъ (нарочно беру современниковъ Гегеля), я и обращаюсь къ прославленному философу за поддержкой. Егоръ Ѳеодоровичъ (какъ шутливо называли Гегеля въ интимной бесѣдѣ Бѣлинскій и его друзья), какъ мнѣ быть? Во имя чего я долженъ страдать и терпѣть? И кто же изъ насъ правъ: я ли, маленький человѣкъ, или мои высокопревосходительные истязатели? «Другъ мой,—отвѣтитъ мудрый Егоръ Ѳеодоровичъ,—съ тобой поступили неразумно, а значить и недѣйствительно. Въ неразумности и въ связанной съ нею недѣйствительности твоихъ страданій ты и долженъ обрѣсти свое высшее утѣшеніе». Да вы, почтеннѣйшій, только взгляните на мою исполосованную спину: какой еще вамъ дѣйствительности надо? «Разумной, разумной! Исполосованная спина есть явленіе неразумное, и стало быть, стоящее внѣ предѣловъ той дѣйствительности, которую я единственно признаю за дѣйствительность. Внѣ разума и мысли — все сонъ и мечта. Твоя спина—тоже мечта, да и самъ ты, по своей глупости, тоже не болѣе, какъ мечта и фикція». Дальнѣйшій разговоръ между мною и Егоромъ Ѳеодоровичемъ, конечно, можетъ быть изображенъ только много-многою...

Однако,—спросить читатель,—что же все-таки Станкевичъ? За чѣмъ - нибудь да понадобился же онъ г. Вольнскому, и каковы же его воззрѣнія на систему Гегеля? А именно таковы, какими я изобразилъ только что ихъ въ разговорѣ съ философомъ. «Дѣйствительность, въ смыслѣ непосредственности, внѣшняго бытія, есть случайность, а дѣйствительность, въ ея истинѣ, есть разумъ, духъ» — вотъ подлинныя слова Станкевича, радостно цитируемыя г. Вольнскимъ. Мы спрашиваемъ, велико ли различіе между такимъ пониманіемъ гегелевскаго афоризма и пониманіемъ Бѣлинскаго и Бакунина? Станкевичъ скажетъ, глядя на мою истерзанную спину: «это случайность, это явленіе

внѣшняго бытія» и спокойно удалится затѣмъ въ область созерцанія абсолютнаго духа, тогда какъ Бѣлинскій и Бакунинъ воскликнуть: «такъ тебѣ, значить, и надо! Твоя коллізія съ шпигрутенемъ есть не болѣе, какъ одно изъ безчисленныхъ проявленій вѣчно творящей и вѣчно развивающейся идеи! *Гордись, гордись, человекъ, своимъ высокимъ призваніемъ*» (см. *Литературныя мечтанія*) и пр., и пр. Который изъ этихъ двухъ отвѣтовъ возмутительнѣе? Возмутительны они въ равной мѣрѣ, но противнѣе, конечно, первый: сердобольный квіетистъ унижаетъ мое человѣческое достоинство, исключая меня съ моею бѣдой изъ міра истинной дѣйствительности, тогда какъ энтузіасты видятъ въ моихъ страданіяхъ необходимый элементъ міровой гармоніи, а стало быть, видятъ и во мнѣ все-таки личность, а не фикцію. Они зафилософовались до чортиковъ, это несомнѣнно, но они относятся ко мнѣ по-человѣчески, какъ къ равному себѣ, тогда какъ квіетистъ, отправляясь въ свой храмъ, указываетъ мнѣ мѣсто на паперти. И съ какимъ отраднымъ чувствомъ вспоминается то прекрасное негодованіе, съ которымъ Бѣлинскій относился къ своимъ «гнусностямъ», т.-е. къ своимъ статьямъ, написаннымъ подъ вліяніемъ системы Гегеля! Да, а теперь вотъ, когда скоро минетъ полстолѣтіе со времени смерти нашего незабвеннаго учителя, эти самыя «гнусности» вновь всплываютъ на поверхность и рекомендуются намъ въ качествѣ «новаго слова»! *Tempora mutantur...*

Вотъ, мы раздѣлялись и со второй статьёй г. Волынскаго о Бѣлинскомъ. Да, читатель, раздѣлялись, потому что отъ Станкевича г. Волынскій переходитъ къ Надеждину, который тоже «имѣлъ вліяніе» на Бѣлинскаго, но до котораго намъ нѣтъ, собственно говоря, ни малѣйшаго дѣла. Бѣлинскій, такимъ образомъ, опять остался невредимъ и даже безъ царапинки — вотъ, можно сказать, везетъ человѣку! Однако, насъ ждетъ третья статья, въ заголовкѣ которой стоитъ: *Сочиненія В. Бѣлинскаго: I—XII. Наконецъ-то!*

Г. Волынский до того истомилъ насъ своими preliminariями, что мы даже рады надвинувшейся тутъ: «бура бы грянула, что ли, чайна съ краями полна!» И бура грянула... Сначала, впрочемъ, не очень страшно, потому что идетъ обычное лагонькое хвастовство: «прогрессивная сила идеализма—въ отчетливомъ пониманіи той борьбы, которая» и пр., «прогрессивный по самой природѣ, идеализмъ только въ неопытныхъ рукахъ можетъ обратиться въ орудіе регрессивнаго вліянія» и т. д. Конечно, *неопытныя руки* — это руки Бѣлинскаго, но что же значить такой булавочный уколъ, когда мы ожидаемъ громовыхъ стрѣлъ? Не вотъ глаза наши падаютъ на фразу: «въ этихъ разсужденіяхъ коренится основная ошибка Бѣлинскаго». Основная ошибка! Вотъ это самое намъ и надо! Въ какихъ разсужденіяхъ? Въ разсужденіяхъ, — говоритъ г. Волынский, — объ относительности эстетическихъ понятій и вкусовъ — смотри такую-то статью Бѣлинскаго, такую-то страницу \*). Спѣшимъ отыскать, находимъ и читаемъ:

«У насъ еще такъ зыбки понятія объ изящномъ и вкусъ еще въ такомъ младенествѣ, что наша критика по необходимости должна отступать въ своихъ пріемахъ отъ европейской. Хотя нѣкоторые досужіе наши эстетики и говорятъ, что будто бы законы изящнаго опредѣлены у насъ съ математическою точностью, но я думаю иначе, ибо, съ одной стороны, собственныя надѣія этихъ эстетиковъ, слишкомъ отличающіяся топорною работою, рѣдко противорѣчатъ законамъ изящнаго, опредѣленнымъ съ математическою точностью, а съ другой стороны, законы изящнаго никогда не могутъ отличаться математическою точ-

---

\*) Отмѣтимъ здѣсь метатъ обычный у г. Волынскаго пріемъ цитировать писателей не ихъ подлинными, а своими словами. Такой пріемъ удобенъ для приданія своему изложенію вида самостоятельности и большей плавности, но онъ невѣжливъ по отношенію къ цитируемымъ писателямъ и неприличенъ по отношенію къ читателю, желающему судить по документамъ, а не по пересказамъ.

ностью, потому что они основываются на чувствах, и у кого нѣтъ пріемлемости изящнаго, для того всегда кажутся незаконными. Нѣтъ, пусть каждый толкуетъ по-своему объ условіяхъ творчества и подкрѣпляетъ ихъ фактами, это самый лучший способъ развивать теорію изящнаго».

Вотъ вамъ, читатель, своего рода «загадочная картинка»: гдѣ основная ошибка? Найдите намъ въ этихъ немногихъ строкахъ «основную ошибку» Бѣлинскаго! Не въ томъ ли она, что Бѣлинскій отрицаетъ математическую точность законовъ изящнаго? Приходится освѣдомиться объ «основной ошибкѣ» у г. Волинскаго. Вотъ онъ величественно опровергаетъ ее:

«На чувствахъ не можетъ и не должна основываться никакая критика. Сужденія о литературѣ, какъ работа логическая, должны опираться на опредѣленные понятія и, будучи выводимы изъ твердыхъ теоретическихъ положеній, стремятся и могутъ стремиться только къ тому, чтобы дать полное духовное удовлетвореніе нашимъ высшимъ эстетическимъ и философскимъ потребностямъ. Факты должно объяснять мыслью, а не мысли фактами. Поэзія есть выраженіе творящаго духа и, какъ фактъ, какъ явленіе человѣческой жизни, должна быть объяснена мыслью, а не чувствами и не другими фактами...»

Итакъ, значить, мы угадали вѣрно: основная ошибка Бѣлинскаго состоитъ въ томъ, что онъ не признавалъ математической точности въ законахъ изящнаго и придавалъ эстетическому чувству («пріемлемости изящнаго») большое значеніе. Что же, если это ошибка, да еще основная, Бѣлинскаго, то, конечно, г. Волинскій напрягъ всѣ силы для ея опроверженія? Но вы видѣли,—я выписалъ *опроверженіе* цѣликомъ: оно занимаетъ не больше строкъ, сколько посвящено чернымъ волосамъ и смѣющейся улыбкѣ Станкевича. Послѣ этого десятка строкъ, имѣющихъ, по крайней мѣрѣ, хоть тѣнь аргументаціи, мы опять попадаемъ въ неудобно проходимое болото общихъ фразъ: «мысли Бѣ-

линскаго постоянно расходятся въ противоположныя стороны», «не будучи новаторомъ по дарованію, Бѣлинскій» и пр., и пр. Очувтившись въ этой родной своей сферѣ, г. Во-  
лынскій окончательно забываетъ объ «основной ошибкѣ», полагая, конечно, что она побѣдоносно уничтожена его десятию строками. Напрасно. «На чувствѣ не можетъ и не должна основываться никакая критика»: это—не аргументъ, а, прежде всего, передержка. Бѣлинскій говорилъ не о критикѣ, а о законахъ изящнаго, что совсѣмъ не одно и то же. Идеиное значеніе изящнаго произведенія должно быть истолковано, разумѣется, посредствомъ мысли, но самое изящество этого произведенія можетъ быть воспринято только эстетическимъ чувствомъ. Никакія толкованія не дадутъ глухому почувствовать прелесть музыки, слѣпому— прелесть живописи. «Сужденія о литературѣ, выводимыя изъ твердыхъ теоретическихъ положеній», и пр. Какія это въ эстетикѣ «твердыя теоретическія положенія»? Не самъ ли г. Волынскій пророчествуетъ въ предисловіи къ своей книгѣ, что будущее искусство «создастъ совершенные образцы новой красоты, болѣе прозрачной»? Если, такимъ образомъ, подлежитъ спору самое понятіе, самый *идеалъ* красоты, что же можетъ быть безспорно въ *ученіи* о красотѣ? Если возможна *новая* красота, то возможны и новые законы изящнаго, а стало быть «твердыя теоретическія положенія», провозглашенныя г. Волынскимъ, уничтожаются его же собственными усиліями. Наконецъ, заключительный аргументъ г. Волинскаго: «факты должно объяснять мыслью, а не мысли фактами». Это до того глубоко, что я отказываюсь понимать. Смѣло утверждаю, что и читатель ничего тутъ не разберетъ. Мысль не объясненная, не провѣренная фактами—не болѣе какъ фантазія; факты не освѣщенные, не одухотворенные мыслью — не болѣе какъ сырой матеріалъ,—кто жъ этого не знаетъ? Итти отъ изученія частныхъ фактовъ къ познанію общихъ законовъ (какъ рекомендовалъ въ инкриминируемомъ отрывкѣ Бѣлинскій



въ области изящнаго)—это одинъ, вполне разумный путь мысли; обратный путь—отъ общей мысли къ объясненію частныхъ фактовъ—нисколько не менѣе разуменъ. Исторія науки представляетъ многочисленныя и великолѣпныя доказательства плодотворности обоихъ этихъ методовъ, и не знать этого даже г. Волынскому непростительно. Правда, метафизика всегда старалась сама себя поднять за поясъ, т.-е. довольствовалась открытіями, сдѣланными въ таинственныхъ глубинахъ самосознующаго духа, но зато, вѣдь, метафизика (которую, въ скобкахъ сказать, г. Волынский, подтасовывая термины, всегда величаетъ идеализмомъ) и осталась не у дѣль.

Съ «основной ошибкой» за плечами Бѣлинскій, разумеется, не могъ быть основателемъ «истинной» критики. На свойства «истинной» критики г. Волынский, какъ мы уже видѣли, намекнулъ въ предисловіи, а теперь онъ подходитъ къ этому вопросу вплотную. Конечно, мы съ читателямъ радостно потираемъ руки: то-то поучимся, просвѣтимся, послушаемъ «новыхъ словъ»! Къ сожалѣнію, новыя слова оказываются не очень новыми. Шестьдесятъ лѣтъ назадъ—да, да, *шестьдесятъ лѣтъ назадъ*—въ *Московскомъ Наблюдателѣ* былъ помѣщенъ переводъ (Каткова, если не ошибаюсь) статьи нѣмца Ретшера *О философской критикѣ художественнаго произведенія*, ну, вотъ эта статья и заключаетъ въ себѣ «новое слово», многократно обѣщанное намъ г. Волынскимъ. «Разсужденія Ретшера,—говоритъ г. Волынский,—держатся на высотѣ строгихъ идеалистическихъ (т.-е. метафизическихъ, поправимъ мы) понятій и остаются вѣрными эстетическимъ воззрѣніямъ Гегеля какъ по философскому направленію, такъ и по тому духу прогресса, который проникаетъ ихъ насквозь. Руководящій взглядъ Ретшера на художественное творчество никогда не будетъ опровергнутъ». Здѣсь справедливо въ особенности последнее утвержденіе: никогда не будетъ опровергнутъ. Дѣйствительно, взглядъ Ретшера не будетъ

опровергнуть, потому что по самой своей сущности не допускает опровержения и въ то же время не вызываетъ его, такъ какъ стоитъ совершенно въ сторонѣ отъ всѣхъ большихъ дорогъ исторіи и жизни. Бѣлинскій, сдѣлавшій обстоятельное изложеніе идей Ретшера, вотъ какъ характеризуетъ его критику: «Это критика абсолютная и ея задача—найти въ частномъ и конечномъ проявленіе общаго, абсолютнаго. Ея суду могутъ подлежать только произведенія вполне художественныя, т.-е. такія, въ которыхъ все необходимо, все конкретно и въ части органически выражаютъ единое цѣлое, т.-е. конкретную идею». Выражаясь менѣе почтительно, мы скажемъ, что это,—однимъ словомъ,—критика небывалая. И нельзя ей быть, если для своего проявленія она требуетъ непременно совершенныхъ созданій искусства. Теоретикъ-эстетикъ Ретшеръ живѣйшимъ образомъ напомнилъ намъ теоретика-стратега, генерала Пфуля, такъ хорошо изображеннаго въ романѣ *Война и миръ*. Пфуль былъ одинъ изъ безнадежно, неизмѣнно, до мученичества самоувѣренныхъ людей. У него была наука — теорія общическаго движенія, выведенная имъ изъ исторіи войнъ Фридриха Великаго, и все, что встрѣчалось ему въ новѣйшей военной исторіи, казалось ему бессмыслицею, варварствомъ, безобразнымъ столпновеніемъ, въ которомъ съ обѣихъ сторонъ было сдѣлано столько ошибокъ, что войны эти не могли быть названы войнами: онѣ не подходили подъ теорію и не могли служить предметомъ науки. Пфуль былъ одинъ изъ тѣхъ теоретиковъ, которые такъ любятъ свою теорію, что забываютъ цѣль теоріи—приложеніе ея къ практикѣ; онѣ изъ любви къ теоріи ненавидѣлъ всякую практику и знанье ея не хотѣлъ. Къ тому же типу теоретиковъ принадлежалъ, очевидно, и Ретшеръ. Съ своей критическою теоріей онъ остался внѣ литературы, какъ остался и Пфуль внѣ военнаго искусства съ своей теоріей общическаго движенія. Теоретики этого рода именно «объясняли фак-

ты мыслью», и если факты (т.-е. у Пфуля — войны, у Ретшера — художественныя произведенія) не согласовались съ ихъ теоріей, то они выбрасывали за бортъ не теорію, а факты, а вмѣстѣ съ фактами, конечно, и самихъ себя: стратегія безъ войны, эстетика безъ искусства, — вотъ что оставалось въ рукахъ этихъ неудачниковъ. Ничего этого, разумѣется, не сообразивъ, г. Волинскій вооружается теоріей Ретшера и подступаетъ съ ней къ критикѣ Бѣлинскаго, въ которой, какъ и слѣдовало ожидать, все оказывается или ложнымъ или бессмысленнымъ, совершенно такъ же, какъ съ точки зрѣнія Пфуля всѣ дѣйствія Кутузова оказались бы сплошными ошибками. Пусть Кутузовъ выгналъ непріятеля — дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что его облическія движенія были неудовлетворительны, и стало быть, какой же онъ полководецъ? Конечно, это только забавно, но соотвѣтственныя разсужденія г. Волинскаго не столько забавны, сколько возмутительны, потому что касаются не облическихъ движеній, а кое-чего несравненно болѣе важнаго.

Простите, читатель, не могу я говорить о г. Волинскомъ въ томъ серьезномъ и даже приподнятомъ тонѣ, въ какомъ я повелъ было рѣчь. Обстановка серьезна и даже священна, но стоящая передо мной крошечная фигурка хлестаковствующаго декадента до того уморительна, до того комично-нелѣпа, что не хватаетъ силъ воздержаться отъ смѣха. Отъ закипавшаго было во мнѣ негодованія не осталось и слѣда, а если читатель еще продолжаетъ возмущаться, то я скажу ему, какъ Маломальскій Островскаго: «Брось! оставь втунѣ! пренебреги!» Итакъ, г. Волинскій, пожалуйста, — честь и мѣсто!

«Чтобы сдѣлаться первымъ русскимъ критикомъ и указать дорогу и русскому творчеству и русскому сужденію о созданіяхъ національнаго таланта, надо было раскрыть внутреннія основы народной жизни и показать, въ какой мѣрѣ и съ какою силой онѣ отразились въ лучшихъ про-

изведеніяхъ литературы». Вотъ то-то и есть, Виссаріонъ Григорьевичъ! Чѣмъ тратить время и силы на писанье полемическихъ статей противъ Булгарина, Брамбеуса, Шевырева, лучше бы вамъ заняться раскрытіемъ основъ народной жизни. Были бы вы первымъ русскимъ критикомъ тогда, а теперь первымъ русскимъ критикомъ будетъ г. Волинскій, которому очень даже легко удалось раскрыть основы народной психологіи. «Что-о?—возражаетъ намъ кто-то, упорствуя, волнуясь и спѣша.—Я долженъ былъ раскрывать психологію задавленнаго крѣпостнымъ гнетомъ народа? Да, вѣдь, такое требованіе можетъ прійти только въ филистерскую голову какого-нибудь метафизика-книгоѣда! *Пишмеи—вотъ эти гегелята! Не было человека пишущаго, который бы такъ глубоко оскорбилъ меня своею пошлостью, какъ этотъ нѣмецкій Шевыревъ... Ретишеръ въ отношеніи къ Гегелю есть тотъ человекъ въ «Разъѣздѣ», Гоголя, который, подписывая у другого словечко «общественныя раны», повторяетъ его, не понимая его значенія»* (курсивъ—изъ переписки Бѣлинскаго). Можетъ быть, оно и такъ, скромно возражаемъ мы, однако, вотъ, не вамъ, а одному изъ новѣйшихъ нашихъ гегелятъ удалось раскрыть основы русской національной психіи. Былъ передъ вами превосходный матеріалъ—произведенія Пушкина, о которыхъ вы написали цѣлый томъ, но путнаго ничего не сказали. Вы взглянули на Пушкина «съ узкой и ложной точки зрѣнія»,—вотъ приговоръ надъ вами потомства въ лицѣ г. Волинскаго! Послушайте-ка дальше: «Восторгаться поэтическими описаніями Пушкина, на тысячу ладовъ изображать красоту его стиха, изливаться лирическими тирадами по поводу отдѣльных художественныхъ эпитетовъ — не значить, оцѣнивать такого писателя, какъ Пушкинъ. Въ Пушкинѣ надо было открыть основныя качества русской народности: духъ силы и молодого удалства, широкій размахъ души, не знающей мѣры ни въ горѣ, ни въ радости, съ одной стороны; тихую

грусть и тоску глубоко спрятанного религіознаго чувства, какъ выраженіе высшихъ духовныхъ стремленій, съ другой стороны, и затѣмъ только показать, какъ эти качества національнаго темперамента, какъ этотъ широкій и всеобъемлющій пафосъ воплотились въ его художественныхъ произведеніяхъ».

По малой вѣроятности этихъ строкъ надо указать страницу, на который онѣ въ книгѣ г. Волынского напечатаны: 115-я.

Такъ вотъ какъ, «Россеюшка, старая бабусенька!» (по выраженію Достоевскаго). Вторую тысячу лѣтъ живешь ты, бабусенька, на свѣтѣ, чего-чего не перевидала, чего-чего ни переиспытала—и вотъ, оказывается, твоя душа преудобно укладывается на ладони перваго попавшагося пигмейчика. Какая маленькая, какая коротенькая душа! Нѣсколькихъ стишковъ, взятыхъ съ конфетныхъ билетиковъ и переложенныхъ въ скверную прозу, оказывается предостаточно, чтобъ опредѣлить твою внутреннюю жизнь и «съ одной стороны» и «съ другой стороны». Боже мой, какіе мы, коренные русскіе люди, простофили, какъ подумаешь! Ужъ намъ ли бы, казалось, не знать свою собственную «бабусеньку», но не найдется между нами дерзкаго, который бы сказалъ: я знаю. Что мы знаемъ? Мы только вотъ какъ спрашиваемъ: «Какая же непостижимая, тайная сила влечетъ къ тебѣ? Почему слышится и раздается немолчно въ ушахъ твоя тоскливая, несущаяся по всей длинѣ и ширинѣ твоей, отъ моря до моря, пѣсня? Что въ ней, въ этой пѣснѣ? Что зоветъ, и рыдаетъ, и хватается за сердце? Какіе звуки болѣзненно лобзаютъ и стремятся въ душу и выются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связывается между нами? Что глядишь ты такъ? Что пророчить сей необъятный просторъ? Русь, куда жъ несешься ты?—дай отвѣтъ. Не даетъ отвѣта!»

Отнынѣ всѣ эти вопросы упраздняются. «Раздолье безъ

конца, просторъ, необъемлемый глазомъ, безконечные лѣса, по которымъ пробѣгаетъ таинственный шумъ, и на всемъ этомъ какое-то томленіе невыразимой тоски и печали. Порывъ, удалой разгулъ страстей и затѣмъ, чрезъ нѣсколько мгновеній, мысль о смерти, вопль неудовлетвореннаго чувства, настроеніе безсвязныхъ и своєю безсвязностью мучительныхъ запросовъ, встающихъ въ туманѣ. Таковъ геній русской жизни. Такова русская душа» (стр. 120). Очень просто. О чемъ тутъ спрашивать? Въ шумѣ нашихъ лѣсовъ именно и выражается нашъ геній. Въ разгулѣ, за которымъ слѣдуетъ мысль о смерти и настроеніе безсвязныхъ запросовъ, именно и выражается наша душа. Замѣтимъ только, что «настроеніе безсвязныхъ запросовъ, встающихъ въ туманѣ», является послѣ разгула не такъ скоро, какъ полагаетъ г. Волынский, не «чрезъ нѣсколько мгновеній», а обыкновенно на другой день. Такова ужъ русская душа.

Тенерь Бѣлинскому остается только выслушать отъ г. Волынскаго наставленіе въ христіанской религіи, послѣ чего его душу можно будетъ отпустить на покаяніе. Въ извѣстномъ письмѣ къ Гоголю, Бѣлинскій съ негодованіемъ говоритъ о совѣтѣ, преподанномъ Гоголемъ помѣщику на счетъ того, какъ надо рѣшать крестьянскіе ссоры и споры: разбери, кто правъ, кто виноватъ, да обоихъ и накажи. Эта логика пушкинской капитанши показалась Бѣлинскому не подходящей для великаго русскаго писателя, и онъ рѣзко упрекнулъ Гоголя. Кстати будетъ замѣтить здѣсь, что г. Волынский, по обыкновенію, даже фактическую сторону дѣла передаетъ невѣрно, при чемъ, тоже по обыкновенію, дѣлаетъ строгій выговоръ людямъ, передававшимъ факты вѣрно. Гоголя, утверждаетъ г. Волынский, нисколько не поколебали нападенія на его *Переписку*. «Гоголь былъ не таковъ, чтобы уступить въ этомъ кровномъ дѣлѣ убѣжденій, исходившихъ изъ глубочайшаго источника, и Пыпинъ обнаруживаетъ непониманіе его характера,

утверждая, что онъ былъ подавленъ тяжестью упрековъ Бѣлинскаго, которыхъ не сумѣлъ опровергнуть. Онъ не былъ подавленъ ни печатнымъ отзывомъ Бѣлинскаго, ни знаменитымъ письмомъ его изъ Зальцбурна» (т.-е. изъ Зальцбрунна,—г. Волинскій даже названіе города не сумѣлъ написать правильно). Не подлежитъ сомнѣнію, однако, что Гоголь въ письмѣ къ Аксакову самъ назвалъ свою книгу «*опрометчивой*», а въ письмѣ къ Жуковскому выражался о ней еще суровѣе: «Я размахнулся въ моей книгѣ такимъ Хлестаковымъ, что не имѣю духа взглянуть въ нее». Это *факты*, но г. Волинскій все-таки твердитъ: «Гоголь былъ не таковъ, чтобъ уступить»,—вотъ и толкуйте съ нимъ!

Возвращаемся къ главному эпизоду. «Посмотрите,—воскликаетъ г. Волинскій,—какую свѣтлую, глубоко-христіанскую идею Бѣлинскій истолковалъ въ этомъ убійственномъ смыслѣ. Судите всякаго человѣка двойнымъ судомъ и всякому дѣлу дайте двойную расправу, говоритъ Гоголь. Одинъ судъ человѣческій: оправдайте праваго, осудите виновнаго! Другой судъ божескій: осудите и праваго и виноватаго. Одного укорите за то, что онъ не простилъ своего товарища, другого за то, что онъ не уважилъ евангельской заповѣди» (стр. 126). Такъ какъ г. Волинскій, избѣгая документовъ, не приводитъ въ подлинникъ «убійственного истолкованія» Бѣлинскаго, то сдѣлаемъ это мы. Вотъ что писалъ Бѣлинскій по этому пункту Гоголю: «А ваши понятія о національномъ русскомъ судѣ, расправѣ, идеалъ котораго вы нашли въ словахъ глупой бабы, въ повѣсти Пушкина, и по разуму котораго должно пороть и праваго и виновнаго! Да это и такъ у насъ дѣлается, даже вчистую, хотя чаще всего порятъ праваго, если ему нечѣмъ откупиться отъ преступленія быть безъ вины виноватымъ».

Мнѣ кажется, я выразилъ бы неуваженіе къ умственнымъ и нравственнымъ силамъ своего читателя, если-бъ

пустился въ подробное комментированіе этого эпизода. Ограничусь поэтому немногими словами. Такъ какъ Гоголь давалъ свои совѣты русскому помѣщику, то было бы лучше преподавать урокъ человѣческой, а не божеской справедливости. Въ виду того, что въ дѣйствительной жизни происходила именно такая расправа, на какую указывалъ съ негодованіемъ Бѣлинскій, воззваніе Гоголя къ человѣческой справедливости было бы не лишнимъ. Это во-первыхъ. Во-вторыхъ, точно ли божеская справедливость требуетъ наказанія и праваго и виноватаго? Увѣренъ ли въ этомъ г. Волинскій? Высшая справедливость, она же и высшая любовь, которой мы учились, состоитъ не въ томъ, чтобы наказывать невиннаго, а въ томъ, чтобы простить виновнаго. Есть предметы, г. Волинскій, фальсифицировать которые не должно осмѣливаться даже самое разнузданное и безстыдное шарлатанство.

### III.

Съ Бѣлинскимъ мы кончили. Намъ остается посмотрѣть теперь, какъ острый мечъ г. Волинскаго губить предразсудки относительно Добролюбова и Писарева. Въ виду того, что критико-полемическіе приемы г. Волинскаго уже въ нѣкоторой степени выяснены нами, мы можемъ теперь подвигаться впередъ гораздо скорѣе, и прежде всего, для сокращенія пути, ниспроверженіе Добролюбова мы прослѣдимъ вмѣстѣ съ уничтоженіемъ Писарева. Это были два современника и даже почти ровесника, пусть же будетъ общемо и ихъ судьба: они или вмѣстѣ погибнуть или вмѣстѣ спасутся отъ меча г. Волинскаго.

Прежде всего мы находимъ, разумѣется, нѣкоторые предварительныя свѣдѣнія о личностяхъ обоихъ критиковъ, свѣдѣнія иногда прелюбопытныя. У Добролюбова, наприм., мать была «нѣжная, набожная, *трогательная* женщина». Кромѣ того, у Добролюбова былъ въ семинаріи учитель Сладкопѣвцевъ, съ наружностью не менѣ замѣчательной,



чѣмъ наружность Станкевича: «онъ молодъ, благороденъ, уменъ, черные волосы его лежатъ въ какомъ-то чудномъ безпорядкѣ, смуглое, мужественное лицо его привлекательно, въ темно-голубыхъ глазахъ его отражается огонь и блескъ сильной и могучей души». Но и Писарева судьба не обидѣла: у него была «кузина Раиса» — особа въ своемъ родѣ тоже замѣчательная. «Еще въ раннемъ дѣтствѣ Раиса умѣла понимать людей, въ среду которыхъ она попадала при своемъ скитаніи отъ одного родственника къ другому, схватывая на лету, съ поразительною быстротою взгляда, духъ новой обстановки. Не взявши ни одной фальшивой ноты, она легко приспособлялась къ чужимъ людямъ. Съ гибкимъ умомъ, съ сильно развитымъ воображеніемъ, разгоряченнымъ преждевременнымъ чтеніемъ романовъ, хорошенечкая и кокетливая, Раиса должна была сразу заставить биться сильнѣе сердце неуклюжаго мальчика съ эстетическими наклонностями». Романъ, рѣшительно романъ! Къ сожалѣнію, фигуры главныхъ героевъ были всѣмъ не героическія и не романтическія. Вотъ Добролюбовъ: «его сутуловатая, неуклюжая, семинарская фигура, нѣжная, но болѣзненная наружность, его аккуратно подстриженные волосы и жиденькія бакенбарды, его скромность и застѣнчивость, его близорукіе глаза, глядящіе съ безвильною пытливостью сквозь очки, его неловкая манера подавать мягкую руку какъ-то вбокъ, оттопыривъ большой палецъ, всѣ его внѣшнія особенности не привлекаютъ къ нему женщинъ». Хорошо и это, но г. Волынскій знаетъ о Добролюбовѣ кое-что и получше: «женщины не считаютъ его за мужчину и не стыдятся говорить ему многое такое, чего другимъ никогда не сказали бы» (г. Волынскій, какъ это часто дѣлаютъ плохіе романисты, описываетъ для *живости* не въ прошедшемъ, а въ настоящемъ времени). А вотъ каковъ былъ Писаревъ. «Въ общемъ его нельзя было назвать красивымъ. Только большой, открытый, чистый лобъ и слегка выпуклые темно-каріе глаза шодъ пра-

вильно очерченными бровями были красивы, отражали твердый, ясный и свободно-стремительный умъ. Въ остальных частяхъ его лица было что-то дисгармоническое: длинный, слетка выдающийся подбородокъ, изъ-подъ котораго торчала впередъ густая бѣлокурая борода, жидкіе, высоко-растущіе усы, оставляющіе открытымъ край длинной верхней губы, яркій, нѣсколько вульгарный, кирпичнаго цвѣта румянецъ, какъ бы застывшій на щекахъ,— все это производило не совсѣмъ пріятное впечатлѣніе».

«Однако,—иронически замѣтитъ мнѣ читатель,—вы не слишкомъ-то торопитесь. Вы выразили намѣреніе *поднимать-ся впередъ тораздо скорѣе*, а вотъ же сколько времени топчетесь на одномъ мѣстѣ, обременяя свою статью ненужными выписками. Я согласенъ съ вами, что г. Волынский всегда многословенъ и очень часто пустословенъ, но нельзя же это доказывать повтореніемъ его многословія и пустословія». Очень вѣрное замѣчаніе, читатель! Однако у меня есть свой умыселъ. Какое впечатлѣніе производить на васъ описанія г. Волынскаго? Впечатлѣніе, конечно, самаго короткаго и даже интимнаго знакомства автора съ описываемыми лицами. Конечно, наприм., «*кузину Рансу*» г. Волынский очень хорошо зналъ лично: откуда иначе взялась бы у него увѣренность, что она *легко приспособлялась къ модѣмъ* и при этомъ *не взяла ни одной фальшивой ноты*? То же самое и съ Добролюбовымъ, и съ Писаревымъ, и съ учителемъ Сладкопѣвцевымъ: г. Волынский, конечно, былъ съ ними дружески знакомъ. Помните, такія подробности: близорукіе глаза Добролюбова *глядѣли сквозь очки съ безсильною пылливостію*, руку, здороваясь, онъ подавалъ *какъ-то вбокъ, оттопыривъ большой палецъ*, а у Писарева *кирпичный румянецъ какъ бы застылъ на щекахъ*. Очевидно, г. Волынский не одинъ пудъ соли съ ними съѣлъ. Однако нѣтъ: г-жа Гуревичъ печатно объявляла *ubi et ubi*, что ихъ съ г. Волынскимъ дѣло—«дѣло мелкое», а стало-быть въ моментъ смерти Добро-

любова или даже Писарева г. Волынский свободно подь столъ проходилъ. Но точно такъ же, точъ въ точъ такъ же, г. Волынский говоритъ и о всякихъ наукахъ, системахъ, о всевозможныхъ научныхъ и литературныхъ дѣятеляхъ: все и всѣхъ онъ знаетъ, какъ свою ладонь, все и всѣ ему коротко извѣстны. «Это невозможно», скажете вы. Это очень легко, отвѣчу я. *Задумайте* какого-нибудь писателя и какого-нибудь ученаго, при чемъ пусть о первомъ я знаю только то, что онъ писалъ прозой, а не стихами, а второй былъ естествоиспытателемъ, а не историкомъ и не математикомъ. Я не знаю, о комъ даже рѣчь идетъ, но вотъ мой компетентный отзывъ: «произведенія этого писателя, не отличаясь ни живостью слога, ни особенною глубиной замысла, тѣмъ не менѣе, въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ, доставляютъ уму читателя питательный матеріалъ, могущій свободно выдержать не слишкомъ придирчивую критику». А вотъ мой отзывъ о задуманномъ вами ученомъ: «экспериментальный методъ, доставившій наукѣ столь могучее орудіе изслѣдованія и широко раздвинувшій ея горизонты, не нашелъ въ трудахъ этого ученаго надлежащаго примѣненія, по крайней мѣрѣ въ той степени, въ какой это требуется здоровою научною логикой». Теперь ищите вѣтра въ полѣ, уличайте меня въ шарлатанствѣ! Я твердо знаю, что не проврался, потому что изъ моихъ опредѣленій и характеристикъ, какъ вода изъ рѣшета, ускользаютъ всякія индивидуальныя особенности. Если бы не жалко было мѣста, я могъ бы васъ позабавить (а можетъ быть, чего добраго, и удивить) столь же самоувѣренными отзывами объ астрономіи, о санскритскомъ языкѣ, о философіи Конта... У меня два могучихъ союзника: во-первыхъ, фраза, растяжимая какъ резина, во-вторыхъ, ваша добродушная читательская довѣрчивость. «Но это безстыдно», воскликнете вы. Зато очень удобно, отвѣчу я, а стыдъ—не дымъ, глаза не выѣстъ.

Теперь не угодно ли вамъ насладиться вотъ этимъ бу-

кетомъ, собраннымъ мною на обширныхъ поляхъ краснорѣчія ученѣйшаго г. Волынскаго. Добролюбовъ «былъ мало научно подготовленъ для оцѣнки Пирогова» (стр. 177), Добролюбовъ былъ журналистъ, «не прошедшій никакой серьезной гражданской школы, не имѣвшій широкой юридической подготовки для сужденія о сложныхъ вопросахъ права» (196), Добролюбовъ «не обладалъ солидною научною подготовкой» (204), Добролюбовъ «не мыслилъ на чисто-научныя темы, не обладалъ никакими опредѣленными знаніями ни въ области философіи, ни въ области естественно-историческихъ изслѣдованій» (209), Добролюбовъ былъ «чуждъ философскаго образованія» (211), Добролюбовъ обладалъ «сравнительно малымъ образованіемъ» (221), Добролюбовъ вступилъ въ литературу «безъ достаточной подготовки» (249). Теперь чередъ Писарева. Писаревъ былъ «совершенно лишенъ философскаго образованія» (стр. 491), Писаревъ не былъ «рожденъ для серьезныхъ споровъ и всѣмъ своимъ умственнымъ воспитаніемъ не подготовленъ для пониманія такихъ натуръ, какою былъ Кирѣевскій» (549), Писаревъ «самъ чувствовалъ ограниченность своего образованія» (562), Писаревъ имѣлъ «ограниченную научную подготовку» (563), Писаревъ «не обладалъ ни философскимъ образованіемъ, ни серьезными научными знаніями» (599).

Господа читатели и вы, «братья-писатели», да что жъ это такое? Г. Волынскій, позвольте узнать, гдѣ вы получили свое «неограниченное» образованіе? Въ какой неслыханной школѣ вы набрались тѣхъ специальныхъ свѣдѣній по всѣмъ отраслямъ науки, которыми вы пускаете намъ пыль въ глаза? Идетъ, наприм., рѣчь объ Аполлоніи Тианскомъ, послужившемъ темою для кандидатской диссертациі Писарева. Диссертациа была увѣнчана факультетомъ, но развѣнчивается г. Волынскимъ: «Она не представляетъ, несмотря на превосходный матеріалъ, живого изображенія этой замѣчательной, нѣсколько загадочной личности» (стр.

563). Это—увѣренное замѣчаніе глубокаго спеціалиста, который и источники изучалъ и предметъ знаетъ досконально. Идетъ рѣчь о теоріи Дарвина, и г. Волюнскій оказывается и тутъ знатокомъ: «Превознеся Дарвина въ выраженіяхъ, не обнаруживающихъ научной компетентности, Писаревъ повергаетъ въ прахъ геніальнаго въ своемъ родѣ Ламарка и Жоффруа-Сентъ-Илера» (стр. 564). *Геніальнаго въ своемъ родѣ*,—очевидно, г. Волюнскій знаетъ Ламарка во всѣхъ подробностяхъ. Идетъ рѣчь о полемикѣ Пастера съ гетерогенистами, и г. Волюнскій является спеціалистомъ-естествоиспытателемъ: «Знаменитыя возраженія Пастера, основанныя на блестящихъ экспериментахъ, кажутся Писареву» и пр. (565). Видите, г. Волюнскій знаетъ и возраженія Пастера, и то, что его опыты были *блестящими*. Идетъ рѣчь о философіи Конта, и г. Волюнскій говоритъ съ снисходительною небрежностью спеціалиста: «Отличительныя черты позитивнаго мышленія поняты Писаревымъ по-дилетантски, а основныя особенности метафизическаго направленія представлены въ его статьѣ въ такомъ извращенномъ видѣ, который, по своей наивности, не можетъ быть признанъ правильнымъ отраженіемъ даже Контовской системы» (566). Этихъ прищѣровъ достаточно, потому что они не случайны. Я предвидѣлъ упрекъ себѣ въ придирчивости и заранее оградилъ себя отъ него: я взялъ четыре страницы *подъ рядъ* (563—566) безъ выбора и на этихъ страницахъ нашелъ эти четыре перла. Значить, мы имѣемъ дѣло съ шарлатанствомъ сознательнымъ и систематическимъ,—съ *шарлатанствомъ*, говорю я, потому что чѣмъ же замѣчанія г. Волюнскаго лучше, умнѣе, доказательнѣе, нежели тѣ характеристики невѣдомаго писателя и невѣдомаго ученаго, которыя я представилъ выше для увеселенія (а можетъ быть и для вразумленія) читателя?

Но вотъ въ статьѣ о Добролюбовѣ, на стр. 153, мы встрѣчаемъ, наконецъ, многообѣщающую фразу: «Вотъ ошибка, которая должна быть устранена во что бы то ни

стало и какъ можно скорѣе». Ахъ, слава Богу! Поскорѣе, поскорѣе устранимъ пагубную ошибку. Въ чемъ она состоитъ? «Въ наивномъ предположеніи, что пренебреженіемъ къ вопросамъ теоретическимъ, научно-философскимъ можно поднять истинное значеніе практическихъ задачъ въ глазахъ мыслящаго общества, люди извѣстной партіи стараются затушевать всѣ тѣ изъязны, которые могутъ быть отмѣчены въ критической дѣятельности Добролюбова». Позвольте, въ чемъ же дѣло? Состоитъ ли ошибка *въ предположеніи* или *въ пренебреженіи*, или *въ затушеваніи*, или, наконецъ, *въ изъязнахъ*? Надо, кажется, понимать такъ, что «люди извѣстной партіи» виновны въ предположеніи и затушеваніи, а Добролюбовъ виновенъ въ изъязнахъ, всѣ же вмѣстѣ они виновны въ пренебреженіи. Оставляя въ сторонѣ «людей извѣстной партіи», такъ какъ совсѣмъ не о нихъ рѣчь идетъ, и вполне соглашаясь съ г. Волынскимъ, что изъязны писателя есть ошибки писателя, мы остановимся на упрекѣ въ пренебреженіи,—упрекѣ, имѣющемъ по крайней мѣрѣ достоинство удобопонятности. Итакъ, мы вмѣстѣ съ Добролюбовымъ пренебрегаемъ... чѣмъ? Вопросами теоретическими, научно-философскими! Но о чемъ же мы пишемъ въ такомъ случаѣ? О смазочныхъ маслахъ, объ ассенизаціи, о замощеніи улицъ, о производствѣ стеклянной посуды? Нѣтъ, мы говоримъ о задачахъ общежитія, о вопросахъ личной и общественной нравственности, о значеніи науки и искусства, объ историческихъ акціяхъ и реакціяхъ, объ относительной важности экономическихъ, политическихъ и культурныхъ силъ въ сложномъ процессѣ ихъ взаимодействія и мало ли еще о чемъ все въ томъ же чисто-теоретическомъ, чисто-научномъ и чисто-философскомъ родѣ. Развѣ социологія не наука? И развѣ въ этой наукѣ мало простора для философскаго элемента?

То-то и есть, что у г. Волынскаго имѣется своя наука и своя философія, которыми мы дѣйствительно пренебре-

гаемъ. О наукѣ г. Волинскаго ничего положительнаго я сказать не могу, такъ какъ знаю о ней только пророчество г. Волинскаго: «воспринетъ новая наука!» Ну, вотъ когда она воспринетъ, тогда о ней и будетъ разговоръ, а пока мы будемъ довольствоваться старой. Что же касается философіи, прославляемой г. Волинскимъ, то въ статьяхъ его о Бѣлинскомъ мы нашли на этотъ счетъ довольно опредѣленное указаніе: «душу философіи составляютъ вопросы объ отношеніяхъ людей другъ къ другу, о божествѣ, о происхожденіи міра, о безсмертіи души» (стр. 14). Ни о чемъ другомъ Добролюбовъ, равно какъ и теперешніе «люди извѣстной партіи», не говорили и не говорятъ, какъ «объ отношеніяхъ людей другъ къ другу», если же они не распространяются по остальнымъ перечисленнымъ вопросамъ, то это въ силу причинъ совсѣмъ не «компрометантнаго» (словечко г. Волинскаго) свойства. Они молчатъ объ этихъ вопросахъ, потому что не имѣютъ въ своемъ распоряженіи даже приблизительныхъ рѣшеній. Для людей, жаждущихъ вѣры, по этимъ вопросамъ давно все сказано; для людей, желающихъ знанія, до сихъ поръ сказано мало. Метафизическія рѣшенія не только не удовлетворяютъ насъ, но и не кажутся намъ дѣломъ, о которомъ стоило бы тратить слова. Вы можете величать сколько угодно метафизику философіей, вамъ все-таки не вернуть ея давно потеряннаго кредита. Ужъ вамъ-то въ особенности, потому что вашъ собственный кредитъ...

Другая «ошибка» Добролюбова вотъ какая: онъ думалъ, «что бороться съ справедливостью можно только общою силой закона. Онъ вѣрить въ бумагу. Онъ требуетъ писанныхъ хартій. Не полагаясь на живое воздѣйствіе смѣлыхъ людей, которое часто можетъ опередить законъ, онъ возлагаетъ всѣ надежды на спасающую силу непререкаемыхъ юридическихъ правилъ, получающихъ всеобщее примѣненіе» (стр. 176). А въ чемъ можетъ выразиться «воздѣйствіе смѣлыхъ людей»? Въ «воззваніи къ разуму и совѣсти лю-

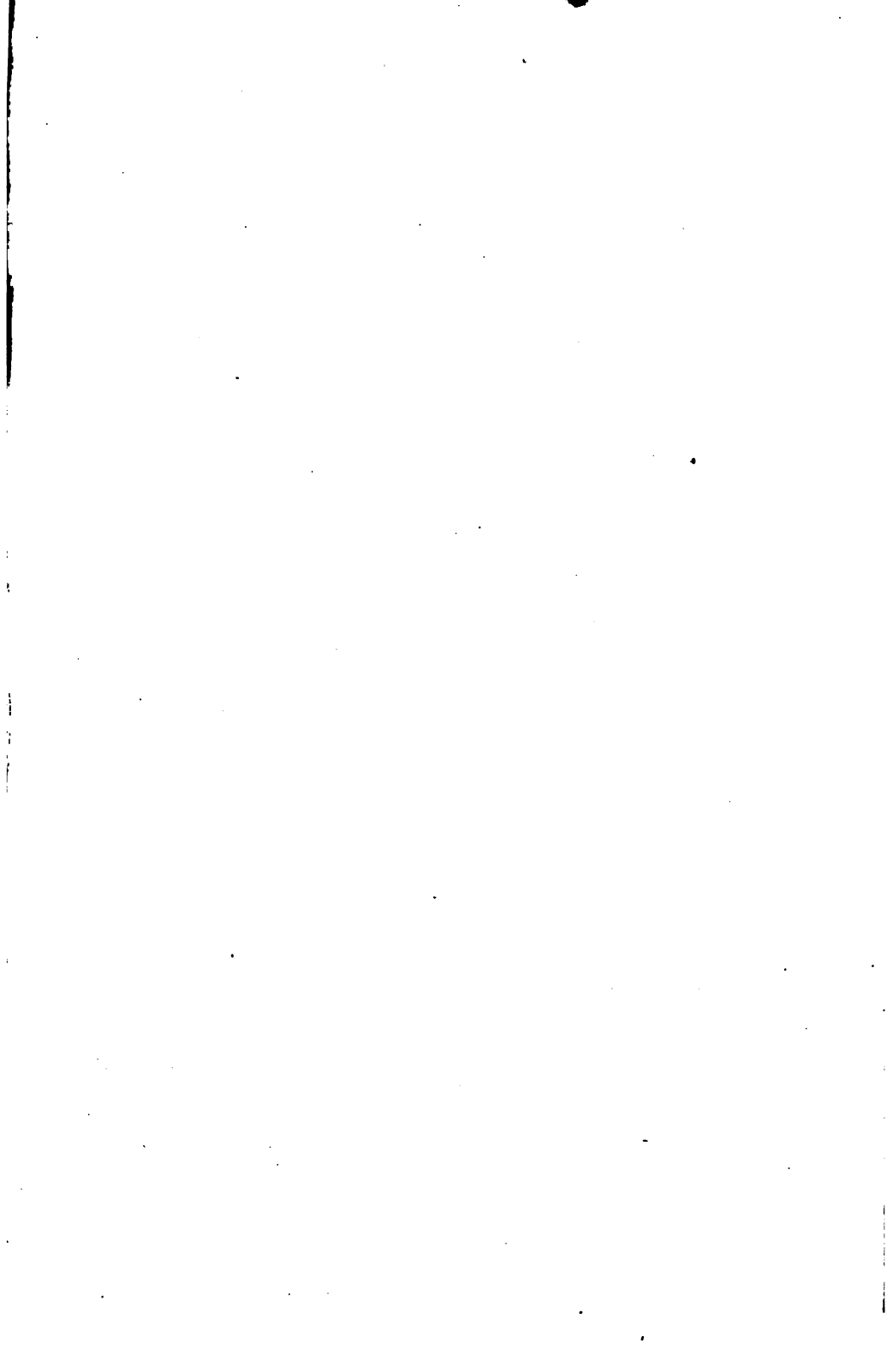
дей» (182). На это можно сказать, что если законъ—только бумага, то развѣ «воззваніе къ разуму и совѣсти» не бумага въ свою очередь? А которая изъ этихъ двухъ «бумагъ» дѣйствительнѣе, объ этомъ г. Волынский пусть справится хоть у старика Крылова, который расскажетъ ему притчу о котѣ и поварѣ съ заключительнымъ совѣтомъ: рѣчей не тратить по пустому, гдѣ нужно власть употребить. «Смѣлымъ людямъ», при всей ихъ смѣлости, не непріятно питать убѣжденіе, что ихъ право «взывать» предусмотрено и ограждено въ какой-нибудь «бумагѣ». Если такое воззрѣніе—ошибка, то ошибка и сама таблица умноженія.

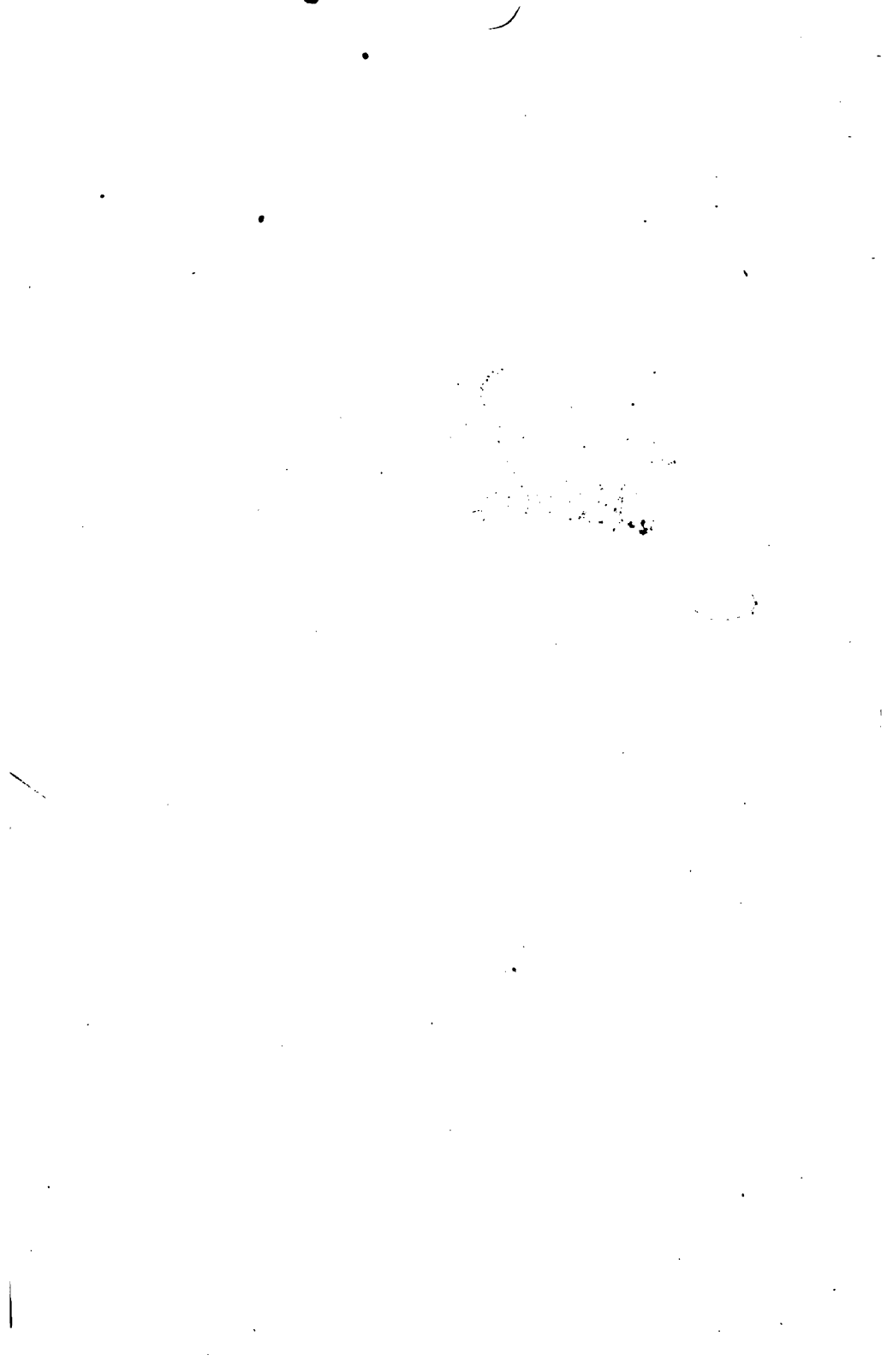
Главнѣйшія провинности Добролюбова этимъ исчерпываются. А что Писаревъ? А Писаревъ, читатель, чувствуетъ себя превосходно. Дѣло въ томъ, что если г. Волынский открылъ у Бѣлинскаго «основную ошибку», а у Добролюбова «ошибку, которую нужно исправить скорѣе», то у Писарева онъ такой центральной ошибки не указываетъ, а донимаетъ его другого рода тактикой. Онъ излагаетъ содержаніе статей Писарева «своими словами», но такъ излагаетъ, что васъ даже оторопь беретъ. Вотъ, напримѣръ, содержаніе статьи Писарева *Прогулка по садамъ російской словесности* въ изложеніи г. Волынскаго: «Въ этой статьѣ Писаревъ даетъ характеристику Аполлону Григорьеву (т.-е. Аполлона Григорьева), щелкаетъ Писемскаго за его *Взбаломученное море*, поноситъ Аверкіева за духъ мракобѣсія и сикофанства, огрызается противъ Островскаго, которому пророчить союзъ съ Кохановскою, Аксаковымъ и Юркевичемъ. По дорогѣ онъ, не вдаваясь въ серьезную критику, жестоко отдѣлываетъ Стебницкаго-Лѣскова» и пр. Каково это покажется? «Щелкаетъ», «поноситъ», «огрызается» и «жестоко отдѣлываетъ»,—спасайся, кто можетъ! Какимъ веселымъ хохотомъ расхохотался бы покойный критикъ, если бы имѣлъ возможность прочесть писанія г. Волынскаго о себѣ!



Еще два слова только. Въ заключительной статейкѣ *Вражда и борьба партій* г. Волынскій объявляетъ свою критику—«свободною критикой». Какъ извѣстно, «свобода» — любимѣйшее слово декадентовъ, заграничныхъ и доморощенныхъ. Во имя будто бы свободы они и совершаютъ свои литературные подвиги, дающіе поводъ заподозрѣвать состояніе ихъ умственныхъ способностей. Эту декадентскую свободу, свободу созерцать смутный смерчъ въ волосахъ малютки, мы охотно предоставляемъ г. Волынскому. Но пусть онъ не рассчитываетъ на свободу безнаказанно оскорблять наши лучшія симпатіи.

---





This book should be returned to  
the Library on or before the last date  
stamped below.

A fine is incurred by retaining it  
beyond the specified time.

Please return promptly.

JUL 1965 ILL

**CANCELLED**  
10-124

**STALL STUDY  
CHARGE**